



Людмила Георгиевна Зубкова

Узник фашистских лагерей в Литве и Германии — вместе с младшей сестрой Ниной и родителями Верой Петровной и Георгием Георгиевичем Зубковыми (июнь 1941 г. — март 1945 г.).

Доктор филологических наук, профессор. Преподавала в ведущих отечественных университетах и в университетах Индонезии, Австрии, Англии, Италии, США.

Почетный профессор РУДН.

Автор более 300 печатных работ по общему и частному языкознанию, различным аспектам фонетики и грамматики, проблемам типологии. Основное направление исследований — изучение связей между планом содержания и планом выражения в языках различных типов. В числе книг монографии и учебные пособия по теории и истории языкознания.

S T U D I A P H I L O L O G I C A



Л. Г. ЗУБКОВА

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА В ЕЕ РАЗВИТИИ

ОТ НАТУРОЦЕНТРИЗМА
К ЛОГОЦЕНТРИЗМУ
ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ
К ЛИНГВОЦЕНТРИЗМУ
И К НОВОМУ СИНТЕЗУ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЯСК
МОСКВА 2016

ББК 81
УДК 80/81
3 91



Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 16-04-16095

3 91

Зубкова Л. Г.

Теория Языка в ее развитии: от натуроцентризма к логоцентризму через синтез к лингвоцентризму и к новому синтезу. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — 624 с. — (Studia Philologica.)

ISBN 978-5-9907947-1-9

В книге анализируются ключевые философско-лингвистические и лингвистические концепции начиная с Античности до наших дней, т. е. показаны истоки и эволюция идей, заложивших основы современного понимания природы и сущности языка.

Прослеживается разработка таких проблем, как объект, предмет, метод и структура языкознания; его место в системе языка; функции языка; язык и общество; язык — мышление — действительность; языковой знак; язык и речь; система и структура языка; общее, особенное и отдельное в языке; природа межъязыковых различий; развитие языка.

Выявлены принципиальные расхождения в решении названных проблем между системными лингвистическими концепциями И. Г. Гердера, В. Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, исходящими из диалектического триединства мира, человека и языка, и аспектирующими концепциями А. Шлейхера, Г. Пауля, Ф. де Соссюра, метафизически противопоставляющими природное и социальное, физическое и психическое, индивидуальное и общественное в человеке и его языке.

Для студентов и аспирантов филологических специальностей, а также читателей, интересующихся теоретическими вопросами языкознания, его эволюцией.

УДК 80/81
ББК 81

ISBN 978-5-9907947-1-9



9 785990 794719 >

© Л. Г. Зубкова, 2016
© Издательский Дом ЯСК, 2016

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Предисловие</i>	13
<i>Введение. Эволюция общей теории языка</i>	24
1. Основное направление эволюции	24
2. Аспектирующие и синтезирующие концепции	34
<i>Глава первая. Общая теория языка с античности до конца XVIII в.</i>	40
1. Место теории языка в системе знаний	40
2. Античность	44
2.1. Язык — мышление — действительность.	44
2.1.1. Природа — человек — язык	44
2.1.2. Формы познания и язык. Истоки рационалистической тенденции в анализе языка	47
2.2. Античные теории языкового знака	52
3. Средневековье	59
3.1. Отцы церкви	60
3.2. Модисты.	62
4. Новое время	67
4.1. Рационалистическая тенденция.	67
4.1.1. «Грамматика» и «Логика» Пор-Рояля	68
4.1.2. «Методическая энциклопедия. Грамматика и литература»	80
4.2. Эмпирико-сенсуалистическая тенденция	83
4.2.1. Общая характеристика	83
4.2.2. Э. Б. де Кондильяк	93
4.2.2.1. Э. Б. де Кондильяк: язык как аналитический метод	93
4.2.2.2. «Грамматика» Э. Б. де Кондильяка	101
<i>Глава вторая. И. Г. Гердер</i>	111
1. Происхождение языка.	111
2. Развитие языка.	114
3. Общие свойства языков	116
4. Межъязыковые различия	118
<i>Глава третья. В. фон Гумбольдт</i>	124
1. Языкознание как наука	125
2. Язык и дух	128

3. Язык — мышление — действительность	131
3.1. Язык как отражение	131
3.2. Язык и мышление	135
4. Язык как деятельность	140
4.1. Деятельностная природа языка	140
4.2. Язык и речь	142
4.3. Виды речевой деятельности: говорение и понимание	143
5. Язык как система. Членораздельность и форма языка	146
5.1. Членораздельность и символичность. Две области членения	146
5.2. Форма языка	149
6. Природа межъязыковых различий	159
7. Возникновение и развитие языка	170
<i>Глава четвертая. А. Шлейхер</i>	181
1. Истоки и принципы лингвистической концепции А. Шлейхера	181
2. Языкознание как наука	186
3. Язык как материальное явление. Язык и мышление	189
4. Происхождение и развитие языка	191
5. Природа межъязыковых различий	198
<i>Глава пятая. А. А. Потебня</i>	204
1. Языкознание как наука	205
2. Язык как одна из форм мысли	209
3. Учение о слове	212
3.1. Языковое и внеязычное содержание	212
3.2. Отношения между элементами слова	214
3.3. Слово как акт познания и творчества. Речь и понимание как творческий процесс	218
4. Язык как знаковая система	222
5. Природа межъязыковых различий	229
6. Развитие мышления и языка	233
6.1. Развитие мышления. Его типы	233
6.2. Развитие языка	237
<i>Глава шестая. Г. Пауль</i>	248
1. Языкознание как наука	248
2. Индивид и общество. Индивидуальный язык и языковой узус	250
3. Состояние языка. Системность	252
4. Развитие языка	257
<i>Глава седьмая. И. А. Бодуэн де Куртэнэ</i>	262
1. Языкознание как наука	263
2. Язык и человек в антропологическом и социальном аспектах	270
3. Индивидуальный и коллективный язык	277
4. Язык как система	280

5. Происхождение и развитие языка	296
5.1. Начало языка	296
5.2. Развитие и история языка	302
5.3. Внешняя и внутренняя история	303
5.3.1. Внешняя история	304
5.3.2. Внутренняя история	306
6. Языковые сходства и различия	319
<i>Глава восьмая. Ф. де Соссюр</i>	327
1. Языкознание как наука	327
2. Система языка	342
3. Природа межязыковых различий	346
4. Развитие языка	347
<i>Глава девятая. Язык в зеркале знаковых теорий</i>	352
1. Синтезирующий подход: Платон, В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня	352
2. Аспектирующий подход: Ф. де Соссюр	370
3. К целостной концепции языкового знака: К. Бюлер	380
<i>Глава десятая. От гипотезы Сепира — Уорфа к новому синтезу в теории языка</i>	395
1. Э. Сепир	395
2. Б. Л. Уорф	415
3. Г. Гийом	423
4. Э. Бенвенист	435
<i>Глава одиннадцатая. Н. Я. Марр</i>	452
1. Языкознание как наука	452
2. Происхождение языка	457
3. Язык и мышление. Стадии их развития	468
4. Глоттогонический процесс и классификация языков	474
<i>Глава двенадцатая. Структурная лингвистика</i>	479
<i>Глава тринадцатая. Н. Хомский</i>	501
1. Языкознание как наука	501
2. Креативность языка	502
3. Подход к объяснению усвоения и употребления языка	504
4. Универсальная грамматика	507
5. Врожденная умственная структура как основание универсальной грамматики и знания языка	508
6. Языковая способность как развивающееся свойство мозга	510
7. Минималистская программа	511
8. Язык и внешний мир	515
<i>Глава четырнадцатая. Г. П. Мельников</i>	518
1. Систематизация как философское обоснование методологии лингвистики	519

2. Системная типология языков	521
3. Детерминанта системы: внешняя и внутренняя.	523
3.1. Внешняя детерминанта языкового типа	523
3.2. Основные принципы системной типологии языков и внутренняя детерминанта языкового типа	528
<i>Глава пятнадцатая. А. Д. Кошелев.</i>	<i>534</i>
1. От кризиса в лингвистике и других когнитивных науках к его преодолению путем нового синтеза	537
2. Референциальный подход к лексической семантике	539
2.1. Сенсорная лексика	539
2.2. Структура лексической полисемии	546
3. Базовые концепты как нейробиологические коды памяти	548
4. Элементы сенсорной грамматики	551
5. Сенсорное предложение. Сенсорный язык. Когнитивный язык мысли.	559
<i>Заключение.</i>	<i>563</i>
1. Функции языка в отношении к миру и человеку	563
2. Важнейшие расхождения между синтезирующими и аспектирующими концепциями в решении основных общелингвистических проблем	568
3. Языковое мышление как основа лингвистического. К характеристике вклада отечественной традиции в теорию языка	578
3.1. Эволюция языковедного мышления и его отношение к языковому мышлению	578
3.2. Духовные и языковые корни отечественной традиции в теории языка	587
<i>Литература.</i>	<i>599</i>
<i>Указатель имен.</i>	<i>615</i>

*Посвящается
непокорным узникам фашизма
и самым свободным, добрым,
светлым людям на Земле —
моим дорогим родителям
и обожаемой сестре,
Вере Петровне, Георгию Георгиевичу
и Нине Георгиевне Зубковым.
С бесконечной благодарностью
и нежной любовью*



Жажда знаний и стремление к ее удовлетворению свойственны только человеку, и человеку высокоорганизованному, сознательному.

Пусть, следовательно, бо́льшая часть образованного общества в своих взглядах на науку не возвышается над умственным уровнем животного: пусть она ищет в науке только выгоду и удобство. Но найдется всегда определенное количество чудаков, ищущих в науке только знаний и расширения своего умственного кругозора. В их числе будет всегда также маленькая горсточка чудаков в квадрате, которые признают язык в качестве предмета, достойного исследования, а языкознание, таким образом, как науку, равноправную с другими науками.

*И. А. Бодуэн де Куртенэ.
О задачах языкознания (1889)*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Системный подход к теории языка достигается путем двоякого рассмотрения той или иной проблемы: с одной стороны, *в контексте определенной концепции*, с другой стороны — *в контексте эволюции решений* данной проблемы на протяжении веков.

В предыдущей книге «Эволюция представлений о языке» (М.: ЯСК, 2015) прослеживается решение двух центральных проблем: язык в отношении к внутреннему и внешнему миру человека, язык как система знаков.

В настоящей книге, посвященной анализу ключевых философско-лингвистических учений, автор прослеживает развитие общей теории языка с античности до наших дней. Прежде всего представляется необходимым по возможности полно и объективно *реконструировать систему общелингвистических взглядов* языковедов прошлого и осветить их вклад в разработку таких проблем, как объект, предмет, метод и структура языкознания; его место в системе наук; функции языка; язык и общество; язык — мышление — действительность; языковой знак; язык и речь; система и структура языка; природа межъязыковых различий; развитие языка.

Отсюда максимальная опора на *источники*, а не на их переложения и критику, так чтобы читатель мог ознакомиться с достаточно полным сводом собственных высказываний классиков языкознания по основным общелингвистическим проблемам. Собрать свод таких высказываний, понять их логику и связь тем более важно, что зачастую они рассыпаны по разным работам, а хрестоматии, в которых весь спектр названных проблем был бы охвачен с необходимой полнотой, отсутствуют.

В изложении *ключевых* теорий языка автор стремился показать методологическую значимость адекватного выявления *детерминанты* каждой из них. Детерминантный подход, блестяще оправдавший себя при анализе различных системных объектов, включая естественные языки и литературные произведения, вполне применим и к таким особым системам, как теории, гипотезы и т. п. Выявить детерминанту той или иной теории чрезвычайно важно для адекватного постижения ее сути, для объяснения многих аспектов путем выведения их из одного — определяющего.

В этом легко убедиться на примере двух вариантов интерпретации концепции Ф. де Соссюра (в главе восьмой и в главе девятой). Первоначально теория

Ф. де Соссюра — родоначальника структурализма — излагается исходя из развешиваемого им представления о языковой системе как совокупности отношений. Однако при более глубоком рассмотрении оказывается, что сведение языка к структуре является у Ф. де Соссюра логическим следствием его методологической установки рассматривать язык безотносительно к естественным вещам и их отношениям.

Как видно, теория языка немало зависит от того, учитывается ли в полной мере его *взаимодействие со средой*, в которой он существует. Того же требует и функциональный подход к языку: его функции и внутреннее устройство задаются запросами трех надсистем — *физической, социальной, психической*.

Поэтому в предлагаемой вниманию читателей книге автор берет за основу данное В. фон Гумбольдтом определение языка, согласно которому *язык* представляет собой *особый мир — посредник между миром внешних явлений* (природой, вселенной, универсумом) *и внутренним миром человека* (его духом, его психикой, его мышлением) [Гумбольдт 1984: 304–305].

Благодаря своему посредничеству между миром и человеком язык, опираясь «на совокупность человеческой духовной силы», отражает в себе мир [Там же: 66, 320; 1985: 401] и «становится для говорящей на нем нации органом постижения мира, возникновения и формирования идей, импульсом для развития духовной деятельности человечества» [Гумбольдт 1985: 386].

Следовательно, во взаимодействии с миром внешних явлений и внутренним миром человека язык — неотъемлемая составляющая этого внутреннего мира — отнюдь не пассивен. Поскольку «...закономерностям природы сродни закономерности языкового строя» [Гумбольдт 1984: 81], человек, утверждает В. фон Гумбольдт вслед за Э. Б. де Кондильяком, «живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Там же: 80].

Еще очевиднее конструктивная роль языка в отношении мышления. Хотя в нераздельном и неслиянном единстве языка и мышления определяющим является мышление с его законами и потребностями, язык в свою очередь представляет собой «образующий орган мысли» [Там же: 75]. Вне языка «...мысль не сможет достичь отчетливости и ясности, представление не сможет стать понятием» [Там же]. Поэтому сам В. фон Гумбольдт намеревался 1) «исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме — не просто в его отношении к речи и к ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия», 2) рассмотреть «весь путь, по которому движется язык — порождение духа, — чтобы прийти к обратному воздействию на дух» [Там же].

Рассмотрение языка во взаимодействии с миром внешних явлений и внутренним миром человека дает возможность четко *отграничить синтезирующие лингвистические концепции от аспектирующих*.

Синтезирующие концепции исходят из *триединства мира внешних явлений, внутреннего мира человека и языка*. Соответственно, сущность языка

усматривается в том, чтобы «отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений» [Гумбольдт 1984: 315].

Аспектирующие концепции пытаются рассматривать язык в отвлечении *либо от внешнего мира, либо от внутреннего мира человека, либо* и вовсе *«имманентно» — безотносительно к обоим этим мирам*, так чтобы язык предстал наконец не конгломератом внеязыковых (физических, физиологических, психологических, логических, социологических, исторических) проявлений языка, но «организованным целым с языковой структурой как ведущим принципом» [Ельмслев 1960в: 260]. Поскольку же до Ф. де Соссюра господствовали «трансцендентные» виды лингвистики, «по этой причине история теории языка, — считает Л. Ельмслев, — не может быть прослежена — она слишком непоследовательна» [Там же: 268].

Тем не менее выполненное автором исследование философско-лингвистических взглядов на соотношение бытия (Б), мышления (М) — как важнейшего проявления внутреннего мира человека — и языка (Я) дает возможность впервые выявить *7 этапов в эволюции общей теории языка: в направлении от изначального синкретизма бытия, мышления и языка (по Пармениду) к натуроцентризму (модисты), далее к логоцентризму (авторы Пор-Рояля), через синтез (с одной стороны, В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, с другой — Э. Сепир и Б. Ли Уорф, подготавливающие следующий этап) к лингвоцентризму (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев и в целом структурализм), наконец к новому синтезу во взаимодействии лингвистики с когнитивными науками (Г. П. Мельников, А. Д. Кошелев).*

Вполне закономерно вторичность языка по отношению к бытию осознается раньше, чем его зависимость от мышления, а влияние языка на мышление заметили до того, как утвердилось представление об определяющей роли языка в членении и восприятии человеком действительности. Не случайно объяснение грамматического строя как основы языка сначала ищут во *внешнем* мире (модисты), затем во *внутреннем* мире человека (авторы Пор-Рояля, Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт) и лишь потом в самом *языке* (структуралисты).

После синтезирующей концепции В. фон Гумбольдта общая теория языка приобрела, казалось, статус самостоятельной научной дисциплины. Однако многие поднятые им вопросы нуждались в дальнейшей разработке. Прежде всего это касалось определения *предмета языкознания* как науки. Чтобы его определить, на протяжении XIX–XX вв. появляется целый ряд аспектирующих учений, стремящихся постичь язык в отвлечении от человека, от диалектического *единства* в нем и в его языке *природного* и *социального*, *физического* и *психического*, *объективного* и *субъективного*, *общественного* и *индивидуального*.

В самой последовательности аспектирующих теорий языка тоже есть своя логика: сначала в языке усматривают *природный организм* (А. Шлейхер), затем — *психофизическое образование* (младogramматики) и лишь позднее — *чисто психическое явление* (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев).

Шумный успех идей Ф. де Соссюра немало способствовал интенсивному развитию структурализма на протяжении XX в. В то же время долгое господство структурализма в языкознании отчетливо обнаружило, насколько недостаточно ограничивать анализ структурой языка безотносительно к внешнему и внутреннему миру человека. Явная ущербность узко понимаемого структурного подхода с преимущественной ориентацией на формальный метод становится особенно нетерпимой по мере всё большего осознания первостепенной значимости *семантической стороны* языка. Ведь ее постижение невозможно без обращения к миру внешних явлений и его отражению во внутреннем мире человека. Это понимали уже в пражской школе структурной лингвистики. Не случайно в ее концепции ясно прослеживаются тенденции синтезирующего толка.

Еще определеннее они дают о себе знать в концепции Н. Я. Марра, нацеленной на анализ возникновения и развития языка–мышления, в том числе его содержательной (семантической) стороны, в увязке с историей материальной культуры. В своей генетической семантике Марр связывает последовательность осознания предметов в процессе творчества человеческой культуры с появлением соответственных словесных знаков, при этом слова объективного порядка возникают раньше субъективных, а среди частей речи глагол в силу большей отвлеченности формируется позже имен и их заместителей.

Поворот к семантике выявил свою плодотворность в концепции Э. Сепира. Утверждая, что никакое человеческое суждение немислимо вне связи с конкретным чувственным миром, Э. Сепир выделял два основных базовых класса языковых значений — *конкретные* значения (предмета, действия, качества) и *чисто абстрактные* (*чисто-реляционные*) значения.

Шагом к синтезу является и предложенная Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом теория лингвистической относительности понятийных систем. Вопреки Ф. де Соссюру, полагавшему, что естественные вещи и их отношения не имеют отношения к действительности и ее отражению в мышлении, Сепир и Уорф отнюдь не пренебрегают триединством бытия, мышления и языка. Только в отличие от В. фон Гумбольдта ведущую роль в этом триединстве отводят языку. В частности, Б. Л. Уорф исходит из влияния грамматики как на теоретическое мышление, так и на восприятие и членение реальной действительности.

Не вызывает сомнения синтезирующий статус учения Г. Гийома. Обусловленное великим противостоянием Универсума и Человека отношение всеобщего и единичного в языковом сознании в свою очередь приводит к порождению материи и формы и далее — к образованию общих и частных грамматических категорий либо в универсуме Время, либо в универсуме Пространство, определяя таким образом всю структуру языка.

Исходя из малого противостояния Человек / Человек, Г. Гийом всесторонне обосновывает противоположение языка и речи в речевой деятельности.

Дух синтеза, присущий концепции Э. Бенвениста, предопределяется выделенными им детерминантными свойствами языка, в первую очередь тем, что язык

имеет знаковую природу, сочетая два способа означивания: *семиотический*, свободный и независимый от всякой референции, и порождаемый речью *семантический*, основанный на всех референтных связях.

Благодаря семантическому способу означивания язык способен выполнять свою первую (и основную) функцию — воспроизводить действительность.

На пути к целостной концепции языкового знака особое место занимает синтезирующее по сути учение К. Бюлера.

В сравнении с последовательно синтезирующими теориями языка и лингвистическими концепциями с очевидной направленностью к синтезу завоевавшая мир концепция Н. Хомского таковой не является. Знаменитый ученый рассматривает язык как биологический объект, биологический орган вне отношения к внешнему миру, включая социальный, а потому его теория имеет выраженный аспектирующий характер.

Тем актуальнее становится задача нового синтеза в теоретической лингвистике, о настоятельной необходимости которого уже в 60–70-х гг. прошлого века писал Г. П. Мельников. По его заключению, сформулированному им в докторской диссертации (1990), «на современном этапе развития науки господствовавшие до недавнего времени тенденции ко всё большей дифференциации научных дисциплин сменились тенденциями к их интеграции. Лингвистика, с такой ее отраслью, как типология языков, стала важным компонентом нового синтезирующего направления, за которым начинает закрепляться название “когнитивные науки”». Разработку общих принципов типологии Г. П. Мельников рассматривает в качестве основы для интеграции многообразных типологических концепций [Мельников 2003: 85].

С 1990 г. прошла еще четверть века. В последнее время с призывом к синтезу в теории языка регулярно обращается А. Д. Кошелев. В связи с выделением и развитием когнитивной науки в самостоятельную область знания, вобравшую в себя достижения многих смежных с языковедением научных дисциплин, новый синтез, согласно А. Д. Кошелеву, *должен осуществляться на основе когнитивного подхода к языку*, тем более что именно языку принадлежит ведущая роль в когнитивной сфере. Только так удастся преодолеть кризисные явления как в когнитивной науке, так и в теоретической лингвистике [Кошелев 2013а; 2013б; 2014а; 2015б] и вновь вернуться к решению задачи, поставленной когда-то В. фон Гумбольдтом, — «рассмотреть язык с точки зрения разносторонних связей человека» [Гумбольдт 1985: 348].

Чтобы преодолеть кризис лингвистики, когнитивной науки и, шире, кризис субъекта [Гиренок 2015: 12], программа нового синтеза не может не учитывать опыт предшествующих синтезирующих учений Платона, В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Г. Гийома, Г. П. Мельникова, ибо они являются *«последовательными стадиями развития системы знаний об объективных сущностных характеристиках объекта»* и, значит, выполняют функцию формирования методологии данной науки, в частности языкознания [Мельников 1986: 14–15].

В целях определения методов исследования при осуществлении следующего синтеза нелишне также иметь в виду, что, согласно А. А. Потебне, цель любой науки — *объяснить* исследуемые явления и *прогнозировать* ее дальнейшее развитие, а это невозможно без опоры на историзм познания. Ведь «основной вопрос всякого знания — *откуда* и, насколько можно судить по этому “откуда”, *куда* мы идем» [Потебня 1968: 503].

Вот почему нельзя продолжать игнорировать вклад отечественных создателей синтезирующих лингвистических учений — от А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртенэ до Г. П. Мельникова и А. Д. Кошелева.

Напомню, что у истоков современной когнитивной науки стоял А. А. Потебня, который видел в языке *средство познания и систему приемов познания* [Потебня 1981: 133; 1976: 259], а в *форме существования языка — деятельность, направленную к познанию человеком мира и самого себя, слагающую и постоянно развивающую мирозерцание и самопознание человека* и тем самым *меняющую отношение личности к природе* [Потебня 1981: 113; 1976: 171]. Немаловажно, что именно А. А. Потебня четко разграничил *внеязычное (мыслительное) и языковое содержание* [Потебня 1976: 263; 1977: 119; 1958: 17–19, 36]. Он же осуществил *синтез сравнительного и исторического методов*.

И. А. Бодуэн де Куртенэ последовательно учитывает *взаимодействие языка с надсистемами*, в которых он существует. По Бодуэну, человек принадлежит одновременно ко вселенной, к органическому миру и к миру психосоциальному [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191]. В социальном общении между людьми с помощью языка задействованы четыре мира: *психический мир* индивида, *биологический* и *физиологический мир* данного организма (и других членов языковой общности), *внешний физический мир* и, наконец, *социальный мир* [Там же, II: 191–192].

Языковое знание, т. е. «воспринимание и познание мира в языковых формах» [Там же, II: 95], включает «знание всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира, как материального, так и индивидуально-психического и социального (общественного)» [Там же, II: 312].

Так как «психический мир не может развиваться без мира социального, а социальный мир зависит от коллективного существования психических единиц» [Там же, II: 191], Бодуэн говорит о едином психосоциальном мире и постоянном психическом существовании индивидуального и коллективного начал в языке.

Языкознание — дисциплина психосоциальная, как и другие науки о человеке (биология, антропология, психология, социология, этнология и т. д.), полагает Бодуэн, находится *на границе между естественными и гуманитарными науками* — ввиду их обращенности, с одной стороны, к внешнему миру, к природе, а с другой — к личности, к психике человека [Там же, II: 326].

Разграничив индивидуальный и коллективный язык, Бодуэн раскрыл их единство и взаимодополнительность, показал диалектическую взаимосвязь общечеловеческого, этнического (национального) и индивидуального.

Хотя в становлении индивидуального языка участвуют два фактора — *наследственный* (биологический и психологический [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 195]) и *социальный*, Бодуэн не приемлет биологический детерминизм, проявившийся когда-то в концепции А. Шлейхера, а в наши дни — в учении Н. Хомского. Согласно Бодуэну, «язык не может быть унаследован» [Там же, I: 335] и «отдельные языки ни в коем случае не суть нечто само по себе врожденное» [Там же, II: 139]. Строго различая биологическое и социальное в образовании индивидуального языка, Бодуэн на первый план выводит социальное начало, ибо «наследственность является биологическим фактором, тогда как каждый индивид приобретает язык путем социального общения» [Там же, I: 335]. Такая точка зрения и поныне является господствующей в отечественной науке.

Особая заслуга И. А. Бодуэна де Куртенэ состоит в том, что он первым разработал вполне современное учение *о системе* языка, не сводя ее, в отличие от Ф. де Соссюра, исключительно к совокупности отношений, т. е. *к структуре*, и рассматривая каждый данный момент «в связи с полным развитием языка». К Бодуэну восходят сегодняшние представления о языковой системе как целостной совокупности взаимосвязанных единиц, об уровневой ее организации, о зависимости свойств языковых единиц от их места в системе, об иерархии единиц, о типах отношений между ними, о механизмах их выделения и функциях, о характере и пределах вариативности, требующей различения инвариантных, как теперь говорят, единиц и их манифестации.

Следуя «систематике языков», синтезирующей в учении И. А. Бодуэна де Куртенэ разноаспектные их классификации, Г. П. Мельников последовательно развивает идеи системной лингвистики и на основе достижений *системологии* разрабатывает свою синтезирующую версию теории языка — *системную типологию языков*, ее принципы и методы.

Г. П. Мельников видит в языке прежде всего *коммуникативное устройство*. Выполняющий коммуникативную функцию язык (языковое сознание) представляет собой «средство превращения несоциализированного сознания в социализированное в каждом индивидуальном сознании» [Мельников 2003: 98].

Взаимоотношения индивидуального и социального сознания зависят, по мысли Мельникова, от особенностей языкового коллектива как надсистемы по отношению к языку и от условий речевого общения во времени и пространстве в мире как надсистеме высшего порядка по отношению к социальной среде. Наивысший уровень системности образуют *социально значимые характеристики* — 1) *особенности языкового коллектива*, в котором формировался данный языковой тип: *величина* коллектива, *однородность* — *разнородность* (смешанность) его состава, *оседлый* — *неоседлый образ жизни*; 2) *режим общения* во внешнем мире — его *прерывность* — *непрерывность* во времени и пространстве. Именно эти характеристики обуславливают специфику морфологического строя различных типов языков и свойственный им *коммуникативный ракурс*, который выявляется в особенностях смысловой схемы типовых высказываний.

Мельников различает *четыре главных коммуникативных ракурса* и соответственно *четыре внутренние детерминанты* (внутренние формы, в определении Гумбольдта), которые характеризуют морфологические типы языков, выделенные Гумбольдтом: *обстановочная* — инкорпорирующий тип, *качественно признаковая* — агглютинирующий тип, *событийная* — флективный тип, *окаzionaleная* — корнеизолирующий тип.

Степень близости индивидуальных сознаний у членов языковых коллективов различается в зависимости от морфологического типа языка. Она является наибольшей у говорящих на инкорпорирующих языках, ниже у носителей агглютинативных и тем более флективных языков, наименьшей — у носителей корнеизолирующих языков.

Г. П. Мельников осуществляет *синтез морфологической классификации языков со стадийной* [Мельников 2000], что согласуется с учением В. фон Гумбольдта о развитии грамматических форм — от отсутствия форм через их аналоги к подлинным формам [Гумбольдт 1984: 343–344].

А. Д. Кошелев делает следующий важнейший шаг — к *синтезу когнитивной и языковой способностей* в их взаимосвязанном развитии, к системному единству *универсального и специфического, абстрактного и конкретного* в языке. Он исходит из закономерностей в познании объекта — *от нерасчлененного самого общего представления об объекте к выделению в нем отдельных аспектов* и далее к *синтезу* накопленных таким образом *знаний о различных сторонах объекта в системном целостном его представлении*.

Противопоставив универсальное специфичному, А. Д. Кошелев выделяет две глобальные парадигмы в эволюции теории языка — Универсальную и Лингвоспецифичную [Кошелев 2014в: 221]. В соответствии с развитием знания о языке они определяют цикл развития в направлении *от синкретичной целостности знания к развивающейся дифференциации универсальной и лингвоспецифичной парадигм и далее к системной целостности синтетической универсально-специфичной парадигмы*. Лингвистика XXI в. должна стать следующим этапом в развитии синтезирующих системных учений о языке [Там же: 228–232].

А. Д. Кошелев предлагает построить *заново всеобъемлющую всестороннюю теорию языка в синтетическом взаимодействии* лингвистики со всем кругом наук о человеке, что означает переход к *новой* единой когнитивной парадигме, не ограниченной традиционно выделяемыми когнитивными науками [Кошелев, в печати: 45–46].

Руководствуясь новым пониманием когнитивного подхода, с конца XX в. А. Д. Кошелев осуществляет референциальный анализ лексики и элементов сенсорной грамматики [Кошелев 1996].

Как пишет автор в своей итоговой анализируемой здесь книге (она готовится к печати), он исходит из того, что «наряду с функцией общения язык несет и другую (столь же важную) функцию: описание воспринимаемой действительности... которая не может эффективно реализовываться без референциальных значений.

Эти же значения (а не чисто языковые) лежат в основе языковой классификации действительности» [Кошелев, в печати: 189].

Придерживаясь когнитивного направления, А. Д. Кошелев дополняет референциальный подход к сенсорным элементам концептуальным. Поскольку первыми у ребенка формируются родовые категории, внимание автора сосредоточено на базовых концептах, т. е. на когнитивных понятиях, задающих родовые категории [Там же: 197]. Помимо визуальной формы предмета и визуального действия с ним, в формулу базового концепта, согласно А. Д. Кошелеву, должны быть включены две функциональные характеристики — *функция предмета* и *психофизическое состояние человека*, осуществляющего данное действие. Первая характеристика относится к предмету, вторая — к человеку [Там же: 200]. Под психофизическим состоянием автор понимает «нейронный код долговременной памяти..., фиксирующий типизированное текущее действие человека, т. е. двигательный концепт» [Там же: 221]. Так *в формуле базового концепта мир внешних явлений оказывается связанным с внутренним миром человека*.

Вслед за сенсорной лексикой автор рассматривает значение простого сенсорного предложения, в котором все слова являются сенсорными и употреблены в основных значениях [Там же: 283]. Учитывая, что «...важнейшими для человека внешними событиями являются наблюдаемые (текущие) изменения, происходящие в окружающем мире», «...исходными когнитивными единицами представления действительности и являются для человека элементарные изменения», иначе говоря, предметно-двигательные события [Там же: 284]. Первоначально человек воспринимает их синкретично. В классе визуально и функционально сходных событий «каждое событие непосредственно распознается как тождественное протоконцепту», т. е. обобщенному событию, отражающему внешний облик и интерпретацию наиболее типичных событий класса [Там же: 285].

Главное свойство детских протоконцептов — синкретизм, синтез различных характеристик, так что «ребенок и не может ни манипулировать мысленно этими характеристиками, ни называть их по отдельности, только — в совокупности» [Там же: 289]. В процессе развития протоконцепт делится на предметную и двигательную части. Далее двигательная часть членится на двигательный концепт и отдельные роли. Затем начинается этап интеграции. «Тем самым синкретичный протоконцепт преобразуется в систему концептов (своих частей)» [Там же: 290].

Как видно, по А. Д. Кошелеву, в развитии детских представлений о мире действует тот же фундаментальный принцип, что и в эволюции общей теории языка.

В заключение анализа сенсорного предложения А. Д. Кошелев предлагает новое понимание *когнитивного языка мысли*. Оно опирается на различение единиц двух уровней — *перцептивного* и *концептуального*. Несмотря на отличия в составе единиц на данных уровнях, элементы и конструкции концептуального уровня (вплоть до значения предложения), будучи сенсорными, подобно элементам перцептивного уровня обладают структурой «визуальный Прототип ← Интерпретация». Соответственно, в определении А. Д. Кошелева, «концептуальные единицы суть

структуры перцептивных и функциональных единиц, их интерпретирующих» [Кошелев, в печати: 306–307].

На основании проведенного в книге анализа автор предлагает следующую диахроническую формулу языка:

«Естественный язык = Сенсорный подъязык \Rightarrow Производный язык, где стрелка \Rightarrow обозначает метафорические и метонимические переносы основных значений единиц сенсорного подъязыка» [Там же: 307].

Эта формула имеет **фундаментальный** характер. В частности, она «позволяет объяснить диахронический процесс усвоения ребенком родного языка» [Там же] в социальном общении, прежде всего с матерью, благодаря их «совместным намерениям» [Томаселло 2011: 31, 69, 77–78 и др.].

Углубленный анализ языка в синтезирующих концепциях Г. П. Мельникова и А. Д. Кошелева, по сути, подготавливает разрешение кризиса в языкознании и когнитивных науках, требуя отказа от Вавилонского подхода [Мельников 2000; Кошелев 2013б], которым отличаются в своих исследованиях разнородные аспектирующие концепции современности.

И последнее — о собственном вкладе в теорию языка автора данной книги.

1. С единых позиций реконструированы и описаны ключевые философско-лингвистические и лингвистические концепции. *Исходя из триединства мира внешних явлений, внутреннего мира человека и языка, из взаимодействия языка со средой (физической, социальной, психической) выявлена достаточно строгая последовательность в эволюции общей теории языка* [Зубкова 1999/2003; 2002/2003; 2015], уточненная в данной книге.

2. В свете таких сущностных свойств языкового целого, как *членение, категоризация, иерархия* в членении и категоризации, разработано **системное обоснование внутреннего строя языка как единства плана содержания и плана выражения**.

Впервые определены универсальные и типологические закономерности фонемной структуры слова как значащей единицы, связанной иерархическими отношениями с предложением и морфемой.

Изучив основные типы словесных знаков: семиологические классы слов, включая базовые части речи (имена существительные и глаголы/предикативы), словообразовательные макропарадигмы (непроизводные слова и дериваты разных ступеней мотивированности), лексико-семантические категории (полисемии, синонимии, антонимии), автор доказывает, что «согласованность между звуком и мыслью» (по В. фон Гумбольдту), между означающим и означаемым как принцип знака заложена в категориально-иерархической организации обоих планов языка. Будучи языковой универсалией, категориально-иерархическая организация словесных знаков различных типов принимает разные формы в зависимости от *способа грамматической категоризации и глубины иерархического членения* языкового целого, причем типологическая неоднородность языка способствует реализации принципа знака.

Итак, **язык по своей внутренней организации есть категориально-иерархическая система знаков**. Любой знак (включая и непроемодный словесный знак) представляет собой *коррелят* той системы, членом которой он является. Поэтому **языковой знак есть системно мотивированная двусторонняя сущность** [Зубкова 1978; 1990; 1999/2003; 2010; 2015: 643–709].

* * *

Уникальный опыт синтезирующего всеохватного подхода к языку в отечественной лингвистической традиции отнюдь не случаен. Он проистекает от свойств русской ментальности и русского языкового мышления [Колесов 2004], из своеобразия русского стиля научного мышления [Флоренский 1990: 125–126], во всяком случае в гуманитарных науках и в философии [Степанов 1997: 352]. Русская философская мысль движима идеями целостности и всеединства. По словам В. В. Зеньковского, «русские философы, за редкими исключениями, ищут именно целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа» [Зеньковский 1991, I, ч. 1: 17].

Благодарности

Первые слова моей благодарной любви и самой нежной признательности моим удивительно доброжелательным заботливым родителям и необыкновенно милосердной сестре. По сути, мамочке, папуле и Нинусе я обязана всем — и тем, что живу, и тем, чего удалось добиться в науке.

Когда я слегла, своим терпением, заботой и самоотверженностью Ниночка буквально спасла меня, как раньше спасала маму и папу.

Ниночка целиком и полностью подготовила к печати две мои недавние книги, выпущенные издательством ЯСК, и заставила внести в них правку. К сожалению, последнюю, посвященную ей монографию Ниночка так и не увидела: коварный недуг сразил ее, а я не сумела спасти ей жизнь. Остался только живой свет ее души...

Я глубоко признательна сотрудникам издательства ЯСК, взявшим на себя инициативу выпуска данной книги, тем более что и в ней немалая доля труда Ниночки.

Прежде всего большое спасибо директору издательства Михаилу Ивановичу Козлову и главному редактору Алексею Дмитриевичу Кошелеву.

Особая признательность всем, кто непосредственно работал с рукописью и оформил книгу: Сергею Александровичу Жигалкину, Елене Александровне Морозовой, Татьяне Юрьевне Фроловой, Ирине Владимировне Богатыревой, Евгении Николаевне Зуевой.

Искренне благодарю милую Веру Владиславовну Столярову: она от начала до конца всё направляла и согласовывала. Своевременный выход в свет этой книги — бесспорная ее заслуга.

ВВЕДЕНИЕ

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА

1. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ

Два мира властвуют от века,
Два равноправных бытия:
Один объемлет человека,
Другой — душа и мысль моя.
Афанасий Фет

Язык — это мир, лежащий
между миром внешних явлений
и внутренним миром человека.
Вильгельм фон Гумбольдт

История общелингвистических представлений может быть поучительна во многих отношениях. Во-первых, потому, что в языке объективируется знание и язык является важнейшим средством фиксации, хранения и передачи информации из самых разных областей знания о *мире*. Во-вторых, потому, что язык неразрывно связан с мышлением и, следовательно, история языкознания наряду с историей логики могла бы служить познанию форм и законов *мышления* в его эволюции. В-третьих, потому, что эволюция общелингвистических представлений отражает общий ход познания сущности самого *языка*.

Однако существует мнение, будто общая теория языка настолько непоследовательна, что ее эволюцию невозможно проследить [Ельмслев 1960в: 268]¹. Такое мнение может показаться вполне правомерным, если сравнить исходные принципы основных лингвистических направлений последних двух столетий и вспомнить, как яростно ниспровергаются время от времени все предшествующие теории языка и как меняется определение самого предмета лингвистики в разных направлениях.

¹ В квадратных скобках даются ссылки на работы, включенные в список литературы. После имени автора работы и года ее издания, если необходимо, римскими или арабскими цифрами указывается том, книга и т. д. Далее после двоеточия обозначены номера страниц. Разные работы, а также тома разделяются точкой с запятой.

Для всего этого периода характерно настойчивое стремление понять сущность языка как предмета *самостоятельного* исследования. В самом начале XIX в. В. фон Гумбольдт впервые ставит задачу определить язык «сам по себе и для себя», «как цель в самом себе» [Гумбольдт 1985: 348, 377]. В середине того же столетия с призывом изучать язык «как таковой», «как самоцель» выступает А. Шлейхер [Schleicher 1850: 1; 1869: 120]. В начале XX в. в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра звучит та же мысль: «*единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя*» [Соссюр 1977: 269]. Но что такое язык в самом себе и для себя, язык как самоцель, язык как таковой, понимается далеко не одинаково. Для В. фон Гумбольдта изучить язык сам по себе и для себя значит «рассмотреть язык с точки зрения разносторонних связей человека» [Гумбольдт 1985: 348]. С позиций А. Шлейхера лингвистическое изучение языка должно быть ограничено «естественными» свойствами, сближающими его с природными организмами, а с точки зрения Ф. де Соссюра — за основу следует принять структурные характеристики.

Наблюдаемая непоследовательность лингвистических учений может быть объяснена по-разному. С одной стороны, можно вслед за Ф. де Соссюром всё свести к *субъективному* фактору, полагая, что «в лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, ...здесь точка зрения создает самый объект» [Соссюр 1977: 46], а значит, сколько точек зрения, столько и «объектов». С другой стороны, признав объективно-онтологическую природу языка, можно объяснить непоследовательность лингвистической теории сложностью, многомерностью, многосторонностью самого объекта, вследствие чего основу научного описания языка могут составить разные его свойства. Впрочем, в отсутствие должного обоснования выбор того или иного свойства в качестве определяющего не свободен от элемента случайности и субъективного произвола. В результате вновь и вновь раздаются заявления, что до сих пор язык изучали «с чуждых ему точек зрения» [Там же: 54].

Поскольку понимание сущности исследуемого объекта — в данном случае языка — зависит не только от субъективных способностей и установок исследователя, но прежде всего от особенностей самого *объекта*, немаловажное значение приобретает лингвистический кругозор исследователей, их ориентация на те или иные *конкретные языки*. Известно, например, что многовековой «европоцентризм» общей теории языка определенно сказался на представлениях о его строе, о том, какие языковые единицы и грамматические категории являются универсальными.

Вклад частного языкознания в общелингвистическую теорию тоже зависит от объекта исследования. Так, весомый вклад русистики в общее языкознание, в разработку основ современных представлений о внутреннем строе языка в значительной мере предопределен системными свойствами русского языка, а именно — высокой степенью грамматичности и членораздельности в условиях последовательной грамматической категоризации.

Указанные свойства русского языка явились важнейшими предпосылками для того, чтобы прежде всего на его материале учеными, воспитанными в русской или, шире, славянской лингвистической традиции, — А. А. Потебней, И. А. Бодуэном де Куртене, Н. В. Крушевским, Ф. Ф. Фортунатовым, Н. С. Трубецким, С. О. Карцевским, Р. О. Якобсоном и др. — были заложены основы современных системных представлений о внутреннем строе языка [Зубкова 2015: 729–736].

Наконец, понимание сущности языка в разных лингвистических направлениях явно зависит от того, насколько учитываются его связи, отношения и функции в *надсистеме*, в которой он существует и которую «обслуживает».

Предпринимавшиеся в XX в. попытки построения теории языка «с чисто имманентными целями» — безотносительно к естественным вещам и их отношениям (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев) и на антименталистской основе (Л. Блумфилд) — выявили свою несостоятельность и лишний раз доказали необходимость адекватного философского обоснования, в частности того, что является трансцендентным по отношению к языку, а что — имманентным.

Наука о языке, как справедливо настаивает А. А. Реформатский, нуждается в философских и методологических предпосылках понимания природы и роли языка среди явлений действительности [Реформатский 1987: 20–21]. Не случайно сам Александр Александрович свой курс «Введение в языковедение» начинает именно с объективно-онтологических характеристик языка: «Язык есть важнейшее средство человеческого общения. Без языка человеческое общение невозможно, а без общения не может быть и общества, а тем самым и человека. Без языка не может быть и мышления, то есть понимания человеком действительности и себя в ней» [Реформатский 1967: 7]. Итак, по А. А. Реформатскому, язык, являясь важнейшим средством общения, оказывается в одном онтологическом ряду с *обществом, человеком и его мышлением*, отражающим понимание человеком *действительности и себя в ней*.

Следовательно, *языкознание в поисках своего предмета не может обойти основной вопрос философии* как учения об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру — *вопрос об отношении мышления к бытию, духовного, идеального к материальному, субъективного к объективному*. Исходное противоположение мира, универсума, вселенной человеку лежит в истоках языка и заключает в себе всё его содержание [Гийом 1992: 161–162]. Поэтому и определение языка как предмета языкознания должно опираться на то же «великое противостояние».

Такое определение, дающее ключ к сущности, семиотическим свойствам и функциям языка, было предложено В. фон Гумбольдтом, который является основоположником языкознания не потому, что положил ему начало, а потому, что заложил его основы. Согласно В. фон Гумбольдту, «сущность языка состоит в том, чтобы отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений» [Гумбольдт 1984: 315]. «Вечный посредник между духом и природой», «язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Там же:

169, 304; выделено мною. — Л. 3.]. И это особый мир уже потому, что, будучи единством объективного и субъективного, «язык одновременно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах и [не целиком] произвольное творение говорящих» [Гумбольдт 1984: 320]. «Каждый отдельный язык есть результат трех различных, но взаимосвязанных воздействий: реальной природы вещей, ...субъективной природы народа, своеобразной природы языка» [Там же: 319]. Классический семантический треугольник, связывающий слово, реальный объект и мысль об этом объекте в сознании субъекта, является, таким образом, проекцией трех указанных воздействий.

Обращенность языка к внешнему миру и к человеку определяет основной, базовый характер языкознания (А. А. Потебня, Г. Гийом), его особое положение в системе наук, пограничное между естественными и гуманитарными, антропологическими науками (И. А. Бодуэн де Куртенэ).

Степень адекватности той или иной лингвистической концепции природе языка может оцениваться по тому, в какой мере при его анализе учтено единство и взаимодействие всех трех миров (реального, мыслительного, языкового) и соответственно насколько учтена взаимосвязь трех аспектов семиотики — семантики, прагматики и синтактики.

Основным звеном в триединстве мира, человека и языка является человек. Вот почему В. фон Гумбольдт включает языкознание в сравнительную антропологию как ветвь философско-практического человековедения, а И. А. Бодуэн де Куртенэ предостерегает от отвлечения языка от человека, чем грешат, по его мнению, многие языковеды, в их числе А. Шлейхер, Г. Штейнталь, младограмматики, а позднее, добавим, и такие структуралисты, как, например, Л. Ельмслев.

Ввиду неразрывной связи языка с его носителем особенно важное значение приобретает само понимание человека: признается ли единство человека и природы, единство индивида и общества, единство в человеке природного и социального, индивидуального и общественного, физического и психического, единство человеческой психики (бессознательного и сознания, познавательных и эмоционально-волевых компонентов сознания, чувственного и рационального отражения действительности), единство общего, особенного и отдельного в человеке, единство исторического процесса.

Представления о языке неотделимы от представлений о человеке и его отношении к миру в ту или иную эпоху. **Эволюция общей теории языка как посредника между миром и человеком отражает осознание растущей автономности человека с его внутренним миром и развивающимся самосознанием по отношению к познаваемой вселенной**, с одной стороны (ср.: [Потебня 1976: 170, 305, 409; Гийом 1992: 155]), **и последующее осознание автономности языка по отношению к мышлению** — с другой.

Это общее направление эволюции отчетливо прослеживается по указанным ниже ведущим концепциям, хотя отступления от генеральной линии (не всегда,

очевидно, должным образом осознаваемые) имелись с самого начала. Уже в античности, когда в споре древних о сущности именовании впервые был поставлен вопрос об отношении языка к миру и человеку, о роли природного и человеческого начала в языке, сосуществовали весьма разнородные тенденции в понимании отношений между миром внешних явлений, внутренним миром человека и языком. Так, по заключению Ф. Бэкона, Эмпедокл, Анаксагор, Анаксимен, Гераклит и Демокрит «подчиняли свой разум природе вещей, между тем как Платон подчинял мир мыслям, а Аристотель подчинял мысли словам» [АМФ 1970: 220].

Основное направление в эволюции общей теории языка на протяжении выделенных мною семи периодов можно проследить по ключевым философско-лингвистическим и собственно лингвистическим учениям: античных мыслителей (I период), модистов (II период), авторов Пор-Рояля (III период), Э. Б. де Кондильяка, В. фон Гумбольдта, А. А. Потемнина, И. А. Бодуэна де Куртенэ (IV период), Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Э. Бенвениста (V период), Ф. де Соссюра, Л. Ельмслева (VI период), Г. П. Мельникова, А. Д. Кошелева (VII период).

I. В античности с характерным для нее внеличностным, вещевистским, чувственно-материальным миропониманием, когда при нерасчлененности человека и природы на первый план всё же выступает природа и в человеке видят лишь ее частицу, когда идеальное мыслится вполне вещественно [Лосев 1988а; 1988б; 1990а], бытие, мышление и язык воспринимаются слитно, синкретично, во всяком случае более синкретично, чем в последующие эпохи, так что мыслимое и высказываемое отождествляется с сущим. Согласно Пармениду, «слово и мысль бытием должны быть: одно существует лишь бытие» (цит. по: [Богомолов 1985: 83]). То, что «категории бытия, мышления и языка осознаются античной философией в их единстве, но очень нечетко в их противоположности» [Троцкий 1996: 26], отразилось, в частности, и в толковании понятия *logos*, и в учении Аристотеля о категориях [Бенвенист 1974: 111].

II. В Средние века под влиянием христианского монотеизма античный принцип вещи, тела, природы сменяется принципом личности, общества, истории [Лосев 1992: 62]. С осознанием противоположности природы и человека, с одной стороны, и нераздельного и неслиянного единства души, ума и слова в человеке — с другой, осознается и вторичность языка по отношению к действительности.

В грамматическом учении модистов сами причины языкового строя усматриваются в естественной связи грамматики как основы языка с объективной реальностью. Грамматическая категоризация возводится к миру вещей. В языке как отражении реальной действительности и «грамматика берет свое начало от вещей». Поскольку же «...природы вещей и по виду и по существу одни и те же у всех», то и «логика одна и та же у всех, следовательно, и грамматика» (Иоанн Дакийский; цит. по: [Перельмутер 1991: 18, 14]). Таким образом, созданная модистами первая универсальная грамматика получает онтологическое обоснование и выводится из единства мира.

III. В Новое время под влиянием гуманистического мировоззрения эпохи Возрождения, проникнутого безграничной верой в человека и его разум, причины языкового строя начинают искать не в окружающей человека действительности, а в его внутреннем мире, прежде всего в разуме. Онтологическое обоснование языковой категоризации сменяется логическим. Появляются универсальные рациональные грамматики, авторы которых выводят грамматическую категоризацию из общих для всех народов и во все времена действий ума, операций рассудка, законов логического анализа мысли.

IV. Позднее в противоборстве рационализма с набирающим силу сенсуализмом наряду с признанием вторичности языка по отношению к бытию и мышлению всё более осознается влияние языка на формирование мысли и восприятие действительности, меняющееся в соответствии с историческим характером языка. Исходя из активной роли языковых знаков и отношений между ними в образовании идей, в развитии — на основе чувственного восприятия — воображения, созерцания, памяти, размышления, в языке начинают видеть формирующий мышление «аналитический метод» [Кондильяк 1980; 1983], «образующий орган мысли» [Гумбольдт 1984: 75], «систему средств видоизменения или создания мысли» [Потебня 1989: 227]. Тем самым признается человекообразующая, антропогенная природа языка. На нее указывали И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт, а позднее А. Шлейхер, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Бенвенист, Г. Гийом.

1. Начиная с Э. Б. де Кондильяка анализ соотношения языка и мышления не ограничивается одними универсальными закономерностями, характеризующими язык и мышление вообще безотносительно к их идиоэтническим свойствам. Язык — не только условие формирования мышления вообще. Обнаруженная склонность народов к разным высшим видам мыслительной деятельности объясняется характером, «духом» языка. Одни языки, с точки зрения Э. Б. де Кондильяка, способствуют деятельности воображения, другие благоприятствуют анализу [Кондильяк 1980: 268–269]. Само постижение мира также, оказывается, зависит от языка: ведь люди «привыкли постигать вещи тем способом, каким эти вещи выражены на родном языке» [Там же: 264].

2. Наиболее полно диалектику языка в его отношении к миру и человеку раскрыл В. фон Гумбольдт, опиравшийся в своем учении о языке на достижения как рационализма, так и сенсуализма.

Гумбольдт признает конструктивную роль языка вообще и, более того, каждого отдельного языка в отношении мышления, особенно тогда, когда сам язык превращается в самостоятельную силу. По Гумбольдту, «мышление не просто зависит от языка, — оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком», «различные языки являются для наций органами их оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт 1984: 317, 324]. Но при этом Гумбольдт вовсе не исключает изначального воздействия мышления на язык. Он различает в языковом мышлении и в собственно языковом содержании универсально-логический и идиоэтнический компоненты.

В согласии с рационалистической традицией Гумбольдт полагает, что общие законы языка и процесс употребления звуковой формы в основном обусловлены мышлением, его требованиями к языку, во внутренней форме которого осуществляется акт превращения мира в мысли. Формы мышления, сущность которого Гумбольдт видит в различении мыслящего субъекта и объекта мысли [Гумбольдт 1984: 301], соотношены с языком в первую очередь через обозначение общих отношений, которые большей частью принадлежат непосредственно формам мышления и определяются интеллектуальной необходимостью. «Создание грамматических форм подчиняется законам мышления, совершающегося посредством языка» [Там же: 155]. Так как «общие, подлежащие обозначению отношения между отдельными предметами, равно как и грамматические словоизменения, опираются большей частью на общие формы созерцания и на логическое упорядочение понятий» [Там же: 103], Гумбольдт считает возможным говорить об общей для всех языков единой внутренней форме [Там же: 242].

Однако единство не означает тождества. Идиоэтнический компонент накладывает свой отпечаток не только на лексику (это влияние признавали и до Гумбольдта), но, что гораздо важнее, и на грамматическую категоризацию, формируя особое грамматическое видение. В конечном счете способ представления и категоризации понятий в грамматическом строении языка зависит, по Гумбольдту, от «способа укоренения человека в действительности» — его направленности на чувственное или рациональное восприятие. Индивидуальное своеобразие внутренней формы и, значит, языковой категоризации в каждом данном языке в большей мере сопряжено, по-видимому, с чувственным познанием действительности. Известное единообразие внутренней формы в языках мира имеет преимущественно рациональную природу.

Хотя объективная сфера, совокупность познаваемого независима от языка, заложенное в языке как отражении мировидение не может не влиять на восприятие действительности. Независимо от того, «...вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности», «...ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное... <...> Человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Там же: 104, 80]. И тем не менее, несмотря на самобытность заключенного в каждом языке мировидения, он приближает человека «к пониманию запечатленной в природе всеобщей формы» благодаря тому, что «...закономерностям природы сродни закономерность языкового строя» [Там же: 81].

3. Более радикальную позицию по вопросу об отношении языка к миру и человеку занимает А. А. Потебня.

В трактовке Потебни, отношение между мыслительными и языковыми категориями противоположно тому, какое предполагали рационалисты. Оценивая вклад языка в преобразование дословных элементов мысли и в само ее содержание, в создание отвлечений, Потебня приходит к выводу, что, будучи переходом

от бессознательности к сознанию, язык вторичен по отношению к мышлению, взятому в совокупности всех его форм, однако по отношению к сознательной умственной деятельности язык есть «первое по времени событие» [Потебня 1976: 69]; «лишь при помощи языка созданы грамматические категории и параллельные им общие разряды философской мысли; вне языка они не существуют и в разных языках различны» [Там же: 285]; «от того, каковы грамматические категории, зависит наше мышление, его общий характер, полнота и глубина; от различия этих категорий самое содержание мысли различно у разных народов, сродных между собою и находящихся в одних и тех же климатических и иных условиях» [Потебня 1973: 237–238].

Поскольку же язык — «изменчивый орган мысли», в нем «...нет ни одной неподвижной грамматической категории» — ни общей, ни частной [Потебня 1958: 83]. Исторический характер языка исключает универсальность языковой категоризации. Более того, согласно Потебне, осознававшему относительный характер языковых различий, их зависимость от места в составе целого, «нет ни одной грамматической и лексической категории, обязательной для всех языков» [Потебня 1976: 259].

Изменчивость и категориальное своеобразие языка не могут не повлиять на мировосприятие, на его упорядочение через посредство мышления. «Как в слове впервые человек сознает свою мысль, так в нем же прежде всего он видит ту законность, которую потом переносит на мир» [Там же: 164]. Через призму изменчивой индивидуальности языка «мир человечества в каждый данный момент субъективен; ...он есть смена мирозерцаний» [Там же: 422], и сама «личность, мое я есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое мгновение» [Там же: 283]. Поскольку ход объективирования предметов, так же как содержание самосознания, постоянно изменяется и развивается, соответственно изменяется сам тип языкового мышления, а значит, и различение / неразличение и степень различения субъективного и объективного в процессе познания [Там же: 170, 420–421].

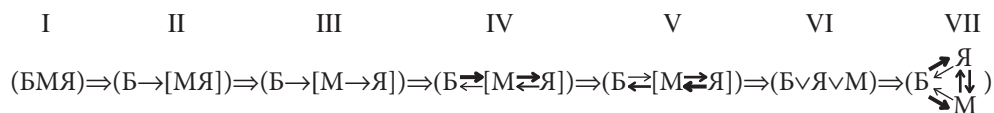
V. В концепциях XX в. — Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, Э. Бенвениста — всё отчетливее утверждается мысль об определяющем влиянии языкового отражения и формального моделирования не только на мышление и организацию понятийных систем, но и на восприятие и членение реального мира (подробнее см. в [Зубкова 1999/2003]). В свете исторического характера и идиоэтнической специфики внутренней формы языка универсальность языковой категоризации всё чаще подвергается сомнению. Статус универсального в сущности признается только за фундаментальным семантическим противоположением лексического и грамматического, или, иначе, конкретных и чисто-реляционных значений, по Э. Сепиру, понятийных и структурных идей, по Г. Гийому. Данное противоположение, как показал Г. Гийом, строится на отношении всеобщего (универсального) и единичного, проистекающем из базового отношения Мир (Универсум) / Человек [Гийом 1992: 130, 162–163].

VI. Логическим развитием идей, заявленных в гипотезе лингвистической отнесенности, явился выдержанный лингвоцентризм, заложенный в исторически предшествующей концепции Ф. де Соссюра. Он исходит из того, что «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], ибо «язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94].

После выхода в свет в 1916 г. «Курса общей лингвистики» учение Ф. де Соссюра пустило глубокие корни в лингвистике XX в. Наиболее последовательно принципы структурализма выразил Л. Ельмслев в своей книге «Пролегомены к теории языка» (1943).

VII. С расширением когнитивных исследований, когда структурализм исчерпал себя, появилась необходимость в новом синтезе путем восстановления триединства мира внешних явлений, мира языка и внутреннего мира человека. Такой синтез языкознания с когнитивной сферой с конца XX в. осуществляется в концепциях Г. П. Мельникова и А. Д. Кошелева. Схема VII периода преимущественно выражает более позднюю концепцию А. Д. Кошелева.

Схематически основное направление эволюции философско-лингвистических воззрений на соотношение бытия (Б), мышления (М) — как важнейшего проявления внутреннего мира человека — и языка (Я) можно представить так:



На протяжении первых трех «долингвистических» периодов наблюдается переход от синкретичного восприятия бытия, человека с его внутренним миром и языка (I) к осознанию первичности бытия, природы вещей по отношению к мышлению и языку, логике и грамматике (II) и, далее, к рациональному, логическому обоснованию языковой категоризации (III). В последующие два периода — со времени обретения лингвистикой самостоятельного научного статуса — наряду с признанием вторичности языка по отношению к бытию и мышлению всё более осознается обратное воздействие языка на формирование мысли и восприятие действительности, так что в гипотезе лингвистической отнесенности (V) определяющим фактором во взаимодействии бытия, мышления и языка в конечном счете оказываются не закономерности природы, как у В. фон Гумбольдта (IV), а язык. В периоде лингвоцентризма (VI) самодостаточность языка представляется максимальной. Реальное триединство бытия, внутреннего мира человека и языка на новой основе восстанавливается в современных синтезирующих учениях (VII).

Осознание самостоятельности языка происходит постепенно вместе с изменением понимания мира и человека и отношения человека к миру. Вполне закономерно, что вторичность языка по отношению к бытию была осознана раньше,

чем его зависимость от мышления, а влияние языка на мышление было замечено до того, как утвердилось представление об определяющей роли языка в членении и восприятии человеком действительности.

Указанной эволюцией взглядов на соотношение бытия, мышления и языка задается генеральное направление развития общей теории языка с античности до наших дней. В частности, в соответствии с изменением взглядов на соотношение бытия, мышления и языка эволюционирует и представление о функциях языка по отношению к бытию и мышлению. Первоначально в языке видят совокупность имен вещей и, следовательно, средство обозначения вещей, затем — средство выражения и передачи универсальной мысли. Только потом язык предстает как средство образования идей и, наконец, как средство членения и восприятия бытия, причем у каждого народа свое.

Сообразно с осознанием самостоятельности языка по отношению к миру и человеку объяснение грамматического строя как основы языка сначала ищут во внешнем мире (модисты), затем во внутреннем мире человека (авторы Пор-Рояля, Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт) и лишь потом в самом языке (структуралисты).

Так же постепенно — лишь по мере обретения человеком самостоятельности по отношению к природе, по мере роста его самосознания — в общей теории языка осознается, что триединство мира, человека и языка реализуется в единстве общего, особенного и отдельного. Поскольку человек — это и представитель рода, и представитель этноса, и самосознающий себя индивид, постольку различаются всеобщий человеческий язык (в отличие от языка животных), язык данного этноса (в отличие от других племенных и национальных языков), язык данного индивида (в отличие от языков иных членов той же этнической общности). Вследствие этого и мир в языковом отражении тоже многослоен: мировидение человека вообще отличается от отражения действительности у животных, мировидение данной нации отличает ее от других наций, мировидение данного индивида выделяет его среди остальных индивидов.

Диалектическое единство общего, особенного и отдельного в языке, вполне осознанное В. фон Гумбольдтом и И. А. Бодуэном де Куртенэ, в практику лингвистических исследований внедрялось поэтапно путем восхождения от абстрактного к конкретному. В логическом направлении предметом исследования был всеобщий человеческий язык (универсальная грамматика), в романтическом направлении и в этнопсихологии — национальные языки. Языки индивидов до недавнего времени находились на периферии лингвистических исследований. Хотя уже В. фон Гумбольдт конечную цель языка видел в индивиде [Гумбольдт 1985: 397], всё, в чем проявляется свободное самоопределение индивида — его чувства, воля, каприз, произвол, всё, что касается индивидуального использования языка, долгое время выводилось из языкознания либо в филологию (А. Шлейхер, Г. Пауль), либо во второстепенную часть внутренней лингвистики — лингвистику речи (Ф. де Соссюр). Даже если декларировалась необходимость изучать говорящего индивида, как это делали младограмматики, в центре внимания оказывался

языковой узус (и, значит, социальная природа языка), а отнюдь не язык индивида. Положение изменилось лишь во второй половине XX в., когда рост самосознания человека повлек за собой интерес лингвистов к «языковой личности». Объектом изучения всё больше становятся языки отдельных индивидов, и соответственно внимание исследователей с семантики и синтактики языковых знаков переключается на прагматику [Степанов 1985] и обыденное языковое сознание, в том числе метаязыковое, как ключ к языкам индивидов.

В целом такое понимание эволюции лингвистической мысли вполне согласуется с предложенным П. Тейяром де Шарденом определением эволюции как возрастания сознания [Тейяр де Шарден 2002].

В этом плане названные этапы в развитии общей теории языка соотносительны, хотя и не совсем совпадают, с тремя типами неоплатонизма, эволюционировавшего от космологизма к теологизму и, далее, к антропоцентризму [Лосев 1978: 94–95], и с тремя парадигмами мышления — семантической, синтактической и прагматической, выделенными Ю. С. Степановым в науке о языке, философии и искусстве слова [Степанов 1985].

2. АСПЕКТИРУЮЩИЕ И СИНТЕЗИРУЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ

В понимании автора, *подлинно системное целостное знание о сущности языка достижимо лишь исходя из триединства мира, человека и языка, из единства разносторонних связей и свойств человека.*

Далеко не все рассмотренные ниже лингвистические концепции отвечают этим требованиям.

Логика естественного развития научного знания такова, что подавляющее большинство теоретических концепций носит аспектирующий характер. По определению Г. П. Мельникова, *аспектирующие концепции* акцентируют свое внимание на отдельных сторонах исследуемого объекта, и потому они часто противоречат друг другу. Неудивительно, что разработка каждой новой теории, выдвигающей на первый план очередной частный аспект языка в качестве самого важного, нередко начинается с отрицания либо одного из предшествующих аспектирующих направлений (ср.: младограмматическое направление в оппозиции к натуралистическому, неолингвистика в оппозиции к младограмматизму, гипотеза лингвистической относительности как антитеза рационалистической теории языка), либо всей «старой» лингвистики (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев, Л. Блумфилд, Н. Я. Марр).

Синтезирующие концепции «позволяют соотнести аспектирующие концепции на определенном уровне разработанности общих представлений об объекте, например о языке», и «перейти к более глубокому пониманию его *сущности* как органического *целого*». В отличие от аспектирующих концепций, синтезирующие «не могут оказаться *противоречащими* друг другу, отменяющими друг друга. Они должны быть последовательными *стадиями развития системы знаний об объективных сущностных* характеристиках объекта и, значит, выполнять функцию формирования

методологии данной науки, а не частных ее *методов*, как аспектирующие концепции» [Мельников 1986: 14–15].

В языкознании XIX–XX вв. к числу аспектирующих принадлежат, например, концепции А. Шлейхера, главы *натуралистического* направления; Г. Пауля, ведущего теоретика младограмматического направления, взявшего за основу *индивидуальную психологию* человека; Ф. де Соссюра, предтечи современного *структурализма*; *антименталиста* Л. Блумфилда; Н. Я. Марра, поставившего во главу угла *социальную природу языка*.

В понимании сущности языка как предмета самостоятельного лингвистического исследования названные концепции в большей или меньшей степени ограничиваются одним из частных аспектов, нередко пытаюсь подвести под него все остальные. В результате язык сводится либо к естественным (природным), либо к индивидуально-психическим, либо к структурным, либо к социальным характеристикам. Соответственно языкознание определяется то как естественно-историческая, то как культурно-историческая, то как семиологическая, то как социологическая наука.

Так или иначе для всех этих концепций характерно *непонимание триединства мира, человека и языка, метафизическое противопоставление природного и социального, физического и психического, индивидуального и общественного в языке и его носителе — человеке*. Отсюда принципиальные расхождения указанных учений в определении отношения языка к миру и человеку, а значит, и в решении конкретных лингвистических проблем. Так, если для А. Шлейхера язык — это естественный организм, складывающийся под влиянием жизненных условий и среды обитания независимо от воли и произвола человека, то с позиций Ф. де Соссюра естественные вещи вообще не имеют отношения к языку и внешние условия не влияют на его внутренний организм, а в трактовке Н. Я. Марра любой язык является «искусственным созданием» общности, неотделимым от материальной культуры. В случае отождествления языка с естественным, природным организмом в его развитии усматриваются циклы возникновения, роста, расцвета, старения и распада, аналогичные «возрастам» человека и чрезвычайно напоминающие фазы этногенеза в концепции Л. Н. Гумилева, который рассматривает этнос как явление биосферы [Гумилев 2002]. Если же за основу берется социальная сторона языка, то в его развитии на первый план выдвигаются социальные закономерности и, следовательно, социальный прогресс как определяющий фактор. Одностороннее сведение языка либо к природным, либо к социальным свойствам методологически одинаково неудовлетворительно, так как при этом игнорируется двойная сущность человека и его языка — природная и социальная одновременно.

Недооценка *диалектического единства противоположностей в языке и его носителе*, непонимание действительного места данного аспекта в соотношении с остальными рано или поздно обнаруживают свою несостоятельность. С развитием языкознания ограниченность аспектирующих концепций с их однобокой ориентацией либо на семантику, либо на прагматику, либо на синтактику становится самоочевидной, и тем скорее, чем они последовательнее. Яркий пример тому —

суровая, даже уничтожающая и не во всем справедливая (а то и политизированная) критика в адрес А. Шлейхера и Н. Я. Марра.

Несмотря на известную ущербность аспектирующего подхода к изучению объектов действительности, на определенных этапах развития науки он не только неизбежен, но даже необходим. Он позволяет глубоко проанализировать и ярче высветить ту или иную сторону объекта, разработать специальные методы его исследования и, как в доказательствах от противного, лучше понять значение других сторон и таким образом подготовить базу для построения новых синтезирующих теорий. Наконец, анализ аспектирующих концепций весьма продуктивен в методологическом плане. Вот почему они требуют не менее внимательного и бережного отношения, чем синтезирующие, системные учения, в большей или меньшей степени ориентирующиеся на триединство мира, человека и языка.

Первый известный синтез в изучении языка был осуществлен Платоном на основе диалектического анализа в диалоге «Кратил» двух теорий именованя — «природной» и «договорной». По существу, Платон предложил первую системную концепцию языкового знака, базирующуюся на единстве объективного и субъективного.

Самый значительный синтез в области общей теории языка — заслуга В. фон Гумбольдта. Его лингвистическое учение явилось синтезом двух сосуществовавших на протяжении многих веков тенденций в познании языка — рационалистической и сенсуалистической. Гумбольдт не просто закрепил, но глубоко обосновал взгляд на язык как на особый мир, выступающий посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека. Вскрыв диалектику взаимоотношений между языком и духом, языком и мышлением, языком как отражением и знаком, Гумбольдт своим учением о форме, основывающимся на деятельностной природе и функциональном предназначении языка, заложил фундамент современного системного подхода к языку в его отношении к миру и человеку.

Последующий синтез, реализованный в трудах А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртенэ, позволил раскрыть специфику знаковой природы языка как исторически изменяющейся формы развивающейся мысли и выявить закономерности его системной организации.

К синтезирующим лингвистическим учениям XX в. принадлежат психосистематика Г. Гийома и системно-типологическая концепция Г. П. Мельникова. Они стали новым шагом на пути дальнейшего осмысления взаимоотношений языка и речи с миром внешних явлений и внутренним миром человека. Дух синтеза отличает также концепцию Э. Бенвениста. В ней показана неразрывная связь символичности и членораздельного характера языка с наличием содержания, проистекающим из органического единства языка и мышления.

Идеи синтеза весьма актуальны и для современного этапа развития лингвистики. Общая теория языка нуждается в новом системном осмыслении огромного фактического материала, накопленного как в самой лингвистике, так и в смежных областях знания, обращающихся к языку как объекту исследования. В последней работе А. Д. Кошелева в синтезе референциального подхода с концептуальным

язык предстает отражением чувственно воспринимаемой действительности, с одной стороны, и внутреннего мира человека, его мышления, его психофизического состояния — с другой.

Хотя поступательное развитие общей теории языка связано прежде всего с синтезирующими концепциями, в смене одной аспектирующей концепции другой также есть своя закономерность, за которой стоит общий ход познания, отражающий эволюцию как возрастание сознания. Не случайно, прежде чем было в полной мере осознано единство в языке природного и социального, физического и психического, сначала в нем выдвигается на первый план природное, физическое начало, и приверженцы натуралистического направления уподобляют язык природным организмам, полагая, что в нем действуют неизменные естественные законы, исключаящие волю и произвол человека. Затем младограмматики усматривают в языке психофизическое образование. И лишь позднее он квалифицируется как чисто психическое явление (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев) и как чисто социальное создание (Н. Я. Марр).

Таким образом, указанное выше основное направление эволюции общей теории языка прослеживается не только в последовательности синтезирующих учений, но и в смене одних аспектирующих концепций другими. А так как языковедное (лингвистическое) мышление определенно отражает сущностные свойства языка и языкового мышления, то эволюция общей теории языка в его отношении к миру и человеку, бытию и мышлению, очевидно, соотносится с «всеобщим движением языкового развития», с изменением на разных его этапах, как показали В. фон Гумбольдт и А. А. Потебня, степени автономности языка по отношению к духу и мышлению, соотношения объективного и субъективного в языковом мышлении.

Можно заметить, однако, что с развитием научного знания чисто аспектирующие концепции появляются реже. В XX в. аспектирующие концепции нередко обнаруживают синтезирующие черты. Таково, к примеру, новое учение о языке Н. Я. Марра, до сих пор привлекающее внимание лингвистов.

Свидетельством тому антология «Сумерки лингвистики», освещающая «один из самых сложных, противоречивых, но одновременно плодотворных периодов отечественного языкознания» [Сумерки лингвистики 2001: 2], в котором едва ли не доминирующее положение принадлежит марризму. Составители антологии в своем предисловии вполне адекватно показывают, как «парадигма “нового учения о языке” Н. Я. Марра» «оценивается—переоценивается с позиции дня нынешнего» [Базылев, Нерознак 2001: 16–19].

Достаточно взвешенную оценку концепции Марра дает акад. В. М. Жирмунский. В предисловии к тому своих «Избранных трудов» от 1.12.1967 г. он пишет: «Мне приходилось говорить неоднократно, что вся конкретная лингвистическая работа Марра в пору создания им так называемого “нового учения о языке” должна быть полностью и бесповоротно отвергнута, поскольку она целиком построена на фантастической идее палеонтологического анализа всех языков мира по четырем первоэлементам. Однако это не значит, что в теоретических идеях и отдельных высказываниях

Марра, в большинстве случаев научно не разработанных и хаотических, не содержались творческие и плодотворные мысли, которым большинство из нас (в особенности ленинградских лингвистов) обязано общей перспективой наших работ. К таким общим установкам я отношу прежде всего борьбу Марра против узкого европоцентризма традиционной лингвистической теории, стадияльно-типологическую точку зрения на развитие языков и их сравнение независимо от общности их происхождения, поиски в области взаимоотношения языка и мышления и то, что можно назвать семантическим подходом к грамматическим явлениям» [Жирмунский 1976: 8–9].

Принципиальное значение имеет переключение внимания на содержательную сторону языка–речи, на семантику. По Марру, «существо речи в содержании ее, а не в форме» [Марр 1933: 253]. «Сам предмет наш — речь, как объект исследования — не один, не простая единица, язык не один, а единый в диалектическом единстве языка–формы и мысли–содержания, языка–оформления с его техникой и мысли–содержания в качественной действительности, мышления с его техникой» [Марр 1936: 434]. Соответственно, по заключению Г. А. Климова, «...особенно в 40-х гг., контенсивно-типологические исследования составили магистральную линию развития типологии в СССР, в то время как итоги формально-типологических оказались весьма скромными. Следует отметить, что именно первым принадлежала ведущая роль в борьбе с безраздельно господствовавшим в ту эпоху европоцентризмом лингвистического описания разнотипных языков мира (в последнем плане далеко не все резервы контенсивной типологии использованы и современным языкознанием)» [Климов 1981: 107].

В этой связи попадают в поле зрения «особые отношения преемственности формы и содержания, благодаря которым нечто из старой стадии концепта становится знаком в его новой стадии», иначе говоря, эволюционные семантические ряды, по Ю. С. Степанову, или «функциональная семантика», по Марру [Степанов 1997: 56]. Проводя вслед за Э. Б. Тейлором наблюдения над параллельными рядами вещей и их наименований в естественном языке, «...Н. Я. Марру удалось выявить некоторую специфическую закономерность. <...> Суть этой закономерности состоит в том, что значения слов–имен изменяются в зависимости от перехода имени с одного предмета (или действия) на другой предмет, заменивший первый предмет в той же самой или сходной функции. <...> Наблюдения Н. Я. Марра — в общем виде — подтверждаются археологическими данными и данными о ритуалах» [Там же: 57].

Наконец, в основе своей идентичные две статьи Т. В. Гамкрелидзе в сущности реабилитируют Марра в том, что вызывало наибольшее неприятие в его учении — в идее языковых первоэлементов [Гамкрелидзе 1988; 2005]. Вторая статья представляет собой изложение доклада автора на международном коллоквиуме, организованном П. Серио в Лозаннском университете (Швейцария) и посвященном анализу и оценке наследия Н. Я. Марра. Вслед за организаторами Т. В. Гамкрелидзе квалифицирует марризм как *утраченную парадигму* и помещает ее между сравнительно-исторической грамматикой, с одной стороны, и синхронической

лингвистикой Ф. де Соссюра, обусловившей развитие ряда структурных учений, с другой стороны.

Такая переоценка концепции языковых первоэлементов была вызвана открытием генетического кода в молекулярной биологии: в 1953 г. американский биохимик Дж. Уотсон и английский биофизик и генетик Ф. Крик предложили структурную модель ДНК, пролившую свет на механизм наследственности. «...В генетическом коде информативен не отдельный элемент системы, не отдельный химический радикал, а особые комбинации этих исходных четырех нуклеотидов по три элемента, создающие так называемые “триплеты”. ... Можно составить всего 64 комбинации из четырех исходных элементов по три...» [Гамкрелидзе 1988: 3; 2005: 3–4].

Сходство открытого генетического кода с лингвистическим требовало объяснения. С точки зрения Р. Якобсона, обнаруженный изоморфизм двух кодов, в пересказе Т. В. Гамкрелидзе, «есть результат филогенетического конструирования языкового кода по модели, по образцу и структурным принципам кода генетического» [Гамкрелидзе 1988: 6; 2005: 5].

Задолго до открытия генетического кода Н. Я. Марр пытался объяснить единство глоттогонического процесса, сводя «исторически возникшее многообразие языков именно к четырем исходным элементам, состоящим, как это ни странно, из своеобразных звуковых троек» — *сал, бер, йон, рош* [Гамкрелидзе 1988: 7; 2005: 5].

«Эксплицитных и осознанных знаний о... структуре генетической информационной системы Марр иметь, конечно, не мог, как не могли ими обладать и те древнекитайские философы, которые примерно три тысячи лет назад разработали особую систему трансформаций четырех бинарных элементов, составленных из “мужского принципа” ян и “женского принципа” инь и сгруппированных по три, что дает всего 64 троичных последовательности, аналогичных генетическим “триплетам”. С помощью сочетания подобных “троек” и описывается в этой древнекитайской символической системе многообразие всего живого и устанавливаются соотношения между ними. В этой связи следует вспомнить об аналогичных системах с **четырьмя** элементами в космогонии ионийцев, с **четырьмя** состояниями человеческого тела, по Гиппократу. Эти символические системы, как и марровская модель языка, поразительно совпадают, вплоть до количественных параметров, со структурой генетического кода, выступающего, очевидно, в качестве их подсознательного субстрата» [Гамкрелидзе 2005: 5] (соответствующий текст в [Гамкрелидзе 1988: 7–8] расходится с процитированным лишь в деталях).

Открывавший дискуссию на коллоквиуме последовательный противник марризма В. М. Алпатов не мог не признать: «... Человек с замечательной интуицией, Марр часто мог что-то угадывать. Так, его идею о грядущей “революции” в языке, который “перерастает звуковую форму”, можно считать своеобразным предсказанием “визуальной революции” в передаче информации в XX веке» [Вельмезова 2006: 157].

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА С АНТИЧНОСТИ ДО КОНЦА XVIII В.

1. МЕСТО ТЕОРИИ ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ

Начиная с античности и вплоть до конца XVIII в. знание о языке складывалось и развивалось главным образом в рамках философии, филологии, а в Средние века также теологии. основополагающий вклад в разработку общелингвистической проблематики внесли, в частности, античные философы Демокрит, Платон, Аристотель, стоики, Эпикур; ранние христианские теологи II–VIII вв. (так называемые отцы церкви, среди них Аврелий Августин и Григорий Нисский), средневековые схоласты — реалисты, номиналисты, концептуалисты, спорившие на протяжении многих веков о природе «универсалий» (общих понятий), в их числе П. Абеляр и У. Оккам; модисты в конце XIII — начале XIV в.; философы и грамматики рационалистического направления XVI–XVIII вв. — Р. Декарт и Г. В. Лейбниц, Фр. Санчес и авторы Пор-Рояля А. Арно, Кл. Лансло, П. Николь; смыкающиеся с ними в культуре разума французские энциклопедисты; наконец, эмпирики и сенсуалисты Нового времени — Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Э. Б. де Кондильяк.

Список философских и грамматических учений прошлого, подготовивших создание общей теории языка, легко может быть расширен. Но лишь в эпоху немецкой классической философии благодаря гению В. фон Гумбольдта общая теория языка приняла вполне законченный системный вид и обрела, наконец, статус самостоятельной научной дисциплины.

Изначально же язык не был объектом и предметом самостоятельного научного исследования. Античные философы обращались к языковому материалу в целях постижения основ бытия, законов и форм мышления, принципов человеческого познания, нередко отождествляя языковые закономерности с онтологическими и логическими [Троцкий 1996: 26]. Тем не менее уже в древних спорах об основаниях именовании — «по природе» именуемых вещей или «по закону» (установлению) именуемых людей — речь шла не только о природе языковых знаков. По существу, были поставлены кардинальные общелингвистические проблемы: о соотношении языка, мышления и действительности и, значит, о языке как посреднике между

миром и человеком; о соотношении объективного и субъективного в языке, а следовательно, об отражательных и знаковых свойствах языка.

Однако в силу естественного синкретизма, нерасчлененности теоретического знания в эпоху его становления античная философия языка растворялась в онтологии и гносеологии.

Так, у Аристотеля проблемы языка затрагиваются и в «первой философии» («Метафизика», «Категории»), и в логических трудах («Аналитика», «Об истолковании», «О софистических опровержениях»), и в сочинениях, посвященных словесным «искусствам» («Поэтика», «Риторика»).

У стоиков учение о языке оказывается нераздельной частью логики в целом и каждой из логических дисциплин в отдельности: диалектики (науки о правильном рассуждении), распадающейся на учение об обозначаемом и учение об обозначаемом, и риторики (науки об умении красиво говорить). Такой синкретизм задан самим понятием «*логоса*» (см. ниже), к которому восходит и введенный стоиками термин «*логика*».

Утвердившийся с античности логический подход к языку определил господствующее положение рационалистической традиции в последующем развитии общей теории языка вплоть до конца XVIII в.

В рационалистически ориентированных античных учениях Парменида, Платона, Аристотеля из онтологического противопоставления изменчивого чувственного мира неизменному умопостигаемому миру, из оппозиции единичного и общего выводится противоположение обманчивого мнения истинному знанию [ФЭС 1989: 372]. Научное знание о единичном, чувственно явленном Аристотель считает невозможным. «*Всякое научное знание есть знание об общем*», о «*причинах*» и «*началах*», которые должны получить доказательное обоснование с помощью дедуктивно-аксиоматического метода. Не без влияния Аристотеля с античности до Нового времени метод дедукции явно преобладает и в общей теории языка.

Сенсуалистическая традиция, заданная Протагором и отчетливо проявившаяся уже в лингвистическом учении Эпикура, оказалась на заднем плане. Ее значение явно возрастает лишь в Новое время.

* * *

С зарождением филологии в эпоху эллинизма потребности критики и комментирования литературных памятников, нужда в установлении и закреплении языковых норм привели к созданию в III–II вв. до н. э. грамматики. В Александрийской школе она уже вполне эмансипировалась от философии [Троцкий 1996: 31] и общелингвистической проблематики.

Хотя, по определению Дионисия Фракийца, грамматика наряду с риторикой и философией относилась к логическим искусствам, внимание александрийцев сосредоточивается не на познавательных, а на коммуникативных свойствах языка. Грамматика, с точки зрения александрийцев, есть искусство чтения и понимания

поэтов, прозаиков, историков в соответствии с аналогией и обиходом. Это теория правильности речи и письма [Античные теории... 1996: 111–112].

Практическая, нормативная ориентация грамматики была господствующей и в поздний период античности, и в раннее Средневековье [Ольховиков 1985: 99], когда грамматика занимала ведущее положение в составе тривиума, включавшего кроме грамматики диалектику (логику) и риторику.

Но уже с XI–XII вв. ситуация постепенно меняется. Благодаря знакомству с полным сводом логических трудов Аристотеля на первый план в тривиуме выдвигается логика. Происходит логизация грамматики. Под влиянием Аристотеля грамматическая мысль позднего Средневековья устремляется к познанию и объяснению общих свойств языка исходя из лежащих в их основе «начал», или «причин». В результате в XII в. появляется спекулятивная грамматика¹, в которой господствует метод дедукции и принцип доказательства. Зарождается грамматика как наука, сближающаяся с общей теорией языка, которая продолжает разрабатываться в рамках средневековой философии и теологии. Тем самым подготавливается почва для последующего разделения грамматики на грамматическое искусство, допускающее сознательный субъективный выбор в пользовании языком, и грамматическую науку, основанную на точных процедурах и правилах, которые отражают действующие в языке строгие объективные законы. (В этом раздвоении грамматики уже намечается сосюроевское противоположение лингвистики языка лингвистике речи, основанное на дихотомии «язык — речь».)

Первое указание на двойственную природу грамматики реально существующих языков находим в середине XII в. у Петра Гелийского [Грошева 1985: 224–226].

Противоположение грамматики как науки и грамматики как искусства со временем пересекается с противоположением общей и частной грамматики.

Проблема соотношения в языке общего (универсального) и частного (отдельного, специфического) привлекает всё большее внимание по мере отхода от монокультурной античной традиции и в связи с распространением христианства. Расширение лингвистического кругозора вело к осознанию единства различных языков ввиду всеобщности человеческой природы. Эта идея была четко сформулирована уже Тертуллианом (160–220): «Все народы — один человек, различно имя; одна душа, различны слова; один дух, различны звуки; у каждого народа есть свой язык, но сущность языка всеобща» (цит. по: [Эдельштейн 1985: 178–179]).

С признанием отдельных языков вариантами единого человеческого языка стало необходимым отличать частную грамматику от общей, универсальной. Так как предмет универсальной грамматики ограничивался содержательной стороной, которая отождествлялась с мыслительным содержанием, универсальная грамматика попала в подчинение логике [Грошева 1985: 235–236].

¹ «СПЕКУЛЯТИВНОЕ (от *лат.* *speculor* — созерцаю), тип теоретического знания, которое выводится без обращения к опыту и направлено на осмысление оснований науки и культуры» [СЭС 1981: 1266].

Развитое обоснование универсальной грамматики возводят к середине XIII в. — к трудам Роберта Килвордби и Роджера Бэкона. Согласно Р. Килвордби, универсальная грамматика изучает существующую лишь в разуме значащую речь в отвлечении от каждого отдельного языка. Это возможно потому, что, как полагает Р. Бэкон, «грамматика по своему существу одна и та же во всех языках, хотя она и различается (в разных языках) приводящими чертами» (цит. по: [Перельмутер 1991: 11]). Иными словами, «...в каждом языке есть два рода проблем: одни, которые касаются данного рассматриваемого языка, и другие, которые являются общими для всех языков; первый род проблем не должен быть объектом научного изучения, второй род — должен. Таким образом, грамматика может считаться наукой лишь постольку, поскольку ее объект универсален. Универсальность реальности, воспринятая и понятая универсальным человеческим разумом, могла выражаться в универсальном языке» [Грошева 1985: 236].

Вершиной средневековой лингвистической мысли явилось грамматическое учение модистов в конце XIII — начале XIV в. Это первый опыт общей теории языка в духе умеренного реализма, воспроизводившего учение Аристотеля. Модисты искали онтологические основы языковых явлений.

В Новое время грамматика как наука сохраняет объяснительный характер и приверженность принципам доказательства. Но последние имеют теперь не онтологическую, а рациональную, логическую природу. Стремление раскрыть первопричины и истинные принципы языка, опираясь на доказательства с помощью логики, четко обозначилось уже в первых универсальных грамматиках. К ним принадлежат такие труды, как «“Минерва”, или О первоосновах латинского языка» испанского гуманиста эпохи Возрождения Франческо Санчеса (1587) и «Общая и рациональная грамматика Пор-Рояля» Антуана Арно и Клода Лансло (1660). С «Грамматикой Пор-Рояля» связывается окончательное выделение общей и рациональной грамматики из единой синкретической грамматики в самостоятельную область теоретического изучения языка [Бокадорова 1987: 96].

Последовавшее за этим разграничение общей и частной грамматики, противопоставление учения о языковом строе (грамматики) и учения о языковом употреблении (литературы) закрепили противоположение науки и искусства в отношении к такому объекту знания, как язык, что нашло отражение во французской «Методической энциклопедии. Грамматика и литература» (1782–1786, 1789).

Вместе с тем растет потребность в синтезе различных подходов не только при изучении грамматики, но и в целях создания адекватной философии языка.

Укрепление эмпирико-сенсуалистической традиции в Новое время, стимулировавшее рост внимания к изменчивому чувственному миру, вместе с утверждением принципа историзма уже в философских системах Дж. Вико и ряда французских энциклопедистов заставило критически отнестись к рационалистическим постулатам об общих и неизменных принципах речи, проистекающих из общих и неизменных свойств человеческого мышления. Убежденность в однородности, всеобщности мышления вступала в противоречие с разнообразием языков и их

«гениев». Всё более укоренявшиеся представления об активности материи, поддержанные, в частности, Ф. Бэконом [АМФ 1970, 2: 219–220], плохо согласовывались с положением о якобы односторонней зависимости языка от мышления. Взгляд на функции языка по отношению к мышлению явно нуждался в корректировке, и он изменился уже к середине XVIII в.

Синтезирующие тенденции, заданные на исходе XVII в. теорией познания Дж. Локка, сочетавшей и в анализе языковых знаков принципы материалистического сенсуализма с началами рационализма, отчетливо проявились на рубеже XVIII–XIX вв., в частности, во французской лингвистической традиции, предложившей разные пути синтеза — в семиотическом, «идеологическом», философском ключе, с опорой на принцип историзма [Бокадорова 1987: 91–101].

Наиболее последовательно синтез рационалистического и сенсуалистического направлений, логического и исторического методов в исследовании языка был осуществлен в лингвистической концепции В. фон Гумбольдта, признанного основоположником языкознания как самостоятельной науки. Основываясь на диалектическом методе немецкой классической философии, В. фон Гумбольдт создает такую общую теорию языка, в которой язык предстает как активный, деятельностный посредник между миром и человеком, воплощающий в себе единство чувственного и рационального, объективного и субъективного, общего и единичного.

2. Античность

2.1. Язык — мышление — действительность

Из круга обсуждаемых ныне общелингвистических проблем с самого начала в центре внимания оказались две основополагающие и взаимосвязанные проблемы: язык — мышление — действительность и, соответственно, языковой знак. Такая ориентация античных теорий языка объясняется тем, что первыми к теоретическому осмыслению языка — и не ради него самого, а в целях постижения законов бытия и мышления — обратились философы.

2.1.1. Природа — человек — язык

Осознание языка как посредника между миром и человеком, между природой и духом становится возможным лишь с осознанием противопоставления природы и человека. Между тем «до поры до времени человек трактовался как естественный результат общеприродного развития и никакого вопроса об особом соотношении человека и природы не ставилось» [Лосев 1994а: 241].

Вначале, в эпоху общинно-родового строя имела место полная нерасчлененность природы и человека [Там же: 278], причем и природа (а она в античности все же на первом плане [Лосев 1988а: 16]), и человек понимались совсем не так, как в Новое и Новейшее время [Лосев 1994а: 278, 256–258].

Античное сознание, согласно А. Ф. Лосеву, знает только чувственно-материальную действительность, которая имеет вещевистский характер, являясь носителем всех вещей и событий [Лосев 1988а: 67; 1988б: 87–88]. Абсолютный вещевизм античного мифологического мышления охватывает и сферу идеального: «...всё идеальное дано в нем вещественно, субстанционально, целиком материально и целиком зримо физическим зрением» [Лосев 1988а: 23]. Сами же вещи в античном восприятии оказываются не только чувственно-материальными, но еще и живыми, одушевленными, даже разумными [Лосев 1988б: 91]. Старая античная мифология видела в природе, в чувственно-материальном космосе лишь живые существа, наделенные сознанием, переживанием и самодвижущиеся под управлением целесообразных и вечных законов. Поскольку же «...всякое живое существо как раз является и не только объектом, и не только субъектом, но еще и субстанциональным тождеством того и другого» [Лосев 1994а: 333], субъект и объект предстают в нерасчлененной слитности.

Величностный всеобщий вещевизм, отличающий, по А. Ф. Лосеву, античное миропонимание и в первобытно-общинной, и в рабовладельческой формации [Лосев 1988а: 55, 58, 67; 1994: 505], накладывает свою печать и на понимание человека. Исходный телесный вещевизм базируется на отрицании личности [Лосев 1988б: 90]. «...Человек трактуется в античности не как личность в ее субстанции, но как вещь. <...> ...Будучи трактована как вещь, личность понималась здесь как проявление природы, как эманация всё того же чувственно-материального космоса, а не как специфическая и самостоятельная субстанция, которая была бы выше природы и глубже чувственно-материального космоса» [Лосев 1994а: 277].

Становление самостоятельности человеческого индивидуума А. Ф. Лосев относит к последним векам общинно-родовой формации, когда человек перестал чувствовать себя ничтожеством перед природой, что нашло отражение уже в поэмах Гомера [Там же: 236]. Однако и у Гомера «...человек мыслится частицей великой природы, но не индивидуальной, неповторимой и целостной, пусть даже только физической, личностью» [Там же: 511]. Лишь в послегомеровской Греции, начиная с классической трагедии (особенно у Еврипида), зарождается представление о человеческой личности, да и то преимущественно в физическом смысле [Там же: 512–515].

Разделение умственного и физического труда в эпоху рабовладельческой формации, возникновение особой умственной деятельности означало разделение внутреннего и внешнего, идеального и материального, субъективного и объективного [Там же: 368]. И в период античной классики природа, чувственно-материальный космос уже трактуется только как объект [Там же: 238]. Что же касается человека, то и рабовладельческая формация «...построена на понимании человека не как личности, а как вещи: раб есть безличная вещь, способная производить целесообразную работу; и рабовладелец есть безличный интеллект, способный быть принципом формообразования для рабского труда и имеющий огромные возможности для погружения в свое интеллектуальное самосозерцание. ...Рабовладельческая

формация заставляла всякую личность понимать в ее существенной зависимости от ее тела, от ее вещественной стихии» [Лосев 1988а: 52], как отражение и обобщение сил природы и природного человека.

Вопрос о соотношении субъекта и объекта, согласно А. Ф. Лосеву, впервые возникает с конца IV в. до н. э., в послеклассический период античной культуры, когда по мере частичного освобождения рабов на первый план выступают субъективные потребности и интересы человека, что способствует развитию дифференцированного индивидуализма. Однако решается этот вопрос не в плане дуализма, а как наличие объекта в субъекте, поскольку человеческий субъект и в эпоху эллинизма мыслит себя как эманацию всеобщего, теплого и дышащего космического организма [Лосев 1994а: 285]. Субъект становится личностью лишь в атрибутивном смысле, т. е. в смысле наличия большого числа личностных элементов — материальных и идеальных признаков, но не дорастает до личности как субстанции, в которой материальное и идеальное образуют нерасторжимое тождество [Лосев 1988а: 48–49, 76–77]. «Личность, не сводимая на природу, возникла не раньше средневекового монотеизма или возрожденческой абсолютизации земного человека» [Там же: 54].

В силу вещественного понимания чувственно-материального космоса *язык* в эпоху античности определяется как *совокупность имен вещей*. И не случайно имя становится фокусом размышлений древних о языке.

Споря о сущности именованного, античные философы исходили из противопоставления совершенной природы несовершенному человеческому обычаю, закону, установлению, которому свойственны произвол, условность, случайность.

В ходе обсуждения принципов именованного был выдвинут ряд вопросов, сохранивших актуальность и по сей день: о соотношении объективного и субъективного в языковых знаках, об их типологии и познавательной ценности в зависимости от наличия / отсутствия большего или меньшего сходства с обозначаемым, о диапазоне действия правильности имен — одна и та же она для разных народов (эллинов и варваров) или нет, т. е. универсальна она или национально-специфична. Если воспользоваться терминами современной семиотики, то речь шла о том, каково соотношение семантики и прагматики: являются ли языковые знаки иконами / индексами, в большей или меньшей степени подобными вещам, их сущности и природным свойствам, или же языковые знаки представляют собой произвольные условные символы.

Спор этот, как показал Платон в диалоге «Кратил», выявил несостоятельность однобокого выпячивания либо природного, либо человеческого начала в языке. Применительно к языку односторонний «антропоцентризм» софистов, полагавших, что «человек есть мера всех вещей» и что «...любой человек может назвать каждую из вещей каким ему угодно именем» [Античные теории... 1996: 80], так же неприемлем, как односторонний «натуроцентризм» последователей Гераклита, видевших в словах создания природы, подобные теням или отражениям в воде и зеркалах [Там же: 79]. Только синтез обоих начал в духе Сократа дает, по Платону, ключ к познанию истинной природы языковых знаков.

2.1.2. Формы познания и язык.

Истоки рационалистической тенденции в анализе языка

В доклассический (дофилософский) период и в период ранней классики (в досократовской философии) в отсутствие четкого различения материального и идеального в чувственно-материальном космосе чувственное восприятие отождествлялось с мышлением, да и в самом мышлении видели явление чувственной природы [Лосев 1992: 548].

Стремление найти источник движения и упорядочения чувственно-материального космоса, его внутреннюю закономерность приводит древних к мысли о существовании некоего разумного начала. У Гераклита (ок. 540 — ок. 480 до н. э.) это *логос* как закон бытия, его структурная и устойчивая сторона, творящая и оформляющая космическая сила, неотделимая от творящей материи. У Анаксгора (ок. 500–428 до н. э.) это *ум* (*нус*) как источник движения, «виновник благоустройства мира и всего мирового порядка» (Аристотель *Мет.*, I, 3, 984b). Существующий сам по себе как легчайшая и чистейшая из всех вещей, он «...содержит полное знание обо всем и имеет величайшую силу», властвуя над всем, что только имеет душу (цит. по: [Богомолов 1985: 105]). У Диогена Аполлонийского (2-я пол. V в. до н. э.) это *воздух* как «обладающее мышлением» первоначало, которое «всем правит и над всем господствует», «везде присутствует, всё устраивает и во всем заключается» (цит. по: [Там же: 52]). Но в соответствии с материально-телесной сущностью античного мировоззрения ум, логос, мышление понимается как сама же объективная действительность, как категория, атрибут материальных субстанций [Лосев 1992: 455, 542–546].

Представление об упорядочивающей роли разумного начала в мироустройстве приводит к примату рационального над чувственным и в теории познания. Такое противопоставление рационального и чувственного отчетливо проявляется уже в ранней классике — у Парменида (акмэ 504–501 до н. э.) и Демокрита (460–370 до н. э.), когда ум мыслится еще атрибутивно, и упрочивается в период зрелой и поздней классики — у Платона (427–347 до н. э.) и Аристотеля (384–322 до н. э.), когда он понимается как самостоятельная субстанция.

Различение способов познания и его результатов обусловлено онтологически — противоположением двух миров. С одной стороны, это изменчивый мир становления, каким является чувственный мир, «область зримого» (по Платону). С другой стороны, это мир неизменного, единого и вечного бытия, «область умопостигаемого». Познание изменчивого мира становления опирается на чувственное восприятие, на чувственный опыт и дает ненадежное, темное знание или, иначе, мнение (докса). Познание мира неизменного бытия осуществляется с помощью разума, рассудка, мышления. Рациональное познание дает точное, светлое знание (эпистеме) и приводит к истине (см. таблицу, с. 48).

Подлинность рационального познания обусловлена, согласно Пармениду, тождеством бытия и мышления: «мыслить и быть — одно и то же», «одно и то же

мысль и то, о чем мысль», которая высказывается в слове. Сущее есть то, что может мыслиться и высказываться. Следовательно, «слово и мысль бытием должны быть: одно существует лишь бытие» (цит. по: [Богомолов 1985: 82–83]).

Познаваемый объект	Познающий субъект	Способ познания	Результат познавательной деятельности
Изменчивый чувственный мир становления («мир по мнению», область зримого)	Человек	Чувственное восприятие, вера и уподобление	Докса (мнение) — ненадежное, темное знание
Мир неизменного бытия, мир идей («мир по истине», область умопостигаемого)	Боги	Мышление, разум	Эпистеме — точное, светлое знание

Как видно, тождество бытия и мышления охватывает и язык (очевидно, взятый в содержательном, семантическом аспекте, когда, по Платону, «...сведущий в именах рассматривает их значение» («Кратил», 394b) [Платон 1990: 626]).

Такое понимание отношений между бытием, мышлением и языком отчетливо проявляется в античном понятии *логоса*. «“Логос” — понятие логическое, языковое и в то же время — материальное, натурфилософское» [Лосев 1992: 320]. В логосе и слово (в его содержательном аспекте), и мысль представлены одновременно, образуя «глубочайшее единство». Логос — это и «мысль, адекватно выраженная в слове и потому неотделимая от него», и «слово, адекватно выражающее какую-нибудь мысль и потому от нее неотделимое» [Лосев 1994а: 216]. При этом «...“слово” берется не в чувственно-звуковом, а исключительно в смысловом плане, но и “смысл” понимается как нечто явленное, оформленное и потому “словесное”» [Аверинцев 1989а: 321].

Глубочайшее единство и слитность мысли и слова в логосе сопровождается нерасчлененностью в нем единиц и категорий как из сферы мысли, так и из сферы языка. Логос — это и понятие, категория, суждение, умозаключение и рассудок и разум, с одной стороны, а также слово, предложение, высказывание, разговор, речь — с другой [Лосев 1994а: 216].

В то же время в соответствии с господствующим чувственно-материальным миропониманием слово-логос как содержательное единство образует нераздельное целое со своим звучанием — $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$. Согласно В. В. Борисенко, в эпоху античной классики «logos не мыслится вне $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$, вернее, мысленный logos — это тоже мысленное $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$; ...у каждого $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$ есть свой logos. Итак, $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$ и logos в этот период связаны неразсторжимой связью не только потому, что всякое слово-логос — это $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$, но еще и потому, что всякий смысл-логос выражен, явлен в $\rho\eta\theta\eta\bar{\nu}\epsilon$ » [Борисенко 1985: 168].

Отсюда в представлении древних не просто неразрывная связь, но нераздельная слитность мышления и речи, их явное тождество. Так, в определении Платона, «...мысль ($\delta\acute{\iota}\alpha\nu\omicron\iota\alpha$) и речь ($\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$) одно и то же» («Софист», 263e) [Платон 1993: 338], ибо мышление осуществляется в речи, пусть и беззвучной: мышление — это «беззвучная беседа души с самой собой» («Софист», 263e–264a) [Там же: 339], когда она «рассуждает, сама себя спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая» («Геттет», 189e–190a) [Там же: 249]. Используя диалог в качестве основного метода мышления и постижения истины, Сократ и Платон, в сущности, исходят из непосредственной связи мышления с общением [ФЭС 1989: 382, 599, 708].

Тождество речи и мышления обеспечивается тем, что в основе искусства речи, так же как в основе рассуждения и мышления, лежат две диалектические (логические) способности. С одной стороны, «...это способность, охватывая всё общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно», т. е. возводить частное к общему. С другой стороны, «...это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные составные части», т. е. выводить частное из общего («Федр», 265d–266a) [Платон 1993: 176]. Благодаря первой способности образуется понятие, а слово приобретает обобщающий характер. Благодаря второй осуществляется классификация понятий, а язык становится областью членораздельности. Без этих двух способностей, как полагает Аристотель, познание невозможно: «...истина и ложь состоят в соединении и разделении» (Аристотель. «Об истолковании», 1, 4) [Античные теории... 1996: 65]. (Определение мышления через способность к разделению и соединению находим позднее у Э. Б. де Кондильяка и В. фон Гумбольдта.)

Единством языка и мышления руководствуется Аристотель, когда утверждает, что «...нет различия между доказательствами, относящимися к слову, и доказательствами, относящимися к мысли. Нелепо полагать, что, доказательства, относящиеся к слову, и доказательства, относящиеся к мысли, не одни и те же, а разные» (цит. по: [Перельмутер 1980a: 159]).

Характерное для античности неразличение бытия, мышления и языка отчетливо проявляется в учении о категориях.

У Аристотеля, по заключению современного философа, «...категории суть одновременно характеристики бытия, как и логические и грамматические категории» [Богомолов 1985: 200], а с точки зрения современного лингвиста, они, вопреки ожиданиям Аристотеля, не обладают статусом универсальности, отражая лишь организацию и дистрибуцию категорий греческого языка, носителем которого был Аристотель [Бенвенист 1974: 107, 111]. Причины такого толкования категорий указал уже Ф. Бэкон, полагавший, что «...Аристотель подчинял мысли словам» [АМФ 1970: 220].

Аналогично этому и «для стоического понимания категорий характерно сочетание логического, языкового и онтологического аспектов». Так, «...субстанция ($\eta\nu\rho\kappa\epsilon\iota\mu\epsilon\nu\omicron\nu$) — логический субъект, грамматическое подлежащее и онтологическая субстанция» [Богомолов 1985: 272].

Отождествление языка и мышления проистекает из неразличения языкового и мыслительного содержания.

Однако положение меняется, если обратиться к языку в чувственно воспринимаемом аспекте и, в частности, рассматривать слово в его звуковом выражении.

Уже Гераклит заметил, что «...хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если бы они имели собственное понимание» (цит. по: [Богомолов 1985: 55]).

Текучести вещей в мире становления соответствует текучесть, изменчивость их чувственных восприятий. Отсюда «темное» знание (докса). Ненадежность чувственного познания усугубляется частым отсутствием одно-однозначного соответствия между вещью и именем. Это несоответствие столь существенно, что Парменид приходит к заключению: «мир доксы всецело обусловлен человеческим языком, произвольно установившим множество “имен” для одного сущего» [Лебедев 1989б: 463].

За противоположением мнения (доксы) истине кроются разные познающие субъекты — несовершенный человеческий и идеальный божественный. Мнение, согласно Ксенофану (ок. 570 — после 478 до н. э.) и Пармениду, — удел всех смертных, истина — достояние богов. И «...совершенно ясно, что уж боги-то называют вещи правильно — теми именами, что определены от природы» («Кратил», 391d, e) [Платон 1990: 623]. Несмотря на текучесть вещей, боги, а также первые учредители имен, будучи «вдумчивыми наблюдателями небесных явлений» («Кратил», 401b) [Там же: 635], способны познать собственную устойчивую сущность вещи и, выделив какой-то ее аспект (то, что позднее было определено как внутренняя форма слова), отразить его в образе имени более или менее достоверно.

Но так как сами античные боги — это одновременно и интеллект, формообразующий принцип-идея чувственно-материального космоса, и обожествленные силы природы, «обобщение тех или иных природных свойств» [Лосев 1992: 63], то неудивительно, что с поворотом философии 2-й половины V в. до н. э. к человеку антитеза истины и мнения всё чаще соотносится с противоположением природного начала (physis), закона, данного людям богами, закону (nomos), установлению (thesis), обычаю, искусству (technē) человека. Это противоположение лежит в основе античных споров о принципах именования вещей и критериях правильности имен.

Провозглашение софистами человека мерой всех вещей и критерием истины означало снятие оппозиции божественной истины и человеческого мнения ввиду относительности любого знания [Лебедев 1989в: 521]. Чувственное восприятие изменчиво, по Протагору, и потому, что сущее текуче и изменчиво, и потому, что люди «в разное время воспринимают разное, смотря по разнице их состояний» (цит. по: [Богомолов 1985: 119]). А так как тезис Протагора (ок. 480–410 до н. э.) «Человек — мера всех вещей» распространяется и на язык, возникает сомнение (оно было сформулировано Горгием (ок. 480–380 до н. э.)), можно ли воспринятое нами сущее изъяснить и сообщить другому с помощью речи: ведь «...мы сообщаем

ближним не сущее, а речь, которая отлична от субстрата» [Античные теории... 1996: 38]. Поскольку сущее не совпадает ни с мыслью, ни со словом, «...никто не вкладывает (в слова) тот же смысл, что другой» (цит. по: [Лебедев 1989а: 130]). Значит, заключает Горгий, «...не будучи сущим, речь не может быть изъяснена другому» [Античные теории... 1996: 38]. Соответственно и правильность имен представляется софистам относительной, условной, субъективной. Они убеждены, что «ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть». Следовательно, правильность имени есть не что иное, как договор и соглашение: «...какое имя кто чему-либо установит, такое и будет правильным» («Кратил», 384d) [Платон 1990: 614].

Основные аргументы в пользу происхождения имен от установления, «от случая, а не от природы» привел Демокрит. Это, во-первых, *многозначность*, или равноименность, когда «...различающиеся между собою вещи называются одним именем». Во-вторых, это *равновесие*, или многоименность, когда различающиеся между собою имена обозначают одну и ту же вещь, заменяя друг друга. В-третьих, это *переименования*. В-четвертых, это *безымянность*, когда несоответствия в словопроизводстве обуславливают недостаток в сходных образованиях [Античные теории... 1996: 37]. (Первые два аргумента Демокрита, касающиеся явлений омонимии и синонимии, впервые раскрывают такое сущностное свойство языковых знаков, которое в XX в. было определено С. О. Карцевским как асимметричный дуализм.) Случайностью человеческих установлений Демокрит объясняет и разнообразие в характере языков, вследствие чего «...язык оказался не у всех равнозвучным»: положившие начало всем племенам первые объединения людей имели место по всему миру, и «...каждые случайным образом составляли свои слова», устанавливая друг с другом символы для каждой вещи [Там же: 37].

Некоторые из аргументов Демокрита — в связи с обсуждением софистических воззрений — приводят позднее Платон и Аристотель. В диалоге Платона «Кратил» ученик Протагора Гермоген, доказывая условный характер правильности произвольно данных имен, ссылается, во-первых, на возможность переименования, а во-вторых, на различное именование одних и тех же вещей, причем не только у разных народов. В самом деле, «ведь когда мы меняем имена слугам, вновь данное имя не бывает же менее правильным, чем данное прежде». Безразлично и то, что «...иногда одни и те же вещи в каждом городе называются особо, у одних эллинов не так, как у других, а у эллинов не так, как у варваров». «...Сколько имен кто-либо укажет каждой из вещей, столько и будет» («Кратил», 384d, 385e, d) [Платон 1990: 614, 615]. В свою очередь Аристотель пытается объяснить такое явление, как многозначность. Причину многозначности он видит в том, что «...число слов ограничено, ограничено и множество речений, предметы же беспредельны по числу. Поэтому неизбежно одно и то же речение и одно и то же слово означают многое» (Аристотель. «О софистических опровержениях», 1, 5) [Перельмутер 1980а: 160]).

Всё это как будто ограничивает познавательные возможности языка. И тогда приходится согласиться с гносеологическим выводом, к которому приходит Сократ в диалоге Платона «Кратил»: «...не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих» («Кратил», 439b) [Платон 1990: 679]. Тем не менее, выделяя ступени познания, Платон две низшие ступени связывает с языком. «Для каждого из существующих предметов есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание»: первая ступень — это имя, вторая — определение в форме предложения, составленного из существительных и глаголов, третья — изображение, например рисунок. Четвертая ступень — это само знание, понимание, правильное мнение о том, что существует в душах. «Пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие» (VII письмо, 342a, b) [Платон 1994: 493–494]. «Из них понимание наиболее родственно, близко и подобно пятой ступени, всё же остальное находится от нее много дальше» (342d). Однако «...если кто не будет иметь какого-то представления об этих четырех ступенях, он никогда не станет причастным совершенному познанию пятой» (342e). Оно возможно лишь через «глубокое проникновение в каждую из этих ступеней, подъем или спуск от одной из них к другой» (343e), «путем взаимной проверки — имени определением, видимых образов — ощущениями» (344b). Необходимость такой проверки диктуется неопределенностью каждой из четырех ступеней чувственного познания. Недостаточность словесного выражения, изменчивого и неустойчивого, как всё чувственное, Платон показывает на примере *круга*: «...ни в одном из названий всех этих [сделанных человеческими руками] кругов нет ничего устойчивого и не существует препятствия для того, чтобы называемое сейчас кругом мы называли потом прямым и, наоборот, чтобы прямое было названо круглым; в то же время вещи, называемые то одним, то другим, противоположным, именем, стойко остаются теми же самими.

И с определением всё та же история, если оно слагается из имен существительных и глаголов, и в то же время ничто твердо установленное не бывает здесь достаточно твердым» (VII письмо, 343a, b) [Там же: 494–495].

На чем же тогда основывается Платон, признавая имя и определение-предложение ступенями познания? Очевидно, на способности языковых знаков отражать определенные свойства объективных сущностей. Признание или отрицание такой способности за языковыми знаками существенно различает сторонников природной и договорной теории происхождения языка.

2.2. Античные теории языкового знака

Античные теории языкового знака сложились в споре о природе именования.

Одни из них в большей или меньшей степени признают естественную мотивированность языковых знаков, не отрицая вовсе мифологических представлений о природной связи имени и вещи.

Другие, порывая с мифологией, опираются на договорную теорию происхождения языка и трактуют языковые знаки как исключительно произвольные условные установления.

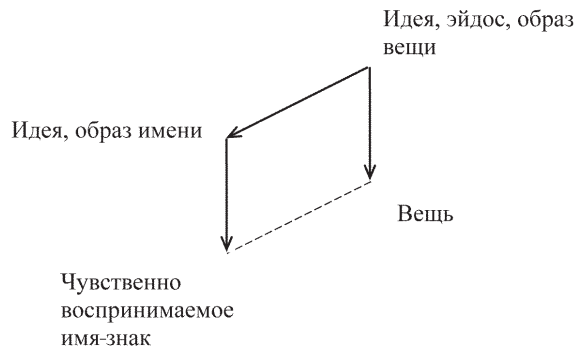
Хотя в последующий период развития лингвистическая мысль исходила главным образом из произвольности языковых знаков, однако к настоящему времени становится всё более очевидным основополагающее значение античных доказательств в пользу естественной мотивированности языковых знаков и для постижения самой их сущности и строения, и для понимания истинного соотношения языка и мышления, и для осознания специфики языка как посредника между миром и человеком.

В рационалистически и сенсуалистически ориентированных античных учениях природная мотивированность языковых знаков доказывается по-разному, но так или иначе она оказывается связанной с выделением собственно языкового содержания, отличающегося от содержания мысли.

Платон утверждает наличие некоей внутренней связи между именем и вещью на основании *отражения в образе имени* одного из аспектов идеальной сущности вещи (ее идеи, эйдоса, образа). Эта интерпретация человеком идеальных сущностей «в свете какого-нибудь одного, но зато уже определенного их момента» [Лосев 1990а: 831] в первых и позднейших именах осуществляется по-разному. В первых — путем подражания сущности именуемой вещи с помощью голоса, когда на положенный в основу именованного признак сущности намекают в чем-то сходные со свойствами обозначаемого артикуляторно-акустические характеристики звукового состава слова¹. В позднейших именах семантическая интерпретация идеальных сущностей вещей осуществляется через посредство первых имен, указывающих самим своим значением на признак, послуживший основой именованной.

Таким образом, согласно Платону, в акте наименования звучащее имя соотносится не только с именуемой вещью и ее идеальной сущностью, но и с образом (идеей) имени, который отражает *способ интерпретации человеком* сущности вещи. Соответственно, знаковая ситуация имеет четырехкомпонентную структуру, определяемую эйдосом вещи как ее объективно существующим идеальным порождающим началом.

¹ Согласно И. М. Троцкому (Тронскому), указанная теория происхождения первых имен восходит к какому-то атомисту. Возможно, им был сам Демокрит, как будто пытавшийся объяснить семантическую природу звука движением речевых органов, воспроизводящим особенности предмета [Троцкий 1996: 20–23].

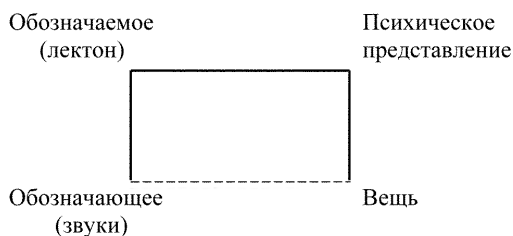


У стоиков платоновскому образу имени (по сути тождественному внутренней форме слова) соответствует *лектон* (*lecton*), словесная предметность. Именно лектон, вещь, выявляемая *обозначающим* звуком, является *обозначаемым* языкового знака. Будучи феноменом бестелесным и умопостигаемым, лектон отличается от психического представления — чувственного (*phantasma*) и умственного (*επινοῆμα*). В толковании А. Ф. Лосева, «оно (лектон. — Л. З.) только “возникает” согласно чувственному или умственному представлению, но само по себе не есть ни то и ни другое, а есть просто то чисто смысловое содержание, которое выражено словом» [Лосев 1982: 172], и, что особенно важно, «...умопостигаемое “лектон” обладает известного рода осмысливающими функциями в отношении чистой, т. е. никак не осмысленной, чувственности» [Там же: 177]. Причем это осмысление (в отличие от психического представления) различается от одного языка к другому, а следовательно, различается и обозначаемое, т. е. сама вещь, выявляемая словом. Вот почему «...мы ее воспринимаем как установившуюся в нашем разуме, варвары же не понимают ее, хотя и слышат слово» (Секст Эмпирик. Цит. по: [Там же: 169]). Таким образом, языки различаются не только обозначающими своих знаков, но и обозначаемыми.

А. Ф. Лосев особо подчеркивает реляционный характер лектона. «Это у стоиков не просто предмет высказывания, но еще и предмет, взятый в своей соотнесенности с другими предметами высказывания» [Там же: 173]. Абстрактное «лектон» получает конкретное выражение лишь в предложении [Там же: 181]. Поэтому одно и то же слово, взятое в разных контекстах, соотносится с разными «лектон» [Там же: 174]. И чем более развернуто высказывание, чем полнее, шире контекст, тем полнее лектон отражает тончайшие оттенки языка и речи [Там же: 180].

Из сказанного ясно, что обозначаемое-лектон рассматривается стоиками по существу во всех трех выделяемых ныне семиотических аспектах, т. е. не только «семантическом», вполне традиционном и обычном для античности, но также «прагматическом» (отсюда проблема понимания — непонимания: ведь обозначаемое у стоиков есть «понимаемое») и «синтаксическом». Именно такой всесторонний подход позволил стоикам увидеть в обозначаемом *особую область*, посредствующую между

мыслью и вещью, между обозначающим и понимающим субъектом и обозначаемым объектом, что не осталось незамеченным и античными интерпретаторами стоического учения [Лосев 1982б: 170]. Таким образом, с позиций стоиков знаковая ситуация включает четыре составляющих:



Сам знак стоики определяют как двустороннюю сущность, которая образуется отношением (об)означающего и (об)означаемого. Введенные стоиками однокоренные термины *sēmeion* ‘знак’, *sēmaĩnon* ‘(об)означающее’, *sēmaĩnonēnon* ‘(об)означаемое’ подчеркивают эту соотносительность. С точки зрения адресата речи (слушающего), означающее — это *aĩsthēton* ‘воспринимаемое’, означаемое — это *poĩtōn* ‘понимаемое’ [Якобсон 1983: 102].

В отношении между именем и вещью стоики усматривают природную связь, характер которой зависит от того, первые это слова или позднейшие.

Первичным источником знания, с позиций стоиков, являются ощущения. Дальнейшая их обработка осуществляется с помощью ассоциаций.

Для первых слов характерно согласие ощущения вещи с ощущением звука. Стоики объясняют это тем, что «...первые слова подражают вещам» (Ориген. Цит. по: [Перельмутер 1980б: 185]), но речь идет о подражании не сущности вещи, как у Платона, а ее чувственным свойствам: звучанию, вкусу, осязательному воздействию и т. п. Вследствие такого подражания образуется внутренняя природная связь между двумя воспринимаемыми феноменами — вещью и ее словесным означающим, и «сами вещи воздействуют так, как ощущаются слова: *mel* (мед) — как сладостно воздействует на вкус сама вещь, так и именем она мягко действует на слух; ...*lana* (шерсть) и *verges* (терн) — каковы для слуха слова, таковы сами предметы для осязания» (Августин. Цит. по: [Античные теории... 1996: 77]).

В позднейших словах связь звучания и значения носит опосредованный характер. Она выводится из ассоциации по сходству, смежности или контрасту между именуемой вещью и вещью, обозначенной первым именем. «...Так, например, если крест (*сгих*) назван так потому, что жестокость самого слова согласуется с жестокостью боли, которую причиняет крест, то ноги (*сгуга*) названы так не вследствие жестокости боли, а потому, что длиной и твердостью они из всех частей тела наиболее похожи на дерево креста» (Августин. [Там же: 77–78]).

Иначе объясняет природное происхождение имен, а отсюда и изначальное соответствие звучания слова и вещи Эпикур (341–270 до н. э.). Будучи, как и стоики,

сенсуалистом и полагая, что «все мысли рождаются из ощущений» (цит. по: [Богомоллов 1985: 258]), Эпикур обосновывает природную обусловленность имен не столько свойствами *именуемых объектов*, сколько их *воздействием* во многих и различных отношениях *на именующих субъектов*, на саму человеческую природу. Соответственно разнообразным особенностям местностей и племен люди в каждом племени испытывают особые впечатления и получают особые восприятия со стороны окружающих вещей. Под воздействием каждого из этих впечатлений и восприятий люди по-особому выдыхают воздух при речеобразовании [Античные теории... 1996: 70]. Так объясняются языковые различия в звучании имен, обозначающих одни и те же вещи. Изначальная причина этих различий по существу усматривается в объективно обусловленных этнопсихологических различиях отражения реальной действительности. Разные впечатления — разные звуки. Это положение Эпикура его последователь Лукреций (ок. 99–55 до н. э.) подкрепляет наблюдениями над животными:

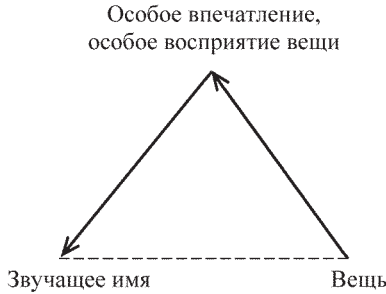
...Почему удивительным может казаться,
 Что человечество, голосом и языком обладая,
 Под впечатлением разным отметило звуками вещи,
 Если скоты бессловесные даже и дикие звери
 Звуками разными и непохожими кликать привыкли
 В случаях тех, когда чувствуют боль, опасенье и радость?
 <...>
 Стало быть, если различные чувства легко могут вызвать
 У бессловесных зверей издавание звуков различных,
 То уж тем более роду людей подобало в ту пору
 Звуками обозначать все несхожие, разные вещи.
 [Там же: 72–73]

Со временем чувственное начало в жизни людей уступает место разумному. «Разум же впоследствии уточнил переданное природой и открыл (кое-что) сверх этого, у одних быстрее, у других медленнее, в одни периоды и времена (делая бóльшие успехи), в другие — меньшие» (Эпикур. [Там же: 70]). И имена даются теперь по установлению с общего согласия, исходя из потребностей рассуждения и общения. В результате «впоследствии... в каждом племени сообща установили особые (обозначения) для того, чтобы взаимосообщение стало менее двусмысленным и более сжатым» [Там же: 70]. Ведь в рассуждении, по Эпикуру, «необходимо, чтобы при каждом слове было видно его первое значение и чтобы оно не нуждалось в дальнейшем объяснении» (цит. по: [Богомоллов 1985: 249]). Чтобы снять двусмысленность и сделать значение ясным, имена выбираются «по рас­судку согласно обычному способу образования слов» (Эпикур. [Перельмутер 1980б: 206]).

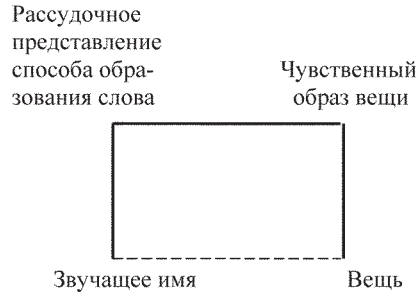
Сообразно с этапом языкового развития, очевидно, меняется и состав психических факторов, участвующих в знаковой ситуации. На первом этапе — это

особое впечатление, особое восприятие. На втором этапе — в производных словах — «сверх этого» чувственного образа, из которого видно первое значение, присутствует рассудочное представление модели-способа образования слова.

I этап



II этап



Ни последователи Эпикура, ни скептики не признают существования какого-либо словесного обозначаемого, высказываемого *лектон*, которое отделено от обозначающего звука и от предмета, выступая в качестве посредствующего бестелесного (психического) звена. В знаковой ситуации участвуют только обозначающий звук (слово) и именуемый предмет [Перельмутер 1980б: 205].

Итак, пытаясь выявить природную мотивированность имени вещи, античная философия расстается с мифологическим отождествлением имен и вещей. «...Если бы они были во всем друг другу тождественны», «тогда всё бы словно раздвоилось» («Кратил», 432d) [Платон 1990: 671]. Подражая вещи, изображая ее, имя лишь «указывает, какова вещь» (428e) [Там же: 666], путем избирательного воссоздания отдельных ее черт (432b, e, 433a) [Там же: 671–672].

Звуковая сторона слова может быть мотивирована двояко — либо объективными свойствами вещи (стойки), либо субъективными особенностями психики (Эпикур), либо тем и другим (Платон). В последних случаях не просто опровергается случайность означающих, но доказывается их идиоэтнический характер: они меняются от одного языка к другому в соответствии с чувствами, впечатлениями, восприятиями данного языкового сообщества — племени, народа.

Фундаментальное значение имеет наметившееся у Платона и стоиков различие языкового и мыслительного содержания. Стоическое *лектон* — образование специфическое для каждого данного языка. (Именно поэтому варвары его не понимают, слушая эллинскую речь.) Платоновский *образ имени* также, по-видимому, не обладает свойством универсальности. Во всяком случае, разбирая утверждение Кратила, согласно которому «...определенная правильность имен прирождена и эллинам, и варварам, всем одна и та же» («Кратил», 383a, b) [Там же: 613], Платон специально подчеркивает, что степень соответствия между образом имени и сущностью вещи, а значит, и правильность имени должны определяться, исходя из того языка, из которого оно взято (409e) [Там же: 644–645]. Имя, указывая,

какова вещь, может — лучше или хуже — отражать в своем образе разные ее качества в зависимости от представлений учредителя имен, от того, насколько постиг он данную вещь и какое ее качество имел в виду, что подразумевал, давая ей имя, подбирая по буквам и слогам знак вещи (399d–401a, b; 428e–429b, 430b–e, 431d, e, 436b) [Платон 1990: 633–634, 666–667, 669–670, 676].

Об избирательности именованя свидетельствует возможность разных этимологических толкований одного и того же имени. Так, имя «Посейдон» (дорийское Poteidan) толкуется и как ‘супруг земли’, и как ‘владыка вод’ [Мифы... 1997: 323] (ср. с толкованиями Платона: («Кратил», 402e–403a) [Платон 1990: 636–637]). Отсюда же множественность имен (синонимия), когда «...выражается одна и та же сущность с различных точек зрения» (Аммоний. См.: [Античные теории... 1996: 82]). Но если различные точки зрения на одну и ту же сущность возможны в пределах одного языка, то еще вероятнее они в разных языках.

Принципиально иной взгляд на природу языкового знака имеет **Аристотель** — последовательный сторонник «договорной» теории. Согласно Аристотелю, в знаковой ситуации связаны три компонента: предмет, представление предмета в душе и слово (звучащее или письменное), образующие «знаковый треугольник», к которому восходит современный «семантический треугольник».



В определении Аристотеля, «слова, выраженные звуками, суть символы представлений в душе, а письмена — символы слов». «От природы нет имен; они получают условное значение, когда становятся символом» («Об истолковании», 1, 2; 2, 3) [Там же: 65]. Точно так же и «предложение есть звук, имеющий условное значение», и аналогично слову «всякое предложение имеет значение... вследствие соглашения» («Об истолковании», 4, 1; 4, 3) [Там же: 66].

Принимая за аксиому условную связь между словом и представлением, Аристотель иначе трактует оба эти компонента и иначе оценивает их с точки зрения универсальности — специфичности, нежели приверженцы естественной мотивированности языковых знаков. Основная причина расхождений — в ином толковании психического компонента, который рассматривается Аристотелем безотносительно к субъективным особенностям отражения объективной действительности. Соответственно, из сравнения различных языков Аристотель делает вывод: «Подобно тому как письмена не одни и те же у всех людей, так и слова не одни и те же. Но представления, находящиеся в душе, которых непосредственные знаки

суть слова, у всех одни и те же, точно так же и предметы, отражением которых являются представления, одни и те же» («Об истолковании», 1, 3) [Античные теории... 1996: 65].

Таким образом, собственно языковым компонентом в структуре знакового треугольника оказывается только звуковая сторона слова. Содержательная сторона, в которой еще не различаются лексические и грамматические значения, образуется представлениями. Они одинаковы у всех людей, а следовательно, универсальны и не принадлежат языку. Неразличение языкового и мыслительного содержания, отождествление значений слов с представлениями предметов создает иллюзию полной адекватности языковой семантики отражаемой объективной реальности, причем независимо от языка. Поскольку и предметы, и представления у всех одни и те же, то и языковые значения тоже универсальны и, так же как представления, лишены знаковых свойств, будучи исключительно отражательными сущностями. Различия между языками касаются, таким образом, только звуковой стороны языковых знаков.

Эти положения Аристотеля надолго определили развитие лингвистической мысли. Идеи Платона, стоиков, Эпикура, отразившие постепенное открытие античностью трех разных миров — чувственно-материального (природного), мыслительного, языкового, оказались в полной мере востребованными лишь ко времени вычленения языкознания в самостоятельную научную дисциплину, когда стало вполне очевидным наличие у языка собственного содержания, формального по отношению к содержанию мысли.

Нельзя не заметить, что ставшее основополагающим для современной лингвистики гумбольдтовское определение языка как посредника между миром внешних явлений и внутренним миром человека, между природой и духом, в сущности, диалектически разрешает древний спор о природе языка и языковых именовании, причем разрешает его в духе Платона, впервые реализовавшего системный, синтезирующий подход к анализу языковых знаков.

3. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Если в античности на первом плане природа, чувственно-материальные интуиции, то с началом новой эры выдвигаются личностные интуиции [Лосев 1992: 216], которые в Средние века всё более укрепляются под влиянием христианского монотеизма. Основной принцип, по которому происходит разделение языческого античного и христианского средневекового мировоззрений, согласно А. Ф. Лосеву, следующий: «античность — это принцип вещи, тела, природы и, в конце концов, чувственно-материального космоса, в то время как христианство — это принцип личности, общества, истории или, конкретнее говоря, сотворения космоса сверхкосмической личностью...» [Там же: 62]. Соответственно, в Средние века и особенно в Новое время возрастает внимание к проявлениям человеческого начала в языке, в первую очередь универсальным, общечеловеческим.

Развивающая рационалистическую традицию средневековая схоластическая философия опирается на античное наследие, прежде всего на Платона и Аристотеля, в учении которых схоласты видели норму естественного знания, доступного человеческому разуму [Аверинцев 1989б: 639]. Под влиянием Платона и Аристотеля в схоластике идет многовековой спор об онтологической и гносеологической природе универсалий (общих понятий): имеют ли роды и виды реальное существование независимо от сознания, а если имеют, то существуют ли они самостоятельно, вне вещей, как учил Платон, или пребывают, по Аристотелю, в единичных вещах как их сущности; или обозначенные именами концепты воспроизводят объединяемые в человеческом уме сходные признаки единичных вещей; или универсалии существуют только в мышлении, а может быть, это всего лишь имена (*nomina*) вещей, просто «звуки голоса». Указанные точки зрения вполне определились уже в конце XI — начале XII в., и в соответствии с ними выделились три направления: реализм (крайний и умеренный), концептуализм и номинализм (умеренный и крайний) [ФЭС 1989: 672, 576, 279, 427; Реферовская 1985]. Влияние этих направлений сказалось и на решении рассматриваемых общелингвистических проблем, причем не только в Средние века — в учении модистов, но и в Новое время: в воззрениях Т. Гоббса и Э. Б. де Кондильяка проявился номинализм, в теории познания Дж. Локка — концептуализм.

О взглядах средневековых мыслителей на язык и его взаимоотношения с миром и человеком можно судить, в частности, по учениям отцов церкви и модистов.

3.1. ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Христианские мыслители II–VIII вв. — так называемые отцы церкви: Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Аврелий Августин, Иоанн Дамаскин и др. — считают язык творением и отличительным признаком человека как существа разумного, наделенного Богом творческой способностью, которая включает в себя и речевую способность. Язык необходим для общения человека с человеком, чтобы открывать друг другу свои мысли, которые иначе — вне материального выражения — не могут быть сообщены другим [Эдельштейн 1985: 184–185].

Человека делает человеком *нераздельное и неслиянное* единство души, ума и слова. Хотя ум по отношению к языку является порождающим началом и «...слово происходит от мысли и ума» (Ириней Лионский. Цит. по: [Там же: 169]), но без языка человек лишается и ума. «Душа не была и не есть прежде ума, ни ум прежде слова, рождающегося от него, но в один момент все три имеют бытие от Бога, и ум рождает слово, и чрез него изводит и являет вне желание души. <...> ...Ум наш естественно имеет в себе силу словесную, которою рождает слово, и если он лишен будет естественного ему порождения слова, — так, как бы он разделен и рассечен был со словом, естественно в нем сущим, то этим он умерщвлен будет и станет ни к чему негодим. Так ум наш получил от Бога естественную ему принадлежность всегда рождать слово, которую имеет нераздельною и всегда с собою соединенною.

Если ты отымешь слово, то вместе со словом отымешь и ум — породителя слова» (Симеон Новый Богослов. Цит. по: [Эдельштейн 1985: 170]).

Неслиянное и нераздельное единство ума и слова и порождающая функция ума по отношению к слову в равной мере исключают как их тождество, так и независимость друг от друга: «Наше слово, выходя из ума, ни всецело тождественно с умом, ни совершенно различно; потому что, будучи из ума, оно есть иное сравнительно с ним, обнаруживая же самый ум, оно уже не есть всецело иное сравнительно с умом, но, будучи по природе одним, оно является другим по положению» (Иоанн Дамаскин. Цит. по: [Там же: 171]).

Универсалистские тенденции раннего христианства, равно как расширение культурных связей с распространением христианства, способствовали осознанию всеобщности мира и человеческой природы. Отсюда убежденность в единообразии человеческого мышления и всеобщей сущности языка. Различия между языками касаются внешней формы и обусловлены тем, что «...Бог, восхотев, чтобы люди были разноязычны, предоставил им идти естественным путем, и каждому (народу) как угодно образовать звук для объяснения имен». В результате «...имена образуются, как угодно людям, сообразно их привычкам», и используемые в этих целях «...человеческие звуки суть изобретения нашего рассудка». Соответственно, «...не разноглася относительно знания предметов, люди стали различаться образом именования (их). Ибо не иное что кажется камнем или деревом (одним и не иное другим), а имена (сих) веществ у каждого (народа) различны... <...> Иначе именуется небо еврей и иначе хананей, но тот и другой понимают одно и то же, от различия звуков нисколько не ошибаясь в разумении предмета» (Григорий Нисский. Цит. по: [Там же: 195, 185]).

Вместе с тем признается, что за различием именовании могут стоять различные представления о предмете и его познанных свойствах. «Например, у каждого есть простое представление о хлебном зерне, по которому мы узнаем видимое нами. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные именовании, обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно мы называем то плодом, то семенем — как начало будущего, пищу — как нечто пригодное к приращению тела у вкушающего» (Василий Великий. Цит. по: [Там же: 193]).

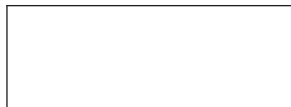
Таким образом, в акте именования первичного (по отношению к языку) мира «между объектом и его именем неизменно стоит тот, единственно ради кого знак существует, — установитель и интерпретатор знака, человек. Всякий знак связан непосредственно с сущностью именуемого, а с тем, что в этой сущности познано и названо человеком» [Там же: 199], причем в основу именования, по мнению Григория Нисского, может быть положен и совершенно случайный признак [Там же: 200].

Представляемый образ именуемого предмета является означаемым языкового знака. В отличие от античных знаковых теорий «означающим языкового знака, согласно средневековым учениям о знаке, является не сам звук, но сохраняемый

памятью акустический образ слова» [Эдельштейн 1985: 204]. Таким образом, уже в Средние века языковой знак трактуется как двусторонняя *психическая* сущность. Одна ее сторона, согласно Августину, разделяемая по времени, соотносится со звучащим именем, другая, неделимая, — с обозначаемой вещью:

Означающее
(акустический
образ имени)

Означаемое
(значение,
представляемый образ вещи)



Звучащее *имя*

Обозначаемая *вещь*

Так как языковые знаки обладают значением не «по природе», а по «установлению», их познавательную ценность отцы церкви, как и Платон, считают ограниченной. «Ложь говорит тот, кто умствует, будто из различия имен должно заключать и о различии сущности. Ибо не за именем следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей. Иначе, если бы первое было истинно, то надлежало бы согласиться, что которых вещей названия одинаковы, тех и сущность одна и та же» (Василий Великий. Цит. по: [Там же: 200]). «Никакое имя само по себе не имеет существенной самостоятельности», «всякое имя есть некоторый признак и знак какой-либо сущности и мысли, сам по себе и не существующий, и не мыслимый» (Григорий Нисский. Цит. по: [Там же: 202]).

Вследствие вторичности языка по отношению к внешнему миру «...обозначаемые предметы должны быть ценимы более, нежели их знаки», «познание вещей, обозначаемых знаками, надлежит предпочесть познанию знаков» (Августин. Цит. по: [Там же: 203]). «Различие в вещах определяется не тем или иным высказыванием о них, а наоборот, вещи сами определяют то или иное высказывание о себе. Природа вещей остается неизменной, всё равно, имеется о них высказывание или нет. Никогда высказывание не изменяет природу вещей» (Иоганн Воротнеци. Цит. по: [Там же: 203]).

3.2. Модисты

Тезис патристики о вторичности языка по отношению к реальной действительности получает дальнейшее развитие в грамматическом учении модистов — Мартина Дакийского, Боэция Дакийского, Иоанна Дакийского, Симона Дакийского, Томаса Эрфуртского и др. Центром модистического направления в эпоху его расцвета в конце XIII — начале XIV в. стал Парижский университет.

В своем исследовании языка модисты, опираясь на Аристотеля, стремятся познать «единое во многом» и найти *причины* языкового строя. В поисках последних они оставляют без внимания звуковую сторону языка. Ввиду ее исключительно

конвенционального и потому случайного характера «грамматик как таковой... не должен определять звучания» (цит. по: [Перельмутер 1991: 14–15]). Это дело физики и физиологии. Сущность языка модисты видят в его внутренней структуре, в грамматике, которая в силу *естественной* связи с объективной реальностью отражает ее через посредство сознания в своем строении, в грамматической категоризации.

Будучи по своим философским взглядам на природу универсалий (общих понятий) умеренными реалистами [Реферовская 1985], модисты возводят общие грамматические значения через посредство общих понятий к общим свойствам единичных вещей, а грамматику в целом — к миру вещей.

В понимании модистов, «вещь вне сознания имеет многие свойства... Все эти свойства вещи, существующей вне сознания, называются модусы существования» (*modi essendi*) (Мартин Дакийский. Цит. по: [Перельмутер 1991: 24]). Им соответствуют модусы познания (*modi intelligendi*) и модусы (способы) обозначения (*modi significandi*). Между всеми этими модусами, по мнению ранних модистов, существуют отношения тождества: «...вещь внешняя, вещь познанная и вещь обозначенная суть одна и та же вещь, поэтому и модусы существования, модусы познания и модусы обозначения по существу суть одно и то же, хотя они и различаются между собой побочными признаками» (Мартин Дакийский. Цит. по: [Там же: 24]). Вследствие указанного тождества модусы обозначения не являются знаками модусов познания и существования, а характеризуют язык с точки зрения его отражательных свойств.

Поздние модисты связывают названное тождество трех типов модусов только с *пассивными* модусами познания и обозначения, которые находятся в познаваемой и обозначаемой вещи и материально совпадают с модусом существования, отличаясь от него лишь тем, что соответствующее свойство вещи рассматривается не независимо от каких-либо связей, а в отношении к познанию и языку как обладающее *потенцией* быть познанным и обозначенным.

Активный модус познания, в отличие от пассивного, есть свойство не вещи, а сознания, как познанное в познающем. Это образ познанного свойства, представление о нем, свидетельствующее об активной творческой роли сознания в отражении реальной действительности.

Активный модус обозначения модисты трактуют по-разному. С точки зрения Томаса Эрфуртского, активный модус обозначения представляет собой свойство значащего *звучания* и в качестве такового является *знаком* пассивного модуса обозначения. По мнению Сигера из Куртрэ, активный модус обозначения — это некое представление самого *разума*, принадлежащее сфере языкового *содержания*. Не будучи материальным, оно не может быть знаком¹. Несмотря на отсутствие

¹ Иной точки зрения придерживаются критики модистов, в частности Иоанн Аурифабер и номиналисты. Они считают отображение предмета в сознании в виде представления или понятия естественным знаком, «знаком по природе», первичным по отношению к произвольным звуковым знакам языка. При этом и сфера собственно языкового ограничивается звуковой стороной (см.: [Перельмутер 1991: 60–61; Реферовская 1985: 282]).

тождества между активным модусом обозначения и модусом существования, «каждый активный модус обозначения в конечном счете происходит от какого-либо свойства вещи» (Томас Эрфуртский. Цит. по: [Перельмутер 1991: 40]) и отражает его.

В языке как отражении реальной действительности и «грамматика берет свое начало от вещей» (Иоанн Дакийский. Цит. по: [Там же: 18]).

Вещи задают все типы модусов на универсальных основаниях. «...Природы вещей и по виду и по существу одни и те же у всех (ср. с аналогичным утверждением Аристотеля (“Об истолковании”, 1, 3) [Античные теории... 1996: 65]. — Л. 3.), следовательно, одни и те же свойства вещей, которые суть модусы существования, от которых берут начало модусы понимания и вследствие этого модусы обозначения, а затем и модусы построения» (Иоанн Дакийский. Цит. по: [Перельмутер 1991: 18]), «ибо поскольку какое-либо слово имеет такие модусы обозначения, поэтому по необходимости оно должно иметь такие конструкции, а не иные» (Боэций Дакийский. Цит. по: [Там же: 15]).

Единство мира, полагают модисты, определяет единство человеческого мышления и обуславливает единство и универсальность грамматического строя. Коль скоро природа вещей одна и та же у всех, то и «логика одна и та же у всех, следовательно, и грамматика» (Иоанн Дакийский. Цит. по: [Там же: 14]). «Поскольку природы вещей и модусы существования и понимания, от которых берет начало грамматика, сходны у всех, то по этой причине сходны и модусы обозначения...; и так вся грамматика, которая есть в одном языке, сходна с той, которая есть в другом языке..., поэтому знающий грамматику в одном языке знает ее и в другом, поскольку это касается всего того, что составляет существенные особенности грамматики» (Боэций Дакийский. Цит. по: [Там же: 14]). Так из единства мира выводится универсальность грамматики.

Центральное понятие языковой теории модистов — способ обозначения (*modus significandi*) — основывается на различении в языковых знаках помимо звучания и значения также разных типов значений — предметных (лексических), с одной стороны, и грамматических, с другой. В слове модисты различают: *vox* — чистое звучание; *dictio* — слово в его предметной отнесенности, выражающее лишь отношение значащего звучания к означаемой вещи в отвлечении от грамматических свойств; *pars orationis* — часть речи. Превращению *dictio* в *pars orationis* служит *modus significandi*, который порождает грамматическое значение, определяет грамматическую характеристику слова и восходит к определенному модусу существования или свойству вещи, которым она обладает наряду с множеством других вещей. Определяя вслед за Мишелем из Марбэ значащие единицы как единства материи и формы (см.: [Там же: 23]), получаем следующую схему: *vox* (чистое звучание) → *dictio* [*vox* как материя + отношение обозначения вещи (предметное значение) как форма] → *pars orationis* {[*vox* + *dictio*] как материя + отношение со-обозначения (грамматическое значение, определяемое соотносительностью с модусом существования или свойством вещи) как форма}.

Одно и то же предметное содержание может быть представлено разными способами обозначения и, значит, разными частями речи. Более того, «одно и то же умственное понятие может быть выражено всеми частями речи» (Бозций Дакийский. Цит. по: [Перельмутер 1991: 26]).

Исходя из онтологической природы языка, при определении частеречной принадлежности слова модисты опираются не на морфологические, синтаксические или логические критерии, а прежде всего на основные модусы обозначения и в конечном счете на модусы существования как свойства объективной реальности.

К основным *общим* модусам обозначения относятся: 1) модус устойчивого положения (состояния и покоя), или модус сущего; 2) модус течения, становления, движения, или модус бытия; 3) модус расположения, характеризующий условия, обстоятельства устойчивого положения или становления. Соответственно в словарном составе выделяются: 1) имя (включая местоимение), 2) глагол (включая причастие), 3) неизменяемые части речи. При этом первые две — изменяемые — части речи (в особенности, согласно преобладающей точке зрения, имя) занимают более высокое положение в иерархии частей речи, так как в отличие от неизменяемых имеют больше основных модусов обозначения, а кроме того обладают побочными модусами обозначения (абсолютными и относительными), которые лежат в основе разграничения словообразовательных и словоизменительных категорий.

Последующее разграничение частей речи производится с помощью основных *частных* модусов обозначения. Так, отграничение собственно имен от местоимений основывается на противопоставлении модуса определенного восприятия модусу неопределенного восприятия. Разделению нарицательных имен на существительные и прилагательные служат модусы самостоятельности и примыкания. За различием существительных по роду стоит различие предметов по активности / пассивности, т. е. свойство действующего (мужской род), или свойство претерпевающего (женский род), или то и другое (средний род) как побочные модусы существования.

Даже у служебных слов модус обозначения соотносим с реальной действительностью. Например, у союза, обозначающего посредством модуса соединения двух членов, «этот модус обозначения происходит от свойства соединения и сочетания в вещах внешнего мира» (Томас Эрфуртский. Цит. по: [Там же: 44]).

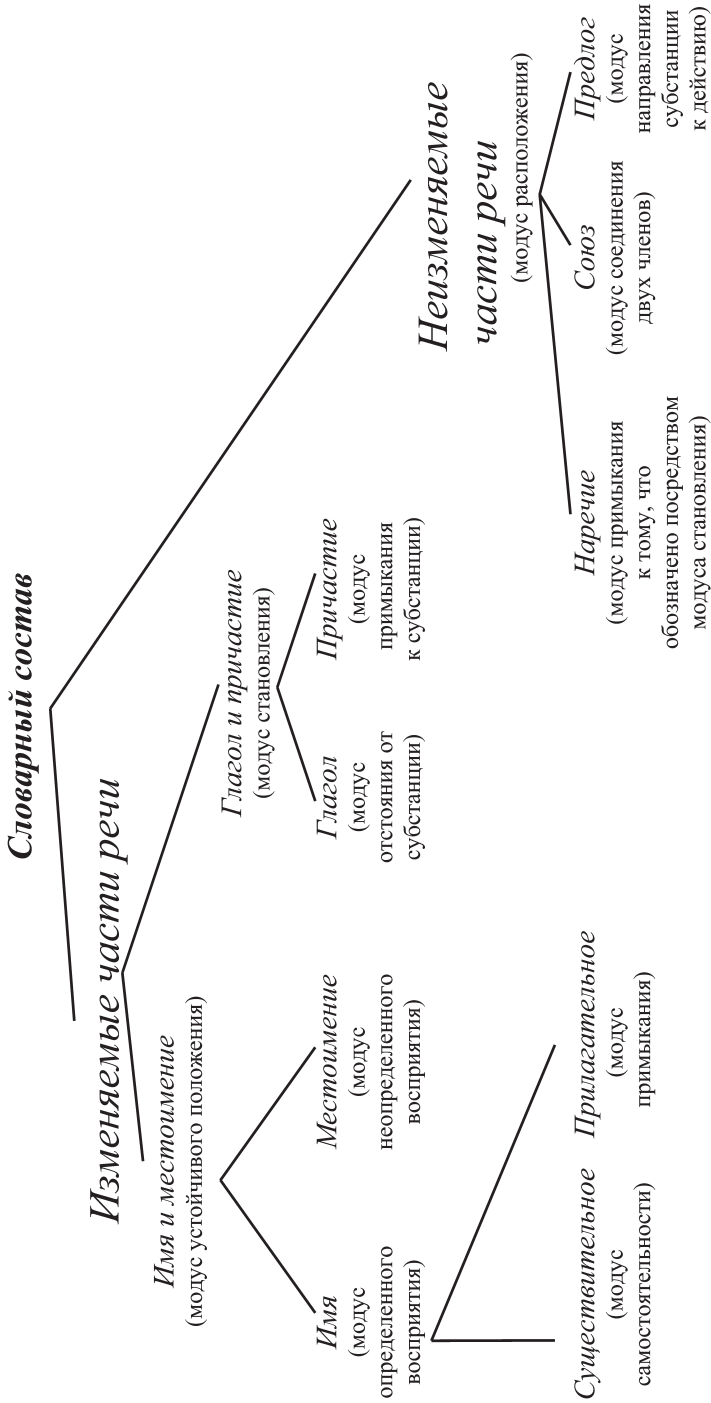
Таким образом, модусы обозначения определяют всю систему частей речи. Ее организация обеспечивается действием принципов иерархии и бинарных противопоставлений, как это показано на предлагаемой схеме.

Вклад грамматического учения модистов в общую теорию языка ценен во многих отношениях.

1. Модисты пытаются создать *объяснительную* грамматику, раскрыть причины, посредством которых можно познать и обосновать грамматические явления.

2. В анализе грамматического строя модисты по существу пользуются детерминантным подходом. В качестве детерминант выступают основные общие

Части речи и модусы их обозначения



модусы обозначения как исходные первоначала, из которых дедуктивным путем последовательно выводятся все общие и частные грамматические категории. Таким образом вскрывается системное иерархическое устройство грамматики.

3. В поисках исходных причин языкового строя, его истоков модисты не замыкаются рамками самого языка, а исходя из его отношений к внешнему и внутреннему миру человека показывают обусловленность человеческого сознания и человеческого языка свойствами той реальной действительности, в которой как в над-системе живут и функционируют носители языка. В результате языковые (грамматические) явления встраиваются модистами в следующую цепочку универсальных связей: природа вещей → свойства вещей, или модусы существования → модусы познания (понимания) → модусы обозначения → модусы построения.

Таким образом грамматика получает онтологическое объяснение, а в языке на первый план выдвигаются общие значения (*significata generalia*) и, значит, грамматическая категоризация.

4. Модисты определенно делают шаг к вычленению собственно языкового содержания: они различают значения субстанции, акциденции как логические категории и модусы обозначения как основание грамматической категоризации, отличают синтаксические понятия подлежащего и сказуемого от логических понятий субъекта и предиката, разграничивают грамматическую согласованность / несогласованность слов и их смысловую (логическую) совместимость / несовместимость [Перельмутер 1991: 36–37, 55–58].

4. НОВОЕ ВРЕМЯ

В Новое время под влиянием гуманистического мироощущения эпохи Возрождения основы языка, объяснение грамматического строя, его причины начинают искать не во внешнем мире, а во внутреннем мире человека.

В связи с оформлением в теории познания XVII–XVIII вв. рационализма и сенсуализма (эмпиризма) как двух самостоятельных философских направлений в общей теории языка также складываются две тенденции — рационалистическая и эмпирико-сенсуалистическая.

4.1. РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

В рационалистически ориентированных лингвистических учениях грамматическая категоризация, включая классификацию частей речи, возводится к действиям ума, операциям рассудка, к структуре мысли. Общие и частные явления языка получают рациональное обоснование исходя из представлений о согласованности языкового способа выражения мысли с ее структурой. Языковые универсалии выводятся теперь из единства человеческого мышления у всех народов и во все времена.

Рационалистическая концепция языка развивалась в разных национальных грамматических традициях, в том числе русской, английской, немецкой. Но наивысшего расцвета (и, по-видимому, не случайно) она достигла во Франции. Классическим образцом рациональной грамматики стала «Общая и рациональная грамматика Пор-Рояля», изданная в 1660 г.

4.1.1. «Грамматика» и «Логика» Пор-Рояля

Мыслящая субстанция и протяженная субстанция. В разработанной Антуаном Арно, Клодом Лансло и Пьером Николем логико-лингвистической концепции Пор-Рояля (1660, 1662) интерпретация отношений между языком и мышлением в большей степени опирается на Декарта и на предвосхитившего многие его идеи Августина.

Античное разграничение умопостигаемой и чувственной материи сменилось у Декарта противопоставлением двух субстанций — неделимой мыслящей субстанции и протяженной и делимой телесной субстанции.

Вслед за Декартом А. Арно и П. Николь также различают тело и дух как два вида субстанции, при этом видовым отличием тела они считают протяженность, видовым отличием духа, или собственным признаком души, — мышление. Таким образом, тело — протяженная субстанция, а дух — мыслящая субстанция [Арно и Николь 1991: 56], нематериальная и бестелесная [Там же: 164].

Духу и мыслящей субстанции присущи мышление, сомнение, воспоминание, воление, рассуждение [Там же: 42]. Мыслящая субстанция мыслит, волит, сомневается, познает [Там же: 128]. Следовательно, с мышлением неразрывно связаны не только суждение и умозаключение, но и сомнение, воление, желание, чувствование, воображение [Там же: 66].

В противопоставлении двух субстанций Декарт и его последователи, как до них Платон и Аристотель, утверждавшие примат идеи — эйдоса — формы над материей, исходят из онтологического превосходства умопостигаемого над чувственным, мыслящей субстанции над протяженной. Соответственно и в гносеологии на первый план выдвигается познание природы самого ума. Авторы Пор-Рояля убеждены, что «такое познание, если при этом исследовать одно только умозрение, превосходит познание любых телесных вещей, ибо они неизмеримо ниже духовных» [Там же: 31].

Действия ума и структура мысли. Из четырех действий ума: представления, суждения, умозаключения и упорядочения (метода) — важнейшими, основополагающими в процессе познания вещей являются первое и второе.

«Представлением (*concevoir*) называют простое созерцание вещей, которые представляются нашему уму, как, например, когда мы представляем себе (*nous représentons*) Солнце, Землю, дерево, круг, квадрат, мышление, бытие, не вынося о них никакого суждения. Форма же, в какой мы представляем себе эти вещи, называется *идеей*».

Суждением (*juger*) называют действие нашего ума, посредством которого он, соединяя различные идеи, утверждает об одной, что она есть другая, либо отрицает это, как, например, когда, обладая идеей Земли и идеей круглого, я утверждаю о Земле, что она есть круглая, либо отрицаю, что она такова» [Арно и Николь 1991: 30].

Благодаря этим двум операциям рассудка в сознании выделяются *предметы*, или *объекты*, *мысли*, с одной стороны, и *форма мысли* — с другой.

То, что мы себе представляем, составляет объект нашей мысли. В зависимости от способа мыслить, а именно чистого разумения или воображения, представления вещей в рассудке либо являются чисто духовными, либо соотносятся с телесными образами.

В этой связи исповедующие рационализм авторы Пор-Рояля оспаривают главный принцип сенсуализма — о чувственном происхождении идей, причем не только чисто духовных идей «бестелесных вещей», но и тех, что рисуются нашим воображением в виде телесных (чувственных) образов. В частности, говоря о *чувстве*, *ощущении*, *зрении*, *слухе* и т. п., авторы Пор-Рояля считают необходимым различать: 1) определенные движения в органах тела (например, в глазе и в мозге), 2) восприятия воздействующих предметов, возникающие в душе по поводу движений в телесном органе, 3) «...суждения, прибавляемые нашей душой к восприятиям, которые возникают в ней по поводу движений, происходящих в органах тела» [Там же: 80–81].

«Когда говорят, что глаз видит, а ухо слышит, это можно понимать только в смысле движения в телесном органе, ибо каждому ясно, что глаз отнюдь не воспринимает воздействующих на него предметов и не выносит о них суждений. И наоборот, мы говорим, что не видели человека, который был у нас перед глазами, если мы этого не сознавали. Слово *видеть* обозначает в данном случае мысль, формирующуюся в душе вслед за тем, что происходит в глазе и в мозге. Соответственно этому значению слова “видеть” видит не тело, а душа, как утверждал Платон, а после него Цицерон...» [Там же: 80].

Поскольку душа способна формировать идеи сама [Там же: 38], «...неверно, что все наши идеи берут начало в чувствах; напротив, можно сказать, что ни одна идея в нашем уме не происходит из чувств — разве только окказионально, в том смысле, что движения, возникающие у нас в мозге (а только их и способны вызывать наши чувства), дают душе повод (*occasion*) образовать различные идеи, которые она иначе бы не образовала, хотя в этих идеях почти никогда не бывает ничего похожего на то, что происходит в чувствах и в мозге, и к тому же есть очень много идей, которые не заключают в себе совершенно никакого телесного образа и не могут быть соотнесены с чувствами...» [Там же: 39].

Однако «...люди говорят совсем не для того, чтобы выразить, что они созерцают, но почти всегда для того, чтобы составить суждения о предметах». Суждение, то есть вторая операция рассудка, по определению авторов «Грамматики», «...является собственно деятельностью нашего сознания и способом нашего мышления», «основной формой мысли» [Арно, Лансло 1990: 92]. Поскольку с мышлением

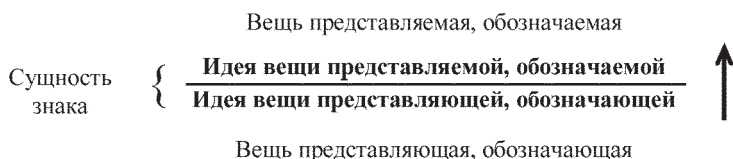
неразрывно связаны не только суждения и умозаключения, но и сомнение, воле-ние, желание, чувствование, воображение, то и суждение как форма мысли пони-маются весьма широко. К суждению авторы «Грамматики» относят «...и различно-го рода соединения (conjunctions), разъединения (disjunctions) и другие подобные им операции рассудка, а также — иные движения нашей души, такие, как желания, приказание, вопрос и прочие» [Арно, Лансло 1990: 92–93].

Мышление и язык. Мышление в представлении авторов Пор-Рояля неотде-лимо от языка вследствие того, что сообщать свои мысли другим можно только с помощью внешних знаков «...и привычка эта настолько сильна, что, даже когда мы размышляем наедине с собой, вещи представляются нашему уму не иначе, как вместе со словами, в которые мы привыкли их облекать, говоря с другими людьми» [Арно и Николь 1991: 31].

Вместе с тем авторы Пор-Рояля как будто допускают возможность мышле-ния без опоры на язык: «если бы наши размышления над своими мыслями име-ли отношение только к нам самим, достаточно было бы созерцать мысли сами по себе, не облекая их в слова и не пользуясь какими-либо иными знаками» [Там же]. Такое допущение проистекает из того, что сами идеи, согласно рационалистиче-ским представлениям, формируются без помощи языка, без опоры на чувственные знаки. Языковые знаки — слова — нужны человеку для обозначения и выражения готовых мыслей, для их передачи и постижения в процессе общения [Арно, Ланс-ло 1990: 89–90], но отнюдь не для их создания.

Учение о знаке. Представление о неразрывной связи — по социальным моти-вам — мышления и языка находит отражение и в учении о знаке как двусторонней идеальной сущности.

Определяя понятие знака, А. Арно и П. Николь исходят из различения объек-тов двух видов. «Когда объект рассматривается сам по себе, в своем собственном бытии и наш умственный взор не обращается на то, что он может представлять, имеющаяся у нас идея этого объекта является идеей вещи, как, например, идея Земли, Солнца. Когда же некоторый объект рассматривают только в качестве пред-ставляющего какой-то другой объект, его идея является идеей знака и этот первый объект называют знаком. Так обычно смотрят на географические карты и на про-изведения живописи. Знак заключает в себе, таким образом, две идеи: идею вещи представляющей и идею вещи представляемой, и сущность его состоит в том, чтобы вызывать вторую посредством первой» [Арно и Николь 1991: 46; выделено мною. — Л. З.], т. е. «...чтобы вызывать в чувствах посредством вещи обозначаю-щей идею вещи обозначаемой». «...Пока вызывается эта двойкая идея, есть и знак» [Там же: 48]. Схематически его структуру можно представить так:



Авторы Пор-Рояля не исключают оборачиваемости ролей в структуре знака: «...одно и то же может быть в одном состоянии обозначающим, а в другом — обозначаемым». Более того, одна и та же вещь «может быть одновременно и вещью, и знаком» [Арно и Николь 1991: 47].

В трактовке языкового знака–слова, по-видимому, не обошлось без влияния представителя латинской патристики Августина, который задолго до Декарта противопоставил душу телу, значение звучанию как неделимое начало делимому. Согласно Августину, «...название (*nomen*) состоит из звука и значения». Поскольку «...звук... относится к ушам, а значение к уму», то «...в названии, как бы в некотором одушевленном существе, звук представляет собою тело, а значение — душу звука». «Так как всё, что подлежит чувствам, находится в известном месте и времени, или, точнее, занимает известное место и время, то чувствуемое глазами разделяется по месту, а ушами — по времени». Соответственно и звук имени может быть «разделен на буквы (*utrum nominis sonus per litteras dividi possit*), между тем как душа его, т. е. его значение (*significatio*), не может», ведь «...в нашей мысли оно не представляется... ни длинным, ни широким» (цит. по: [Эдельштейн 1985: 166]).

В определении авторов Пор-Рояля, «...слова суть учрежденные знаки мыслей» [Арно и Николь 1991: 48], и «говорить — значит объяснять свои мысли при помощи знаков, изобретенных людьми для этой цели» [Арно, Лансло 1990: 71].

Подобно другим знакам, речевые знаки имеют две стороны. «Первая — то, чем они являются по своей природе, а именно как звуки и буквы. Вторая — их значение, т. е. способ, каким люди используют их для означения своих мыслей» [Там же].

Первая, материальная, сторона не может считаться специфически человеческой, ибо она «является общей, по крайней мере в том, что касается звуков, для людей и для попугаев» [Там же: 89]. Зато вторая, духовная, сторона «составляет одно из наиболее важных преимуществ человека перед всеми прочими живыми существами и одно из главнейших свидетельств разумности человека» [Там же].

Определив речевые знаки как двусторонние сущности, авторы Пор-Рояля в то же время следовали традиции, отождествлявшей знаковую с произвольностью и сводившей таким образом знаки к одной звуковой стороне, что послужило в дальнейшем поводом для разработки теории языкового знака как односторонней сущности. В самом деле, поскольку «в определении имени... рассматривают всего только звук, делая этот звук знаком идеи, обозначаемой другими словами» [Арно и Николь 1991: 82], то «...слова можно определить как членораздельные звуки, которые используются людьми как знаки для обозначения их мыслей» [Арно, Лансло 1990: 90], «...слова суть отчетливые и членораздельные звуки, которые люди сделали знаками, чтобы обозначить то, что происходит у них в уме» [Арно и Николь 1991: 100].

С точки зрения авторов Пор-Рояля, произвольность касается звука и его соединения с идеей (значением), но не самой идеи. «...Всякий звук по природе своей может

обозначать любую идею» [Арно и Николь 1991: 83]. «...Такую-то идею соединяют с таким-то звуком, а не с другим совершенно произвольно, но сами идеи отнюдь не являются чем-то произвольным и не зависят от нашей фантазии, по крайней мере те из них, которые ясны и отчетливы» [Там же: 36]. «Ведь от нашей воли не зависит, чтобы идеи содержали то, что нам хотелось бы» [Там же: 83].

Произвольность соединения идеи со звуком отнюдь не препятствует тому, что звуки, которыми обозначают идеи, «в силу приобретенной умом привычки связываются с идеями столь тесно, что одно не мыслится без другого: идея вещи вызывает идею звука, а идея звука — идею вещи» [Там же: 100]. Вот почему «...люди с трудом отделяют от слова идею, с которой они его однажды связали» [Там же: 88]. Более того, «...вследствие необходимости использовать внешние знаки, для того чтобы нас понимали, мы связываем наши идеи со словами так, что нередко принимаем во внимание скорее слова, а не вещи. Это одна из самых распространенных причин путаницы в наших мыслях и рассуждениях» [Там же: 79].

Соответственно, уточненная схема языкового знака принимает следующий вид:



Рациональные основания общих и частных явлений языка и речи. Так как произвольность языкового знака не может объяснить несомненное существование явлений, общих для всех языков (в том числе в звуковой стороне), то, исходя из самой функции языка — служить «передаче и постижению мыслей», остается предположить, что эта общность имеет рациональные основания, объясняется требованиями и структурой обозначаемой мысли и потому должна проявляться прежде всего в духовной стороне языковых знаков. Чтобы выявить начала и причины, лежащие в основании разнообразных видов значения слов, определить, от чего зависит разнообразие слов в речи, понять самые основы грамматики, необходимо постигнуть не только то, что происходит в наших мыслях, но и то, каков естественный способ выражения мыслей [Арно, Лансло 1990: 89–90, 93], «ибо оказывается, что решающую роль играет не столько значение, сколько способ обозначения (*manière de signifier*)» [Там же: 94].

Поэтому в поисках «разумных объяснений многих явлений, либо общих для всех языков, либо присущих лишь некоторым из них» [Там же: 69], авторы «Грамматики Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло соотносят, с одной стороны, механизмы мысли — действия, операции ума, а с другой — правила и принципы языкового выражения, речевого обихода, употребления.

В результате оказалось возможным: 1) дать рациональное объяснение общих и частных категорий языка и многих явлений речевого обихода; 2) выявить стратификацию значимостей, отделив существенные свойства классов слов от их акциденций, основные идеи от добавочных; 3) обосновать отсутствие взаимооднозначного соотношения между означаемыми и означающими языковых знаков, обуславливающее функциональную асимметрию последних; 4) обозначить «критические точки», не всегда согласующиеся с требованиями разума.

Для понимания специфики структурной организации духовной и материальной стороны языка, а также для последующего установления основных типов отношений между языковыми единицами представляется чрезвычайно важным различие в «Логике Пор-Рояля» двух видов целого и соответственно двух видов деления.

«Есть целое, состоящее из нескольких действительно отдельных частей. По-латыни оно называется *totum*, части же его называют *составными частями*. Деление этого целого называется *разделением на части* (*partition*). Например, когда дом делят на квартиры, город — на кварталы, королевство или государство — на области, человека — на тело и душу, тело — на члены. <...>

Другое целое называется по-латыни *omne*, а части его носят название *субъектных* или *нижних частей*, потому что это целое — общий термин, а части его — субъекты, входящие в его объем. Слово *животное* представляет собой целое такого рода. Его субъектными частями являются *человек* и *зверь* — нижшие [субъекты], входящие в его объем. Подобное деление и есть деление в собственном смысле слова (*division*)» [Арно и Николь 1991: 162].

Надо думать, что материальной стороне языка как делимой протяженной субстанции должны быть более свойственны цело-частные отношения и, следовательно, деление целого на части, тогда как духовной стороне, т. е. неделимой мыслящей субстанции, — родо-видовые отношения как важнейший тип выделенных позднее парадигматических отношений.

При анализе духовной стороны различные виды значений, заключенных в словах, определяются в соответствии с тем, что происходит в наших мыслях. Важнейшей в силу большей обобщенности и формальной закреплённости является категоризация грамматическая, составляющая строевую основу языка. И именно ее обосновывают авторы Пор-Рояля свойствами самой мысли, исходя из структуры суждения и различая у общих идей (понятий) содержание (*compréhension*) и объем (*étendue*) [Там же: 52–53].

Сначала дается обоснование распределения слов по частям речи, причем внимание авторов сосредоточивается на основных частях речи, каковыми они считают имя, местоимение и глагол [Там же: 100]. Затем выявляются разумные основания разграничения отдельных разрядов слов внутри определенных частей речи. Наконец, выясняются причины существования частных грамматических категорий.

Общее между языками обнаруживается в последовательном дихотомическом членении духовной стороны на основе родо-видовых отношений, а именно в разграничении средствами языка объектов мыслей и формы мыслей; среди

объектов — вещей, или субстанций, и способов бытия вещей, или акциденций; среди вещей — единичных и не-единичных вещей.

В первую очередь в соответствии с основными операциями рассудка, обуславливающими различение в нашем сознании объекта (предмета) и формы мысли, «...люди, нуждаясь в знаках для обозначения того, что происходит в их сознании, должны были неизбежно прийти к наиболее общему разделению слов, из которых одни обозначали бы объекты мыслей, а другие — форму и образ мыслей» [Арно, Лансло 1990: 93]. К первому типу прежде всего принадлежат имена, ко второму — глаголы, основное назначение которых состоит в обозначении утверждения, являющегося основным способом мысли, а также союзы и междометия [Там же: 147–148, 154–156].

В свою очередь имена разделяются на имена существительные, обозначающие субстанции, и имена прилагательные, которые обозначают акциденции (атрибуты, качества), смутно указывая на предмет–носитель данного качества. Поскольку субстанции существуют самостоятельно, то и имена существительные употребляются в речи самостоятельно, не нуждаясь в другом имени. Напротив, акциденции (качества) не обладают самостоятельным существованием, и потому обозначающие их имена прилагательные должны быть присоединены в речи к другим именам [Там же: 94; Арно и Николь 1991: 40–41, 101–102].

Имена существительные распадаются далее на имена собственные и имена нарицательные. Первые обозначают единичные понятия (например, *Сократ*, *Париж*), вторые — общие (например, *человек*, *лев*, *собака*, *лошадь*) [Арно, Лансло 1990: 97–98].

Так как у общих понятий различаются содержание и объем, то и в имени нарицательном авторы Пор-Рояля различают «две стороны: значение (*la signification*), являющееся постоянным (*fixe*)..., и объем этого значения (*l'étendue de cette signification*), который может варьироваться в зависимости от того, как употребляется имя: либо во всем объеме, либо как его часть, определенная или неопределенная» [Там же: 135].

Сужение объема может производиться разными языковыми средствами.

Первым из таких средств называется категория числа. При ее анализе обращается внимание и на те существительные, которые не имеют множественного числа — «либо просто по обычаю употребления, либо по некоторым разумным основаниям». Последнее касается, в частности, названий металлов в различных языках [Там же: 100–101].

Однако «неопределенное значение имен нарицательных... побуждает не только употреблять эти имена в двух числах — единственном и множественном, с тем чтобы ограничивать это значение. Определять неясное значение имен нарицательных можно еще и иначе. Почти во всех языках были для этой цели введены некоторые частицы, названные артиклями, которые иным образом, нежели числа, определяют это неясное значение как в единственном, так и во множественном числе» и помогают «избежать многочисленных двусмысленностей» [Там же: 115].

Кроме того, имя без артикля может быть определено именами, обозначающими количество предметов — словами *sorte, espèce, genre*, — и еще рядом способов [Арно, Лансло 1990: 137–139].

Наконец, в целях ограничения нарицательных имен в функции субъекта или атрибута предложения–суждения используются придаточные предложения с ограничительным относительным местоимением *который (кто, что)* [Арно и Николь 1991: 121–123].

При анализе материальной стороны языка за основу принимается ее видовое отличие — протяженность. Поэтому среди закономерностей языкового выражения внимание авторов Пор-Рояля особенно часто привлекает стремление людей сократить длину фраз и оборотов речи. Именно с этим стремлением связывается образование наречий из сочетаний имен с предлогами. Им же объясняется образование всех глаголов, за исключением глагола–связки *есть*. Хотя обозначение утверждения — это наиболее существенное, главное свойство глагола и единственно истинное его определение, объясняющее способность глагола составлять целое предложение [Арно, Лансло 1990: 153], однако, «...следуя естественной склонности сокращать свои выражения, люди, как правило, передают одним и тем же словом, помимо утверждения, и другие значения» [Арно и Николь 1991: 107]. Так, в результате соединения с утверждением значения некоторого атрибута в каждом языке вместо одного-единственного глагола *есть* употребляется великое множество разных глаголов и вместо *Петр есть живущий* говорят обычно *Петр живет*.

Стремлением к краткости выражения объясняются и такие морфологические категории глагола, как категории лица, числа, времени, наклонения. В частности, «...разнообразие лиц и чисел в глаголах происходит от того, что люди, желая сократить свою речь, стали присоединять в пределах одного слова к утверждению, являющемуся основным свойством глагола, субъект предложения» [Арно, Лансло 1990: 157]. Ср.: *Я есмь живущий и Живу*. Даже «...в безличном глаголе уже содержатся субъект, утверждение и определение (l'attribut) в одном слове, выраженные одним словом» [Там же: 178].

Помимо краткости, к речевому обиходу предъявляются также определенные эстетические требования. Речь должна быть благозвучной, и поэтому следует избегать повторов.

Чтобы избавиться от скуки повторения одних и тех же имен и названий вещей, для их замещения были придуманы местоимения, которые, в отличие от имен, представляют вещи завуалированно, смутно [Там же: 12; Арно и Николь 1991: 102–103]. Такое разграничение имен и местоимений в общем не противоречит требованиям разума, который оперирует не только ясными, отчетливыми, но и темными, смутными идеями.

Стремление к красоте и изяществу ведет и к отступлениям от естественного выражения мысли, например в виде так называемых *фигур речи*. «По отношению к грамматике они, безусловно, представляют собой ее нарушения, но в отношении

языка они выступают его украшением и подчас открывают нам его совершенства» [Арно, Лансло 1990: 209–210].

Однако стремление избежать неблагозвучности произношения, какофонии может иметь и отрицательные последствия. Побуждая отступить от «законов аналогии», оно служит источником большинства аномалий, или нерегулярностей, языков [Там же: 117–118].

Соотношение двух сторон языка. Анализ духовной и материальной стороны языка был бы неполон без освещения закономерностей их соотношения в грамматике.

При рассмотрении грамматических категорий авторы «Грамматики» исходят из единства значения и способа его обозначения, признавая как будто обязательность последнего. Отсутствие средств выражения означает, по мнению авторов, отсутствие соответствующей грамматической категории в данном языке. Такая позиция недвусмысленно заявлена в главе XVI «О различных модусах, или наклонениях глаголов». Ср.: «...в латыни одни и те же окончания служат для выражения сослагательного и желательного наклонений, и поэтому благоразумным представляется исключение последнего из спряжения латинского глагола, ибо наклонения создаются в глаголе *не только за счет различия в значениях* (которые могут быть весьма разнообразными), *но и за счет различия в окончаниях*» [Там же: 166; выделено мною. — Л. 3.].

Тем не менее из системных и/или прагматических соображений допускаются и иное решение. В частности, оно коснулось аблатива. «Этот падеж обычно не встречается во множественном числе, ибо он не имеет там собственного окончания, отличного от окончания датива. Но поскольку считать, что, например, какой-то предлог управляет аблативом в единственном и дативом во множественном числе, означало бы нарушать аналогию, то предпочитают говорить, что и во множественном числе есть аблатив, но только всегда совпадающий с дативом.

Именно по этой причине полезно считать, что аблатив есть и у греческих имен, хотя он всегда совпадает с дативом, ибо тогда сохраняется сходство между греческим и латынью, столь необходимое, если учитывать, что эти два языка обычно изучаются одновременно» [Там же: 114].

Далее, в идеале, согласно велениям разума, должно бы существовать взаимоднозначное соответствие между идеей и ее выражением в языке. И тогда следует ожидать, что, «...как скоро фраза приобретает определенный смысл, она приобретает и определенную конструкцию» [Там же: 200]. Такие соответствия действительно имеются, не ограничиваясь анализируемыми в «Грамматике» оборотами с возвратностью во французском языке [Там же: 196–201].

Соотношение языкового способа выражения мысли с ее структурой. Согласованность между ними можно видеть, в частности, в трех первых общих принципах (*maximes*), «...касающихся сочетания слов, которые в силу своей распространенности представляют особую важность для всех языков» [Там же: 206].

1) «...Никогда не встречается номинатива, который не был бы связан с некоторым глаголом, выраженным или подразумеваемым, ибо речь содержит не только исходные понятия, но и выражает то, что мыслится относительно этих понятий. Последнее же передается посредством глагола» [Арно, Лансло 1990: 206].

2) «...В свою очередь не встречается глагола, который не имел бы своего номинатива, выраженного или подразумеваемого. Поскольку основным признаком глагола является способность к утверждению, то необходимо, чтобы было нечто, подлежащее утверждению, а это не что иное, как субъект глагола, который обычно и является номинативом, относящимся к данному глаголу» [Там же: 206–207].

3) «...Не может быть прилагательного, которое не относилось бы к какому-либо существительному, потому что прилагательное уже само по себе неявно указывает на имя существительное, являющееся субстанцией формы, ясно обозначенной этим прилагательным» [Там же: 207].

Подобные импликации, проистекающие из структуры суждения как основной формы мысли и из закономерностей языкового выражения, объясняют «почти единообразную сущность» согласовательных конструкций во всех языках, рассмотренных авторами [Там же: 204].

В то же время авторы Пор-Рояля показывают, что реальное соотношение между мыслью и ее языковым выражением далеко не всегда гармонично. Асимметрия между ними (а следовательно, между значением и формой) — явление весьма распространенное. Так, регулярно наблюдается асимметрия между выражаемым отношением и обозначающим его предлогом. В частности, во французском «...одно и то же отношение выражается несколькими предлогами, как, например, *dans*, *en*, *à*, и наоборот, один и тот же предлог, как, например, *en*, *à*, обозначает различные отношения» [Там же: 143].

Более того, те закономерности языкового выражения, в которых проявляется стремление людей к краткости в речевом общении, делают отступления от однозначного соответствия мыслительных и языковых единиц не просто неизбежными, но и вполне закономерными. Объединение в одном слове разнообразных значений вследствие желания сократить свою речь приводит к тому, что, несмотря на следование языка, его грамматического строя требованиям разума, взаимоднозначное соответствие между логикой и грамматикой отсутствует. Определив предложение как «высказанное нами суждение об окружающих предметах» [Там же: 92] и как будто отождествив их («Суждение называется также *предложением*» [Арно и Николь 1991: 112]), авторы показывают их нетождественность, вскрывая ее механизмы.

С одной стороны, предложение может заключать в себе не одно суждение, а несколько. «Например, в случае, когда я говорю: *Dieu invisible a créé le monde visible* ‘невидимый Бог создал видимый мир’, в моем сознании проходят три суждения, заключенные в этом предложении. Ибо я утверждаю: 1) что *Бог невидим*; 2) что *он создал мир*; 3) что *мир видим*» [Арно, Лансло 1990: 130].

С другой стороны, структура суждения может быть выражена в строении предложения по-разному — и в полной, и в свернутой форме. Благодаря объединению

в одном глагольном слове ряда значений трехчленная структура суждения может быть выражена предложением из двух слов, если глагольное слово включает в себя наряду со значением утверждения значение атрибута, и даже из одного слова, если последнее включает в себя еще и значение субъекта. Ср.: *Петр есть живущий* и *Петр живет*; *Я емь живущий* и *Живу*.

Кроме того, соотношение языка и мышления осложняется тем, что свойства мыслящей субстанции не ограничиваются одним мышлением, а в самом мышлении не исключается субъективное начало. Обозначая определенные вещи, говорящий нередко выражает и чувства, с которыми он думает и говорит о вещах, и свое отношение к ним. Соответственно «...слово, помимо основной идеи, рассматриваемой как собственное значение данного слова, вызывает еще и несколько других идей, которые можно назвать добавочными... <...>

Иногда добавочные идеи не связаны со словами в общепринятом употреблении, а соединяются с ними только людьми, произносящими эти слова. Таковы идеи, вызываемые тоном голоса, выражением лица, жестами и другими естественными знаками, связывающими с нашими словами множество идей, которые вносят в их значение различные оттенки, изменяют его, что-то от него убавляют или, наоборот, прибавляют к нему что-то особенное, отражая чувства, суждения и мнения говорящего. <...> ...Тон значит порой не меньше, чем сами слова. Бывает голос для наставлений, голос для лести, голос для порицания. Часто хотят, чтобы слова не просто дошли до ушей того, к кому обращаются, а задели и уязвили его; ...тон является частью внушения и необходим для образования в уме той идеи, которую в нем хотят запечатлеть.

Иногда же добавочные идеи связаны с самими словами, так как они вызываются у слушающих почти всегда, кто бы эти слова ни произносил. Поэтому среди выражений, обозначающих, казалось бы, одно и то же, одни оскорбительны, другие лестны, одни скромны, другие бесстыдны, одни пристойны, другие неприличны; ибо, кроме основной идеи, которая их объединяет, люди связывают с ними другие идеи, вносящие в их значение различные оттенки» [Арно и Николь 1991: 91–92].

Как видно, авторы Пор-Рояля рассматривают языковые знаки не только в семантическом аспекте, но и в прагматическом, вскрывая таким образом один из механизмов, обуславливающих функциональную асимметрию языковых знаков, их скольжение по осям полисемии (омонимии) и синонимии.

Из сказанного можно заключить, что разумному объяснению поддаются общие для всех языков явления, которые либо согласуются с законами самого разума, либо проистекают из закономерностей языкового выражения, повсеместно встречающихся в обиходе. В результате отсутствие взаимоднозначных соответствий между значением и формой также находит разумное объяснение.

Там же, где ограничена, а то и вовсе отсутствует разумная мотивация, господствует произвол, действуют «причуды обихода». Среди грамматических категорий наиболее уязвимы в этом отношении категории рода и падежа. Именно с ними авторы Пор-Рояля связывают замеченные *межъязыковые различия*.

В отдельных случаях род существительных может быть объяснен половыми различиями между обозначаемыми одушевленными объектами. Однако у большинства существительных род никак не мотивирован. Вследствие этого «...в разных языках род слов варьируется, причем даже в тех словах, которые были заимствованы одним языком из другого». По тем же причинам «иногда род слова может меняться в языке с течением времени», а в каждый данный период «...одно и то же слово употребляется одними в мужском, а другими в женском роде» [Арно, Лансло 1990: 103].

Что касается категории падежа, то авторы Пор-Рояля как будто признают ее значимость для любого языка, и именно по соображениям разума: «...поскольку вещи часто рассматриваются в самых разных отношениях друг с другом, необходимо было обозначить эти отношения» [Там же: 105], тем более что «...без падежей нельзя было бы в полной мере понять связь слов в предложении» [Там же: 106].

При установлении падежей авторы Пор-Рояля ориентируются на систему языка во всей ее целостности. Даже если в языке отсутствует склонение имен существительных, падежи выделяются, так как «...почти нет языков, которые не имели бы падежей в местоимениях» [Там же: 106].

При анализе падежей учтены различные средства их выражения: *флексии*, *предлоги*, к которым языки стали прибегать за недостатком беспредложных падежей для обозначения всевозможных отношений вещей между собой [Там же: 113], *порядок слов* (используемый, например, во французском, чтобы отличить номинатив от accusativa [Там же: 112]), а также другие более редкие и специфичные средства, в частности *опущение артикля* в вокативе, в отличие от номинатива, во французском языке [Там же: 108].

Тем не менее языковых средств для обозначения многообразных отношений вещей друг с другом может не хватать. Особенно ярко это проявляется в генитиве, где за общим отношением одной вещи, принадлежащей другой, стоит множество частных отношений [Там же: 108–109], в том числе прямо противоположных, и «...это иногда приводит к различным двусмысленностям» [Там же: 109]. В то же время допускается вариативность в выражении одного и того же значения. Например, в греческом в значении вокатива может быть использован не только вокатив, но и номинатив [Там же: 107]. Сходная асимметрия между формой и функцией, как уже говорилось, характеризует и употребление предлогов.

В итоге «...в качестве глагольного дополнения (*le régime des verbes*) выступают подчас различные падежные формы, что связано с разного рода отношениями, выражаемыми этими падежами в соответствии с причудами обихода» [Там же: 207–208]. Иначе говоря, «...в обиходе в каждом случае то или иное отношение выбирается совершенно произвольно». Не только синонимичные глаголы, но даже один и тот же глагол может управлять различными падежами и использовать при этом различные предлоги, выражая одно и то же значение. Однако бывает и так, что различные дополнения в корне меняют смысл оборота [Там же: 208–209].

Все это лишь подтверждает общий вывод, к которому приходят авторы Пор-Рояля: «синтаксис управления (*la syntaxe de régime*) ...практически чисто произволен, а поэтому весьма различен в разных языках» [Арно, Лансло 1990: 205–206].

Произвол усматривается уже в том, что «...в одних языках управление осуществляется за счет падежей (из языков, рассматриваемых в «Грамматике Пор-Рояля», это древнегреческий и латынь. — *Л. 3.*), в других (во французском, испанском, итальянском. — *Л. 3.*) вместо падежей используются частички, фактически заменяющие падежи и способные к обозначению некоторых падежей» [Там же: 206].

Сходные различия между древними и новыми языками отмечаются авторами Пор-Рояля неоднократно. Отсубстантивным прилагательным и наречиям (древне-)греческого и латинского языков в новых романских языках соответствуют предложно-именные сочетания [Там же: 95, 146]; личным формам глаголов, как правило самодостаточным и без личных местоимений, соответствуют сочетания личных местоимений с глагольными формами, не различающимися по окончаниям [Там же: 159]; конструкции с причастием соответствует конструкция с относительным местоимением. И хотя только в отношении последнего соответствия авторы указывают на то, что «использование одного или другого способа зависит от духа (*génie*) языка» [Там же: 131], однотипность перечисленных соответствий позволяет видеть эту зависимость и во всех остальных случаях.

Позднее указанные различия послужили основанием для разделения языков на синтетические и аналитические.

4.1.2. «Методическая энциклопедия. Грамматика и литература»

В эпоху Просвещения принципы рационалистического подхода к языку были закреплены французскими энциклопедистами в «Методической энциклопедии. Грамматика и литература» (см.: *Encyclopédie Méthodique. Grammaire et littérature* (при ссылках: EMGL). Paris, 1789. Т. 1–3).

В трактовке энциклопедистов, в сущности подытоживающей идеи рационалистического подхода к языку начиная с античности, «законы логического анализа мысли являются неизменно одними и теми же везде и во все времена, ибо природа и операции, на которые способен человеческий разум, являются общими для всех людей. Без этой однородности и абсолютной неизменности не могло бы существовать никакого общения между людьми различных эпох и народов, а также между двумя произвольно взятыми индивидами, ибо они не располагали бы общими правилами для анализа соответствующих мыслительных операций» (EMGL, 2: 190. Цит. по: [Бокадорова 1987: 80]).

С представлением о неизменности и однородности, универсальности человеческого мышления связано восходящее к Платону (см. диалоги «Менон», 81b–86b, «Федон», 72e–77e) рационалистическое представление о врожденном характере идей, выражаемых с помощью языка. Язык имеет дело с уже «готовыми», сформированными мыслительными единицами. А так как мысль неотделима от произведе-

кающей из нее речи (EMGL, 2: 189. См.: [Бокадорова 1987: 79]), то «все языки неизбежно подчиняют свое развитие законам логического анализа мысли» и потому «...здравая логика и есть основание грамматики» (EMGL, 2: 190, 189. Цит. по: [Там же: 80]). «Поскольку природа придала необходимый порядок нашим мыслям, то порядок этот не мог не сообщиться языкам» (EMGL, 2: 401. Цит. по: [Там же: 81]). Значит, «должны существовать общие всем языкам основные принципы, нерушимая истинность которых предшествует всем произвольным или непредвиденным соглашениям, которые дали начало различным наречиям, разделяющим людской род» (EMGL, 2: 190. Цит. по: [Там же: 80]).

Однако время не могло не внести свои поправки в понимание «общих всем языкам основных принципов». С расширением международных связей и языковых контактов, по мере становления и укрепления национального самосознания всё больше осознается и специфичность каждого отдельного языка, несмотря на действие универсальных принципов. Всё более утверждается мысль о единстве универсального и специфического (индивидуального) в языке. Так, уже в 1730 г. П. Ресто в своей книге «Начала общие и рациональные французского языка» указывает на два вида начал, действующих в языке. «Первые — всеобъемлющи, свойственны всем языкам, ибо содержатся в самой природе вещей и в тех различных операциях, на которые способен человеческий разум: таковыми являются определение и использование имен, глаголов и большинства других частей речи. Другие начала являются глубоко индивидуальными для каждого языка. Принципы их относятся к словам и манере речи, свойственным только одному языку» (П. Ресто. Цит. по: [Там же: 45]).

На исходе XVIII в. сосуществование в языке универсального и индивидуального становится вполне очевидным. И энциклопедисты, приверженцы рационалистического подхода к языку, наряду с универсальными неизменными принципами грамматики, которые «...относятся к природе самой мысли, служат анализу мысли и вытекают из самой мысли», выделяют и другие грамматические принципы — «свободные и изменчивые», которые диктуются обиходом, языковым употреблением (EMGL, 2: 190. См.: [Там же: 78]) и несут отпечаток национального своеобразия. Так выясняется, что каждому языку присущ свой, особый дух (характер, гений), о чем начиная с «Грамматики Пор-Рояля» пишут авторы многих французских грамматик, например П.-К. Бюфье, П.-Ж. д'Оливе, Н.-Фр. де Вайи, Левизак [Там же: 42, 48, 59, 67–69]. Более того, уже д'Оливе понимает под гением «направления мысли» [Там же: 49], а в середине XVIII в. такой «сторонник разума», как С.-Ш. дю Марсэ, утверждает, что «...языки образованы обычаем народа и некоторым его особым духовным складом, а не по рациональному обоснованию» (Цит. по: [Там же: 53]). С этим положением дю Марсэ вполне согласуется вывод энциклопедистов: «...в разных языках указанные универсальные закономерности реализуются по-разному, что связано с различием духа народов, говорящих на этих языках» (EMGL, 2: 410. Цит. по: [Там же: 86–87]). «Различия в климате, в политическом устройстве, революции, в корне меняющие политическое лицо

целых народов, состояние наук, искусств, торговли, религия и ее распространение в государствах и, наконец, противоположные стремления наций, провинций, городов и даже отдельных семей — всё это способствует тому, что на вещи смотрят по-разному в разных регионах и в разные эпохи. Этим же можно объяснить причину несходства гениев, или духа различных языков. Результаты бесконечных комбинаций указанных обстоятельств создают удивительные различия, которые проявляются в словах разных языков, выражающих одно и то же понятие, а также в тех средствах, которыми пользуются эти языки для обозначения отношений между словами и в строении фраз, допускающемся в языках» (EMGL, 2: 401. Цит. по: [Бокадорова 1987: 81]). Как видно, в конце XVIII в. языковые различия усматриваются уже не только в лексике и «манере речи», но также в морфологии и синтаксисе.

Отсюда вполне осознанная необходимость различения грамматического и логического подхода к анализу речи. Так, согласно дю Марсэ, «каждое предложение может быть рассмотрено либо с грамматической, либо с логической точки зрения. Когда предложение рассматривается с позиций его грамматической структуры, то анализируются лишь взаимные связи, существующие между словами в предложении. На логическом уровне рассматривается целостный смысл, являющийся результатом соединения слов. Иначе это можно выразить так: на грамматическом уровне предложение рассматривается нами как способ выражения; на логическом же уровне это есть не что иное, как единица понимания, смысла... На логическом уровне одну часть мысли мы рассматриваем как субъект, другую — как атрибут (предикат), не обращая внимания на слова, коими они выражены» (Дю Марсэ. Цит. по: [Там же: 108]).

Таким образом, для рационалистически мыслящих исследователей XVII–XVIII вв. определяющая роль разума, логики по отношению к языку вовсе не означает их тождества.

* * *

Из изложенного выше вполне очевидно, что с античности до конца XVIII в. рационалистический подход к языку претерпел существенные изменения.

Естественная для эпохи зарождающегося теоретического знания целостность, нерасчлененность, синкретичность мировосприятия объясняет, почему «категории бытия, мышления и языка осознаются античной философией в их единстве, но очень нечетко в их противоположности и почти неизменно сливаются» [Троцкий 1996: 26]. Характерные для зрелой и поздней классики представления о нераздельной слитности мысли и речи, о тождественности доказательств, относящихся к слову и мысли, выливаются в доверие к языку как средству познания, адекватно отражающему реальную действительность.

Представления о тождестве языка и мышления были поколеблены уже в патристике. В учениях отцов церкви утверждается не только нераздельное, но и

«неслиянное» единство языка и мышления, исключаящее как независимость их друг от друга, так и тождество.

Обоснование средневековыми учеными вторичности языка по отношению к реальной действительности, осознание ограниченной познавательной ценности языковых знаков способствует пересмотру устоявшихся взглядов на соотношение языка и мышления. Выявляется зависимость языка от порождающего его мышления, грамматики от логики.

Обнаруженные несоответствия между языковыми структурами и структурой мыслительных единиц еще больше подтачивают доверие к языку как средству познания, что побуждает к разработке универсального рационального философского языка в целях получения выводного знания. В ней принимают участие такие выдающиеся умы XVII в., как Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Ньютон, Г. В. Лейбниц.

Выявлявшиеся при наблюдении над обиходом языковые различия всё труднее поддавались объяснению за счет обычая, употребления, прихоти и каприза говорящих, и всё чаще возникали сомнения в универсальности и неизменности человеческого мышления, а вслед за тем и в универсальности грамматики. Поистине «там, где начинается обиход, кончается общая грамматика» (К. Лёбер. Цит. по: [Бокаторова 1987: 101]). Наряду с всеобщими универсальными принципами в языках были выделены также свободные и изменчивые индивидуальные принципы, обнаруживающие свое действие не только в лексике, но, что особенно важно, в грамматике. Это привело к выводу об особом духе каждого из языков и соответственно об особом духовном складе каждого народа. Изменению представлений о механизмах и свойствах человеческого мышления во многом способствовало развитие эмпирико-сенсуалистической традиции.

4.2. ЭМПИРИКО-СЕНСУАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

4.2.1. Общая характеристика

Заложенную Эпикуром эмпирико-сенсуалистическую традицию в анализе языка в Новое время продолжают Фрэнсис Бэкон (1561–1626), Томас Гоббс (1588–1679), Джон Локк (1632–1704) в английской философии, Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) во французской.

Функции языка. На понимание функций языка философами данного направления бесспорно повлияли популярные в эту эпоху идеи общественного договора. Не случайно такое внимание уделяется социальным функциям. «Люди объединяются речью», — утверждает Ф. Бэкон [АМФ 1970: 197]. «Без способности речи у людей не было бы ни государства, ни общества, ни мира, так же как этого нет у львов, медведей, волков», — полагает Т. Гоббс [Там же: 318].

По определению Дж. Локка, человек как существо общественное не только склонен к общению с себе подобными, но и нуждается в нем. Язык стал «общей связью общества» [Локк 1985: 439]. «...Речь — это важные узы, скрепляющие

общество, и обычный канал, по которому передаются от человека к человеку и от поколения к поколению успехи знания» [Локк 1985: 567]. Короче, язык дан нам «для усовершенствования знаний и укрепления связи в обществе» [Там же: 555]. Вклад языка в познавательную деятельность и усовершенствование знаний, по общему мнению сторонников эмпиризма и сенсуализма, огромен.

Однако как средство познания язык весьма несовершенен. Из четырех видов призраков, осаждающих умы людей, наиболее тягостными Ф. Бэкон считает призраки рынка, которые проистекают из взаимной связанности и сообщества людей, порождаются их общением и проникают в разум вследствие помощи слов и имен. Правда, «люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума» [АМФ 1970: 199]. Ф. Бэкон объясняет это тем, что «слова... устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждают разум. <...> Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям» [Там же: 197]. Помимо языка и превратных философских и научных представлений (призраки театра), истолкование природы, отыскание и открытие истины осложняется тем, что отражение внешнего мира в человеческом восприятии зависит и от самой природы человека (призраки рода), и от свойств отдельных индивидов (призраки пещеры). «...Все восприятия как чувства, так и ума относятся к человеку, а не к миру. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде» [Там же: 196]. На ошибки, присущие роду человеческому, наслаиваются заблуждения отдельного человека, обусловленные его врожденными свойствами, воспитанием, образованием, разницей во впечатлениях вследствие особенностей темперамента или по другим причинам. Таким образом, в поисках знаний люди обращаются не столько к большому общему миру, сколько к малым мирам, в том числе вымышленным и искусственным мирам философских систем [Там же: 197].

О недопустимости пренебрежения языком как орудием познания и в то же время о его «естественном» несовершенстве в этом отношении, несовершенстве, которое усугубляется злоупотреблением языком, предупреждают и Т. Гоббс, и Дж. Локк, а позднее и Э. Б. де Кондильяк.

Вот что писал по этому поводу Дж. Локк: «Я должен признаться, что, когда я только начинал это рассуждение о разуме да и долгое время после этого, я даже вообще не думал, что в нем будет необходимо какое бы то ни было исследование о словах. Но когда, исследовав происхождение и состав наших идей, я стал рассматривать объем и достоверность нашего знания, я нашел, что это так тесно связано со словами, что если сначала не рассмотреть как следует их важность и способ их обозначения, то о познании можно сказать очень мало ясного и уместного, потому что, трактуя об истине, оно постоянно имеет дело с положениями. И хотя оно ограничивается вещами, однако по большей части оно так много прибегает к посредству слов, что их, по-видимому, едва ли можно отделить от нашего

познания. По крайней мере слова так часто являются посредником между нашим разумом и истиной, которую разум должен рассмотреть и постичь, что, подобно *среде*, через которую зрим видимые предметы, они своей неясностью и беспорядком нередко затемняют наше зрение и обманывают наш разум. Если принять во внимание, что заблуждениями, в которые люди вводят себя и других, и ошибками в спорах и понятиях людей мы во многом обязаны словам и их неопределенным или неправильным значениям, то у нас будет основание считать это немалым препятствием на пути к знанию. И по моему мнению, о несовершенстве слов нужно предупреждать... ..Если бы несовершенства языка как орудия познания были взвешены более основательно, то большая часть споров, создающих столько шума, прекратилась бы сама собою, а путь к знанию, а, может быть, также к миру стал бы гораздо более свободным, чем в настоящее время» [Локк 1985: 546–547].

Несмотря на несовершенства языка как средства познания, сенсуалисты осознают, что функции языка по отношению к мышлению не ограничиваются пассивным выражением мысли и ее передачей, как утверждалось в универсальных рациональных грамматиках. Осознание активности субъективного начала в процессе познания (в том числе благодаря Р. Декарту) находит свое выражение также в признании активной роли языка в формировании мысли. Эта функция языка представляется сенсуалистам настолько важной, что в иерархии его функций ей отдается предпочтение перед функцией общения.

Понимая под языком—речью не только совокупность имен, но также их связь, Т. Гоббс полагает, что «общее употребление речи состоит в том, чтобы перевести нашу мысленную речь в словесную, или связь наших мыслей — в связь слов» [АМФ 1970: 318]. Первичная функция языка, по Т. Гоббсу, — это «регистрация хода мыслей», закрепление их в памяти, чтобы они не ускользнули, и, следовательно, приобретение знаний. Функция сообщения, изложения хранящихся в памяти знаний, а также желаний, намерений, опасений и других чувств вторична [Там же: 318–319].

Э. Б. де Кондильяк идет еще дальше. С его точки зрения, язык — это прежде всего необходимое средство *образования* идей и лишь во вторую очередь средство сообщения мыслей [Кондильяк 1983: 240].

Такое понимание функций языка предполагает существенное изменение взглядов не только на соотношение языка и мышления, но в первую очередь на само мышление. В сравнении с рационалистическим подходом изменение коснулось нескольких аспектов.

Язык и мышление. 1. Постепенно утверждается *исторический* взгляд как на язык, так и на мышление. Неизменность мышления отвергается, как отвергается существование врожденных идей-понятий и суждений [АМФ 1970: 330; Локк 1985: 96–153; Кондильяк 1983: 288–289 и др.]. Исходя из примата чувственного опыта, сенсуалисты пытаются вскрыть механизмы образования абстракций. Мышление начинают рассматривать как явление, развивающееся в направлении от конкретного, образного к абстрактному, логическому. Согласно Ф. Бэкону,

в древности «...ум человеческий был еще груб и бессилён и почти неспособен воспринимать тонкости мысли, а видел лишь то, что непосредственно воспринимали чувства». Поэтому в древности «всюду мы встречаем всевозможные мифы, загадки, параболы (иносказания. — Л. З.), притчи». Логические доказательства появляются позднее [Бэкон 1972: 231].

2. Становится ясным, что *разные люди и мыслят по-разному*. Истоки этих различий возводятся и к свойствам воспринимаемых объектов, и к особенностям воспринимающих мир субъектов.

Некоторые механизмы таких различий через анализ имен-идей в «семантическом» аспекте, т. е. в отношении к внешнему миру, выявил Дж. Локк. Согласно Дж. Локку, основу знания составляют простые чувственные идеи, которые подразделяются на идеи первичных и вторичных качеств. (Разграничение первичных и вторичных качеств восходит к Г. Галилею и Р. Декарту.) К первичным у Дж. Локка относятся совершенно не отделимые от тел механико-геометрические свойства: объем, форма, число, расположение, движение или покой, плотность, протяженность. Вторичными являются такие качества, как цвет, звук, вкус, запах, боль и т. д. «...*Идеи первичных качеств тел сходны с ними, и их прообразы действительно существуют в самих телах, но идеи, вызываемые в нас вторичными качествами, вовсе не имеют сходства с телами*. В самих телах нет ничего сходного с этими нашими идеями. В телах, называемых нами по этим идеям, есть только способность вызывать в нас эти ощущения. И то, что является сладким, голубым или теплым в идее, то в самих телах, которые мы так называем, есть только известный объем, форма и движение незаметных частиц» [Локк 1985: 186].

Помимо простых идей, при восприятии которых ум, с точки зрения Дж. Локка, бывает только пассивным (что весьма спорно), ум способен путем соединения, сопоставления и абстрагирования (обособления, отвлечения) образовать из простых идей сложные (модусы, субстанции, отношения). Одни связи идей являются естественными, соответствующими бытию, другие ум образует произвольно, случайно. Эти последние могут весьма различаться сообразно склонностям, воспитанию и интересам людей [Там же: 451].

Различия между типами идей и их связей сопряжены с различиями между именами идей, в частности по признаку произвольности / непроизвольности, понимаемому как отсутствие или наличие какого-либо первоначального образца в природе. Этот признак Дж. Локк полагает релевантным для противопоставления имен смешанных модусов (например *справедливость, красота*), имен субстанций (например *золото, железо*) и имен простых идей (например *движение*). «...*Названия смешанных модусов обозначают идеи совершенно произвольно; имена субстанций не совершенно произвольны, но соответствуют прообразам, хотя и не совсем строго определены; имена же простых идей всецело взяты от существования вещей и вообще не произвольны*» [Там же: 486]. Отсюда следует, что «...простые идеи, которые кто-либо обозначает каким-нибудь именем, обыкновенно тождественны

с теми идеями, которые имеют и подразумевают другие, употребляя те же самые имена» [Локк 1985: 441].

Другое дело имена субстанций и тем более смешанных модусов, идеи которых образуются в результате индивидуальной познавательной деятельности субъекта.

Несовершенство имен субстанций Дж. Локк видит в расхождении между значением слова у разных людей и реальной сущностью вещи. «Так как простых идей, существующих вместе и объединенных в одном и том же предмете, бывает очень много и так как все они с равным правом входят в сложную идею вида, которую должно обозначать имя вида, то, несмотря на свое намерение рассматривать один и тот же предмет, люди составляют самые различные идеи его, отчего имя, употребляемое ими для него, неизбежно получает у разных людей самые различные значения. <...> ...Доступными нашим способностям приемами исследования нелегко охватить и полностью узнать свойства какого-нибудь вида предметов. Так как их по меньшей мере так много, что никто не может знать их точного и определенного числа, различные люди выявляли их различным образом в зависимости от умения, внимания и образа действия каждого; поэтому они не могут не иметь различных идей одной и той же субстанции, и поэтому значение ее обычного названия не может не быть очень разнообразным и неопределенным. Так как сложные идеи субстанций состоят из простых идей, которые предполагаются существующими вместе в природе, то всякий вправе включить в свою сложную идею те качества, которые он находит соединенными. Так, для субстанции золота один довольствуется цветом и весом; другой считает необходимым в своей идее золота присоединить к цвету его растворимость в царской водке, а третий — его плавкость, потому что растворимость в царской водке есть качество, которое так же постоянно связано с цветом и весом золота, как плавкость и всякое другое; иные включают ковкость золота, его [химическую] устойчивость и т. д., как их учили традиция и опыт. <...> Так как истинным основанием объединения этих качеств в одной сложной идее является их объединение в природе, то кто может утверждать, что у одного качества больше оснований, чем у другого, быть включенным или исключенным? Отсюда всегда и неизбежно получается, что сложные идеи субстанций у людей, употребляющих для них одно и то же название, очень разнообразны. И поэтому значения этих названий очень неопределенны» [Там же: 541–542, см. также с. 463 и 517]. «И как ни склонны мы считать, что мы хорошо знаем смысл слов “золото” или “железо”, однако точная сложная идея, знаками которой они служат другим, не так определена; и я думаю, — заключает Дж. Локк, — очень редко они обозначают точь-в-точь одну и ту же совокупность [идей] у говорящего и слушающего» [Там же: 546]. Отсюда непонимание, ошибки и споры.

В еще большей степени сказанное относится к именам смешанных модусов, сложные идеи которых образуются «...через соединение идей в уме, зависимое от нашей воли, но независимое от какого бы то ни было первоначального образца в природе» [Там же: 487, а также 536]. Как показывает Дж. Локк, «...имена очень сложных идей, каковы, например, большей частью слова из области морали, редко

имеют в точности одно и то же значение у двух различных лиц; ибо сложная идея одного редко совпадает со сложной идеей другого, а часто отличается и от идеи одного и того же лица, от той идеи, которая была у него вчера или которая будет у него завтра» [Локк 1985: 536–537]. «...Даже у людей, желающих понять друг друга, они не всегда обозначают одну и ту же идею как для говорящего, так и для слушающего. Хотя слова “слава”, “благодарность” тождественны в устах всех людей целой страны, однако сложная собирательная идея, которую все представляют себе и имеют в виду этими именами, очевидно, весьма различна у людей, говорящих на одном и том же языке» [Там же: 538]. «...В устах большинства людей эти слова из области морали представляют собой немногим больше, чем простые звуки, и если имеют какое-нибудь значение, то по большей части очень широкое и неопределенное и, следовательно, неясное и путаное» [Там же: 539]. Неудивительно, что «...наши *идеи смешанных модусов* более всех других склонны быть ошибочными» [Там же: 432]. Ведь «...не так легко решить, как называть различные действия: *справедливостью* или *жестокостью*, *щедростью* или *расточительностью*» [Там же: 442].

Если Дж. Локк, выявляя различия в образовании идей у разных людей, рассматривает соответствующие языковые знаки прежде всего в «семантическом» аспекте — в зависимости от наличия или отсутствия в природе образцов для обозначаемых идей, то Т. Гоббса интересует скорее «прагматический» аспект языковых знаков, проистекающий из различного восприятия одних и тех же вещей, причем, как позднее и Дж. Локк, он останавливает свое внимание на словах из области морали.

По наблюдениям Т. Гоббса, «...одна и та же вещь вызывает одинаковые эмоции не у всех людей, а у одного и того же человека — не во всякое время. <...> И хотя природа воспринимаемого остается всегда одной и той же, тем не менее различие наших восприятий этой вещи в зависимости от разнообразного устройства тела и предвзятых мнений накладывает на каждую вещь отпечаток наших различных страстей». «Имена таких вещей, которые вызывают в нас известные эмоции, т. е. доставляют нам удовольствие или возбуждают наше неудовольствие, имеют в обиходной речи непостоянный смысл»: они «...помимо значения, обусловленного природой представляемой при их помощи вещи, имеют еще значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего. Таковы, например, имена добродетелей и пороков, ибо то, что один человек называет *мудростью*, другой называет *страхом*; один называет *жестокостью*, а другой — *справедливостью*; один — *готовством*, а другой — *великодушием*; один — *серьезностью*, а другой — *тупостью* и т. п.» [АФМ 1970: 326]. Вот почему, слушая других людей, чтобы понять их, «нам приходится принимать во внимание намерение, повод и контекст в такой же мере, как и сами слова» [Гоббс 1964: 462].

3. Наконец, все отчетливее осознается, что язык — не пассивное орудие мышления, что язык оказывает на мышление свое формирующее влияние.

Эти идеи зародились во французской философской традиции уже в эпоху Средневековья — в трудах Пьера Абеляра (1079–1142). «...Для Абеляра, — пишет

Е. А. Реферовская, — язык представляет собой некую особую область, отличную от мира вещей и понятий» [Реферовская 1985: 265]. Утверждая, что «помимо вещи и понятия о ней существует еще значение имен», П. Абеляр полагает значение первичным по отношению к понятию, ибо «имя дается вещи для того, чтобы могло возникнуть понятие» (П. Абеляр. Цит. по: [Там же: 262, 265]). Таким образом, по П. Абеляру, «...деятельность разума, мысли опирается на язык» [Там же: 266].

В Новое время развитое учение о воздействии языка на формирование высших действий души: памяти, воображения, созерцания, размышления — было разработано на сенсуалистической основе Э. Б. де Кондильяком.

Согласно Э. Б. де Кондильяку, мышление состоит в расчленении и соединении, т. е. анализе, который невозможен без знаков, их связей и аналогии, следовательно, без языка как «аналитического метода» и средства образования абстрактных идей. А так как связь идей осуществляется сообразно духу языка, выражающему дух, характер народа, то языковые различия влекут за собой различия в мыслительной деятельности, благоприятствуя развитию либо анализа, либо воображения, что в свою очередь влияет на постижение вещей в процессе познания (см. подробнее в следующем разделе).

Итак, и рационалисты, и сенсуалисты утверждают единство языка и мышления. Но у рационалистов это единство внешнее и в известной степени вынужденное. Оно обусловлено лишь социальными условиями общения, поскольку «передать» свои мысли другим можно только с помощью внешних, материализованных знаков.

У сенсуалистов же единство языка и мышления внутреннее, так как языковые знаки и их связи являются необходимым средством образования идей, их регистрации, членения, соединения и развития высших форм духовной деятельности.

Изменившиеся представления о функциях языка и его соотношении с мышлением находят отражение и в учении сенсуалистов о знаковой природе языка.

Знаковая природа языка. Сами условия возникновения языка как средства сообщения мыслей и передачи знаний «со всей возможной легкостью и быстротой» Дж. Локк определяет, сообразуясь с его знаковой природой.

Дж. Локк называет три таких условия.

Первое условие возникновения языка — это природная *способность людей производить членораздельные звуки*, которые мы называем словами: для сообщения мыслей «...как по обилию, так и по быстроте удобнее всего были членораздельные звуки» [Локк 1985: 462], они «...являются самыми лучшими и быстрыми знаками, на какие мы способны» [Там же: 367].

Второе условие возникновения языка — это способность «...пользоваться этими звуками как знаками внутренних представлений и обозначать ими идеи в своем уме, чтобы они могли сделаться известными другим и чтобы люди могли сообщать друг другу свои мысли» [Там же: 459].

Употребление слов для сообщения наших мыслей другим предваряется употреблением слов для закрепления наших собственных мыслей в помощь нашей

памяти [Локк 1985: 534]. В характеристике двоякого употребления слов Дж. Локк следует Т. Гоббсу, который в соответствии со своим пониманием иерархии функций языка различал слова-метки для воспоминания мыслей и подкрепления памяти и слова-знаки для сообщения своих мыслей и чувств другим людям [Гоббс 1964: 62].

В определении Т. Гоббса, «имя есть слово, произвольно выбранное нами в качестве метки, чтобы возбуждать в нашем уме мысли, сходные с прежними мыслями, и одновременно, будучи вставленным в предложение и высказанным кем-либо другим, служить признаком того, какие мысли были и каких не было в уме говорящего» [АМФ 1970: 345].

Возникновение имен Т. Гоббс считает несомненным результатом произвола, «ибо тот, кто наблюдает, как ежедневно возникают новые имена и исчезают старые и как различные нации употребляют различные имена, кто видит, что между именами и вещами нет никакого сходства и недопустимо никакое сравнение, не может серьезно думать, будто имена вещей вытекают из их природы» [Там же: 345], тем более что имена называют не только вещи и свойства, существующие в природе или воображаемые. Есть еще «отрицательные имена» типа *ничто*, *никто*, *непостижимое* и «пустые звуки» (сочетания несовместимых имен) типа *невещественное тело* или *круглый четырехугольник* [Там же: 325]. Всё это, по мнению Т. Гоббса, указывает на то, что имена определяются не сущностью вещей, а волей и соглашением людей.

Дж. Локк также убежден, что слова «...стали употребляться в качестве знаков идей не по какой-нибудь естественной связи, имеющейся между отдельными членораздельными звуками и определенными идеями (ибо тогда у всех людей был бы только один язык), а по произвольному соединению, в силу которого такое-то слово произвольно было сделано знаком такой-то идеи. Стало быть, употребление слов состоит в том, что они суть чувственные знаки идей, и обозначаемые ими идеи представляют собой их настоящее и непосредственное значение» [Локк 1985: 462]. (Как видно, Дж. Локк отождествляет значение с обозначаемыми идеями, что говорит о неразличении языкового и мыслительного содержания.)

Настаивая на том, что «...значение звуков не дано от природы, а только присоединено [людьми], и притом произвольно» [Там же: 482], Дж. Локк не считает, однако, что между звучанием и значением слова вообще нет никакой связи. Напротив, «...поскольку словам присущи [определенное] употребление и значения, постольку существует постоянная связь между звуком и идеей и звук предназначен обозначать идею... <...> Общее употребление в силу молчаливого соглашения во всех языках приравнивает определенные звуки к определенным идеям» [Там же: 465]. «...От постоянного употребления между определенными звуками и идеями, которые ими обозначаются, образуется столь тесная связь, что названия, когда их слышат, почти так же легко вызывают определенные идеи, как если бы сами предметы, способные вызывать эти идеи, на самом деле воздействовали на чувства» [Там же: 464]. (Ср. с учением И. П. Павлова об условных рефлексах, вырабатывающихся на основе второй сигнальной системы.)

В дальнейшем Э. Б. де Кондильяк показал, что и присоединение значений к звукам не является абсолютно произвольным ввиду отношений «аналогии» между знаками (иначе говоря, их системной мотивированности). Благодаря «аналогии» значение неизвестного знака может быть выведено из значения известного знака. Тем самым обеспечивается взаимопонимание в процессе общения.

Третье условие возникновения языка — это способность «*делать эти звуки общими знаками*», обозначающими общие идеи в отвлечении от обстоятельств времени и места и всех других идей, которые могут быть отнесены к какому-либо отдельному предмету [Локк 1985: 459, 467–468]. Так, за исключением собственных имен, «...одно слово стало обозначать множество отдельных предметов» [Там же: 459].

«*Каждая отдельная вещь не может иметь свое название*» [Там же: 466] по трем причинам.

1. Ввиду ограниченности человеческой памяти невозможно «...образовать и удержать в памяти отличные друг от друга идеи всех отдельных вещей» и особые названия, относящиеся к каждой из этих идей.

2. Для достижения главной цели языка — передачи мыслей и понимания — не годятся названия, относимые к единичным вещам, идеи которых имеются лишь в уме одного данного человека. Такие названия не могут быть понятными для других людей, незнакомых с этими отдельными вещами.

3. Такие названия малопригодны для совершенствования знания, требующего сведения вещей в виды под общими названиями [Там же: 466–467].

К сказанному следует добавить, что не только каждая отдельная вещь обычно не имеет названия, но и не все классы вещей, и не все возможные сочетания простых идей в сложные идеи получают имена в каждом данном языке. «...Причина этого в цели языка. Так как язык имеет целью обозначение или сообщение людьми друг другу своих мыслей с возможно большей скоростью, то люди... снабжают именами такие сочетания идей, которые часто употребляются ими в жизни и разговорах, оставляя другие, которые они редко имеют случай упоминать, разрозненными и без имен, способных связать их в одно целое. А в случае необходимости они предпочитают скорее перечислять составляющие их простые идеи, приводя обозначающие их отдельные имена, нежели обременять свою память умножением сложных идей вместе с их именами, которые им придется редко, а может быть и никогда не придется, употреблять. <...> Это показывает нам, *почему в каждом языке бывает немало отдельных слов, которые нельзя перевести каким-либо одним словом другого языка*. Так как различные образы жизни, обычаи и нравы делают близкими и необходимыми для одного народа различные сочетания идей, которые другой народ никогда не имел случая сделать или на которые он, быть может, не обращал внимания, то, разумеется, к таким сочетаниям присоединяют имена, чтобы избежать длинных описательных оборотов относительно повседневно упоминаемых вещей, и таким образом они становятся в уме отличными друг от друга сложными идеями» [Там же: 340–341]. Так Дж. Локк объясняет

избирательность наименования как одно из важнейших проявлений межъязыковых различий.

По той же причине «...языки постоянно изменяются, принимают новые и отбрасывают старые слова. Так как перемена в обычаях и взглядах влечет за собой новые сочетания идей, о которых необходимо часто мыслить и говорить, то во избежание длинных описаний к ним присоединяются новые имена» [Локк 1985: 341].

Таким образом, Дж. Локк, анализируя языковые знаки, принимает во внимание все составляющие «семантического треугольника»: обозначаемый объект, его идею и членораздельный звук–слово как знак. Дж. Локком рассмотрены отношения между объектом и словом, между словесным знаком и идеей и, что особенно важно, между идеей–значением и обозначаемым объектом. Установлены: общий характер языковых знаков, их произвольность, разная степень соответствия идеи обозначаемому объекту. Различие обозначаемых идей по степени соответствия вещам и их свойствам влечет за собой различия в степени неопределенности значений слов [Там же: 535]. Поскольку «в устах каждого человека слова обозначают те идеи, которые у него имеются и которые он хотел бы выразить ими» [Там же: 463], постольку значения слов, обозначающих такие произвольные совокупности идей, которые соединяются вместе по воле ума, по собственному усмотрению говорящих, не могут не различаться у разных людей [Там же: 537]. «Так как во всех языках значение слов сильно зависит от мыслей, понятий и идей того, кто их употребляет, то... оно неизбежно должно быть очень неопределенным [даже] у людей одного языка и одной страны». В частности, чтение сочинений греческих писателей приводит Дж. Локка к заключению, что «...почти у каждого из них особый язык, хотя слова одинаковы» [Там же: 547]. Позднее Э. Б. де Кондильяк распространяет это положение на всех носителей языка [Кондильяк 1980: 261].

Итак, познавательная активность субъекта обуславливает изменчивость и определенную индивидуальность мира идей–значений и соответственно — в тенденции — «особый язык» у каждого из носителей данного языка.

С осознанием познавательной активности субъекта всё большее внимание привлекает *проблема понимания в речевом общении*. Как в отсутствие тождества мысли люди понимают друг друга?

Сенсуалисты рассматривают речь и понимание как две стороны одного процесса. По мысли Т. Гоббса, «...если речь специфически свойственна человеку (что, как известно, есть на самом деле), то и понимание также специфически свойственно ему» [АМФ 1970: 326]. Сам Т. Гоббс определяет понимание следующим образом: «Когда человек, слыша какую-нибудь речь, имеет те мысли, для обозначения которых слова речи и их связь предназначены и установлены, тогда мы говорим, что человек данную речь понимает, ибо *понимание* есть не что иное, как представление, вызванное речью» [Там же: 325–326]. Возможность непонимания, помимо абсурдных и ложных всеобщих утверждений, Т. Гоббс связывает с метафорами и тропами речи, а также с именами вещей, которые вызывают неодинаковые эмоции у разных людей, т. е. с теми словами, которые имеют «значение,

обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего» [АМФ 1970: 326]. У Дж. Локка сфера возможного непонимания оказывается еще шире, охватывая не только имена понятий из области морали, но и имена всех сложных идей, включая идеи субстанций.

Тем не менее, с позиций сенсуалистов, у самых разных людей все же имеется некий «общий фонд идей» [Кондильяк 1982: 446–447], служащий базой для взаимопонимания. Он создается на основе внешнего чувственного опыта. Так как все идеи состоят «...либо из внешних чувственных восприятий, либо из внутренних действий ума в отношении этих восприятий» [Локк 1985: 461], то и любые «слова, в конце концов, происходят от слов, обозначающих чувственные идеи». В частности, замечает Дж. Локк, «...слова, которыми пользуются для обозначения действий и понятий, весьма далекие от чувства, происходят из этого источника и от идей, явно чувственных, переносятся на более неясные значения, обозначая идеи, не относящиеся к области наших чувств». Например, «“дух” в своем первичном значении есть “дыхание”» [Там же: 460]. Той же точки зрения придерживается и Э. Б. де Кондильяк: «...все самые абстрактные термины происходят от первых названий, которые были даны чувственно воспринимаемым предметам» [Кондильяк 1980: 240].

4.2.2. Э. Б. де Кондильяк

4.2.2.1. Э. Б. де Кондильяк: язык как аналитический метод

Критика теории врожденных идей и прежних представлений о функциях языка. Исходный принцип сенсуализма гласит: «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах».

Этот принцип, последовательно проведенный в трудах Этьена Бонно де Кондильяка, принципах и врожденных идеях, о некоторых первичных понятиях, о готовых понятиях вообще.

Кондильяк убежден, что исходя из врожденности идей нельзя объяснить ни активность рассудка [Кондильяк 1980: 166–167], ни происхождение и образование идей, ни «абсолютную необходимость» чувственных знаков. Неудивительно, что, «придерживаясь предвзятого мнения, будто идеи являются врожденными», «Декарт не знал ни происхождения, ни образования наших идей» [Там же: 68]. Не понимали и картезианцы истинной роли знаков. В самом деле, «как можно предположить необходимость знаков, если считать вместе с Декартом, что идеи врождены?» [Там же: 159]. Впрочем, такое непонимание отмечается и в недостаточно последовательных сенсуалистических концепциях. В частности, Дж. Локк допускал, что «...ум строит мысленные (mentales) предложения, в которых он соединяет или разделяет идеи, без вмешательства слов» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 159].

Но если возможно оперирование идеями (понятиями) без опоры на чувственные знаки, без языка, то функции языка должны быть ограничены лишь потребностями речевого общения. И так определяют функции языка не только картезианцы. Сходное

представление о языковых функциях свойственно и Локку, который видел истинную и главную цель языка в легчайшем и *кратчайшем* способе *передачи* наших мыслей и знаний, в *общении* [Локк 1985: 489, 518, 563]. Ведь человек — «существо общественное» [Там же: 459]. «А так как удобство и выгоды общественной жизни не могут существовать без сообщения мыслей, то необходимо было, чтобы человек открыл некоторые внешние чувственные знаки, при посредстве которых можно было бы делать известными для других невидимые идеи, из которых состоят мысли. Для данной цели как по их обилию, так и по скорости удобнее всего были членораздельные звуки» [Там же: 461–462], составляющие слова — «чувственные знаки, необходимые для общения» [Там же: 461].

Активная роль языковых знаков в образовании идей и в развитии действий ума. Кондильяк как последовательный сенсуалист, задавшись вопросом о происхождении и образовании идей, не мог не задуматься над тем, какую роль играют в этом чувственные языковые знаки и какова их природа, произвольны ли они.

По утверждению Кондильяка, его предшественники не понимали истинной природы и назначения языка, «...потому что, не заметив, насколько необходимы нам слова для образования идей всякого рода, думали, что от слов нет другой пользы, кроме того, что они служат нам средством сообщения своих мыслей» [Кондильяк 1983: 240].

Уже в первом своем труде — «Опыте о происхождении человеческих знаний» (1746) — Кондильяк показал, что только из связи идей со знаками и из связи между идеями можно понять, «...каков *источник* наших знаний, каковы их *материалы*, какой *причиной* они приводятся в действие, какие *орудия* при этом применяются и как нужно ими пользоваться» (выделено мною. — Л. 3.) [Кондильяк 1980: 69].

В результате исследования Кондильяк так отвечает на эти вопросы: «Органы чувств — *источник* наших знаний; различные ощущения, восприятие, сознание, воспоминание, внимание и воображение (если рассматривать два последних только как не находящиеся еще в нашем распоряжении) суть *материалы* наших знаний; память, воображение, которыми мы распоряжаемся по своему усмотрению, размышление и другие действия *пускают* эти материалы *в дело*; знаки, которым мы обязаны совершением самих этих действий, суть *инструменты*, которыми они пользуются, а связь идей — *первая пружина*, приводящая в движение все другие» (выделено мною. — Л. 3.) [Там же: 300], и «первоначало наших знаний» [Там же: 295].

Опираясь на учение Аристотеля о принципах–началах бытия, сказанное можно понять так, что в мышлении различаются *материальное* начало (ощущения, восприятия, воспоминания...) и *движущее*, творящее и *формирующее* начало (воображение, размышление...), пружиной которого является *связь идей*, в свою очередь формирующаяся *с помощью языковых знаков*.

«...Здравый смысл, ум, разум и их противоположности происходят одинаково из одного и того же начала, коим является связь идей друг с другом», а «...выясняя, к чему эта связь восходит, можно видеть, что она порождена применением знаков» [Там же: 135].

В свою очередь, необходимость применения знаков Кондильяк выводит из общественной природы человека. «Так как люди могут создавать себе знаки, лишь поскольку они живут вместе, то из этого следует, что источник их идей, когда их ум начинает формироваться, находится исключительно в их взаимном общении» [Кондильяк 1980: 157]. В его отсутствие люди были бы способны лишь к первичным действиям души: восприятию, (о)сознанию, вниманию, воспоминанию и в очень незначительной степени воображению [Там же: 183]. «...Поскольку человек будет жить без всякого общения с остальными людьми, у него не будет повода связывать свои идеи с условными знаками. У него не будет памяти; стало быть, его воображение не будет в его власти; из этого следует, что он будет совершенно неспособен к размышлению» [Там же: 154]. Таким образом, общение — необходимое условие развертывания действий души.

Прослеживая зависимость одних действий души от других, их последовательное порождение первым ее действием — восприятием [Там же: 118], Кондильяк устанавливает, что «институционные знаки (каковыми являются слова. — Л. З.) отнюдь не необходимы для совершения действий души, предшествующих воспоминанию», однако последующие действия невозможны без языковых знаков. «...Пользование знаками есть истинная причина развития воображения, созерцания и памяти» [Там же: 99], а тем более размышления, которое рождается из воображения и памяти и состоит в способности самостоятельно направлять поочередно внимание на различные предметы и их части, рассматривать идеи раздельно [Там же: 105, 109]. Размышление различает, сравнивает, сочетает, расчленяет и анализирует идеи [Там же: 118]. Следовательно, «...для того, чтобы иметь идеи, нам необходимо придумать знаки, которые служат связью для различных собраний простых идей» [Там же: 148]. В конечном счете, убежден Кондильяк, «...употребление знаков представляет собой причину, в силу которой развиваются зародыши всех наших идей» [Там же: 72]. В самом деле, «...если бы мы совсем не имели наименований, мы совсем не имели бы абстрактных идей; если бы мы совсем не имели абстрактных идей, мы не имели бы ни родов, ни видов; а если бы мы не имели ни родов, ни видов, мы не могли бы ни о чем рассуждать» [Там же: 244].

Таким образом, вопреки картезианцам, Кондильяк полагает, что *операции рассудка не только не определяют употребление знаков, но, напротив, сами зависят от них.*

Язык и анализ мысли. Ярче всего определяющая роль языка проявляется в такой мыслительной операции, как анализ. Поэтому ему Кондильяк уделяет особое внимание.

По его определению, «...анализировать — это не что иное, как наблюдать в последовательном порядке качества предмета, для того чтобы дать им в уме одновременный порядок, в котором они существуют». Благодаря последнему мы имеем возможность сравнить их и судить о том, в каких отношениях друг к другу они находятся. Тем самым мы познаем наблюдаемый предмет [Кондильяк 1983: 194].

«Анализ мысли производится таким же способом, что и анализ чувственных предметов» [Кондильяк 1983: 194].

«Мы так же расчлняем: мы представляем себе части своей мысли в последовательном порядке, чтобы восстановить их в одновременном порядке; мы производим это соединение и расчленение, сообразуясь с отношениями, существующими между вещами, как главными, так и подчиненными» [Там же: 195]. Рассматривая идеи в одновременном порядке, мы подвергаем их различным сравнениям и посредством этого обнаруживаем отношения между ними и новые идеи, которые они могут породить. «Этот анализ — подлинный путь к открытиям, потому что благодаря ему мы устанавливаем происхождение вещей» [Кондильяк 1980: 114]. И поистине великая роль языка в процессе познания обусловлена тем, что он является *аналитическим методом*, ибо «анализ производится и может быть произведен только при помощи знаков» [Кондильяк 1983: 238].

Основывающееся на способности анализировать «...искусство рассуждать началось вместе с языками» [Там же: 233] и развивалось, поскольку развивались сами языки [Там же: 233–234].

Первые языки были созданы по примеру языка действий, а его основы возникли вместе с человеком. Это органы, которыми он обладает. И в этом смысле, считает Кондильяк, *есть* врожденный язык. «Люди начинают говорить на языке действия, как только начинают чувствовать, и говорят на нем, не имея намерения сообщать свои мысли» [Там же: 234]. «Он выражает сразу всё, что мы чувствуем, и, следовательно, не является аналитическим методом; значит, он не разлагает наших ощущений, не показывает, что они в себе заключают; следовательно, он совсем не дает идей» [Там же: 236–237]. Для людей «...всё было смешано в их языке, и они не распознавали в нем ничего, пока не научились производить анализ своих мыслей» [Там же: 235].

Со временем, по мере того как люди учатся у природы производить анализ вещей, язык действия становится аналитическим методом. К этому побуждают людей их потребности, прежде всего потребность во взаимопомощи, когда «...каждый из них имеет потребность быть понятым и, следовательно, понимать самого себя. <...> Значит, каждый из этих людей рано или поздно заметит, что он всегда лучше понимает других, когда он расчленил их действия. Следовательно, он может заметить, что для того, чтобы его понимали, ему необходимо разложить свое действие. Тогда он постепенно выработает у себя привычку повторять одно за другим движения, которые природа заставляет его делать одновременно, и язык действия естественно станет для него аналитическим методом» [Там же: 235]. «Разлагая свое действие, этот человек разлагает свою мысль как для себя, так и для других; он анализирует ее, и другие его понимают, потому что он понимает сам себя» [Там же: 236].

Таким образом, в качестве аналитического метода язык служит не только целям познания, но и обеспечивает взаимопонимание. «...Но, как методу, ему обучаются, и, следовательно, с этой точки зрения он не является врожденным. <...> Ведь

если идеи дает анализ, то они приобретаются, поскольку люди сами выучиваются анализу. Значит, врожденных идей вовсе не существует» [Кондильяк 1983: 237]. Так завершает Кондильяк свою дискуссию с Декартом.

Опровержение догмы о произвольности языковых знаков. Роль аналогии. Раскрывая сущность и функции языка как аналитического метода, Кондильяк опровергает также не менее укоренившуюся догму о произвольности языкового знака.

Уже в языке действий, ставшем аналитическим методом, «...последовательность движений не будет производиться произвольно и беспорядочно, — поскольку действие является следствием потребностей и обстоятельств, в которых оно совершается, то естественно, что оно разлагается в порядке, заданном потребностями и обстоятельствами: и хотя этот порядок может изменяться и изменяется, он никогда не может быть произвольным» [Там же: 235–236], в том числе и потому, что этого требует общение, невозможное без взаимопонимания, а его основой служит «общий фонд идей» [Кондильяк 1982: 446–447]. Поскольку «...общение предполагает в качестве существенного условия, что все люди обладают одним и тем же общим фондом идей» [Там же: 446], «совершенно произвольные знаки не были бы понятны, потому что, если они не аналогичны уже известным знакам, значение известного знака не приведет к значению неизвестного знака. Поэтому именно в аналогии заключено все искусство языков: языки легко усваиваются, ясны и точны соответственно тому, в какой мере в них проявляется аналогия» [Кондильяк 1983: 236].

Изменение языков как аналитических методов с эволюцией потребностей людей. Степень точности языков как аналитических методов также определяется потребностями людей.

«Именно потребности давали людям первые поводы обратить внимание на то, что происходило в них самих, и выразить это телодвижениями, а затем названиями. Следовательно, эти наблюдения имели место только относительно потребностей, и различали многие вещи лишь постольку, поскольку потребности побуждали делать эти наблюдения. А ведь потребности (первоначально. — Л. З.) относятся исключительно к телу. Первые названия, дававшиеся тому, что мы способны испытывать, обозначали лишь чувственную деятельность» [Кондильяк 1980: 239]. Соответственно, на первых порах «языки были точными методами, поскольку люди говорили только о вещах, относящихся к насущным потребностям», и на опыте могли убедиться в правильности или неправильности своего анализа, своих суждений [Кондильяк 1983: 238]. Поэтому «...первые обиходные языки были наиболее пригодными для рассуждения... Возникновение идей и способностей души должно было быть очевидным в этих языках, где было известно первое значение слова и где аналогия всегда определяла другие значения. Названия идеям, которые ускользали от чувств, давали исходя из названий тех чувственных идей, от которых они происходили. И вместо того чтобы рассматривать их как имена, принадлежащие самим этим идеям, их считали образными выражениями, показывающими их происхождение. Тогда, например, не думали, означает

ли слово *субстанция* нечто другое, чем то, что “есть под”; означает ли слово *мысль* нечто другое, чем *обдумывать, взвешивать, сравнивать*» [Кондильяк 1983: 242]. Всё это благоприятствовало взаимопониманию в процессе общения, и «люди никогда не понимали друг друга лучше, чем тогда, когда давали названия чувственно воспринимаемым предметам» [Кондильяк 1980: 241].

Однако с течением времени, по мере удовлетворения насущных потребностей и появления всё менее и менее насущных и, наконец, бесполезных потребностей, люди чувствовали все меньшую потребность анализировать и подвергать свои суждения испытанию опытом [Кондильяк 1983: 239]. «Таким образом, языки стали весьма ошибочными методами» [Там же: 240].

Этому немало способствовало усиление международных торговых связей, вследствие чего «языки смешивались, и аналогия не могла больше руководить умом в определении значения слов» [Кондильяк 1983: 240]. Кондильяк хорошо понимал пагубность чрезмерных иноязычных заимствований для языка и мышления. С его точки зрения, «язык был бы гораздо более совершенным, если бы народ, который его создавал, развивал искусства и науки, ничего не заимствуя у какого-либо другого народа, так как аналогия в этом языке ясно показала бы развитие знаний и не было бы нужды искать их историю в другом месте. <...> Но когда языки представляют собой нагромождение многих иностранных языков, в них смешивается всё. Аналогия больше не может вскрыть в различных значениях слов происхождение и формирование знаний» [Там же: 242].

Неудивительно, что грамматикам и философам языки показались во многих отношениях произвольными. Стали предполагать, что обычай создает их как хочет, что «...правила, принятые в языках, — лишь каприз употребления языков, т. е. что они часто совсем не имеют правил. <...> Значит, не следует удивляться, если до сих пор никто не подозревал, что языки также являются аналитическими методами» [Там же: 240–241]. Отсюда непонимание того, что «...для нас естественно думать согласно привычкам, которые языки заставили нас усвоить. Мы думаем с помощью языков; будучи правилами наших суждений, они образуют наши знания, мнения и предрассудки» [Там же: 241].

Искусство рассуждать и искусство говорить. В итоге Кондильяк приходит к заключению, что «...всё искусство рассуждать сводится к искусству хорошо говорить» [Там же: 245]. А так как рассуждать — значит выражать *отношения* [Кондильяк 1980: 240], то, для того чтобы языки вновь стали точными аналитическими методами и мы могли образовать точные идеи, надо, пользуясь словами, 1) искать в них только отношения, в которых вещи находятся к нам и друг к другу, 2) «...считать их только средством, в котором мы нуждаемся, чтобы думать», и определять выбор слов самой большой аналогией, 3) «...искать их первоначальное значение в их первом употреблении, а все другие значения — в аналогии» [Кондильяк 1983: 246].

Как видно, в конечном счете, всё искусство рассуждать, так же как и всё искусство говорить, сводится к аналогии, к связи знаков [Там же: 274]. Поэтому догма о произвольности должна быть отвергнута. «Языки не являются беспорядочной

грудой выражений, взятых случайно, или выражений, которыми пользуются лишь потому, что условились ими пользоваться. Если употребление каждого слова предполагает соглашение, то соглашение предполагает причину, заставляющую принимать каждое слово, и аналогия, дающая закон, без которого было бы невозможно понимать друг друга, не допускает абсолютно произвольного выбора» [Кондильяк 1983: 272].

Отсутствие тождества мысли и тождества языка у говорящих. Понимание, хотя и опирается на общий фонд идей, не предполагает, согласно Кондильяку, ни тождества мысли, ни тождества языка у собеседников. Заблуждение, будто «...идеи должны быть лишь одними и теми же у того, кто говорит, и у того, кто слушает» [Кондильяк 1980: 245]. «Поскольку люди видят вещи по-разному, соответственно приобретенному ими опыту, им трудно прийти к согласию о числе и качестве идей, выражаемых многими названиями» [Там же: 168]. Сложные понятия, как показывает Кондильяк вслед за Локком, могут заметно различаться в сознании собеседников по числу составляющих их простых идей [Там же: 243–247]. «...Это целиком зависит от опыта и проницательности, на основе которых составляется такое понятие» [Там же: 243].

Невозможность тождества мысли и тождества языка у носителей одного и того же языка Кондильяк объясняет также тем, что мышление в его понимании включает в себя наряду со всеми способностями рассудка и все способности воли. Мыслить, по Кондильяку, — это значит не только ощущать, обращать внимание, сравнивать, судить, размышлять, воображать, рассуждать, но и желать, иметь страсти, надеяться, бояться и т. д. [Кондильяк 1983: 215].

«Не бывает, естественно, чтобы в речах людей, всегда одолеваемых определенными потребностями и волнуемых какой-нибудь страстью, не давала себя знать заинтересованность в них. Они незаметно связывают со словами побочные идеи, которые накладывают отпечаток на то, как вещи воздействуют на них и на их суждения об этих вещах». Поэтому «...каждый имеет свой язык, соответственно своим страстям» и своему характеру [Кондильяк 1980: 261].

Дух народа и дух языка. Аналогия как показатель самобытности и совершенства языка. Так как «характер народов проявляется еще более открыто, чем характер отдельных лиц», то «...каждый язык выражает характер народа, который на нем говорит» [Там же: 261]. Формируясь под влиянием климата и формы правления, каждая нация сочетает свои идеи со свойственным ей духом и в той или иной мере присоединяет к определенному запасу основных идей различные побочные идеи в зависимости от того, как они на нее действуют. «...Эти сочетания, получившие признание благодаря долгому употреблению, представляют собой в сущности то, что составляет дух языка» [Там же: 270–271].

«...Дух языков начинает складываться в соответствии с духом народов» [Там же: 262]. И «...чем меньше общения между нациями, тем больше различается дух одной нации от духа другой» [Там же: 271], тем самобытнее языки и тем свободнее их развитие.

Самобытность языков, темпы их развития и обретения собственного характера, отвечающего характеру народа, зависят от их происхождения. «...В языке, не образованном из обломков многих других языков, развитие должно идти гораздо быстрее, потому что этот язык с самого своего возникновения обладает самобытным характером» [Кондильяк 1980: 265]. Напротив, «языки, образуемые из обломков многих других языков, встречают большие препятствия на пути своего развития. Приняв кое-что из каждого, они представляют собой лишь причудливые скопления оборотов, отнюдь не созданных друг для друга. В них совсем нет той аналогии, которая освещает путь писателям и характеризует язык» [Там же: 263].

Как видно, по тому, насколько развита аналогия знаков и велико количество аналогичных оборотов, можно судить о степени совершенства языка, а она в свою очередь является показателем умственного развития народа, его способности или склонности к определенным видам мыслительной деятельности. В самом деле, «если вспомнить, что деятельность воображения и памяти целиком зависит от связи идей и что идеи образовались посредством связи и аналогии знаков, то нужно признать, что чем меньше язык имеет аналогичных оборотов, тем меньше он помогает памяти и воображению» [Там же: 263]. Еще большее значение имеет аналогия для развития анализа, ибо, в отличие от воображения, «...анализ получает помощь только от языка; поэтому он может иметь место лишь постольку, поскольку язык ему благоприятствует» [Там же: 269]. Чем более развита аналогия, тем совершеннее языки, а «...чем совершеннее они, тем больше они рожают новые взгляды и расширяют ум» [Там же: 264]. Не случайно «обстоятельства, благоприятные для развития гениев, встречаются у нации в то время, когда язык приобретает твердые принципы и окончательный характер» [Там же: 263], после того как язык достиг значительного развития [Там же: 265], то есть когда установились правила аналогии, способствующие дальнейшему развитию языка [Там же: 266].

Преобладающее качество языка: предрасположенность к воображению или анализу. «Поскольку характер языков складывается постепенно и сообразно характеру народов, он должен непременно иметь некое преобладающее качество. Стало быть, невозможно, чтобы одни и те же преимущества в одном и том же отношении были общими многим языкам». Эти преимущества и *преобладающие качества* (иначе говоря, *детерминанты*) Кондильяк также связывает с предрасположенностью к воображению или анализу. Дело в том, что «анализ и воображение — это два столь различных действия, что обычно препятствуют развитию друг друга. <...> Таким образом, очень трудно, чтобы одни и те же языки одинаково благоприятствовали совершению этих двух действий» [Там же: 268]. Все возможные языки можно было бы представить на шкале между двумя гипотетическими «крайностями»: на одном полюсе — язык, который упражняет главным образом воображение; на другом — язык, который сильно упражняет анализ. «Самый совершенный язык занимал бы среднее положение» [Там же: 269].

Реальность такой типологии доказывается, в частности, сравнением родного Кондильяку французского языка с латынью [Там же: 247–253]. «Благодаря

простоте и четкости своих конструкций наш язык с ранних пор дает уму точность, которая незаметно стала для него привычкой и которая во многом подготовила успехи анализа; но она мало благоприятствует воображению. Перестановка слов в древних языках была, напротив, препятствием для анализа; в той мере, в какой она все больше способствовала деятельности воображения, она делала ее более естественной, чем совершение других действий души» [Кондильяк 1980: 268–269]. Отсюда ясно, что «...для нас естественна привычка связывать наши идеи сообразно духу языка, в котором мы воспитаны» [Там же: 252].

Тяготение языков сообразно с их духом к той или другой «крайности» имеет и исторические основания, что подтверждается эволюцией слога. «...Язык с самого своего возникновения должен был быть весьма образным и метафорическим» [Там же: 253–254]. С развитием языка и абстрактного мышления совершенствуется анализ, воображение принимает новые формы и проза все больше отделяется от поэзии [Там же: 223, 225].

* * *

Таким образом, в учении Кондильяка были существенно поколеблены основные постулаты рационалистических концепций языка, касающиеся соотношения языка и мышления: об определяющей роли мышления и пассивности языка, о изменности и универсальности мышления.

Определяющим и активным началом оказывается язык, в качестве аналитического метода формирующий мышление. Подобно языку, мышление изменяется во времени и в пространстве, так что сообразно с духом языков возможны разные типы языкового мышления. В одном доминирует воображение, в другом — анализ.

По своим функциям язык оказывается не только и не столько средством сообщения идей, сколько средством их образования.

4.2.2.2. «Грамматика» Э. Б. де Кондильяка

Высоко оценив «Грамматику общую и рациональную Пор-Рояля», Э. Б. де Кондильяк в основу своей «Грамматики» положил философию сенсуализма. В обеих грамматиках утверждается органическая связь языка и мышления. Но если картезианцы в понимании отношения между языком и мышлением исходили из приоритета мышления, то Кондильяк ведущим началом считает язык, а в его исследовании ориентируется на непосредственно наблюдаемое — речь. Конкретно анализируется текст речи Расина.

Понятие системы в концепции Кондильяка. В определении принципов языкового устройства Кондильяк вполне в духе своего времени опирается на понятие системы. Из этого понятия исходил в естествознании создатель системы растительного и животного мира К. Линней, автор «Системы природы» (1735).

Представлением о материальном мире как целостной системе руководствовался П. А. Гольбах в своем труде «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» (1770).

Э. Б. де Кондильяк уже в «Трактате о системах» (1749), говоря о системах физического (природного) мира, видит задачу исследователя в том, «...чтобы наблюдать явления, улавливать связь между ними и добираться до тех явлений, от которых зависят некоторые другие. ...Явления следует объяснить настолько полно, чтобы стало наглядным их образование» [Кондильяк 1982: 179]. Причем «...в физике все заключается в объяснении фактов фактами» — опытным путем [Там же: 180]. Понятие системы охватывает не только «систему мира» [Там же: 183], но и включенного в нее человека. «...Сама природа создала систему из наших способностей, потребностей и вещей, относящихся к нам. Согласно этой системе мы мыслим, согласно этой системе возникают и сочетаются наши мнения, каковы бы они ни были» [Там же: 186]. «...В каждом столетии взгляды народа, так же как и взгляды философов, представляют собой систему» [Там же].

В изданном в 1775 г. «Курсе занятий по обучению принца Пармского», в который входят разделы «Об искусстве рассуждения» и «Грамматика», Кондильяк наряду с «системой вещей» [Кондильяк 1983: 112], «системой мироздания» [Там же: 113, 164] обращается к системам во внутреннем, духовном, мире человека и прямо соотносит систему знаний, систему представлений и понятий с системой языка: «Вы знаете, что такое система, и представляете себе, каким образом наши знания образуют *целостную систему*. Вы смотрите на вещи в соответствии с аранжировкой понятий или идей, которыми вы располагаете, которые взаимозависимы и дополняют друг друга, а также распределены по различным классам» [Кондильяк 2001: 146].

«...По мере того, как расширяются и совершенствуются знания, люди вынуждены обогащать и совершенствовать языки» [Там же: 147]. И наоборот, «...люди совершенствуют знания по мере того, как совершенствуется язык, на котором они говорят. А если два этих процесса неразделимы и параллельны, то очевидно, что *если знания образуют систему, то язык также должен быть системой, отражающей систему знаний, и наоборот. Итак, систему языка следует искать в системе наших представлений*.

Более того, если мы рассматриваем языки как средство обмена мыслями, то тем более *резонно будет рассматривать систему языка как кальку с системы понятий, представлений*» [Там же: 146; выделено мною. — Л. З.]. Развитие в высказывании какой-либо мысли отражает порядок самих понятий.

«Поскольку понятия распределяются по различным классам, а представители этих классов различным образом сочетаются для формирования мыслей, необходимо, чтобы слова распределялись по идентичным классам, а способы сочетания слов отражали способы сочетания понятий. Система языков и система понятий тесно и неразрывно связаны, одна служит образцом для другой, и обе они развиваются параллельно» [Там же: 147]. «...Языки находятся в пропорциональных отношениях с понятиями... <...> И так же, как языки находятся в пропорции с нашими

знаниями, соответствуют им, так же знания наши прямо пропорционально зависят от потребностей. <...>

А поскольку различные классы общества имеют различные потребности, то каждый класс по-своему смотрит на вещи. Из этих различных взглядов формируется нечто общее, суммарное, что откладывается в языке. *Язык*, таким образом, выступает как *хранилище знаний*, а поэтому с ростом знаний увеличивается количество слов в языке» [Кондильяк 2001; выделено мною. — Л. 3].

С эволюцией форм трудовой деятельности потребности человека растут. Нужды дикарей минимальны; потребности людей, уже знакомых со скотоводством, увеличиваются; еще выше потребности людей, начавших заниматься земледелием, и т. д. [Там же].

Во взаимодействии названных факторов «...потребности предшествуют знаниям, а знания затем приводят к развитию и совершенствованию языков, но все эти факторы имеют тенденцию к выравниванию, к эквивалентности» [Там же: 148]. «Чем больше люди наблюдают, чем больше они анализируют, тем более совершенным является их язык, и наоборот.

Но *каковы бы ни были человеческие знания, система их едина в своей основе и для первобытных людей, и для наиболее цивилизованных наций*. Она изменяется не качественно, а количественно» [Там же; выделено мною. — Л. 3]. Позднее эта точка зрения была поддержана И. Г. Гердером [Гердер 1977: 230, 238].

Признавая единство человеческой природы, Кондильяк в общем принимает идеи универсализма, свойственные рационалистической теории языка. «...Поскольку система понятий имеет везде одни и те же начала, системы языков тоже должны быть в основе своей едины. Все языки имеют, таким образом, общие законы. Наука, изучающая эти законы, называется *общей грамматикой*.

Но люди различны по характеру, по обычаям и нравам, а соответственно они по-разному смотрят на вещи и по-разному о них судят. А эти различия неизбежно приводят к различиям в ассоциативных отношениях между понятиями, а также — к различиям в сочетании понятий. Кроме того, когда одни и те же представления рассудка могут выражаться различными средствами, весьма маловероятно, чтобы все языки использовали для выражения одних и тех же мыслей идентичные средства; случайности и капризы обихода всегда неизбежны. В связи с этим каждый язык обладает свойствами и законами, присущими лишь ему. Наука, изучающая эти законы, называется *частной грамматикой*» [Кондильяк 2001: 148–149].

Итак, *язык представляет собой единство универсального и индивидуального, общего и отдельного*.

«Поскольку языковые системы являются отображением системы понятий, вполне естественно, что мы не сможем произвести анализа высказывания до тех пор, пока не будем знать, как следует анализировать мысль» [Там же: 149].

Анализ мысли как объект языка. Роль знаков. Согласно Кондильяку, грамматика является «основной частью искусства мыслить. Для раскрытия принципов языка следует обратиться, таким образом, к тому, как мы мыслим, и искать эти

принципы в самом анализе мысли», поскольку язык понимается как *способ соощения мыслей* [Кондильяк 2001: 143].

В обосновании метода анализа мысли Кондильяк исходит из чувственного и опытного происхождения человеческих знаний. «Все объекты, которые вы созерцаете, представлены вашему взору. Так же представлены вашему рассудку различные понятия» [Там же: 149].

«...Так же как единственным способом разложить на части зрительные ощущения является способ последовательного их рассмотрения, единственным способом разложения мысли на составляющие является последовательное рассмотрение понятий и операций, которые формируют эту мысль» [Там же: 150]. «...Если понятия, составляющие мысль, одновременно присутствуют у нас в сознании, то в высказывании они выступают последовательно, одно за другим. А следовательно, язык, а именно язык членораздельных звуков, и дает нам средства для разложения мысли на составляющие части» [Там же: 151], выступая *аналитическим методом* по отношению к мысли [Там же: 156]. Такими средствами служат знаки.

В самом деле, «для того чтобы произвести этот анализ, вы расположили слова, являющиеся знаками ваших представлений, или понятий, в определенном порядке, в каждом слове вы рассмотрели в отдельности соответствующее понятие; а в двух словах, которые вы поставили по порядку рядом, вы рассмотрели существующие между понятиями связи. Именно благодаря использованию слов вы располагаете способностью рассматривать отдельные понятия сами по себе» [Там же: 153], а расположив их в единственно верном порядке, перейти от суждения как восприятия целостного впечатления к суждению как утверждению. Таким образом, «...вы, будучи способны воспринимать какое-либо отношение между вещами, можете, благодаря использованию знаков, утверждать об этом нечто, или строить предложение. Утверждение не столько является достоянием вашего сознания, сколько содержится в словах, называющих воспринимаемые отношения» [Там же], т. е. в знаках.

Значение знаков в жизни человека трудно переоценить. Прежде всего «...знаки необходимы для того, чтобы составить себе отчетливые представления об окружающих нас предметах», воздействующих на наши органы чувств, а через посредство чувственных восприятий сформировать элементы сознания [Там же: 154]. «...Именно благодаря знакам мы образуем новые абстрактные понятия, и, соответственно, тем лучше мы анализируем объекты, чем точнее последовательности этих знаков отражают процесс порождения понятий» [Там же]. Образование общих идей начинается с наблюдения. На примере развивающейся детской речи Кондильяк показывает, что именуемые «...первые объекты нашего познания для нас всегда индивидуальны, единичны... Ибо все в природе индивидуально, все состоит из отдельных вещей, которые единственно и воздействуют на наши чувства. Все иные объекты наших знаний о мире представляют собой лишь различные *взгляды рассудка на вещи с позиций отношений сходства*

и различия между ними» [Кондильяк 2001: 155; выделено мною. — Л. 3]. «Итак, ...наши первичные понятия являются индивидуальными, затем они обобщаются и лишь затем распадаются на виды, образующие в совокупности обобщенные классы, или роды» [Там же].

Поскольку для различения в наших ощущениях всех операций сознания, для формирования понятий всех видов необходимы знаки, постольку «...**основным объектом языка является анализ мысли**» [Там же; выделено мною. — Л. 3]. Употребление языка для обмена мыслями друг с другом невозможно без предварительного анализа мысли. «На самом деле, мы не можем довести до сознания других понятия, сосуществующие в нашем сознании, если не можем последовательно довести их до собственного сознания» [Там же: 155–156].

Мы можем делать и то и другое благодаря тому, что «**мысль имеет одну и ту же природу для всех людей: у всех народов она вытекает из чувственных ощущений, везде она образуется и разлагается на составляющие части одним и тем же образом.**

Потребности, заставляющие людей анализировать мысль, также являются общими. Метод, которому они следуют при этом, подчинен одним и тем же для всех языков правилам.

Но этот метод использует в различных языках различные знаки; более или менее совершенный, он дает в результате большую или меньшую ясность, точность и живость. И так же как есть правила, общие всем языкам, существуют и правила частные, присущие каждому конкретному языку в отдельности.

Изучать грамматику означает, таким образом, изучать метод анализа мысли, которому следуют все люди.

Это занятие не столь уж трудно... Ведь *система языка заложена в каждом человеке, который умеет говорить*. Следует лишь раскрыть ему суть этой системы. Кроме того, высказывание является не чем иным, как суждением или последовательностью суждений. Соответственно, если мы откроем для себя, как язык анализирует весьма небольшое количество суждений, мы узнаем тем самым метод, которому следует язык в анализе любой мысли» [Там же: 157; выделено мною. — Л. 3].

Язык как развивающаяся система. Способность человека и его языка к анализу мысли развивается вместе с ростом потребностей и практического опыта людей.

Первичным человеческим языком был, по Кондильяку, язык действий, которым «наделяет нас сама природа в соответствии со строением нашего организма» [Там же: 158]. Необходимость удовлетворить свои нужды заставляет человека прибегать к помощи окружающих, привлекая их внимание жестами, мимикой, движениями глаз и нечленораздельными звуками, выполняющими *апеллятивную функцию* [Там же: 144]. «Когда какой-то человек выражает, скажем, свое желание... жестом, указывающим на желаемый объект, он тем самым уже начинает раскладывать мысль на части, но... не столько для себя, сколько для того, кто смотрит на него.

Он делает это не для себя, ибо для него движения, выражающие различные сопутствующие представления, слиты воедино, а отсюда — и представления слиты для него в одно целостное впечатление, и мысль предстает как единое нерасчлененное целое.

Но действия этого человека состоят для того, кто наблюдает его, из определенных частей». Чтобы понять желания другого, наблюдатель должен взглянуть на него и увидеть желаемый объект. «В результате этого наблюдения ему откроется мысль этого человека; перед его взором пройдут два различных понятия, ибо он увидит их одно за другим», например: *я голоден, я хотел бы этот плод, дай мне это* [Кондильяк 2001: 158]. (Ср. с анализом акта речевого общения между Джилл и Джеком у Л. Блумфилда [1968: 37–41].)

«В процессе возникновения языков представления, или понятия, которые способен выражать язык действий, были первыми понятиями, которым могли быть даны названия. Таковы (1) объекты, воспринимаемые нашими органами чувств, имеющие первостепенное значения для наших нужд, (2) действия органов нашего тела в процессе занятия с этими объектами, когда мы их желаем или, напротив, избегаем. Так возникли слова: *волк, бежать, плод, есть*» [Кондильяк 2001: 159; нумерация моя. — Л. 3.]. Соответственно, высказывания ограничивались фразами типа *волк-бежать, плод-есть* [Там же: 160].

«...Давая имена действиям органов тела, мы называли и операции сознания», так как «...эти действия сами по себе зачастую являлись знаками этих операций. <...> А поскольку действие и душевное состояние неразделимы, имя одного неизбежно становится именем другого». И тогда, например, слово *внимание* означает уже не только движение руки, которым человек указывает на желаемый объект, но и операцию сознания, душевное состояние в тот момент, когда душа особенно занята данным объектом. «Таким образом были даны названия всем операциям сознания. Это происходило по мере того, как давались имена телодвижениям, являющимся знаками душевных состояний. Невозможно было давать имена одним, не именуя тем самым вторые» [Там же: 159].

Если предположить, что первоначально языки обладали лишь совокупностью слов, подобных указанным, то «...эти слова весьма отчетливо пробуждали чувства, порожденные потребностями, но отдельные объекты, напротив, были представлены весьма расплывчатыми понятиями. Можно было различать в этих фразах лишь то, что следует бежать от кого-либо или чего-либо либо же, наоборот, искать это, и т. п.

Такой анализ был еще очень несовершенен. Малочисленные слова обозначали лишь основные понятия, а мысль не могла быть выражена без сопровождения языком действия, который придавал словам первобытного языка необходимые дополнительные оттенки. <...>

Если люди уже дали имена нескольким чувственно воспринимаемым объектам и ряду телодвижений, то это произошло лишь потому, что... язык действия достаточно точным образом сумел выделить компоненты этих вещей, с тем чтобы рассмотреть их последовательно» [Там же: 160].

На основе языка действий в языке членораздельных звуков рано или поздно создаются условные названия лиц (первого, второго и третьего), по аналогии с именами существительными появляются имена прилагательные, возникают предлоги.

В самом деле, «...каждый человек, говоря, например, *fruit manger* ‘фрукт-поедать’ мог указать жестом, говорит он о себе, или о том, к кому обращается, или же о ком-то третьем» [Кондильяк 2001: 160]. «Эти люди могли также выразить жестами, было какое-то животное большим или маленьким, сильным или слабым, смелым или трусливым, злым или добрым и т. п. <...> Столь же легко было для этих людей, показав на два противоположных направления, при помощи жеста указать, что они идут в одном, а при помощи другого жеста — что они идут в другом направлении» [Там же: 161].

Таким образом во взаимодействии с языком действия в языке членораздельных звуков первобытного человека складываются в *необходимые виды слов*. Кондильяк полагает, что «...достаточно четырех видов слов для того, чтобы выразить любую мысль. Это — имена существительные, прилагательные, предлоги и один-единственный глагол существования — *être* ‘быть’» [Там же: 161]. Вначале данное слово обозначало лишь конкретное действие руки ‘трогать’. Затем в соединении со словами ‘рука’, ‘глаз’, ‘ухо’, ‘рот’, ‘нос’ означало ‘осязать’, ‘видеть’, ‘слышать’, ‘есть’ или ‘пробовать’, ‘обонять’. Впоследствии «это слово стало в итоге общим названием для всех впечатлений, поступающих в сознание при помощи органов чувств. И в то же время оно выражало происходящее в органах чувств, оно выражало то, что происходило в сознании. Одним словом, *être* стало синонимом того, что мы именуем *чувствовать* или *ощущать*» [Там же: 162].

«Несомненно, прошло очень много веков, прежде чем люди получили возможность выражать в предложении всевозможные представления рассудка о вещах» [Там же].

Со временем язык мало-помалу совершенствуется. «...Медленно и постепенно устанавливаются его законы по мере того, как растет практический опыт людей и количество слов в языке» [Там же: 163].

Строение предложения и виды слов. Части речи и их классы. Главные и второстепенные члены предложения. Способы выражения значений и синтаксических связей. При анализе предложения рассматриваются три его члена и соответственно три вида слов: «субъект — это то, о чем идет речь; атрибут — это то, что мы полагаем свойственным субъекту, а глагол высказывает то, что содержится в атрибуте относительно субъекта. <...>

Прежде чем говорить о чем-то, следует дать этому имя... Но чтобы дать чему-то имя или же выразить нечто посредством ряда слов, необходимо, чтобы существовал сам объект мысли» [Там же: 163].

Так как «...отдельные вещи, индивидуумы — единственное, что реально существует в природе» [Там же], Кондильяк начинает с имен, данных единичным сущностям, т. е. с *имен собственных* типа *Цезарь*, *Парма* и т. п. Общие понятия,

охватывающие множество отдельных неповторимых вещей, составляют принадлежность рассудка и разделяются на два вида. «Одни подразделяют действительно существующие индивидуумы на классы, таковыми являются *homme* ‘человек’, *prince* ‘принц’, *poète* ‘поэт’, *philosophe* ‘философ’. Другие подразделяют на классы качества... существующие с другими изменяющими их качествами, таковыми являются *figure* ‘облик’, *couleur* ‘цвет’, *vertu* ‘добродетель’, *prudence* ‘осторожность’, *courage* ‘смелость’. <...> ...Имена обоих видов, равно как и имена отдельных вещей, объединяются под общим названием *существительных*.

Поскольку эти имена включают в себя всё то, что существует в природе, и всё то, что существует в нашем сознании, они включают в себя всё то, о чем мы можем говорить. Всякое имя, являющееся подлежащим предложения, является, таким образом, именем существительным или именем, употребленным как таковое». Оно «выражает либо реально существующую субстанцию, либо воображаемую» [Кондильяк 2001: 164].

В отличие от существительных, обозначающих качества, прилагательные «выражают качества, которые сознание не рассматривает как существующие сами по себе». Например, в обороте *votre illustre frère* ‘ваш выдающийся брат’ «...понятие *frère* ‘брат’ является основным, потому что два других существуют только через него и называются поэтому второстепенными. Они присоединились к главному члену предложения, чтобы существовать в нем и изменять его, но присоединились только в момент произнесения данного предложения.

Следовательно, можно сказать, что всякое существительное выражает основную идею по отношению к прилагательным, которые его изменяют, и что прилагательные выражают всегда только дополнительные идеи» [Там же: 165].

В указанном обороте представлены *два вида* второстепенных членов: «...*votre* ‘ваш’ определяет, чьим является *frère* ‘брат’, о котором говорят, а *illustre* ‘выдающийся’ объясняет и развивает понятия, формирующиеся на основе словосочетания *votre frère* ‘ваш брат’». Поэтому «...все прилагательные могут сводиться к двум классам: прилагательные, которые определяют, и прилагательные, которые развивают» [Там же: 166].

Если язык располагает прилагательными, то второстепенные члены обоих главных членов предложения могут быть выражены трояко: либо прилагательными (*un homme courageux* ‘смелый человек’), либо вводными предложениями (*un homme qui a du courage* ‘человек, обладающий смелостью’), либо существительными с предлогом (*un homme de courage* ‘смелый человек’) [Там же: 166–167].

«Атрибутивным членом предложения, так же как и подлежащим, является чаще всего существительное» [Там же: 167]. Если в этом случае «...атрибут тождествен субъекту», то они «могут в любой момент поменяться местами»: *Инфант является герцогом Пармы — Герцог Пармы является инфантом*. Если же между главными членами предложения нет полного тождества, то «...существительное, являющееся атрибутом, — имя более обобщенное, чем существительное, являющееся подлежащим». Например: «*Corneille est poète; un poète est un écrivain; un écrivain*

est un homme ‘Корнель является поэтом; поэт является писателем; писатель является человеком’» [Кондильяк 2001: 168].

Кондильяк подчеркивает: «...Когда я говорю *Corneille est poète* ‘Корнель — поэт’, речь идет не о реальном существовании, поскольку он больше не существует. Однако это предложение так же верно, как и при жизни Корнеля, может быть, оно еще более верно и будет таковым всегда. Сосуществование *Корнеля* и *поэта*, таким образом, является лишь видением сознания, которое совсем не задается вопросом о том, жив Корнель или нет, но которое рассматривает *Корнеля* и *поэта* как две сосуществующие, сопряженные именно в сознании идеи» [Там же: 171].

Итак, «для того чтобы называть предметы, вполне достаточно существительных; чтобы выразить качества, нужны только прилагательные; чтобы показать их взаимосвязь, нужны только предлоги. Чтобы выразить все наши суждения, нужен только глагол *est*. Таким образом, нам не нужны, строго говоря, другие виды слов, ибо мы можем, располагая лишь этими словами, выразить все наши мысли.

Однако существует еще много различных видов слов, и в частности — глаголов. *Il joue* ‘Он играет’ — то же самое, что и *Il est jouant* ‘Он есть играющий’. *Joue* ‘играет’ содержит значение глагола *est* ‘является’ и прилагательного *jouant* ‘играющий’. На этом основании подобные глаголы были названы глаголами–прилагательными (*verbes adjectifs*) [Там же: 170].

«Глаголы не выражают сосуществования абсолютным образом, они его выражают в различных взаимосвязях» — с помощью второстепенных членов, входящих в группу глагола [Там же: 171].

Каждый вид взаимосвязи имеет свои средства выражения во французском языке. «...Если исключить объект, связь с которым обычно отмечена его местом во фразе по отношению к глаголу, связь с другими второстепенными членами будет всегда указана предлогом, высказанным или подразумеваемым, что подтверждает: назначение этого слова состоит в том, что оно указывает на зависимый член синтаксической связи. ...Объект обычно должен сразу следовать за глаголом. Но так как прямое дополнение (непосредственный объект) является единственным второстепенным членом, которому не предшествует предлог, часто происходит, что по отсутствию предлога мы опознаем прямое дополнение, даже если оно не находится в указанной выше позиции» [Там же: 173].

«Второстепенные члены, которые могут подчиняться глаголу, таким образом, являются объектом, связующим членом, обстоятельствами времени, обстоятельствами места, обстоятельствами действия (описание действия, выражаемого глаголом), состоянием подлежащего, средствами, употребляемыми им, или образом действия субъекта, причиной, концом или целью указанного действия» [Там же: 173–174].

Второстепенные члены, относящиеся к прилагательному, «являются одними и теми же для глагола и прилагательного, и средства связи прилагательного с зависимыми от него словами — те же, что и у глагола». Ср.: *comparable à Euripide*

‘сравнимый с Еврипидом’ — *comparer à Euripide* ‘сравнивать с Еврипидом’ [Кондильяк 2001: 174].

По-видимому, именно богатством синтаксических связей можно объяснить отсутствие тождества между предложением и суждением, отмеченное ранее и авторами Пор-Рояля. По словам Кондильяка, «суждение (jugement) отличается от предложения тем, что оно всегда простое, то есть состоит из трех слов. Предложение же может содержать несколько суждений и может распадаться на несколько частей, которые тоже суть предложения. Такое сложное предложение может содержать несколько субъектов или несколько атрибутов, выраженных несколькими словами» (цит. по: [Реферовская 1996: 137]).

Проведенный анализ грамматических концепций авторов Пор-Рояля и Кондильяка показал, что, несмотря на глубинные философские расхождения, обе грамматики обнаруживают сходство не только в деталях, но и в общем стремлении так или иначе *объяснить* язык.

Однако со времени выхода в свет «Граматики» и «Логики» Пор-Рояля прошло более ста лет. Наука не стояла на месте. Кондильяк смог обогатить грамматический анализ *системным подходом* и в соответствии с принципами эмпирико-сенсуалистического направления рассмотреть язык в отношении ко всем трем надсистемам — не только психической, но также социальной и физической.

Важным шагом вперед по сравнению с XVII в. явилось признание языка и мышления *исторически развивающимися* явлениями.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И. Г. ГЕРДЕР

Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), выдающийся немецкий философ эпохи Просвещения, один из вождей «Бури и натиска», вошел в историю лингвистики как создатель первой исторической теории языка. Проблемы происхождения и развития языка рассматриваются им в рамках общей теории эволюции на широком фоне культурного развития человечества и в самой непосредственной связи с возникновением и развитием мышления. Впитавшее в себя идеи И. Канта и И. Г. Гамана, английских сенсуалистов и французских энциклопедистов, учение Гердера легло в основу романтической концепции языкового развития. Оно оказало заметное влияние на разработку указанных вопросов и в последующую эпоху, отмеченную интересом к этнопсихологии. Весьма заметна преемственность в решении ряда лингвистических проблем между Гердером и Гумбольдтом.

Наибольшую ценность для философии и языкознания представляют такие сочинения Гердера, как его знаменитый трактат «О происхождении языка» (1772) и фундаментальный труд «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791).

1. Происхождение языка

Опровергая божественное, сверхчеловеческое происхождение языка, Гердер, как и до него Кондильяк [Кондильяк 1980], доказывает естественность его возникновения. Согласно Гердеру, язык не только не божествен, но имеет животное происхождение. «...Первоначально у человека и у животных был общий язык», это — «язык чувств» [Гердер 1959: 134]. И человек, и животные как чувствующие существа произвольно выражают свои ощущения в недифференцированных, нечленораздельных звуках — «природных возгласах» и криках. Причем, по Гердеру, все создания природы чувствуют «не только для себя». Их крики как бы рассчитаны на со-чувствование и «направлены на то, чтобы воздействовать на другие существа» всего своего рода, даже «если не может быть никакой надежды на отклик». Таким образом, «уже как животное человек обладает языком» [Там же: 133], языком чувств, и этот язык имеет своеобразную коммуникативную направленность.

Однако эти природные крики не являются еще человеческим языком в собственном смысле. Никакое другое животное не обладает даром речи и не создало

языка, подобного человеческому. Поэтому для установления его истоков необходимо учитывать не столько общность человека с другими животными, сколько отличительные особенности [Гердер 1959: 139–140]. Предваряя аналогичные идеи Ф. Энгельса, Гердер выделяет признаки специфической гоминидной триады. Из них определяющим он справедливо считает прямохождение и вертикальное положение человеческого тела [Гердер 1977: 77–80]. Благодаря прямохождению у человека высвободились руки и «стали искусными инструментами, с помощью которых можно изготавливать самые тонкие вещи». Вслед за Гельвецием Гердер утверждает, что «рука для человека — величайшая подмога в развитии разума» [Там же: 95]. Другим следствием прямохождения, также послужившим предпосылкой для развития разума, явилось более совершенное строение человеческого мозга [Там же: 85–91]. Таким образом, именно «органическое строение предрасполагает человека к способности разума» [Там же: 81], а разум в свою очередь явился «отцом живого языка» [Гердер 1959: 145]. Следовательно, человек имеет язык не потому, что обладает лучшей способностью к артикуляции и к подражанию звукам природы, как думали некоторые предшественники Гердера. И даже не потому, что человек живет в обществе, а потому, что, в отличие от животных, он является «сознающим существом» и обладает смышленостью. По остроте чувств и силе инстинктов человек уступает животным [Гердер 1959: 140; 1977: 99]. Но в результате он приобретает большую ясность восприятия, а его чувства становятся более свободными и универсальными. Присущее человеку самосознание (= свободно действующая рефлексия) обнаруживается в способности выделить и удержать в океане ощущений одно из них, осознать его; сосредоточиться, задержать внимание на одном из образов восприятия, выделить его приметы, осознать определенную особенность образа как отличительную [Гердер 1959: 141; ср.: Кондильяк 1983: 192]. Эта первая осознанная примета стала «внутренним словом-приметой» [Гердер 1959: 142], а «вместе с первой приметой появился язык» [Там же: 143]. Из первого акта осознания приметы рождается отчетливое понятие [Там же: 141]. При повторном восприятии предмета схваченный характерный признак-примета выступает в качестве «памятного знака» этого понятия и заставляет человека отчетливо вспомнить само понятие.

Осознанные приметы как памятные знаки отчетливых представлений-понятий образуют в совокупности так называемый внутренний язык. Именно этот внутренний язык, «духовное, а не плотское средство образования идей», и есть, по мысли Гердера, собственно человеческий язык, «язык разума». Вот почему, предостерегает ученый, не следует отождествлять слово ни со звуком, ни с идеей: «простое звучание и слово различаются, как различаются душа и тело, орган чувства и сила. Слово напоминает нам об идее и доставляет ее нам из души другого человека, но слово это — не сама идея, и точно так же материальный орган — не сама мысль» [Гердер 1977: 127]. Являясь средством образования идей, внутренний язык сам по себе не предназначен для целей общения и создан человеком не как [говорящим] членом общества, а как сознающим существом «независимо от помощи

органов речи или человеческого общества» [Гердер 1959: 143]. Даже если человек не говорит (например, одинокий дикарь или немой), он мыслит, а значит, пользуется приметами как элементами языка.

Возникновение внешнего, звукового, языка обусловлено *единством чувственной, познающей и волевой природы человека* [Там же: 140]. Как чувствующее существо человек уже обладает языком, и именно звуковым языком, ибо всякое чувство, считает Гердер, выражается в звуке [Там же: 152]. Вследствие большей отчетливости, ясности слуховых восприятий по сравнению со зрительными и осязательными слух оказался «наиболее подходящим чувством для языка» [Там же: 144]. Соответственно, в качестве характерных признаков–примет предметов раньше других были осознаны издаваемые ими звуки. Так звуки стали «памятными знаками» первых понятий, а «из звуков, превращенных разумом в приметы, возникли слова» [Там же: 150]. Для незвучащих предметов слова–приметы создаются на основе взаимодействия самых разнообразных ощущений у людей, как «у чувственных существ, ощущающих одновременно при помощи различных чувств» [Там же: 151]. А так как *всякое* чувство, по Гердеру, «имеет свой непосредственный звук, то достаточно лишь довести это чувство до состояния той отчетливости, которой отличается примета, и тогда появится слово для внешнего языка» [Там же: 153], которое «в силу закона ощущений животного организма» будет выражено звуками.

Принятое Гердером различие внутреннего и внешнего языка может быть соотнесено с функциональным разграничением слов–меток и слов–знаков, которое ввел Гоббс и поддержали Локк [Локк 1985: 534] и Лейбниц [Лейбниц 1983: 340]. Согласно Гоббсу, «имена по своему существу прежде всего суть *метки* для подкрепления памяти. Одновременно, но во вторую очередь они служат также для обозначения и изложения того, что мы сохраняем в своей памяти». «Разница между метками и знаками состоит в том, что первые имеют значение для нас самих, последние же — для других» [Гоббс 1964: 62].

Таким образом, человек уже как чувствующее и сознающее существо должен был создать язык. Однако, учит Гердер, имеющиеся генетические задатки не могли бы реализоваться, если бы человек не был общественным существом. Способность к рефлексии есть лишь «разумная *способность*», *задатки* разума, но не разум как таковой. Человек не рождается «с прирожденным инстинктивным разумом». «Разум — не прирожден» [Гердер 1977: 100] и «лишь весьма поздно возделывается в нас». «...Мы являемся на свет, — продолжает Гердер, — будучи лишь способны воспринять разум, но не будучи в силах ни возыметь его, ни завоевать собственными силами» [Там же: 120]. «Человек с детских лет учится разуму» [Там же: 100]. «...Развитие его способностей зависит от других» и является результатом воспитания, «каждый человек лишь благодаря воспитанию становится человеком» [Там же: 229]. «...Он воспитывался в обществе и воспитывался для общества; не будь общества, он не родился бы и не стал человеком» [Там же: 212]. Поэтому, утверждает Гердер,

«разум не что иное, как *внятое* — усваиваемое, уразумеваемое» [Гердер 1977: 100]. С одной стороны, «разум — ...сумма воспитания всего человеческого рода», а с другой — «воспитание его человек довершает..., воспитывая себя на чужих образцах» [Там же: 229]. Так общечеловеческое переплетается с индивидуальным и коллективным. Чтобы человек мог выделить и осознать примету, «всегда нужно, чтобы кто-нибудь помогал ему запечатлеть в душе различия между вещами» [Там же: 98]. Следя за глазами окружающих людей, вслушиваясь в их речь, ребенок «с их помощью учится различать первые понятия» [Там же: 100]. «...В зависимости от получаемых человеком впечатлений, от образцов, которым он следовал, от внутренней силы и энергии, слагавшей все впечатления в сокровенную пропорцию человеческого существа, в зависимости от всего этого и разум человека скуден или изобилен, здрав или болезнен, уродлив или строен, как самое тело» [Там же: 100–101].

Особое средство для воспитания людей Гердер видит в языке. «Человек становится разумным благодаря языку» [Там же: 234]: «будучи лишен языка, человек, даже живя среди людей, не может дойти до представлений разума», ибо «мало способны добиться *сами по себе* хваленый человеческий разум и человеческое чувство». Только «речь пробудила дремлющий разум», воспламенила наши чувства [Там же: 96] и превратила человека в человека [Там же: 235].

Становление языка есть одновременно и становление разума. Когда в результате опыта вместе с первыми отчетливыми понятиями появились первые звучащие слова, «разум и язык сделали сообща свой первый робкий шаг» [Гердер 1959: 144]. Для последующей истории человеческого рода характерно «поступательное развитие языка благодаря разуму и разума благодаря языку» [Там же: 153].

2. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

Развитие языка Гердер сопоставляет с жизнью человека, полагая, далее, что «человеческая жизнь в той мере, в какой она растительна, разделяет судьбу флоры. ...И жизнь нашу можно сравнить с жизнью растения: мы прорастаем, растем, цветем, отцветаем, умираем» [Гердер 1977: 40]. «Весь род человеческий и даже мертвая природа, любой народ и любая семья подчиняются одним и тем же законам изменения: от плохого к хорошему, от хорошего к превосходному, от превосходного к худшему и к плохому — такой круговорот совершает всё на свете. ...Такова же участь и языка» [Гердер 1959: 119]. «Возрасты» языка подобны возрастам человека.

Возникнув как средство образования идей, человеческий язык развивается и совершенствуется вместе с мышлением.

В детскую пору языкового развития, когда народ находится в первобытном состоянии, когда человек больше чувствует, чем думает, и «человеческие органы еще не приспособлены к речи» [Там же: 119], человек владеет лишь языком чувств. Он, в сущности, еще не говорит, а только издает хриплые и пронзительные, грубые односложные звуки, выражающие страх, боязнь, удивление.

С течением времени, всё глубже познавая окружающие предметы, человек постепенно освобождается от ужаса, испуга и изумления перед природой. Его органы речи становятся более гибкими, и познанные предметы получают имена, которые являются их звуковой и зримой копией. Таким образом, первоначальный словарь имеет чувственный характер. То же относится и к грамматическому строю. «...Язык народа, еще целиком чувственного, несомненно не отличался правильностью и был чрезвычайно изменчивым. Такой народ говорил о предметах так, как они попадались ему на глаза» [Гердер 1959: 129–130]. В зависимости от направления чувственного внимания, от точки зрения на предмет в высказывании выдвигается на первый план то одно, то другое, подобно тому, как это бывает в случае инверсии. Ср.: «*Он украл у меня деньги*» (а не кто-либо другой); «*Деньги он у меня украл*» (а не кольцо); «*У меня он украл деньги*» (а не у кого-либо другого); «*Украл он у меня деньги*» (а не взял займы)» [Там же: 129]. Ввиду преобладания чувственности в языке «ранней, бесформенной поры» «грамматические связи еще не были упорядочены и формы речи не подчинялись правилам» [Там же: 120]. Речь — скорее не речь, а пение — сопровождается своего рода пантомимой: «жесты и акценты приходят на помощь, чтобы сделать понятным этот хаос слов» [Там же: 130].

В юношеском возрасте, который Гердер называет поэтическим, «язык был чувственным, богатым смелыми образами», метафорами. Хотя «в языке появились понятия, не имевшие чувственного характера, но... этим понятиям давали уже знакомые чувственные имена» [Там же: 120]. То, что «еще не умели подвести под какое-нибудь другое, уже известное понятие», выражалось с помощью нового слова. Отсюда обилие синонимов. Так, «в распоряжении арабского поэта находится пятьсот слов, означающих “лев” и выражающих различные состояния этого животного (например, “молодой лев”, “голодный лев» и т. п.)» [Там же: 126]. Язык «не был скован устойчивыми связями» [Там же: 120], и порядок слов «был еще весьма свободным» [Там же: 130].

На смену поэтическому периоду приходит **зрелый возраст**. «Язык в зрелом возрасте — это уже больше не поэзия, а художественная проза» [Там же: 120]. В этот период язык становится менее чувственным и образным, но зато более правильным. Возрастает число обиходных и абстрактных слов, реже встречаются идиоматизмы и инверсии, ограничивается свобода расположения слов. Прозаический период следует порядку мыслей, но с учетом специфики слуха и зрения. «...Структура такого периода определяется последовательностью образов, которые могут встать перед глазами, идей, которые представляет себе разум, и звуков, которые могут ласкать наш слух» [Там же: 130].

Наконец, **в преклонном — философском — возрасте** язык лишается богатства и чувственной красоты и приобретает правильность и точность выражения. В философском языке переносные значения заменяются прямыми. «...Научившись подчинять друг другу и классифицировать понятия, стали выражать с помощью определения... то, для чего ранее употребляли особое слово» [Там же: 127]. В результате всё сильнее ограничивается синонимия, а прежние синонимы всё

чаще расходятся в своих значениях. На предложение накладываются оковы философской конструкции. «Чистый разум, не считающийся ни с глазом, ни с ухом, признает только порядок идей, а потому он не знает инверсий. Таков логический период. Он отбрасывает всякие изменения порядка слов» [Гердер 1959: 130–131].

Однако в действительности даже в языке рассудка, каким считают, например, французский, полного соответствия порядка слов метафизическому ряду никогда не бывает и не будет. Гердер объясняет это тем, что «ни один человеческий язык, язык чувственных существ, не может вполне соответствовать разуму, ибо любой язык, в том числе французский, имеет свою нефилософскую сторону». Отсюда *неправомерность отождествления языка и мышления, языковых и логических категорий* даже на поздних этапах развития, в так называемом философском возрасте. Поскольку человек — это одновременно и чувствующее, и мыслящее существо, то, несмотря на постоянное совершенствование языка в связи с поступательным развитием разума, совершенства, понимаемого как точное соответствие языка и мышления, «не может достигнуть ни один язык, не может он достигнуть и полной поэтической красоты» [Там же: 131].

Помимо времени и связанного с ним поступательного развития разума культура и язык народа испытывают влияние местоположения, ибо от него зависит интенсивность общения, а значит, и обмена идеями и представлениями с другими нациями. В частности, Гердер замечает, что «на всех морях, на всех островах, полуостровах и побережьях, если местоположение их благоприятно, развилась такая целеустремленная деятельность и значительно более высокая культура, которые не могли бы возникнуть под гнетом однообразных, древних законов твердого материка» [Гердер 1977: 351]. Как показывает пример Европы, наблюдающееся в условиях интенсивного общения смешение народов приводит к постепенному стиранию национальных характеров и языковых различий [Там же: 476]: «вступая в общение, языки уподоблялись друг другу» [Гердер 1959: 122–123].

3. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКОВ

Общие свойства языков Гердер относит за счет единства человеческой природы — мыслящей и чувствующей одновременно. Предрасположенность к разуму — общее достояние народов. Все языки имеют общую мыслительную основу, так что «во всяком языке можно распознать один и тот же человеческий разум, ищущий приметы и признаки вещей» [Гердер 1977: 252].

Механизмы мыслительной деятельности едины, и дикарь, связывая понятия, поступает точно так же, как философ. В общем, «люди в душе своей гораздо более схожи друг с другом, чем на поверхности, внешне», и «европейский мудрец не назовет ни одной душевной способности, которая была бы специфически присуща именно ему» [Там же: 238]. «Различие между народами просвещенными и непросвещенными, культурными и некультурными — не качественное, а только количественное» [Там же: 230]. Люди различаются лишь по *соотношению*

отдельных душевных способностей. То, что один мыслит в образах, другой мыслит абстрактно.

Причиной сходства душевных способностей Гердер считает «несовершенное, но всеобщее средство — язык» [Гердер 1977: 238]. Это подтверждается «аналогичными особенностями всех языков у всех народов — как в отношении их составных элементов, так и во всем великом поступательном развитии языка в связи с развитием разума» [Гердер 1959: 153].

Составными элементами языка служат произвольные знаки. «Ни один язык не выражает вещи, но выражает только имена вещей» [Гердер 1977: 236], причем «членораздельные звуки не имеют ничего общего с предметом, который они обозначают; это лишь общепринятые условные знаки» [Гердер 1959: 158].

Между мыслимыми отвлеченными признаками и совершенно чуждыми их сущности звуками связь произвольная: «ведь никто же не поверит, — пишет Гердер, — что есть существенная взаимозависимость между языком и мыслями, не говоря уж о самих вещах, — не поверит в это никто, кто знает хотя бы два языка. А ведь на свете языков куда больше, чем два!» При отсутствии существенной взаимозависимости между языком и мышлением «для языка в конце концов совершенно безразлично, пользоваться теми или этими значками». Ввиду произвольности языковых знаков люди вкладывают в слова свое содержание и понимают друг друга по-своему. И нет уверенности, замечает Гердер, «правильно ли понимает меня другой человек? То ли представление связал он со словом, что и я, или он не связал с ним никакого представления?» [Гердер 1977: 237]. Отсюда следует, что «средство нашего воспитания и образования — язык — весьма несовершенен, рассматривать ли его как узы, соединяющие людей, или как орудие разума» [Там же: 236]. Понимая несовершенство языка как средства передачи мысли [Там же: 237], Гердер вплотную подходит к определению языка как деятельности, развитому позднее В. Гумбольдтом: «язык должен лишь направлять внимание наблюдающего природу человека, должен повести его к самостоятельному, деятельному пользованию душевными силами» [Там же: 239].

К определению языка как деятельности (*греч.* *energeia*) Гердера подводят также его размышления о природе поэзии. В них философ опирается на «Рассуждения о музыке, живописи и поэзии» (1744) английского ученого Дж. Гарриса. «Следуя за Аристотелем в его разграничении двух видов человеческой деятельности, Гаррис различает искусства, создающие предметы (*erga*), и искусства, представляющие проявление энергии (*energeia*). К числу последних он относит танец, музыку и поэзию» [Гердер 1959: 354] (комментарии В. М. Жирмунского). Чтобы выявить специфику поэзии, Гердер не ограничивается ее сопоставлением с другими искусствами. Он рассматривает также сходства и различия между поэзией и иными видами речи, всякой речью.

Реализующаяся в звуках речь имеет чувственный характер, но хотя «последовательность звуков... свойственна всякой речи» [Там же: 164], «в любом ее знаке, — указывает Гердер, — следует воспринимать не самый знак, а тот смысл,

который ему присущ; душа воспринимает не слова, как носители силы, — но самую силу, то есть смысл слов» [Гердер 1959: 160]. Поэтому и поэзия воздействует на наши низшие душевные силы — на чувственное восприятие и в особенности на воображение — не последовательными звуками слов, а их смыслом, значением, причем воздействует «в самом процессе их временной последовательности» [Там же: 176]. Это сближает речь вообще и поэзию в частности с так называемыми энергическими искусствами — музыкой и танцем, которые в отличие от искусств, создающих предметы, вещи (живописи, скульптуры), действуют не по завершении процесса творчества, а во время самого творчества — с помощью энергии (= деятельности), динамически.

4. МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Согласно главному закону истории, сформулированному Гердером, *«повсюду на нашей Земле возникает то, что может возникнуть на ней, отчасти в связи с географическим положением и потребностями места, отчасти в связи с условиями и случайными обстоятельствами времени, отчасти в связи с природным и складывающимся характером народов»* [Гердер 1977: 344]. Место, время и национальный характер обуславливают и существующие межъязыковые различия. При этом временной фактор — возраст языка, ступень культурного развития — можно считать групповым, типизирующим признаком, а место и в особенности национальный характер — индивидуализирующими.

«...Если судить по различным наречиям», то, как показывает Гердер, «все возрасты человеческого духа представлены на земле и все цветут. Вот — народы, переживающие период детства, вот — народы, которые вступили в пору юности, вот возмужалые народы и, наконец, престарелые» [Там же: 240]. Например, китайский народ «сложился во времена седой древности» [Там же: 298], но благодаря изоляции и лишь незначительной примеси чужеземного влияния он избежал смешения с другими народами [Там же: 295] и сумев «сохранить на необычайно долгое время свой первоначальный образ мысли», «остановился на середине своего воспитания, как бы в отроческом возрасте». И китайский народ не одинок. «Если бы сохранился до наших дней Древний Египет, то мы... нашли бы большое сходство между Китаем и Египтом, так что оказалось бы, что одни и те же традиции просто видоизменены каждый раз в соответствии с иной областью света. Точно так же обстоит бы дело и с многими другими народами, стоявшими на сходной ступени культурного развития, но только все эти народы или ушли со своих прежних мест, или погибли, или смешались с другими» [Там же: 298].

На следующей ступени культурного развития Гердер особо выделяет греческий (древнегреческий) язык. «...Греческая культура вышла из мифологии, поэзии и музыки» и пришлось на «пору юношеских радостей» [Там же: 358]. И «язык греческий словно возник из пения, ибо в пении и в поэзии и в давней вольной жизни сложился он, среди всех языков мира, и стал языком Муз» [Там же: 355].

В отличие от Греции, в Древнем Риме «пустили корни *законодательство, красноречие, историография* — цветы рассудка, порожденные практическими делами римлян: в них всего сильнее и сказывается римская душа» [Гердер 1977: 417]. «Язык законодателей и властителей мира, латынь кратка, серьезна, полна достоинства, — во всем отпечаток римского духа» [Там же: 416].

В соответствии с возрастом языка Гердер противопоставляет два основных типа языков: язык поэзии (язык чувств, страстей) и язык прозы (язык рассудка). Другой вариант данного противопоставления: красивые (= поэтические) языки первобытных народов и совершенные (= философские) языки цивилизованных народов.

Такое противопоставление наметилось задолго до Гердера, причем еще Ф. Бэкон в сочинении «О мудрости древних» (1609) связал его со степенью развития мышления. Образность, иносказательность языка в древности Бэкон считает следствием грубости и бессилия ума, способного в то время лишь к чувственному восприятию, но не к логическому мышлению [Бэкон 1972: 231].

Дж. Вико в своем труде «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) смену поэтического языка прозой связывает с исторически закономерным ходом развития сознания и духовной культуры. По его предположению, «развитие идей и развитие языков шли нога в ногу» [Вико 1994: 90], а «порядок идей должен следовать за порядком вещей» [Там же: 91], причем «история вещей должна подтверждать историю языков» [Там же: 491]. Как история человеческих идей развивается от мира искусств к миру наук [Там же: 192], так и «поэтический способ выражения в силу необходимости человеческой природы зародился прежде прозаического» [Там же: 177]. Эта необходимость заключается в том, что «человеческая природа, поскольку она обща со звериной, обладает тем свойством, что чувства оказываются единственными путями, на которых она познает вещи» [Там же: 131]. В процессе познания «человек сначала чувствует, затем взволнованно замечает, наконец размышляет чистым умом» [Там же: 147]. Первые люди, «как бы дети рода человеческого» [Там же: 87, 192], «были совершенно лишены рассудка, но обладали сильными чувствами и могущественной фантазией» [Там же: 132]. Их сознание «было совершенно лишено абстрактности» [Там же: 134] и отличалось медленностью [Там же: 179]. Поскольку «Воображение тем сильнее, чем слабее Рассудок» [Там же: 84], то и «возвышенная Поэзия зародилась вследствие недостаточности человеческого рассудка» [Там же: 137]. Поэтический язык был порожден грубостью сознания, «неспособного выделить нужную для своих целей суть вещей» [Там же: 176] и «образовать интеллигибельные родовые понятия вещей» [Там же: 87]. «Он был порожден языковой бедностью и необходимостью себя выразить. Это доказывает первоначальный способ Поэтического выражения: гипотипозис (изображение. — Л. 3.), образ, уподобление, сравнение, метафора, перифраза, фразы, объясняющие вещи их естественными свойствами, описания, подобранные из явлений или самых ничтожных, или особенно осязаемых, и, наконец, описания посредством добавлений эмфатических и даже излишних» [Там же: 176]. И лишь тогда, «когда и сознание и язык стали в высшей степени подвижными, появилась проза, которая... говорит почти что

интелигибельными родовыми понятиями» [Вико 1994: 179]. Ввиду указанной последовательности развития человеческих идей «никому невозможно стать одинаково возвышенным Поэтом и Метафизиком: ведь Метафизика абстрагирует сознание от чувств, а Поэтическая Способность должна погрузить всё сознание в чувства; Метафизика возвышается до универсалий, а Поэтическая Способность должна углубиться в частности» [Там же: 357].

Сходные идеи прозвучали в «Опыте о происхождении человеческих знаний» (1746) Кондильяка. «Слог при своем зарождении был поэтическим, потому что он начал с изображения идей посредством самых ярких чувственных образов и был к тому же крайне размеренным; но когда языки стали более богатыми, язык жестов постепенно упразднился, голос меньше варьировался, склонность к образным выражениям и метафорам... незаметно ослаблялась и слог становился ближе к нашей прозе» [Кондильяк 1980: 223]. Одновременно развивался ум. По мере того как «люди становились способными анализировать» [Там же: 229], замечать различные качества предметов и глубже их постигать, «идеи знаков становились более общими» и абстрактными [Там же: 237]. Однако в отличие от Вико Кондильяк, так же как позднее Потебня, не признает оскудения воображения и падения образности в новых языках. Хотя анализ и воображение «обычно препятствуют развитию друг друга» [Там же: 268], в то же время с развитием ума «поэзия рисовала ему всё более новые образы» [Там же: 225]. «Если в одних жанрах греки и римляне имеют поэтов, превосходящих наших, то в других жанрах мы имеем поэтов, превосходящих их. Какой поэт древности может быть поставлен рядом с Корнелем или Мольером?» [Там же: 269].

Гердер в этом вопросе следует Вико. С его точки зрения, «разные возрасты языка, подобно возрастам человека, не могут существовать одновременно. ...Так же как красота не совпадает с совершенством, так не совпадают во времени самый красивый язык и самый совершенный» [Гердер 1959: 121].

Возраст и тип языка предопределяют его выразительные и функциональные возможности. «Как древние не могли бы передать во всех оттенках наш язык, этот язык книги и кафедры, так и мы не можем повторять их на своем языке» [Там же: 128]. «Неоспоримо влияние поступательного движения времен на образ мысли людей. Разве возможно сочинить и петь в наши дни “Илиаду”! Разве возможно писать, как писали Эсхил, Софокл, Платон! Простое детское восприятие, непредвзятый взгляд на мир, короче говоря, юное время греков минуло. То же и евреи, и римляне, — мы же зато знаем многое такое, чего не знали ни евреи, ни римляне» [Гердер 1977: 447]. Отсюда разные функциональные возможности языков. Гердер убежден, что «если язык более всего пригоден для поэзии, то он не может быть в такой же мере философским языком» [Гердер 1959: 121]. «Невозможно представить себе народ, у которого не было бы поэтического языка, но были бы великие поэты, не было бы гибкого языка, но были бы великие прозаики, не было бы точного языка, но были бы великие мыслители» [Там же: 117]. В качестве примера Гердер приводит французский язык: по его мнению, «для поэтического гения этот язык рассудка стал истинным проклятием» [Там же: 131]. (И все же Гердер

не вполне прав. В самом деле, русский язык, например, совмещает в себе поэтичность с гибкостью и точностью, и у русского народа есть и великие поэты, и великие прозаики, и великие ученые-мыслители.)

Важное место в концепции Гердера занимает проблема языковой индивидуальности и ее природы. Эта проблема привлекала внимание ученых и до Гердера, и после него, а у Гумбольдта она была поставлена во главу угла.

Первоначально специфику языка с содержательной стороны видели главным образом в его лексическом составе и пытались объяснить ее условиями народной жизни. Так, Локк, отметив избирательность номинации в конкретных языках, относит ее за счет своеобразия образа жизни, обычаев, нравов и взглядов народа. Отсюда различия в повседневно используемых вещах, а значит, и в сочетаниях идей, требующих обозначения отдельными словами [Локк 1985: 340–341].

Вико причину языковых различий в конечном счете возводит к климатическим условиям. Из-за различия климатов народы получили различную природу, вследствие чего «они с разных точек зрения смотрели на одну и ту же пользу или необходимость для человеческой жизни». Отсюда более или менее значительные расхождения в многочисленных привычках и множество различных обычаев наций. Наконец, «их различная природа и обычаи породили столько же различных языков» [Вико 1994: 169]. В соответствии с тем, сколько различных аспектов могут иметь вещи, и в зависимости от точки зрения на них данного народа некая единая по существу идея в разных языках предстает в различных модификациях [Там же: 80, 169–170].

Кондильяк, гениально предвосхитивший многие идеи романтиков, помимо природных условий учитывает и социальный фактор, а именно форму правления, отводя ей ведущую роль в формировании характера и духа народов [Кондильяк 1980: 260–261]. Самобытность последнего тем больше, чем меньше общения между нациями [Там же: 271]. Изменяясь вместе с формой правления, характер народов в свою очередь влияет на характер и дух их языка. Обусловленный духом народа дух языка проявляется не только в запасе слов и самобытном характере знаков, ограничивающем их произвольность, но и в удобстве конструкций, в количестве и точности аналогичных оборотов, созданных друг для друга, в соответствии с характером народа преобладающем качестве языка [Там же: 263–270].

Согласно Гердеру, индивидуальное своеобразие языка определяется взаимодействием времени, места и национального характера. Из них ведущим он считает последний. Генетический дух, характер народа «стар, как нация, стар, как почва, на которой жил народ» [Гердер 1977: 314]. Он складывается под влиянием целого ряда факторов, включая место и условия жизни, но особую роль Гердер отводит традиции, ибо «нет у человечества иного средства воспитания и культуры, помимо традиции» [Там же: 269]. «...Поскольку человек берет свое начало от рода и возникает каждый в своем племени и роде, то уже поэтому всё его образование, воспитание и образ мысли являются генетическими. Вот где источник особенных национальных характеров, глубоко отпечатлевавшихся в наидревнейших народах, они явственно рисуются во всех действиях и проявлениях всякого народа на этой

Земле. Как бьющий из земли ключ принимает в себя силы, частицы и вкус почвы, в которой он накапливался, так и древний характер народа проистек из родовых черт, из условий его части света, из обстоятельств образа жизни и воспитания, из дел и подвигов, совершенных в эту раннюю пору, — из всего, что досталось в удел народу. Нравы отцов проникли глубоко в душу и стали внутренним прообразом для всего рода» [Гердер 1977: 344–345]. В результате «чувства и влечения людей повсюду соотносятся с их жизненными условиями и органическим строением, но повсеместно управляют ими мнения и привычки» [Там же: 211]. Воздействуя на чувства, «*образ жизни*, гений всякого народа сильно влиял на фантазию каждого народа».

Особенно большое значение Гердер придает трудовой деятельности людей, ее условиям и роду занятий. «Пастух видит природу одними глазами, охотник, рыбак — другими, а такие занятия различаются в каждой стране, как различаются и характеры народов» [Там же: 203]. Например, «пастухи — бедуин и монгол, лапландец и перуанец, но как не похожи они друг на друга: один пасет верблюдов, другой — лошадей, третий — оленей, четвертый — альпака и лам» [Там же: 206].

Так как «всякий туземный, чувственно воспринимающий действительность человек ограничен своим кругом» [Там же: 199], так как люди мыслят и чувствуют согласно своему кругозору, то «в мифологии каждого народа запечатлелся присущий ему способ видеть природу» [Там же: 203], свойственное ему «чувственное мирозерцание» [Гердер 1959: 62]. При этом «в душу каждого народа его способ представлений проник тем глубже, чем он ближе ему, — он пришел к народу от отцов и от отцов отцов, он вырос из его образа жизни, он родствен небу его и Земле» [Гердер 1977: 201]. Люди передают из поколения в поколение по наследству «естественную предрасположенность к усвоению, сочетанию, развитию определенных представлений и образов» [Там же: 204]. Точно так же и «*практический рассудок рода человеческого повсюду обращен потребностями жизни, но повсюду он — цвет Гения народов, сын традиции и привычки*» [Там же: 206].

И наконец, разум. «Продолжение человеческого рода и делящаяся традиция — вот что создало и единство человеческого разума» [Там же: 453]. Но при этом соотносительно с национальным характером каждый народ имеет свой «склад мышления», свой «образ мыслей». А так как разум и язык неразделимы, то «всякий язык — это сосуд, в котором отливаются, сохраняются и передаются идеи и представления народа» [Там же: 297]. «...Язык — это печать нашего разума, благодаря которой разум обретает видимый облик и передается из поколения в поколение» [Там же: 236]. «...В каждом языке отпечатлелся рассудок и характер народа» [Там же: 239]. Гердер называет целый ряд признаков, отражающих влияние национального характера и склада мышления на язык. «...Почти у каждого народа есть свои буквы и свои особенные звуки; наименования вещей, даже обозначения издающих звуки предметов, даже непосредственные изъявления аффекта, междометия — всё отличается повсюду на Земле. Когда речь заходит о предметах созерцания и холодного рассуждения, то различия еще возрастают, и они становятся неизмеримыми, когда

речь доходит до несобственного значения слов, до метафор, когда затрагивается строение языка, соотношение, распорядок, взаимосогласие его членов. Гений народа более всего открывается в физиогномическом образе его речи. Всегда весьма характерно, чего больше в языке — существительных или глаголов, как выражаются лица и времена, как упорядочиваются понятия, всё это важно в самых мелких деталях. У некоторых народов мужчины и женщины пользуются разными языками, у других целые сословия различаются по тому, как говорят они о себе — “я”. У деятельных народов — изобилие наклонений, у более утонченных наций — множество возведенных в ранг абстракций свойств предметов. Но самая особенная часть всякого языка — это обозначения чувств, выражения любви и почитания, лести и угрозы» [Гердер 1977: 239–240].

Таким образом, по наблюдениям Гердера, в зависимости от характера языка различаются состав его элементов и структура. Различия касаются всех сторон языка: фонетики, лексики, грамматики — и распространяются на языковые особенности отдельных социальных групп. Степень различий возрастает от звукоподражательных слов и междометий к абстрактным наименованиям, от собственных значений к несобственным, метафорическим. Обращает на себя внимание отмеченная Гердером неизмеримость различий в строении языков, в соотношении и взаимосогласии (!) его членов, в соотношении и выражении грамматических категорий. В связи с различием языков «по своему содержанию и духу» перевод с одного языка на другой не может быть вполне адекватным [Гердер 1959: 306–307].

Таким образом, в концепции Гердера четко проявились основные принципы синтезирующего подхода к языку, в соответствии с которым язык рассматривается в неразрывном единстве с его носителем—человеком как чувствующим и сознающим существом.

Наиболее ярким воплощением синтезирующего, системного подхода к языку явилось учение Гумбольдта. Оно вобрало в себя многие идеи Гердера, равно как и другие достижения предшествующей философской традиции.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В. ФОН ГУМБОЛЬДТ

Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) по праву считается основоположником теоретического языкознания. Создание общей теории языка стало возможным прежде всего в результате разрыва со сложившимися в логико-грамматическом направлении взглядами на язык, его функции и природу, на оценку характера и значения межъязыковых различий. Этот разрыв был подготовлен развитием сенсуалистической теории познания, в особенности трудами Локка и Кондильяка. Новым взглядам на язык, синтезировавшим высшие достижения рационалистической и сенсуалистической традиций в изучении языка, несомненно способствовала научная атмосфера эпохи, и в первую очередь расцвет философской мысли.

Лингвистическое учение Гумбольдта возникло в русле идей немецкой классической философии. Гумбольдт взял на вооружение и применил к анализу языка основное ее достижение — диалектический метод, в соответствии с которым мир рассматривается в развитии как противоречивое единство противоположностей, как целое, пронизанное всеобщими связями и взаимными переходами отдельных явлений и их сторон, как система, элементы которой определяются по месту, занимаемому в ее рамках. Гумбольдт развивает применительно к языку идеи деятельности, деятельного начала в человеке, активности человеческого сознания, в том числе деятельного характера созерцания и бессознательных процессов, творческой роли воображения, фантазии в процессе познания. Благодаря возросшему интересу к природе, к природному (естественному) началу в человеке, к чувственности в философии утверждаются идеи единства чувственного и рационального познания. Эти идеи, так же как идеи единства сознательного и бессознательного в познавательной, творческой деятельности, нашли выражение и в лингвистической концепции Гумбольдта. Характерный для романтиков повышенный интерес к каждой личности сочетается у Гумбольдта, так же как у других философов того времени, с признанием социальной природы человека, с идеей единства человеческой природы.

Однако лингвистическое учение Гумбольдта, несмотря на несомненное влияние предшествующей и современной ему философской мысли, не является механическим перенесением на язык ее достижений. Теория Гумбольдта вполне самостоятельна и оригинальна и до сих пор не имеет себе равных в истории

языкознания. Наиболее полно она представлена в его основополагающем труде «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» (1830–1835).

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Язык как предмет языкознания, функции языка. Определяя язык как предмет языкознания, Гумбольдт видит в нем особый мир, выступающий посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека. В понимании функций языка Гумбольдт исходит из его активной роли в духовной деятельности. «Общий закон существования человека в мире состоит», по Гумбольдту, «в том, что он не может породить ничего, что немедленно не превратилось бы в фактор, оказывающий на него обратное воздействие и обуславливающий его дальнейшее творчество» [Гумбольдт 1984: 227]. Поэтому функционально «язык — не просто средство обмена, служащее взаимопониманию» [Там же: 171], «не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей» [Там же: 51] и не просто средство *выражения* мышления. По той же причине с точки зрения своего строения язык не может быть отождествлен с номенклатурой и не является совокупностью произвольных знаков готовых понятий [Там же: 324].

Вызванный к жизни внутренней потребностью человечества в развитии духовных сил [Там же: 51], язык функционирует в тесной связи с внутренней духовной деятельностью и в свою очередь — «через самый акт превращения мира в мысли, совершающийся в языке» [Там же: 67], — тоже воздействует на нее [Там же: 69]. Таким образом он приобретает «способность служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Там же: 165] и как активный посредник между миром и человеком становится для народа органом оригинального мышления и восприятия [Там же: 324].

«Из взаимообусловленной зависимости мысли и слова явствует, что языки являются не только средством выражения уже познанной истины, но и, более того, средством открытия ранее неизвестной. Их различие состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различиях самих мировидений. В этом заключается основа и конечная цель всякого исследования языка» [Там же: 319].

Сравнительное языковедение как наука. Уже в самом начале XIX в. Гумбольдт ставит задачу «превращения языкознания в систематическую науку» [Гумбольдт 1985: 347].

Языкознание как особая, равная другим, отдельная наука со своими целями и задачами должно «сделать язык — и язык вообще, и отдельные языки — предметом самостоятельного, от всего постороннего свободного и систематического исследования» [Там же: 349]. «...Язык сам по себе и для себя является наиважнейшим и общепольнейшим предметом исследования» [Там же: 348]. «Рассматривать язык не как средство общения, а как цель в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа есть основа подлинного языкового исследования, от которого любое другое

изучение языка... в сущности своей только уводит. Такое исследование языка само по себе уподобляет его любому другому природному объекту. Оно должно объять все различия, поскольку каждое из них принадлежит к понятийному целому; оно должно вникнуть в подробнейшие расчленения на составные части, поскольку совокупное воздействие языка складывается из постоянно возобновляющегося действия этих составных частей» [Гумбольдт 1985: 377].

Однако ответ на вопрос о том, «из каких первозвуков и каким образом язык изначально строит свой запас слов, а затем и связную речь», составляет лишь одну сторону лингвистического анализа. Другая его сторона — понять, «каким образом он становится для говорящей на нем нации органом постижения мира, возникновения и формирования идей, импульсом для развития духовной деятельности человечества» [Там же: 369], «каким образом различия в характере языков способны расширять и возвышать познание» [Там же: 377]. Соответственно Гумбольдт считает необходимым «исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме — не просто в его отношении к речи и к ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия», с тем чтобы рассмотреть «весь путь, по которому движется язык — порождение духа, — чтобы прийти к обратному воздействию на дух» [Гумбольдт 1984: 75].

Сравнительное языковедение должно ответить на вопрос о том, «как все многообразие языков вообще связано с процессом формирования человеческого рода», с тем чтобы определить отношение языков «к миру представлений, являющемуся их общим содержанием». Случайно или необходимо многообразие языков? Зависит ли содержание от языка и безразлично ли языковое выражение к этому содержанию? Если многообразие языков является «необходимым, ничем другим не заменимым средством формирования мира представлений», если, вопреки мнению древних, содержание зависит от языка, а языковое выражение не безразлично к этому содержанию, то выявление и изучение языков «приобретает непреложное и решающее значение» [Там же: 316].

Наивысшей и наиважнейшей точкой языкознания Гумбольдт считает решение вопроса о том, «обладают ли языки какой-либо формой духовного воздействия» [Гумбольдт 1985: 372], в частности «предполагает ли или обуславливает определенная ступень развития языка определенный уровень культуры» [Там же: 383].

«...Сравнительное изучение языков важно и существенно для постижения всей совокупности духовной деятельности человечества» [Там же: 377]. Оно необходимо также для того, чтобы выявить «тонкое, но глубокое родство между различными видами духовной деятельности и своеобразием каждого языка», вследствие чего «тот или иной язык осваивает тот или иной вид деятельности» [Там же: 373]. Для решения последней задачи следует объединить в научном рассмотрении характер народа, субъективный характер индивидуальности и характер языка.

Поскольку языки являются творениями наций, ясно, что при определении языковых характеров не обойтись без исторического анализа судеб различных

народов. Однако своеобразие того или иного характера может быть установлено, с одной стороны, в сравнении с характером других языков, а с другой — исходя из свойств «языка вообще». Поэтому «всякое изучение отдельного языка может и должно по справедливости всегда преследовать двойную цель: объяснять отдельный язык через общность всех известных, а языки вообще — через этот отдельный, исправлять и расширять с позиций этого языка наши общие знания о языке и классификацию совокупности уже описанных языков, а также толковать характер и строение отдельного языка, опираясь на природу “человека говорящего” вообще» [Гумбольдт 1985: 361].

Исходя из человеческой природы, языкознание должно разрешить и вопрос о том, «как всеобщий человеческий язык проявляется в отдельных языках различных наций» [Там же: 382], «как реально осуществляется языковая способность человека» в разные эпохи и в разных концах земли [Там же: 363]. Так как все языки, их элементы и формы представляют собой «истечения общей, всеохватывающей языковой способности человечества» [Там же: 366], «эта способность составляет средоточие изучения языка» [Там же: 360].

Изучение языка вообще «с точки зрения разносторонних связей человека» наряду со сравнительным изучением всех отдельных языков (а не только родственных) предполагает также, с одной стороны, философское рассмотрение общей человеческой природы, а с другой — историческое рассмотрение судеб различных народов [Там же: 347]. Само «изучение языка должно включать в себя всё, что история и философия связывают с внутренним миром человека» [Там же: 377], чтобы таким образом «стать средством познания человека на разных ступенях его культурного развития». «Изучение языков мира — это также всемирная история мыслей и чувств человечества» [Там же: 349] и один из основных источников изучения «развития и пределов человеческого духа» [Там же: 363]. Общее языкознание как наука «стремится постигнуть язык вообще» [Гумбольдт 1984: 313]. Но хотя «изучение языка должно производиться ради себя самого», «оно отнюдь не заключает в себе конечной цели», а служит «цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [Гумбольдт 1985: 383].

Соответственно, сравнительное языкознание включается в сравнительную антропологию как ветвь философско-практического человековедения, изучающую характер человеческих сообществ [Там же: 323–332], и оказывается тесно связанным «с философской историей человечества» [Там же: 383].

Исходя из сказанного, Гумбольдт выделяет четыре *объекта*, которые в их взаимной связи должны изучаться в сравнительном языкознании. Это — «язык и постигаемые через него цели человека вообще, род человеческий в его поступательном развитии и отдельные народы» [Гумбольдт 1984: 311].

В составе сравнительного языкознания Гумбольдт вычленяет две части: *изучение организма языков*, т. е. их строения и составных частей, и *изучение языков в состоянии их развития* [Там же].

Чтобы, «рассматривая язык в чистом виде и проникая в его общую природу, трактовать его также и исторически» [Гумбольдт 1984: 324], Гумбольдт разрабатывает *диалектический метод* исследования языка. «...Для проникновения в суть языков, в их взаимосвязи и их влияния на человеческий дух вообще» требуется всеобщий вид изучения языков, выявляющий общий тип, систему, принципы языка. Отсюда требование всеохватывающего рассмотрения языков во всех их взаимосвязях и противоречиях с опорой на весь имеющийся материал, совмещение индуктивного анализа с дедукцией (от части к целому и обратно) [Гумбольдт 1985: 367], совместное применение чистого мышления (логического анализа) и строго исторического исследования [Там же: 383] в соединении «с философским рассмотрением общей человеческой природы и с историческим рассмотрением судеб различных народов» [Там же: 347]. В исключительном предпочтении как исторического пути, так и философского Гумбольдт видит опасность для сравнительного языкознания [Там же: 371, 383].

При рассмотрении частного следует исходить из целого, рассматривая первое «как интегрирующую часть целого» [Там же: 366]. Стремление найти в строе языка источник его характера [Там же: 377], должно опираться на такие свойства, которые проходят через отдельные компоненты языка, «придавая им самим более точное определение» [Гумбольдт 1984: 109].

2. Язык и дух

Категория духа, духа народа — одна из центральных в концепции Гумбольдта. Это понятие входит в один синонимический ряд с такими понятиями, как духовная, интеллектуальная, умственная деятельность, духовное, интеллектуальное своеобразие народа, духовное начало, духовные особенности нации, духовная сила народа [Гумбольдт 1984: 68–69]. Если возможно отождествление понятия духа в немецкой классической философии, и в частности у Гегеля, с понятием сознания, то, очевидно, это допустимо и применительно к учению Гумбольдта (ср.: [Гулыга 1986: 219] и [Гумбольдт 1984: 359–360]). Но не исключено, что понятие духа в концепции Гумбольдта охватывает и бессознательное (см. раздел 3.1).

В анализе взаимоотношений между языком и духом в полной мере проявляется диалектический метод Гумбольдта.

1. *Генетически первичным*, ведущим, порождающим началом *Гумбольдт признает дух*: «только духовная сила народа является самым жизненным и самостоятельным началом, а язык зависит от нее» [Гумбольдт 1984: 68]. Проявления этой зависимости многообразны.

а) По своему происхождению *язык* — «продукт инстинкта разума» [Там же: 314], «непроизвольная эманация духа» [Там же: 49], *его порождение* [Там же: 162], его работа, направленная на определенную цель [Там же: 51].

б) Хотя язык — не единственное порождение духовной силы, *он принадлежит к главным ее проявлениям* [Там же: 50]. «Среди всех проявлений, посредством

которых познается дух и характер народа, только язык и способен выразить самые своеобразные и тончайшие черты народного духа и характера и проникнуть в их сокровенные тайны» [Гумбольдт 1984: 69].

в) Будучи порождением и проявлением духа, *язык не может не испытывать его воздействия*. «Явственно воздействует на язык не только исконный уклад национальной самобытности, но и всякое привносимое временем изменение внутренней направленности, всякое внешнее событие, способное возвысить или подавить душу, усилить или подавить размах духовной деятельности нации, но главное — всякий импульс, исходящий от выдающихся умов. Вечный посредник между духом и природой, язык преобразуется в ответ на всякий духовный сдвиг» [Там же: 169].

Воздействие духа на язык творяко.

Во-первых, *на языке отражается мощь*, степень силы, направленной на него *духовной энергии* [Там же: 51; Гумбольдт 1985: 418]: «чем сильнее воздействие духа на язык, тем закономерней и богаче развитие последнего» [Гумбольдт 1984: 47], тем нерасторжимее становится их единство. Совершенствование технической и чувственной стороны языка под воздействием духа помогает языку воплощать все большую часть сферы духа [Там же: 171].

Во-вторых, поскольку для достижения сфер своей деятельности «дух... имеет перед собой много путей, ...и не каждый из этих путей с равной силой и живостью ориентируется на язык» [Гумбольдт 1985: 411], последний испытывает *влияние душевной настроенности, духовного устремления народа*, что проявляется главным образом «в виде перевеса внешнего влияния над внутренней самодеятельностью или наоборот» [Гумбольдт 1984: 67]. «Он (язык. — Л. 3.) складывается по-разному у народов, охотно встающих на уединенный путь сосредоточенного раздумья, и у наций, которым посредничество языка нужно главным образом для достижения взаимопонимания в их внешней деятельности. Первые совершенно по-особому воспримут природу символа, а у вторых целые сферы языковой области останутся невозделанными» [Там же: 61].

В-третьих, *на язык воздействует степень предрасположенности духа к языкотворчеству*. В случае особенной предрасположенности наблюдается, «например, исключительная яркость и наглядность представлений, глубина проникновения в суть понятия, способность сразу схватить в нем самый характерный признак, живость и творческая сила воображения, влечение к правильно понятой гармонии и ритму в звуках, что в свою очередь связано с подвижностью и гибкостью голосовых органов, а также с остротой и тонкостью слуха» [Там же: 51].

2. Будучи порождением духа, испытывая на себе непрерывное воздействие человека, *язык* по мере накопления запаса слов, складывания системы правил и грамматических форм за тысячелетия и сам как продукт народа и прошлого *превращается в самостоятельную силу* [Гумбольдт 1984: 82; 1985: 405]. Благодаря преемственности поколений, а также независимости языка в своей цельности от мысли [Гумбольдт 1984: 83], «как ни укоренен язык в недрах человеческой

природы, он обладает еще и независимым, внешним бытием, которое властно над самим человеком» [Гумбольдт 1984: 52–53] и ограничивает его влияние на язык. В результате «язык и чужд душе и вместе с тем принадлежит ей, независим и одновременно зависим от нее» [Там же: 83].

3. Будучи порождением духа, язык в свою очередь *оказывает на него обратное «формирующее» воздействие* [Там же: 69, 329]. Это воздействие мощно и животворно [Там же: 328], ибо «духовное развитие... возможно только благодаря языку» [Там же: 63] и «человек является человеком только благодаря языку» [Там же: 314]. Язык — основа всех видов человеческой деятельности [Гумбольдт 1985: 411], родитель и воспитатель всего высочайшего и утонченнейшего в человечестве [Там же: 376], стимулятор человеческой духовной силы к постоянной деятельности [Гумбольдт 1984: 52].

Столь мощное влияние языка обусловлено тем, что дух для своего развития нуждается в чувственных средствах. «К наиболее полезным для него средствам относится язык, поскольку он, даже преследуя самые простые и ограниченные цели, нуждается в правилах, форме и закономерности. Чем больше из того, к чему стремится сам дух, он находит в языке, тем органичней их связь» [Там же: 345].

Воздействие языка на дух зависит от степени развития грамматического строя и типа форм. Языки, испытывающие недостаток в формах, «не в состоянии в той же степени и таким же образом воздействовать на дух, как языки с развитым грамматическим строем» [Там же: 347]. «...Определенные языковые формы, несомненно, дают определенное направление духу, накладывают на него известные ограничения» [Там же: 326].

4. Таким образом, *внутренняя духовная деятельность и язык находятся в отношениях взаимовлияния, тесной и неразрывной взаимосвязи* [Там же: 69, 230]: «внутренняя сила действует на язык, а язык в свою очередь — на внутреннюю силу» [Там же: 75]. Это взаимовлияние особенно ярко проявляется в тот период языкового развития, когда, по Гумбольдту, деятельность нации переключается с построения языка на его употребление. В этот период «ни язык, ни дух нельзя назвать независимыми друг от друга, но каждая из этих двух взаимно дополняющих друг друга сил опирается на помощь и воодушевляющую поддержку другой» [Там же: 163–164].

5. *В результате постоянного взаимодействия вырабатывается единство языка и духа.* «Хотя мы и разграничиваем интеллектуальную деятельность и язык, в действительности такого разделения не существует» [Там же: 68]. Человеческое сознание и человеческий язык нераздельны [Там же: 314].

6. Наконец, *на определенном этапе языкового развития*, а именно в период совершенствования языка, когда в результате синтеза языковой формы с индивидуальной формой духа осуществляется высший способ скрепления языка в единое целое, «духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в столь тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует одно, то из этого обязательно должно вытекать другое», и таким образом *между языком и духом устанавливается* своего рода

тождество: «язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное». Все различие между ними сводится на первый взгляд к тому, что «язык есть как бы внешнее проявление духа народов» [Гумбольдт 1984: 68].

Таким образом, в целом между духом и языком складываются следующие виды отношений: влияние духа как порождающего начала на язык, относительная самостоятельность языка по отношению к духу, обратное воздействие языка на дух, взаимосвязь духовной деятельности и языка, их нераздельность, а на определенном этапе развития даже своеобразное тождество. В разные периоды развития языка характер его взаимоотношений с духом может меняться [Там же: 163–164 и др.], о чем подробнее см. в разделе 7.

3. Язык — мышление — действительность

3.1. Язык как отражение

Будучи посредником между миром и человеком, «язык одновременно есть и отражение и знак» [Гумбольдт 1984: 320] и потому не может быть сведен к совокупности произвольных или случайно употребляющихся знаков понятий [Там же: 324].

Именно как отражение, как мировидение язык становится средством изучения и познания истины [Там же: 319, 322]. В отличие от эмпириков и рационалистов, Гумбольдт рассматривает познание *в единстве чувственного и рационального*: «Разум не может постигнуть того, на что нет даже намек в сфере чувств и восприятий; но также нельзя вобрать в свою сущность что бы то ни было, что хоть как-то не подготовлено в сфере понятий. Нельзя осознать того, что нельзя воспринять чувственно, для чего отсутствует материальное воплощение; но нельзя также быть тем, для чего нет понятия, для чего отсутствует форма» [Гумбольдт 1985: 325]. Соответственно, язык как отражение «всегда с необходимостью опирается на совокупность человеческой духовной силы; из нее нельзя ничего исключить, потому что она охватывает собою всё», а «язык родствен всему, что есть в ней, как целому, так и единичному; ничто в ней ему не чуждо» [Гумбольдт 1984: 66]. Это значит, что язык, функционируя в нераздельном единстве с человеческим сознанием, опирается не только на высшую форму отражательной деятельности — мышление, познающую с помощью абстракций сущность предметов и процессов, но и на различные формы чувственного отражения — ощущение, восприятие, представление, воображение (фантазию), а также на эмоции и воление. Кроме того, «язык целиком зависит от бессознательной энергии, приводящей в действие человеческую индивидуальность» [Там же: 227]. Поэтому Гумбольдт отводит важную роль также инстинкту [Там же: 88], инстинктивному, туманному и нерасчлененному предощущению [Там же: 61, 132], сходному с инстинктом предчувствию [Там же: 88], интуиции [Там же: 78, 156, 245], разного рода интенциям [Гумбольдт 1985: 401–402, 414] и смутно осознаваемым принципам [Гумбольдт 1984: 303].

Таким образом, в языке как полностью идеальном объекте «то одновременно, то поочередно действуют инстинкт, чувство и рассудок, причем рассудок в свою очередь исправляет действие чувства, а чувство — действие инстинкта» [Гумбольдт 1985: 414].

Наконец, человек обладает еще и языковым сознанием (Sprachsinn). Всё, что вовлекается в строение языка, «отбросив свою первоначальную форму, должно облекаться в языковую. Только так осуществляется отражение мира в языке и так грамматическое строение завершает языковую символизацию» [Там же: 401]. «Сможет ли то, что движет человеком изнутри и извне, отразиться в языке — это зависит от живости языкового сознания, превращающего язык в зеркало мира» [Там же: 400], и от специфики его направленности. «В языке можно обнаружить следы, указывающие на то, что при его образовании основным источником служило чувственное мировосприятие или же глубины мысли, в которых это мировосприятие уже подверглось духовной обработке» [Там же: 397].

Благодаря единству чувственного и рационального познания каждый язык есть «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Гумбольдт 1984: 63] одновременно. Он объединяет в себе, с одной стороны, определенное мирозерцание (= мировидение, мировосприятие), а с другой — способ сочетания мыслей [Там же: 66].

Индивидуальность и своеобразие национального мировидения определяется уже тем, что совокупная духовная сила народа — «как в отдельные эпохи, так и вообще — индивидуально различна, смотря по степени своего проявления и особенностям путей, которые могут быть различными при движении в одном и том же всеобщем направлении. Различие не может не проявиться и в конечном результате, то есть в языке, и, естественно, проявляется в нем — главным образом в виде перевеса внешнего влияния над внутренней самодеятельностью или наоборот» [Там же: 66–67].

Как отражение язык неотделим от *индивидуального* способа представлений человека [Там же: 317]. «Поскольку ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное, каждую человеческую индивидуальность, даже независимо от языка, можно считать особой позицией в видении мира». «...Поскольку на язык одного и того же народа воздействует и субъективность одного рода, ясно, что в каждом языке заложено самобытное мирозерцание» [Там же: 80]. Каждый язык в неразрывном единстве с сознанием создает *субъективный образ объективного мира*. Специфика национального мировидения обнаруживается в характере, содержании и форме языка (подробнее см. об этом в разделе 6). Она затрагивает и лексический, и грамматический строй. «Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» [Гумбольдт 1985: 349]. Аналогично этому и «грамматические различия языков заключаются в различии грамматических видений», причем в противовес логистически окрашенной традиции, и в частности в отличие от Дж. Гарриса, введшего в лингвистику понятие внутренней формы [Грамматические концепции... 1985:

26], Гумбольдт утверждает, что «грамматика более родственна духовному своеобразием наций, нежели лексика» [Гумбольдт 1984: 20–21].

Характеризуя язык как отражение, как мировидение, Гумбольдт особо подчеркивает активное, деятельное творческое начало языка: «язык не просто пассивен, не только впитывает впечатления, но из всего бесконечного многообразия возможных интеллектуальных устремлений *выбирает одно определенное, перерабатывая в ходе своей внутренней деятельности любое внешнее влияние*» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 66]. Таким образом, «языковые образования возникают в результате взаимодействия внешних впечатлений и внутреннего чувства в соответствии с общим предназначением языка, сочетающим субъективность с объективностью в творении идеального, но не полностью внутреннего и не полностью внешнего мира» [Там же: 123].

В той мере, в какой язык является отражением, он сближается с искусством. «Подобно картине живописца, язык может быть больше или меньше верен природе, скрывать или, напротив, выказывать приемы мастерства, изображать свой предмет в тех или иных оттенках основного цвета» [Гумбольдт 1985: 379]. Ярче всего художественное начало проявляется в синтезе внутренней формы языка со звуком, в сопряжении идеи с материей [Гумбольдт 1984: 108]. В качестве основной творческой и преобразующей силы выступает языковое сознание.

Слово как знак и отражение. Отобразив внешний и внутренний мир, язык не является его мертвой копией. Не следует поэтому думать, будто бы предмет языкового мира — «слово есть не что иное, как знак для существующей независимо от него вещи или такого же понятия». Слово — знак лишь «до той степени, до какой оно используется вместо вещи или понятия» [Там же: 304]. «Слово не является изображением вещи, которую оно обозначает, и еще в меньшей степени является оно простым обозначением, заменяющим саму вещь для рассудка или фантазии. От изображения оно отличается способностью представлять вещь с различных точек зрения и различными путями, от простого обозначения — тем, что имеет свой собственный определенный чувственный образ» [Там же: 305]. По Гумбольдту, «слово — не эквивалент чувственно-воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова. Именно здесь — главный источник многообразия выражений для одного и того же предмета». Так, в санскрите в зависимости от точки зрения, от взятого за основу признака слона называют то дважды пьющим, то двузубым, то одноруким, каждый раз подразумевая один и тот же предмет [Там же: 103]. Слово возникает на основе субъективного восприятия предмета, «оно есть отпечаток не предмета самого по себе, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе» [Там же: 80]. «Называя обычный предмет, например лошадь, они (люди. — Л. З.) имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово свое представление — более чувственное или более рассудочное, более живое, образное или более близкое к мертвому обозначению и т. д.» [Там же: 166].

Не будучи простым обозначением предмета внешнего мира, слово не является и просто знаком понятия. *Во-первых*, понятие вторично по отношению к слову, ибо «ни одно понятие невозможно без языка» [Гумбольдт 1984: 80], и только слово «способно сделать понятие самостоятельной единицей в мире мыслей» [Там же: 318]. *Во-вторых*, «выражение не безразлично для понятия» [Там же: 319], и слово прибавляет к понятию многое от себя, индивидуализируя его. Эта индивидуализация проистекает и из звуковой формы слова и связанного с ней впечатления, и из его близости с другими сходными по значению словами, и из его связей с прочими элементами языка, и из того, что «к каждому значимому слову присоединяются все вновь и вновь вызываемые им чувства, непроизвольно возбуждаемые образы и представления» [Там же: 318]. В результате названных воздействий, характеризующих — в терминах современной семиотики — семантику, прагматику и синтактику языковых знаков, «слова различных языков, обозначающие даже самые конкретные предметы, не являются полными синонимами и..., когда произносят илпос, equus и Pferd¹, имеют в виду не совсем одно и то же» [Там же: 306]. В еще большей степени слово удаляется от обычного понятия знака при обозначении неконкретных предметов. В этом случае равнозначность еще менее возможна [Гумбольдт 1984: 306; 1985: 364]. *В-третьих*, в силу особенностей своего мировидения каждый соединяет со словами «индивидуализируемые и преобразуемые понятия» [Гумбольдт 1985: 363].

Всё это приводит Гумбольдта к заключению о том, что «слово проявляет себя как сущность совершенно особого свойства, сходная с произведением искусства» [Гумбольдт 1984: 306]. Прежде всего это, видимо, относится к речевой (повседневной, естественной) разновидности языка, где слово выступает главным образом как отражение. Научное, так же как и конвенциональное, употребление «стремится, истребляя своеобразие языкового материала, использовать последний только как знак» [Там же: 321].

Языковое мировидение и восприятие предметов внешнего мира. Еще Кондильяк заметил, что люди «привыкли постигать вещи тем способом, каким эти вещи выражены на родном языке» [Кондильяк 1980: 264]. Если подвести это наблюдение под «общий закон существования человека в мире», установленный Гумбольдтом (см. с. 125), то заложенное в языке как отражении мировидение не может не влиять на восприятие действительности. Согласно Гумбольдту, предметы внешнего мира не воспринимаются сами по себе помимо языка. «Как ни одно понятие невозможно без языка, так без него для нашей души не существует ни одного предмета, потому что даже любой внешний предмет для нее обретает полноту реальности только через посредство понятия. ...Человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык» [Гумбольдт 1984: 80]. Механизм этого взаимодействия следующий: «так же как

¹ Греч., лат., нем. 'лошадь'.

слово вызывает представление о предмете, оно затрагивает, в соответствии с особенностями своей природы и вместе с тем с особенностями объекта, хотя часто и незаметно, также соответствующее своей природе и объекту ощущение, и непрерывный ход мыслей человека сопровождается такой же непрерывной последовательностью восприятий, которые по степени и по оттенку определяются прежде всего представляемыми объектами, согласно природе слов и языка. Объект, появлению которого в сознании всякий раз сопутствует такое постоянно повторяющееся впечатление, индивидуализированное языком, тем самым представляется в модифицированном виде» [Гумбольдт 1984: 318].

3.2. Язык и мышление

В языке как посреднике между миром и человеком совершается «акт превращения мира в мысли» [Гумбольдт 1984: 67], и «*сущность языка* (здесь и ниже выделено мною. — Л. З.) состоит в том, чтобы отливать в форму мыслей материю мира вещей и явлений» [Там же: 315]. В свою очередь «*сущность мышления* состоит в рефлексии, то есть в различении мыслящего и предмета мысли», а также «в разъятии своего собственного целого; в построении целого из определенных фрагментов своей деятельности; и все эти построения взаимно объединяются как объекты, противопоставляясь мыслящему субъекту» [Там же: 301].

Хотя «мышление как явление идеальное всегда касается формы» [Там же: 343], «никакое мышление, даже чистейшее, не может осуществиться иначе, чем в общепринятых формах нашей чувственности», т. е. не может обойтись без средств чувственного обозначения, без языка в широчайшем смысле слова [Там же: 301]. С другой стороны, и «язык становится языком лишь потому, что только в слове ищет *созвучия для мысли*» (выделено мною. — Л. З.) [Гумбольдт 1985: 412].

В силу самой природы человека язык изначально связан с мышлением именно как общественное явление. И в сущности языка, и в сущности мышления заложена тяга к общественному бытию. *Социальная природа человека есть его внутреннее свойство.* «...Поскольку человек есть животное общественное — в этом специфика его характера, — поскольку другой ему нужен не для защиты, оказания помощи, воспроизведения, сохранения жизненных привычек (как некоторым видам животных), а потому, что он возвышается до осознания Я, а Я без Ты представляется его рассудку и чувству бессмыслицей, — то в его индивидуальности (в его Я) одновременно освобождается индивидуальность его общества (его Ты). Следовательно, нация также является индивидом, а отдельный человек — индивидом индивида» [Там же: 283]. Соответственно язык, полагает Гумбольдт, вызван к жизни не столько внешними целями общения, сколько внутренней потребностью человечества. Потребности мысли и пробуждающегося самосознания могут быть удовлетворены лишь путем социализации «в общепринятых формах нашей чувственности», т. е. с помощью языка как средства социализации, и при условии, что человек «свое мышление поставит в связь с общественным мышлением» [Гумбольдт 1984: 51].

Между общественной природой языка и общественным мышлением, а также *социально направленным* индивидуальным мышлением существует непосредственная связь. Она обосновывается Гумбольдтом следующим образом: «в самой сущности языка заключен неизменный дуализм, и сама возможность говорения обусловлена обращением и ответом. Даже мышление существенным образом сопровождается тягой к общественному бытию, и человек стремится, даже за пределами телесной сферы и сферы восприятия, в области чистой мысли, к “ты”, соответствующему его “я”; ему кажется, что понятие обретает определенность и точность, только отразившись от чужой мыслительной способности. Оно возникает, отрываясь от подвижной массы представлений и преобразуясь в объект, противопоставленный субъекту. Но объективность оказывается еще полнее, когда это расщепление происходит не в одном субъекте, но когда представляющий действительно видит мысль вне себя, что возможно только при наличии другого существа, представляющего и мыслящего подобно ему самому. Но между двумя мыслительными способностями нет другого посредника, кроме языка» [Гумбольдт 1985: 399]. Отсюда понятно, что именно как общественное явление «язык начинается непосредственно и одновременно с первым актом рефлексии, когда человек из тьмы страстей, где объект поглощен субъектом, пробуждается к самосознанию» [Гумбольдт 1984: 301]. «Когда мы слышим образованное нами слово в устах других лиц, то объективность его возрастает, а субъективность при этом не испытывает никакого ущерба, так как все люди ощущают свое единство; более того, субъективность даже усиливается, поскольку представление, преобразованное в слово, перестает быть исключительной принадлежностью лишь одного субъекта. Переходя к другим, оно становится общим достоянием всего человеческого рода; однако в этом общем достоянии каждый человек обладает чем-то своим, особенным, что всё время модифицируется и совершенствуется под влиянием индивидуальных модификаций других людей. Чем шире и живее общественное воздействие на язык, тем более он выигрывает при прочих равных условиях» [Там же: 77].

Взаимоотношения языка и мышления, по Гумбольдту, так же многообразны, как взаимоотношения языка и духа народа, за одним, но весьма существенным исключением: признавая известное тождество языка и духа народа, Гумбольдт как будто нигде не говорит о тождестве языка и мышления. Напротив, заявив, что «мыслительная сила нуждается в чем-то равном ей и всё же отличном от нее» [Там же], Гумбольдт раскрывает теснейшее единство и взаимодействие языка и мышления, но не тождественность. Очевидно, именно ее отсутствие является одной из главных причин деятельностного характера языка.

1. *Определяющим в этом единстве является мышление.* Язык — творение «природы человеческого разума», его интеллектуальный инстинкт [Там же: 314]. «...Язык пробуждается в человеке потребностью мысли» [Там же: 159], и в частности потребность в понятии предшествует слову [Там же: 57]. Внутреннее языковое сознание соотносено с потребностями мыслительного развития [Там же: 127], которые стимулируют развитие и совершенствование языка. Последнее необходимо

потому, что язык не может вполне удовлетворить потребности духовной, мыслительной силы в средствах выражения. «Для самого повседневного чувства и самой глубокой мысли язык оказывается недостаточным... Всякая речь в высоком смысле слова есть борьба с мыслью, в которой чувствуется то сила, то бессилие» [Гумбольдт 1985: 378]. В результате этой борьбы под влиянием растущих духовных сил, всё более обогащающегося внутреннего восприятия происходит «всё большее совершенствование языка, всё возрастающее обогащение его духовным содержанием... По мере того, как мысль и восприятие приобретают всё больший размах, слова получают всё более широкое и глубокое значение» [Гумбольдт 1984: 111].

Конструктивная роль мышления по отношению к языку проявляется и в ряде других аспектов.

а) Общие законы языка и процесс употребления звуковой формы обусловлены мышлением, его требованиями к языку [Там же: 75]. Формы мышления соотнесены с языком в первую очередь через обозначение общих отношений [Там же: 126], которые «большой частью принадлежат непосредственно формам мышления» и определяются интеллектуальной необходимостью [Там же: 94]. «Создание грамматических форм подчиняется законам мышления, совершающегося посредством языка, и опирается на соответствие (*Congruenz*) звуковых форм этим законам» [Там же: 155]. В частности, «соотнесение предметов с их всеобщими родовыми понятиями, которым соответствуют части речи, совершается в мысли» [Там же: 157].

б) В области мысли развивается артикуляционное сознание, или, иначе, стремление придать звуку значение, с тем чтобы «различать черты подобия и различия понятий путем отбора и классификации звуков». Это стремление тем активнее и определенность значений тем больше, «чем определенной выражена мыслительная сторона обозначаемой области» [Там же: 95].

2. Однако и язык, согласно Гумбольдту, — отнюдь *не пассивное орудие мышления*.

К такому же выводу пришли и предшественники Гумбольдта — Кондильяк и Гердер.

В понимании Гумбольдта, активная роль языка в отношении мышления проистекает уже из того, что доязыковое, неязыковленное, не связанное «прочными и четкими узами звука» мышление, служащее материалом для языка, является неопределенным [Гумбольдт 1985: 406] и бесформенным [Там же: 364] и представляет собой «совокупность чувственных впечатлений и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Гумбольдт 1984: 73].

Язык служит «необходимым завершением мышления» [Там же: 227], «язык есть не что иное, как дополнение мысли, стремление возвысить до ясных понятий впечатления от внешнего мира и смутные еще внутренние ощущения, а из связи этих понятий произвести новые» [Там же: 304–305]. Причем ввиду нераздельности языка и мышления понятия образуются в *процессе* языкотворчества: образованию

понятий в интеллектуальной области соответствует образование слов в звуковой форме [Гумбольдт 1984: 103]. «Из массы неопределенного и бесформенного мышления слово вырывает известное количество признаков, соединяет их, сообщает им с помощью выбора звуков связь с другими родственными словами, а благодаря приращению случайных побочных обстоятельств — образ и окраску и тем самым индивидуализирует. Таким путем в различных языках возникают понятия, к которым никогда не смог бы прийти один разум сам по себе без помощи этого» [Гумбольдт 1985: 364]. «Акту рассудка, в котором создается единство понятия, соответствует единство слова как чувственного знака, и оба единства должны быть в мышлении и через посредство речи как можно более приближены друг к другу. Как мыслительным анализом производится членение и выделение звуков путем артикуляции, так и обратно эта артикуляция должна оказывать расчленяющее и выделяющее действие на материал мысли и, переходя от одного нерасчлененного комплекса к другому, через членение пролагать путь к достижению абсолютного единства» [Гумбольдт 1984: 317]. Образованное таким образом слово «есть выражение полной ясности понятия» [Там же: 57].

Итак, «в силу необходимости мышление всегда связано со звуками языка; иначе мысль не сможет достичь отчетливости и ясности, представление не сможет стать понятием» [Там же: 75]. Именно в этом смысле в первую очередь *язык есть образующий орган мысли* [Там же].

Однако язык является образующим органом мысли и составляет с ней единое целое еще и по той причине, что «интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия» [Там же: 75]. Звуковая материализация мышления не только обеспечивает возможность речевого общения между людьми, но и придает самому мышлению, его элементам большую определенность и точность вследствие благотворного влияния общения на процесс объективации представлений [Гумбольдт 1985: 399].

Таким образом, язык, «выступая в качестве посредника между человеком и внешними объектами, закрепляет за звуками мир мыслей» [Там же: 405], «в качестве закона обуславливает (bedingt) функции мыслительной силы человека» [Гумбольдт 1984: 314], «обозначая, а в действительности создавая, придает облик и слаженность неясным мыслям и увлекает дух, поддержанный работой многих, на новые пути в сущность вещей» [Гумбольдт 1985: 376], побуждая к новым мыслям [Там же: 378]. «...Язык дает человеку предпосылку для развития внутренних сил» [Там же: 375], «язык поднимает человека до доступной ему ступени интеллектуальности» [Гумбольдт 1984: 167]. «Главное воздействие языка на человека обуславливается его мыслящей и в мышлении творящей силой; эта деятельность имманентна и конструктивна для языка» [Там же: 58].

Так как не только содержание не безразлично к своему языковому выражению, но и выражение не безразлично для содержания, так как, в частности, «поня-

тия не бывают не зависимыми от языка» [Гумбольдт 1984: 319], то и «мышление не просто зависит от языка вообще, — оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком» [Там же: 317], и «различные языки являются для наций органами их оригинального мышления и восприятия» [Там же: 324]. «Способность... придать особое расположение всему строю мысли и чувств составляет подлинное достоинство языка и определяет его влияние на духовное развитие. А эта способность в свою очередь опирается на всю совокупность исконно заложенных в языке начал, на органичность его строя, на развитость его индивидуальной формы» [Там же: 58]. Более того, «языки позволяют каждому оставить в них отпечаток своей неповторимости и в то же время способствуют формированию наиболее определяющих и наиболее постоянных свойств. Каждый возраст, каждое сословие, каждый известный литератор и, если обратиться к тончайшим нюансам, даже любой духовно развитый человек формируется в чреве своей нации и, пользуясь своим родным общепонятным языком, соединяет с его словами индивидуализируемые и преобразуемые понятия, и таким путем всеми употребляемый язык мало-помалу вмещается в сокровенный круг тончайших изгибов мышления и восприятия индивида. Языки приравниваются ко всем этим частным отклонениям, и даже совершенство их зависит от той степени, в которой они способны выразить множество различий, сохраняя ясность и силу» [Гумбольдт 1985: 363].

3. Из сказанного ясно, что «язык и интеллектуальный уклад ввиду их постоянного взаимодействия нельзя отделить друг от друга» [Гумбольдт 1984: 196]. Так как и язык, и мышление обладают идеальным бытием, *многостороннее взаимодействие* между ними особенно благотворно для их формы. Формирование языка и выработка формального мышления между собой неразрывно связаны [Там же: 337] и постоянно восполняют друг друга [Там же: 216]. «Преобладающая мыслительная активность придает языку формальную направленность, а преобладающая формальность языка поднимает мыслительную активность» [Там же: 343].

4. В то же время способность языка «служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Там же: 165] отражает *самостоятельность и определенную независимость языка в его цельности от мышления* [Там же: 83]. Каким бы ни был язык — совершенным или не совсем, «он никогда и ни при каких условиях не может стать абсолютным пределом для человека» [Там же: 231]. «В области самого мышления действие языка исключает всякую остановку в каком-либо достигнутом пункте. Обнаружение истины, определение законов, в которых обретает отчетливые границы духовное, не зависят от языка» [Гумбольдт 1985: 375].

5. *Относительная независимость языка и мышления друг от друга — еще одно свидетельство их нетождественности.* Элементы языка не тождественны логическим. В частности, слово «не служит оболочкой для законченного понятия, но просто побуждает слушающего образовать понятие собственными силами, определяя лишь, как это сделать» [Гумбольдт 1984: 165]. Слово — только

отправная точка внутренней деятельности [Гумбольдт 1984: 111]. Эта самодеятельность мышления, так же как и способность языка служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей и средством общения между ними, возможна потому, что связываемое со словом представление предмета «не должно быть всякий раз ни исчерпывающим, ни раз и навсегда данным, поскольку оно способно на всё новые и новые преобразования» [Там же: 306]. Соответственно, «никогда невозможно представить подлинный смысл, совокупность всех объединенных признаков... слова как определенную и завершенную величину» [Гумбольдт 1985: 365].

6. *Отсутствие тождества между языком и мышлением не означает, однако, отсутствия всякого соответствия между ними.* Разделение Гумбольдтом языков на совершенные и несовершенные (см. раздел 6) есть попытка определить степень влияния различия строения языков на духовное развитие человечества путем выявления степени соответствия между языком и мышлением. «Чтобы соответствовать мышлению, язык, насколько это возможно, своим строением должен соответствовать внутренней организации мышления. <...> Язык должен сопутствовать мысли. Мысль должна, не отставая от языка, следовать от одного его элемента к другому и находить в языке обозначение для всего, что делает ее связной» [Гумбольдт 1984: 345]. Так как это возможно лишь в случае последовательного формального выражения грамматических связей в предложении, то «в полном соответствии с развитием идей пребывают только языки с развитым грамматическим строем» [Там же: 347].

4. ЯЗЫК КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА

В предшествующей лингвистической традиции — в логико-грамматическом направлении — господствовало статическое представление о языке как продукте, «памятнике». В значительной мере оно было обусловлено тем, что связи языка и человеческого сознания рассматривались, в сущности, односторонне. Во главу угла, естественно, были поставлены отношения между языком и мышлением, тогда как деятельность чувственного восприятия, его субъективное своеобразие не принимались во внимание. Отождествление языка и мышления, логических и грамматических категорий, представления о законченности понятий «до» языка, их независимости от национального своеобразия последнего, понимание слова как эквивалента предмета или законченного понятия, в свою очередь, создавали превратное представление о процессе речевого общения как механическом обмене готовыми знаками.

Гумбольдт же исходит из единства интеллектуального и чувственного восприятия, языка и внутренней духовной деятельности человека в создании субъективного образа объективного мира, в акте превращения мира в мысли. Показав всю сложность соотношения языка, чувственного восприятия и мышления, Гумбольдт

порывает с односторонними представлениями о статичности языка–продукта и противопоставляет им учение о деятельностной природе языка и творческом характере языкового общения.

Язык изначально самодеятелен, самосоздан, «в этом плане он вовсе *не продукт* (выделено мною. — Л. З.) ничьей деятельности» [Гумбольдт 1984: 49]. Язык совмещает в себе статическое с динамическим. «По своей действительной сущности, — утверждает Гумбольдт, — язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее» [Там же: 70]. Коль скоро язык является порождением духа, а «бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой» [Там же: 70], то и язык генетически представляет собой «работу духа, направленную на определенную цель» [Там же: 51]. Поэтому «язык следует рассматривать не как мертвый продукт (*Erzeugtes*), но как создающий процесс (*Erzeugung*)» [Там же: 69]. «Язык есть не продукт деятельности (*Ergon*), а деятельность (*Energie*). ...Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли» [Там же: 70]. «Цель ее — взаимопонимание» [Там же: 71]. Таким образом, эта деятельность, с одной стороны, имеет внутреннюю направленность — на выражение мысли, а с другой — внешнюю, социальную направленность — на осуществление назначения языка как средства общения и взаимопонимания между людьми, причем последняя определяет первую (см. ниже). Благодаря деятельностной и одновременно социальной природе языка преодолеваются различия между индивидами в мировидении, в способе соединения мысли со звуками и достигается взаимопонимание.

И выражение мысли, и общение не может быть осуществлено с помощью языка–продукта.

Хотя «духовная деятельность, направленная на выражение мысли, имеет дело уже с готовым материалом», унаследованным из прошлого, но и этот *готовый материал не есть мертвая масса*. Во-первых, духовная деятельность и его «преобразует» [Там же: 71], делая «пригодным» для выражения мысли. Те элементы языка, которые получили устойчивую оформленность и могут быть уподоблены мертвой массе, несут в себе «живой росток бесконечной определенности» [Там же: 82] и должны «всегда заново порождаться мыслью, оживать в речи или в понимании» [Там же: 83]. Во-вторых, фонетически оформившийся материал и сам воздействует на наш дух, причем не только потому, что требует соблюдения собственных законов [Там же: 163], но и потому, что «каждое высказанное участвует в формировании еще не высказанного или его подготавливает» [Там же: 308].

Если же видеть в языке не совокупность каких-то частей, а систему, *организм*, то и в этом случае он *не является продуктом*, ибо «его организм не лежит в виде мертвой массы в потемках души, а в качестве закона *обуславливает* (*bedingt*) *функции мыслительной силы человека*» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 314].

Наконец, употребление языка в речи также предполагает деятельность.

4.2. Язык и речь

Признаки, различающие язык и речь. Введенное Гумбольдтом разграничение языка и речи основывается на ряде признаков.

1. Идеальное/материальное.

Как непрерывное горение человеческой мысли «язык всегда обладает лишь идеальным бытием в головах и душах людей и никогда — материальным» [Гумбольдт 1984: 158].

Речь (*das Sprechen*) — явление материальное [Там же: 343]. Язык порождает речь как материальный продукт [Там же: 329].

2. Внутреннее/внешнее.

«...Язык есть орган внутреннего бытия, даже само это бытие, насколько оно шаг за шагом добивается внутренней ясности и внешнего воплощения» [Там же: 47]. Язык, передающийся потомкам «не в виде фрагментарных звуков и речевых построений, а в своем активном, живом бытии», «не является внешним, но именно внутренним» «в своем единстве с существующим благодаря ему мышлением» [Там же: 325].

Речь есть внешнее воплощение и проявление языка: «реальный язык проявляется только в речи» [Там же: 115].

Обращает на себя внимание активное, деятельностное бытие языка как идеального, внутреннего явления ввиду его единства с мышлением и взаимодействия с ним.

3. Порождающий организм / продукт порождения.

Данный признак не разделяет язык и речь столь однозначно, как предыдущие. Дело в том, что он может быть отнесен и к языку, и к речи по отдельности. Тем самым обнаруживается оборачиваемость их ролей.

«Поистине в языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно *порождающий себя организм* (выделено мною. — Л. З.), в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными» [Там же: 78]. Следовательно, язык в своем идеальном, внутреннем бытии является одновременно и порождающим организмом, и продуктом порождения, причем и последний не статичен ввиду произвольности его объема.

Очевидно, что продукт порождения должен быть не только идеальным, но и материальным, коль скоро язык — это образующий орган мысли, которая, в свою очередь, материализуется в речи [Там же: 75], и сам язык проявляется в речи [Там же: 115] Однако и речь не только порождается, но и порождает, ибо «язык образуется речью» [Там же: 162–163].

В двух последующих противопоставлениях под речью понимается отдельный акт речевой деятельности, тогда как язык интерпретируется по-разному — то как идеальное образование, совмещающее свойства порождающего организма и продукта порождения, то как речевая деятельность в полном ее объеме.

4. Совокупность порождений и методов / отдельный акт речевой деятельности.

«Язык как совокупность своих порождений отличается от отдельных актов речевой деятельности». Так как язык не столько продукт, сколько порождающий организм и созидающий процесс одновременно, то, «помимо своих уже оформившихся элементов, язык в своей гораздо более важной части состоит из способов (Methoden), дающих возможность продолжить работу духа и предначертывающих для этой последней пути и формы» [Гумбольдт 1984: 82].

5. Совокупность актов речевой деятельности / отдельный ее акт.

«...Под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности» [Там же: 70].

Как совокупное целое и его часть, язык и речь образуют скорее единство, чем противопоставление. «...Язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном и где благодаря всепроникающей силе образуется целое. Сущность языка непрерывно повторяется и концентрически проявляется в нем самом; уже в простом предложении, поскольку оно основано на грамматической форме, видно ее завершенное единство» [Там же: 308]. Не случайно определение языка как постоянно возобновляющейся работы духа, направленной на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли, Гумбольдт считает в строгом смысле пригодным «для всякого акта речевой деятельности». Дело в том, что высшее и тончайшее в языке «можно постичь и уловить только в связной речи», ибо «каждый язык заключается в акте его реального порождения» [Там же: 70]. Будучи творением нации, «только в речи индивида язык достигает своей окончательной определенности» [Там же: 84]. «Ведь даже со стороны значения своих отдельных элементов... речь содержит бесконечно много такого, что при расчленении ее на элементы улетучивается без следа. Как правило, слово получает свой полный смысл только внутри сочетания, в котором оно выступает» [Там же: 168]. (Ср. с аналогичными идеями А. А. Потебни [Потебня 1958: 42].) С другой стороны, чтобы речь как выражение мысли [Гумбольдт 1984: 163] могла поспеть за ее ходом, язык должен располагать «необходимым богатством и широкой свободой сочетания своих элементов» [Там же: 182].

Очевидно, таким образом, что язык и речь образуют совокупное единство. Это верно и с генетической точки зрения. Хотя язык и порождает речь, сам он образуется речью.

4.3. Виды речевой деятельности: говорение и понимание

Социальная природа видов речевой деятельности. И говорение (речь), и понимание имеют общественную природу, так как «обычно язык развивается только в обществе» [Гумбольдт 1984: 77]. Хотя «назначение любого языка — служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей» [Там же: 165], однако

«жизнь индивида, с какой стороны ее ни рассматривать, обязательно привязана к общению» [Гумбольдт 1984: 63]. Вот почему «язык не может реализоваться индивидуально, он может воплощаться в действительность лишь в обществе, когда попытка говорения находит соответствующий отклик. Итак, слово обретает свою сущность, а язык — полноту только при наличии слушающего и отвечающего» как минимум [Гумбольдт 1985: 400]. Поэтому несмотря на то, что «речь всегда исходит от индивида и каждый пользуется языком прежде всего только для самого себя» [Гумбольдт 1984: 165], тем не менее порождение речи имеет социальную направленность. «Человек говорит, даже мысленно, только с другим или с самим собой, как с другим» [Гумбольдт 1985: 399]. Порождая речь, «никто не может говорить с другим иначе, чем этот другой при равных обстоятельствах говорил бы с ним» [Гумбольдт 1984: 71], «каждый полагается на понимание всех, а все оправдывают его ожидания» [Там же: 66]. С другой стороны, «человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям» [Там же: 77]. Следовательно, понимание — это, с одной стороны, акт самосознания [Там же: 305], а с другой — понимание предполагает со-мышление [Там же: 302].

Речь и понимание как деятельность. И речь, и понимание осуществляются посредством духовной деятельности [Там же: 77, 78]. Процесс речи не есть простая передача материала [Там же: 77], во-первых, ввиду отсутствия тождества между языком и мышлением и их единицами, а во-вторых, вследствие произвольности объема и отчасти также способа порождения.

В процессе общения люди «взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова. Называя обычный предмет, например лошадь, они имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово свое представление» [Там же: 166]. Таким образом, «всякое понимание слагается из объективного и субъективного» [Там же: 328]. В результате «никто не понимает слово в точности так, как другой... Всякое понимание поэтому всегда есть вместе и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах — вместе и расхождение» [Там же: 84]. Причиной тому — во-первых, нетождественность субъекта и объекта, человека и мира, посредником между которыми выступает язык, во-вторых, двойственный характер речевой деятельности, соединяющей в себе индивидуальные восприятия с общей природой человека, и, в-третьих, соединение в языке как единстве коллективного и индивидуального двух противоположных свойств: любой национальный язык «в качестве единого языка дробится внутри одной и той же нации на бесконечное множество языков, а в качестве этого множества сохраняет единство, придающее ему определенный отличительный характер по сравнению с языками других наций» [Там же: 165]. Непонимание и несогласие проявляется в той мере, в какой «каждый

человек обладает *своим* языком» [Гумбольдт 1984: 74], в той мере, в какой «каждую человеческую индивидуальность... можно считать *особой* позицией в видении мира» [Там же: 80]. И наоборот, мы понимаем друг друга настолько, насколько верно, что «весь род человеческий говорит на *одном* языке» [Там же: 74], и в той мере, в какой на собеседников и в целом «на язык одного и того же народа воздействует и субъективность *одного* рода» [Там же: 80]. Наконец, «понимание каждой вещи уже предполагает в качестве условия своей возможности наличие в познающем субъекте некоего аналога того, что впоследствии действительно будет понято... ..*Оно всегда состоит из применения ранее имеющегося общего к новому особенному* (выделено мною. — Л. З.). Там, где два существа разделены пропастью, там нет моста к их взаимному пониманию; для взаимного понимания необходимо, чтобы это понимание в некоем ином смысле уже существовало» [Гумбольдт 1985: 300]. «Потребность быть понятым вынуждает обращаться к уже наличествующему, понятному» [Гумбольдт 1984: 309].

В свое время Кондильяк обозначил это «наличествующее» как *общий фонд идей*: «общение предполагает в качестве существенного условия, что все люди обладают одним и тем же общим фондом идей» [Кондильяк 1982: 446–447]. Непонимание, как заметили Гоббс [Гоббс 1964: 462; 1965: 74–75], Локк [Локк 1985: 462–465, 525, 536, 541, 572, 580], А. Н. Радищев [Радищев 1973: 35], обусловлено несовпадением идей, обозначаемых одними и теми же знаками, ввиду индивидуальных различий в восприятии вещей и в знании их свойств.

Кроме того, Гумбольдт указывает ряд дополнительных факторов, на которые опирается понимание. К ним относятся:

1. *Общие для участников речевого акта законы порождения.*

2. *Звуковая форма речи и «согласованность между звуком и мыслью»* [Гумбольдт 1984: 75]. — «Представление, пробуждаемое словом у разных людей, несет на себе печать индивидуального своеобразия, но все обозначают его одним и тем же звуком» [Там же: 166], определенным образом связанным со значением [Там же: 92].

3. *Целостность, системность языка, членораздельность его элементов.* — «...Язык всегда сопутствует человеку только в своей целостности, а не отдельными своими частями» [Там же: 329], и любой членораздельный элемент есть всегда член системы. «Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово... как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем» [Там же: 313–314], так что «в силу членораздельности слово не просто вызывает в слушателе соответствующее значение..., но непосредственно предстает перед слушателем в своей форме как часть бесконечного целого, языка» [Там же: 78], и «вместе с понятием, всплывающим в душе, согласно звучит все соседствующее с этим отдельным звеном, вплоть до самого далекого окружения» [Там же: 166].

4. *Накопление материала и рост языковой способности с годами и упражнением.* — «Услышанное не просто сообщается нам: оно настраивает душу на более

легкое понимание еще ни разу не слышанного; оно проливает свет на давно услышанное, но с первого раза полупонятое или вовсе не понятое и лишь теперь — благодаря своей однородности с только что воспринятым — проясняющееся» [Гумбольдт 1984: 78–79].

5. ЯЗЫК КАК СИСТЕМА.

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬ И ФОРМА ЯЗЫКА

Первоначально обозначающие силы (звук) и силы, создающие обозначаемое (требования внутренних целей языка), действуют нераздельно. «И то и другое объединяется и охватывается общей языковой способностью. Но по мере того, как мысль, став словом, соприкасается с внешним миром, по мере того, как в результате наследования уже имеющегося языка человеку, который всякий раз своими усилиями создает в себе язык, начинает противостоять власть материи, уже обретшей форму, может возникать разделение этих сил, которое обязывает нас и позволяет нам рассматривать создание языка с этих двух различных сторон» [Гумбольдт 1984: 98–99] и выделять в нем два конститутивных принципа (внутреннее языковое сознание и звук), две области членения, две формы (внутреннюю, интеллектуальную, и внешнюю, звуковую), две техники (интеллектуальную и фонетическую).

5.1. ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬ И СИМВОЛИЧНОСТЬ.

ДВЕ ОБЛАСТИ ЧЛЕНЕНИЯ

Самобытнейшим существом языка Гумбольдт считает его членораздельность и символичность [Там же: 160]. Первичным и определяющим из этих двух свойств является, по-видимому, членораздельность [Там же: 127–128].

Членораздельность языка обусловлена его единством с мышлением: «понятие членения есть логическая функция языка, в той же мере, в какой оно является функцией самого мышления» [Гумбольдт 1985: 414]. Подобно тому как «всякое мышление состоит в разделении и соединении» [Гумбольдт 1984: 127], так и язык «вечно разъединяет и связывает» [Там же: 236]. Зависимость членораздельности от мышления подтверждается тем, что «речь, пока она не исчерпает мысль, образует в душе говорящего связное целое, в котором только путем рефлексии можно выделить отдельные части. ...Связывание того, что необходимо разделять, есть общее свойство неразвитого мышления и речи; от ребенка и от дикаря скорее можно услышать выражения, чем слова» [Гумбольдт 1985: 408].

Отсюда ясно, что членораздельность — это не только свойство звука. Гумбольдт неоднократно подчеркивает значимость членения как господствующего принципа для языка в целом. «...Сущность языка заключена в членораздельности, без которой язык просто был бы невозможен, а идея членения пронизывает его целиком» [Там же: 410]. «...В нем нет ничего, что не могло бы быть частью либо целым, и эффективность его непрерывного действия зависит от легкости, точности

и согласованности его делений и сочетаний» [Гумбольдт 1985: 414]. «...Это в свою очередь предполагает наличие простых и далее нечленимых элементов» [Гумбольдт 1984: 315].

Раскрывая механизмы членораздельности, Гумбольдт различает в языке два взаимодействующих конститутивных принципа. Это, с одной стороны, внутреннее языковое сознание, т. е. «совокупность духовных способностей относительно к образованию и употреблению языка», а с другой — звук [Там же: 227].

«Сила духа воздействует на артикуляцию и заставляет органы речи воспроизводить звуки в соответствии с формами своей деятельности. Общая особенность взаимодействия формы деятельности духа и артикуляции заключается в том, что сфера действия как того, так и другого делится на элементы» [Там же: 85]. В результате каждая из них располагает обозримым количеством конечных элементов, способных к бесконечному соединению [Там же: 308]. «...Простое объединение этих элементов образует совокупности, которые в свою очередь стремятся превратиться в части новых совокупностей» [Там же: 85]. Иначе говоря, в обеих областях (сферах) членораздельности действует иерархический принцип, вследствие чего «своеобразие природы отдельного выявляется всегда через отношение его составляющих. Человек наделен способностью как разграничивать эти области — духовно — посредством рефлексии, физически — произносительным членением (Artikulation), так и вновь воссоединять их части: духовно — синтезом рассудка, физически — ударением, посредством которого слоги соединяются в слова, а из слов составляется речь. ...Их обоюдное взаимопроникновение может осуществляться лишь одной и той же силой, и ее направлять может только рассудок» [Там же: 309]. Этой силой является внутреннее языковое сознание, которое придает всему устройству языка изначальный импульс [Там же: 227].

Соответственно и звук приспосабливается к потребностям языкового сознания [Там же: 127–128]. Способность человека в отличие от животных произносить членораздельные звуки характеризует его как мыслящую сущность [Там же: 76] и не может быть объяснена чисто физически [Там же: 309]. «Хотя членораздельный звук производится телесно и инстинктивно, всё же сущность его коренится только во внутренней духовной склонности к языку, а речевые органы обладают лишь способностью следовать ее потребностям». Поэтому *невозможно определить членораздельный звук только по его физическим признакам* [Гумбольдт 1985: 410]. Материальная сторона звука вообще не столь существенна: так как язык — объект полностью идеальный [Там же: 414], «звук материален ровно настолько, насколько того требует его внешнее восприятие» [Гумбольдт 1984: 85]. Природу и сущность членораздельного звука составляет «свойство непосредственно порождать понятия посредством своего произнесения» [Гумбольдт 1985: 410], «намерение и способность обозначать смысл, причем не смысл вообще, а смысл определенного представления мысленного образа» [Гумбольдт 1984: 84–85], «стремление придать звуку значение» [Там же: 95]. Отсюда определение членораздельности звуков как их *мыслеобразующей способности* [Гумбольдт 1985: 412].

Осуществить процесс артикуляции, то есть «четко расчленив материальную природу языка и выделить отдельные звуки», способна только сила самоосознания [Гумбольдт 1984: 309]. Она же зависит от того, как выражены в языке грамматические отношения. По тонкому наблюдению Гумбольдта, «словоизменение, на котором основывается сущность грамматических форм, неизбежно ведет к различению отдельных артикуляций и вниманию к ним. Когда язык соединяет друг с другом только значимые звуки (т. е. знаменательные элементы. — Л. З.) или, во всяком случае, не умеет прочно сплавлять грамматические обозначения со словами, он имеет дело только со звуковым целым и не стремится к различению отдельной артикуляции так, как это происходит в том случае, когда одно и то же слово выступает в различных словоизменительных формах. Поскольку в результате утонченности и живости языкового сознания возникают прочные грамматические формы, то они способствуют распознаванию системы звуков» [Гумбольдт 1985: 414]¹. «Пока на ранних ступенях развития язык прибегает к описанию и слово еще не является модифицированным в своей простоте, отсутствует легкость членения на элементы» [Гумбольдт 1984: 316].

Но этим значение общих отношений не ограничивается, так как именно они, особенно в языках с более развитой артикуляционной способностью и разветвленной звуковой системой, способствуют развитию артикуляционного сознания. Под его влиянием наряду со стремлением придать звуку значение появляется потребность различать сходные и отличительные черты понятий путем отбора и классификации звуков. На основе четкого разграничения отношений, с одной стороны, и четкости в оформлении и различении звуков — с другой, устанавливается истинная связь между звуком и значением, о чем свидетельствует устойчивая аналогия между понятиями общих отношений и звуками [Там же: 94–95]. Таким образом укрепляется и приобретает единственно верную направленность деятельность языкотворческой силы [Там же: 96].

В целом взаимодействие в языке двух областей членения проявляется тройко.

1. Их взаимодействие обуславливает членение каждой из указанных областей и их единство, которое достигается *через членение* [Там же: 317].

2. В силу единства обеих сфер область внутреннего языкового сознания влияет на звуковую. «Чем больше гений языка требует яркости и отчетливости от изображения чувственных предметов, чистоты и бестелесной определенности очертаний от интеллектуальных понятий, тем четче (ибо то, что мы разобщаем своей рефлексией, в недрах души пребывает в нераздельном единстве) вырисовывается членораздельность звуков, тем полновзвучней слоги выстраиваются в слова» [Там же: 104].

3. «...Звук в свою очередь меняет установки и поведение внутреннего языкового сознания». «...Приобретая артикулированный характер благодаря проникновению в него языкового сознания и тем самым нераздельно объединяя в себе находящиеся

¹ Не случайно звукофонемный строй флективных языков не вызывает никаких сомнений: флективное словоизменение способствует вычленению фонем [Зубкова 1999/2003].

в постоянном взаимодействии интеллектуальную и чувственную силу, звук превращается в наделенное постоянной символизирующей функцией истинное и даже, по видимому, самостоятельное творческое начало языка» [Гумбольдт 1984: 227]. Следовательно, творческим началом в языке может быть не только интенция рассудка, но и звуковая артикуляция [Там же: 123].

В результате действия артикуляционного сознания развивается **символичность языка**. Она выражается прежде всего в том, что «происходит расслоение звуков в соответствии с их значимостью, благодаря которому даже один конкретный звук может стать носителем формального отношения» [Там же: 124]. Так, семитские языки, характеризующиеся «изошреннейшей символизацией» [Там же: 160], «демонстрируют наибольшую тонкость артикуляционного чувства в символической модификации гласных» [Там же: 125]. Звуки чисто символические являются прямым созданием артикуляционного сознания. Действием последнего обусловлено изменение звуков для изменения смысла. При употреблении в качестве флексий звуков, имевших самостоятельный смысл, «их исконное предметное значение становится тогда символическим, самый звук, подчинившись главному понятию, часто стирается до односложного элемента» [Там же: 130].

Символичность языка отчетливо обнаруживается также в слове, ибо оно обнаруживается при участии артикуляционного сознания, подыскивающего звуки для обозначения соответствующего понятия [Там же: 103]. Благодаря взаимодействию в слове внутреннего языкового сознания и звука «последний приспосабливается к потребностям первого, и трактовка звукового единства тем самым превращается в символ искомого определенного понятийного единства. Последнее, будучи таким образом воплощено в звуке, пронизывает всю речь в качестве одухотворяющего принципа, и звуковая форма, искусно образованная мелодически и ритмически, в свою очередь оказывает обратное воздействие на дух, укрепляя в нем связь организующих сил разума с творческой фантазией» [Там же: 127–128].

5.2. ФОРМА ЯЗЫКА

Единство и целостность формы. Учение Гумбольдта о форме языка заложило основы современного системного подхода к языку. В современной науке под системой понимается выполняющая известные функции целостная совокупность взаимосвязанных определенными отношениями элементов. Гумбольдт в своем учении о форме сосредоточивает внимание главным образом на функциях языка как деятельности (энергей) и его целостности.

Такое ограничение продиктовано прежде всего неприятием традиционного понимания языка как продукта, которое ввиду того, что типы отношений, организующих языковые элементы, еще не были изучены, приводило к представлению о языке как беспорядочном хаосе разрозненных элементов (слов, правил, аналогий, исключений).

Гумбольдт же убежден, что «никакой язык не был бы вообще мыслим без единства формы» [Гумбольдт 1984: 246]. Он стремится «отыскать общий источник отдельных особенностей и соединить разрозненные черты в единое органическое целое», «увязать все частности», «познать сущность живой речи и составить верную картину живого языка», сосредоточив внимание на истинном и первичном [Там же: 70], а именно — на тесной связи языка с внутренней, духовной деятельностью, в первую очередь интеллектуальной, с которой язык составляет единое целое [Там же: 75].

Постоянно возобновляясь и повторяясь, указанная духовная деятельность — в той мере, в какой она производится одной и той же духовной силой, использует уже готовый унаследованный от предшествующих поколений материал и осуществляется постоянным и однородным способом, — наряду с преходящим моментом содержит и нечто постоянное, в том числе и самое индивидуальное — духовную настроенность говорящих на данном языке. «Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка» [Там же: 71].

Такое понимание формы, основывающееся на деятельностной природе и функциональной предназначенности языка, не сводимо к грамматической форме и выходит далеко за ее рамки. Форма охватывает весь строй языка в его единстве. В нее входит: 1) образование корней и основ; 2) словообразование, включающее «применение известных общих логических категорий действия, воздействуемого, субстанции, свойства и т. д. к корням и основам»; 3) правила словосочетания [Там же: 72]. Подобная трактовка формы, давая возможность вычленить уровни структуры, делает излишним разделение на лексику и грамматику.

Форма в понимании Гумбольдта отнюдь не исключает отдельные элементы языка. Напротив, «форма языка есть синтез отдельных, в противоположность ей рассматриваемых как материя, элементов языка в их духовном единстве» [Там же: 73].

Языковое сознание народа содержит «сходное с инстинктом предчувствие всей системы в целом, на которую опирается язык в данной индивидуальной форме» [Там же: 88], и образование каждой части системы происходит с учетом смутно ощущаемого целого [Там же: 151]. В результате форма воплощает в себе индивидуальность языка и народа, на нем говорящего, в ее единоподчиненной целостности. Благодаря этому «характерная форма языка отражается в его мельчайших элементах, и каждый из них тем или иным и не всегда явным образом определяется языковой формой» [Там же: 71]. Все элементы языка более или менее заметно связаны между собой и каждый — со всей системой в целом [Там же: 88].

«...Языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно всё, благодаря чему он становится единым целым» [Там же: 308]. К признакам целостности относятся, в частности, следующие.

1. Единство формальной и содержательной стороны: формальная сторона языка «в сочетании с содержательной крайне важна, но сама по себе почти безразлична» [Гумбольдт 1984: 183].

2. Завершенное единство формы, когда «одно проявляется через другое, общее в частном» [Там же: 308], в том числе благодаря наличию в языке не только отдельных элементов, но и законов, направлений, тенденций, а также таких свойств, которые проходят через все отдельные компоненты, придавая им самим большую определенность [Там же: 109].

3. Общая соразмерность речеобразования [Гумбольдт 1985: 402], соразмерность строения элементов [Гумбольдт 1984: 307].

4. Иерархия бесконечного множества взаимосвязанных отношений [Там же: 314].

5. Соотносительность каждого элемента с другими и с языковым целым. «В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого» [Там же: 313–314]. Это касается и категорий, и отдельных слов, и их грамматических форм. Значение отдельной формы определяется из ее соотношения с другими. Так же как качества и достоинства вещи «сами по себе имеют ценность только в соотношении с другими» [Гумбольдт 1985: 337], так и, например, та или иная форма спряжения, «просто в силу того, что занимает определенное место в схеме спряжения, сохраняет свое значение даже после того, как время стирает как раз те ее звуки, которые несут это значение» [Гумбольдт 1984: 201]. Как видим, Гумбольдт широко пользуется тем понятием, которое позднее было обозначено Ф. де Соссюром как значимость.

Многослойность формы. Форма конкретного национального языка многослойна и представляет собой синтез индивидуальной формы, формы соответствующей семье языков и общей формы всех языков. Если же учитывать половые, возрастные, сословные, профессиональные и, наконец, индивидуальные языковые различия между представителями одного народа [Гумбольдт 1984: 165; 1985: 363], то, очевидно, могут быть выделены и другие слои языковой формы, имеющие меньшую степень обобщенности, чем национальная.

Индивидуальная «форма языка национальна» [Гумбольдт 1984: 65] и характеризует тот специфический путь, которым идет к выражению мысли данный народ [Там же: 73].

«Формы нескольких языков могут совпасть в какой-то еще более общей форме». В частности, «форма отдельных генетически родственных языков должна находиться в соответствии с *формой всей семьи языков*» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 74] и отвечать таким образом «духу данной языковой семьи» [Там же: 97]. Всей семье присуще своеобразие внешней языковой формы, а разнообразие внутри этого единства создается прежде всего характерами отдельных наций [Там же: 192].

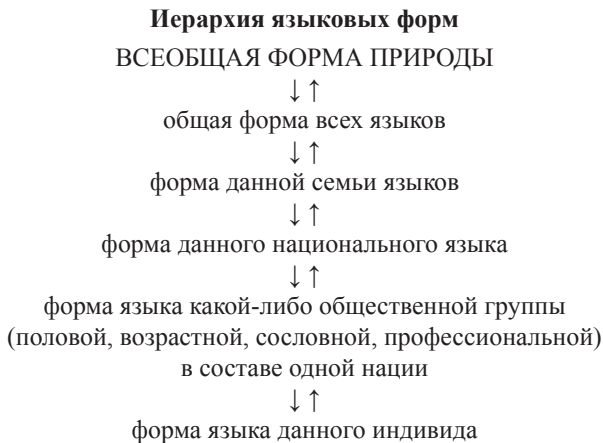
«Поскольку врожденная способность к языку является общей для всех людей и каждый должен носить в себе ключ к пониманию всех языков, то отсюда

следует, что *форма всех языков в своих существенных чертах должна быть одинаковой* (выделено мною. — Л. 3.) и всегда направленной к достижению общей цели» [Гумбольдт 1984: 227]. «...Каждый язык есть отзвук общей природы человека» [Там же: 320], и «всеобщий человеческий язык проявляется в отдельных языках различных наций» [Гумбольдт 1985: 382]. Соответственно, «к одной форме восходят, по существу, формы всех языков, если только идет речь о самых общих чертах: о связях и отношениях представлений, необходимых для обозначения понятий и для построения речи, о сходстве органов речи, которые по своей природе могут производить лишь определенное число членораздельных звуков, наконец, об отношениях, существующих между отдельными согласными и гласными звуками, с одной стороны, и известными чувственными представлениями — с другой (вследствие чего в разных языках возникает тождество обозначений, не имеющее никакого отношения к генетическим связям)» [Гумбольдт 1984: 74].

Ввиду указанной многослойности языковой формы «в языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное с всеобщим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на одном языке, а каждый человек обладает своим языком» [Там же: 74]. Последнее обусловлено не только индивидуальностью мировосприятия. В строе периодов и в речесложении также многое зависит от говорящего или пишущего [Там же: 106].

Однако и всеобщая языковая форма — еще не предел обобщения. Язык — посредник между духом и природой, человеком и миром, и для него небезразлично, что между человеком и вселенной, «между основными формами, исходно господствующими в сфере духа, и основными формами внешнего мира» существует соответствие [Там же: 305, 320]. Закономерности языкового строя сродни закономерностям природы, и язык приближает человека «к пониманию запечатленной в природе всеобщей формы» [Там же: 81].

Таким образом, выстраивается следующий иерархический ряд форм:



За этой иерархией форм стоит единство человека и общества, человека и природы. «Отдельный человек всегда связан с целым — с целым своего народа, расы, к которой он принадлежит, всего человеческого рода» [Гумбольдт 1984: 63]. «Поистине предощущение цельности и стремление к ней возникают в нем вместе с чувством индивидуальности и усиливаются в той же степени, в какой обостряется последнее, — ведь каждая личность несет в себе всю человеческую природу, только избравшую какой-то частный путь развития». В свою очередь, и любой народ «можно и нужно рассматривать как человеческую индивидуальность, направившуюся по внутренне самобытному духовному пути» [Там же: 64].

Эта связь человека с народом, расой и всем человеческим родом осуществляется в первую очередь с помощью языка. Язык по существу — «собственность всего человеческого рода», «именно в языке каждый индивид всего яснее ощущает себя простым придатком целого человеческого рода». Язык связывает индивида со своим народом и со всем человечеством: «Язык принадлежит мне, ибо каким я его вызываю к жизни, таким он и становится для меня; а поскольку весь он прочно укоренился в речи наших современников и в речи прошлых поколений — в той мере, в какой он непрерывно передавался от одного поколения к другому, — постольку сам же язык накладывает на меня при этом ограничение. Но то, что в нем ограничивает и определяет меня, пришло к нему от человеческой, интимно близкой мне природы, и потому чужеродное в языке чуждо только моей преходящей, индивидуальной, но не моей изначальной природе» [Там же: 83].

Форма и материя. Внутренняя и внешняя форма. Понятие формы Гумбольдт рассматривает в диалектическом единстве с понятием материи. Это единство раскрывается, во-первых, через феномен оборачиваемости их ролей, а во-вторых — через понятие оформленной материи.

Оборачиваемость ролей формы и материи означает: «то, что в одном отношении считается материей, в другом отношении оказывается формой» [Там же: 72]. Данное явление обнаруживается и во взаимодействии языка с духом и мышлением, и в самом языке. «Дух, которым мы постигаем, сравниваем, упорядочиваем, рассматриваем, вчуже пронизывает все внутреннее творчество языка как некую окружающую его инаковость, и язык, представляющий в сущности форму его мышления, становится для него как бы заново материей, заново же перерабатываемой им в идеи, стимулирующей и производящей новые идеи» (выделено мною. — Л. 3.) [Гумбольдт 1985: 365]. Таким образом, будучи и формой мышления, и его материей, язык в качестве *оформленной материи* сам становится генератором идей, содержания, т. е. «выступает как своеобразная форма создания и сообщения идей» [Там же: 305]. Уточняющее «как бы» применительно к языковой материи не случайно. Согласно Гумбольдту, «в абсолютном смысле в языке не может быть никакой не-оформленной материи» [Гумбольдт 1984: 72–73]. Поэтому, «чтобы отыскать материю, соответствующую языковой форме, необходимо выйти *за пределы* (выделено мною. — Л. 3.) языка» [Там же: 72]. «Действительная материя языка — это, с одной стороны, звук вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений

и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Гумбольдт 1984: 73].

Образование элементов языка осуществляется путем придания формы мыслительной и звуковой материи. В частности, звук становится членораздельным и приобретает статус языковой единицы только благодаря оформлению. Так как вне формы ни звуки, ни идеи не могут стать элементами языка, то и сама сущность языка можно видеть в *форме* звуков и идей и в их взаимодействии [Там же: 109]. В соответствии с видом преобразуемой материи Гумбольдтом выделяются две формы — внутренняя (интеллектуальная) и внешняя (звуковая).

Внутренняя форма языка, характеризующая его как форму мышления и средство формирования мира представлений [Там же: 316], может быть интерпретирована как свойственный данному языку *способ организации мыслительной материи*, «способ представления», «осмысления», «модификации» ее элементов [Гумбольдт 1984: 103, 149, 317; 1985: 396], «метод разделения поля мышления» [Гумбольдт 1985: 364]. Преобразованная в соответствии с самобытным индивидуальным способом представления данного народа, мыслительная материя составляет интеллектуальную (внутреннюю, содержательную) сферу (сторону, область) языка, которая, как бы встраиваясь во внешнюю форму, получает материальное выражение. *По отношению к мыслительному содержанию интеллектуальная сфера языка есть форма, по отношению к звуковой его стороне — содержание.*

Присущий внутренней форме данного языка самобытный способ представления обнаруживается на всех стадиях образования языка: в корнях, словах, в строе предложения. В соответствии со стадиями образования формы и во внутренней, интеллектуальной, сфере языка, и в его внешней, звуковой, области главнейшими моментами являются: 1) обозначение понятий индивидуальных предметов; 2) обозначение общих отношений, применяемых к целой массе отдельных предметов; 3) законы построения речи [Гумбольдт 1984: 103].

Распространение понятия внутренней формы на весь язык, а не только на лексику и стилистику, как у Гарриса [Грамматические концепции... 1985: 26–27], имеет принципиальное значение, ибо знаменует собой последовательный отход Гумбольдта от логико-грамматической традиции и более глубокое постижение сущности языка. Невозможность сведения внутренней формы языка к внутренней форме слова доказывается самим пониманием последней. Привносимые в значение слова «обертонны смысла» зависят, по Гумбольдту, не только от того, через какое именно свойство осмысливается обозначаемый предмет [Гумбольдт 1984: 166], с какой точки зрения и каким путем он представляется [Там же: 305], какое впечатление прибавляет слово к понятию от себя [Там же: 318]. Они проистекают также из единства словарного запаса языка [Там же: 112], а именно — из связи данного слова с родственными и другими сходными по значению словами [Там же: 318], из аналогии с прочими элементами языка [Там же: 306], в частности благодаря категоризации понятий в его внутреннем строе [Там же: 118–119]. Наконец, то, «в каком виде понятия представляются уму», зависит от того, как соотносятся

в данном языке части, предназначенные для обозначения действительных предметов мысли и чувства, и части, предназначенные для связи, для грамматической техники [Гумбольдт 1985: 380]. Таким образом, слово предстает в своем значении как элемент целостной системы.

Внутренний строй языка как целого едва ли не в первую очередь определяется тем, *насколько разграничены в нем обозначения понятий индивидуальных предметов*, с одной стороны, и *общих отношений* — с другой. (Именно этим обусловлена мера грамматичности или лексичности языка.) Не менее существенно то, *как производится логическое упорядочение понятий*. В этой связи к важнейшим составляющим внутренней формы языка Гумбольдт относит грамматические видения, т. е. способ представления грамматических форм в соответствии с их понятием. Указав, что «в области грамматики языки различаются: а) прежде всего, по способу представления грамматических форм в соответствии с их понятием; б) затем, по техническим способам их обозначения; в) наконец, по физическим звукам, служащим для их обозначения», Гумбольдт особо подчеркивает значение грамматических видений: «Посредством второго и третьего из этих пунктов, прежде всего последнего, язык обретает свою грамматическую индивидуальность, и сходство нескольких языков в этом пункте — самый надежный признак их родства. Но первый пункт определяет языковой организм и является исключительно важным, будучи не только главным фактором, оказывающим влияние на дух и мировоззрение нации, но также самым надежным пробным камнем того языкового сознания, которое в каждом языке должно рассматриваться как основной творческий и преобразующий принцип» [Там же: 396].

Примером того, как положенное в основу грамматической формы понятие влияет на ее статус и сферу действия в организме языка, служит различная трактовка двойственного числа. Она может основываться на различии «я» (говорящего лица) и «ты» (лица, к которому обращена речь), на существовании в природе парных объектов (глаз, ушей и т. д.), на общем понятии двоичности. Соответственно расходитесь выражение двойственного числа во внешней форме языка. В первом случае оно закреплено за местоимением, во втором не выходит за пределы имени, а в третьем «присуще всем частям речи, которые могут его выражать» [Там же: 392].

Существенную роль во внутреннем строе языка Гумбольдт отводит также тому, *каким образом объективный принцип обозначения сочетается с субъективным принципом логического подразделения*, как представляется родовое понятие — отдельно от индивидуального понятия или слитно. Этим определяется господство агглютинации или флексии во внешней форме языка [Гумбольдт 1984: 118–119].

С образованием грамматических форм, в свою очередь, очень тесно связан *так или иначе градуированный ход идей*, способ синтаксического построения целых мыслительных рядов [Там же: 105–106].

Всё это говорит о том, что в соответствии с индивидуальным способом мышления и восприятия и вследствие преобразующего действия внутренней формы

интеллектуальная сфера языка не тождественна универсально-логической, языковое содержание не равно мыслительному. «Область представлений совершенно по-иному членится холодным аналитическим рассудком, нежели творческой фантазией создателей языка» [Гумбольдт 1985: 364]. Это расхождение обусловлено уже тем, что в процессе языкового осмысления мира участвуют все душевные силы [Гумбольдт 1984: 101, 104] и потому интеллектуальная сфера языка выходит за рамки чисто идеальной области. Но и последняя не совпадает с логической структурой [Там же: 101], так что логические единицы не эквивалентны языковым и «понятия, возводимые к простому логическому анализу способностей духа и восприятия», отличаются от их многообразных обозначений в конкретных языках. По заключению Гумбольдта, «можно представить все те слова, которыми ряд языков пытается обозначить одно и то же понятие, как пограничные знаки одного и того же пространства в области мышления, которые, однако, никогда не покрывают друг друга целиком, но отчасти переходят и в другое пространство и, очевидно, все снова освобождают часть его, чтобы вместе отграничиться от некоторого другого языка» [Гумбольдт 1985: 364–365].

Внешняя форма языка включает не одну только систему звуков, но и его грамматический и лексический строй [Гумбольдт 1984: 163].

Членораздельный звук — первый и самый необходимый элемент языка [Там же: 84] уже потому, что «языковые знаки — это обязательно звуки» [Там же: 302]. Звуковую природу языка Гумбольдт задолго до Соссюра связал с фактором времени (и, соответственно, с линейным характером языка), указав на преимущества слухового восприятия перед зрительным: «Очертания покоящихся друг рядом с другом вещей легко сливаются и для воображения, и для глаза. Напротив, течение времени рассекается, как границей, настоящим моментом на прошлое и будущее. Никакое слияние невозможно между сущим и уже не сущим. ...Из всех изменений во времени самые разительные производит голос» [Там же: 301–302].

Характеристика членораздельного звука в учении Гумбольдта в полной мере удовлетворяет условиям «всеохватывающего рассмотрения» [Гумбольдт 1985: 366] и требованиям системного подхода. Учтены все аспекты системы: элементы, их количество, отношения между ними, функции, целостность системы. Критерий целостности может быть определен как ведущий.

Усматривая сущность членораздельного звука в мыслеобразующей способности [Там же: 412], в намерении и способности обозначать смысл [Гумбольдт 1984: 84], Гумбольдт связывает тем самым друг с другом оба конститутивных принципа языка — внутреннее языковое сознание и звук.

«Каждый отдельный звук образуется в соотношении с другими звуками» [Там же: 86] и звуковой системой в целом [Там же: 87]. Поэтому и свойства звука характеризуют его как «интегрирующую часть целого» [Гумбольдт 1985: 366]. К ним относятся, во-первых, «целостность, позволяющая четко отличать его от других», и, во-вторых, «способность вступать в определенные отношения со всеми остальными мыслимыми звуками». Именно как «часть системы» звук «обретает свойство

занимать общее положение с одними звуками и противостоять другим» [Гумбольдт 1984: 86]. В результате звуковая система включает наряду с классами элементов «множества способов, посредством которых членораздельные звуки группируются по степени родства или противопоставляются друг другу, не обладая таким родством, не говоря уже о противоположности и родстве всех тех отношений, в которые могут вступать звуки» [Там же: 87]. Отношения же между членораздельными звуками строятся в соответствии с потребностями данной языковой системы [Там же: 86].

Языковая система, соразмерная во всех своих элементах с языковым сознанием народа [Там же: 87], должна отвечать ряду требований. К ним относятся «строгое ограничение числа звуков, необходимых для построения речи, и правильное равновесие между ними», в частности равномерное распределение звуков внутри системы по классам, так «чтобы каждый членораздельный звук, характеризующийся своим местом образования, содержался бы во всех классах, то есть сочетался бы со всеми звуковыми модификациями, различаемыми в языках человеческим слухом» [Там же: 88]. Наконец, ввиду согласованности языковой способности, мышления и органов речи [Там же: 85] «достоинства языка с точки зрения его звуковой системы, помимо точного устройства органов речи и слуха и помимо стремления придать звуку наибольшее разнообразие и совершенство, особенным образом основаны на отношении звука и значения. ...*Кажется совершенно очевидным, что существует связь между звуком и его значением... ...Определенные звуки связаны с определенными понятиями*» (выделено мною. — Л. 3.), хотя большей частью о характере связи мы не имеем никакого представления» [Там же: 92]. И тем не менее эта связь не случайна. Она обусловлена тем, что «важнейшей задачей языка... является установление истинной связи звука и значения, с тем чтобы слух, воспринимающий речь, извлекал из звука только его значение и чтобы в связи с этим звук был определен непосредственно для значения, и только для него» [Там же: 96]. В этой связи проявляется взаимодействие и определенная гармония двух законов, двух начал — природного, чисто органического, и духовного. Данное взаимодействие также обнаруживается на всех трех стадиях образования языка: в корнях, словах и дальнейших их преобразованиях [Там же: 89–90].

Слово является подлинным предметом языка [Там же: 331] и «его самой важной частью» [Там же: 317]. «Словом язык завершает свое созидание. Для предложения и речи язык устанавливает только регулирующие схемы, предоставляя их индивидуальное оформление произволу говорящего» [Там же: 90]. Таким образом, следуя Гумбольдту, схема предложения должна быть определена как элемент языка, а предложение в его индивидуальном оформлении — как элемент речи, что вполне согласуется с представлениями современной лингвистики.

«...В слове всегда наличествует двоякое единство — звука и понятия» [Там же]. При обозначении понятий связь их со звуком может быть выражена трояко [Там же: 93–94]. Во-первых, живописным способом — путем подражания нечленораздельному звуку, издаваемому предметом. Этот способ постепенно утрачивается

в ходе развития и совершенствования языка, а именно — по мере развития членораздельности. Во-вторых, символическим способом — на основе некоего внутреннего подобия обозначающих звуков тем впечатлениям, которые производят предметы. В-третьих, аналогическим способом, когда «словам со сходными значениями присуще также сходство звуков» [Гумбольдт 1984: 94], однако аналогия понятий и звуков не зависит от характера последних.

Два последних способа используются также для обозначения отношений, и тем последовательнее, чем сильнее и чище артикуляционное сознание [Там же: 94–96].

Взаимоотношения звуковой и внутренней формы. Синтез. «Подлинное и полное творение звуковой формы могло относиться только к первым шагам изобретения языка». Позднее «языки под более четким и определенным влиянием внутренней формы приобретают способность выражать всё более многообразные и четко разграниченные оттенки и используют для этого имеющуюся звуковую систему, расширяя или совершенствуя ее» [Там же: 96], в частности за счет аналогических образований. Сложившиеся звуковые формы либо притягивают к себе новые, либо сами начинают употребляться для обозначения новых идей, и в результате благодаря получившей оформлению материальности звуковая форма воздействует на внутреннюю [Там же: 97–98].

Характер звуковой формы не безразличен для достижения внутренних целей языка. Если, как в китайском языке, отсутствует звуковое выражение связей различных идей, это ограничивает точность различения самих связей [Там же: 98].

С другой стороны, как показывает пример семитских языков, многообразие звуков и развитое артикуляционное сознание, искусная и рациональная звуковая форма сами по себе не гарантируют еще ясного и четкого различения необходимых и основных грамматических понятий [Там же: 99].

С точки зрения используемой техники языка могут как превосходить потребности достижения внутренних целей языка, так и отставать от этих потребностей [Там же: 100].

Внутренняя и внешняя форма языка и их элементы, несмотря на относительную автономность, выявляющуюся по мере накопления материала, образуют неразрывное единство и, в сущности, немислимы одна без другой.

Во-первых, становление и вычленение элементов обеих форм возможно только в синтетической деятельности на основе согласованности между мыслью и звуком [Там же: 75]. Как звук становится членораздельным вследствие способности обозначать смысл, так и представление становится понятием с помощью звуковой формы.

Во-вторых, при образовании языка в целом и отдельных его элементов (при построении предложений, при словообразовании, при любом сочетании понятия со звуком) «синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых» [Там же: 107]. «Так, отразившись в человеке, мир становится языком, который, встав между обоими, связывает мир с человеком

и позволяет человеку плодотворно воздействовать на мир» [Гумбольдт 1984: 198]. Так «понятие и звук, будучи связаны друг с другом неповторимо конкретным образом соответственно истинной природе каждого, выступают в качестве слова и речи, и тем самым между внешним миром и духом создается нечто, отличное от них обоих» [Там же: 197].

Таким образом, синтез придает языку завершенность и создает его индивидуальную форму. Ее целостность проистекает из единства членораздельности и синтеза. Совершенство языка определяется по степени членораздельности и мощи синтеза, в частности по тому, в какой мере разграничены обозначения отдельных предметов и общих отношений, или, иначе, выражения значений и отношений, и насколько они слиты. И то и другое обусловлено потребностями разделяющей и соединяющей мысли.

6. ПРИРОДА МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ РАЗЛИЧИЙ

Поскольку языки во всем разнообразии их строения являются необходимым основанием для развития человеческого духа [Гумбольдт 1984: 108] и условием познания истины, Гумбольдт придает различиям между языками всемирно-историческое значение [Гумбольдт 1985: 375–376].

В логико-грамматическом направлении различия между языками усматривались главным образом в звуковой стороне, тогда как содержательная считалась в основе своей идентичной. Гумбольдт также полагает, что звуковая, а точнее — внешняя, форма представляет собой «подлинно конститутивное и ведущее начало различия языков» [Гумбольдт 1984: 75], хотя собственные законы артикулированного звука и навыки, основанные частью на легкости, частью на благозвучии произношения, вносят и некоторое единообразие [Там же: 228]. (Как видно, Гумбольдт не исключает фонетических тенденций универсального порядка.) Однако Гумбольдт не принимает определение языка как номенклатуры и потому не может удовлетвориться господствовавшим в предшествующей традиции сведением межъязыковых различий к звуковым и знаковым. Он считает необходимым «не останавливаться на низшей ступени объяснения языковых различий, а подниматься до высшей и конечной». Соответственно, «подлинную определяющую основу для различий языков» он видит в *духовной силе народа* [Там же: 68].

Характер языка и характер народа. Будучи порождением духа, «каждый язык целокупно представляет человеческий дух, но так как на каждом языке говорит определенная нация и каждый из них обладает определенным характером, то этот дух представлен лишь с одной стороны» [Гумбольдт 1985: 364]. Язык получает характер «в соответствии с индивидуальной неповторимостью того способа, каким дух выражает себя через язык» [Гумбольдт 1984: 162]. С самого начала образования языка на него воздействуют, придавая ему окраску и характер, образ мысли и мироощущение народа [Там же: 163], система его мировосприятия. «Характер — естественное следствие непрекращающегося воздействия, которое

оказывает на язык духовное своеобразие нации» [Гумбольдт 1984: 167]. «...Строение языков человеческого рода различно потому, что различными являются духовные особенности наций» [Там же: 68], и в том числе их характер, т. е. «вся совокупность внутреннего опыта, чувственности и душевного настроения, пронизывающая своими лучами внешний мир и связанная с ним через внешний опыт и ощущение» [Там же: 55].

Раскрывая природу индивидуальных и групповых характеров, Гумбольдт выделяет 3 класса отличительных черт, в совокупности образующих характер. «Первая отличительная черта... — это различие в предметах занятий людей, в продуктах их труда, в способе удовлетворения их потребностей и в образе их жизни. С этими очевидными вещами прежде всего связано представление о своеобразии как отдельных индивидуумов, так и целых наций». Ко второму классу различительных признаков Гумбольдт относит «все внешние особенности телесного строения и поведения: фигуру, цвет лица и волос, физиономию, язык, походку и мимику вообще» [Гумбольдт 1985: 335]. Третий класс составляют собственно внутренние различия. Они обнаруживаются в степени проявления, соотношении и движении таких свойственных всему человеческому роду сил, как фантазия, рассудок, чувства, склонности, страсти [Там же: 336]. Особое значение Гумбольдт придает второму классу различий, в который входит и язык. Этот класс «более приближает нас к самому человеку, чем признаки первого класса», и дает более верную картину, чем внутренние различия [Там же: 335]. «Каждый язык вбирает в себя нечто от конкретного своеобразия своей нации и в свою очередь действует на нее в том же направлении» [Гумбольдт 1984: 166]. Язык составляет, таким образом, основу национальной самобытности и самого понятия нации [Там же: 166–167]. Благодаря языку национальные различия проникают в сознание, и по языку «легче узнать характер нации, чем по ее нравам, обычаям и деяниям» [Там же: 167].

Взаимосвязь между характером языка и характером народа не означает их тождества, и Гумбольдт возражает против того, чтобы приписывать всё, что относится к характеру языка, характеру нации [Там же: 326]. «...Хотя в каждом языке отражается дух нации, каждый из них имеет и более раннюю, независимую основу, а его собственная сущность и его внутренняя связь настолько могущественны и определяющи, что его самостоятельность оказывает большее воздействие, чем испытывает таковое, и каждый имеющий значение язык выступает как своеобразная форма создания и сообщения идей» [Гумбольдт 1985: 305]. «В языке мы всегда находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера нации». «...И в самом языке заложено исконное своеобразие и определенные способы воздействия». «...Если оставить в стороне печать национального характера, можно, не смешивая действующие причины, познать в любом языке его собственные, только ему присущие особенности, и полное смысла многообразие» [Там же: 373].

Первоисток характера языка, способ укоренения человека в действительности. В деятельной силе человека Гумбольдт различает, с одной стороны,

качество самой силы как первичный, определяющий фактор, составляющий последний предел исследования при описании характера, а с другой — качество деятельности этой силы (подвижность и быстроту ума, устойчивость восприятий) [Гумбольдт 1984: 171–172].

Качество деятельной силы нации — «преобладание живой наблюдательности или творческой силы вдохновения, склонности к отвлеченным идеям или конкретной практической сметливости» — характеризует способ, «каким человек относится к действительности, воспринимая ее как объект или формируя ее как материю, сливаясь с нею или же независимо от нее прокладывая свои собственные пути. Глубина и своеобразный способ укоренения человека в действительности составляют исходные характеристические черты его индивидуальности», полное всего проявляющиеся в языке [Там же: 172]. Так, древние греки больше склонны к индивидуализации чувственного, внешнего созерцания, а у людей более позднего времени, начиная уже с римлян, преобладает внутренняя восприимчивость. В зависимости от индивидуальной направленности народа на чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление по-разному осваивается и воспроизводится окружающий человека мир [Там же: 177]. В соответствии с преобладающей направленностью сознания, «либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность» [Там же: 173], «просвечивающий в языке характер... модифицирует все языковые обозначения больше в субъективном, чем в объективном, и больше в количественном, чем в качественном, смысле» [Там же: 171].

Поскольку характер возникает только в результате постоянного совокупного воздействия мыслительной и чувственной деятельности [Гумбольдт 1985: 325], то в индивидуальном характере языка выявляется уклад интеллектуального и чувственного восприятия, индивидуальное мировосприятие и миропонимание и таким образом обнаруживается, с одной стороны, мыслящая и чувствующая природа человека, а с другой — посредническая природа языка как связующего звена между миром и человеком, не позволяющая квалифицировать язык чисто утилитарно — как простое средство обмена.

В чем и как проявляется характер языка? Поэзия и проза. В своем наиболее полном и очищенном виде характер языка проявляется в живой речи [Там же: 374]. Но особенно ярко он обнаруживается в противопоставлении поэзии и прозы. По Гумбольдту, «поэзия и проза суть прежде всего пути развития интеллектуальной сферы как таковой». Затем уже это проявления языка, ибо именно исконный уклад языка предопределяет его преимущественное тяготение либо к прозе, либо к поэзии, либо к соразмерному развитию той и другой [Гумбольдт 1984: 183], причем сама «сфера языка обретает полноту только при образовании обеих» [Там же: 190]. Соотношение поэзии и прозы зависит от характера отдельных наций, «однако в пределах одной нации и одного языка оно остается всегда одним и тем же» [Там же: 192].

Поэзия и проза как пути развития интеллектуальной сферы ярко демонстрируют «способ укоренения человека в действительности». «Поэзия схватывает

действительность в ее чувственном облике, воспринимает ее внешние и внутренние проявления, но не вдается в ее истоки и причины, а, скорее, намеренно отбрасывает эту ее бытийную сторону; чувственные явления поэзия сочетает силою фантазии и ею же превращает их в картину художественно-идеального целого. Проза разыскивает в действительности как раз те корни, которыми та внедрена в бытие, и нити, связующие ее с этим последним. Сочетая работою мысли факт с фактом и понятие с понятием, она стремится установить их объективную взаимосвязь в свете единой идеи» [Гумбольдт 1984: 183]. Указанное интеллектуальное различие влечет за собой свои языковые особенности в выборе выражений, грамматических форм и синтаксиса [Там же: 185].

Характер и форма языка. Гумбольдт отделяет характер от внешней формы и противопоставляет его форме [Там же: 167] как «нечто еще более высокое и самобытное» [Там же: 163]. Внешнее выражение характера необязательно. Характер нации может проявиться в языке и при полной или почти полной тождественности внешней формы, а именно только в употреблении слов и словосочетаний [Там же: 178]. Примером могут служить санскрит, греческий и латынь: эти языки «имеют близкородственную и во многих отношениях сходную организацию словообразования и синтаксиса» [Там же: 163]. Формальная их система в целом одинакова: все они принадлежат к флективному типу. Тем не менее духовное своеобразие наций дает себя знать, в частности, 1) в степени отчетливости, регулярности и полноты грамматических понятий и недвусмысленности распределения между ними фонетических форм: большей — в греческом и латыни, меньшей — в санскрите; 2) в мере применения технических средств, о чем говорит, например, широкое использование словосложения в санскрите и ограниченное в латыни [Там же: 180–181].

Обычно же взаимодействие между характером наций и характером языков более отчетливо. Оно пронизывает, в сущности, всю форму, затрагивая все ее аспекты: и внешнюю форму, и внутреннюю, и в особенности их синтез, ибо, по определению, характер языка «заключается в способе соединения мысли со звуками» [Там же: 167].

Характер и внешняя форма языка. Для тех случаев, когда различие в характере находит явное внешнее выражение, весьма показательны разнообразные способы связи элементов в предложении. Они отражают степень ясности и четкости логического упорядочения, с одной стороны, и потребность в чувственном богатстве и гармонии, потребность в звуковом выражении — с другой.

Характер и внутренняя форма языка. Вследствие общности целей и средств к их достижению у всех людей интеллектуальная сфера языка, опирающаяся на самодеятельность духа, более единообразна, нежели звуковая форма [Там же: 101]. Так как «устремления внутреннего языкового сознания всегда остаются направленными на единообразие в языках» (все они стремятся к правильной форме) [Там же: 228], можно даже говорить об общей для всех языков единой внутренней форме [Там же: 242]. И в самом деле, обозначение общих отношений имеет

сходные черты: «общие, подлежащие обозначению отношения между отдельными предметами, равно как и грамматические словоизменения, опираются большей частью на общие формы созерцания и на логическое упорядочение понятий» [Гумбольдт 1984: 103], сводимое к обозримой системе, в которой «остается всего меньше места для индивидуального разнообразия» [Там же: 104].

И все же по ряду причин межъязыковые различия распространяются и на внутреннюю форму.

1) Прежде всего они обусловлены расхождением в степени языкотворческой силы. В случае ее недостаточности обнаруживается *неправильность или несовершенство построения понятий и их комбинаций в чисто идеальной области*, зависящей от рассудочных связей. Так, в санскрите из-за недостаточности силы порождающей языковой способности понятие наклонения осталось неразвитым и недостаточно четко отграничилось от категории времени [Там же: 101–103].

2) Определяющую роль играет различие в характере народа, его направленность на чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление [Там же: 177]. Проявляется это различие многообразно.

а) Ярче всего национальная самобытность, индивидуальный способ представлений народа, его мировосприятие, фантазия и эмоции просвечивают *в образовании понятий при обозначении отдельных предметов внутреннего и внешнего мира* [Там же: 104]. «В конкретном обозначении явно участвуют то фантазия и эмоции, руководимые чувственным созерцанием, то тщательно разграничивающий рассудок, то смело связующий дух» [Там же: 105]. В результате при обозначении отдельных предметов внутреннего мира один народ вкладывает в язык больше объективной реальности, другой — больше субъективности (ср. греческий с немецким) [Там же: 104, 176].

Указанное различие имеет место даже при обозначении конкретных материальных предметов и даже у носителей одного языка. В зависимости от точки зрения на предмет, от того, как, через какие свойства, с какой стороны был осмыслен предмет, «представление, пробуждаемое словом у разных людей, несет на себе печать индивидуального своеобразия»: «каждый вкладывает в слово свое представление — более чувственное или более рассудочное, более живое, образное или более близкое к мертвому обозначению и т. д.» [Там же: 166].

Если даже в одном языке «при самом конкретном употреблении слова в качестве простого материального знака своего понятия оно едва ли вызовет одинаковый образ в представлении разных индивидов» [Там же: 181], то еще большее разнообразие точек зрения на способ обозначения выявляется при сравнении разных языков: «многосторонность предметов в сочетании со множественностью механизмов понимания делают число этих точек зрения неопределенным» [Гумбольдт 1985: 378]. В результате «выражения для чувственно воспринимаемых предметов в той мере одинаково значимы, в какой в них мыслится один и тот же предмет» [Гумбольдт 1984: 320]. Но ввиду различий в способе представления «слова разных

языков, даже обозначая в целом одинаковые понятия, все-таки никогда не бывают в подлинном смысле синонимами» [Гумбольдт 1984: 181].

Особенно разнообразна смысловая наполненность слов, обозначающих интеллектуальные понятия. «Здесь редкое слово выражает то же понятие, что и слово в другом языке, без того или иного очень заметного отличия» [Там же: 181]; «одинаково значимыми будут лишь те, которые, являясь чистыми построениями, не могут содержать ничего другого, кроме того, что в них вложено» [Там же: 320].

Если сравнить слова одного языка, относящиеся к одинаковому роду понятий, то и здесь «духовная самобытность вырисовывается как нечто единое в своей неповторимости: сопутствуя всем объективным понятиям, она неизменно остается собой» [Там же: 181].

В конечном счете это объясняется способом укоренения народа в действительности, вследствие чего различные обозначения одного языка несут на себе печать единообразия: «во всём том, что имеет название у какого-либо народа, заложена некая общность явления, которая сообщается слову как знаку. ...Слова одного языка являют больше чувственной образности, другого — больше духовности, третьего — больше рассудочного отражения понятий, и т. п.» [Гумбольдт 1985: 379]. В соответствии с духовным своеобразием нации ее члены воспринимают общие значения слов своего языка всегда *одним и тем же* индивидуально-неповторимым образом, сопровождая их *одинаковыми* ощущениями и обертонами смысла, следуют *одной и той же* направленности при связи идей, пользуются *одной и той же* степенью свободы при построении речи [Гумбольдт 1984: 167]. Таким образом, «всё рождающееся в душе, будучи истечением единой силы, составляет одно большое целое и... всё единичное, словно оваянное тою же силой, должно нести на себе признаки своей связи с этим целым» [Там же: 176]. «Так как язык одновременно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах и (не целиком. — Л. З.) произвольное творение говорящего, то каждый отдельный язык в каждом своем элементе несет на себе отпечаток первого из обозначенных свойств, но распознавание его следа, кроме присущей ему отчетливости, основывается в каждом случае на склонности духа воспринимать слово главным образом как отражение или как знак» [Там же: 320–321].

Вследствие указанных особенностей номинации замена слов различных языков общепринятыми знаками, по Гумбольдту, невозможна: «такими знаками можно исчерпать лишь очень незначительную часть всего мыслимого, поскольку по самой своей природе эти знаки пригодны только для тех понятий, которые образуются лишь путем конструкции либо создаются только рассудком» [Там же: 317].

б) Помимо содержательных различий в способе обозначения отдельных предметов, способ укоренения народа в действительности проявляется также *в относительно неодинаковом богатстве языков понятиями определенного рода*. Так, в санскрите глубоко абстрагирующий разум нации, ее созерцательность, устремленность к познанию первопричин и конечной цели человеческого бытия обнаруживаются в изобилии религиозно-философского словаря [Там же: 105]. «На язык

влияет также и то, какого типа предметы и чувства либо характерны для данного народа вообще, либо сопутствовали ему на ранних этапах его существования, когда язык только приобретал свою первоначальную форму» [Гумбольдт 1985: 379].

в) Следы того, что служило основным источником при образовании языка — «чувственное мировосприятие или же глубины мысли, в которых это мировосприятие уже подверглось духовной обработке», обнаруживаются также *в способе представления и категоризации понятий в грамматическом строении языка*. «Так, некоторые языки имеют в качестве местоимений 3-го лица выражения, обозначающие индивидуум в совершенно определенном положении — стоящий, лежащий, сидящий и т. д., обладая таким образом многими частными местоимениями при отсутствии одного общего; другие языки разнообразят третье лицо в зависимости от близости к говорящему лицу или удаленности от него; наконец, третьим наряду с этим знакомо чистое понятие “он”, противопоставленное понятиям “я” и “ты” в рамках одной категории. Первое из этих представлений — полностью чувственное; второе уже опирается на более чистую форму чувственности — пространство; третье основывается на абстракции и логическом подразделении понятий» [Там же: 397–398].

г) И наконец, интеллектуальное своеобразие наций находит свое выражение *в сочетании слов при построении речи, в пространности и разветвленности предложений* (ср. санскрит и греческий) [Гумбольдт 1984: 106, 182].

Итак, хотя в грамматической и лексической части различных языков «имеется целый ряд элементов, которые могут быть определены совершенно априорно и ограничены от всех условий каждого отдельного языка», но вместе с тем «существует гораздо большее количество понятий, а также своеобразных грамматических особенностей, которые так органически сплетены со своим языком, что не могут быть общим достоянием всех языков и без искажения не могут быть перенесены в другие языки» [Там же: 317–318].

Отсюда Гумбольдт делает вывод фундаментального порядка: «значительная часть содержания каждого языка находится поэтому в неоспоримой зависимости от этого языка, и их содержание не может оставаться безразличным к своему языковому выражению» [Там же: 318].

Межязыковые различия в форме. Совершенные и несовершенные языки. «...Различия между языками основываются на их форме, а форма каждого языка находится в неразрывной связи с духовными задатками народа и с той силой, которая порождает и преобразует эту форму» [Там же: 74]. Разные языки — независимо от их исторических связей — Гумбольдт рассматривает как ступени постепенного приближения к идеалу совершенного языкового строя [Там же: 52, 56]. Само различие языков по степени совершенства обусловлено природой человека: «инстинкт человека менее связан, а потому предоставляет больше свободы индивидууму. Поэтому продукт инстинкта разума может достигать разной степени совершенства» [Там же: 314]. Среди всех мыслимых форм существует как идеал и образец для оценки достоинств и недостатков конкретных языков

единственная совершенная форма, в которой воплощается чистый принцип языкового строя, которая в наибольшей степени соответствует целям языка и более всего подходит для общей направленности человеческого духа, способствуя его развитию путем обратного воздействия [Гумбольдт 1984: 228]. Это — форма-эталон, и ни один конкретный язык не совпадает с ней полностью. С одной стороны, «вероятно, ни один язык не может похвалиться полным соответствием общим законам языка, ни один язык не располагает формами для всех своих частей» [Там же: 347] уже потому хотя бы, что индивидуальность любого языка означает «известное *ограничение* (выделено мною. — Л. З.) общей природы» [Там же: 54]. С другой стороны, ни в одном из конкретных языков нет исключительно господства какой-либо одной формы [Там же: 229, 335, 338 и др.]. Ближе всего к совершенной форме санскритские (индоевропейские) языки, из них особенно в высшей степени флективные — греческий и санскрит. Поэтому они и считаются совершенными.

Высший принцип оценки языка вытекает из определения последнего в качестве посредника между миром и человеком: «те языки должны быть оценены выше прочих, в которых внешний мир отражается правдиво, живо и полно, движения души — сильно и подвижно, а возможность идеального объединения того и другого в понятия легко достижима» [Там же: 305]. В языках, отвечающих этим требованиям, синтез внутренней мыслительной формы со звуком осуществляется «с наибольшей жизненностью и с неослабевающей силой. У всех наций с несовершенными языками этот синтез от природы неполноценен или скован и подорван теми или иными привходящими обстоятельствами» [Там же: 197].

В совершенных языках «в результате счастливого сочетания богатого и тонкого органического начала с живой силой языкового сознания врожденная языковая способность, физически и духовно присущая человеку, воплощается в звуке в совершенном и неискаженном виде». Свойственное им истинно закономерное языковое строение возникает «на основе правильной и энергичной интуиции в том, что касается соотношения речи и мышления и взаимосвязи всех частей языка» [Там же: 245]. Отсюда внутренняя последовательность и равномерное участие всех сфер и фрагментов языка [Там же: 246]. Порожденное духом, удачное языковое устройство само превращается в самостоятельный фактор, который в свою очередь воздействует на дух и, придавая силу разуму, ясность логическим рассуждениям, способствуя осознанию взаимосвязей между духовным и чувственным началами, вызывает расцвет философии и поэзии, что затем оказывает обратное влияние на язык [Там же: 217–218]. Благодаря мощи языкотворческого акта, приведшего к их образованию, совершенные языки и сами обнаруживают долговечную порождающую силу [Там же: 196–197]. «Однако истинные преимущества языков нужно все же искать в их всесторонней и гармонической силе. Они суть орудия, в которых нуждается духовная деятельность, пути, по которым она движется. Поэтому они только тогда оказываются действительно благотворными, когда облегчают и вдохновляют движение этой деятельности в *любом* (выделено мною. — Л. З.) направлении,

превращают ее в ту отправную точку, из которой гармонически развивается любая конкретная их разновидность» [Гумбольдт 1984: 230].

Несовершенные языки лишены способности «упорядоченно, всесторонне и гармонически оказывать самостоятельное воздействие на дух» [Там же: 231]. Это обусловливается недостатком их внутренней последовательности вследствие неравномерного участия одних фрагментов языка в сравнении с другими, недостатком «истинного единства принципа, который равномерно пронизывал бы их изнутри» [Там же: 246]. Однако любой несовершенный язык, так же как и совершенный, обладает единством формы [Там же] и искусным техническим строением [Там же: 231]. В известной мере несовершенство языка может компенсироваться строгой последовательностью его строения и реализации основного принципа. Примером такого языка является китайский, в котором разграничение материальных значений и формальных связей получает максимально возможное выражение, поскольку последние обозначаются позиционно. Благодаря правильному порядку слов и, в частности, правильной трактовке глагола, китайский язык характеризуется логически правильной внутренней грамматичностью, что «благоотворно действует на национальный дух, повышая остроту восприятия формальной целостности речи» [Там же: 243]. В целом «этот язык обладает высокими достоинствами и оказывает мощное, пусть даже и одностороннее, воздействие на духовные потенции» [Там же: 242], хотя как орудие духа он и уступает санскритским и семитским языкам [Там же: 243].

Независимо от степени совершенства «каждый язык должен уметь выражать всё» [Там же: 171], так что «каждая идея может быть выражена в любом языке» [Там же: 315]. И с этой точки зрения все языки, в сущности, равны по их достоинствам и недостаткам [Там же: 328]. «...Любой язык, помимо уже развитой своей части, обладает непостижимой способностью как к собственной своей модификации, так и к включению в себя все более богатых и высоких идей». «Вопрос состоит лишь в том, находится ли исходный пункт для роста творческих сил и расширения идей в самом языке или он чужд ему» [Там же: 231]. «Решающим в отношении достоинств и недостатков того или иного языка является не то, что способен выразить данный язык, а то, на что этот язык вдохновляет и к чему побуждает благодаря собственной внутренней силе» [Там же: 329].

Совершенство языка и степень синтеза. Мощь языкотворческой силы полнее всего раскрывается в соотношении внутреннего языкового сознания со звуком, в степени их синтеза и как следствие в степени согласия мысли с языком. От мощи синтеза зависят грамматический метод построения предложения и его единство, с одной стороны, и категоризация понятий и единство слова — с другой.

а) **Грамматический метод построения предложения и его единство. Изоляция, флексия, инкорпорация.** Грамматический метод построения предложения «образует как бы фундамент языка и в то же время играет решающую роль в развитии понятий» [Там же: 232], в осуществлении мышления. Преимущества того или другого метода оцениваются Гумбольдтом с точки зрения связи языка

с внутренней духовной деятельностью, в зависимости от степени его совершенства как орудия мысли.

Гумбольдт выделяет три способа построения предложения: *флективный*, *изолирующий* и *инкорпорирующий*. В первых двух предложение предстает как составная единица, как составленное из слов целое. Предложение распадается на части, из которых выстраивается его единство. Во флективных языках слово в самом себе содержит фонетически выраженные грамматические указатели на его связи внутри предложения. Это флексии. В изолирующих языках отсутствует звуковое выражение формальных связей и для их обозначения используются нефонетические средства: порядок слов или особые изолированные слова. Третий способ построения предложения — инкорпорирование — заключается в тесном сплочении предложения в единую фонетически связную форму, подобную отдельному слову, так что границы словесного единства превращаются в границы предложения [Гумбольдт 1984: 144–145].

б) Категоризация понятий и единство слова. Изоляция, флексия, агглютинация. Законы мышления требуют категоризации понятий. Соответственно, «совершенство языка требует, чтобы каждое слово было оформлено как определенная часть речи и несло в себе те свойства, какие выделяет в категории данной части речи философский анализ языка» [Там же: 155]. В слове благодаря единству понятийного выражения и модифицирующего обозначения, переводящего понятие в определенную категорию мышления или речи, совершается синтез «деятельности, обусловленной мышлением», с одной стороны, и «деятельности, обусловленной исключительно восприимчивостью и более связанной с внешними впечатлениями», — с другой [Там же: 118].

В соответствии со степенью категоризации понятий Гумбольдт различает *изоляцию*, *флексию* и *агглютинацию*. В изолирующих языках указание на категории слов отсутствует. Во флективных категоризация осуществляется либо путем внутренней модификации, либо путем взаимного слияния корня с суффиксом, указывающим на отношение данного слова к другим. В случае агглютинации ввиду слабости внутреннего языкового сознания определительные дополнительные понятия не сливаются с корнем, а присоединяются «более инертным образом», образуя «более или менее механическое добавление» [Там же: 118–128, 213].

Как видно, стремление к словесному единству получает свое максимальное выражение лишь в случае флексии. Понятийное единство флективного слова подкрепляется его звуковым воплощением. Гумбольдт различает *два вида звукового единства слова: внешнее*, характеризующее слово как целостность, как индивидуальную сущность в его отношении к конструкции предложения, и *внутреннее*, характеризующее взаимосвязанность в нем разных понятий (однородных или неоднородных) [Там же: 127]. Средствами обозначения внешнего единства слова в речи выступают паузы, а также иные, чем в середине слова, изменения начальных и конечных «букв» (обозначенные позднее Н. С. Трубецким как пограничные сигналы). Внутреннее словесное единство создается благодаря разграничению звукового оформления входящих в него элементов и, в частности, путем фонетического указания на подчиненность

сопутствующих определений по отношению к главному понятию, посредством различий в модификации звуков внутри слова и на стыке слов, с помощью акцентуации [Гумбольдт 1984: 128–144].

«Разум требует от слова не только того, чтобы оно передавало понятие во всей его полноте и с четкой определенностью, но и того, чтобы в нем содержалось указание на те логические связи, в которые оно вступает в языке и речи» [Там же: 240]. Этому требованию также наиболее полно удовлетворяет флексия. Обеспечивая словесное единство, флексия в то же время указывает на отношения слов ко всему предложению и таким образом способствует членению предложения и свободе его устройства. Тем самым, и это самое главное, «флексия способствует более правильному и четкому проникновению в сущность мыслительных связей» [Там же: 126], обеспечивает оптимальное выражение мыслительных форм [Там же: 127], облегчает движение мысли.

Только флективный метод Гумбольдт считает единственно правильным, совершенным, удовлетворяющим чистому принципу языкового строя: «только он придает слову подлинную, как смысловую, так и фонетическую внутреннюю устойчивость, и вместе с тем надежно расставляет по своим местам части предложения, как того требуют мыслительные связи». «...Флективный язык непосредственно маркирует (stempelt) каждый элемент языка сообразно выражаемой им части внутри смыслового целого и по самой своей природе не допускает, чтобы эта отнесенность к цельной мысли была отделена в речи от отдельного слова» [Там же: 160].

В несовершенных изолирующих и инкорпорирующих языках ущемляется либо словесное единство, либо свобода соединения мыслей, либо и то и другое. Одна из причин их несовершенства заключается в слабости внутреннего языкового сознания, не сумевшего обеспечить себе регулярное звуковое выражение [Там же: 232–233].

Наличие или отсутствие звукового обозначения формальных связей, степень противопоставленности материальных значений и грамматических отношений не безразличны для мышления. Для строго определенного, быстрого и плодотворного развития идей необходимо языковое обозначение грамматических отношений, причем обозначение это должно отличаться от предметных обозначений [Там же: 332]. «...Языки отвечают этим требованиям вообще или вполне только в том случае, если они располагают подлинными грамматическими формами, а не их аналогами» [Там же: 345]. Четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения обеспечивается лишь при последовательном обозначении грамматических отношений в чистом виде с помощью подлинных форм — флексий и грамматических слов. Грамматическое обозначение отношений с помощью аналогов форм содержит наряду с формальным еще и материальный компонент, что ведет к неопределенности понятий и порождает двусмысленность [Там же: 344–346].

Обилие и многообразие форм в том или ином языке не должно вводить в заблуждение. В языках с аналогами форм («мнимыми» формами), т. е. в агглютинативных языках [ср.: Там же: 201], «говорящий скорее образует формы в каждый

данный момент сам, чем пользуется уже имеющимися. Благодаря этому возникает гораздо большее разнообразие форм... и каждое, даже редкое, отношение, подобно всем остальным, превращается в грамматическую форму. Там, где в отличие от этого форма рассматривается в более строгом смысле и образуется в процессе употребления, но при этом в процессе речи не образуется новых форм, там имеются формы только для того, что необходимо обозначать часто; то, что встречается в языке реже, обозначается метафорически при помощи самостоятельных слов» [Гумбольдт 1984: 340].

Наконец, в совершенных языках мощь синтетического акта находит звуковое выражение в единстве предложения. «...Единство предложения почти исключительно зависит от упорядочивающей деятельности внутренней формы языкового чувства» [Там же: 144]. Соединению элементов предложения служит глагол. Глагол — «это нерв самого языка» [Там же: 199]. Он осуществляет акт синтетического полагания по отношению к предложению, является связующим звеном, скрепляя воедино предикат с субъектом. В этом состоит его грамматическая функция. В тех языках, где эта функция получает полное выражение, например в санскрите, «глагол и имя совершенно четко отграничены друг от друга» [Там же: 200]. В несовершенных языках вследствие ослабленности глагольной функции границы между именем и глаголом затушеваны, что выражается, в частности, в совпадении глагола с атрибутивом, в полифункциональности слова, когда оно употребляется в качестве то одной, то другой части речи [Там же: 204–205].

Более сложный вид синтеза осуществляется при соединении предложений в более крупное единство. Совершенные языки располагают для выражения связи и зависимости между предложениями специальными средствами — союзами, относительными местоимениями. В менее развитых языках наблюдается недостаток этих средств и отношения связи и взаимозависимости часто остаются невыраженными [Там же: 213–216].

7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

Условия возникновения языка. В вопросе о возникновении языка Гумбольдт как будто пытается преодолеть унаследованную от века рационализма ошибку, заключающуюся в том, что «люди рассматриваются преимущественно как существа, наделенные разумом и рассудком, и в недостаточной степени — как продукты природы» [Гумбольдт 1985: 285].

С одной стороны, язык — продукт природы уже в том смысле, что он возник произвольно «из свободного и естественного воздействия сил природы на миллионы людей в течение многих столетий и на обширных территориях» [Гумбольдт 1984: 305]. Язык возник из самого первобытного природного состояния и «сам есть творение природы — природы человеческого разума», его можно назвать «интеллектуальным инстинктом разума» [Там же: 314].

С другой стороны, принимая вслед за Кондильяком и Гердером естественное происхождение языка, Гумбольдт указывает, что между бессловесностью животных и человеческой речью лежит пропасть, которую нельзя объяснить чисто физически [Гумбольдт 1984: 309], ибо язык не есть чисто физиологическое развитие инстинкта [Там же: 227]. Природное, органическое начало (связанное, в частности, с вертикальным положением человеческого тела [Там же: 76]) взаимодействует с духовной первоосновой языка [Там же: 89]. Чтобы возник язык, необходима согласованность друг с другом врожденной языковой способности, физически и духовно присущей человеку [Там же: 245], мышления и органов речи и слуха [Там же: 75, 85].

Исходя из нераздельности языка и сознания [Там же: 314], Гумбольдт полагает, что язык «может принадлежать лишь существу, наделенному сознанием» [Там же: 227]. Однако не следует думать, будто язык — сознательное творение человеческого рассудка [Там же: 313]. «...Языки возникли не по произволу и не по договору» [Там же: 324]. «...Язык возникает из таких глубин человеческой природы, что в нем никогда нельзя видеть намеренное произведение, создание народов. Ему присуще... самостоятельное начало» [Там же: 49]. Как относительно самостоятельные сущности языки являются «саморегулируемыми и развивающимися звуковыми стихиями» [Там же: 324], в которых намерение «выступает всегда лишь в виде какого-то изначально инстинктивного предощущения», но не как чисто волевое стремление к ясной предначертанной цели [Там же: 132]. И «рефлектирующего языкового сознания у истоков языка предполагать не приходится» [Там же: 155–156]. Поскольку именно «язык поднимает человека до доступной ему ступени интеллектуальности» [Там же: 167], то, очевидно, рефлектирующее языковое сознание вырабатывается в результате развития языка и перехода «от более чувственного к чисто интеллектуальному настроению души» [Там же: 219], по мере того как «сумрачная область неразвитого чувства всё больше светлеет» [Там же: 167]. В раннем состоянии вследствие большей впечатлительности первых говорящих людей [Там же] и при недостатке абстракции «индивидуальное чувственное восприятие опережает обобщенное восприятие рассудка» [Там же: 279]. «Очень возможно даже, — предполагает Гумбольдт вслед за Гердером, — что первое применение языка — насколько можно поднять мысль к столь ранним его истокам — было простым выражением чувства» [Там же: 170]. Соответственно, первым источником формирования звуков служит живость и образность видения мира. Созерцание и ощущение выступают как опоры деятельности духа. При этом сама созерцательность не пассивна, она «питается живейшим и гармоничнейшим напряжением всех духовных сил» [Там же: 156], среди которых огромную роль играет живость и творческая сила воображения, впечатления.

К важнейшим условиям возникновения, функционирования и развития языка Гумбольдт относит социальный фактор. «...Общество — это необходимая среда для его существования» [Гумбольдт 1985: 397], и возникновение языка немислимо

вне общества. «...Происхождение и преобразования языка никогда не принадлежат одному человеку, но только — общности людей; языковая способность... приводится в действие только при общении» [Гумбольдт 1985: 381]. Хотя развитие языковой способности совершается внутри самого человека, оно всегда нуждается в побуждении и поддержке извне [Гумбольдт 1984: 79]. «В изначально свободном потоке речи и пения язык складывался в меру воодушевления, свободы и мощи совокупно действующих духовных сил. Это воодушевление должно было охватывать всех индивидов сразу, каждый здесь нуждался в поддержке других — ведь всякое вдохновение разгорается только в опоре на уверенность, что тебя понимают и чувствуют». В эту эпоху, когда на месте культуры нет ничего, кроме языка, когда «единственным произведением интеллектуальной творческой силы предстает непосредственно сам язык», индивиды растворены в народной массе [Там же: 49]. «...Зависимость языков от национального происхождения так или иначе совершенно ясна ввиду их распределения по народам» [Там же: 79].

Достижение языком завершенности своей формальной организации также обусловлено социально. Гумбольдт допускает как независимое друг от друга возникновение нескольких языков, так и всеобщую взаимосвязанность языков [Там же: 309]. Языки возникли в эпоху разветвленности человеческого рода на множество небольших людских общностей, в которых легче возникнуть языкам [Там же: 323]. Прежде чем цивилизация сплотит народы, языки долго остаются достоянием мелких племен, часто вытесняющих, угнетающих друг друга, смешивающихся друг с другом [Там же: 309]. Вот почему «едва ли можно найти племенной язык, сохранивший свою чистоту в процессе развития» [Там же: 310]. (Так еще в 1820 г. было заявлено о смешанной природе всех языков.) Чтобы языки могли достичь своей завершенности, чтобы появились богатые и пластичные языки, требуется слияние мелких племен в относительно большие людские массы [Там же: 323].

Что представляет собой первоначально возникший язык? Можно ли, следуя древним, представить образование языка как постепенное складывание из отдельных элементов? По Гумбольдту, даже первоначальный язык не ограничен скудной толикой слов, необходимых для житейских потребностей и утилитарных целей. Такое представление ошибочно по ряду причин.

Во-первых, возникновение языка обусловлено не утилитарными потребностями, в частности потребностью во взаимопомощи (для этого хватило бы нечленораздельных звуков) и взаимопонимании, а потребностью мысли, потребностью в свободном общении с другими людьми. В этом смысле и «в свой начальный период язык тоже всецело человечесен».

Во-вторых, действие названных чисто человеческих потребностей приводит к тому, что даже словарь первоначальных языков превышает всякую житейскую потребность [Там же: 81].

В-третьих, создание языка не начинается с обозначения предметов словами [Там же: 90] и мучительного складывания целого предложения из разрозненных частиц [Там же: 156]. Говорящий, в намерение которого входит выражение мысли, всегда

исходит из целого предложения–высказывания [Гумбольдт 1984: 145]. В ранних истоках языка вначале человек «связывает с каждым произносимым звуком языка полновесный смысл, то есть имеет в виду законченное предложение; с точки зрения своего намерения говорящий никогда не произносит отдельных слов, даже если... его высказывание односложно» [Там же: 149].

В-четвертых, и это самое главное, даже в первоначальном своем виде язык не есть простой набор слов, а связанное единое целое. Даже самый примитивный язык представляет собой живой организм, обладающий внутренней целостностью [Там же: 312]. Поскольку «языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно всё, благодаря чему он становится единым целым» [Там же: 308], он мог возникнуть только сразу [Там же: 308, 314].

Язык и время. «Подобно самому человеку, каждый язык есть постепенно развертывающаяся во времени бесконечность» [Там же: 171]. Развертываясь во времени, язык создает духовную преемственность между поколениями [Гумбольдт 1985: 376]. Передача языка или хотя бы его элементов от одной эпохи к другой не может не отразиться и на самом языке: «отношение прошлого к современности пронизывает языковой строй до самых глубин» [Гумбольдт 1984: 63]. «...Даже отдаленное прошлое всё еще присутствует в настоящем — ведь язык насыщен переживаниями прошлых поколений и хранит их живое дыхание» [Там же: 82].

Вследствие исторической преемственности «человек, с одной стороны, связан, но, с другой стороны, обогащен, укреплен и вдохновлен наследием, оставленным в языке ушедшими поколениями» [Там же: 320].

Как исторически возникшее и развивающееся явление, «любой отдельный язык... представляет собой фрагмент; во-первых, в связи с тем, что он установился благодаря длительным изменениям; далее в связи с основой, от которой он происходит» [Гумбольдт 1985: 361].

Тенденция к развитию и совершенствованию свойственна в большей или меньшей мере каждому языку [Гумбольдт 1984: 312], и несовершенные нефлективные языки не составляют исключения [Там же: 337].

Периоды развития языка. Во всеобщем процессе языкового развития Гумбольдт выделяет *два периода: период формотворчества и период совершенствования языка* [Там же: 158, 162–164, 310]. Соответственно этим двум периодам изменяется соотношение двух внутренних факторов, воздействующих на язык в ходе развития: «это, с одной стороны, начало (Princip) языка, самобытно определяющее его направленность, а с другой — влияние накопленного материала, власть которого находится в обратно пропорциональном отношении к определяющей силе начала» [Там же: 158]. Параллельно изменяется соотношение исконно языкового характера, составляющего более раннюю основу, независимую от духа нации [Гумбольдт 1985: 305], с тем, что воспринято языком от характера нации [Там же: 373]. В той же последовательности формируются два способа скрепления языка в единство. В первом периоде единство формы проистекает из преобладающего

начала (принципа) языка [Гумбольдт 1984: 158], во втором — из сочетания языковой формы и индивидуальной формы духа [Там же: 223].

Первый период — период образования внешней, звуковой формы, когда создается полностью завершённое органическое строение языка. В этот период народы «целиком поглощены изобретением способов выражения мысли» [Там же: 162] и «в своем функционировании язык стремится стать формальным» [Там же: 315].

Развитие грамматических форм проходит в несколько этапов — от отсутствия форм через их аналоги к подлинным формам — и касается как качественных, так и количественных их характеристик. С одной стороны, всё более четким становится разграничение вещественных и формальных значений. И в том же направлении повышается прочность словесного единства: агглютинативная техника соединения компонентов слова сменяется фузией [Там же: 343, 130–131]. С другой стороны, материальное обозначение форм приобретает всё большую регулярность: на первой ступени такие обозначения вообще отсутствуют, на второй «форма намечается только там, где этого требуют отдельные обстоятельства, связанные с материей и относящиеся к сфере речи, но отнюдь не там, где она формально необходима для соединения представлений. ...Грамматика еще не управляет языком, а проявляет себя только в необходимых случаях» [Там же: 315]. Наконец, на третьей ступени, которой «едва ли достигают наиболее развитые языки» [Там же: 316], «уже ни один элемент не мыслится вне формы, а сам материал в речи становится полностью формой» [Там же: 315].

Поскольку в период формотворчества сохраняется всё, что необходимо для выражения какого-либо оттенка чувства (этому, очевидно, способствует живость представления о происхождении отдельных элементов) [Там же: 219], количество форм может явно превышать потребности мысли. Не случайно конкретные языки «обладают тем большим богатством форм, чем они изначальнее» [Там же: 162]. В частности, «флексии богаче всего представлены в языках юношеского возраста» [Там же: 218].

Сочетание образуемых элементов в единство осуществляется произвольно, без отчетливого осознания данного акта. Но тем не менее в этом единстве преобладает какое-то одно начало [Там же: 158].

Индивидуальная духовная настроенность в период формотворчества по сравнению с последующим периодом в известной мере заслоняется, однако это не снижает ее воздействия на язык, поскольку «образ мысли и мироощущение народа, придающие... окраску и характер его языку, с самого начала воздействуют на этот последний» [Там же: 163] и сохраняют свое влияние на всех стадиях исторической жизни. Более того, «именно при создании техники языка участие и влияние природного уклада и национального характера, несомненно, всего сильнее и действеннее» [Там же: 178]. Так, ясность и четкость логического упорядочения, с одной стороны, и потребность в чувственном богатстве и гармонии — с другой, отчетливо проявляются в такой важнейшей части языковой техники, как способ связи элементов в предложении [Там же: 179].

«...Чем больше продвинулся язык в формировании своей грамматической структуры, тем, естественно, меньше остается случаев, когда в ней нужно было бы что-то решать заново. Увлеченность способами выражения мысли ослабевает, и чем больше дух опирается на уже созданное, тем больше коснеет его творческий порыв, а с ним и его творческая сила. К тому же накапливается множество фонетически оформившегося материала, и эта внешняя масса, в свою очередь воздействующая на наш дух, требует соблюдения своих собственных законов и мешает свободному и самостоятельному действию ума (Intelligenz)» [Гумбольдт 1984: 163]. В результате после достижения языком некоего предела своей завершенности [Там же: 307], после того как окончательно сложилась внешняя языковая форма и язык обрел все свои функции, первый чувственный творческий порыв угасает [Там же: 158]. И если не возникнут новые жизненные начала и новые преобразования, то при неизменном строении грамматических форм происходит лишь внутреннее более тонкое совершенствование — наступает *второй период развития языка, его освоения и применения*. В этот период реализуется стремление к сочетанию языковой формы и индивидуальной формы духа. В их синтезе заключается «второй, высший способ скрепления языка в одно единое целое» [Там же: 223]. В результате возникает литература, а язык приобретает окраску и характер. Не случайно «свой характер язык развивает преимущественно в литературные эпохи и в предшествующие им подготовительные периоды» [Там же: 164], и именно в литературе характер языка находит наиболее явное выражение [Там же: 167].

Под влиянием возникшей литературы, и в особенности философии и поэзии, совершенствуется внутренняя форма языка. «Без всякого изменения языка в его звуковом составе, а также в его формах и законах, время благодаря ускоренному развитию идей, нарастанию мыслительной силы и углублению и утончению чувственности часто придает ему черты, которыми он раньше не обладал. В прежнюю оболочку вкладывается тогда другой смысл, под тем же чеканом выступает что-то иное, по одинаковым законам связи намечается иначе градуированный ход идей». «...Понятия интеллектуальные и почерпнутые во внутреннем чувстве, совершенствуясь в своем употреблении, придают обозначающим их звукам более глубокое и одухотворенное содержание» [Там же: 106].

Внутреннее совершенствование и развитие языка продолжается до тех пор, пока дух народа сохраняет свою мощь во взаимодействии с языком. «Но и тут с течением времени может наступить эпоха, когда язык как бы перерастает своего спутника, и дух в каком-то изнеможении ведет всё более пустую, всё менее творческую игру со словесными оборотами и формами, возникшими некогда в ходе подлинно осмысленного употребления языка. Это период второго истощения языка, если первым считать угасание его собственного порыва к созданию внешних форм. При этом вторичном истощении блекнет яркость характера» [Там же: 164].

Внутреннее совершенствование языка не исключает влияния духа на структуру и в этот второй период, хотя это влияние иногда становится неувидимым. «...Внимание народа, переходящего к более высоким ступеням обработки своего языка,

переключается с чувственного богатства звуков и многообразия форм на четкость, строгую разграниченность и тонкость их применения» [Гумбольдт 1984: 180]. Стремление к точности выражения идей приводит к более тщательному соотношению форм с грамматическими понятиями, к более четкому разграничению материальных и формальных значений, в частности за счет сокращения, сжатия чересчур полнзвучных форм, к большей строгости в звуковом оформлении грамматических значений. Во флективных языках с прогрессом духа, с переходом от более чувственного к чисто интеллектуальному настроению, от полета фантазии к удобству понимания аналитический метод оказывается более предпочтительным, так как по сравнению с синтетическим он уменьшает необходимость в напряжении ума, увеличивает степень определенности и легкость истолкования [Там же: 219], на что в свое время указывал И. К. Аделунг [Кузьменко 1984: 48–49]. Отсюда во флективных языках стирание флексий. Этому способствуют приобретенная привычка употребления форм, затемнение значения их элементов с течением времени, избыточность стечения нескольких показателей грамматических отношений там, где для отграничения данной формы от других достаточно одного, избыточность материального выражения формы, если «целое по своим собственным схемам указывает каждому отдельному случаю его место» [Гумбольдт 1984: 218]. (Дальнейшее развитие этих идей находим у Потевни [Потебня 1958].) Тщательная модификация звуков, сохранение деталей языкового устройства становятся излишними. Богатство форм ограничивается и входит в меру под влиянием обогащающейся духовной культуры [Гумбольдт 1984: 162]. «...Преобладающее практическое направление может навязывать языку разного рода сокращения, пропуски относительных слов, эллипсисы, и язык начинает пренебрегать всем тем, что непосредственно не предназначено для целей понимания». Так указанный прогресс духа создает угрозу «преобразований, глубоко затрагивающих сущность флективных языков в очень поздний период их развития» [Там же: 219].

Тем не менее и в преобразованных языках их флективная природа, придавшая свою форму внутреннему языковому сознанию, сохраняется как неискоренимое свойство. Так, романские языки, потомки латыни, сохраняют *основной принцип ее строения: четкое различение понятий предмета и отношения, имени и глагола*. «Распались формы, но не форма, которая, напротив, распространила свой старый дух на новые явления» [Там же: 222].

Направление языкового развития. Вопрос о направлении языкового развития решается Гумбольдтом исходя из того, что язык — одно из главных проявлений духовной силы. Согласно Гумбольдту, «она неотделима от исторической традиции и окружающих условий, но она же перерабатывает и формирует их с присущим ей своеобразием» [Там же: 48]. Соответственно, в историческом процессе Гумбольдт разграничивает, с одной стороны, *закономерное, постепенное, явное развитие, скрепленное видимыми причинно-следственными связями*, безграничное, как сама мысль, как само чувство [Гумбольдт 1985: 375], а с другой — *непредсказуемое, непосредственно творческое поступательное движение чело-*

веческого духа. В этом движении действует принцип внутренней силы как силы самобытной, спонтанно творящей независимо от предшествующего развития [Гумбольдт 1984: 53–56]. «Проявление человеческой духовной силы в ее многоликом разнообразии не привязано к ходу времени и к накоплению материала. ...Высшие достижения здесь совсем не обязательно должны быть последними по времени возникновения». Так, рождение незаурядной индивидуальности в отдельных личностях и в народных массах необъяснимо в свете одной лишь исторической преемственности [Там же: 50].

Сказанное распространяется и на язык. Хотя на первый взгляд межъязыковые различия с точки зрения развития грамматики предстают как ступени развития языков [Там же: 327], однако, учитывая действие в языке самодеятельного начала, Гумбольдт считает односторонним распространенное определение стадий языкового развития на основании способа обозначения грамматических отношений и звуковой формы аффиксов и знаменательных слов [Там же: 245]. В частности, в различиях между такими диаметрально противоположными языками, как китайский и санскрит [Там же: 241–242, 244, 298], следует видеть не «какой-то постепенный переход от одного к другому», а действие разных творческих начал. «Тогда, отказавшись от гипотезы о постепенном развитии одного языка из другого, мы должны будем приписать каждому из них свой источник в душе народа, а ступенями более или менее удачного строя считать их лишь внутри всеобщего движения языкового развития, то есть с точки зрения близости к идеалу» [Там же: 56]. В этой связи и разделение языков на совершенные и несовершенные (кстати, не абсолютное уже потому хотя бы, что обычно в одном языке совмещается ряд возможных форм [Там же: 161, 229]) также не означает, что в процессе формирования языков происходит последовательный ступенчатый подъем на всё более высокие, совершенные стадии. Если бы каждая ступень развития предполагала и обуславливала возникновение следующей, то «в таком случае китайский был бы самым древним, а санскрит — самым юным языком» [Там же: 244]. В действительности плановость не характерна для развития языка [Там же: 50], и «самый совершенный язык не обязательно является самым поздним» [Там же: 244]. Кроме того, в языке может одновременно происходить поступательное и возвратное движение. Например, в процессе употребления интеллектуальные понятия совершенствуются, а метафоры, напротив, стираются [Там же: 106–107].

Таким образом, несмотря на поступательное развитие способности владения языком [Там же: 328] и отчетливое стремление всех языков к правильной форме [Там же: 229], «очевидно, *не следовало бы допускать один общий тип постепенного прогресса языковых форм* и объяснять с помощью его все единичные явления. Повсюду в языках *действие времени сочетается с проявлением своеобразия народа*, и то, что характеризует языки диких племен Америки и Северной Азии, не должно быть непременно свойственно древним народам Индии и Греции. Ни языку, принадлежащему какому-либо одному народу, ни языкам, которыми пользовались многие народы, *нельзя указать совершенно прямого и определенным*

образом предписанного природой пути развития» (выделено мною. — Л. 3.) [Гумбольдт 1984: 327].

Поэтому нельзя упрощенчески выводить развитие языка из развития цивилизации и культуры и переносить на язык планомерность культурного развития [Там же: 50].

Разумеется, Гумбольдт не отрицает связи между ними. «Язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию культуры» [Там же: 48]. В частности, к проявлениям зависимости языка от культуры относятся прежде неизвестные понятия, которые цивилизация и культура приносят извне или развертывают из глубин народной жизни [Там же: 57]. «Поздние плоды цивилизации и культуры тоже не проходят для языка бесследно: привлекаемый для выражения обогатившихся и облагороженных идей, он обретает отчетливость и точность выражений, образность высветляется работой воображения, поднявшегося на более высокую ступень, а благозвучие выигрывает от разборчивости и придирчивых требований утонченного слуха» [Там же: 58].

С развитием цивилизации и культуры разобщенность и разветвленность человеческого рода становится всё меньше. «...Та власть, которой обладает над нами нами же созданная цивилизация, всё определенной толкает нас в направлении универсализма, народы под нашим влиянием приобретают намного более единообразный облик, и формирование оригинальной национальной самобытности удушается в зародыше даже там, где оно, пожалуй, могло бы иметь место» [Там же: 60]. Надо полагать, нивелирующее воздействие цивилизации не может не повлиять на индивидуальное своеобразие языков.

С другой стороны, «язык и цивилизация вовсе не всегда находятся в одинаковом соотношении друг с другом». «...Так называемые примитивные и некультурные языки могут иметь в своем устройстве выдающиеся достоинства, и действительно имеют их, и не будет ничего удивительного, если окажется, что они превосходят в этом отношении языки более культурных народов» [Там же: 57]. Следует учесть также, что «с точки зрения внутреннего достоинства духа цивилизацию и культуру нельзя считать вершиной всего, до чего может подняться человеческая духовность». Кроме того, те успехи языка, которые могут быть приписаны благотворному влиянию цивилизации и культуры, действуют в рамках внутренних, укоренившихся в языке ограничений, диктуемых его началом, над которыми народ и просвещение не властны [Там же: 58].

Наблюдающаяся историческая преемственность в развитии языков одной семьи помимо интеллектуальных достоинств народа и его исторических судеб во многом зависит от мощи и законосообразности языкотворческого акта [Там же: 195–197], от того, насколько совершенно начало (принцип) языка. «Если это начало настолько сближается со всеобщим языкотворческим началом в человеке, насколько допускает его неизбежная индивидуализация, и если оно в полноте неподорванной силы пронизывает собою язык, то в этом последнем на всех стадиях его развития

на место иссякающей силы будет всегда заступать новая, соответствующая очередному отрезку его исторического пути» [Гумбольдт 1984: 158]. При этом уровень культуры, хозяйственное и общественное состояние нации не имеют существенного значения. «Так, к примеру, изящный и совершенный грамматический строй латышских языков, ныне практически превратившихся в народные говоры, совершенно не зависит от культурного уровня народов, на них говорящих, но обусловлен лишь хорошей сохранностью остатков первоначально высокоразвитого языка» [Гумбольдт 1985: 384].

Степень преобразований языка зависит от того, являются ли они результатом органического развития или язык подвергся инородным воздействиям со стороны неродственных языков. В первом случае «языки большей частью сохраняют в себе свою собственную основу» и «обладают необходимой последовательностью в своих собственных рамках» [Гумбольдт 1984: 225]. При смешении с другими языками прежний организм языка разрушается и постепенно образуется новая целостность [Там же: 226, 316]. Указанное различие в характере и степени преобразований «никак не может не оказывать влияния на глубину духовности, тонкость восприятия и силу убеждений» [Там же: 226].

Языковые контакты. Гумбольдт придает большое значение языковым контактам в процессе становления, совершенствования и преобразования языка.

«...Скрещивание диалектов является одним из важнейших моментов в становлении языков; оно происходит тогда, когда вновь образующийся язык, смешиваясь с другими, воспринимает от них более или менее значимые элементы или когда, как это происходит при огрублении и вырождении культурных языков, немногие чуждые элементы нарушают течение их спокойного развития, и существующая форма перестает осознаваться, искажается, начинает переосмысливаться и употребляться по другим законам» [Там же: 309].

Звуковая и внутренняя форма, слова и грамматические формы по-разному реагируют на воздействие других языков. «Собственно телесная, звуковая форма языка допускает такое воздействие лишь в очень ограниченных масштабах. Напротив, внутренняя устремленность формы весьма подвержена внешним влияниям, и грамматические принципы, даже сама сила и живость языкового сознания могут исправляться и возвышаться в ходе общения с более совершенными языками. В результате язык изменяется в той мере, в какой он допускает распространение господства новых навыков» [Там же: 271].

Проницаемость лексики и грамматики различна. «Преимущественно слова как основные элементы языка перекочевывают от народа к народу. Для грамматических форм возможность перехода более затруднительна, поскольку они ввиду своей тонкой интеллектуальной природы существуют скорее в уме, чем материально, и, выявляя себя, закрепляются в звуках» [Там же: 319]. (Что касается падения форм, то и оно скорее является результатом собственного развития языка, чем следствием иноязычного влияния. В частности, падение форм в английском Гумбольдт не считает обусловленным его смешением с романским материалом,

«поскольку последний оказал очень малое или совсем никакого влияния на его грамматический строй» [Гумбольдт 1984: 220].)

Весьма существенно воздействие скрещивания на членение языковых элементов: при заимствовании сложные соединения воспринимаются как нечленимые целостности. Благодаря этому «скрещивание языков и народов является весьма действенным средством для введения их в определенные рамки и ограничения сферы материально значимого» [Там же: 316].

В конечном счете живительное влияние одного языка на другой определяется тем, что «сила, богатство и форма языков весьма выигрывают от столкновения больших и даже противоречащих друг другу различий, ибо таким путем в них вливается богатое содержание человеческого бытия, уже претворенное в языковую форму. Только отсюда язык может черпать материал для своего обогащения» [Гумбольдт 1985: 418].

* * *

Дальнейшее развитие синтезирующий подход к языку и его теории получает в лингвистических концепциях А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртенэ. В зарубежном языкознании на смену синтезирующему учению Гумбольдта приходят концепции аспектирующего характера, что может быть связано со всё более утверждавшимся влиянием позитивизма.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А. ШЛЕЙХЕР

Выдающийся немецкий лингвист Август Шлейхер (1821–1868) — глава и самый яркий представитель натуралистического направления в языкознании.

1. Истоки и принципы лингвистической концепции А. ШЛЕЙХЕРА

Возникновение данного направления нередко объясняют влиянием труда Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). Хотя опережающее развитие естествознания сыграло свою роль и в этом случае, однако проникновение натуралистических идей в языкознание не связано непосредственно с выходом книги Дарвина. Оно началось гораздо раньше, очевидно, не без влияния натурализма в философии.

«**Натурализм** (*фр.* naturalisme, от *лат.* natura — природа) в философии, взгляд на мир, согласно которому природа выступает как единый и универсальный принцип объяснения всего сущего, исключаящий все внеприродное, “сверхъестественное”. <...> В социологии присущ теориям, объясняющим развитие общества различными природными факторами — климатическими условиями, географической средой, биологическими и расовыми особенностями людей и т. д. Натурализм был одним из ведущих принципов европейской просветительской мысли XVII–XVIII вв. (концепции “естественного человека”, естественного общества, естественной морали, естественного права и т. п.)» [СЭС 1981: 875].

Представление о языке как «естественном организме» зародилось задолго до появления натуралистического направления в языкознании. Оно было распространено и в предшествующей лингвистической традиции, и у современников Шлейхера, принадлежавших к иным направлениям. Организмом, иногда даже природным организмом, язык называли и братья А.-В. и Фр. Шлегель, и В. Гумбольдт, и Р. Раск, и Фр. Бопп. Одновременно с Шлейхером, но независимо от него определение языка как организма в той или иной мере принимали И. И. Срезневский («Мысли об истории русского языка», 1849) и Я. Гримм («О происхождении языка», 1851).

В понятие *организма* вкладывалось разное содержание. Прежде всего за определением языка как организма стоит признание в нем, как и в его носителе — чело-

веке, *природного, чувственного* начала. Последнее сближает язык как «явление природы» (Раск [Agens 1974, 1: 191], Срезневский [Срезневский 1959: 17]), как «естественное произведение», «произведение природы» (Срезневский [Там же: 23]) с другими природными объектами в нескольких отношениях.

Во-первых, подобно им *язык имеет естественное происхождение* (Гердер, Гумбольдт, Grimm).

Во-вторых, *язык подчиняется действию определенных закономерностей, сходных с природными*. В этом был убежден Гердер. О действии в организме языков физических и механических законов в более поздние периоды существования «органических» языковых форм писал Фр. Бопп [Десницкая 1984в: 125]. Согласно Гумбольдту, «язык разделяет природу всего органического» [Гумбольдт 1984: 308] и «закономерностям природы сродни закономерность языкового строя» [Там же: 81]. Эти мысли могли повлиять на Шлейхера. Весьма созвучны идеям Шлейхера положения Срезневского: «Независимый от частных волей, язык не подвержен в судьбе своей случайностям. Всё, что в нем есть, и всё, что в нем происходит, и сущность его и изменяемость, всё законно, как и во всяком произведении природы» [Срезневский 1959: 17].

В-третьих, аналогично всякому произведению природы *язык обладает определенными естественными свойствами*, всем одинаково общими [Там же: 23]. Эти свойства позволяют рассматривать организм языка как *систему взаимосвязанных элементов*, как целостность. Так толкуется организм, в частности, в трудах Раска [Кузьменко 1984: 23, 35] и Гумбольдта.

В-четвертых, понятие организма подразумевает *действие в языке внутренних законов развития*. Первоначально «жизненный принцип развития и разрастания» приписывался только флективному языку (А.-В. Шлегель), и лишь они считались организмами (братья Шлегель) [Десницкая 1984а: 96, а также 77–78].

Затем — по-видимому, не без влияния Гердера — наличие внутренних законов развития было признано и за другими языками. Соответственно укрепляется представление о том, что «неподвижных, неорганических языков нет, ...все они движутся внутреннею силою» [Срезневский 1959: 97]. Понимание языка как изменчивой сущности, заключающей в себе внутренние законы развития, свойственно Я. Гримму [Смирницкая 1984: 150]. Самодеятельное начало в языке подчеркивает Гумбольдт, видевший в нем «вечно порождающий себя организм», саморегулируемую и саморазвивающуюся звуковую стихию.

На подчиненность языка собственному закону внутренней самоизменяемости указывает Срезневский. По его словам, «главный закон в жизни и человека и языка — закон самоизменяемости: не от внешних влияний растет, мужает и стареет человек» [Срезневский 1959: 101]. Поэтому «мало исследовать внешние влияния на известный язык, чтобы понять его изменения: должно рассматривать и внутреннее влияние собственного его закона изменяемости. Язык изменялся бы, хотя бы и совершенно не было на него никаких внешних влияний» [Там же: 100]. «...Язык изменяется, живя, точно так же, как зерно, живя, изменяется в дуб» [Там же: 96].

«Дуб по внутренней причине делается дубом, и именно этим дубом, — то же должно сказать и о языке» [Срезневский 1959: 100].

Природное начало в языке служит основанием для осознания необходимости *использовать в языкознании те же методы, что в естествознании*. Из этого исходили Фр. Шлегель, Р. Раск [Кузьменко 1984: 23–25], Фр. Бопп [Десницкая 1984в: 111]. Как считал Срезневский, «основные правила исследования разнообразия естественных произведений должны быть всюду общи — в языкознании, как, например, и в зоологии или в ботанике» [Срезневский 1959: 23]. Отсюда возможные сближения языкознания с естествознанием, в частности у Раска. Однако эти сближения не доходят до того, чтобы отнести языкознание к естественным наукам. Изучение языка включается в гуманитарную сферу — либо в историческую науку (Я. Гримм [Смирницкая 1984: 161]), либо в филологию — статистическую, сравнительную и историческую (Срезневский [1959: 94–95]), либо в сравнительную антропологию и философскую историю человечества (Гумбольдт). Изучение языка тесно связывается с изучением истории народов, ибо, по выражению Гримма, афористически выразившего убеждения романтиков, «наш язык — это также наша история» [Гримм 1964б: 65]. Разработка и применение исторического метода приводят Гримма к выводу о том, что, несмотря на подобие языка природе и сходство ступеней развития языка с периодами развития листвы, цветения и созревания плодов, несмотря на подобие видов языков «видам в растительном и животном мире и даже самому роду человеческому во всем почти бесконечном многообразии их облика» [Там же: 60], языки как человеческое приобретение «очутились не под властью вечного и неизменного закона природы, подобного законам света и тяжести, но попали в умелые руки людей». Развитие языков идет в ногу с развитием народов [Там же: 67].

В отличие от романтиков и в то же время опираясь на них, прежде всего на Гумбольдта, Шлейхер проводит идеи натурализма наиболее последовательно. Причем в главных своих чертах лингвистическая концепция Шлейхера, по его собственному признанию, сложилась *независимо от Дарвина* [Шлейхер 1864: 1–2]. Основные труды, излагающие натуралистическую теорию языка, были созданы до публикации книги Дарвина. Вполне натуралистические по духу взгляды на язык Шлейхер развивает уже с конца 40-х гг. — в работах «К сравнительной истории языков» (1848) и «Языки Европы в систематическом обозрении» (1850). Книга «Немецкий язык» (1859) тоже была написана до ознакомления с сочинением Дарвина. Учение Дарвина лишь укрепило Шлейхера в правильности собственных воззрений и побудило его еще раз сформулировать их, с тем чтобы показать справедливость главных начал дарвинизма в отношении к языку, что он и сделал в своих статьях «Теория Дарвина в применении к науке о языке» (1864) и «О значении языка для естественной истории человека» (1868).

Философские корни теории Шлейхера, по всей вероятности, неоднородны. Вполне очевидно, особенно в ранних трудах, влияние *Гегеля*, на которого Шлейхер ссылается. Оно проглядывает в тезисе о независимости языка от воли человека.

По Гегелю, «язык есть дело теоретического интеллекта» и его внешнее выражение, но ни сама эта теоретическая деятельность, ни ее проявления «не есть результат действия воли, в которой пробуждается самосознание» [Гегель 1935: 60]. Воздействии Гегеля сказывается в разделении истории языка на два периода и в ее истолковании. (Впрочем, за гегелевским противопоставлением высокой степени развития языков у народов в их неразвитом состоянии и регресса языков с прогрессом цивилизации можно, в свою очередь, заметить влияние Гердера.) Явная зависимость от Гегеля видна также в применении закона отрицания отрицания (впервые сформулированного Гегелем) к характеристике трех основных классов языков, соотносимых с тремя ступенями развития.

В то же время нельзя, видимо, отрицать и воздействия философии *вульгарного материализма*, испытавшей влияние натурализма. В частности, «Физиологические письма» Карла Фогта (наряду с «Научной ботаникой» Шлейдена) Шлейхер сам называет в качестве одного из источников, из которых он узнал, что такое история развития [Шлейхер 1864: 3].

Наконец, обращает на себя внимание совпадение ряда исходных методологических принципов теории Шлейхера с *позитивистскими*. Это совпадение тем более примечательно, что основатель позитивизма О. Конт (1798–1857) в своей социологии развивал идеи биологического натурализма. Согласно О. Конту, «основной характер позитивной философии выражается в признании всех явлений подчиненными неизменным естественным законам» [АМФ 1971: 559]. Точно так же и Шлейхер говорит о господстве в языке неизменных естественных законов [Schleicher 1850: 3]. Конт утверждает, что «ход наших превращений совершается эволюционно, без участия какого-либо творчества» [АМФ 1971: 584], и отрицает «теологический принцип», состоящий в объяснении всего внутренними или внешними хотениями [Там же: 582]. Шлейхер постулирует независимость языка от воли и произвола человека [Schleicher 1850: 3]. Характерный для позитивизма отказ от спекулятивного системосозидания, ограничение задач науки познанием явлений, а не сущностей перекликаются у Шлейхера с отождествлением сущности и явления, с признанием только одного направления исследований — от объекта к системе, от наблюдений к заключениям, но не наоборот. Может быть, поэтому Шлейхер в противоположность Гумбольдту подчеркивает материальную сторону языка и, как правило, ограничивается анализом «более внешних и более доступных сторон языка — его звуков и форм» [Шлейхер 1964а: 108]. Наконец, влияние Конта можно усмотреть в шлейхеровской классификации лингвистических дисциплин, а именно в таком подразделении их на общие и частные, когда не только общее, но и частное не связывается с различием духа народов. В этом отношении частные грамматики, выделяемые Шлейхером, отличаются от частных грамматик в интерпретации французских энциклопедистов (ср. [Бокадорова 1987]).

В основе развиваемой Шлейхером лингвистической концепции лежит стремление выработать *монистический взгляд на язык*. «Направление мышления нашего

времени, — пишет Шлейхер, — очевидно ведет к монизму. Дуализм, — подразумевается ли под ним противоположение духа и природы, содержания и формы, существа и явления или что-нибудь другое в этом роде, — для современных естествоиспытателей окончательно опровергнут. Для них нет ни материи без духа..., ни духа без материи. Или точнее, нет ни духа, ни материи в обыкновенном смысле, а только одно, что содержит и то, и другое» [Шлейхер 1864: 3–4]. У Шлейхера это стремление к монизму в определении языка как предмета языкознания вылилось в разграничение языкознания (глоттики) и филологии. Языкознание изучает организм языка как природное, материальное и закономерное, как выражение рационального — мышления. Употребление языка, его социальная природа, выражение в нем чувственно-волевой стороны сознания, общественно-исторические аспекты языка как выражения духовной жизни народа и его истории — всё это выводится за пределы языкознания — в филологию. Таким образом, Шлейхер отрывает природное от социального, материальное от идеального, рациональное от чувственно-волевого, необходимое от случайного и отождествляет сущность и явление. Последнее прямо вытекает из позитивистски толкуемого монистического принципа, «ничего не ищущего по ту сторону вещей и считающего сущность вещи и ее явление за предметы тождественные» [Там же: 4].

Монистический взгляд на язык подкрепляется у Шлейхера *принципом универсализма*. В отличие от Гумбольдта, который видел в языке единство универсальных, групповых и индивидуальных свойств и стремился выявить основу индивидуальности каждого языка, Шлейхер, в сущности, оставляет индивидуальный аспект языка в стороне и сосредоточивается на анализе общих признаков — универсальных и групповых (типологических и генетических). Он исходит из единства человеческой природы: «Человек всех времен и зон имеет, при всем различии, много соответствующего и общего. Сущность человека в ее главных моментах с необходимостью является повсюду одной и той же. Это обнаруживается поразительным образом как в существовании языка, так и в истории. История всех наций проходит в общем и целом один и тот же путь развития. С тем же правом, с каким мы относим язык к духовной сущности, мы можем предполагать для него такое же совпадение путей исторического развития» [Schleicher 1848: 3] (цит. по: [Десницкая 1984б: 253]).

Монистическому принципу подчинен и *принцип историзма*. Соответственно, система и становление выступают у Шлейхера как две стороны одного и того же и предполагают друг друга: «То, что при системном рассмотрении выступает как рядом сосуществующее, в истории является следующим одно за другим; то, что там представляет собой момент, здесь является периодом. Это естественно, поскольку система — это изображение существующего, история — изображение становящегося, а существование предполагает становление» [Schleicher 1848: 4] (цит. по: [Там же: 253]). Ясно, что при таком подходе выявление и описание системы возможно только на исторической основе.

2. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Как известно, языкознание зародилось и развивалось в недрах философии и филологии и задача их *размежевания* оставалась весьма актуальной и после Гумбольдта — для направлений, пришедших на смену романтизму в середине XIX в.

Определяя место языкознания в системе наук, Шлейхер считает необходимым *разграничить дисциплины, имеющие дело с языком как объектом исследования*. Это лингвистика (или глоттика), философия языка и филология.

Прежде всего, по мнению Шлейхера, следует *отделить от языкознания философию языка* (так же как от естественных наук натурфилософию). *Объект языкознания — нечто конкретное, реальное*, а именно определенные, данные языки; объект философии языка как учения об идее языка — абстрактное, идеальное. Философию языка Шлейхер относит к философии.

Особое значение придает Шлейхер разделению *лингвистики и филологии*. Он резко порывает с предшествующей романтической традицией в определении языка. Если для романтиков язык как таковой — это прежде всего *выражение духа народа* и в то же время *орудие для разнообразнейших индивидуальностей* (В. Гумбольдт), это *история народа* (Я. Гримм), то для Шлейхера язык «как таковой» [Schleicher 1850: 1], язык «как самоцель» [Schleicher 1869: 120] — это в первую очередь *организм*. Язык как средство проникновения в духовную сущность и жизнь народов, язык как объект, в котором и через который выявляется духовная жизнь народов, входит, по Шлейхеру, в сферу филологии.

Другое дело — лингвистика, или глоттика. «Ее объект — не духовная жизнь народов, не история (в широком смысле), а только язык, не свободная деятельность духа (история), а язык, подчиненный от природы данным неизменным законам образования, язык, свойства которого настолько же находятся вне волеизъявления индивида, насколько, например, невозможно, чтобы соловей изменил свое пение, т. е. объект глоттики — естественный организм. Для глоттики совершенно безразлично, значителен духовно или нет носитель языка — говорящий на нем народ, имеет ли он (народ) историю, литературу или никогда не знал письма» [Ibid.]. *Материалом языкознания являются все языки, включая бесписьменные языки и диалекты. Материал филологии составляют лишь литературные языки.*

В языке как объекте исследования лингвиста интересует только организм языка, законы его строения и развития, но не его употребление. Так как в употреблении языка проявляется свободная воля человека, оно выводится за пределы языкознания и включается в филологию. В частности, к филологии Шлейхер относит проблему понимания [Ibid.]. Коль скоро употребление языка, согласно Шлейхеру, — сфера филологии, он ничего не говорит о коммуникативной функции языка. Язык как средство общения выпадает из области языкознания и потому не обсуждается.

Поскольку объект языкознания принадлежит к области природы, *языкознание причисляется к естественным наукам*, а именно к естественной истории человека. Объект филологии относится к сфере свободной духовной деятельности, т. е. к истории, поэтому *филология — историческая наука*.

В противопоставлении языкового организма и его употребления, языкознания и филологии Шлейхер продолжает традиции, сложившиеся в XVIII в. на базе общих грамматик. Выразители этих традиций — французские энциклопедисты — разграничивают грамматику как учение о языковом строе и литературу как учение о языковом употреблении, учение о стиле [Бокадорова 1987].

В концепции Шлейхера данное противопоставление отражает также господствовавшее тогда понимание истории. В соответствии с ним за действиями отдельных людей и столкновениями множества отдельных волей, за побуждениями выдающихся исторических деятелей, за господствующей на поверхности случайностью не замечали действия внутренних общих законов, обусловленных экономическими отношениями масс населения. Так и Шлейхер видит в истории лишь действие воли отдельных лиц и считает, что законы здесь — в отличие от природы — отсутствуют.

Относясь к различным отраслям знания, лингвистика и филология различаются, по Шлейхеру, и своими методами. *Филология пользуется методами исторических наук*, в которых больше субъективного произвола. Поэтому большое значение придается критике. *Методы лингвистических исследований близки к естественно-научным*. Их основу в соответствии с монистическим принципом составляет точное самостоятельное *наблюдение*. «Кроме наблюдения, допускается только основанное на нем и по необходимости выведенное из него заключение» [Шлейхер 1864: 4].

«Наблюдение показывает, что все живые организмы... изменяются по известным законам. Эти изменения организмов (их жизнь) составляют настоящую их сущность: мы понимаем их только тогда, когда знаем сумму этих изменений, когда знаем всю историю их бытия. Другими словами, если мы о чем-нибудь не знаем, как оно образовалось, то и не понимаем его» [Там же]. Этот принцип Шлейхер распространяет и на язык. Поскольку непосредственному наблюдению над языком подлежит лишь последний, весьма короткий, период, широко используется метод экстраполяции, и закономерности данного периода переносятся на предшествующие этапы развития [Шлейхер 1864: 5; 1868: 11–12]. Это возможно потому, что *законы языка, как и природы, считаются неизменными*.

В отличие от филологии, лингвистика, подобно любой другой ветви естествознания, требует *универсальности*. Как зоолог должен иметь представление обо всем животном мире, чтобы судить об одном семействе, так и лингвист при исследовании какого-либо одного языка, чтобы определить его место в системе и сущность, должен иметь представление, во-первых, обо всей языковой области, а во-вторых, обо всей шкале языкового развития. Поскольку язык высшей ступени включает в себя как снятые моменты все низшие [Schleicher 1850: 4], необходимо проследить

развитие данного языка вплоть до его старейшей формы — либо по документам (если они есть), либо по аналогии с другими языками [Schleicher 1850: 22]. Отсюда необходимость *сравнительного метода*.

Так как сущность языка заключена в способе звукового выражения значения и отношения, т. е. в грамматике [Ibid.: 21], в отношениях [Ibid.: 27], *сравнение* языков должно касаться *всего грамматического строя*, а не отдельных слов, как прежде [Ibid.: 21]. «Это сравнение языковых организмов, как и исследование всех естественных сущностей вообще, ведет к категории рода, который в цепи ступеней постоянно повторяется» [Ibid.: 22], выявляясь прежде всего в материальных соответствиях языков [Ibid.: 23–24]. «Этот способ спецификации (род, вид, подвид и т. д.) образует сущность естественной системы естественных наук. ...Любая естественная система... держится на целом» [Ibid.: 23]. Поскольку категория рода имеет место только в сфере природы, но не в сфере духа, то ее наличие в языке лишний раз свидетельствует о том, что язык относится к сфере природы, языкознание входит в круг естественных наук, а лингвистические методы аналогичны естественно-научным [Ibid.: 22].

Различая систему и историю, Шлейхер выделяет *две координаты лингвистического анализа* и соответственно *два объекта*. *История* исследует языки в их *последовательности* (das Nacheinander ‘один после другого’) и представляет объект как бы в *вертикальном* разрезе. *Система* упорядочивает языки, находящиеся *рядом друг с другом* (das Nebeneinander), и представляет объект как бы в *горизонтальном* разрезе [Ibid.: 37].

В *структуре языкознания* Шлейхер прежде всего выделяет две основные дисциплины — *грамматику* и *дескриптивную глоттику*. В задачу последней входит установление естественной системы языков, их классификация от простейших организмов к высшим исходя из организма в целом, т. е. с учетом грамматики во всех ее частях.

Грамматика подразделяется на отдельные дисциплины в зависимости от того, рассматривается ли *языковой организм вообще*, или *организм языковой группы*, или *отдельного языка*; исследуется ли *один период* жизни языка или *весь ее ход*, и, наконец, в зависимости от того, *какая сторона языка* анализируется: *звук, форма, функции, строй предложения*. Соответственно, например, в учении о звуке (фонологии) выделяются 4 раздела: общее и частное учение о звуке, общая и частная история звуков [Schleicher 1869: 123–124, 126–127]. Изучение лексики Шлейхер не выделяет в особую дисциплину, ибо, с его точки зрения, полная всесторонняя грамматика поглощает лексикон, и по своей природе «словарь не имеет места в системе науки, он в своей организации совершенно не научен и совершенно практичен» [Ibid.: 126].

Таким образом, Шлейхер развел по разным наукам и научным дисциплинам *организм языка* и *его употребление, систему* и *историю*. В этих противопоставлениях можно увидеть прообраз будущих сосюрровских дихотомий. При чем Шлейхер показывает, что *разные аспекты языкового организма, различаясь по степени духовности / природности, соотносятся с лингвистикой и филологией*

неодинаково, так что последние должны опираться друг на друга в изучении языка. «Филология преимущественно имеет дело с более духовной стороной языка, более подчиненной свободному самоопределению индивида, — с синтаксисом, стилем; меньше попадает в филологическую область учение о более природной стороне языка, о его звуках и формах» [Schleicher 1869: 120]. «Через учение о звуках наша наука теснейшим образом связана с анатомией и физиологией» [Ibid.: 126]. «Учение о звуках — продолжение науки о человеческом теле» [Ibid.: 128]. Физиологию звуков Шлейхер называет базисом всей грамматики, прежде всего общей фонологии [Ibid.: 126–127]. Это одна граница языкознания. Другой стороной через синтаксис языкознание граничит с наукой о духе, прежде всего с физиологией. Учение о стиле уже не принадлежит языкознанию. Это наука о духе, историческая, а не естественная [Ibid.: 128].

3. ЯЗЫК КАК МАТЕРИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ

Вслед за Гердером и Гумбольдтом Шлейхер считает, что «только язык делает человека человеком» [Шлейхер 1868: 10]. Более того, язык — «единственный и характеристический признак человечества» [Там же: 14], поэтому «без знания соотношений языков и законов, обуславливающих их развитие, никто не может составить себе удовлетворительного воззрения на природу и сущность человека» [Шлейхер 1864: 2].

Язык основывается «на анатомическом сложении мозга и звуковых органов» [Шлейхер 1868: 7]. «Язык точно так же, как, напр., и походка, есть не что иное, как действие известных частей тела и органов. Язык есть воспринимаемый ухом симптом действия многосложных материальных отношений и качеств в мозге и в звуковых органах с их нервами, костями, мускулами и т. д.» [Там же: 3]. Далее язык определяется как «воспринимаемое ухом какое-то известное качество мозга и звуковых органов — или, лучше сказать, ...как известное качество упомянутых частей человеческого тела» [Там же: 5]. «Что у солнца свет — ...то же самое у языка звук; как там свет свидетельствует о качестве материальной причины этого света, точно так и здесь звук. Материальные отношения, лежащие в основе языка, и слышимое действие этих отношений относятся друг к другу как причина и действие, как вообще сущность и явление. Философ сказал бы, что они тождественны. Поэтому мы вправе считать язык за нечто материально существующее, хотя мы и не можем ни схватить его руками, ни видеть глазами, но почти только воспринимать посредством уха» [Там же: 4].

Из этих высказываний можно как будто заключить, что Шлейхер не сводит язык только к звуковой материи. В предшествующих своих работах он в ряде случаев определяет язык как «звучащее мышление», «мышление вслух» (*lautes Denken*) [Schleicher 1869: 4], рассматривая мышление и звук как два момента, которые образуют язык [Ibid.: 5]. Соответственно в мышлении Шлейхер видит «сторону языка, его содержание, функцию звука» [Ibid.: 6].

С другой стороны, под языком понимается «звуковое членораздельное выражение мышления» [Schleicher 1850: 5–6], «выражение мыслей посредством слов» [Шлейхер 1868: 7], «звуковое отображение», «звуковое тело мысли» [Schleicher 1869: 19].

Иногда оба эти определения употребляются как синонимичные. «Язык есть звуковое выражение мысли, проявляющийся посредством звука мыслительный процесс» [Ibid.: 4]. «Язык есть... звуковое выражение мышления, мышление вслух, как, наоборот, мышление есть беззвучная речь». Что касается чувств, восприятий, волеизъявлений, то их язык прямо не выражает. Он может выразить их лишь опосредованно, в форме мысли: «язык — не непосредственное выражение чувства и воли, но только мысли» [Ibid.: 5]. Это ограничение функций языка у Шлейхера не случайно. Оно тесно связано с пониманием языка как природного организма. Если для Гумбольдта природное в языке — это прежде всего непроизвольное, эмоционально-чувственное начало, то для Шлейхера природное значит в первую очередь закономерное, исключаящее волю и произвол человека.

Первоначально Шлейхер признает, по-видимому, только *вербальное* мышление. «Вся духовная жизнь, насколько она проявляется в форме мышления, нуждается для своего выражения, для своего действительного вхождения в жизнь в языке, так же как дух вообще в теле. Мыслить можно только посредством языка» [Schleicher 1850: 5]. Позднее последняя формулировка становится менее категоричной: «человек только в языке ясно мыслит» [Schleicher 1869: 5]. «Языковой звук имеет, таким образом, задачу или, лучше сказать, функцию донести мысль до выявления, до действительного существования» [Ibid.: 6].

Звуковая сторона языка толкуется чисто физиологически. «Звук есть продукт деятельности наших речевых органов, и его природа и вид, его сочетания и изменения обусловлены свойствами этих органов» [Ibid.: 5–6].

«Мышление — деятельность мозга». В действительности оно едино. Тем не менее в нем могут быть выделены *два* элемента. С одной стороны, это *представления* и *понятия*, которые Шлейхером в отличие от Гумбольдта предполагаются как *имеющиеся* («die wir als vorhanden voraussetzen»). Они образуют *материал* мысли. С другой — *отношения* между понятиями и представлениями, или *форма* мысли. В мышлении оба эти элемента, «естественно, так же нераздельны и всегда одновременно существуют, как вообще форма и содержание» [Ibid.: 6].

«Язык имеет своей задачей создать звуковой образ представлений, понятий и существующих между ними отношений, он воплощает в звуках процесс мышления. <...> Представления и понятия, поскольку они получают звуковое выражение, называют *значением*. Функции звука состоят, следовательно, в значении и отношении. <...> Сущность каждого языка в отдельности обуславливается способом, каким значение и отношение получают звуковое выражение» [Шлейхер 1964б: 110–111], т. е. *формой*. Она зависит от того, *выражены отношения в слове или нет, а если выражены, то какое положение* «занимают относительно друг друга выражение значения и выражение отношения» [Там же: 111]. При установлении

формы Шлейхер исходит из того, что «только такие функции в языке действительно существуют, которые имеют звуковое обозначение» [Schleicher 1869: 11]. «Отношение само никогда не отсутствует, хотя оно может остаться невыраженным в звуке». В этом случае для выражения отношения используются порядок слов в предложении, выделение, подчеркивание в речи, жесты [Schleicher 1850: 7]. Помимо звука, формы и функции Шлейхер выделяет в языке еще один, четвертый, момент — строение предложения.

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

Вопрос о происхождении языка Шлейхер выводит за пределы лингвистики [Schleicher 1850: 13–14] — *в антропологию* [Schleicher 1869: 38]. Тем не менее он считает необходимым высказать свое отношение к древним гипотезам плоттогенеза. В частности, он не может согласиться с тем, будто «язык есть или изобретение отдельного человека, или сообщен ему извне». Во-первых, *язык — не результат одновременного акта создания*, он является «продуктом постепенного развития по определенным законам жизни». Во-вторых, *возникновение языка как явления материального нельзя рассматривать изолированно от развития человека, его мозга и речевых органов*. «Если язык обуславливается материальным строением тела человеческого, то следует допустить, что язык произошел и образовался мало-помалу вместе с развитием мозга и звуковых органов; язык есть не что иное, как симптом этого развития». Развиваясь из низших форм, человек стал человеком «только вместе с образованием языка» [Шлейхер 1868: 10]. В-третьих, невозможность изобретения языка объясняется *неразрывным единством языка и мышления*: «мышление и язык столь же тождественны, как содержание и форма. Существа, которые не мыслят, не люди; становление человека начинается, следовательно, с возникновения языка, и обратно — с человеком возникает язык» [Schleicher 1869: 40] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 114]). Значит, изобретатель языка должен был уметь мыслить. А так как, по Шлейхеру, мыслить можно лишь средствами языка, то, следовательно, изобретая язык, человек уже не только мыслил, но и говорил [Schleicher 1869: 39]. В-четвертых, изобретение языка означало бы его зависимость от произвола изобретателя, а это противоречит *органическому характеру языка*. Отсюда вывод: «человек так же мало способен изобрести язык, как розу или соловья» [Ibid.: 40].

Итак, *язык имеет естественное происхождение*. «...Простейшие по своему строению языки произошли постепенно из звуковых ужимок и звукоподражаний, которыми обладают уже животные» [Шлейхер 1868: 9]. Почему человек именно в звуках (а не в жестах, например) выражает свои представления и понятия, этот вопрос Шлейхер относит скорее к философии, чем к языкознанию [Schleicher 1869: 44–45].

В жизни человечества Шлейхер выделяет три больших периода развития: 1) период развития телесного организма в его существенных чертах; 2) период образования и развития языка и одновременно становления самого человека («языки

образовались только в том периоде, когда человек сделался человеком» [Шлейхер 1868: 11]); 3) период исторической жизни [Там же: 13]. Первый период — самый продолжительный, последний — пока самый короткий [Шлейхер 1864: 13; 1868: 13]. Переход от одного периода к другому совершается постепенно, причем в разных местах не в одно и то же время. В частности, в третий период многие народы, по-видимому, еще не вступили [Шлейхер 1868: 13–14]. Последние два периода — образование языка и история — охватывают всю совокупность духовного развития. Это «отдельные деятельности человеческого духа» [Schleicher 1850: 12], в которых проявляется сущность человека вообще и каждой народности в частности. «Язык и история народа вместе дают понятие его национальности» [Schleicher 1869: 37]. «Образование языка и история — сменяющие друг друга деятельности человека, два способа проявления его сущности, которые никогда не осуществляются одновременно, но из которых первое всегда предшествует второй» [Ibid: 35]. «Народ мог вступить в историю, только уже завершив, создав свой язык» [Schleicher 1850: 12], ибо «историческое существование народа без языка невозможно, ...историческая жизнь предполагает существование языка» [Schleicher 1869: 35] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 113]). Поэтому «на заре истории мы находим язык уже готовым» [Schleicher 1850: 12]. «Как только народ вступает в историю, образование языка прекращается. Язык застывает на той ступени, на какой его застаёт этот процесс, но с течением времени язык все более теряет свою звуковую целостность» [Schleicher 1869: 36] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 113]) и происходит его распад. Новые языки в этот период (исторический) не образуются.

Таким образом, жизнь самого языка распадается на *доисторический период образования и развития языка* и *исторический период его распада* [Schleicher 1850: 13; 1869: 37]. «Тем самым жизнь языка не отличается существенно от жизни всех других живых организмов — растений и животных. Как и эти последние, он имеет период роста от простейших структур к более сложным формам и период старения, в который языки всё более и более отдаляются от достигнутой наивысшей степени развития и их формы терпят ущерб» [Schleicher 1869: 37] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 114]). Соответственно меняется и функциональный статус языка. В доисторический период язык — цель духовной жизни, в исторический — это лишь ее средство, средство обмена мыслями [Schleicher 1869: 64].

Жизнь языка как природного организма совершается по определенным законам, сближающим его с остальным органическим миром. Подобно другим природным организмам, «языки изменяются, пока они живут» [Шлейхер 1864: 9]. Эти изменения постоянны и непрерывны, постепенны и медленны [Там же: 3, 6, 13]. «Предполагать внезапные языковые изменения противоречило бы всему, что мы знаем о жизни языка и организмах вообще» [Schleicher 1869: 42].

Доисторический период. Языки живут и изменяются во времени и в пространстве. Действие на язык *пространственного фактора* наиболее существенно

в доисторические времена, в период образования и роста языкового организма. Всё живое: флора, фауна и сам человек — зависит от среды обитания. Зависит от нее и образование языков. Шлейхер объясняет это тем, что «развитие органов, обуславливающих язык, зависело от известных определенных отношений» [Шлейхер 1868: 12–13]. «Звуки языка, т. е. звуковые образы представлений, полученных мыслительным органом посредством чувств и понятий, образованных в этом органе, у различных людей были различны, но, по-видимому, в основном однородны, а у людей, живущих в одинаковых условиях, тождественны» [Schleicher 1869: 40] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 114]). Как полагал Шлейхер, «язык образовывался однородно у людей совершенно однородных. <...> При других условиях иначе образовались и языки, и, по всей вероятности, различие языков находилось в прямом отношении к различию жизненных условий людей вообще» [Шлейхер 1864: 12]. Поэтому «невозможно установить общий праязык для всех языков, скорее всего существовало множество праязыков» [Шлейхер 1964а: 108]. В пользу такого предположения свидетельствуют свойства ныне живущих языков, значительность языковых различий, касающихся звуков и их отношения к функциям [Schleicher 1869: 38]. Если языки складывались под влиянием жизненных условий, то «первоначальное распределение языков на земле происходило, вероятно, со строгою законностью; языки соседних народов были более сходными, чем языки людей, живших в разных частях света» [Шлейхер 1864: 12].

«И в позднейшей жизни языка обнаруживается аналогичное явление: в основном одинаковые и живущие в одних и тех же условиях люди изменяют свой язык тождественным образом» [Schleicher 1869: 40] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 114]). В частности, происходившие в доисторические времена языковые деления [Schleicher 1869: 29] Шлейхер также связывает со средой обитания. «Посредством различного развития в разных областях своего распространения один и тот же язык распадается на несколько языков (диалектов, говоров)... Этот процесс дифференциации может повторяться многократно» [Шлейхер 1964а: 108]. Так образуется *языковое дерево* и возникают родственные языки. Причем ввиду *неравномерности* развития отдельных языковых ветвей «одни имеют более многочисленные и частые деления, чем другие» [Schleicher 1869: 27] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 112]).

Не менее отчетливо неравномерность развития обнаруживается в образовании языковых форм, которое также происходит в доисторический период. *Как и другие природные организмы, язык развивается в направлении от простого к сложному, от низших форм к высшим.* «Даже простейшие языки есть результат постепенного процесса становления» [Шлейхер 1964а: 108]. «Все более организованные языки... произошли посредством постепенного развития из более простых форм» [Шлейхер 1864: 10]. Аналогично тому, как общей первоначальной формой растительных и животных организмов оказывается простая клеточка, простейшей формой праязыков является *корень* [Там же: 11], причем корень, выражающий конкретное представление [Schleicher 1869: 45]. Иными словами, праязыки имели изолирующий строй. «Все высшие формы языка возникли из более простых: агглютинирующие

из изолирующих, флективные из агглютинирующих» [Шлейхер 1964а: 108], но так, что каждая более высокая ступень развития отражает ранние ступени. В результате агглютинация содержит в себе изоляцию, а флексия — агглютинацию и изоляцию как снятые моменты [Schleicher 1850: 14].

При одинаковой первоначальной форме *не все языки прошли все три стадии развития* — от изоляции к агглютинации и от нее к флексии. Это обусловлено тем, что, как в органической жизни вообще, «с самого начала в языках существуют различные потенции развития; одни языки обладают большей способностью к более высокому развитию, чем другие» [Schleicher 1869: 41] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 115]). Поэтому одни языки остановились в своем развитии на первой ступени, другие (их большинство) — на второй, и лишь немногие, а именно индогерманские и семитские, достигли третьей, высшей ступени [Schleicher 1869: 46]. Только эти последние, языки флективного строя, прошли все три ступени языкового развития [Schleicher 1850: 14]. Соответственно, форма слова в них последовательно усложнялась. Например, в индогерманском она развивалась от R к R+г (промежуточная ступень), далее Rs и, наконец, R^s (здесь R — корень, г — вспомогательный корень, s — суффикс, R^s — модифицируемый корень) [Schleicher 1869: 46–47].

Так как «каждый период оставляет своих представителей, ...последовательность (das Nacheinander) истории превращается в рядоположность (das Nebeneinander) системы» [Schleicher 1850: 15, а также: Schleicher 1869: 47] и «доисторическое развитие вполне адекватно системе» [Schleicher 1850: 14]. *Класс в системе языков, момент в понятии языка — это вместе с тем период в становлении языка.* То, что в понятии оказывается одним из координированных моментов, а в системе предстает как ее часть, сосуществующая рядом с другими, то в становлении выступает одним из периодов, следующих друг за другом. Тот же закон действует в ряду природных организмов. «Кристалл, растение, животное точно так же обозначают моменты в понятии организма, подразделения в системе природных существ, как и эпохи в развитии земли» [Ibid.: 10].

Исторический период. В период исторической жизни человечества *новые языки не образуются.* Более того, «в историческое время виды и роды языков постоянно исчезают и другие распространяются на их счет» [Шлейхер 1864: 13], причем *в этой борьбе за существование, как и в природе, сохраняются более развитые организмы,* т. е. преимущественно индогерманские языки. Историческая жизнеспособность народа, по мнению Шлейхера, связана с его языком: «известные народы, и между ними преимущественно индийские (индейские. — Л. З.) племена Северной Америки, уже по причине их языков, беспредельно многосложных и запутанных, в формах, так сказать, расплодившихся, не способны к исторической жизни и поэтому уже хилеют, даже исчезают» [Шлейхер 1868: 14].

«Вследствие огромного вымирания языков погасли некоторые посредствующие формы, вследствие переселений народов изменялись первоначальные условия языков, так что ныне нередко языки весьма различной формы являются соседями по местности, не имея посредствующих между собою звеньев» [Шлейхер 1864: 14].

В результате первоначальные лингвогеографические отношения разрушились, появились «многочисленные аномалии в распределении языков на Земле, но особенно в Азии и Европе», так что теперь «можно видеть не более чем остатки первоначальных законов распределения» [Schleicher 1869: 44].

Жизнь сохранившихся языков осложняется влиянием на них истории народа. Так как язык и история народа есть способ проявления одной и той же сущности — деятельности духа, то *между языком и историей народа имеется непрерывная связь* [Ibid.: 37]. «Можно даже объективно доказать, — пишет Шлейхер, — что история и развитие языка находятся в обратных отношениях друг к другу. Чем богаче и сложнее история, тем скорее происходит распад языка, и чем беднее, медленнее и устойчивее первая, тем более верным себе остается язык» [Ibid.: 35] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 113]). Народы, имевшие богатую, динамичную историю, например новые культурные народы индогерманского племени (романские, германские, особенно английский), во многом утратили былое совершенство своего языка. Если народ не имел богатой истории, язык лучше сохраняет первоначальную форму. Таков, например, литовский язык. «Значительные исторические движения имеют следствием особенно разительные изменения языка» [Schleicher 1869: 36]. В частности, «великие эпохи в истории имеют следствием быстрый распад языка». Это связано еще и с тем, что в бурях истории различные народы часто вступают в очень тесные контакты, происходит перемещение народов и т. п. [Schleicher 1850: 16].

И все же *не внешние факторы играют определяющую роль*. «Распространенная гипотеза, будто изменения языка происходят главным образом под влиянием языков других народов, с которыми он близко соприкасается в динамичные периоды истории, может быть признана верной только с очень большими ограничениями. Изменения, которые происходят в языках путем заимствования чужих слов, даже чужих аналогий, исчезающе незначительны по сравнению с теми весь язык преобразующими процессами, которые по необходимости происходят изнутри» [Schleicher 1869: 36]. Дело в том, что и в этот период язык не зависит от волеизъявления людей. Хотя в истории действует наделенный волей человек, исторические события и особенно влияние литературы могут лишь ускорить или замедлить распад языка, но не больше, ибо *распад языков в исторический период находится вне свободного волеизъявления и имеет свои причины в природной сущности человека*. Поэтому он распространяется на все языки [Schleicher 1850: 19], «нигде не видим мы развития, дальнейшего образования языковых форм, напротив, нам представляется только зрелище языкового разрушения»¹. Впрочем, замечает тут же Шлейхер,

¹ Представление о порче и разрушении языка, как показали, в частности, И. И. Срезневский и А. А. Потебня, возникает тогда, когда исследователи отрывают развитие языка от развития человеческого мышления, а в самом языке форма отрывается от значения. Функциональный подход к языку приводит Срезневского к иной, чем у Шлейхера, оценке происходящих изменений: «Нельзя не назвать этот период периодом превращений, хотя никак нельзя согласиться, что это порча языка, — напротив, скорее это развитие, только уже не самого языка в его

«мы говорим, естественно, лишь о звуковой материи языков, но не об их функциях и не о строе предложения» [Schleicher 1869: 34], хотя одновременно с распадом языка в отношении звуков и форм «происходят значительные изменения в функциях и строении предложения» [Шлейхер 1964а: 108].

«Как развитие языков, так и их распад протекает по определенным законам» [Schleicher 1869: 47], и *эти законы универсальны*, ибо сама природа человека везде одинакова.

Звуковые изменения толкуются нередко чисто механистически. Их движущей силой является, согласно Шлейхеру, «удобство произношения, экономия мускульной деятельности», «сила инерции» [Ibid.: 50]. У гласных это выражается в тенденции ослабить контраст при переходе от одной артикуляции к другой путем развития в поздних языках промежуточных членов между первоначальными простыми гласными а, і, и. Изменения согласных зависят от их качества и положения в слове. Наиболее устойчивы согласные г, л, м, н; сильнее и легче изменяются к, т, р, г, д, б; еще менее устойчивы s, v, j. Самое устойчивое положение согласных — в начале слова, самое неустойчивое — в конце, где сила речевых органов наислабейшая и потому согласные, гласные и даже целые слоги, если они безударны, ослабляясь, могут и вовсе отпасть [Ibid.: 50, 55, 59–60]. «...Все эти явления действуют только через наши речевые органы, а последние в сущности одинаковы у всех людей» [Ibid.: 55]. «Определенные звуко сочетания изменяются в различных языках совершенно одинаково; совершенно идентичные звуковые искажения в течение времени можно наблюдать в односложных (изолирующих. — Л. З.), агглютинирующих и флективных языках. Это на первый взгляд действительно поразительное явление находит, впрочем, свое полное объяснение в физиологических свойствах человеческих речевых органов, которые везде одинаковы» [Schleicher 1850: 17].

Поскольку в большинстве языков элементы, выражающие грамматические отношения, закреплены за концом слова [Schleicher 1869: 60], отпадение конечных звуков приводит к совпадению первоначально различных форм, так что *число грамматических форм сокращается*. «Впрочем, уже в более древние языковые периоды, в то время когда звуки еще устойчивы, ощущается действие силы, которая враждебно воздействует на многообразие форм и ограничивает ее всё более и более самым необходимым. Это — выравнивание хотя и обоснованных в своем своеобразии, но менее употребительных в языке форм применительно к более употребительным и потому находящим в языковом чувстве более сильную опору, иными словами, а н а л о г и я» [Ibid.: 60–61] (цит. по: [Шлейхер 1964б: 115]). «Кроме влияния аналогии нельзя не видеть в языках также стремления к упрощению языковой формы, к ограничению числа форм» [Schleicher 1869: 62] — падежей, чисел, времен и т. п. В результате всех этих процессов «позднейшие языки

материальной форме, а мысли, выражающейся в языке. Какое же право имеем мы назвать этот язык испортившимся, когда он остался прекрасным, сильным, точным выражением мысли?» [Срезневский 1959: 99].

обладают меньшим количеством форм, чем более ранние, и строение языков с течением времени всё больше упрощается» [Schleicher 1869: 61] (цит по: [Шлейхер 1964б: 116]).

Эти изменения необъяснимы чисто физиологически, так как «свойства речевых органов, затрата мускульной деятельности при произнесении звуков во все времена одинаковы» [Schleicher 1869: 63]. *Определяющую роль в указанном упрощении играет функциональная сторона языка, а именно чувство функций слова и его частей*, или, иначе, языковое чувство [Ibid.: 65]. В доисторический период, когда формы только появлялись, создававшие их люди, естественно, вполне осознавали их функцию. Это чувство функции сохранялось еще долгое время и после образования языка, предохраняя формы слова от разлагающего влияния звуковых законов. Но постепенно чувство функции становилось всё слабее, пока, наконец, почти совсем не угасло. Тогда вступили в силу звуковые законы. «Чем дольше живут народы, чем живее развиваются они исторически, тем больше удаляются они от своего доисторического состояния, т. е. тем больше высвобождается дух из языка, из звука, в котором он когда-то только и жил, тем больше язык, сам бывший когда-то целью жизни духа, становится лишь ее средством, средством обмена мыслями. Теперь уже говорящему не важно, как образовано слово, ему достаточно знать его функцию в целом...; чувство, что эта функция — лишь равнодействующая функций отдельных частей..., исчезает. ...Поскольку одна часть не ощущается больше как корень, а другая — как звук, выражающий отношение, звуки обоих — там, где они соприкасаются, — начинают воздействовать друг на друга... Теперь, когда в слове... никакое членение не может больше ощущаться, процесс упрощения неудержимо идет дальше» [Ibid: 64–65]. «Таким образом, языковое чувство — ангел-хранитель языковой формы. По мере того как оно слабеет и, наконец, совсем исчезает, происходит звуковая порча слова. Языковое чувство и целостность звуковой формы стоят, следовательно, в прямых отношениях друг к другу, а языковое чувство и звуковые законы, аналогия, упрощение языковой формы — в обратных» [Ibid.: 65].

Отсюда Шлейхер делает вывод чрезвычайной важности: «Функция, таким образом, не только в период развития, но и в период старения языка есть его глубочайшее ядро, от жизни которого зависит рост и сохранение звукового тела. Изменения, которые происходят с функцией языков в течение времени, так же значительны, так же далеко заходят, как идущее рядом с ними изменение звуковой формы». Важнейшее из этих изменений — угасание функции звуков, выражающих отношения [Ibid.: 66].

Изменения синтаксического строя Шлейхер рассматривает как компенсирующие потерю грамматических форм [Ibid.: 67]. Это, по-видимому, может свидетельствовать о понимании им целостности языковой системы. В частности, предложение может служить средством возмещения утраченных словесных образований. «Нагрузку, которую несли раньше звуки, выражающие отношения (*Beziehungslaute*),

теперь должны взять на себя относительные слова (*Beziehungsworte*); функцию, которую прежде имело одно слово, теперь берут на себя несколько слов» [Schleicher 1869: 69]. В результате древние синтетические языки становятся аналитическими.

Возрастает роль порядка слов. Пока язык располагает грамматическими формами, сплоченность слов в составе предложения легко распознается в них самих. Поэтому порядок слов может быть свободным и изменяться, если необходимо сильнее выделить то или другое слово. Прочно закрепленные за определенным местом служебные (вспомогательные) слова или отсутствуют, или немногочисленны. Позднее порядок слов в предложении становится более твердым и, наконец, почти неизменным, ибо только таким образом может быть достигнуто правильное понимание [Ibid.: 70–71].

В результате всех этих изменений флективные языки, на первый взгляд, как будто уподобляются изолирующим (параллель между английским и китайским языками проводится довольно часто). Однако Шлейхер отрицает возможность превращения языков высших ступеней развития в низшие, т. е. переход от флексии и агглютинации к изоляции исключается. Даже в наиболее деградировавших флективных языках при сильнейшем стирании окончаний изменение корня, которое Шлейхер и называет флексией, сохраняется и никогда полностью не исчезает. Современные изолирующие языки, например китайский, не являются результатом распада более совершенного языкового организма и никогда не смогут достигнуть более высокой ступени развития, так как «образование языков может иметь место только в доисторический период». Таким образом, круговорот в развитии языка — от изоляции к флексии и обратно от флексии к изоляции — Шлейхер считает противоречащим всему тому, что известно из опыта. В действительности *возможно только одно направление непрерывного изменения языка* [Ibid.: 71].

5. ПРИРОДА МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ РАЗЛИЧИЙ

В определении природы языковых различий Шлейхер тоже расходится с романтиками. Он видит ее *не в духовной, а в материальной стороне человека*.

Если «язык — признак человека как человека», то «разные оттенки языка суть характеристические признаки разных оттенков человека» [Шлейхер 1868: 9]. Как тончайший, высший признак, свойственный исключительно человеку, *язык может служить основанием для классификации человечества* [Там же: 8–9]. «Естественная система языков, — пишет Шлейхер, — по моему убеждению, есть в то же время и естественная система человечества» [Там же: 8]. И в этом убеждении он не одинок. За много лет до него сходные идеи были высказаны Р. Раском [Кузьменко 1984: 44].

Поскольку же язык как «единственный исключительный признак человека» основывается на материальных свойствах тела, а именно «на анатомическом сложении мозга и звуковых органов» [Шлейхер 1868: 7], то и «разность в языках, —

предполагает Шлейхер, — зависит от таковых же мельчайших различий в качестве мозга и звуковых органов» [Шлейхер 1868: 4].

Допустив, что «язык произошел и образовался мало-помалу вместе с развитием мозга и звуковых органов» [Там же: 10], Шлейхер считает, что «человек только тогда научается совершенно чужому языку, если он смолоду променяет свой природный язык на другой. Но через это он становится другим человеком; мозг и звуковые органы у него образуются в другом направлении» [Там же: 5]. Взрослый человек не может в совершенстве овладеть чужим языком, в особенности если это язык другой языковой семьи.

В свою очередь, *образование материально различающихся «оттенков человека» обусловлено материальными условиями жизни.* «Чем различнее были внешние условия, под которыми человек развился до человека, тем различнее могли образоваться и языки». И наоборот, *сходству условий соответствует сходство языков.* Не случайно, несмотря на значительные нарушения первоначальных лингво-географических отношений вследствие войн, переселений и т. п., «языки целых частей земли, при всем своем различии, однако же являют в характере сходство подобно флорам и фаунам целых стран земли», а именно в географически близких языках разных семей проглядывают черты одного общего типа [Там же: 12]. «Даже в азиатско-европейской части света, условия языков которой столь изменены историческими судьбами, нельзя не узнать групп, в сущности, сходных племен языков. Индогерманский, финский, турецко-татарский, монгольский, маньчжурский, как и деканский (тамульский и др.), все обнаруживают, напр., суффиксное (приставочное) строение, т. е. все образовательные элементы, все выражения отношений прибавляются в них к концу корня, а не к началу, и не вставляются в середину корня» [Шлейхер 1864: 12]. «Это разительное согласование в строении географически соседних племен языков, — пишет Шлейхер, — мы считаем явлением самой ранней жизни языка» [Там же: 13]. Можно предполагать, что «развитие органов, обуславливающих язык, зависело от известных определенных отношений», что «сходные языки произошли независимо друг от друга в областях соседних и существенно одинаковых и что в других частях земной поверхности развились типы языков другого рода» [Шлейхер 1868: 12–13].

С удалением от исходного пункта «природные организмы изменяются и постепенно становятся всё более непохожими на те, что в исходном пункте. В языковых организмах проявляется тот же закон» [Schleicher 1869: 42–43]. «По мере удаления языков от исходного языка, они должны были всё более и более уклоняться от него, так как вместе с удалением изменяются и климат, и жизненные условия вообще» [Шлейхер 1864: 12]. Это относится как к родственным языкам, так и к неродственным. Таким образом, *сходство соседних языков*, по Шлейхеру, — не результат сближения, приспособления языков друг к другу, их конвергенции в ходе речевого общения под влиянием политических, экономических и культурных связей контактирующих народов, а *изначальное следствие сходных природных условий.* Такое решение проблемы лингвогеографических отношений

вполне согласуется и с принятым определением языка как природного организма, и с выведением вопросов употребления языка как средства общения за пределы языкознания.

Языковые различия в географически сходных условиях носят прежде всего генетический характер: праязыков столько, сколько распознаваемых племен (а значит, и «оттенков человека»). Последующее *образование видов* (виды же языков, как и других природных организмов, непервозданны) происходит путем различного изменения праязыка в различных областях расселения, т. е. опять-таки *в зависимости от жизненных условий*. То же относится к дальнейшему последовательному расщеплению языков-основ, вычленению языков, диалектов и поддиалектов [Шлейхер 1864: 7].

Типологические различия между языками также *вторичны*: первоначально все языки принадлежали к одному типу.

Из четырех выделенных сторон языка (звуки, формы, функции, строение предложения) *за основу разделения языков на классы (типы) Шлейхер принимает форму*, ибо «в форме прекрасно раскрывается сущность языка» [Schleicher 1869: 11]. Причем, в отличие от Гумбольдта, Шлейхер ограничивается *формой слова*, строение предложения не учитывается (этим объясняется изъятие Шлейхером инкорпорирующих языков из системы классов).

Понимая под языком звуковое выражение мысли, Шлейхер при характеристике того или иного формального класса исходит из того, *насколько точно данный класс воплощает в звуках процесс мышления* — представлено ли в языке звуковое выражение *обеих* составляющих мысли (т. е. не только понятий и представлений, но и отношений) и как они выражены (так же *слитно*, как в мысли, или *раздельно*). Благодаря такому подходу — явно под влиянием Гумбольдта — в классификации Шлейхера формальный аспект сливается с функциональным.

Стремясь к универсальности, Шлейхер пытается исчислить все теоретически возможные формы морфологической структуры слова. «Мы должны... установить, — пишет Шлейхер, — какие звуковые элементы должен иметь язык, т. е. каков наименьший размер его звуковой словесной формы, какие элементы может он иметь и каким образом могут они менять свое место и входить в сочетания. Встречаются ли эти формы и какие из них в действительности, нас пока совсем не касается» [Agens 1974, 1: 255]. Установленные таким образом *формы сводятся к трем основным классам*, не считая переходных. Полученная *формальная классификация совмещается у Шлейхера со стадильной*. Это становится возможным потому, что в противоположность Гумбольдту Шлейхер отрицает действие в языке непредсказуемого творческого начала. Ограничившись анализом внешних, грамматических форм, он считает языковое развитие строго закономерным. Все языки постепенно развиваются от простого к сложному. Но при этом различные языки обладают почему-то неодинаковой способностью к развитию, вследствие чего *Система оказывается отражением Становления*. Это позволяет Шлейхеру дать исчисление классов в порядке их предполагаемого появления. Сам же порядок

совпадает с этапами развития грамматических форм по Гумбольдту [Гумбольдт 1984: 315–316, 343–344].

«Самая старшая форма языков была повсюду в сущности одна и та же. <...> Самые древние стихии, из которых состояли первоначальные языки, суть звуки, означавшие представления и понятия... На этой первоначальной ступени еще нет выражений для отношений, т. е. части речи еще не различались; глаголов, имен, склонения и спряжения и т. д. еще не было» [Шлейхер 1868: 10–11]. Морфологически сходные по форме первые элементы различались в трех отношениях: 1) в звуках, 2) в понятиях и представлениях, которые выражались звуками, 3) в способности к развитию [Там же: 11]. При обсуждении характера связи между звуком и значением Шлейхер указывает, что «общая необходимость, обусловленность звука значением или отношением достоверно не обнаруживается, даже в одном и том же языке для одного и того же значения часто имеется совершенно различное звуковое выражение». «Наоборот, те же самые звуки обозначают совершенно различное даже в одном и том же языке» [Schleicher 1869: 8].

В зависимости от *способности к развитию* одни языки остановились на данной низшей ступени, другие развились в меньшей или большей степени. Соответственно, наряду с первичным изолирующим (= односложным) типом Шлейхер выделяет еще два — агглютинирующий и флективный. В результате языки стали различаться также и по форме.

Поскольку для звукового выражения мысли в языке обязательно обозначение представлений и понятий, но не отношений, основным критерием классификации является наличие или отсутствие звукового выражения отношений. Содержание этого критерия, так же как характер и количество других типологически значимых признаков, в работах разных лет не было одинаковым.

Первоначально учитывались два признака — *отсутствие / наличие выражения отношений в слове и степень его единства* (табл. 1).

Таблица 1

Признаки	Классы языков		
	односложные (изолирующие)	агглютинирующие	флективные
Выражение отношений в слове	–	+	+
Единство слова	+	–	+

По первому признаку односложные языки противопоставляются агглютинирующим и флективным, так что последние два класса друг к другу ближе, чем к первому [Schleicher 1850: II, 10]. О различии между агглютинирующими и флективными языками с точки зрения выражения отношений не упоминается. По второму

признаку агглютинирующие языки отличаются от односложных и флективных, но и между сходными классами имеется разница. «Односложный язык состоит только из корней, из звуков значений, которые содержат отношение имплицитно, в себе». «...Единство понятия, представления отражается также в звуковом единстве (слог). Слово здесь еще не членимо» и образует строгое единство наподобие кристалла [Schleicher 1850: 7]. В агглютинирующих языках отношения выражены путем более или менее свободного присоединения к неизменяемым корням соответствующих звуков, также восходящих к корням. «Во всех этих языках слово членился на части (отличие от первого языкового класса), но эти части не сливаются прочно в одно целое (отличие от следующего класса)» [Ibid.: 8–9]. Слово оказывается соединением нескольких словесных индивидов и напоминает растение. Выше всего на шкале языков стоят флективные. В них «значение и отношение получают свое звуковое выражение и единство слова тем не менее сохраняется», причем это единство в разном образии членов, сходное с единством животного организма, и потому более высокое, чем в односложных языках [Ibid.: 9]. Следует особо оговорить, что, когда речь идет о степени слияния элементов слова в агглютинирующих и флективных языках, имеется в виду взаимодействие экспонентов отношений с корнем и между собой [Schleicher 1850: 8; 1869: 21].

В более поздних работах Шлейхер, уточнив первый признак, стал различать выражение отношений в слове с помощью разного рода «приставок» и «вставок» — префиксов, суффиксов, инфиксов, с одной стороны, и выражение отношений в самом корне путем его модификации — с другой. Последнее (в отличие от первого) свойственно только флективным языкам и отсутствует в агглютинирующих. Таким образом, уже по выражению отношений оказываются разграниченными все три класса, но особенно изолирующие и флективные (табл. 2).

Таблица 2

Выражение отношений	Классы языков		
	изолирующие	агглютинирующие	флективные
С помощью «приставок» и «вставок»	–	+	+
Путем модификации корня	–	–	+

Соответственно меняется степень слияния значащих элементов друг с другом — от наименьшей в изолирующих языках до наибольшей во флективных. Агглютинирующие языки и в этом случае оказываются промежуточным классом. В изолирующих языках, если отношения выражаются с помощью относительно самостоятельных корней с более общим абстрактным значением [Arens 1974, 1: 255], последние свободно присоединяются к определяемым корневым словам. Именно благодаря этой раздельности элементов языки данного типа называются

изолирующими [Schleicher 1869: 13–14]. В *агглютинирующих языках* выражения отношений теснее срastaются с определяемым корнем и между собой. В результате они, как правило, утрачивают в большей или меньшей степени первоначально полную звуковую форму и сокращаются. «...Однако выражения отношения идут рядом с выражениями значений всё же более или менее несвязанно» [Ibid.: 17]. Во *флективных языках* в модифицируемом корне выражение значения сливается с выражением отношения. Одновременно происходит глубокое слияние корня с «приставками», и благодаря тесному взаимодействию частей слова друг с другом достигается его наиболее прочное единство.

Вследствие указанных различий в форме слова *языки выделенных классов выполняют задачу звукового выражения мысли с разной степенью совершенства. Изолирующий язык* из-за отсутствия выражения отношений «дает не полную картину мыслительного процесса, а только аббревиатуру, намек на него». *Агглютинирующий язык* несовершенен по другой причине, а именно ввиду раздельного выражения значения и отношения и недостатка их единства в слове. Поскольку же «в действительном мышлении одно с другим одновременно предполагается», то и в агглютинирующем языке «мы также не имеем верного изображения мысли в звуке» [Ibid.: 17]. Присущее мышлению внутреннее слияние материала (понятий и представлений) и формы (отношений) в языке «возможно только тогда, когда звук значения, сам корень, может стать регулярно изменяемым с целью выражения отношения» [Ibid.: 19]. «Эта возможность символически обозначать отношение в самом корне, а не с помощью примыкающих первоначально самостоятельных элементов, составляет особенность флексии. Только теперь, при символическом обозначении отношения, задача языкового образования — порождение точного звукового отражения мышления — может рассматриваться как полностью решенная» [Ibid.: 21].

Остальные признаки менее показательны в функциональном отношении. Они либо вытекают из первого (так, положение экспонента отношения внутри корня, естественно, возможно только в агглютинирующих и флективных языках), либо служат не для дифференциации классов, а для разграничения отдельных языков внутри класса. Как показывает, в частности, сравнение индогерманских языков с семитскими, языки одного класса могут различаться звуковой формой корня; положением относительно него — до или/и после — выражения отношения (будь то абстрактное слово общего значения либо «приставка»); с точки зрения использования одного или нескольких способов выражения отношения; по числу возможных форм слова, а также функций [Ibid.: 8, 22–26].

ГЛАВА ПЯТАЯ

А. А. ПОТЕБНЯ

Лингвистическая концепция крупнейшего украинского ученого Александра Афанасьевича Потебни (1835–1891) является образцом последовательно исторического подхода к языку.

Вторая половина XIX в. совпала с расцветом сравнительного и исторического языкознания, с одной стороны, и утверждением психологического направления в теоретическом языкознании — с другой. И то и другое оказало прямое воздействие на лингвистические взгляды Потебни, проникнутые духом историзма и психологизма. Из них ведущим является принцип историзма, который пронизывает всё творчество Потебни. Его фундаментальный труд «Из записок по русской грамматике» стал значительным вкладом в разработку сравнительно-исторического метода, прежде всего в области синтаксиса. Идеи психологизма в учении Потебни формировались главным образом под влиянием основоположника психологического направления, создателя этнопсихологии Г. Штейнталя. Вслед за ним Потебня берет за основу ассоциативную психологию И. Ф. Гербарта. Особенно широко он пользуется понятием апперцепции, определяя ее как «участие известных масс представлений в образовании новых мыслей» [Потебня 1976: 126].

В своей лингвофилософской концепции, достаточно полно изложенной уже в раннем труде «Мысль и язык» (1862), А. А. Потебня, как и В. Гумбольдт, исходит из единства мира, человека и языка. Поэтому и основную задачу истории языка он видит в том, чтобы «показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе» [Там же: 171].

Философские корни лингвистических воззрений Потебни, и в частности его учения о слове, можно видеть прежде всего в материалистической по своей основе сенсуалистической гносеологии Дж. Локка [Потебня 1981: 119–122].

Другой источник учения Потебни — немецкая классическая философия, в первую очередь в лице В. Гумбольдта. Опираясь на идею активности человеческого сознания, Потебня развивает учение Гумбольдта о языке как деятельности и образующем органе мысли, о его творческом характере, о противоречивом единстве в языке субъективного и объективного, индивидуального и социального начала.

На основе указанных принципов сенсуалистической гносеологии, деятельностного подхода, историзма и психологизма Потебня выступает против отождествления грамматики и вообще языкознания с логикой, отвергает метафизический взгляд на язык как «на готовую уже вещь», как на средство выражения готовых мыслей, не зависящих от языка, как на внешнее проявление только неизменных общечеловеческих форм мысли [Потебня 1976: 35–56] и формулирует ряд определений языка, которые, характеризуя его с разных сторон, взаимно дополняют друг друга.

Генетически язык — одна из форм мысли, знаменующая собой переход от бессознательности к сознанию и, далее, к самосознанию.

С функциональной точки зрения язык — это прежде всего средство познания человеком мира и самого себя, а потому и средство общения.

Форма существования языка — полнейшее творчество, деятельность, направленная к познанию, слагающая мирозерцание и самосознание человека.

По своему строению язык — система знаков, способная к безграничному расширению.

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Предмет и структура языкознания. В определении предмета и структуры языкознания Потебня исходит из понимания языка как формы и из разработанной им концепции языкового содержания, которая сложилась под явным влиянием учения Гумбольдта о внутренней форме языка. Разграничивая языковое и внеязычное (мыслительное) содержание, Потебня считает первое способом представления второго, его формой, но только не внешней (звуковой), а внутренней. Поскольку же предметом языкознания может быть, разумеется, лишь собственно языковое (= формальное) содержание, то «с такой точки зрения в языке нет ничего, кроме формы внешней и внутренней» [Потебня 1958: 47].

Соответственно в языкознании выделяются 2 дисциплины: 1) фонетика, рассматривающая внешнюю форму, и 2) учение о значении, точнее — учение о внутренней форме. Вследствие единства обеих форм фонетика изучает звуки, «предполагая их знаменательность» (выделено мною. — Л. З.), но не останавливаясь на ней», а учение о значении, в свою очередь, *предполагает звуки* [Там же: 47].

В области внутренней формы Потебня различает далее представление содержания и представление формы, в какой оно мыслится. Исходя из этого, учение о значении разделяется на учение о вещественном значении и учение о грамматических формах. «Каждое из этих двух делений может рассматриваться с двух точек: этимологической и синтаксической» [Там же], поскольку и вещественное, и формальное значение слова определяется из сочетания с другими, из контекста и обусловлено отношением к предшествующим словам и формам, которые тоже должны быть определены синтаксически. «Таким образом, этимология и синтаксис относятся друг к другу, как история и описание современного состояния;

последнее объясняется первым» [Потебня 1958: 48]. Фонетика также может рассматриваться и в историческом, и в (синхронно-)описательном плане. Однако строгое разделение этих точек зрения Потебня считает невозможным. Ввиду той связи, какая существует между отдельными моментами жизни языка, «неисторическое языкознание как наука, неисторическая этимология и неисторический синтаксис равно немислимы» [Там же].

В целом языкознание, по Потебне, имеет следующую структуру:



Метод лингвистического исследования. При определении метода исследования языковых явлений Потебня опирается на историзм познания. «Всякое познание, по существу, исторично и имеет для нас значение лишь по отношению к будущему» [Потебня 1976: 306], так что «основной вопрос всякого знания — *откуда* и, насколько можно судить по этому “откуда”, *куда* мы идем?» [Потебня 1968: 503]. Потебня распространяет данный принцип на анализ каждого слова и каждой грамматической формы.

И человек как индивид и член общества, и современная культура, и язык «есть результат продолжительных наслоений». Поэтому «всякое языкознание... необходимо должно быть историческим» [Потебня 1981: 156], и «правильный метод есть метод исторический» [Там же: 159]. Историзм диктуется самой целью всякой науки — «объяснить явления, подлежащие ее исследованию» [Потебня 1976: 73]. Поскольку «ничто в языке не может быть объяснено иначе, как своим происхождением» [Потебня 1981: 89], то «изучение его должно быть сравнением его настоящего с прошедшим» [Потебня 1976: 71]. При этом «мы должны направлять наши исследования от настоящего, более известного, к прошедшему неизвестному» [Потебня 1981: 158]. Исследуя известное явление языка, необходимо, «заручившись известными наблюдениями и неопровержимыми положениями, нисходить все далее и далее в прошедшее и по мере возможности снимать слой за слоем с нынешнего состояния языка» [Там же: 156], желательно не перескакивая через ступени. Дойдя, наконец, «до такого предела, за которым средства избранного нами языка нас оставляют», мы можем «для дальнейшего исследования пользоваться сравнением с другими языками, имеющими более древние памятники» [Там же: 160]. Так «сравнение, начатое внутри одного языка, вовлекает в свой круг все остальные языки» [Потебня 1976: 71–72], и исторический метод оказывается нераздельным

со сравнительным. Саму мысль о сравнении всех языков Потебня оценивает как «великое открытие». В основе ее лежит признание, с одной стороны, индивидуальности каждого языка, а с другой — его связи с другими языками в некоей единой системе: «начала, развиваемые жизнью отдельных языков и народов, различны и незаменимы одно другим, но указывают на другие и требуют со стороны их дополнения» [Потебня 1976: 72].

Место языкознания в системе наук определяется Потебней исходя из единства языка, человека и природы. Согласно Потебне, языкознание — наука гуманитарная. Его лидирующее положение в ряду гуманитарных наук объясняется тем, что «мы не знаем человека до языка. Язык предшествует всем остальным специально-человеческим деятельности» [Потебня 1989: 202]. И языкознание, поскольку оно изучает элементарные формы мысли, по отношению ко всем наукам о человеке «есть наука основная, рассматривающая, исследующая тот фундамент, на котором строятся высшие процессы мысли как научного характера, так и художественного» [Там же: 204].

Рассматривая далее отношение языкознания к наукам о природе, Потебня утверждает единство человека и природы, единство человеческого знания. Изучение природы «*есть изучение произведений человеческого духа*, так как оно выражается в непрерывном изменении взглядов человека на явления природы. <...> ...Если языкознание есть элементарная (основная) наука среди наук гуманитарных, потому что рассматривает элементарные (основные) формы мысли, то, так как нет противоположности между способами изучения природы и человека, следовательно, она элементарна и по отношению к наукам, занимающимся изучением явлений внешней природы» [Там же: 207–208].

В сравнении с другой элементарной наукой — математикой — языкознание также более элементарно, ибо «математические выкладки возможны лишь тогда, как язык дойдет до высшей степени отвлеченности» [Потебня 1985: 215], и «дальнейшее развитие математики, начиная с самых низших ступеней, подготавливается тем, что дается человеку языком» [Потебня 1989: 208].

Особое внимание уделяет Потебня соотношению языкознания с логикой и психологией. Опираясь на принцип историзма и настаивая на разграничении языкового и внеязыкового содержания, он отвергает логико-грамматический подход к языку как «путь, по которому не л з я дойти до верного определения основных понятий языкознания, который не ведет к *объяснению* явлений языка» (курсив мой. — Л. 3.) [Потебня 1958: 70], а именно слова, предложения, грамматических категорий, индивидуальных различий языков.

Языковые единицы, утверждает Потебня, не тождественны логическим. Слово «в ходе развития мысли предшествует понятию» и отличается от него не только наличием звуковой формы, но и по своему содержанию. «Грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением» [Там же: 68]. Между ними нет однозначного соответствия, и члены предложения не эквивалентны членам суждения. Соответственно, «логическая и грамматическая

правильность совершенно различны, так как последняя возможна и без первой, и, наоборот, грамматически неправильное выражение, насколько оно понятно, может быть правильно в логическом отношении» [Потебня 1958: 70]. Наконец, между грамматическими и логическими категориями также отсутствует однозначное соответствие — хотя бы потому, что «грамматических категорий несравненно больше, чем логических» [Там же: 69].

Индивидуальные различия между языками вообще не могут быть поняты с логико-грамматических позиций. «Логическая грамматика не может постигнуть мысли, составляющей основу современного языкознания и добытой наблюдением, именно, что языки различны между собою не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов». Навязывая языку логические категории, которые «народных различий не имеют» [Там же: 69], логическая грамматика провозглашает универсальность грамматических категорий, тогда как в действительности все они народны и временны (историчны).

Языкознание совершенно отлично от логики. Как науке гипотетической, логике «чуждо начало исследования исторического хода мысли» [Потебня 1976: 56]. Ее не интересует «процесс сказывания», то, «каким путем мы дошли до данной мысли» [Потебня 1958: 70]. «...Напротив, данные языкознания осмысливаются только своею историею, и языкознание есть наука генетическая» [Потебня 1976: 214], историческая. Как наиболее формальная из наук, логика судит о всякой мысли с точки зрения согласия или несогласия с требованиями тождества мысли с самой собою. «Язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается. Поэтому формальность языкознания вещественна сравнительно с формальностью логики» [Потебня 1958: 70]. «Грамматические формы составляют уже известное содержание по отношению к формам, рассматриваемым логикою» [Потебня 1976: 215], причем это содержание разнится от одного языка к другому.

На основании всего сказанного Потебня заключает: «Языкознание, и в частности грамматика, ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук» [Потебня 1958: 70].

Протест против общей логической грамматики, осознание различий между логикой и языкознанием нашли свое выражение в развитии исторического и сравнительного исследования языков. Постепенное осознание нераздельности обоих методов привело к сближению языкознания с психологией [Потебня 1976: 71–72].

Следуя гумбольдтовской антиномии «язык есть столько же создание лица, сколько народа», Потебня различает, но не противопоставляет, а рассматривает в единстве индивидуальную психологию, исследующую законы развития языка в индивиде, и психологию народов, которая исследует отношения личного развития к народу. В обеих этих дисциплинах в противоположность логической грамматике наряду с общими закономерностями изучаются индивидуальные особенности. «Как индивидуальная психология указывает не только общие для всех законы

душевной жизни, но и возможное разнообразие и оригинальность неделимых (индивидов. — Л. 3.), так психология народов должна показать возможность различия национальных особенностей и строения языков как следствие общих законов народной жизни», а это требует изучения истории отдельных языков [Потебня 1976: 71].

Связь народного и личного в языке, его народно-субъективную природу Потебня видит даже в отдельном слове: «ближайшее значение слова *н а р о д н о*, между тем дальнейшее, у каждого различное по качеству и количеству элементов, — *л и ч н о*» [Потебня 1958: 20].

2. ЯЗЫК КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЫСЛИ

Проблему соотношения языка и мышления Потебня решает на исторической основе. И мышление, и язык принадлежат к исторически развивающимся явлениям. Между ними имеется безусловная связь и взаимозависимость, но отнюдь не тождество. Язык — лишь одна из форм мышления, которая появляется на определенной — и, вероятно, довольно поздней — ступени его развития. «Многое заставляет предположить, — замечает Потебня, — что наша обыденная мысль, которая, по-видимому, только скользит по поверхности предметов и лишена всякой глубины, что даже эта мысль есть очень сложное и относительно позднее явление..., предполагающее еще более поверхностную мысль» [Потебня 1976: 195]. «Крайняя бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению», — считает он [Там же: 168]. Значение языка в истории человеческой мысли определяется тем, что «язык есть переход от бессознательности к сознанию». Сознательная умственная деятельность без языка невозможна, так как она предполагает понятия, а они образуются посредством слова. Таким образом, хотя по отношению к мышлению, взятому в совокупности всех его форм, язык вторичен, однако по отношению к сознательной умственной деятельности язык есть «первое по времени событие» [Там же: 69].

Именно как «средства преобразования первоначальных доязычных элементов мысли» языки могут быть названы «средствами создания мысли» [Там же: 259], точнее — той *доли* мысли, которая связана с членораздельным звуком и без него не существует [Потебня 1989: 203]. Поэтому Потебня считает ошибочным мнение, будто языки являются «только средствами *обозначения* мысли уже *готовой*, образовавшейся *помимо* их (выделено мною. — Л. 3.), как действительно думали в прошлом, отчасти и в нынешнем веке» [Потебня 1976: 258]. Нет, «главная функция языка как системы слов — видоизменение мысли» [Потебня 1973: 237].

«...Исходная точка мысли есть восприятие явления, непосредственно действующего на чувства» [Потебня 1976: 202]. «...В до-словесном состоянии языка могли быть объединены известные связки впечатлений...; но самое содержание этих связок тогда не было разложено, расчленено. Кроме этого, существовала целая масса несвязных, но соединенных в такие связки впечатлений» [Потебня 1989: 214].

«Если под мышлением понимать ту долю умственной деятельности, которая сказывается в языке, то оно есть создание стройного, упрощенного целого из наплыва восприятий» [Потебня 1968: 461]. Огромную роль в этом процессе Потебня отводит слову. «...Слово нужно душевной деятельности для того, чтобы она могла стать сознательною, и появляется как дополнение тогда, когда есть уже все прочие условия перехода к сознательности» [Потебня 1976: 69], т. е. когда имеются 1) низшие, исходные формы мысли в виде чувственных образов, 2) междометия как первая группа членораздельных звуков и 3) общество.

Образование слова проходит несколько этапов, которые Потебня прослеживает, в частности, на примере детской речи «Прежде всего — простое отражение чувства в звуке, такое, например, как в ребенке, который под влиянием боли невольно издает звук *вава*. Затем — сознание звука; здесь кажется не необходимым, чтобы ребенок заметил, какое именно действие произведет его звук; достаточно ему услышать свой звук *вава* от другого, чтобы вспомнить сначала свой прежний звук, а потом уже боль и причинивший ее предмет» [Там же: 113]. Характеризуя этот этап, Потебня подчеркивает: «Ассоциация восприятий предмета и звука, заменяющая непосредственное рефлексивное движение голосовых органов таким, в котором произнесение звука посредствуется его образом в душе, есть одно из необходимых условий создания слова» [Там же: 111]. Наконец, третий этап — «сознание содержания мысли в звуке, которое не может обойтись без понимания звука другими. Чтобы образовать слово из междометия *вава*, ребенок должен заметить, что мать, положим, услышавши этот звук, спешит удалить предмет, причиняющий боль» [Там же: 113–114].

Многообразна роль слова в дальнейшем преобразовании доязычных элементов мысли, а тем самым и в ее развитии [Там же: 167]. Слово — это и средство сознания единства и общности чувственного образа [Там же: 153–154], и средство его разложения [Там же: 164], и средство перехода «в более исключительно человеческую форму мысли» — от образа предмета к понятию о нем [Там же: 84], и, наконец, акт самосознания и показатель степени его развития [Там же: 168–171]. Так как с помощью слов и грамматических категорий образуются понятия и философские разряды мысли [Там же: 285], язык оказывается средством расчленения, препарирования [Потебня 1973: 237], систематизации [Потебня 1976: 164–165] первоначально хаотического состояния мысли [Потебня 1958: 181], представляющего собой нерасчлененную массу несвязных впечатлений [Потебня 1976: 170, 302]. (Ср. с представлением доязычного мышления у Гумбольдта [Гумбольдт 1985: 364] и Соссюра [Соссюр 1977: 144].) «Слово делит непрерывное течение восприятий на отдельные акты и таким образом создает объекты мысли, подлежащие действию других таких же» [Потебня 1976: 306].

Поскольку разные языки осуществляют преобразование и членение доязычной мысли по-разному, характер конкретного языка не безразличен для содержания мысли. Влияние языка на мысль Потебня сравнивает с воздействием глаз на зрение: «Подобно тому как малейшее изменение в устройстве глаза и деятельности

зрительных нервов неизбежно дает другие восприятия и этим влияет на всё миро-созерцание человека, так *каждая мелочь в устройстве языка должна давать без нашего ведома свои особые комбинации элементов мысли. Влияние всякой мелочи языка на мысль в своем роде единственно и ничем не заменимо*» (выделено мною. — Л. 3.) [Потебня 1976: 259–260].

Но язык не просто влияет на мысль. Это еще и могущественное средство дальнейшего развития мысли [Там же: 201], и существенное условие позднейшего ее совершенствования [Там же: 153]. Уже одно то, что *«в языке человек объективирует свою мысль и благодаря этому имеет возможность задерживать перед собою и подвергать обработке эту мысль»*, служит ее дальнейшей разработке и совершенствованию [Там же: 541]. «Когда мысль стала перед человеком как нечто внешнее, она этим заключила один акт своего развития и вступила в другой; она обозначила собою известную ступень его развития» [Там же: 542]. В этом смысле всякое новое слово как «наиболее явственный для сознания указатель на совершившийся акт познания» [Там же: 446] и в особенности всякая новая грамматическая форма есть ступень развития, что весьма заметно в детской речи [Там же: 542]. Первоначальная техника мысли, обусловленная языком, сказывается в сложных произведениях мысли и во всем, что бы мысль ни создала через посредство языка, воздействуя на совершенство и качество произведения мысли [Там же: 259].

Развивая мысль, язык и сам «изменяется в течение веков под влиянием действующей на него мысли» [Там же: 70] и подготавливает появление более высоких ее форм. «...Мысль для преобразования в высшие формы нуждается в символах языка» [Там же: 442]. Так, «творческая мысль живописца, ваятеля, музыканта невыразима словом и совершается без него, хотя и предполагает значительную степень развития, которая дается только языком» [Там же: 69]. Дело в том, что «зодчество, ваяние и живопись предполагают уже обособление и выделение из массы личности художника, следовательно, возможность значительной степени самосознания и познания природы, коим начало полагается языком», тогда как сам язык «есть произведение безличного творчества» [Там же: 191], ибо «язык создается всеми говорящими» [Потебня 1968: 489] и создается бессознательно [Потебня 1976: 452].

Следовательно, «область языка далеко не совпадает с областью мысли. В середине человеческого развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-видимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее ее требованиям и как бы потому, что не может вполне отрешиться от чувственности, ищет внешней опоры только в произвольном знаке» [Там же: 68]. Язык как форма мысли предполагает предшествующие и последующие ее формы — до слова и выше него.

Иначе говоря, следует различать языковое и неязыковое мышление: *«вне слова и до слова существует мысль; слово только обозначает известное течение в развитии мысли»* [Там же: 538]. Многое в самой мысли не требует языка, и современный человек владеет разными формами мысли. «Так, дитя до известного возраста не говорит, но в некотором смысле думает, то есть воспринимает

чувственные образы, причем гораздо совершеннее, чем животное, вспоминает их и даже отчасти обобщает» [Потебня 1976: 67–68]. Уже владеющий языком человек также может думать без слов. «...Язык не отнимает у человека этой способности, а напротив, если не дает, то по крайней мере усиливает ее» [Там же: 167]. Наконец, «есть целые области человеческой мысли, стоящие вне языка или выше его, — как замысел, план, идея художника или ремесленника, которые могут быть выражены только известным сочетанием форм, цветов, звуков. Но и эта последняя область, не выражающаяся в языке, подготавливается им. ...Определить ту долю мысли, которая без членораздельного звука невозможна, а также определить ее влияние на другие стороны человеческой деятельности составляет широкую задачу языкознания» [Потебня 1989: 203].

3. УЧЕНИЕ О СЛОВЕ

3.1. ЯЗЫКОВОЕ И ВНЕЯЗЫЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Несовпадение области мысли и области языка приводит Потебню к разграничению языкового содержания, с одной стороны, и содержания мысли, внеязычного содержания — с другой.

В отечественной науке к разграничению языкового и внеязычного содержания был близок также Н. Г. Чернышевский. Он обратил внимание на то, «что словами охватывается не всё содержание представлений, а лишь доля его, и во многих случаях эта доля — хотя и существенная — доля очень маленькая; что есть много представлений, содержание которых не может быть всё исчерпано каким бы то ни было количеством слов; таковы, например, наши представления о людях, хорошо знакомых нам» [Чернышевский 1973: 205].

Следуя Гумбольдту, Потебня определяет *языковое содержание как форму, символ, способ представления внеязычного содержания*.

Под *внеязычным содержанием* понимается, во-первых, «мысль, оторванная от связи с словесным выражением» [Потебня 1976: 263], или, говоря современным языком, «инвариантное» *смысловое содержание*: «Чтобы получить внеязычное содержание, нужно бы отвлечься от всего того, что определяет роль слова в речи, напр. от всякого различия в выражениях: “он носит меч”, “кто носит меч”, “кому носить меч”, “чье дело ношенья меча”, “носящий меч”, “носитель меча”, “меченоситель”, “меченосец”, “меченоша”, “меченосный”» [Потебня 1958: 72].

Во-вторых, внеязычным является *личное, или лично-объективное, содержание*, которое «составляет принадлежность только лица и в каждом лице различно, но самим лицом принимается за нечто существующее вне его». «Так, например, мы можем думать, что время бывает тройкое по отношению к тому мгновению, когда думаем или говорим: настоящее, прошедшее и будущее, и что сообразно с этим события настоящие, прошедшие и будущие такими и должны изображаться. ...Событие, еще не совершившееся, по мнению самого говорящего лица, язык может представить не только будущим, но и прошедшим, прошедшее — настоящим

и будущим». Например, в предложении *Если он не вернется, мы погибли* содержание языка имеет категорию прошедшего времени — *погибли*, тогда как объективная мысль есть будущее; «первая есть форма, второе — содержание, но не языка, а мысли» [Потебня 1977: 119].

Теорию языкового содержания Потебня разрабатывает в основном применительно к слову. *Собственно языковое содержание слова заключено в его внутренней форме (в широком смысле) — в представлении и ближайшем значении.*

Прежде всего Потебня различает в слове три элемента: 1) членораздельный звук, 2) значение, объективируемое посредством звука, 3) внутреннюю форму (в узком смысле), сводимую к представлению, и на этой основе раскрывает знаковую природу слова. *Значение — это означаемое мыслительное содержание. Внутренняя форма, или представление, — означающее, внутренний знак значения. Звук — оболочка, внешняя форма знака, знак знака* [Потебня 1958: 17–19].

Каждое значение исторически производно от предшествующего значения, на которое и указывает представление. *«Представление есть признак, взятый из значения предшествующего слова и служащий знаком значения данного слова»* [Потебня 1989: 212]. Этот признак выступает посредником между старым и новым значением. «Звук *верста* означает меру долготы, потому что прежде означал борозду; он значит “борозда”, потому что прежде значил “поворот плуга”. <...> Кто говорит “верста” в значении ли определенной меры длины, или в значении ряда или пары, тот не думает в это время о борозде, проведенной по полю плугом или сохой, парю волов или лошадь, а берет из этого значения каждый раз лишь по одному признаку: длину, прямизну, параллельность» [Потебня 1958: 17].

Сходным образом и «грамматическая форма тоже имеет или предполагает три элемента: звук, представление и значение» [Там же: 37]. В форме творительного падежа действующего лица или предмета знаком-представлением является орудийность. В страдательных глаголах на *-ся* «возвратность есть представление, а страдательность — значение» [Там же: 454].

Однако значение слова, разъясняет Потебня, никогда не было равно тому признаку, которым обозначено значение [Потебня 1977: 113], тем более что представление — неперменный атрибут возникающего слова. Позднее по мере употребления слова представление может быть забыто, и тогда слово включает не три, а два элемента — звук и значение [Потебня 1989: 212].

В речи, «в текущих делах мысли» знаком-представителем внеязычного содержания, заменой понятия или образа для быстроты мысли и расширения сознания выступает так называемое *ближайшее значение*, которое дает определение места и мысли, где искать полноты содержания.

Ближайшее, или формальное, или наименьшее значение — это общий для всех носителей данного языка элемент *дальнейшего значения*, лично-объективного внеязычного содержания, его *форма*, которая вследствие пустоты ближайшего значения лишь намекает на последующее дальнейшее значение, замещает его, отсылает к нему. Ближайшие значения, поскольку они общи для всех, народны. Дальнейшие

значения личны. Они содержат все знания индивида о предмете и различаются по количеству и качеству элементов в зависимости от личного опыта, знаний и специальности. Под понятие ближайших подводятся не только частные и лексические, но, естественно, и общие и грамматические значения [Потебня 1958: 36].

Лишь ближайшие значения — лексические и грамматические — наряду с представлениями являются предметом языкознания, дальнейшие значения — предмет других наук.

Нетрудно заметить, что при наличии представления содержательные компоненты слова образуют иерархическую структуру: ближайшее значение является знаком дальнейшего, а представление как вещественное средоточие предикатов [Там же: 19] прежде всего указывает на ближайшее значение и лишь затем — через посредство последнего — на дальнейшее. Таким образом, если различать ближайшее и дальнейшее значение, то признак–представление является знаком только по отношению к ближайшему значению, по отношению же к дальнейшему оно выступает как знак знака. Оба компонента языкового содержания — представление и ближайшее значение — имеют знаковую природу и образуют внутреннюю форму внеязычного содержания. По степени «удаленности» от дальнейшего значения представление может быть отнесено к глубинному, а ближайшее значение к поверхностному слою внутренней формы.

Внешняя (звуковая) форма слова, пока сохраняется представление, может быть квалифицирована как знак знака значения (см. выше), если под последним иметь в виду ближайшее значение. По отношению к дальнейшему значению звуковая форма — это трижды знак, т. е. знак знака знака значения. В случае забвения представления внешняя форма есть знак ближайшего значения и знак знака дальнейшего значения.

Если учесть, что «произнесение звука посредствуется его образом в душе» [Потебня 1976: 111] и, значит, во внешней форме различается физическая и психическая сторона, то в целом в знаковой структуре слова выделяются следующие компоненты: звучание; его психический образ; представление, содержащее один признак (этот компонент со временем утрачивается); ближайшее значение, включающее — по количеству предикатов — некоторое конечное для данного состояния определенное число признаков, общих для всех носителей языка; дальнейшее значение, охватывающее неопределенное открытое множество признаков и меняющееся от одного носителя языка к другому.

3.2. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ СЛОВА

Слово не является механическим соединением элементов [Потебня 1976: 180–181]. Внутренний и внешний знаки (представление и звук) связаны между собой и с означаемым–значением.

Связь звука и значения представлена диалектически. Утверждая, что «в создании языка нет произвола» [Там же: 116], Потебня не исключает соответствия

звука и значения «лишь в безусловно первых словах, которые прямо возникли из патогномических звуков» [Потебня 1958: 55]. Это соответствие не есть следствие звуко-символизма, ибо звук осмысливается лишь в готовых словах и не сразу: «только по мере того как он сживается с известным значением слова, человек открывает в нем необходимость его соединения с такою, а не другою мыслью» [Потебня 1976: 121]. В первых же словах, образуемых из междометий, связь звука и значения опосредована чувством, поскольку генетически имеется «соответствие известных чувств известным звукам» [Там же: 117], и звук отражает чувство, сопровождающее восприятие предмета [Там же: 118]. Это-то чувство и выступает внутренней формой первичного слова, мотивируя связь между значением (образом предмета) и звуком [Там же: 115]. Хотя, «без сомнения, предание основано на первоначальном соответствии звука и душевного движения в звуке, предшествующем слову; но основание это остается неизвестным, а если бы и было известно, то само по себе не могло бы объяснить позднейшего значения звука» [Потебня 1958: 41]. «Уже во втором слове ряда звук значит нечто не потому, что он сам по себе изобразителен, а потому, что прежде он означал нечто другое. Уже здесь становится безразличным, возник ли этот звук первоначально в самом говорящем, или передан извне. Традиция одновременна с самим языком» [Там же: 55–56]. Поэтому «между звуком и значением в действительности не бывает другой связи, кроме традиционной. Так, напр., когда в долготе окончания именит. ед. ж. р. *á* находят нечто женственное, то это есть лишь произвольное признание целесообразности в факте, который сам по себе непонятен. Если бы женский род в действительности обозначался кратким *á*, а мужеский и средний долгим, то толкователь с таким же основанием мог бы в кратком *-a* видеть женственность» [Там же: 41].

И тем не менее Потебня подчеркивает, что «членораздельный звук, форма слова, проникнут мыслью» [Потебня 1976: 179]. Причин здесь две. Одну из них Потебня вслед за В. Гумбольдтом видит в том, что сам членораздельный звук сформирован мыслью. «...Как форма мысли, нераздельно связанная с нею» [Потебня 1989: 203], он «только от свойств мысли заимствует все свои признаки» [Потебня 1976: 104]. Вторая причина заключается в том, что звук «указывает на значение не сам по себе, а потому, что прежде имел другое значение» [Потебня 1958: 17], т. е. через посредство представления, и, таким образом, является оболочкой, формой, знаком знака. Так, «мы понимаем сказанное другим слово *сильный*, то есть признаем тождество внутренней формы этого слова в нас самих и в говорящем, потому что и мы обыкновенно бессознательно относим его к слову *сила*» [Потебня 1976: 139]. «Внешняя форма нераздельна с внутреннею, меняется вместе с нею, без нее перестает быть сама собою» [Там же: 175]. При образовании первых слов изменение звука под влиянием внутренней формы-представления состоит «в устранении того страстного оттенка, нарушающего членораздельность, какой свойствен междометию» [Там же: 180]. Иными словами, внутренняя форма способствует членораздельности звука, и, таким образом,

общечеловеческие свойства языков, а именно членораздельность звуков и символичность, — явления взаимосвязанные. «Если затеряна для сознания связь между звуком и значением (а она, по Потебне, обеспечивается прежде всего представлением как исходным минимумом внутренней формы. — Л. 3.), то звук перестает быть *внешнею* формою в эстетическом значении этого слова». «Только... при существовании для нас символизма слова (при сознании внутренней формы), его звуки становятся внешнею формою, необходимо требуемою содержанием» (выделено мною. — Л. 3.) [Потебня 1976: 176–177]. Пока жива внутренняя форма, связывающая данное слово с другими словами, она предохраняет его от звукового изменения. Забвение внутренней формы снимает это ограничение. Но даже тогда, когда представление забылось, связь между звуком и значением лишь кажется произвольной, ибо важно не то, что оно забылось, а то, что оно *было* когда-то, о чем свидетельствует разница между данным словом и соответственным словом другого языка «в количестве предикатов, вещественным средоточием коих служило представление» [Потебня 1958: 19].

Благодаря наследственности слова, способности иметь внутреннюю форму—представление, или, иначе, объективное значение, «внешняя форма слова проникнута объективною мыслью, независимо от понимания отдельных лиц. Только это дает слову возможность передаваться из рода в род; оно получает новые значения только потому, что имело прежние» [Потебня 1976: 106]. Таким образом, *связь между звуком и значением всегда мотивирована*: первоначально — чувством, позднее — генетическими отношениями данного слова с предшествующим. Именно это создает основу для взаимопонимания в процессе общения и обеспечивает языковую преемственность поколений.

Соотношение между внутренней формой—представлением и значением слова неоднозначно. Неоднозначность определяется самой сущностью внутренней формы, показывающей, «как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово совершенно согласно с требованиями языка может обозначать предметы разнородные» [Там же: 115]. Неоднозначность обозначений отражает многосторонность предметов и различие возможных точек зрения на один и тот же предмет. «...Немыслима точка зрения, с которой бы видны были все стороны вещи». Так как чувственный образ содержит множество признаков, то «в слове невозможно представление, исключаяющее возможность другого представления» [Там же: 229]. Это хорошо видно из атрибутивных сочетаний типа *вода малина, кремень человек* и т. п. Оснований для присоединения определяющего существительного «может быть столько же, сколько в нем мыслится признаков, напр. в... “вода малина” основанием сближения мог бы служить цвет ягоды, вкус ягоды, происхождение из них (водица, приготовленная из ягод), близость к воде малинника (как у Тургенева “Малиновая вода”). <...>

Многозначность прилагательных, образованных от существительных, может восходить к различию оснований, по которым первообразное существительное

присоединялось, как атрибут, к определяемому. Как “*кремень человек*”... может значить “человек непоколебимого характера” и, стало быть, хороший, или человек скупой, безжалостный, жестокий, так из этого выводятся различные однозвучные прилагательные» [Потебня 1968: 66–67]. Согласно Потебне, это основной источник омонимии.

В зависимости от точки зрения и взятого за основу признака возможны различные способы представления сходных содержаний. В результате появляются синонимы [Потебня 1977: 257]. (Так, под одно понятие платы за труд подводятся *жалованье, получка, зарплата*, хотя, судя по внутренней форме, жалованье трудящемуся жалуются, т. е. милостиво даруется, получку он получает и только зарплату ему платят за работу.)

С другой стороны, один и тот же признак может характеризовать разные предметы, и все они могли бы быть названы по этому признаку. Лишь употребление закрепляет данный признак (представление) за данным предметом, а не за каким-либо другим, например признак ‘рогатый’ — за коровой, а не оленем [Потебня 1989: 214–216], представление резанья, разрыванья — за волком [Потебня 1977: 113].

Таким образом, опираясь на понятие внутренней формы слова, Потебня не просто констатировал, но и объяснил обнаруженное еще древними, в частности Демокритом [Античные теории... 1996: 37], неоднозначное соотношение между означающим и означаемым, или, в определении С. О. Карцевского, принцип асимметричного дуализма языкового знака [Карцевский 1965].

Внутренняя форма слова не безразлична к обозначаемому содержанию. Поскольку она направляет мысль [Потебня 1976: 175], можно сказать, что содержание обусловлено внутренней формой [Там же: 181]. Однако рост содержания слова, его изменение не проходят бесследно для внутренней формы. «Чем успешнее идет то обобщение и углубление, к которому мысль направлена словом, и чем более содержания накопится в слове, тем менее нужна первоначальная точка отправления мыслей (внутренняя форма)», а ее утрата, в свою очередь, как уже говорилось, воздействует на внешнюю форму, так что в конечном счете «все звуковые изменения, затемняющие для нас значение слова, исходят из мысли» [Там же: 198].

Вообще, с точки зрения Потебни, «форма не есть нечто вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как форма кристалла, растения, животного к образовавшим ее процессам» [Там же: 373]. Как орех не мог бы образоваться без скорлупы, так содержание слова невозможно без своей формы. Словесная форма составляет часть содержания [Там же: 264]. В историческом плане между формой и содержанием существуют отношения «оборачиваемости», и потому «форма и содержание — понятия относительные: В, которое было содержанием по отношению к своей форме А, может быть формой по отношению к новому содержанию, которое мы назовем С». «...Значение слова имеет свою звуковую форму, но это значение, предполагающее звук, само становится формой нового значения» [Там же: 177–178].

3.3. СЛОВО КАК АКТ ПОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА. РЕЧЬ И ПОНИМАНИЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Согласно Потебне, «...язык есть полнейшее творчество, какое только возможно человеку, и только потому имеет для него значение» [Потебня 1976: 212]. В частности, слово как элемент языка есть акт бессознательного творчества и имеет все свойства художественного произведения, также обладающего содержанием, внутренней и внешней формой. (Ср., например, «это — *мраморная* статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя форма)..., представляющая правосудие (содержание)» [Там же: 175].) Творческая природа слова обусловлена тем, что оно есть «средство преобразовывать впечатления, делать их предметом познания вновь» [Потебня 1973: 237]. «*Название словом есть создание мысли новой в смысле преобразования, в смысле новой группировки прежнего запаса мысли под давлением нового впечатления или нового вопроса*» [Потебня 1976: 540].

При возникновении слова признак–представление (*a*) выступает как средство сравнения (*tertium comparationis*) вновь познаваемого (*x*) и прежде познанного (*A*) [Потебня 1989: 217]. Когда ребенок круглый абажур называет арбузиком, в качестве знака значения выступает значение предыдущего слова, но не все это значение, а лишь один признак — шаровидность (*a*) — как основание для сравнения абажура (*x*) и арбуза (*A*), как общее между ними, как представитель чувственного образа. Тем самым «в слове также совершается акт познания» [Потебня 1958: 17], в котором особую роль играет представление. Через посредство представления познаваемое объясняется познанным [Потебня 1976: 306], и «только представление вызывает дальнейшие, исключительно человеческие преобразования чувственного образа» [Там же: 147]. К ним относятся:

1) *объединение* признаков, комплексно данных в чувственном образе, установление их внутренней связи, группировка вокруг представления как центра образа и тем самым отделение данного объекта мысли от других [Там же: 186, 302];

2) *сознание* единства комплексно данных признаков [Потебня 1989: 215];

3) сознательное *обобщение* и классификация наблюдаемых явлений. — Всякое слово обобщает, и Потебня показывает *механизм* обобщения. «...В представлении устранено все, кроме того, что почему-то показалось существенным. Это обстоятельство облегчает обобщение» [Там же: 215].

Например, «образ стола может иметь много признаков, но слово *стол* значит только простланное (корень *стл*, тот же, что в глаголе *стлать*), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала» [Потебня 1976: 114].

Однако в слове человек познает не только мир, но и самого себя. Процесс самопознания в значительной степени зависит от объективирования слова в звуке, от говорения. Объективируя мысль, слово служит для человека средством

разграничения своего *я* и *не-я*, средством формирования самосознания. При этом человек не может обойтись без общества. Он будет понимать себя лишь тогда, когда «изведает на другом понятность своего слова», когда «получит доказательство существования в другом того образа, который до сих пор был его личным достоянием. Средством при этом, как и при понимании другого, будет звук, обнаруживающий для говорящего его собственную мысль» [Потебня 1976: 113]. Вот почему «язык есть средство понимать самого себя» [Там же: 149].

Но слово нужно не только говорящему. «В действительности язык развивается только в обществе, и потому другая сторона жизни слова состоит в его понимании слушающим. Уединенная работа мысли может быть успешна только на значительной ступени развития и при пользовании некоторыми суррогатами общества (письмом, книгами). <...> ...Только одушевление спора, убеждение, что нас понимают, возражают или соглашаются с нами, служит возбуждением для говорящего и рождает новые достоинства речи, которые не сказываются при уединенном мышлении» [Потебня 1989: 225]. Итак, понимание состоит в возбуждении мысли.

На основании сказанного Потебня вслед за Гумбольдтом считает речь и понимание двумя разными, но неразрывными сторонами одного и того же явления, которые раскрывают его *социальную* природу. С одной стороны, «говорящий, чувствуя, что слово принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежит, следовательно, и этому последнему» [Потебня 1976: 172]. С другой стороны, и «при понимании к движению наших собственных представлений примешивается мысль, что мыслимое нами содержание принадлежит вместе и другому. В слове человек находит новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе, а уже переработанный и ассимилированный душою другого» [Там же: 141]. Причем и речь, и понимание — процесс творческий. И в том и в другом случае язык выступает посредником между познаваемым и ранее познанным и благодаря этому обеспечивает общение между людьми: «слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запасом мысли» [Там же: 143]. Язык потому может служить средством общения, что является средством познания.

Согласно Потебне, процессы создания и понимания слова аналогичны друг другу, только протекают в обратном порядке. При создании слова в то самое мгновение, когда познаваемое *x* объясняется посредством прежде познанного *A*, возникает и знак *a*. При понимании же слушателю или читателю дан прежде всего знак *a*, который он должен объяснить запасом своей прежней мысли *A* и который служит указанием на познаваемое им *x* [Там же: 543]. Короче говоря, в процессе

создания слова мы имеем последовательность $x \rightarrow A \rightarrow a$, в процессе понимания — $a \rightarrow A \rightarrow x$.

В речевом акте «произнесение звука посредствуется его образом» [Потебня 1976: 111] в сознании говорящего. Во время понимания «членораздельный звук, издаваемый говорящим, воспринимаемая слушающим, пробуждает в нем воспоминание его собственных таких же звуков, а это воспоминание посредством внутренней формы вызывает в сознании мысль о самом предмете» [Там же: 139]. Если, таким образом, опустить прежде познанное, которое «в снятом виде» присутствует в представлении, и учесть только элементы самого слова, то схема порождения (1) и восприятия (2) слова примет вид:

значение
(чувственный образ) \rightarrow внутренняя форма
(представление) \rightarrow звуковой
образ \rightarrow звук (1)

звук \rightarrow звуковой
образ \rightarrow внутренняя форма
(представление) \rightarrow значение (чувственный
образ) (2)

Однако «в текущих делах мысли», для ее быстроты «только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова» [Потебня 1958: 19]. Замещая, заменяя собою образ–значение, представление «только намекает на это значение, дает возможность в случае надобности остановиться на нем и постепенно привести его в сознание, но позволяет и не останавливаться» [Там же: 18]. И в самом деле, «произнося в разговоре слово с ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли ничего, кроме этого значения: *облако*, положим, для нас только “покрывающее”» [Потебня 1976: 114].

В первом случае речевой акт протекает в следующем порядке:

ближайшее
значение \rightarrow представление \rightarrow звуковой
образ \rightarrow звук (1)

звук \rightarrow звуковой
образ \rightarrow представление \rightarrow ближайшее
значение (2)

Во втором случае схема речевого акта еще более упрощается:

представление \rightarrow звуковой
образ \rightarrow звук (1)

звук \rightarrow звуковой
образ \rightarrow представление (2)

Аналогия между процессами создания и понимания слова не означает, однако, идентичности содержания мысли в говорящем и слушающем. Если бы это было так, то «всякое ложное понимание было бы невозможно» [Там же: 212],

а оно встречается на каждом шагу. Причина непонимания состоит в том, что ни познаваемое (x), ни запас познанного (A) в участниках речевого акта не совпадает. (Это следует отразить в схемах, разграничив x_1 и A_1 в говорящем и x_2 и A_2 в понимающем.) «...Значение, группа признаков объясняемого, составилось в говорящем и понимающем самостоятельно и потому различно» [Потебня 1989: 226]. Во-первых, чувственное восприятие одного и того же предмета у каждого из них имеет свои особенности ввиду различий во внешних условиях, а именно в строении органов восприятия и в точке зрения, которая зависит от положения данного лица во времени и в пространстве. Во-вторых, «новый образ в каждой душе застаёт другое сочетание прежних восприятий, другие чувства, и в каждой образует другие комбинации» [Потебня 1976: 140], так что «сочетания признаков, воспринятых одновременно, в разных лицах будут безгранично разнообразны» [Потебня 1989: 226]. (См. подробный анализ этих различий на примере слова *стол* [Потебня 1976: 538–539].)

Если не выделять в значении его ближайшие составляющие, то из трех указанных элементов слова более или менее общими между говорящим и слушающим являются знаковые компоненты — звуки и представление (внешняя и внутренняя форма), а в случае затемнения представления — только звуки [Там же: 307]. Именно эти элементы (наряду с ближайшим значением) служат средствами понимания. Некоторые различия в произношении и в представлении, не переходя известных пределов, не осознаются и не мешают пониманию [Там же: 139].

Итак, процесс общения не есть передача готовой мысли, и понимание как тождество мысли в говорящем и слушающем — иллюзия [Там же: 307]. Понимание — это «создание известного содержания в себе самом по поводу внешних возбуждений» [Там же: 183], дающих только направление творческой мысли, направляющих слушающего гармонически с говорящим. Слушающий, «понимая слово, создает свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с местом мысли говорящего» [Там же: 307].

«...Способность слова всяким пониматься по-своему» не уничтожает, однако, возможности взаимного понимания. «...Слово может быть средством понимать другого», потому что «содержание слова способно расти», а его внутренняя форма, давая способ развития значений в слушающем, не назначает пределов его пониманию слова [Там же: 180].

Помимо указанных свойств самого слова, возможность взаимного понимания обеспечивается также системностью языка (о чем подробнее в следующем разделе) и зависит от условий общения. «...Чем теснее круг говорящих и круг их мыслей, тем определеннее для них их намеки, кажущиеся со стороны непонятными». Эта «узость кругозора» может быть постоянной, но может и устанавливаться на время, «как скоро в частном случае направление разговора собеседникам известно» [Потебня 1968: 46].

4. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА

Учение Потебни о языке как знаковой системе строится на принципах историзма и опирается на понимание языка как деятельности, в ходе которой язык не просто употребляется в качестве формы человеческой мысли, но постоянно создается и совершенствуется, с тем чтобы удовлетворить требования познающей мысли. Этим язык отличается от других орудий человеческой деятельности.

По определению Потебни, *«язык есть человеческая деятельность, состоящая в создании членораздельных звуков и знаков и направленная к познанию, то есть к разложению чувственных восприятий, к приведению этих восприятий в систему и к закреплению результатов деятельности для себя и для других»* (выделено мною. — Л. 3.) [Потебня 1981: 133].

Функции языка как системы знаков. Будучи формой мысли, ее «преобразовательной машиной», язык выполняет двоякую функцию.

С одной стороны, язык как система знаков есть средство сжимать огромное число признаков, составляющих мир познаний человека, в совокупность значений слов. «...Язык сводит разнообразие и множество, почти необъятные, к чему-то небольшому и легче обозримому мыслию человеческой» [Там же: 133]. Тем самым преодолевается противоречие между бесконечностью мира и его познания и крайней ограниченностью «сцены» человеческого сознания [Потебня 1976: 520]. «А сокращение труда мысли дает ей возможность ворочать всё большими и большими массами» [Потебня 1989: 216].

С другой стороны, «язык не есть совокупность знаков для обозначения готовых мыслей, он есть система знаков, способная к неопределенному, к безграничному расширению» [Потебня 1981: 134], чтобы удовлетворить требования постоянно развивающейся мысли, обеспечить понимание между людьми, а значит, и само общение. Это расширение безгранично, во-первых, потому, что количество комбинаций, которые можно произвести с наличными элементами языка, так же безгранично, как в цифрах и шахматах [Там же: 134–135]. Во-вторых, потому, что содержание слова (его значение) способно расти и расширяться.

Определение знака. В согласии с указанными функциями языка по отношению к мышлению «знак в слове есть необходимая (для быстроты мысли и для расширения сознания) замена соответствующего образа или понятия; он есть представитель того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением» [Потебня 1958: 18]. Будучи основанием сравнения, общим между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, знак есть *указание* по отношению к значению как предыдущего (производящего), так и последующего (производного) слова. Он есть *отношение* к предыдущему значению (а не воспроизведение его) и *намек* на последующее [Там же: 17–18].

Поскольку «язык во всем без исключения символичен», «ни реальное (лексическое, вещественное. — Л. 3.), ни формальное значение слова не могут существовать сами по себе. ...Нам только кажется, что слово *волк* само по себе непосредственно

означает известное хищное животное, но на самом деле это значение появилось только потому, что слово это включает в себе представление резания или разрывания, отнесенное к таким-то грамматическим категориям (именно мужской род в именительном падеже единственного числа). Само по себе это представление есть значение, условленное несколькими другими представлениями, и так далее — вверх до неисследимого для нас в частностях начала слова» [Потеня 1977: 113].

Учитывая генетическую связь знака (представления) с предыдущим словом или формой, «при определении значения грамматической формы, и вообще слова, нам нужны... категории первообразные и производные, исторически предшествующие и последующие» [Там же: 217]. Ясно, что при таком понимании знака невозможна жесткая разграничительная линия между историей языка и его состоянием и они должны рассматриваться в единстве.

Система и история. *Исторический взгляд отнюдь не противоречит системному. Само выявление системы возможно лишь на исторической основе.* Потеня доказывает это, в частности, при анализе видов глаголов. «Язык находится в постоянном развитии, — подчеркивает он, — и ничто в нем не должно быть рассматриваемо как нечто неподвижное. Система видов должна быть не описанием, а историей их происхождения» [Там же: 88]. Так как развитие идет от конкретного к абстрактному, от простого к сложному, то за исходную точку в развитии видов следует принять относительно простые конкретно-деятельные глаголы типа *идти, нести, везти*, которые обозначают действие относительно ближайшее к чувственному восприятию и представляют его (это действие) как единичное. Более сложным продуктом мысли являются глаголы типа *ходить, носить*, представляющие действие как собирательное. «Чтоб употребить форму, как *носите*, в обыкновенном смысле, нужно обнять мыслью несколько однородных действий, порознь добытых из чувственных восприятий, представить их одним протяженным действием» [Там же: 89]. Глаголы третьей степени *хаживать, нашивать* и т. п. отражают не только множественность отдельных восприятий, но и осознанную сложность действия [Там же: 90]. Как видно, путь от истории к системе дает возможность не только выявить и описать последнюю, но и показать стратификацию семантических (грамматических) различий. (Тот же принцип был применен позднее Р. Якобсоном к стратификации фонологических противопоставлений.)

Исторический подход, отчетливо проявившийся уже в учении о внутренней форме, позволил Потеню обнаружить и описать то явление, которое позднее получило название *значимости* [Сосюр 1977: 146–152]. Потеня вполне осознает не абсолютный, а относительный характер грамматических различий, и в частности степеней длительности глаголов. По Потеню, «длительность глаголов измеряется не объективно в строгом смысле слова, а, так сказать, народно-субъективно, т. е. мерою, данною самим языком, степенью глаголов, принятою за единицу. Живущая в данное время предыдущая степень глагола есть мерка последующей, так как, например, литературный русский язык измеряет длительность (многократность) глагола *нашивать* только двумя предыдущими степенями: *нести* и *носить*,

минуя живущие в украинском формы *ношати* и *ношувати* (из *ношевати*), хотя эти последние и предполагаются формою *нашивать*. Никакой безотносительности в степенях глаголов нет» (разрядка моя. — Л. 3.) [Потебня 1977: 93].

Создание и употребление. Постоянное развитие языка означает, далее, практическую невозможность разграничить создание и употребление: «язык всегда есть столько же цель, сколько средство, настолько же создается, насколько употребляется» [Потебня 1958: 58]. В частности, «в слове все зависит от употребления... Употребление включает в себя и создание слова, так как создание есть лишь первый случай употребления» [Там же: 41].

Язык и речь. Поскольку значение слова определяется употреблением в речи и узнается только из него, жесткое разграничение языка и речи также оказывается невозможным. Действительная жизнь слова совершается в речи. По мнению Потебни, «значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств, потому что их не имеет» [Там же: 42]. «Слово в речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т. е. каждый раз, как произносится или понимается, имеет не более одного значения» [Там же: 15].

«В языках, имеющих грамматические формы, каков русский, единство значения слова состоит в той совокупности известного относительно-реального значения с одним или несколькими значениями формальными, которые непременно совмещаются в одном акте мысли. ...Невозможно только совмещение в одном акте мысли двух взаимно исключающих себя категорий, например двух различных лиц» [Потебня 1977: 246].

Что же такое речь? Согласно Потебне, «речь... вовсе не тождественна с простым или сложным предложением. С другой стороны, она не есть непременно “ряд соединенных предложений”..., потому что может быть и одним предложением. Она есть такое сочетание слов, из которого видно и то... лишь до некоторой степени, значение входящих в него элементов. ...Итак, что такое речь — это может быть определено только для каждого случая отдельно» [Потебня 1958: 42]. Почему же значение слов видно из речи «лишь до некоторой степени»? Почему «и речи, в значении известной совокупности предложений, недостаточно для понимания входящего в нее слова»? — Потому, — считает Потебня, — что «речь в свою очередь существует лишь как *часть* большего целого, именно языка» (курсив мой. — Л. 3.), и они не могут быть оторваны друг от друга. «Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой речи явлений к другим, которые в самый момент речи остаются, как говорят, “за порогом сознания”, не освещаясь полным его светом. <...> Без своего ведома говорящий при употреблении данного слова принимает в соображение то большее, то меньшее число рядов явлений в языке» [Там же: 44].

Отношения в системе языка. Отношения, в которых участвует слово, определяются ближайшими значениями, характеризующими его как составной элемент

предложения. Такой подход к слову вполне созвучен с современными представлениями, согласно которым функции определенных языковых единиц, их синтагматические и парадигматические связи могут быть определены лишь в отношении к единицам вышележащего уровня. Отличие потебнианской концепции в том, что в ней учитывается также исторический (генетический) план — связь данного состояния языка с предшествующим(и).

Если, например, взять слово с живым представлением (типа *верста*), то «подобное слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам. *Верста*, в каком бы ни было значении, и всякое другое слово с теми же суффиксами, будучи существительным, само по себе не может быть сказуемым, будучи именительным, может быть только подлежащим, приложением или частью сложного сказуемого и т. д.» [Потебня 1958: 35–36]. Со стороны частной, лексической, слова, сохраняющие внутреннюю форму, связаны отношениями производности с предыдущими. Если и грамматическая форма имеет представление, то оно также указывает на предшествующее значение, и таким образом сохраняется генетическая связь данной формы с предшествующей. Например, «внутренняя форма будущего времени совершенного есть в русском языке исключительно, а в сербском между прочим — настоящее время глаголов совершенных. Другими словами, в этих языках будущее время представляют настоящим: это будущее первоначально было содержанием личной мысли, потом в свою очередь стало формой нового содержания — стало содержанием языка, т. е. представлением» [Потебня 1977: 120]. Наконец, грамматическое значение указывает на разряд, грамматическую категорию, к которой принадлежит данная форма. Если форма совмещает несколько значений, она входит одновременно в несколько разрядов. Соответственно, «каждое слово носит на себе обозначение той роли, которую оно занимает в предложении» [Потебня 1981: 142].

«Значение слов, как членов предложения, формально и, как такое, сказывается в синтаксическом употреблении, есть само это употребление» [Потебня 1958: 74]. Отсюда «в предложении, кроме формы, нет ничего» [Там же: 72]. «...Если предложение не может быть определено как содержание, то и свойство составных его членов вообще, и в частности различие имени и глагола, должно быть только формальное, т. е. должно состоять не в содержании, а в способе его представлять» [Там же: 88]. Так на основе функционального подхода к определению грамматических разрядов, предполагающего единство языка–системы и речи, Потебня приходит к заключению о том, что «части речи и части предложения — это две различные точки зрения на один и тот же предмет» [Потебня 1981: 145].

Кроме указанных генетических и категориальных связей в языке образуются семейства слов, соединенных по единству корня и других составных частей слова.

Так, ряд слов в придуманной Потепбней латинской фразе *arator arans arat arando arabilem arvum* ‘оратай ралом орет ралию’ (‘пахарь плугом или сохой пашет землю’) соединяется в одно семейство, ибо во всех этих словах представлен тот же самый корень *ar-*. В слове *arator* суффикс *-tor* относит данный корень к категории действующего лица. Точно так же функционирует *-tor* и по отношению к многим другим корням. Ср.: *creator, imperator* и т. п. [Потепбня 1981: 139].

Поскольку система и история языка составляют, по Потепбне, единое целое, то собирание слов в семейства предполагает приведение членов этих семейств «в известный хронологический, последовательный, генетический, родовой порядок» с помощью сравнительно-исторического метода. Последний необходим потому, что разложение слова на составные части с лексическим и грамматическим значением «не может быть произведено средствами одного языка» [Там же: 165].

Разложение слов на составные части и исчисление последних, с одной стороны, и распределение слов по семействам, с другой стороны, взаимосвязаны: «Разложение слов оказывается необходимым для распределения слов по семействам, а самое распределение слов по семействам необходимо для того, чтобы осмотреть состав языка, чтобы сосчитать те простейшие средства, которые в бесчисленном множестве комбинаций делают возможною нашу речь» [Там же: 159].

Так, еще до Соссюра, было осознано единство синтагматики и парадигматики.

Учение о грамматической форме. Определяя грамматическую форму как единство звука, представления и значения (а в случае утраты представления — как единство звука и значения), Потепбня, в отличие от многих своих предшественников и современников, за основу берет значение. Он отвергает отождествление формы с ее внешним знаком: «Грамматическая форма... со своего появления и во все последующие периоды языка есть значение, а не звук» [Потепбня 1958: 61]. Так же как при определении лексического значения, «при счете форм должно стремиться к тому, чтобы считать за единицу действительную форму, а не абстракцию». Их число определяется поэтому не числом окончаний, а числом формальных оттенков значений. «Мы привыкли, напр., говорить об одном творительном пад. в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собою. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж, так что, собственно, у нас несколько падежей, обозначаемых именем творительного» [Там же: 64].

Звуковое выражение грамматической формы может и отсутствовать. Благодаря системным связям нечленимые далее слова (включая «детские» слова типа *вава* в речи взрослых) причисляются к определенным грамматическим категориям и приобретают таким образом сложность значения. Она является отражением более наглядной сложности других слов. Следовательно, «под частями данного слова следует разуметь как такие значения или их оттенки, которые изображаются в слове особыми звуками, так и такие, которые в данном слове звукового выражения не имеют, а предполагают лишь сложность других слов» [Там же: 22].

В определении значения формы Потebня отводит огромную роль тому, какое *место* она занимает в составе целого — в речи и в схеме форм, причем под схемой понимается и схема предложения, и словоизменительная парадигма (склонение, спряжение).

«...Речь моя понятна, — пишет Потebня, — потому что в ней есть определе-ние *места* (выделено мною. — Л. 3.) и мысли, где искать этой полноты (полноты содержания, свойственной понятию и образу. — Л. 3.), определение, достаточно точное для того, чтобы не смешать искомого с другим» [Потebня 1958: 20]. В частности, обсуждая природу «одночленных» предложений типа *Пожар!*, *Хорошо!*, Потebня указывает: «эти случаи лаконизма понятны и объяснимы только потому, что в понимающем есть готовые сложные схемы предложений, схемы, в коих обрывки речи... каждый раз занимают свое определенное место (выделено мною. — Л. 3.). ...Так, в случаях, когда налицо в предложении только именительный существительного, мы по контексту различаем, стоит ли этот падеж как подлежащее с недоговоренным сказуемым... или как предикативный атрибут, часть составного сказуемого с подразумеваемым подлежащим и глаголом (связкою). К последнему случаю относятся восклицания “пожар!” и заглавия» [Там же: 85–86].

Отдельные грамматические формы образуют в сознании говорящего определенные ассоциации на основе общности отношений, характеризующих те или иные ряды значений [Там же: 43]. При этом «говорящий может не давать себе отчета в том, что есть в его языке склонение, и, однако, склонение в нем действителью существует в виде более тесной ассоциации известных форм между собою, чем с другими формами» [Там же: 44]. Причем ни склонение какого-либо имени, ни спряжение того или иного глагола также не существует изолированно. В сознании говорящего они «как сложные единицы в своей цельности (выделено мною. — Л. 3.) дополняются другими разрядами того же, иногда и другого корня: *Паду* ближайшим образом ассоциировано с *пасть* и как член этой ассоциации приводит на мысль разряды *падаю* — *падать* и (*на, при, пре, о* и прочее) *падаю* — *падать*» [Потebня 1977: 277]. В результате «данная форма имеет для меня смысл *по месту* (выделено мною. — Л. 3.), которое она занимает в склонении или спряжении» [Потebня 1958: 44]. А раз так, то звуковое выражение какой-либо из форм может и отсутствовать, если сохраняется ее отличие от других форм. Например, в литовском и латышском «суффикс 3-го лица в настоящем и прошедшем потерян», «3-е лицо ед., кроме того, никаким звуком не отличается от 3-го лица множ.». Тем не менее «сама категория 3-го лица в них не потеряна, ибо это лицо, при всем внешнем искажении, отличается от 1-го и 2-го как един., так и множ. чисел» [Там же: 40–41].

Итак, «присутствие в языке формы несомненно не только там, где посредством тире мы можем на письме выделить звуковой формальный элемент, но и там, где такого элемента вовсе нет». Наличие материально не выраженных (= нулевых) форм свидетельствует «о высоком формальном развитии языка» [Потebня 1977: 208].

Подчеркивая важность отличий, Потебня замечает далее, что для опознания формы наличие противоположения («противня») важнее материального различия. «Когда говорю: “я кончил”, то совершенность этого глагола сказывается мне не непосредственно звуковым его составом, а тем, что в моем языке есть другая подобная форма “кончал”, имеющая значение несовершенное» [Потебня 1958: 45]. Более того, так как определение формы основывается на всей системе языка, то в отдельных случаях противопоставление одной формы другой может и отсутствовать, и тем не менее в речи она будет опознана правильно. Так, «случаи, в которых совершенность и несовершенность приурочены к двум различным звуковым формам, поддерживают в говорящем наклонность различать эти значения и там, где они не разлучены звуками. Следовательно, говоря “женю” в значении ли совершенном, или несовершенном, я нахожусь под влиянием ряда явлений, образцами коих могут служить *к о н ч а ю* и *к о н ч у*» [Там же: 45]. «Во время полного водворения этих категорий между ними распределялись *все глаголы*» (выделено мною. — Л. 3.). «...Случаи же омонимии глаголов совершенных и несовершенных должны быть понимаемы так, как и всякая омонимия. *Рожу*, каждый раз как употребляется, есть или глагол несовершенный с настоящим временем, или совершенный с будущим. В современном языке он ни тем, ни другим — безразличием того и другого — быть не может» [Потебня 1977: 116–117].

Материальное совпадение тех или иных единиц разных эпох не должно вводить в заблуждение. Необходимо еще и *функциональное* тождество, а оно возможно только при наличии идентичного противоположения. «Спрашивается: были ли и в древнем русском языке несовершенными те глаголы, которые несовершенны в современном? ...Отвечаю отрицательно. Чтоб быть несовершенными в современном значении, они должны были иметь при себе глаголы совершенные, но они их не имели» [Там же: 157].

Само установление значения формы не может обойтись без опоры на противоположения. Так, «хотя с личной точки, принимаемой за объективную, может казаться, что в “дураками свет стоит” глагол означает действие, столь же условленное предметом в творительном, как в “*м н о ю* написано...”, но эта точка не грамматическая. В языке нет оборота, который бы служил противнем вышеприведенному (дураками...) в этом самом смысле, в каком страдательный оборот “письмо написано мною” имеет себе пару в действительном “я написал письмо”. Без такого противоположения не мыслима ни действительность, ни страдательность, а лишь медальность, требующая другого оттенка творительного» [Потебня 1958: 454].

Общий вывод Потебни по вопросам грамматической формы гласит: «нет формы, присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке» [Там же: 45]. В идеале «ответить на вопрос о значении данной формы или ее отсутствия для мысли было бы возможно лишь тогда, когда бы можно связать эту форму с остальными формами данного строя языка, связать таким образом, чтобы по одной форме можно было заключить о свойстве если не всех, то многих остальных» [Там же: 62].

Такое понимание формы основывается у Потебни на представлении *о системности языка как связного целого*. Согласно Потебне, «язык — система, есть нечто упорядоченное, всякое явление его находится в связи с другими. Задача языкознания и состоит именно в уловлении этой связи, которая лишь в немногих случаях очевидна» [Потебня 1989: 209]. Именно потому, что язык является «стройною системою, в которой есть определенный порядок и определенные законы», мы, зная 500–1000 слов, имеем ключ к пониманию десятков, сотен тысяч незнакомых нам слов [Там же: 210]. Особую роль играет при этом формальность языка, т. е. «существование в нем общих разрядов, по которым распределяется частное содержание языка» [Потебня 1958: 61]. Благодаря ей даже ребенок, зная всего сотню слов, «может понимать, что никогда не слышал в жизни, потому что средства для выражения мысли — суффиксы те же. Употребление суффиксов, падежных окончаний встречается поминутно» [Потебня 1981: 134].

И всё же, памятуя о постоянном развитии языка и его общественной природе, не следует преувеличивать стройность его системы. «Народ, пока жив, беспреданно переделяет язык, применяя его к изменчивым потребностям своей мысли. Быстрота течения жизни никогда не дает возможности остановиться на известном строе мысли и согласно с ним довести преобразование языка до конца. Если отдельное лицо никогда не достигает полного примирения несогласий между всеми своими мыслями, то тем менее возможна в языке, создаваемом множеством особей, такая стройность, чтобы всякое отдельное явление было согласно со всеми остальными» [Потебня 1977: 165].

5. ПРИРОДА МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ РАЗЛИЧИЙ

«Нет языка вообще, — пишет А. А. Потебня, — есть только языки и их разновидности до личного языка (языка особи) включительно, языки, изменяющиеся по месту и времени» [Потебня 1968: 8]. Поэтому вопрос о природе языковых различий не праздный. Он решается Потебней исходя из того, что «есть известная доля мысли, невозможная без языка; язык есть орудие, вырабатывающее эту долю мысли и *кладущее на нее свой отпечаток*» (выделено мною. — Л. З.) [Потебня 1989: 205–206]. Характер этого отпечатка, специфика каждого языка как «преобразовательной машины» определяются особенностями языкового содержания — как частного (= лексического, вещественного), так и общего (= грамматического).

В лексическом плане различия в языковом содержании означают различия внутренних форм (представлений) соответствующих слов.

«Когда два лица, говорящие на одном языке, понимают друг друга, то содержание данного слова у обоих различно, но представление настолько сходно, что может... приниматься за тождественное. Мы можем сказать, что говорящие на одном языке при помощи данного слова рассматривают различные в каждом из них содержания этого слова под одним углом, с одной и той же точки зрения. При переводе на другой язык процесс усложняется, ибо здесь не только содержание,

но и представление различны» [Потебня 1976: 263]. Следовательно, различия между соответствующими словами разных языков не ограничиваются звуковыми, как думали когда-то, и касаются всех трех элементов слова: звука (внешней формы), представления (внутренней формы) и значения. Возьмем приводимые Потебней в качестве примера слова *жалованье*, *anpium*, *pensio*, *gage*. Звуковые различия очевидны. Содержание также различно, хотя и «представляет много общего и может быть подведено под одно понятие платы; но нет сходства в том, как изображается это содержание...: *anpium* — то, что отпускается на год, *pensio* — то, что отвешивается, *gage* (по Дицу, слово германского происхождения) первоначально — залог, ручательство, вознаграждение и проч., вообще результат взаимных обязательств, тогда как *жалованье* — действие любви (сравни синонимические слова *миловать* — *жаловать*, из коих последнее и теперь еще местами значит *любить*), подарок, но никак не законное вознаграждение..., не следствие договора двух лиц. Внутренняя форма каждого из этих слов иначе направляет мысль» [Там же: 175].

Степень живости внутренней формы слов в отдельных языках также неодинакова. Например, в славянских и германских языках она больше, чем во французском [Там же: 210]. (Нетрудно заметить сходство между потебнианским разделением языков по степени живости внутренней формы слов и соссюрским разграничением лексических и грамматических языков в зависимости от пропорции целиком произвольных и относительно мотивированных элементов [Соссюр 1977: 165–166].)

Так как внутренняя форма–представление служит основой для обобщения, то различиям во внутренних формах сопутствуют различия в обобщениях. «...Многие языки... известных обобщений вовсе не могут выразить или выражают их неполно... Например, в некоторых русских наречиях слово “человек” вовсе не имеет значения зоологического и антропологического обобщения “*homo sapiens*”, то есть всякого человека, без различия пола, возраста, племени; по-украински было бы совершенно смешно сказать, что женщина есть человек» [Потебня 1976: 493].

В грамматическом плане зависимость качества нашей мысли для нас самих от выражения с полной очевидностью проявляется в «народности» грамматических разрядов [Потебня 1968: 8–9]. «Лишь при помощи языка созданы грамматические категории и параллельные им общие разряды философской мысли; вне языка они не существуют и в разных языках различны» [Потебня 1976: 285]. Прежде всего здесь имеются в виду части речи — существительное, прилагательное, глагол, причем Потебня указывает, что «есть языки, в которых нет ни имени, ни глагола, ни существительного, ни прилагательного» [Потебня 1981: 137], да и в индоевропейских языках они когда-то отсутствовали [Там же: 147–148]. А так как грамматические категории — «это рамки, в которые втискивается содержание мысли нерасчлененной, не препарированной», то от того, каковы они, «зависит наше мышление, его общий характер, полнота и глубина; от различия этих категорий самое содержание мысли различно у разных народов, сродных между собою и находящихся в одних и тех же климатических и иных условиях» [Потебня 1973: 237–238].

С грамматической точки зрения Потebня разделяет языки на формальные и неформальные. Формальные языки «в области своей внутренней формы делают различие между представлением содержания и представлением формы, в какой оно мыслится» [Потebня 1958: 47]. В этих языках частное содержание слов подводится под грамматические разряды таким образом, что лексическое содержание и грамматическая форма составляют один акт мысли и образуют неделимую единицу. Благодаря этому формальные языки способствуют облегчению и ускорению мысли и потому представляют собой «весьма совершенное орудие умственного развития» [Там же: 37].

Менее удобны для мысли «языки, в коих подведение лексического содержания под общие схемы, каковы предмет и его пространственные отношения, действие, время, лицо и пр., требует каждый раз нового усилия мысли. То, что мы представляем формой, в них является лишь содержанием, так что грамматической формы они вовсе не имеют. В них, напр., категория множествен. числа выражается словами “много”, “все”; катег. времени — словами, как “когда-то”, “давно”... <...> Хотя в тех же языках могут быть и более совершенные способы обозначения категорий, но тем не менее для них характерично то, что в них слово, долженствующее обозначать отношение, слишком тяжеловесно по содержанию; что оно слишком часто заключает в себе указание на образ или понятие, чуждые главному содержанию, усложняющие это содержание прибавками, не нужными с нашей точки зрения, уклоняющие мысль от прямого пути и замедляющие ее течение» [Там же: 38].

Сходство общих грамматических категорий в каких-либо языках может быть обманчиво ввиду возможных различий в частных грамматических категориях. Так, «содержание глагола в славянских языках отлично от некоторых других уже в том отношении, что глагол, например русского языка, выражает степени длительности, совершенности и несовершенности» [Потebня 1973: 238]. Подчеркивая собственно языковой характер этих различий, Потebня указывает: «Значение форм, определяемое употреблением и узнаваемое из него же, существует в самом языке, а не вне его. ...Например, для немецкого языка совершенно безразлично то обстоятельство, что при переводе с немецкого на русский мы, не колеблясь, ставим на месте одной и той же немецкой формы *führt* одну из нескольких соответственных русских: *ведет, водит, провожает, проваживает*. Тот смысл фразы, которым мы руководствуемся при этом, внесен в нее русскими переводчиками, требуется русским языком, в немецком же вовсе не существует» [Потebня 1977: 114].

При наличии сходных грамматических категорий соотношение их друг с другом в различных языках не совпадает. Так, «в говорящем по-латышски особенность категории творительного поддерживается посредством более тесной ассоциации между единственным и множественным числом, чем в русском» [Потebня 1958: 44–45].

Поскольку словесная форма, языковое содержание составляет часть содержания мысли, «мысль, переданная на другом языке, сравнительно с фиктивным отвлеченным ее состоянием получает новые прибавки» [Потebня 1976: 264]. Поэтому

«перевод с одного языка на другой есть не передача той же мысли, а возбуждение другой, отличной» [Потебня 1976: 265], «“переложение своими словами”, изменяющее его содержание, в особенности если произведение поэтическое» [Потебня 1973: 238]. «...Общее тому и другому есть отвлечение, неравное содержанию ни подлинника, ни перевода» [Потебня 1976: 419]. То же наблюдается при переводе с литературного языка на областное наречие и с одного наречия на другое [Там же: 265].

Незаменимость, единственность каждого языка и наречия, его непереводаемость отчетливо проявляется в речи билингвов. «Человек, говорящий на двух языках, переходя от одного языка к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли». «И наоборот, если два или несколько языков довольно привычны для говорящего, то вместе с изменением содержания мысль невольно обращается то к тому, то к другому языку. ...Это же явление составляет реальное основание ломоносовского деления слога на возвышенный, средний и низкий» [Там же: 260].

Итак, иной язык, иное наречие, даже иной стиль предполагают иное мыслительное содержание. Это еще одно доказательство того, что языки не являются средствами обозначения уже готовой мысли, образовавшейся помимо их. Языковые различия не сравнимы с различиями почерков и шрифтов одной и той же азбуки [Там же: 258]. Будучи средствами преобразования доязычных элементов мысли и ее создания, «языки различны не только по степени своего удобства для мысли, но и качественно, то есть так, что два сравниваемые языка могут иметь одинаковую степень совершенства при глубоком различии своего строя. *Общечеловеческие* свойства языков суть: по звукам — членораздельность, с внутренней стороны — то, что все они суть системы символов, служащих мысли. Затем все остальные их свойства суть *племенные*, а не общечеловеческие. Нет ни одной грамматической и лексической категории, обязательной для всех языков» [Там же: 259].

Значение языковых различий трудно переоценить. Как «глубоко различные системы приемов мышления» [Там же: 259] языки незаменимы. Как различные системы приемов познания они взаимно дополняют друг друга. «Если бы объединение человечества по языку и вообще по народности было возможно, оно было бы губительно для общечеловеческой мысли, как замена многих чувств одним, хотя бы это одно было не осознанием, а зрением. *Для существования человека нужны другие люди; для народности — другие народности. Последовательный национализм есть интернационализм* (выделено мною. — Л. З.). Как немногими знаками выражаются бесконечные числа и как нет языка и наречия, которые не были бы способны стать орудиями неопределимо разнообразной и глубокой мысли, которая, однако, никогда не может сравняться с познаваемым, так всякая народность, хотя бы и низшая, а priori способна к бесконечному одностороннему развитию» [Там же: 229]. Если всеобъемлющая, безусловно лучшая народность невозможна, то, очевидно, так же невозможен и всеобъемлющий, безусловно лучший язык.

Но и этим не ограничивается благотворное значение языковых различий. «Язык не есть только известная система приемов познания, как и познание не обособлено от других сторон человеческой жизни. Познаваемое действует на нас эстетически и нравственно. *Язык есть вместе путь сознания эстетических и нравственных идеалов* (выделено мною. — Л. З.), и в этом отношении различие языков не менее важно, чем относительно познания» [Потебня 1976: 259].

6. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА

Основываясь на принципе историзма и исходя из определения языка как изменчивого органа и формы мысли [Потебня 1958: 83; 1977: 70], Потебня полагает, что в известных пределах сама «история мысли подлежит исследованию языкознания» [Потебня 1968: 5]. На некоторые, притом первостепенные, частности вопроса, откуда и куда мы идем, «можно отвечать, лишь наблюдая изменения языков, ибо известные формы мысли, сквозь которые проходит и которыми изменяется всё содержание знания, оставляют следы лишь в языке и более ни в чем. ...Отвечая на вопрос о причине такой-то формы нашего знания, нельзя миновать указания на образуемые и образующие формы языка, каковы слово, предложение, часть речи; ибо этими формами различно, смотря по языку и его поре, делится и распределяется всё мыслимое, доходящее до нашего сознания» [Там же: 503], включая общие разряды философской мысли [Потебня 1976: 285].

Движущей силой в развитии языка Потебня считает потребности мысли [Потебня 1958: 57]. «Мысль должна развиваться, стало быть, и язык должен расти» [Потебня 1976: 399]. «Народ, пока жив, беспрестанно передельывает язык, применяя его к изменчивым потребностям своей мысли» [Потебня 1977: 165]. «Масса безыменных для нас лиц, масса, которую можно рассматривать как одного великого ученого, великого философа, уже тысячелетия совершенствует способы распределения по общим разрядам и ускорения мысли и слагает в языке на пользу грядущим плоды своих усилий» [Потебня 1968: 504].

Обеспечивая преемственность человеческого познания, сам «язык постоянно остается посредником между познанным и вновь познаваемым. Как вещественные значения, так и формы должны быть рассматриваемы как средства и вместе акты познания» [Потебня 1958: 59].

Развитие языка как средства познания отражает развитие мышления и его типов в ходе познавательной деятельности человека, эволюцию его самосознания и мировосприятия.

6.1. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ. ЕГО ТИПЫ

«...Исходное состояние сознания есть полное безразличие *я* и *не-я*» [Потебня 1976: 170]. «Познание своего *я* есть другая сторона познания мира, и наоборот» [Там же: 305]. Ход объективирования предметов является одновременно процес-

сом образования взгляда на мир, а так как это объективирование — явление развивающееся, то и «...содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании, на *я* и *не-я*, есть нечто постоянно развивающееся» [Потебня 1976: 170]. Следовательно, сама «...личность, мое *я* есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое мгновение» [Там же: 283].

Развивая на этой основе идеи Гумбольдта, Потебня синтезирует его определения языка как деятельности и мирозерцания: «...мир человечества в каждый данный момент субъективен; ...он есть смена мирозерцаний» [Там же: 422], и язык — это «не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность» [Там же: 171].

Так как «мысль наша по содержанию есть или образ, или понятие» [Там же: 166], Потебня разграничивает образное (поэтическое) и понятийное (прозаическое, научное) мышление. Данное разграничение продолжает традиции Гердера и Гумбольдта, но Потебня в противопоставлении поэзии и прозы идет дальше. Для Гердера поэзия и проза — это различные, исторически сменяющие друг друга возрасты и типы языка. Согласно Гумбольдту, это не только проявления языка, но и пути развития интеллектуальной сферы. С точки зрения Потебни, «как язык есть деятельность, известный способ мышления, так и поэзия и проза суть тоже способы мышления, приемы мысли» [Потебня 1989: 228]. Это формы и средства познания [Потебня 1976: 521], основные формы человеческой мысли, ее деятельности [Там же: 508, 536], причем, вопреки Гердеру и его последователям в этом вопросе, «не какие-нибудь временные формы мысли, от которых человечество может отделаться с развитием, а формы постоянные, находящиеся в известном взаимодействии» [Там же: 487].

В генетически первичном поэтическом мышлении Потебня выделяет два способа мышления: мифический и собственно поэтический — в зависимости от отношения сознания к связи между образом (представлением) и значением (содержанием). «...Сознание может относиться к образу двояко: 1) или так, что образ считается объективным и потому целиком переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах означаемого; 2) или так, что образ рассматривается лишь как субъективное средство для перехода к значению и ни для каких дальнейших заключений не служит.

Первый способ мышления называем мифическим..., а второй — собственно поэтическим. Этот второй состоит в различении относительно субъективного и относительно объективного содержания мысли. Он выделяет научное мышление, тогда как при господстве первого собственно научное мышление невозможно» [Там же: 420–421].

Движение человеческой мысли состоит «в переходе от признания объективной связи между изображением и изображаемым к ограничению и отрицанию этой связи» [Там же: 279].

При мифическом способе мышления слово и мысль, слово и дело, слово и вещь сознаются как нераздельное целое и отождествляются. Иносказательность образа,

сама образность слова не осознается. «...Объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективность, действительное бытие в объясняемом.

Таким образом, две половины суждения (именно образ и значение) при мифическом мышлении более сходны между собою, чем при поэтическом. Их различие ведет от мифа к поэзии, от поэзии к прозе и науке.

Множество примеров мифического мышления можно найти и не у дикарей, а у людей, близко стоящих к нам по степени развития. Например, когда говорится, что средство от “обжога” “вытягивает жар” (то есть оно тянет жар, как вещь); “стена потеет”, то есть осаждение воды из воздуха, охладевшего от соприкосновения с гладкой и холодной поверхностью, представляется потом, выходящим из кожи» [Потенбя 1976: 432–433].

Как видно, «первоначально расстояние между образом и значением было весьма мало» [Там же: 421], в том числе в силу чрезвычайной ограниченности последнего. «При состоянии мысли, не дающем возможности явственно разграничить субъективное познание от объективных его источников, слово, как наиболее явственный для сознания указатель на совершившийся акт познания, как центр относительно изменчивых элементов чувственного образа, должно было представляться сущностью вещи. Есть много свидетельств о чрезвычайной распространенности этого верования» [Там же: 446–447]. Причем оно свойственно не только первобытному человеку и зависит не столько от каких-либо специфических особенностей его душевной жизни (особой склонности к олицетворению, фантазии), сколько от количества данных [Там же: 437], ибо «чем ближе к началу истории, тем меньшим капиталом мысли обладают люди» [Там же: 446]. «При недостаточности наблюдений и при чрезвычайно слабом сознании этой недостаточности» [Там же: 437] мифическое мышление — «единственно возможное, необходимое, разумное; оно свойственно не одному какому-либо времени, а людям всех времен, стоящим на известной степени развития мысли» [Там же: 433]. Поэтому «мифическое творчество не прекратилось и в наши дни» [Там же: 439].

«Появление же метафоры в смысле сознания разнородности образа и значения есть тем самым исчезновение мифа» [Там же: 134] и начало собственно образности на основе расширения значения. «Метафоричность выражения, понимаемая в тесном смысле, начинается одновременно со способностью человека сознавать, удерживать различие между субъективным началом познающей мысли и тем ее течением, которое мы называем (неточно) действительностью, миром, объектом» [Там же: 434–435].

«По мере того как мысль посредством слова идеализируется и освобождается от подавляющего и раздробляющего ее влияния непосредственных чувственных восприятий, слово лишается исподволь своей образности. Тем самым полагается начало прозе, сущность коей — в известной сложности и отвлеченности мысли». При этом слово, утратив внутреннюю форму—представление, перестает быть конкретным образом, пробуждающим значение, и становится только знаком значения.

«Количество прозаических стихий в языке постоянно увеличивается согласно с естественным ходом развития мысли», с усложнением ее, с усилением ее отвлеченности. С последним Потебня связывает и образование формальных слов — грамматических категорий [Потебня 1976: 210], развитие частей речи, эволюцию предложения от именного строя к глагольному (см. ниже).

Однако, в отличие от Дж. Вико, И. Г. Гердера, Я. Гримма, Ф. И. Буслаева и многих других, Потебня не считает, будто развитие языка ведет к потере образности. «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления. В противном случае пришлось бы утверждать, что высокоразвитые языки подавляют способность к поэтическому творчеству, что, по крайней мере в этой общей форме, кажется нелепостью» [Потебня 1958: 347]. Не надо забывать, что «непосредственную ценность для нас имеет только конкретное, и отвлечения создаются лишь ради разработки этого конкретного и подчинения его мысли» [Там же: 35]. Поэтому как в прошлом, так и в настоящем «правильный ход мысли состоит в восхождении от частного к общему, а потом, на основании этого процесса, и в обратном движении» [Там же: 34]. Причем, как показывает сопоставление с ландшафтной живописью, сложность мысли не означает еще ее неперменной отвлеченности. «Нынешняя ландшафтная живопись, именно в силу своей большой сложности, как продукта мысли, сравнительно с живописью предшествующих веков, по содержанию более конкретна, чем эта последняя. Почему же того же не может быть и в языке? И действительно, оказывается, что в слове можно сознать и сравнительно конкретное посредством значений сравнительно отвлеченных, а не только наоборот» [Там же: 52]. «...Если в языке есть названия отвлеченных качеств и действий, то от них могут образоваться слова с значениями более конкретными» [Там же: 34]. «...Нет такого состояния языка, при котором слово теми или другими средствами не могло получить поэтического значения» [Потебня 1976: 210]. «Всякое новое применение слова, как уже сказано, есть создание слова» [Потебня 1989: 223], и каждое новое слово обязательно является образным. «Образность языка, в общем, не уменьшается. Она исчезает только в отдельных словах и частях слов, но не в языке, ибо новые слова создаются постоянно, и тем больше, чем деятельнее мысль в языке, а неперменное условие таких слов есть живость представления. Чем сильнее развивается язык, тем более в нем количество слов этимологически прозрачных» [Потебня 1976: 369]. Неиссякаемый источник образности Потебня видит в безграничной способности языков «создавать образы из сочетания слов, всё равно, образных или безобразных. Слова: *гаснуть* и *веселье* для нас безобразны; но “безумных лет *угасшее веселье*” заставляет представлять *веселье* угасаемым светом» [Там же: 370].

Поскольку изобразительность народного языка, «пока он жив, не оскудевает» [Потебня 1958: 54], противоположение древних языков новым как менее поэтичным неправомерно. «Пресловутая живописность древних языков есть детская

игрушка грубого изделия сравнительно с неисчерпаемыми средствами поэтической живописи, какие предлагаются поэту новыми языками» [Потебня 1958: 52].

С другой стороны, живописность древних языков вовсе не исключает наличия безобразных, прозаических элементов. «Нельзя себе представить такого состояния человека, когда бы он, говоря, не производил в себе усложнения мысли, влекущего за собой потерю представлений. Уже в глубоко древних слоях праиндоевропейских языков находим прозаичные и вместе научные элементы: местоимения и происшедшие из них грамматические стихии слов, выражения формальных разрядов мысли; числительные... известные глаголы...» [Потебня 1976: 368–369].

«...Постоянная смена поэтического и прозаического мышления идет без конца и назад и вперед. <...> ...Ежeminутно мы нуждаемся в поэтической форме именно потому, что у нас в языке постоянно происходит мелкое, но в результате могучее превращение поэтических форм в прозаические, и наоборот, возникают новые поэтические формы из прозаических. Для создания мысли научной поэзия необходима» [Там же: 536]. «...Поэзия не раз когда-либо в прошедшем человечества и не изредка, от времени до времени, а постоянно служит источником науки, которая в свою очередь питает новое поэтическое творчество» [Там же: 414]. Это взаимодействие поэзии и прозы как основных форм мысли обеспечивает возможность дальнейшего развития языка в целях удовлетворения опережающих потребностей мысли. «...Язык как продукт, вместе со вновь привходящими чувственными впечатлениями направляющий последующую деятельность мысли, не только вначале всегда беден по отношению к требованиям этой мысли. Этим условлена неограниченность развития языка и, сколько известно, отсутствие в этом развитии циклов и крутых поворотов, вроде существовавшего еще недавно противоположения периода создания и разрушения языка. Эта бедность, вынуждающая как каждый из случаев позднейшей метафоричности, так и создание мифов, есть, собственно, не бедность, а возможность дальнейшего развития» [Там же: 436]. И так как «в действительности язык возможен только в обществе», то и «...усовершенствование языка народа находится в прямом отношении со степенью живости обмена мысли в обществе..., обмена, возможность коего условлена сходством человеческой природы вообще и в частности еще большим сходством лиц того же народа и племени» [Там же: 303].

6.2. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

«Мы не можем себе представить создание из ничего. Всё то, что человек делает, есть преобразование существующего. Точно так же и создание мысли есть известного рода преобразование ее» [Там же: 539]. Аналогично этому и «всякое новое создание в языке есть лишь преобразование и вместе разрушение чего-либо предшествующего» [Потебня 1958: 113]. Взятый в целом, «язык в настоящем своем виде есть столько же произведение разрушающей, сколько и воссозидающей силы» [Потебня 1976: 221]. Это свойство языка, замеченное уже Гердером

[Гердер 1959: 131] и Гриммом [Гримм 1964б: 63, 68], обнаруживается, по Потебне, в частности, в том, что «явления, возникшие при таком-то строе языка, могут переживать этот строй, исподволь становясь исключениями, и что, наоборот, новые явления языка вначале являются как пятна на старых» [Потебня 1958: 298]. В этих пережитках прошлого и зародышах будущего, в разновременности слоев, заметных в каждом языке, Потебня, как и Гримм [Смирницкая 1984: 150], видит проявление языкового развития. Существование разнохарактерных пластов связано с развитием всех форм языка: слова, предложения, грамматических категорий.

Характеризуя развитие элементов языка, и в частности грамматических категорий, Потебня обращает внимание и на то, что их преобразования совсем не обязательно получают явное, материальное выражение. Дело в том, что «прежде созданное в языке двояко служит основанием новому: частью оно перестраивается заново при других условиях и по другому началу, частью же *изменяет свой вид и значение в целом единственно от присутствия нового*» (выделено мною. — Л. 3.) [Потебня 1958: 131]. Указанием на это последнее изменение Потебня подчеркивает относительный, системно обусловленный характер языковых явлений. Например, в русском языке «глагол как сказуемое не мог остаться прежним, одержавши такие победы над именем, как образование неопределенного наклонения, позднее — прошедшего на *-ль* из имени, получивши возможность определяться вновь возникшими частями речи, как наречия отыменные и деепричастия» [Там же: 82–83].

Сосредоточившись в отличие от Шлейхера в первую очередь на анализе движения не звуков, а содержания, Потебня отмечает системность семантических изменений: «в языках есть система, есть правильность (но не топорная симметричность) в постепенном развитии содержания» [Потебня 1976: 50]. Эта «система» обнаруживается и в развитии слова, и в эволюции грамматических категорий.

Развитие слова. В ходе исторического развития изменяются все элементы слова, но в разной степени. Знаковые элементы слова более устойчивы, чем означаемое–значение. Поскольку «и разрушение, и рождение форм, равно как и вещественных значений, ближайшим образом зависят не от наклонностей внешних органов слова (т. е. речевых органов. — Л. 3.), а от известной потребности мысли» [Потебня 1958: 57], то, естественно, «изменчивость и подвижность мысли в языке гораздо более изменчивости звуков» [Там же: 32]. Поэтому Потебня сосредоточивает свое внимание на тех преобразованиях, которые касаются значения (содержания) слова и представления, а также их соотношения друг с другом. В расстоянии между ними можно видеть «точный указатель степени развития мысли» [Потебня 1976: 442] и типа мышления.

В свою очередь, из названных двух элементов — ввиду большей изменчивости внеязыкового мыслительного содержания по сравнению с языковым — значение (означаемое) оказывается более подвижным, чем представление (означающее). Изменение последнего состоит в его забвении вследствие расширения значения слова. Способность содержания слова к росту — постоянное свойство слова.

Каждое применение слова к новым признакам, заключенным в значении слова помимо представления (а значение есть совокупность признаков, заключенных в образе [Потebня 1989: 222]), увеличивает его содержание. Вместе с тем растет несоответствие между представлением и значением. Когда в ряду других признаков представление оказывается несущественным, оно забывается. Так в результате расширения значения появляются безобразные слова (с забытым представлением), состоящие только из двух элементов — звука и значения. Таковы корневые слова. «...Но, как скоро мы применяем слово хотя бы и с забытым представлением к новому значению, происходит новое представление с явственным значением» [Там же: 223], и безобразное слово становится образным. Ср. безобразное *лес* ‘собрание деревьев’ и *лес* в значении ‘прочь’, ‘вон’ в пословице ‘волка как ни корми, он всё в лес глядит’ [Там же: 211].

Итак, «развитие языка совершается при посредстве затемнения представления и возникновения новых слов с ясным представлением» [Там же: 224–225]. «...Одновременное существование в языке слов образных и безобразных условлено свойствами нашей мысли, зависимой от прошедшего и стремящейся в будущее» [Потebня 1976: 303].

Большая подвижность значения сравнительно с представлением не означает пассивности последнего, тем более что сама возможность постоянного расширения значения определяется особенностями символической природы слова. «Слово только потому есть орган мысли и непремненное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» [Там же: 196]. «...Лишь объединив чувственные образы посредством представления, мы создаем такой объект мысли, которого содержание способно развиваться, — создаем формы, в которые удобно будет ложиться всякий новый признак» [Потebня 1989: 216]. «Посредством соединения представления с другими представлениями производится расчленение образа, *превращение его в понятие*, установление связи между мыслями, их подчинение и соподчинение (классификация)» [Потebня 1976: 302]. Так — образованием понятия — завершаются названные выше (в разделе 3.3) исключительно человеческие преобразования чувственного образа, которые вызывает представление.

Представление как указание на чувственный образ (= образ образа) в единстве с последним составляет суждение — основную форму мысли. Но представление возможно только в слове, а потому слово есть выражение психологического суждения, состоящее из образа (субъект) и его представления (предикат) [Там же: 147–148].

Язык первобытного человека состоял из первообразных слов–предложений с выраженным в слове одним только сказуемым, объясняющим не выраженное словом подлежащее, каковым является нерасчлененное целое восприятие очень ограниченного конкретного чувственного образа [Потebня 1958: 82, 90; 1976: 186], в котором действие, атрибут–качество, субстанция–предмет составляют нераздельное единство. Поэтому «слово вначале лишено еще всяких формальных

определений и не есть ни существительное, ни прилагательное, ни глагол» [Потебня 1976: 150]. Но и в таком диффузном, бесформенном слове, предшествующем образованию грамматических категорий [Потебня 1958: 83–84], благодаря «замене случайных и изменчивых сочетаний (признаков. — Л. З.), составляющих образ, постоянным представлением... человек впервые приходит к сознанию бытия темного зерна предмета, к знанию действительного предмета» [Потебня 1976: 155]. Дальнейшее разложение и видоизменение чувственного образа и соответственно образование частей речи возможно только *после* того, как сознание отделит от более-менее случайных атрибутов неизменное зерно вещи, сущность, субстанцию [Там же: 151].

Поскольку «разложение чувственного образа может осуществиться только посредством соединения его с другою подобною единицею» [Там же: 157], то и развитие частей речи и других грамматических категорий, так же как образование понятий и общих разрядов мысли, предполагает одновременное развитие предложения. «...Части речи возможны только в предложении, в сочетании слов, которого не предполагаем в начале языка» [Там же: 151]. Первоначальное предложение представляет собой сравнение двух самостоятельных чувственных образов [Там же: 159], например *вода свет*. Многократное соединение различных слов в двучленные единицы приводит к разложению чувственного образа на совокупность суждений, каковая есть понятие, и соответственно к забвению внутренней формы-представления. Так, слово *трава* утратило внутреннюю форму ‘снеть’, ‘служащее в пищу’ потому, что в результате его соединения с различными сказуемыми и образования цепи суждений типа ‘то, что я представляю себе поедаемым (= трава), я в то же время представляю себе зеленым’, ‘то, что я представляю себе поедаемым, растет... вянет... сохнет... косится’ и т. д. нераздельный до того чувственный образ травы разложился на отдельные признаки и таким образом обратился в понятие [Потебня 1976: 160; 1989: 218–219]. Так как описанное разложение чувственного образа невозможно без слова [Потебня 1976: 160], «слово есть средство образования понятия» [Там же: 165]. Понятие, «как деятельность, есть известное количество суждений, следовательно, не один акт мысли, а целый ряд их» [Там же: 166], а «так как количество признаков в каждом кругу восприятий неисчерпаемо, то и понятие никогда не может стать замкнутым целым» [Там же: 194]. Отсюда безграничность познания.

«Слово может, следовательно, одинаково выражать и чувственный образ и понятие» [Там же: 166]. «Слово, будучи средством развития мысли, изменения образа в понятие, само не составляет ее содержания» и является — в зависимости от того, помнится или нет «центральный признак образа» (представление), — либо знаком, символом известного содержания, либо «чистым указанием на мысль» [Там же: 167].

Развитие грамматических категорий и предложения. «Если мир, как мы верим, неисчерпаем для познания и если верно, что не может быть найдено пределов лексическому развитию языка, то нельзя назначить и черты, ограничивающей

количество и качество возможных в формальном языке категорий» [Потебня 1958: 59]. Поскольку «вообще изменения значения слов происходят от их употребления в виде членов предложения» [Потебня 1968: 487], то и развитие грамматических категорий неотделимо от предложения. Согласно Потебне, «простейшее предложение наших языков заключает уже в себе грамматическую форму; оно появляется в языке вместе с нею. Образование и изменение грамматических форм, составляющих формальное (грамматическое) содержание предложения, есть другое название для изменения самого предложения, т. е. того ближайшего целого, в коем совершается жизнь этих форм. Понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли. Напротив, даже в относительно небольшие периоды эти категории заметно меняются» [Потебня 1958: 82]. «И вообще в языке... нет ни одной неподвижной грамматической категории. Но с изменением грамматических категорий неизбежно изменяется и то целое, в котором они возникают и изменяются, именно предложение». «...Из основного взгляда на язык как на изменчивый орган мысли следует, что история языка, взятого на значительном протяжении времени, должна давать ряд определений предложения» [Там же: 83].

Определяя направление развития предложения и грамматических категорий, Потебня исходит из того, что «при смене состояний языков и народов, требующее меньшего усилия мысли, ...должно было предшествовать состоянию, требующему больших усилий» [Потебня 1968: 59]. Именно поэтому «в языке, как и вообще, за исходную точку мысли следует признавать чувственные восприятия и их комплексы, стало быть, нечто весьма конкретное сравнительно с отвлеченностью общего качества» [Потебня 1958: 34]. «...Способность к отвлеченному мышлению (т. е. к мышлению отношений отдельно от вещей, как в математике, или вместе с вещами и явлениями, но так, что каждый раз мы можем отделить отношение, как общее, от явления, как частного, как в аг-атор)... приобретается народами постепенно и, стало быть, некогда отсутствовала» [Потебня 1968: 9]. «Как вообще в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им, так, в частности, понятия действия, качества суть относительно поздние отвлечения» [Там же: 218], поскольку «понимание качества (resp. и действия), как чего-то невещественного, требует известных усилий мысли» [Там же: 18]. Не случайно «до недавнего времени ученые за явлениями, как горение и тепло, свет и электричество, усматривали особые субстанции: флогистон, теплород, электрическую жидкость. Поэтому в порядке вещей, что и ныне для огромного большинства нисколько не метафорично изображение качества как *вещи*, заключающей в себе (в собств. смысле, т. е. внутри себя) *силу*, которая тоже есть вещь, *изгоняющей* другое качество (т. е. вещь), напр.: ...Сок хрена “пущать в ухо, то всю *глухоту* (вещь) *выгоняет*”...Качество — пространственно, входит и выходит, как болезнь (человекообразное сущ.): как “уксусь зь медомь

прикладать до больных очей, то *выйдет очная болъзнь*» [Потебня 1968: 18], — так советовал Лечебник XVIII в.

«Чем далее в древность, тем слабее способность представлять качества и действия независимо от субстанций» [Там же: 496] и, значит, тем конкретнее мышление. Если принять, что «мера конкретности есть степень близости к чувственному образу, к безразличию субстанции и атрибута» [Там же: 276], первообразное имя, близкое к нерасчлененному чувственному образу, должно было совмещать полную качественность с субстанциальностью [Там же: 81–82]. Такое первобытное имя, появившееся вместе с глаголом и предшествовавшее выделению существительного и прилагательного, по способу представления в нем признака ближе всего подходило к причастию [Потебня 1958: 94–95]. Соответственно, «в древнем языке употребление причастия, формы, промежуточной между именем в тесном смысле и глаголом, было гораздо обширнее, чем в новом» [Там же: 516]. Это означает, что «*по тину* обороты “я не ездок”, “жалоба моя” — древнее, чем “не езжу”, “жалуюсь”» [Потебня 1968: 275], ибо «в этих именах вместе с субстанцией мыслится и действие, следовательно, имя субстанции содержательнее, конкретнее, чем тогда, когда действие (и качество) выделены» [Там же: 277].

Если, далее, сравнить категории существительного и прилагательного, то «...существительное, т. е. (первонач.) название признака вместе с субстанцией, которой приписываются и другие признаки, ближе к чувственному образу (который может быть указан и отчасти изображен) и потому первообразнее, чем прилагательное, имя признака без определенной субстанции, не указуемого и никак не изображимого. Точно так же не указуемо и не изображимо действие само по себе». Отсюда понятно, почему не все языки различают название вещи и признака, а в истории языков, различающих эти названия, «...прилагательное, как выделенное из связи признаков, как более отвлеченное, чем существительное, позднее существительного и образовалось из него» [Там же: 60].

Первоначальная нерасчлененность вещи, ее действия и качества в неразложном восприятии (например, «безразличие такой-то птицы и производимого ею полета») обуславливает безразличие субъекта и атрибута, субъекта и предиката, субъекта и объекта в первичном, синтетическом, суждении [Там же: 507]. «...Суждения аналитические, состоящие в разделении мыслимого на вещь и ее качества и действия, стали возможны лишь в силу того, что им предшествовали суждения синтетические, состоящие в сочетании двух равно субстанциональных комплексов. Таким образом, существительное с определительным прилагательным предполагает сочетание двух существительных, притом сочетание паратактическое, ибо подчинение одного из этих существительных другому хотя и не устраняет двойственности субстанций, но направлено к их объединению» [Там же: 218]. Например, «выражения, как *дуб стол*, не могут быть выводимы из таких, как “*дубовый стол*”, ибо *дубовый* произведено от *дуб*, а не наоборот. Таким же образом, предполагая в языке увеличение способности к выражению отношений, нельзя выводить

“дуб стол”, где сочетаемые слова только сопоставлены без выражения зависимости, из “стол из дуба”, где отношение определено» [Потебня 1968: 135–136].

Степень разграничения грамматических категорий и членов предложения относительно к степени единства предложения. В древности «в языке, состоявшем, по предположению, кроме местоимений, лишь из причастий и глаголов, оба эти члена предложения были дифференцированы гораздо менее, чем в нынешнем языке имя и глагол. Имя было, так сказать, гораздо предикативнее; предложение заключало в себе менее единства, основанного на противоположности главных членов, чем нынешнее» [Потебня 1958: 96].

С течением времени увеличивается разница между существительным и прилагательным, углубляется противоположность имени и глагола, предикативность всё больше сосредоточивается в глаголе. Увеличение способности к выражению отношений сопровождается стремлением «увеличить единство предложения, дифференцируя его члены. В предложении, как в животном организме, связь частей увеличивается по мере увеличения различия их функций» [Там же: 222]. Особую роль в приобретении предложением строгого единства Потебня отводит решительному преобладанию глагола, усилению глагольности в новых языках [Там же: 221]. «...Изменение значения и круга деятельности существительного (что есть лишь другая сторона усиления глагола и обособления прилагательного и наречия)» в свою очередь приводит к увеличению связности (гипотактичности) речи [Потебня 1968: 5]. Для более древнего периода развития языка, напротив, характерно «такое господство в предложении начал согласования, при котором члены предложения, сравнительно с позднейшим языком, слишком однородны» [Потебня 1958: 131].

Большую древность паратактических оборотов типа «раздавлены ногами слонами», «стадо овцы», «к матери ко двору», «о нем о здоровье» и т. п. Потебня также объясняет тем, что они требуют меньших усилий мысли. «Гораздо легче и потому первообразнее поставить два одинаковых падежа для выражения одинаковой самостоятельности вещей, чем падеж с родительным или... два падежа с различными предлогами для выражения определенных отношений между этими вещами» [Потебня 1968: 163]. В позднейшем языке наблюдается стремление «к дифференцированию членов предложения» [Потебня 1958: 132]. Различение бывших прежде однородных функций членов предложения осуществляется, в частности, путем ограничения согласуемости и расширения области несогласуемых падежей.

Итак, в развитии как слова, так и предложения действует та же закономерность, что в развитии живописи. И здесь и там отсутствие перспективы древнее ее присутствия.

В слове это выражается в увеличении расстояния между представлением и значением (означающим и означаемым) по мере перехода от мифа к поэзии и далее к прозе.

Внутри предложения паратактические связи грамматических форм сменяются гипотактическими. Так, в обороте *раздавлены слонами ногами* «отношение между

двумя вещами никак не выражено, и они изображены, так сказать, на одной плоскости, без перспективы». В более позднем обороте *раздавлены ногами слонов* «на первом месте вещь, непосредственно действующая, относительный субъект “ноги”; на втором — вещь, коей принадлежит первая, — “слонов”». И наконец, «удаление этой последней субстанции на задний план может повести к ее устранению посредством замены прилагательным» в обороте *раздавлены слоновыми ногами* [Потебня 1968: 163] (что может быть соотнесено с устранением представления в прозаическом слове).

В том же направлении — от паратаксиса к гипотаксису — развиваются связи между предложениями. «Первоначально простые предложения следуют друг за другом так, что формальные отношения между ними вовсе не сознаются и не обозначаются. Ряды их подобны рисунку без перспективы» [Потебня 1958: 128]. С течением времени «человек переходит от бессвязности, дробности, паратактичности мысли и речи к возможности стройного подчинения многих частей речи цельности периода, многих периодов цельности сочинения» [Потебня 1968: 505].

Степень сложности, отвлеченности и связности мысли, в свою очередь, обуславливает скорость ее течения. «Мысль по мере своего усложнения движется всё быстрее и быстрее, и соответственно этому и язык позднейших периодов, по причине меньшей своей живописности, дает более быстрый ход мысли, чем язык древний» [Потебня 1977: 44]. В соответствии с различием в степени живописности, образности «поэзии, по ее сходству с изобразительным искусством, более свойственна медленность течения мысли, прозе как форме науки — ее быстрота» [Там же: 85]. Указанные различия, как полагает Потебня, сопоставимы с теми, какие характеризуют речь образованного и необразованного человека [Там же: 48].

Происходит ли падение форм? Отвергнув противопоставление доисторических времен историческим [Потебня 1976: 52–55], Потебня не принимает точку зрения, согласно которой «с течением времени сила, создающая язык, освобождается из него для другой деятельности, причем язык перестает быть орудием мысли, каким он был сначала». Не может согласиться он и с тем, что «язык изъят из области закона природы, по которому смерть есть начало новой жизни» [Потебня 1958: 62–63].

«Сам по себе язык содействует непрерывности предания, постоянству в капитализации мысли... <...>

За исключением случаев нарушения непрерывности предания в языке (главным образом под действием внешних факторов. — Л. З.), всё остальное, совершающееся в нем, может быть понято лишь как следствие усложнения мысли» [Там же: 60] — этого «всеобщего двигателя развития языка».

Возрастающее с усложнением мысли единство предложения, усложнение и совершенствование способов расчленения и распределения слов по разрядам означает рост формальности языка. Как совместить с этим утвердившееся представление о падении грамматических форм в поздний период жизни языка? Чтобы разрешить

этот вопрос, Потebня считает необходимым разобраться, всегда ли разрушение форм действительно является таковым, а если оно происходит, то что именно разрушается — сама ли категория (и какая) или ее внешний знак.

По заключению Потebни, мысль о падении форм в значительной мере вызвана их неправильным толкованием, ибо «за форму принят ее внешний знак» [Потebня 1958: 63]. Но ведь «формальность языка есть существование в нем общих разрядов, по которым распределяется частное содержание языка, одновременно с своим появлением в мысли. Ежеминутно распределяя содержание своей мысли в языке по разрядам, невозможно утратить привычки к такой классификации, а, напротив, можно только всё более и более укоренять в себе эту привычку» [Там же: 61].

Так как «форма есть значение», то «чтобы доказать, что число форм уменьшается, нужно именно считать формальные оттенки значений», различаемых в речи, а этого никто не делал. Если же учесть, что, например, всякое особое употребление падежа есть новый падеж, то новые падежи возникают и донныне [Там же: 63–64].

Поскольку «форма есть значение», то и выветривание звуков, служивших внешними знаками формальных значений, еще не означает утрату грамматической категории.

Стирание звуков может быть понято лишь в связи с мышлением.

Во-первых, «затрата силы на произнесение звука в речи оправдывается лишь в той мере, в какой без звука невозможно удержать перед собою значение. Чем слабее энергия мысли, тем более она нуждается в звуке как внешней опоре; но, по всем соображениям, эта энергия в языке увеличивается, и этим объясняется небрежность в сохранении прежнего звукового состава слова» [Там же: 65].

Во-вторых, «вещественное и формальное значение данного слова составляют... один акт мысли. Именно потому, что слово формальных языков представляется сознанию одним целым, язык столь мало дорожит его стихиями, первоначально самостоятельными, что позволяет им разрушаться и даже исчезать бесследно» [Там же: 39]. «Итак, если при сохранении грамматической категории звук, бывший ее поддержкою, теряется, то это значит не то, что в языке ослабело творчество, а то, что мысль не нуждается более в этой внешней опоре, что она довольно сильна и без нее, что она пользуется для распознавания формы другим, более тонким средством, именно знанием места, которое занимает слово в целом, будет ли это целое речью или схемою форм» [Там же: 66].

В-третьих, так как «форма есть значение», то отпадение звукового окончания может быть обусловлено потерей значения в результате рождения новой категории [Там же: 65].

По той же причине могут исчезать такие «несовместные с удобством мысли» грамматические категории, в которых «вещественное содержание слова недостаточно отделено от его формы. Потеря подобных категорий... никак не может противоречить развитию формальности языка» [Там же: 64].

Вытеснение простых форм описательными Потebня также не считает признаком деградации. «Существование в языке описательных форм не только не есть

признак падения формальности, но, напротив, свидетельствует о торжестве этого принципа. Описательная форма есть сочетание слов, уже имеющих формальные определения, но в совокупности составляющих один акт мысли. Возможность такого сочетания требует присутствия в языке чисто формальных слов. Нужна продолжительная работа мысли для того, чтобы освободить вещественные слова от всякого вещественного содержания и обратить их в беспримесные выражения отношений». «...Описательная форма, вытесняющая простую, вносит в язык новое содержание, ...замена простой формы сложную не есть только заплатка на старое платье, а создание новой формы мысли... более согласное с новыми ее потребностями. С такой точки зрения в новых языках по отношению к древним можно видеть перерождение, а не вырождение и искажение, так что не вполне можно согласиться с Гумбольдтом, когда он говорит лишь о сохранении существенных черт формальности древних языков в новых, а не об *укреплении и развитии* этого начала» (выделено мною. — Л. З.) [Потебня 1958: 66].

Как и Г. Курциус, а еще ранее (но по другим причинам) Аделунг [Кузьменко 1984: 48–49], Потебня считает, что «новые языки вообще суть более совершенные органы мысли, чем древние, ибо первые заключают в себе больший капитал мысли, чем последние». Древние языки — санскритский, греческий, латинский — в лексическом и формальном отношении ниже новых, т. е. проще и доступнее анализу [Потебня 1958: 64–65].

Отсюда вывод — «прогресс в языке есть явление до такой степени несомненное», что ни о каком падении не может быть и речи: «это падение только мнимое, потому что сущность языка, связанная с ним мысль растет и преуспевает» [Потебня 1976: 41]. «Немыслимо, чтобы язык, оставаясь постоянно орудием усложнения мысли, мог при каких бы то ни было прочих условиях в какой-либо из своих частей возвратиться к первобытной простоте» [Потебня 1958: 41]. «Мысль в формальном языке никогда не разрывает связи с грамматическими формами: удаляясь от одной, она непременно в то же время создает другую» [Там же: 50].

Язык, культура и цивилизация. Потебня отвергает распространившееся и в русской науке под влиянием Гегеля и Шлейхера верование, будто язык, подобно внешней природе, не двигается вперед с совершенствованием народа в умственном и политическом отношении и в отличие от истории литературы, искусств, наук не принимает постоянного участия в движении исторических судеб народа, но даже теряет свои исконные богатства. «В отличие от этого, — пишет Потебня, — мы думаем, что нет противоположности в развитии культуры и языка» [Там же: 61].

Не принимает он и веру в нивелирующее влияние цивилизации на всё, не исключая языка [Там же: 479]. Развитие и совершенствование общечеловеческой мысли с прогрессом цивилизации требует развития языков как оттенков мысли, а значит, и укрепления народностей, ибо традиция народа заключена главным образом в языке [Потебня 1976: 270]. Исходя из этого, Потебня опровергает довольно распространенное мнение, что «своеобразность народности находится в прямом

отношении к степени ее отчужденности от других и в обратном к степени цивилизации», что «ход развития человечества, направленный к освобождению человека от давления внешней природы, исподволь слагает с него и оковы народности» и что «рано или поздно, положим, через несколько тысяч лет народы сольются в одну общечеловеческую народность», подобно тому как племена слились когда-то в народы, что «существование одного общечеловеческого языка было бы... согласно с высшими потребностями человека» и что «высшее развитие ослабляет в языке звуковой элемент (а именно с ним в первую очередь связывались межъязыковые различия. — Л. 3.) и усиливает логический, считаемый общечеловеческим, выводит из употребления своеобразные обороты и поговорочные выражения» [Потебня 1976: 253–255].

Полемизируя с Гумбольдтом [Там же: 66, 215], Потебня утверждает, что «цивилизация не только сама по себе не сглаживает народностей, но *содействует их укреплению*. Предполагая, что *в будущем* смешение племен на той же территории увеличится, следует принимать в расчет, что к тому времени *увеличатся и препятствия к образованию смешанных языков, состоящие кроме упомянутого увеличения в каждом народе привычки к своему языку и в облегчении средств поддерживать связь между отдаленными концами одной и той же народности*» (выделено мною. — Л. 3.) [Там же: 273].

Дифференцирование первоначально сходных языков, в том числе арийских [Там же: 273], говорит о том, что «*как человеку, так и народу с каждым годом становится труднее выйти из колеи, прорываемой для него своим языком, именно настолько, насколько углубляется эта колея*» (выделено мною. — Л. 3.) [Там же: 268]. Поэтому сходство между народами и языками как приближение к общечеловечности возможно только в прошлом. «...По направлению к будущему общечеловечность в смысле сходства может только уменьшаться. Она увеличивается лишь в смысле силы взаимного влияния» [Там же: 285].

Взаимное влияние не предполагает обязательной ассимиляции. Согласно Потебне, она зависит от того, как общение между собой лиц одной народности соотносится с общением данной народности с другими. «Говоря об отношениях равноправных народов, можно думать, что их своеобразность стиралась бы, если бы их общение с другими возрастало в большей прогрессии, чем их внутренняя связь. Но для увеличения их особенности достаточно даже того, чтобы их внутреннее и внешнее общение усиливалось в равной мере» [Там же: 268]. «...Возбуждение со стороны, меньшее того, какое получается изнутри, является одним из главных условий, благоприятствующих развитию народа» [Там же: 270] и укреплению его «особности» и своеобразности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Г. ПАУЛЬ

Герман Пауль (1846–1921) является ведущим теоретиком младограмматического направления, рассматривавшего язык с позиций индивидуальной психологии человека. Его труд «Принципы истории языка» (1880) содержит наиболее полное изложение основ данного направления (его лейпцигской школы).

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Язык как предмет языкознания. Место языкознания в системе наук. Младограмматическое направление как в целом, так и в частности в лице Г. Пауля отказывается считать язык природным организмом, существующим вне человека, а языкознание — естественно-исторической наукой и, на первый взгляд, как будто возвращается к романтической концепции языка. *Язык объявляется общественным установлением* [Дельбрюк 1964: 225], *продуктом культуры*, а культура — созданием общества. Соответственно *языкознание* причисляется к *культурно-историческим, общественным наукам*. Как бы в продолжение афоризма Я. Гримма: «Наш язык — это также наша история», — Г. Пауль заявляет: «Как и всякий продукт человеческой культуры, *язык — предмет исторического рассмотрения*» (выделено мною. — Л. З.) [Пауль 1960: 25]. Однако в культурно-историческом плане язык не рассматривается, словно языковые процессы не сопряжены с процессами в хозяйственной или практической сфере [Там же: 40], с историей материальной культуры. Внешняя история языка, связывающая его с историей народа, находится вне поля зрения младограмматиков. Эта ограниченность историзма младограмматиков (подробнее см. ниже) обусловлена механистическим пониманием общества. По справедливому наблюдению В. Вундта, «для Пауля общество — сумма индивидуумов, не более» [Вундт 1964: 173], причем «каждый индивид обладает собственным языком, а каждый из этих языков — собственной историей» [Пауль 1960: 60]. *Индивидуализм* в концепции младограмматиков теснейшим образом связан с *психологизмом*.

Считая участие психического фактора важнейшим признаком культуры и культурно-исторических наук в отличие от естественно-исторических, Пауль заявляет: «Языкознание должно быть психологистическим насквозь» [Там же: 44]. При этом

за основу следует принять *индивидуальную психологию*, ибо «все психические процессы протекают лишь в психике индивида и нигде больше. Ни народный дух, ни такие его элементы, как искусство, религия и т. д., не имеют самостоятельного бытия и, следовательно, в них и между ними ничего происходить не может» [Пауль 1960: 34]. По мнению Пауля, «нет сознания, кроме сознания отдельных индивидов, и... о народном сознании можно говорить лишь метафорически в смысле большего или меньшего сходства явлений сознания у отдельных индивидов» [Там же: 37], так что «в действительности существует лишь индивидуальная психология» [Там же: 36] и «на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов» [Там же: 58]. Таким образом, проблема общего, особенного и отдельного в языке — одна из центральных в учении Гумбольдта — у Пауля, в сущности, снимается.

Отрицание народного духа, народного сознания, отказ от этнопсихологии Г. Штейнтала, с одной стороны, и признание общественной природы языка как продукта культуры — с другой, как будто противоречат друг другу. Это противоречие Пауль пытается разрешить путем *выделения в языке двух сторон: психического организма и физического компонента*. Последний служит посредником при воздействии психических организмов друг на друга в процессе общения. Поскольку «свойства продукта культуры и способ его возникновения в одинаковой мере зависят как от физических, так и психических условий» [Там же: 30], то *основой языкознания*, как и других культурно-исторических наук, *выступают наряду с психологией естественные науки*, прежде всего физиология, и математика.

Метод и объект лингвистического исследования. Стремясь к постижению сущности исторического развития [Там же: 29], Пауль считает основой методологии «выяснение условий исторического становления наряду с общей логикой» [Там же: 27], что, очевидно, означает единство исторического и логического методов. Важнейшую задачу культурно-исторической науки он видит в выявлении общих условий взаимодействия психических и физических факторов [Там же: 30], в раскрытии *каузальных* (причинных) связей вещей [Там же: 34]. Так как «каузальные связи свойственны не абстракциям, а только реальным объектам и фактам» [Там же: 46], то задача историка — учитывать реальные объекты, каковыми являются *психические организмы — подлинные носители исторического развития*. Однако психическую сторону речевой деятельности, как вообще всё психическое, можно познать лишь путем наблюдения над собственной психикой [Там же: 51–52], хотя и это, в сущности, невозможно, так как психический организм находится в сфере бессознательного. «Его можно познать лишь по его проявлениям, по отдельным актам речевой деятельности. <...> Всякие наблюдения над другими индивидами доставляют нам непосредственным образом только физические факты» [Там же: 51]. Поэтому «подлинным объектом языкового исследования является совокупность проявлений речевой деятельности всех относящихся к данной языковой общности индивидов в их взаимодействии» [Там же: 46].

Наиболее благодарный и достоверный материал для выявления сущности речевой деятельности, ее влияния на языковой узус и его изменения дают не памятники письменности (эти «случайные свидетельства прошлого»), а *современные эпохи*, когда исследователь может непосредственно наблюдать речевую деятельность живых индивидов. Только выводы, накопленные в ходе таких наблюдений, можно признать убедительными. Так, Г. Пауль еще до Ф. де Соссюра теоретически обосновывает необходимость *синхронического* исследования современных языков для постижения сущности языка и его исторического развития. Описание состояний языка (= синхронии), с одной стороны, служит основой для исторического исследования [Пауль 1960: 50, 52], а с другой — само требует исторического подхода: «как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку уловить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории» [Там же: 43].

Чтобы выработать представление о совершившихся исторических процессах, необходимо сопоставить описания состояний языка в различные периоды его развития [Там же: 53].

2. Индивид и общество. Индивидуальный язык и языковой узус

Выдвигая на первый план коммуникативную функцию языка и одновременно призывая изучать говорящего индивида, младограмматики как будто продолжают традицию В. Гумбольдта, который рассматривал язык как противоречивое единство индивидуального и социального. *Проблема взаимоотношений индивида и общества* — одна из важнейших в концепции младограмматиков. «Лишь общество, — пишет Пауль, — создает культуру, лишь оно делает человека историческим существом. <...> Только распространение достижений одного индивида на других и взаимодействие множества индивидов делают возможным дальнейшее их развитие» [Пауль 1960: 30–31]. Однако, как уже отмечалось, «для Пауля общество — сумма индивидуумов, не более» [Вундт 1964: 173], так что и развитие языка выводится Паулем в конечном счете «из взаимного влияния, оказываемого индивидами друг на друга» [Пауль 1960: 35], поэтому центральной проблемой является для Пауля «вопрос о том, как осуществляется взаимодействие между отдельными индивидами» [Там же: 23]. В самом формировании языка каждого индивида его физические и духовные свойства оказываются «фактором весьма второстепенным по сравнению с ролью общения» и воздействием языков других членов сообщества. В частности, возникающие в индивиде комплексы представлений «подготовлены усилиями других». Физиологическими процессами, определенными целесообразными движениями различных частей своего тела человек также овладевает по примеру других. Отсюда вывод: «Общение — вот единственно то, что порождает язык индивида» [Там же: 60].

Большое значение придает Пауль *условиям общения: прерывности/непрерывности, непосредственности/опосредованности*. В условиях непрерывного живого общения индивидуальные различия сглаживаются. И наоборот, «чем менее

интенсивно общение, тем больше возникает и накапливается различий. Возможность дифференциации усиливается еще больше, когда непосредственного общения уже нет вообще, а существует лишь косвенная связь через промежуточные звенья». В результате индивидуальные языки объединяются «в относительно единые и замкнутые группы соответственно природным, а также политическим и религиозным условиям общения» [Пауль 1960: 61].

Утверждая своеобразие психологии и языка каждого индивида, Пауль в то же время подчеркивает *одинаковость простейших психических процессов* и «равномерный характер протекания всех языковых процессов у разных индивидов» [Там же: 42], *слабую выраженность в них индивидуальных особенностей, малую степень индивидуальности во всех психических процессах в период овладения языком*, а ведь именно «протекающие при овладении речью процессы имеют первостепенную важность для объяснения изменений языкового узуса» [Там же: 55]. «Известная степень соответствия в умственном и телесном строении, в окружающей природе и переживаниях является, таким образом, предварительным условием возможности общения и взаимопонимания между индивидами» [Там же: 38].

«Если бы язык в такой мере не опирался на общие свойства человеческой природы, он не был бы орудием, столь приспособленным для общения. И наоборот, из того обстоятельства, что язык служит орудием общения, неизбежно вытекает, что он отвергает всё чисто индивидуальное, так или иначе навязываемое ему, не впитывая и не удерживая ничего такого, что не было бы санкционировано согласием данной общности людей» [Там же: 42].

Поэтому *основную цель исследователя грамматики составляет, по Паулю, описание* не отдельных индивидуальных языков, а *языкового узуса*. Узус есть «нечто среднее, на основе чего определяются существующие в языке нормы употребления» [Там же: 50].

В частности, «соединение отдельных языковых элементов в группы... осуществляется каждым членом языкового сообщества индивидуально. Таким образом, природа этих групп совершенно субъективна. Но так как элементы, из которых они состоят, в целом одинаковы для определенного языкового сообщества, то и образование групп у всех лиц, принадлежащих к данному сообществу, в силу сходства основных черт их психической организации должно быть аналогичным. Поэтому, как во всех случаях мы на основе некоего среднего уровня определяем языковой узус данного периода, точно так же мы можем для каждого периода развития языка устанавливать более или менее общепринятую систему образования групп. Только такая общепринятая система, основанная на природе элементов, из которых образуются группы, может быть объектом научного исследования. Индивидуальные же особенности, за отдельными, исчезающими в массе исключениями, не поддаются наблюдению» [Там же: 229].

Противоположение *узусального и индивидуального* служит основой для разграничения *предмета языкознания и филологии*. Языкознание, согласно Паулю,

«занимается общими, узуально упроченными языковыми отношениями», филология — «их индивидуальным использованием» [Пауль 1960: 54]. Указанное разграничение весьма напоминает шлейхеровское разграничение филологии и языкознания и предваряет соссюрское различение языка и речи.

3. СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКА. СИСТЕМНОСТЬ

Лингвистическая концепция младограмматического направления несет в себе черты переходного периода в развитии языкознания, когда эволюционный, исторический подход к языку сменялся структурным. Понимая язык как средство общения и признавая коммуникативную функцию языка ведущей, считая основным методом языкознания непосредственное наблюдение, младограмматики не могли обойти вопрос о состояниях языка. Во-первых, потому, что только в языковом состоянии (= в синхронии) язык представляет собой систему коммуникации, данную в непосредственном наблюдении (ср.: [Гипотеза... 1980: 90–91]). Во-вторых, потому, что для младограмматиков описание состояний является необходимым этапом собственно исторического исследования. Чтобы «выработать себе представление о совершившихся исторических процессах», надо сопоставить описания различных периодов развития языка [Пауль 1960: 53]. Поэтому еще до Ф. де Соссюра у младограмматиков наметился поворот к синхронии. Причем, в отличие от диахронии, синхрония рассматривается как система.

По Паулю, полное описание состояния языка должно включать «не только полный перечень... составных элементов, но также наглядное отображение внутренних взаимоотношений этих элементов, их относительной силы, образуемых ими многообразных сочетаний, степени близости и прочности таких сочетаний» [Там же: 50] в психических организмах носителей данного языка. Кроме того, следует учесть функции элементов. «Включение отдельных слов, форм слов и синтаксических сочетаний в ту или иную языковую группу всегда обусловлено их функцией» [Там же: 278]. «Сама по себе функция форм является показателем того, насколько тесно связаны они между собой. Например, связь форм настоящего времени между собой более тесная, чем связь этих форм с формами претерита» [Там же: 247].

Таким образом, Пауль учитывает все составляющие системы: *элементы, отношения, функции*. Особое значение он придает *отношениям* между языковыми элементами. Эти отношения складываются на базе *ассоциаций* и *служат основой звуковых изменений и образований по аналогии* в истории языка. Хотя терминологически разные типы ассоциаций/отношений не разграничены, однако ясно, что за звуковыми изменениями стоят обычно ассоциации по смежности (синтагматические отношения), а в аналогических образованиях наряду с ассоциациями по смежности действуют ассоциации по сходству (ассоциативные, или парадигматические, отношения).

Психический организм, согласно Паулю, представляет собой *систему связанных ассоциативными отношениями элементов–представлений*.

«Представления появляются в сознании целыми группами и поэтому сохраняются в виде групп в области бессознательного. Представления следующих друг за другом звуков ассоциируются с совершаемыми друг за другом движениями органов речи в целостный ряд. Звуковые ряды и ряды артикуляций ассоциируются между собой¹. С этими рядами в свою очередь ассоциируются представления, для которых они служат символами, — притом не только представления синтаксических отношений, не только отдельные слова, но и большие звуковые ряды, целые предложения непосредственно ассоциируются с заключенным в них мыслительным содержанием. Эти по крайней мере вначале приходящие из внешнего мира группы образуют теперь в душе индивида более богатые и сложные соединения, которые лишь в меньшей своей части проявляются сознательно, продолжая затем действовать бессознательно, а в подавляющем большинстве никогда не достигают ясного осознания и тем не менее оказываются действенными. Так ассоциируются между собой различные способы употребления слова или обороты речи. Так ассоциируются между собой по родству звуков и значения различные падежи одного и того же имени, различные времена, наклонения и лица одного глагола, различные производные образования от одного корня; далее, все сходные по функции слова, например все существительные, все прилагательные, все глаголы; все производные слова от разных корней, образованные с помощью данного суффикса; все одинаковые по функции формы различных слов, так, например, все родительные падежи, все формы страдательного залога, все перфекты, все конъюнктивы, все первые лица; все слова с одинаковым типом флексии, например в новонемецком — все слабые глаголы в отличие от сильных, все существительные мужского рода, образующие множественное число с перегласовкой (умлаутом) в противоположность лишенным перегласовки. Слова, обнаруживающие частичное сходство в типе флексии в отличие от слов более далеких в этом отношении друг от друга, также могут объединяться в группы; равным образом ассоциируются между собой предложения, сходные либо по форме, либо по функции. И так же образуется еще множество типов ассоциаций, отчасти многократно опосредованных, имеющих большее или меньшее значение для жизни языка» [Пауль 1960: 48].

Обычно эти ассоциации совпадают с грамматическими категориями, но не идентичны им. «Всякая грамматическая категория возникает на основе психологической. Первая представляет собой первоначально не что иное, как внешнее выражение второй. Как только действенность психологической категории начинает обнаруживаться в языковых средствах, эта категория становится грамматической. С созданием грамматической категории действенность психологической, однако, не уничтожается. Психологическая категория независима от языка; существуя до возникновения грамматической категории, она продолжает функционировать и после ее возникновения. Благодаря этому гармония, существовавшая первоначально между обеими категориями, с течением времени может быть нарушена.

¹ Та же мысль развивалась позднее в так называемой моторной теории восприятия.

Грамматическая категория является в известной мере застывшей формой психологической категории; она связана с устойчивой традицией. Психологическая же постоянно остается чем-то свободным, живым, принимающим различный облик в зависимости от индивидуального восприятия. Кроме того, изменение значения очень часто способствует тому, что грамматическая категория не остается адекватной категории психологической. Если затем появляется тенденция к выравниванию, то происходит сдвиг грамматической категории, при котором могут возникнуть своеобразные соотношения, не укладывающиеся в существовавшие до того категории» [Пауль 1960: 315].

С другой стороны, и «между логическими и грамматическими категориями нет полного соответствия» [Там же: 327]. Более того, они могут прийти в противоречие друг с другом. Так, «психологическое (логическое) соотношение составных частей предложения может прийти в противоречие с их грамматическим соотношением» [Там же: 338]. И это противоречие тем вероятнее, чем сильнее развиты в языке формальные средства. Напротив, «в языках с менее развитыми формальными средствами противоречие между психологическим и грамматическим подлежащим или между психологическим и грамматическим сказуемым встречается гораздо реже. Ведь причиной этих противоречий как раз и является наличие развитых форм выражения различных логических отношений между понятиями» [Там же: 344].

Таким образом, можно заключить, что психологизм не помешал Паулю увидеть специфику языка. Различая категории логические, психологические и языковые (грамматические), Пауль осознает, что *языковые категории не тождественны логическим и психологическим, хотя и взаимодействуют с ними*. И задача исследователя состоит в том, чтобы, разграничив разнородные категории, изучить их соотношение: «если, с одной стороны, необходимо проводить различие между логическими и грамматическими категориями, то с другой — не менее необходимо выяснить их взаимные отношения» [Там же: 57].

На примере групп, образуемых словами, Пауль, в сущности, раскрывает еще один чрезвычайно важный аспект структурной организации языка, а именно — ее *иерархический характер*. «...В нашей психике происходит взаимопритяжение отдельных слов, вследствие чего слова образуют в ней множество более или менее крупных групп. Это взаимное притяжение всегда основано на частичном совпадении звучания или значения отдельных слов либо и звучания и значения одновременно. Отдельные группы не существуют независимо друг от друга, на деле имеются более крупные группы, включающие в себя некоторое число более мелких групп, и все они взаимно перекрещиваются» [Там же: 128]. «Необходимо, следовательно, различать более близкие и более отдаленные связи» [Там же: 129]. Более крупные группы обладают не столь тесными внутренними связями.

Пауль различает два типа групп, образуемых словами: *вещественные* (например различные падежи одного существительного, антонимы и т. п.) и *формальные* (например все именительные падежи, все имена действия и др.).

Однако «в группы объединяются не только отдельные слова, но также и аналогичные пропорции между различными словами». Вследствие перекрещивания вещественных и формальных групп образуются *вещественно-формальные пропорциональные группы*, основанные на сходстве значения у вещественного элемента и/или совпадении формального элемента, например в немецком: Tag : Tages : Tage = Arm : Armes : Arme = Fisch : Fisches : Fische; gebe : gab = sage : sagte = kann : konnte; gut : besser = schön : schöner; Spruch : Sprüche = Tuch : Tücher = Buch : Büchlein; spricht : Karl = schreibt : Fritz и т. п. [Пауль 1960: 129–131]

Вряд ли найдется в каком-нибудь языке хоть одно слово, которое не входило бы ни в одну из групп. «Но в смысле большего или меньшего многообразия связей, в которые слово вступает, и в смысле ограниченности этих связей отдельные слова значительно отличаются друг от друга. Объединение в группу протекает с тем большей легкостью и становится тем более устойчивым, чем больше сходства в значении и в звуковой форме, с одной стороны, и чем прочней запечатлелись элементы, способные образовать группу, — с другой стороны». Последнее зависит от частоты единичных слов и количества возможных аналогичных пропорций [Там же: 131].

Вхождением слов в пропорциональные группы обуславливается, по Паулю, постоянно наблюдаемая в речи *комбинаторная деятельность*. Она затрагивает синтаксис, словообразование и еще более словоизменение и выражается в образовании по аналогии с известными группами форм, слов, словосочетаний и предложений, таких, которые раньше мы никогда не произносили и не слышали. В этом, как считает Пауль, и проявляется отмеченный еще В. Гумбольдтом творческий характер говорения. (Как видим, в лингвистике всё более упрочивается осознание творческого характера речевой деятельности во всех ее аспектах. А. А. Потебня развил идеи В. фон Гумбольдта о творческом характере восприятия и понимания речи, Г. Пауль раскрыл творческий характер порождения речи.)

Как показывает Пауль, при постоянном употреблении *обычных* форм в процессе порождения речи постоянно взаимодействуют друг с другом, с одной стороны, *воспроизведение* по памяти ранее воспринятого, а с другой — творческое комбинирование (*производство*) на базе существующих пропорциональных групп [Там же: 132, 134, 246].

С учетом выделенных системообразующих факторов Г. Пауль формулирует следующее «основное положение», в котором проступает *системный подход* к языку: «...Отдельное языковое явление можно исследовать только при постоянном учете всей совокупности языкового материала, ...только таким путем можно прийти к познанию причинной связи» [Там же: 313].

Необходимость учета всей совокупности языкового материала диктуется *особым характером языковой системности*, сложным соотношением языковых категорий с логическими и психологическими, а также тем, что «все проявления речевой деятельности вытекают из смутной сферы бессознательного. Все языковые средства, используемые говорящими, ...хранятся в сфере бессознательного...» [Там же: 47]. Поэтому «для соотношений языковых явлений между собой характерно

как раз отсутствие всеобщих логических принципов. В этой области мы постоянно сталкиваемся со случайностью, с отсутствием преднамеренности» [Пауль 1960: 313]. Отсюда наличие в языке элементов, которые в современной лингвистике получили название *асистемных*: «многое из того, что употребляется в нашей речи, вообще стоит особняком, не подчиняясь ни одному сознательно выведенному правилу и не входя ни в одну бессознательно возникшую группу» [Там же: 134]. *Отсутствие всеобщих логических принципов, несовпадение грамматики и логики* объясняются, по Паулю, тем, что «образование языка и его употребление осуществляются не с помощью строго логического мышления, а посредством естественного, не вышколенного движения совокупности представлений, которое в той или иной степени, — в зависимости от способностей или образования, — руководствуется логическими законами или вовсе не считается с ними. Но языковая форма выражения также не совпадает с реальным движением совокупности представлений, отличающимся то большей, то меньшей логической последовательностью, и психологические категории не тождественны грамматическим» [Там же: 57]. Ввиду взаимодействия языковых и психологических категорий Пауль придает важное значение таким факторам, как «прочность связи внутри этимологических групп» в зависимости от *степени близости форм по значению и продуктивности способа их образования*, а также «интенсивность, с которой отдельные формы запечатлены в памяти» [Там же: 247], вследствие различий в *частоте их употребления*. Пауль учитывает, что «отдельная личность относится к языковому материалу своего сообщества отчасти активно и отчасти пассивно, то есть не все воспринимаемое и понимаемое употребляется ею самой. ...Из языкового материала, одинаково используемого многими индивидами, один предпочитает одно, другой — другое. Этим в первую голову определяются различия, существующие даже между самыми близкими индивидуальными языками, и возможность постепенных сдвигов в узусе» [Там же: 54–55].

«Организм, образуемый относящимися к языку группами представлений, развивается у каждого индивида по-своему, приобретая тем самым своеобразную форму. Даже если такие индивидуальные организмы образованы из вполне одинаковых элементов, то и в этом случае они отличаются один от другого порядком, частотой и интенсивностью появления этих элементов в душе, а также составом группировок, вследствие чего по-разному складывается соотношение сил между различными элементами и самый способ их группировки» [Там же: 49]. Кроме того, следует иметь в виду, что эти *организмы*, а значит, и *состояние языка не статичны и постоянно включают элемент динамики* (ср. с бодуэновским разграничением статики и динамики). «...Психический организм, образуемый... группами представлений, находится у каждого индивида в состоянии непрерывного изменения» [Там же: 48]. В каждом новом акте говорения, слушания, мысли одни элементы получают подкрепление, другие — нет. «...Вследствие ослабления и усиления старых элементов, как и появления новых, в организме имеет место смещение отношений между ассоциациями» [Там же: 49].

4. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

Поскольку язык определяется как предмет исторического рассмотрения, *проблема развития языка занимает центральное место в концепции младограмматиков*. При этом основное внимание сосредоточивается на *внутренних* факторах языковых изменений. Хотя язык считается общественным установлением и продуктом культуры, общественно-исторический фактор, равно как и влияние культуры, не говоря уже о воздействии внешней естественной среды, почти не рассматривается. Исключение сделано лишь для такого фактора, как *смешение языков*. Это может быть объяснено потребностями языковой реконструкции, которая продолжала оставаться в фокусе внимания компаративистов–младограмматиков, а для установления праформ требовалось отделить древнейшие элементы от элементов, заимствованных в процессе языковых контактов, с одной стороны, и элементов, явившихся результатом собственного позднейшего развития дочерних языков, — с другой. Кроме того, вопросы смешения языков не могли не интересовать Пауля еще и потому, что само развитие языка он выводил из взаимного влияния индивидов друг на друга, из смешения индивидуальных языков в процессе общения. В этом смысле, считает Пауль, «смешение языков происходит непрерывно, во время всякого разговора, который ведут между собой два индивида. Ведь при этом каждый из говорящих воздействует на те комплексы представлений (*Vorstellungsmassen*) своего собеседника, которые относятся к языку» [Пауль 1960: 459]. В этом воздействии обнаруживается еще один аспект творческого характера речевой деятельности.

Таким образом, необходимость развития языка вытекает из его основной функции — служить средством общения. Однако языковое развитие определяется не только расхождениями между индивидуальными языками, но и противоречивой природой языка как единства индивидуального и социального, *неожиданностью узуса и индивидуальных языков*. С точки зрения Пауля, «узус не полностью подчиняет себе речевую деятельность, оставляя всегда некоторый простор индивидуальной свободе», так что «подлинной причиной изменения узуса является не что иное, как обычная речевая деятельность» [Там же: 53]. Соответственно, в понимании Пауля, «всё учение о принципах истории языка концентрируется... вокруг одного вопроса: Как относится языковой узус к речевой деятельности? Как последняя определяется первым и как в свою очередь влияет на него?» [Там же: 54]. (Позднее эти вопросы вновь поставил Ф. де Соссюр, разграничив речевую деятельность, язык и речь.) Однако, усматривая причину изменения узуса, а следовательно, и языкового развития, в речевой деятельности, Пауль подчеркивает, что как «физический компонент языка» «речь сама по себе не развивается» [Там же: 49] и *носителями исторического развития являются хранящиеся в сфере бессознательного психические организмы, образуемые группами представлений*.

Именно «группы пропорций, достигшие известной степени прочности, имеют, — полагает Пауль, — исключительное значение для речевой деятельности

и для развития языка в целом» [Пауль 1960: 131]. Тем самым Пауль вплотную подходит к мысли о том, что *носителем исторического развития является язык как идеальное образование, его система*. О понимании значения системности языка в его развитии свидетельствует предпринятый Паулем анализ *звуковых изменений*. «Если мы хотим что-нибудь узнать об особых причинах данного звукового изменения, — пишет Пауль, — то прежде всего следует выяснить, в какой мере оно связано с другими звуковыми изменениями и с общим характером звуков в данном языке» [Там же: 79], ибо «во всех языках обнаруживается известная гармония системы звуков. Из нее явствует, что направление, в котором происходит отклонение какого-либо звука, определяется направлением развития остальных звуков» [Там же: 76].

Иными словами, согласно Паулю, отдельное звуковое изменение связано с другими звуковыми изменениями, т. е. *звуковые изменения определяются системой звуков данного языка и осуществляются системно*.

Сама *индивидуальная свобода* носителей языка в процессе речевой деятельности, ее *творческий характер* также обусловлены *системностью* языка. Именно «благодаря функционированию групп каждому отдельному индивиду даны весьма широкие возможности, а также и стимулы, чтобы выходить за пределы уже принятого в языке» [Там же: 137]. К числу таких стимулов развития следует отнести *несовершенство языковой системности*: ни один язык не обладает вполне совершенной и гармонической системой форм [Там же: 136]. Проявления этого стимулирующего развитие несовершенства, как показывает Пауль, многообразны.

Во-первых, существуют *обособленные элементы*, «а всё то, что не находит себе поддержки в какой-нибудь группе или же связано с ней весьма слабо, в конечном счете оказывается неспособным устоять перед сильным влиянием более обширных групп» [Там же: 134]. Отсюда варьирование одних форм по аналогии с другими.

Во-вторых, Пауль не мог не заметить *асимметрию в соотношении звучания и значения значащих единиц языка*. Одной из главных причин, вызывающих изменения в словоизменении, словообразовании, значениях слов и синтаксисе, является, по Паулю, «недостаточная согласованность между группами пропорций: с одной стороны, теми, которые основываются на звучании, с другой — теми, в основе которых лежит значение слова» [Там же: 479]. В своем развитии «каждый язык непрестанно стремится устранить все ненужные неправильности, создать для тождественного функционально также и одинаковое звуковое выражение». И хотя «эта цель вечно остается недостижимой» [Там же: 271] (в чем можно видеть один из источников постоянного развития языка), *тенденция к гармонии между функцией и ее выражением* действует. Отсюда бóльшая устойчивость звуковых различий, совпадающих с функциональными [Там же: 252], и «исчезновение звуковых различий при функциональном тождестве» [Там же: 266–267]. По той же причине

«уничтожение сходства звуковой формы благоприятствует... устранению сходства в значении» [Пауль 1960: 238]. Позднее эти идеи нашли отражение в сосюрском учении о языковом знаке, о параллелизме между смысловыми и звуковыми различиями как основном свойстве языкового устройства, подтверждаемом и некоторыми диахроническими фактами [Соссюр 1977: 153]. Однако, к сожалению, в лингвистике и до сих пор бытует мнение, будто «изменения в звуковой стороне и изменения в значениях происходят независимо одни от других» [Фортунатов 1956: 74] (ср.: [Серебренников 1983; Солнцев 1971]).

В-третьих, существенную особенность языковой системы, поддерживающую ее в состоянии некоторой дисгармонии и неустойчивости и объясняющую неравномерность развития отдельных ее элементов, составляет *различие в частоте их употребления и степени закреплённости в памяти*. Как показал Пауль, «при прочих равных условиях раньше всего подвергаются выравниванию наиболее редкие слова, а на наиболее часто употребляемые слова выравнивание распространяется в самую последнюю очередь или совсем не распространяется» [Пауль 1960: 250], «именно по этой причине наиболее необходимые элементы повседневной речи, как правило, сохраняются в языке в качестве аномалий» [Там же: 272]. (Не случайно исключения из правил в грамматиках различных языков в основном касаются самых употребительных «первичных» слов.)

Наконец, важным стимулом языкового развития является *взаимодействие грамматических категорий с психологическими*, выражающееся в том, что «первоначальная гармония между психологической и грамматической категорией с течением времени нарушается, а затем вновь стремится к восстановлению» [Там же: 498].

Свойства языка как развивающегося явления и как системного образования взаимосвязаны. С одной стороны, развитие языка обусловлено его системой, с другой — специфическая, «несовершенная» природа языковой системности отражает закономерности развития, его бессознательный, непреднамеренный характер.

Согласно Паулю, языковые процессы отличаются (в частности, от хозяйственных) относительной простотой и произвольностью. В отличие от художественного творчества, «факты языка порождаются в общем без сознательного намерения». Поэтому «всякое изменение в языке может быть лишь весьма незначительным» [Там же: 41], постепенным, медленным [Там же: 53]. Отсюда наличие промежуточных незаметных переходов (см., например, их анализ при описании субстантивации прилагательных [Там же: 423–424]). Эту *незаметность, медленность изменений* Пауль объясняет также ограничивающим *влиянием общения*: чтобы успешно служить средством коммуникации, язык должен быть относительно устойчивым, стабильным. Несмотря на индивидуальный характер всякого языкового творчества вообще [Там же: 40] и языковых изменений в частности, «индивидуальные особенности в них слабо выражены» [Там же: 42] ввиду одинаковости простейших психических процессов и равномерного протекания всех языковых

процессов у разных индивидов, особенно в период овладения языком, и, наконец, вследствие нивелирующего воздействия общения. Таким образом, выходит, что коммуникативная функция языка, общение, взаимодействие индивидов, с одной стороны, стимулируют его изменчивость, а с другой — ограничивают. Отсюда незаметность, медленность изменений.

«Языковые изменения, — продолжает Пауль, — совершаются в индивиде отчасти посредством его собственной спонтанной деятельности, посредством речи и мышления в формах языка, отчасти же посредством влияний, оказываемых на него другими индивидами. Изменение узуса происходит, видимо, лишь вследствие совместного действия обоих факторов» [Пауль 1960: 55]: спонтанности (самопроизвольности) и воздействия «спянного общением сообщества» [Там же: 79]. *Сдвиг в узусе образуется в результате накопления в отдельных организмах ряда сдвигов, подкрепляющих друг друга и идущих в одном направлении* [Там же: 54], *какое определяется направлением развития остальных элементов системы*. «Сколько-нибудь значительный сдвиг произойдет лишь в том случае, если изменение охватит всех членов группы, составляющей в силу интенсивности внутренних связей до некоторой степени замкнутую целостность» [Там же: 78]. Это предполагает «совпадение тенденции развития у подавляющего большинства индивидов» [Там же: 81]. «Возможность подобного спонтанного совпадения основывается на том, что относящиеся к языку группы представлений у очень многих индивидов организованы почти тождественно» [Там же: 137], и «мы можем для каждого периода развития языка устанавливать более или менее общепринятую систему образования групп» [Там же: 229]. Иными словами, *спонтанные совпадения обусловлены, с одной стороны, общественной природой языка, а с другой — его системностью*. «Постоянное чувство согласия и единства каждого индивида с товарищами по общению вытекает из самой сущности языка как средства общения» [Там же: 77–78].

В этой связи кажется преувеличением утвердившееся представление, будто бы «в самом узусе нет ничего такого, что определяло бы общее направление развития», и «именно случайность правит, по Паулю, всей жизнью языка» [Кацнельсон 1960: 17].

Исследуя «процесс взаимопроникновения многообразных сил» [Пауль 1960: 26] в развитии языка, Пауль, разумеется, учитывает и случайные обстоятельства. Так, после анализа многих факторов, стимулирующих и тормозящих выравнивание, Пауль замечает, что, «кроме того, на ход развития воздействует множество случайных процессов в психической деятельности отдельных индивидов и в их влиянии друг на друга» [Там же: 250], не позволяющее, в частности, предугадать, какая из возникших в результате выравнивания параллельных форм победит [Там же: 272].

Пауль принимает во внимание также и то, что вследствие бессознательно, непреднамеренного развития языка и ввиду переплетения многообразных процессов в соотношении языковых явлений между собой тоже не исключена случайность [Там же: 313]. Однако это не означает, что Пауль вообще отрицает

закономерности языкового развития. Как было отмечено выше, Пауль обосновал саму необходимость развития языка, выявил причины изменений узуса и вызывающие их факторы, определил носителя исторического развития, показал системную обусловленность языкового развития вообще и направления развития в частности. Кроме того, он установил основные типы изменений и стратификацию в развитии единиц и категорий языка.

Типы изменений узуса Пауль делит на 1) *положительные* (процессы возникновения нового), 2) *отрицательные* (процессы отмирания старого, не возобновившиеся в языке младшего поколения), 3) процессы *замены*, наблюдающиеся только при звуковых изменениях, «когда отмирание старого и появление нового совпадают в одном акте» [Пауль 1960: 55].

В зависимости от того, что изменяется — звучание или значение, изменения подразделяются на 1) *звуковые*, 2) *смысловые* и 3) *изменения*, касающиеся *звуковой формы и значения одновременно* (таковы, в частности, изменения в результате аналогии, когда «готовые звуковые элементы языка вступают в новые комбинации на основе присущего им значения» [Там же: 56]). Важно отметить также, что Пауль подчеркивает последовательность, регулярность звуковых изменений.

Понимая историческое развитие как *поступательное движение от простейших и примитивнейших образований к наиболее сложным* [Там же: 26], Пауль на целом ряде примеров показал *стратификацию в становлении языковых единиц и категорий*, в том числе вторичность словообразовательных суффиксов и префиксов по отношению к членам сложных слов, утратившим связь с первоначально тождественными им простыми словами (простое слово → член сложного слова → словообразовательный аффикс) [Там же: 410–411], вторичность служебных слов (предлогов и союзов) по отношению к самостоятельным [Там же: 436], вторичность прилагательных по отношению к существительным [Там же: 423–424], отрицательных предложений по отношению к утвердительным [Там же: 157], повествовательных по отношению к побудительным [Там же: 158], частных вопросов по отношению к общим [Там же: 160], более позднее образование противопоставления между действительным и страдательным залогами сравнительно с окончательным отделением друг от друга подлежащего и дополнения как самостоятельных категорий [Там же: 334] и т. п.

Соответственно, из семи названных Паулем средств выражения связи представлений в языке служебные слова и флективное словоизменение «могли сложиться лишь постепенно, в ходе длительного исторического развития, тогда как первые пять уже с самого начала находились в распоряжении говорящего» [Там же: 146]. Это «1) простое соположение слов...; 2) порядок слов; 3) различия в силе произношения отдельных слов, сильное или более слабое ударение...; 4) модуляция высоты тона...; 5) темп речи, обычно тесно связанный с силой произношения и с высотой тона» [Там же: 145–146].

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И. А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ

Замечательный ученый–славист Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) последовательно развивает системный подход к языку.

Истоки и исходные принципы бодуэновской теории языка можно вывести, во-первых, из сформулированных им самим отличительных признаков Казанской лингвистической школы, духовным вождем которой он был [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 51–52, 54], а во-вторых, из перечисленных им факторов, определивших новое мировоззрение в языкознании XIX столетия [Там же, II: 4–5].

«Настоящим прародителем новейшего языковедения» Бодуэн считает Лейбница: именно его идеи подготовили почву для создания современных методов исследования языков [Там же, II: 108]. Теоретические же основания нового мировоззрения Бодуэн возводит к В. Гумбольдту, И. Ф. Гербарту и Ч. Дарвину: «философские построения В. Гумбольдта и применение психологии Гербарта и др. к исследованию языковых представлений постепенно придали языкознанию свойственный ему характер подлинной науки, в основе которой лежит психологический подход к языку; ...теория Дарвина и теория эволюции вообще, распространившиеся в последнем столетии, благоприятно влияли на представления языковедов о жизни языка» [Там же, II: 4–5].

Сам Бодуэн признавал себя «сторонником того направления в языковедении, которое во всех явлениях языка усматривает в первую очередь психический фактор» [Там же, I: 266]. Психологическую точку зрения ученый называет «единственно правомочной» [Там же, I: 355], «единственно допустимой» [Там же, II: 244]. Поэтому он подчеркивает «важность различения чисто фонетического (физиологического) и психического элемента в языке» [Там же, II: 51] и выдвигает «требование стоять на точке зрения объективно-психологической, всесторонне исследовать психику индивидов, составляющих данное языковое общество..., не навязывать языку чуждых ему категорий, а доискиваться того, что в нем действительно существует; доискиваться же этого путем определения “чутья языка” (Sprachgefühl) или объективно существующих языковых и внеязыковых ассоциаций» [Там же, II: 52].

Развивая принцип историзма и учитывая «непрерывное изменение, вечное движение» языка [Там же, II: 8], Бодуэн указывает на «важность различения изменений,

совершающихся каждовременно в данном состоянии языка, и изменений, совершившихся в истории, на протяжении многих веков и в целом ряду говорящих поколений, важность считается с требованиями географии и хронологии по отношению к языку (разные наслоения языковых процессов)» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 51]. Поскольку в языке данного периода сосуществуют наслоения разных эпох, необходимо «рассматривать языковые явления в исторической перспективе, а не в одной временной плоскости» [Там же, II: 7], т. е. изучать каждый данный момент «в связи с полным развитием языка» [Там же, I: 70].

Верный названным принципам, Бодуэн всю жизнь боролся против смешения языка и письма, против смешения фонетической и морфологической делимости слов, против смешения преходящего с постоянным, состояния с рядом процессов, изменения с сосуществованием, постоянных общечеловеческих элементов с историческими явлениями и т. д. [Там же, II: 133].

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Язык как предмет языкознания. Бодуэн предлагает целый ряд уточняющих друг друга определений языка — как в широком, так и в узком смысле слова.

В самом обширном смысле язык — проявление жизни человечества [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 62], точнее — ее общественное или психосоциальное, психическо-общественное проявление [Там же, I: 200–201; II: 134, 151, 174], ибо «язык в основе своей принадлежит всецело к области явлений социальнопсихических» [Там же, II: 118]. Если в определении языка (или его сущности) опускается прилагательное «общественное» и он называется явлением исключительно, насквозь психическим [Там же, I: 348; II: 61], то это объясняется тем, что, по Бодуэну, психический и социальный мир неразделен. «Психический мир не может развиваться без мира социального, а социальный мир зависит от коллективного существования психических единиц». Поэтому можно констатировать существование не психического и социального мира, а единого психосоциального мира [Там же, II: 191]. Индивидуально-психические центры отдельных людей характеризуют их именно как членов известным образом оязыковленного общества [Там же, II: 118].

Генетически язык — одна из функций человеческого организма [Там же, I: 38, 77; II: 70], универсальный рефлекс духа на внешние раздражения [Там же, II: 66, 72].

Функционально язык, взятый в самом обширном смысле этого слова, есть способ и средство общения людей между собой [Там же, II: 70, 88, 137].

По своему устройству язык — один из комплексов представлений психическосоциального мира [Там же, II: 118].

Следующая группа определений характеризует язык как орудие и деятельность [Там же, II: 140] и подводит к различению языка и речи. Язык как психосоциальное орудие является суммой, комплексом, совокупностью разнородных категорий, составных частей, членораздельных и знаменательных звуков

и созвучий; звуков–символов, ассоциированных со значением; психических единиц, а именно произносительных и слуховых представлений, соединенных с другими языковыми и неязыковыми представлениями [Бодуэн де Куртене 1963, I: 63, 77; II: 70, 133, 193].

Элементы языка находятся между собою в тесной внутренней связи. И хотя как целое комплекс языковых элементов существует лишь в потенции, в собрании всех индивидуальных оттенков, они соединены в одно целое языковым чутьем данного народа [Там же, I: 60, 77], которое создается в социально-психическом общении членов языкового общества. Вот почему, разъясняет Бодуэн, «в языке мы различаем его постоянное психическое существование, как индивидуально-психическое, так и коллективно-психическое, постоянное психическое существование языковых представлений и передачу этих представлений от индивида к индивиду в результате социального общения с помощью физиологических и физических средств» [Там же, II: 163]. Соответственно «в собственно языке, т. е. в фактически существующем индивидуальном языковом мышлении», Бодуэн находит не только «психически живые психофонетические явления, образы, факты», но, что особенно важно, и «психическо-социальные процессы» [Там же, II: 338]. Таким образом, язык — не просто орудие, представляющее собой комплекс составных частей. Это еще и непрерывно повторяющийся процесс, основывающийся на общительном характере человека и его потребности воплощать свои мысли в ощущаемые продукты собственного организма и сообщать их другим людям [Там же, I: 77].

Исходя из этого общительного характера людей, сама языковая способность также определяется Бодуэном в семиотическом ключе — как способность «ассоциировать (сочетать) внеязыковые представления (т. е. вообще представления значения) с представлениями известных движений собственного организма, действующих тем или иным способом на собственные и чужие чувства» [Там же, II: 70]. (Ср. со сходным определением языковой способности у Соссюра — как способности создавать систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям [Соссюр 1977: 49].)

Структура языкознания. В определении структуры языкознания Бодуэн руководствуется следующими принципами.

1. Прежде всего следует различать язык и применение лингвистических данных. Соответственно, чистое языковедение (наука о самом языке) отделяется от прикладного. В чистом языковедении язык исследуется «без связи с другими группами явлений, составляющими предмет исследования других наук». Прикладное языковедение имеет дело с применением лингвистических данных в области других наук, в общественной и умственной жизни вообще [Бодуэн де Куртене 1963, II: 101].

2. Следующее разделение производится в зависимости от того, исследуется ли начало языка, его происхождение или же готовый, сложившийся, исторически данный язык. При этом различается начало языка у индивида и человечества: «для

индивида начало его языка равняется началу его языкового развития; для всего человечества начало языка равнозначно с началом его истории» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 99]. (Как видно, Бодуэн отказывается от шлейхеровской периодизации жизни языка: человек и его язык нераздельны, поэтому возникновение языка совпадает с началом человеческой истории, и наоборот.)

3. При изучении исторически данных, уже сложившихся языков Бодуэн различает язык «как составленный из частей» и язык как целое. (Заметим, что тот же принцип используется и в ходе анализа языковых единиц: фонемы, морфемы, слова, предложения.) Язык как комплекс составных частей изучается грамматикой, язык как целостность — систематикой. (Данное разделение совпадает с разделением на грамматику и дескриптивную глоттику у Шлейхера [Schleicher 1869: 124–125].)

4. Дальнейшее разбиение как грамматики, так и систематики основывается на факторе времени, относительно которого в языковедении, по мнению Бодуэна, действует тот же принцип, что в естествознании: «определяя всеобщие, общечеловеческие психические и физиологические условия существования и воспроизведения речи человеческой, мы обходимся без истории; рассматривая языковые факты и явления во временной последовательности, получаем историю языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 98].

4.1. Соответственно в систематике выделяются две классификации языков или, точнее, два способа их сравнительной характеристики. Генетическая классификация касается родственных языков и является «модификацией истории языка» [Там же, I: 70]. Структурная, т. е. в основе своей морфологическая, классификация разделяет языки «по особенностям их строя» [Там же, I: 71]. Но и «эту сравнительную характеристику следует проводить в двух направлениях: с одной стороны, определять морфологические различия между сосуществующими языковыми мышлениями (сравнительная характеристика на топографической или географической подкладке), с другой же стороны, следить за постепенными переходами одних морфологических типов в другие (историческая эволюция в области морфологии языкового мышления)» [Там же, II: 182].

4.2. Аналогичным образом и грамматика может быть разделена на две дисциплины. «Применяя к отдельным частям грамматики любого языка понятие хронологической последовательности, сравнивая разновременные состояния одного материала, получаем историю языка». Ее изучает историческая грамматика. Исторической грамматике противостоит грамматика одновременного языкового состояния [Там же, II: 101].

4.3. С указанным противопоставлением у Бодуэна перекрещивается еще одно противоположение — *статика* и *динамика*. Первоначально оба эти разграничения фактически совпадают. Статика исследует законы равновесия языка в один данный момент его существования, динамика — законы исторического движения языка во времени, законы в развитии языка [Там же, I: 110]. Таким образом, *динамика* и *история языка* трактуются Бодуэном как явления тождественные.

Позднее Бодуэн, сохраняя противоположение статики и динамики, пытается отделить последнюю от истории, исходя из различия между индивидуальным и племенным языком. Понятие истории закрепляется за эволюцией племенных языков, понятие развития — за эволюцией индивидуальных языков. Таким образом, в структуре языкознания «исследование индивидуального языка противопоставляется исследованию *языка племенного*, исследование индивидуального развития в области языка — исследованию истории племенного языка данной общественной группы» [Бодуэн де Куртене 1963, II: 99]. При таком подходе *тождество динамики и истории устраняется*. История языка в этом случае предполагает рассмотрение его во временной последовательности, в условиях общественной традиции и потому является общественной, социологической наукой. Разграничение статики и динамики теперь связывается лишь с индивидуальным языком, точнее — с целой массой индивидуальных языков. Под статикой понимается «изучение и описание того, что существует, исключаящее понятие изменемости», под динамикой — «изучение и определение условий изменений» [Там же, I: 355].

5. Следующее разделение должно, по-видимому, основываться на различении чисто внешней (периферической, чувственной, физической, физиологической) и внутренней (центральной, психической, собственно языковой, грамматической) стороны.

Бодуэн исходит из того, что «язык, правда, в своем основании является совокупностью психических единиц; но средства проявления и обозначения этих единиц принадлежат миру физическому, точнее — физиологическому и физическому.

Поэтому-то всестороннее изучение языка разлагается:

- 1) на изучение той физической среды, в которой происходит языковое общение между людьми;
- 2) на изучение физиологических средств и функций, с помощью которых достигается языковое общение между людьми;
- 3) на изучение самих же языковых представлений как в их совокупности, так и по отдельным категориям» [Там же, II: 133].

Изучение внешней стороны, т. е. говорения, произношения «как физического явления, независимо от языка в точном значении этого слова», составляет предмет физиологии человеческой речи, или антропофонии, которая «только опосредствованно принадлежит к собственно языкознанию, основанному целиком на психологии» [Там же, I: 354], и является наукой естественной [Там же, II: 325, 327] в противоположность психофонетике как науке «гуманитарной». «Конечно, между ними нет стены; они переходят одна в другую» [Там же, II: 327], ибо физическую сторону произношения невозможно отделить от психической [Там же, I: 354].

6. Грамматика по характеру используемых ассоциаций также разделяется на две части. «В семасиологии и этимологии мы имеем дело единственно с ассоциациями представлений по сходству, тогда как в трех остальных частях грамматики играют роль оба рода ассоциаций, как по сходству, так и по смежности» [Там же, II: 100].

7. Основанием для разделения той части грамматики, в которой используются оба типа ассоциаций, служит анализ (разложение) языка на единицы разного объема и разной степени сложности — синтаксические, морфологические, фонетические (от связной речи к предложениям, от предложений к словам, от слов к их знаменательным частям, с одной стороны, и фонетическим — с другой). Соответственно в общей и специальной грамматике, так же как в сравнительном обозрении известной группы языков с генетической или структурной точки зрения, выделяются фонетика, точнее — ее грамматическая, морфологическая, морфологическо-этимологическая часть [Бодуэн де Куртене 1963, I: 79, 109], или психофонетика, морфология и синтаксис [Там же, I: 78, 108].

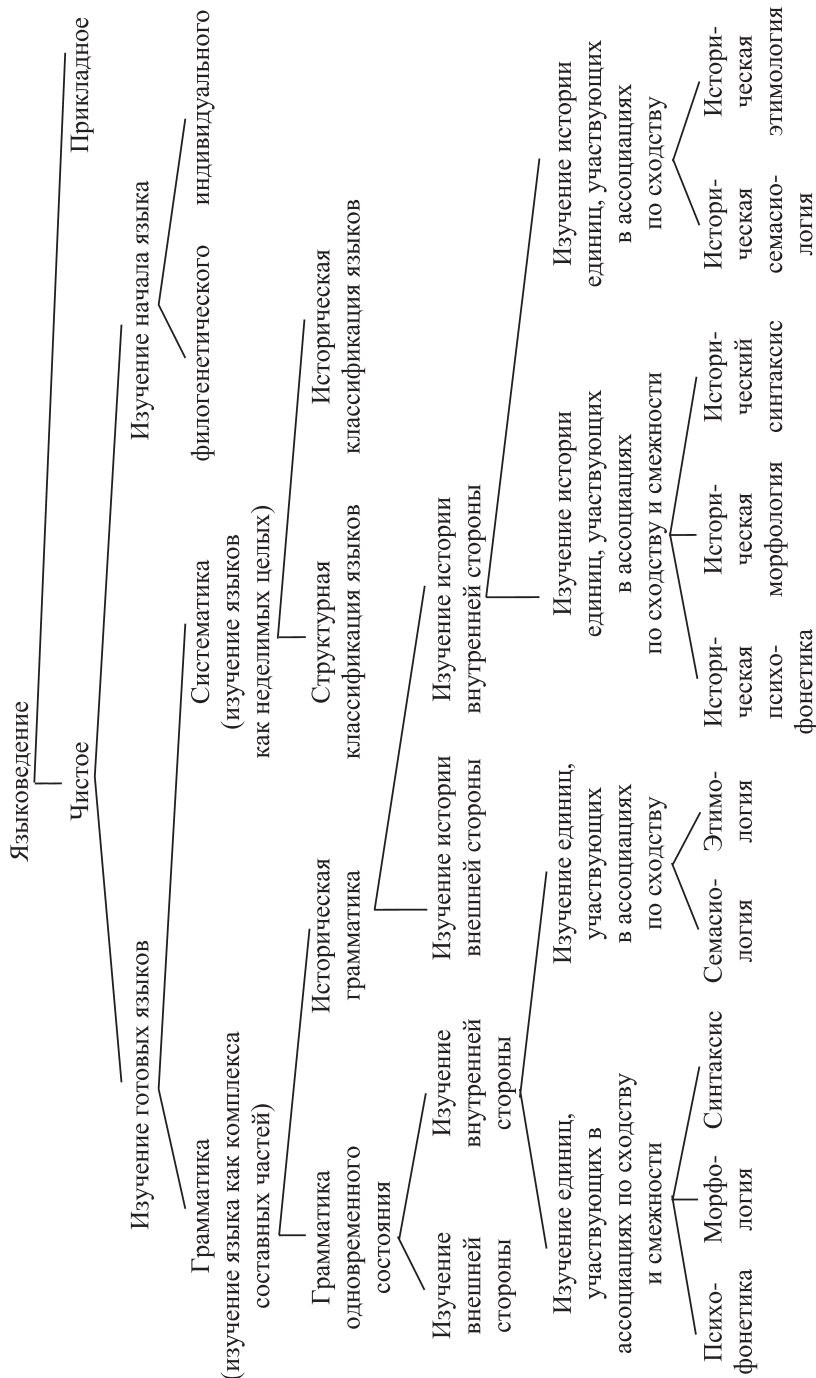
В целом структура языкознания, по Бодуэну, может быть представлена следующим образом (схема 1).

Метод лингвистического исследования. «Достаточное количество материала и надлежащий научный метод» — это, по Бодуэну, «главные условия осуществления науки» [Там же, I: 51]. В определении методов лингвистических исследований Бодуэн развивает монистический принцип, провозглашенный Лейбницем. Поскольку «все науки составляют в общем только одну науку, предметом которой служит действительность» [Там же, I: 61], «методы наук в частности должны быть различными, а основы мышления — общими и одинаковыми» [Там же, II: 8]. Так, «все науки... должны основываться на фактах и фактических выводах» [Там же, I: 37]. Соответственно, обычные в естествознании методы наблюдения и эксперимента распространяются и на языкознание [Там же, II: 4, 16]. Точно так же «сравнение есть одна из необходимых операций всех наук, — на нем основывается процесс мышления вообще», ибо «только при помощи сравнения можно обобщать факты и пролагать дорогу применению дедуктивного метода» [Там же, I: 56]. Поэтому и в языковедении, и в естествознании исследование должно идти от доступного непосредственному наблюдению к неизвестному и недоступному и опираться на сравнительный метод [Там же, II: 108]. Отсюда важность первоочередного изучения живых, а не древних, мертвых языков и необходимость сравнения всех языков [Там же, II: 4, 108]. Далее, «анализ, разложение на признаки, составляет во всех науках начало точного исследования» [Там же, II: 54]. Этим определяется великая важность «анализа и разложения сложных единиц на их отличительные признаки», равно как и необходимость различения фонетической и морфологической делимости слов, их фонетических и морфологических частей [Там же, II: 51].

В ходе лингвистического анализа Бодуэн продемонстрировал виртуозное владение диалектическим методом и в полной мере обнаружил системный подход к языку. Это стало возможным потому, что Бодуэн отказался от столь характерного для младограмматиков позитивистского ограничения «одной только регистрацией фактов» и противопоставил ему сознательное стремление к обобщениям. Он был убежден, что без этого стремления «немыслима ни одна настоящая наука» [Там же, II: 52] и, «если языкознание должно в самом деле стать точной наукой, оно должно

Схема 1

Структура языкознания по Бодуэну (один из вариантов)



научиться орудовать абстракциями, общими понятиями» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 104]. Чтобы объяснить языковые явления и их причинно-следственные связи, индуктивный метод должен быть дополнен дедуктивным элементом. Поэтому «языковедение, как наука индуктивная, 1) обобщает явления языка и 2) отыскивает силы, действующие в языке, и законы, по которым совершается его развитие, его жизнь» [Там же, I: 55]. Бодуэн верил, что в языкознании, особенно в союзе с другими науками [Там же, II: 18], «возможны далеко идущие обобщения и гипотезы, бросающие свет на целые ряды подробностей в их взаимной связи» [Там же, II: 104]. Более того, в отличие от Шлейхера [Schleicher 1869: 71–72], Бодуэн, так же как и И. И. Срезневский [Срезневский 1959: 22–23], полагал, что «метод языкознания, несмотря на его несовершенство, делает возможным предсказывание будущего, т. е. предсказывание явлений, имеющих воспоследовать когда-нибудь на линии исторического продолжения данного языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 105].

Место языкознания в системе наук. В полемике со Шлейхером и его противниками Бодуэн отказывается от однозначного причисления языкознания либо к естественным, либо к историческим наукам [Там же, II: 98]. «При теперешнем... положении наук, — пишет он в 1870 г., — языкознание методом своим и всею своею внутренней организацией принадлежит к естественным наукам, по отношению же к природе исследуемого предмета — к наукам психически-историческим». Однако тут же замечает: «если бы основанием разделения принять природу предмета исследования, то в таком случае все науки, занимающиеся чисто человеческими явлениями, можно бы соединить в один разряд наук антропологических, которые находились бы в тесной связи с естественными, и именно звеном, соединяющим оба эти разряда, было бы языкознание» [Там же, I: 37]. Через 57 лет, на исходе своей научной деятельности, Бодуэн указывает на промежуточное положение не только языкознания, но и других наук о человеке. Жизнь живых организмов, подобно Янусу, двулика: «одно лицо ее обращено к внешнему миру, к природе, а другое — к личности, к психике человека (и животного). Такие науки, как биология, антропология, психология, социология, этнология, глоттология, или *языкознание*, и т. п., *стоят на границе между естественными науками* и так называемыми *гуманитарными*, точнее — анималистическими (выделено мною. — Л. З.). В одних большее место занимает естественный элемент, в других — анималистический.

Функции, процессы и впечатления, связывающие нас в области языкознания с внешним миром, преходящи, и постольку они составляют предмет изучения естественных наук; поскольку же они становятся постоянными, всегда существующими в нашей душе представлениями, они представляют предмет изучения строго языковедческого» [Там же, II: 326]. (Здесь можно заметить аналогию с соссюрвским разделением на лингвистику речи и лингвистику языка. Но главное — это признание Бодуэном обращенности языка к миру и человеку.)

Противопоставление естественности и историчности в концепции младограмматиков Бодуэн считал нелогичным: естественности противостоит не историчность, а духовность. Так как «вся основа языка насквозь психична», то, не будучи

естественной наукой, «языкознание, или лингвистика, должно быть причислено к психическим наукам». Поскольку же «существование... языка возможно только в обществе», психичность человеческой речи идет рука об руку с социальной. И, определив языкознание как науку *par excellence* психологическую, Бодуэн обычно тут же уточняет, что это скорее наука психически-социальная, психически-общественная, психологично-социологическая [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 169, а также 217, 353].

«В связи с тем, что в языке действуют и психические, и общественные факторы, мы должны считать вспомогательными для языкознания науками главным образом психологию, а затем социологию как науку об общении людей в обществе, науку об общественной жизни» [Там же, I: 217]. Признавая психологию основной наукой по отношению к языкознанию, Бодуэн подчеркивает, что ввиду действия в языке общественных факторов «основанием языковедения должна служить не только индивидуальная психология, но и социология» [Там же, I: 348].

Кроме того, языкознание тесно связано и с рядом других наук. В частности, «для должного понимания внешней стороны языка, или фонации, необходимы некоторые данные из анатомии и физиологии, а также из акустики» [Там же, I: 217].

С развитием научной мысли спектр связей между языкознанием и другими науками становится всё более широким [Там же, II: 8], в том числе благодаря расширению сферы применения лингвистических данных. Помимо уже указанных наук языкознание, согласно Бодуэну, связано также с механикой, математикой, антропологией, биологией, этнографией, археологией, мифологией, этологией (наукой об обычаях), эстетикой, политической экономией и т. д. [Там же, II: 99].

2. Язык и человек в антропологическом и социальном аспектах

Отражение природы человека в языковом общении и в языке. Через всё творчество Бодуэна сквозной линией проходит неприятие анализа языка в отвлечении от человека и социального общения людей. В этом он упрекает Шлейхера и его последователей, это он ставит в вину Штейнталу и младограмматикам [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 39–40; II, 181, 206]. Для Бодуэна «реальной величиной является не “язык” в отвлечении от человека, а только человек как носитель языкового мышления» [Там же, II: 182] и частица вселенной. В таком взгляде на человека и язык отчетливо проявляется и стремление Бодуэна к обобщениям, и, что еще важнее, диалектическая основа его лингвистической концепции.

Согласно Бодуэну, «все проявления человеческого существа касаются различных областей природы в ее целостности и..., исходя из этого, их надо рассматривать в тесной связи с общим миропониманием» [Там же, II: 189]. «Человек в целом как объект для изучения принадлежит одновременно ко всем трем “мирам”: ко вселенной, к органическому миру и к миру психосоциальному» [Там же, II: 191], причем язык в этом единстве трех миров отнюдь не пассивен.

«Физические и географические условия страны производят влияние на органическое устройство народа, которое с своей стороны обуславливает характер его языка. Наоборот, известный язык производит влияние на устройство органов речи и на физиономию как отдельного лица, так и целого народа. Вследствие, должно быть, физических условий и своеобразного развития самого же языка в некоторых языках развивается стремление к преимущественному употреблению передних органов речи, в других языках — к употреблению задних органов речи и т. п.» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 87]. Среди физических условий, которые могут воздействовать на язык, Бодуэн называет состояние атмосферы, воздух, служащий передатчиком в языковом общении: «устойчивое состояние атмосферы в той или иной местности (в горных областях, на берегу моря, в деревне, в городе и т. д.), а также преходящие атмосферные явления (туман, степень влажности воздуха и т. д.) также представляют собой элементы, влияющие на языковое общение как в области слуховой, так и в области произносительной» [Там же, II: 196].

Еще более очевидной представляется Бодуэну связь органического мира с психосоциальным. «Органический мир есть *conditio sine qua non* для существования психического и социального мира или, вернее, единого психосоциального мира» [Там же, II: 191]. Поэтому, учит Бодуэн, «когда мы говорим в общей форме об индивидуумах, мы должны прежде всего выделить антропологический аспект живых организмов, а также социальный аспект человеческих индивидов, которых мы рассматриваем как представителей всего человечества, обладающих речевой способностью вообще и входящих в определенную лингвистическую общность в частности» [Там же, II: 194–195]. Причинные связи языковых явлений определяются условиями, непосредственно действующими в индивидах как членах языкового общества, с одной стороны, и в процессах социального общения между ними — с другой [Там же, II: 118, 208].

Психические процессы, а значит, и язык как психосоциальное явление зависят от физиологического субстрата: «Без мозга нет психических явлений» [Там же, II: 56]. «Всё, что касается человеческого языка как языка, сосредоточивается в мозгу. Без мозга, без души может существовать говорящая машина, но не человек, мыслящий и общественный» [Там же, I: 212].

Возникновение психики и ее природу Бодуэн объясняет вполне материалистически в соответствии с учением И. М. Сеченова. «...Психичность как “продукт мозга” надо считать последней ступенью развития, протекшего до сих пор в мире живых существ. Эта последняя ступень развития связана со способностью реакции на раздражения внешнего мира. <...> Все психические явления существуют только с живым мозгом и вместе с живым мозгом исчезают. <...> Первым проявлением реакции одухотворенного мозга на внешние раздражения является мысль и язык, т. е. язык в самом широком значении этого слова, как универсальный рефлекс духа на внешние раздражения» [Там же, II: 65–66].

Связь мозга с мышлением и языком не односторонняя. Бодуэн признает «взаимную зависимость физиологической стороны мозга вместе с продолжением в ней

непрерывной физической энергии, с одной стороны, и мышления вместе с языком — с другой.

1) С одной стороны, *мышление и язык зависят от мозга*. ...Результатом обветшания мозга являются забывание и неспособность владеть языком. Фактом является также наследственность мозга и наследственность способностей, в том числе языковых.

2) С другой стороны, очевидно, *умственное развитие совершенствует мозговую субстанцию»* (выделено мною. — Л. 3.) [Бодуэн де Куртене 1963, II: 57].

Социальное общение между людьми с помощью языка охватывает, по Бодуэну, четыре «мира»:

«1) Психический мир индивида как реальную базу существования языковых идей в их непрерывной длительности;

2) Биологический и физиологический мир данного организма как первый центробежный передатчик языковых представлений от одного индивида к другому;

3) Внешний, физический мир, как последующий передатчик;

2⁶. Снова биологический и физиологический мир различных членов языковой общности, являющийся центростремительным проводником при передаче языковых представлений от одного индивида к другому;

1⁶. Психический мир и т. д.; наконец,

4) Циркуляция идей, выраженных в языке, от одного индивида к другому через посредство человеческого организма и внешнего мира представляет собой языковой процесс, происходящий в социальном мире, связанном с наличием речевой способности» [Там же, II: 191–192].

В процессе языкового общения «говорящие индивиды вызывают у слушающих индивидов — посредством ощущений от физических стимулов — некоторые языковые представления и их ассоциации. То, что при этом слышится и что вызывает ощущения, — это еще не язык, это только знаки того, что дремлет в мозгу, наделенном языком» [Там же, II: 60].

В соответствии с указанной схемой коммуникации **устройство языкового механизма, рассматриваемое «в антропологическом аспекте живых организмов»**, включает в себя «тремя рода физиологические органы или снаряды языка: 1) моторные, двигательные, при действиях фонационных, центробежных; 2) сенсорные, чувствительные, при действиях аудиционных, перцепционных, страдательных, центростремительных; 3) центральные. Центральными являются оязыковленные части мозга, вместе с разветвлениями нервов в обоих направлениях — центробежном и центростремительном. Моторные и сенсорные органы, вместе взятые, составляют общую периферическую или “внешнюю” область языкового механизма, в противоположность категории органов исключительно центральных» [Там же, II: 72].

Таким образом, «для физиологии говорение и язык вообще является функцией человеческого организма, функцией сложной и разлагаемой на несколько частных

функций (функция мозга вместе с нервными разветвлениями, функция мускулов произношения, функция чувства слуха)» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 70].

С точки зрения психосоциального аспекта человеческих индивидов, «как сложное объективно психическое явление язык состоит из многих групп разнородных представлений: 1) группы представлений фонационных, представлений физиологических движений; 2) группы представлений аудиционных, представлений акустических результатов (последствий) выше поименованных физиологических движений, и 3) группы представлений исключительно церебрационных» [Там же, II: 72].

«Для подсознательного ориентирования в этом хаосе языковых представлений приходит на помощь своего рода подсознательная мнемотехника: группировка представлений по их сходству и случайным соединениям; иначе, ассоциация представлений, являющаяся своего рода обобщением» [Там же, I: 226].

Группировка представлений осуществляется с помощью двух сил: бессознательного обобщения, аперцепции (один из ее видов — аналогия) и бессознательного разделения, дифференцировки [Там же, I: 58, 98].

Картина осложняется, если человек владеет грамотой. В этом случае языковое мышление складывается «благодаря воздействию, с одной стороны, произносительно-слуховых процессов, с другой же стороны, писанно-зрительных процессов междучеловеческого мышления» [Там же, II: 211]. «...Объективизация языковых образов, т. е. того, что мыслится и говорится посредством языка, различна у грамотного и неграмотного» [Там же, II: 331].

Бодуэн различает с этой точки зрения три главные группы людей, с бесчисленными переходными ступенями: 1) кандидатов в говорящие, т. е. младенцев и впервые попавших в данную языковую среду иностранцев; 2) людей только говорящих; 3) людей не только говорящих, но и грамотных.

Для третьей группы существенное значение имеет тип письма, а именно — ассоциируется ли оно прямо с внеязыковыми представлениями (как в идеографии) или же оно «прежде всего приводит в движение фонетико-акустическую сторону языкового мышления» [Там же, II: 332], в последнем случае играет роль соотношение буквы и звука: «параллелизм или отсутствие параллелизма между цепью звуков и цепью печатных знаков, между сочетаниями графем и сочетаниями фонем влияет вообще на способ мышления» [Там же, II: 336].

Влияние орфографии на наше мировоззрение зависит от того, все ли элементы звучащей речи (гласные, их долгота, ударение, интонация) отражаются на письме, а также от того, каковы принципы орфографии и сколько их (один или несколько) используется в данном языке [Там же, II: 332–335].

Язык и сознание. Бодуэн заметил разные тенденции в объяснении языковых явлений: «XVIII век объяснял все преимущественно сознанием и свободною волею», в новейшее время предпочтение отдается бессознательным силам [Там же, I: 62–63]. Это нашло свое выражение и в романтическом преклонении перед безошибочностью или непогрешимостью внесознательных и стихийных процессов

[Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 151], и в теории Шлейхера, который противопоставил язык как совершенно независимый от воли человеческой зависящей от нее истории [Там же, I: 40].

Бодуэн в решении данной проблемы совершенно справедливо исходит из того, что «сознание нельзя отождествлять с психическим движением. Сознание — это только огонек, освещающий отдельные стадии этого “движения”...

Психические процессы бессознательны, но они могут быть осознаны» [Там же, II: 66]. Возможность осознания и его степень есть результат исторического развития. И хотя «произносительно-слуховой язык как продукт природы в самом широком значении этого слова» возник «в основном вне сферы сознания и воли людей» [Там же, II: 319], «влияния... сознания и целесообразности нельзя отвергать и в языке *на известной ступени развития* (выделено мною. — Л. З.) общества (и индивидуумов)» [Там же, I: 40].

В языковом общении что-то пробуждается сознательно, что-то «бессознательно или полубессознательно дремлет в языковом мышлении» [Там же, II: 338].

Поэтому Бодуэн не может согласиться с тем, чтобы язык «дольше всех остальных общественных проявлений» трактовался как нечто вообще «неприкосновенное и свободное от вмешательства со стороны сознания. Если язык не является ни божеством, ни независимым от человека “организмом”, если он просто психосоциальное орудие, если не человек существует для языка, а язык для человека, если человек имеет не только право, но и обязанность совершенствовать все свои орудия, то очевидно, что этому совершенствованию должно подлежать и столь важное и неизбежное орудие, каким является именно язык» [Там же, II: 151].

Уже сейчас «у нас имеются неопровержимые факты вмешательства сознания в жизнь языка. Как только появляется письмо, как только появляется участие оптических представлений в жизни языка, как только появляются искусства орфографии и орфоэпии, искусства правильно писать и говорить, как только появляется стремление к идеальной языковой норме, — появляется тоже участие человеческого сознания в жизни языка» [Там же, II: 152]. Появившись «на известной степени развития человечества», «это влияние однообразит формы языка и по-своему совершенствует его, являясь, таким образом, следствием стремления к идеальному». «...Оно задерживает развитие языка, противодействуя влиянию бессознательных сил, обуславливающих в общем более скорое его развитие, и противодействуя именно с целью — сделать язык общим орудием объединения и взаимного понимания всех современных членов народа, равно как и предков, и потомков» [Там же, I: 58–59].

К проявлениям этого влияния Бодуэн относит и всякое обучение языку, и всякий языковой пуризм, и все орфографические реформы, и терминотворчество, и, наконец, разного рода «искусственные» языки, возникшие либо бессознательно, вернее — полусознательно, как пиджин, арго и т. п., либо вполне сознательно, как, например, эсперанто [Там же, II: 140, 152].

Язык и мышление. Основные положения Бодуэна по вопросу о соотношении языка и мышления сводятся к следующему.

1) «Необходимо строго различать понятия и не смешивать понятий из разных областей нашего мышления: мышления языкового, мышления языковедного или лингвистического и мышления вообще» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 288].

Соответственно, «нужно различать категории языковедения от категорий языка... Категории языка суть также категории языковедения, но категории, основанные на чутье языка народом и вообще на объективных условиях бессознательной жизни человеческого организма, между тем как категории языковедения в строгом смысле суть по преимуществу абстракции» [Там же, I: 60]. В анализе языковых категорий следует исходить не из лингвистического мышления, не из истории языка и сравнительной грамматики, а из объективного языкового мышления индивидов, входящих в состав данного племенного или же национального коллектива [Там же, II: 232]. Это тем более необходимо, что «историческое происхождение языковых форм, определяемое исследованиями и предположениями лингвистов, не входит в расчет при живом языковом общении» [Там же, II: 178].

2) «...Мышление возможно без языка», и выразителем мысли может быть не только голос (звук) [Там же, II: 71]. Бодуэн допускает «внеязыковое» мышление [Там же, II: 177].

3) «...Мышление и общественность суть необходимые условия реального языка» [Там же, I: 212].

4) «...Язык был и есть неперемненное условие мышления, но мышления вообще» [Там же, I: 227].

5) Человеческое мышление вообще имеет одинаковые законы у разных народов («не признаю национализации логики») [Там же, I: 363]. Тем не менее при обсуждении различий между морфологическими типами языков Бодуэн говорит о том, что «язык обуславливает склад народного ума» и что при замене у известного народа языка одного строя языком другого строя происходит «переворот и в складе народного ума вообще» [Там же, I: 71].

6) Языковое мышление не совпадает с логическим, внеязыковым [Там же, II: 177]. «...Благодаря случайности своего возникновения он (язык. — Л. З.) часто является непреодолимой преградой для придания мысли логичности» [Там же, I: 227].

7) «В тесной связи с мышлением язык может воздействовать на него или ускоряюще, или замедляюще, или усиливающим, или же подавляющим образом» [Там же, II: 79]. Эта мысль Бодуэна, как и другие его положения относительно связи языка и мышления, явно перекликается с аналогичными утверждениями Гумбольдта и Поттебни.

Языковое знание. Бодуэн принимает учение Гумбольдта о языке как своеобразном мировоззрении [Там же, II: 71]. Рассматривая язык в отношении к миру и человеку, признавая взаимовлияние языка и мирозерцания народа [Там же, I: 74], «связь языковых особенностей с мировоззрением и настроением людей,

говорящих на определенных языках» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 8], он вводит понятие языкового знания. В соответствии со способом восприятия мира и со стороны интеллектуальной, умственной, и со стороны чувственной [Там же, II: 319] «в языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих. Поэтому мы вправе, — полагает ученый, — считать язык особым знанием, т. е. мы вправе принять третье знание, знание языковое, рядом с двумя другими — со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным, и знанием научным, теоретическим» [Там же, II: 79]. Под языковым знанием понимается «воспринимание и познание мира в языковых формах» [Там же, II: 95]. Это знание включает «знание всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира, как материального, так и индивидуально-психического и социального (общественного). Все стороны жизни преобразовываются в психические эквиваленты, в представления, ассоциирующиеся с языковыми представлениями» [Там же, II: 312]. Примером того, как языковые формы «отражают физические отношения всего мира или же социальные (общественные) отношения человечества», может служить система падежей, среди которых одни имеют «общественное происхождение», другие же выражают пространственно-временные отношения [Там же, II: 79]. На множестве фактов Бодуэн показывает также, как в разных областях языкового мышления преломляются количественные характеристики всеобщего бытия [Там же, II: 311–324].

По данным Бодуэна, в языке как особом знании отчетливо проявляется хронологический принцип. В каждом языке можно выделить наслоения и пережитки различных мировоззрений, следовавших друг за другом [Там же, II: 79]. «То, что некогда обозначалось, лишается со временем своих языковых экспонентов; с другой стороны, особенности и различия, ранее вовсе не принимаемые в соображение, в более поздние эпохи развития того же языкового материала могут получить вполне определенные экспоненты (таково, например, различие формальной определенности и неопределенности существительных, свойственное нынче романскому языковому миру, но чуждое состоянию латинского языка). Известные эпохи жизни языка благоприятствуют обнаружению одних сторон человеческой психики в ее отношении к внешнему миру, другие — обнаружению других сторон; но в каждый момент жизни каждого языка дремлют в зачаточном виде такие различия, для которых недостает еще особых экспонентов. Это столь метко Бреалем названные *idées latentes du langage* (потаенные языковые представления)» [Там же, II: 83–84].

Вообще же «только незначительная частичка наличных особенностей и различий физического и общественного мира обозначается в данный момент в речи человеческой». При этом каждый язык имеет свою специфику: «в одном языке отражаются одни группы внеязыковых представлений, в другом — другие» [Там же, II: 83]. Как показывает анализ родовых различий, при наличии сходных представлений даже родственные языки, например русский и польский, могут существенно расходиться с точки зрения их выражения и соотношения друг с другом [Там же, II: 80–81].

3. Индивидуальный и коллективный язык

Бодуэн различает 1) речь человеческую вообще как собрание всех языков, когда-либо и где-либо существовавших, 2) отдельные племенные и национальные языки (наречия, говоры) и 3) индивидуальный язык отдельного человека [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 76–77]. Поскольку «простейшие элементы индивидуального развития повторяются у всех людей», то «индивидуальное является одновременно и общим, общечеловеческим» [Там же, I: 207]. Так Бодуэн уловил диалектику отдельного и общего в человеке и языке. На основании тождества индивидуального и общечеловеческого Бодуэн выделяет в жизни языка и его истории два элемента: «1) элемент общечеловеческий и вместе с тем индивидуальный; 2) элемент этнический и исторический, связанный с хронологией и географией» [Там же, II: 309].

Не принимая организменную теорию языка, рассматривавшую его в отвлечении от человека, Бодуэн подчеркивает, что реально, объективно «язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество». «...Каждому человеку свойственна речь особая, речь индивидуальная, как со стороны “внешней”, звуковой, так и со стороны “внутренней”, идейной. ...Каждому человеку свойственна особая звуковая окраска, свойствен особый способ выражаться, особый слог (стиль) как в устной речи, так и на письме» [Там же, II: 71]. Индивидуальные языки отличаются друг от друга и в качественном отношении (по способу произношения и использованию определенных слов, форм, оборотов), и в количественном (по запасу употребляемых выражений и слов) [Там же, I: 77].

Ввиду указанных различий особую остроту приобретает вопрос о соотношении индивидуального языка с племенным или национальным. Гумбольдтовская антиномия индивидуального и коллективного в языке пересекается у Бодуэна с различием понятия определенного языка и его реализации. Именно в этом ключе рассматривается противопоставление коллективного языка (племенного или национального) индивидуальному.

В основе данного противопоставления лежат такие признаки, как психическая реальность, целостность, однородность и нераздельность, непрерывность существования. Всеми этими признаками обладает индивидуальный язык как комплекс упорядоченных представлений [Там же, II: 131], как «совокупность произносительных и слуховых представлений, соединенных с другими лингвистическими и нелингвистическими представлениями» [Там же, II: 193]. Только индивидуальные языки представляют собой «беспрерывно существующие целые» [Там же, II: 130], только индивидуальные языковые мышления существуют как психические реальности [Там же, II: 250]. Поэтому «термин “язык” в значении чего-то однородного и нераздельного можно применять только к языку индивидуальному» [Там же, II: 75].

Если к языковым мирам (территориям, областям) применить операцию постепенного деления, сходную с последовательным членением связной речи

(см. ниже), то индивидуальные языки оказываются «конечною, дальше уже неделимою единицей этого постепенного деления» [Бодуэн де Куртэнэ 1963, II: 76].

В отличие от индивидуального языка, племенной или национальной язык является «приблизительным средним выводом и абстракцией» [Там же, II: 102], «обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существующих индивидуальных языков», слагаемой отдельных языковых мышлений, суммой свойственных индивидам и в виде среднего вывода народам ассоциаций языковых представлений с внеязыковыми [Там же, II: 71]. Таким образом, «общее абстрактное понятие этнического и национального языка растворяется во множественности индивидуумов, во множественности реально существующих миров, говорящих и слушающих, посредником между которыми является внешний мир» [Там же, II: 206].

В трактовке Бодуэна, коллективный и индивидуальный языки связаны между собой отношениями общего (среднего) и отдельного, идеального и реального, целого и части. В самом деле, «то, что из родного языка помещает в своей голове тот или иной поляк, является лишь частицей целого» [Там же, I: 212], «никогда и нигде не встретим человека, вмещающего всю совокупность польского языкового мышления» [Там же, II: 313].

Разграничив индивидуальный и коллективный язык, Бодуэн в то же время показывает их единство. Индивидуальный язык так же неотделим от коллективного, как индивид от общества. Каждый индивидуальный язык возникает и развивается путем социального общения, причем «между языковыми индивидами и языковыми группами имеется непрерывность и смежность (соседство) в двух направлениях: 1) в пространстве, как смежность пространственная, географическая, территориальная, связанная с языковым общением и взаимным влиянием; 2) во времени, как непрерывность и последовательность поколений, связанная с преданием (с традицией) и с влиянием предков на потомков и даже, наоборот, потомков на существующих еще предков» [Там же, II: 76]. Не случайно наибольшее языковое сходство особенно часто встречается при совпадении обоих направлений — между членами одной и той же семьи, в особенности при тождестве пола, т. е. между сестрами или между братьями, между матерью и дочерьми, между отцом и сыновьями [Там же, II: 71].

«Фонетическая передаваемость и непрерывность фонетического предания обуславливаются общежитием индивидуумов и сходством их психической и физической организации. Непрерывность психического развития, равно как и большая или меньшая равномерность взаимодействия всех членов известного языкового общества, объясняет одинаковость или почти полное сходство воспринимаемых физическим путем знаков, т. е. звуков и артикуляций» [Там же, I: 256].

Сходство психических свойств в человеческом мире, как и в любой социальной группе, «отражается в первую очередь в речевой деятельности вообще и в частности в языке племени или нации» [Там же, II: 190]. Представление племенно-языкового или же национально-языкового единства постоянно сопутствует

индивидуальным языкам [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 159], так что индивидуальный язык — это явление, скорее, коллективно-индивидуальное, т. е. коллективное и индивидуальное [Там же, II: 190].

Индивидуальные особенности, согласно Бодуэну, «являются или коллективно-индивидуальными, то есть этническими или национальными, или индивидуальными в узком значении этого слова» [Там же, II: 196]. В языковом общении мобилизуются коллективно-индивидуальные особенности психических систем членов данной языковой группы. Однако и чисто индивидуальные особенности в сущности таковыми не являются. С одной стороны, не исключена их социальная обусловленность. Например, известная манера говорить может быть связана с общественным положением говорящего, с его средой, образом жизни и т. п. С другой — сами эти особенности тоже влияют на направление социальной передачи языка [Там же, II: 196–197]. Вот почему, на взгляд Бодуэна, «в конце концов трудно провести грань между индивидуально-коллективными и чисто индивидуальными особенностями. Можно сказать, что повторяемость индивидуальных особенностей колеблется между I (особенности, встречающиеся только у данного индивидуума) и Σ (особенности, общие для всех членов данного языкового коллектива)» [Там же, II: 197].

Язык представляет собой «постоянно, беспрерывно наличное в умственном мире каждого человека» именно как общественное или психосоциальное явление [Там же, II: 134]. Это позволяет Бодуэну говорить о коллективно-индивидуальном языковом мышлении. Для взаимопонимания между индивидами оно нуждается в физическом выражении. «Произнесенное ли, написанное ли (или вообще видимое: печать, следы пишущей машины и т. п.) только тогда исполняют свою общественную роль, когда действуют на чувство (слуха или зрения) других участников человеческого общения. Как всякое человеческое общение, так и “языковое общение” в частности может осуществляться только с помощью средств из внешнего мира, т. е. из мира физиологического и физического вообще» [Там же, II: 251]. «В случаях общения между индивидами ассоциированные между собой произносительно-слуховые и письменно-зрительные представления передаются во внешний мир, который в результате становится необходимым условием обобществления и связующим звеном между членами данного племени или народа» [Там же, II: 296].

Рассматривая причинность проявлений языковой жизни в церебрации и фонации, Бодуэн также указывает, что «фонетические, как и психические, причины явлений должны быть одновременно социальными, так как они являются не индивидуально-фонетическими, не индивидуально-психическими, а только лишь коллективно-фонетическими, коллективно-психическими. Несмотря на это, «социальный» характер причин является подчиненным, так как они состоят не в простом подражании и повторении, а в свойствах психической организации, с одной стороны, и в психических потребностях каждого отдельного индивида, принадлежащего к данному языковому сообществу, с другой стороны» [Там же, I: 309]. Показательно, однако, что и здесь Бодуэн говорит не об индивиде как таковом, но об индивиде, принадлежащем к данному языковому обществу,

т. е. об «общественном индивиде» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 223; II: 295]. Если же учесть, что, по Бодуэну, «психическое развитие человека вообще возможно только в общении с другими людьми» [Там же, I: 217] и что «индивид может развиваться в языковом отношении и вообще духовно только в обществе, т. е. в сношении с другими индивидами» [Там же, I: 222], то на первый план в конечном счете выдвигается социальный фактор.

Наличие в языке двух начал — индивидуального и коллективного — проявляется в самом его строении, в функциональной дифференциации языковых единиц. Весьма примечательны с этой точки зрения следующие рассуждения Бодуэна относительно произносительно-слуховой стороны языка: «При определении соотношения в фонамах элемента индивидуального, психического и элемента коллективного, социального, мы имеем в одних рядах фонем перевес индивидуального элемента, перевес подвижных представлений, перевес физиологии, фонации (*t...*, *s...*, *x...*), а в других — перевес элемента коллективного, общественного, элемента посредничества при языковом общении, акустики, аудиции (фонемы с представлением носового резонанса, *l*, *r...*, гласные)» [Там же, II: 329].

4. ЯЗЫК КАК СИСТЕМА

Учение Бодуэна де Куртенэ о системе языка подготовило современные представления о языковой системе как целостной совокупности взаимосвязанных единиц, об уровневой ее организации, о зависимости свойств языковых единиц от их места в системе, об иерархии единиц, о типах отношений между ними, о механизмах их выделения и функциях, о характере и пределах вариативности.

Подобно В. фон Гумбольдту, А. А. Потемне, Ф. де Соссюру, И. А. Бодуэн де Куртенэ исходит из представления о внутренней целостности, связности языка как некой самостоятельной системы [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 63]. Однако Бодуэн не ограничивается этим и идет дальше, нежели его предшественники и современники, в анализе (разложении) языка, в выявлении языковых единиц и связывающих их отношений. Им введены понятия *фонемы* и ее составляющих (кинемы, акузмы, кинакемы); понятие *морфемы* как наименьшей, далее неделимой значащей морфологической единицы, являющейся составной частью слова и охватывающей корень и аффиксы; понятие *синтагмы* как простейшей неделимой единицы синтаксиса.

Стороны языка. Бодуэн различает в языке «две стороны, психическую и физиологическую, церебрацию и фонацию, иначе говоря: 1) язык в точном значении этого слова и 2) произношение». Ведущей стороной в этом единстве он считает церебрацию [Там же, I: 144]. Фонация возможна только на базе церебрации: «Звуки речи и сопровождающие их движения речевого аппарата могут существовать, т. е. повторяться, лишь постольку, поскольку они производят впечатление на нервные центры, на мозг, на душу, если они оставляют там следы в виде постоянных представлений». Соответственно церебрация, или язык (речь

вообще), — это, по Бодуэну, внутренняя, центральная сторона языка, а фонация, или говорение, — сторона внешняя, периферическая [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 212].

В свою очередь, во внутренней, психической стороне Бодуэн различает 1) «отражение внешнего и внутреннего мира в человеческой душе за пределами языковых форм», другими словами — «само психическое содержание, представления, связанные с языком и движущиеся в его формах, но имеющие независимое бытие», и 2) сами эти формы [Там же, I: 214].

В целом применительно к языку можно говорить о разграничении трех сторон: «1) его “внешней” стороны, чисто фонетической; 2) его внеязыковой стороны, стороны семантических представлений, стороны семасиологической; 3) его морфологической стороны, его структуры, являющейся основной характеризующей чертой человеческого языка. Семантические представления, заимствованные и из физического мира, и из мира социального, и из мира “внутреннего”, психического, лежат, собственно говоря, за границами языка. Функции организма, вызывающие фонационные (артикуляционные) движения и акустические впечатления, относятся к области внечеловеческой природы, к области физиологическо-физических явлений. Одна только структура языка в наиболее широком значении этого слова (морфемы, т. е. далее не делимые морфологические единицы языка; единства, состоящие из морфем, или слова; единства, состоящие из слов, или грамматические предложения, и т. д.) представляет собой явление, свойственное исключительно языку и нигде вне языка не встречаемое» [Там же, II: 163]. Таким образом, пытаясь отделить собственно языковое от внеязыкового и внечеловеческого, Бодуэн выдвигает на первый план морфологию как некий общий принцип. «Только то можно считать независимо, самодовлеюще существующим, — утверждает он, — чему свойственна своеобразная морфология. Следовательно, и о языках, т. е. о разных видоизменениях языкового мышления, можно говорить постольку, поскольку мы можем подводить их под понятие того или другого морфологического типа. Человеческому языку свойственна своеобразная, строго языковая морфология, не повторяющаяся в других областях существующего» [Там же, II: 182].

По своей функции морфология как нечто «... собственно языковое — это способ, каким звуковая сторона связана с психическим содержанием» [Там же, I: 133]. Поэтому, разделяя языковое и внеязыковое, Бодуэн в то же время показывает, что «перечисленные три стороны языковой жизни (фонетическая, семасиологическая и морфологическая) тесно связаны и взаимодействуют друг с другом» [Там же, II: 163]. «Поскольку постоянное существование языка является исключительно психическим, следовательно, и составные части языка могут быть связаны только психически». Каждая сторона языка разлагается на психические элементы, т. е. далее не разложимые представления. «Эти представления ассоциируются друг с другом, группируются в некоторые постоянные и вместе с тем подвижные системы, взаимно вызывают и обуславливают друг друга и т. д.» [Там же, II: 164].

Механизмы разложения языкового целого и каждой из его сторон на элементы, их взаимодействие и связь Бодуэн раскрывает путем введения понятия двоякого членения (деления) человеческой речи.

Двоякое членение речи. Делимость групп языковых представлений в церебрационном центре. Идея двоякого членения, выдвинутая и разработанная И. А. Бодуэном де Куртенэ задолго до Л. Ельмслева и А. Мартине, может считаться детерминантой его концепции. Значимость данной идеи тем более велика, что, по определению В. фон Гумбольдта, «...членение есть самая сущность языка» [Гумбольдт 1985: 414]. В выделении и анализе языковых единиц и их упорядочении относительно друг друга на основе двоякого членения человеческой речи в полной мере проявился системный подход Бодуэна к языку.

Проблема членения постоянно занимала Бодуэна, и в разные периоды своей научной деятельности он решал ее не вполне одинаково.

Первоначально при членении «текущего языка» Бодуэн брал за исходный пункт указанное противопоставление центра и периферии языка (или, иначе, церебрации и фонации, собственно языка и приношения / говорения), перекликающееся, но не совпадающее с различием языка и речи у Ф. де Соссюра. Так как «...непосредственная связь, параллельность этих двух сторон языка а priori не является необходимой, и действительность этого не подтверждает» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 182], то, «...во избежание смешения центрально-психических единиц с периферийно-фонетическими или антропофоническими, нужно принять двоякое деление, или членение, потока человеческой речи» [Там же, I: 184]. Первое его деление, а именно последовательное *членение на произносимые фразы, слова, слоги, звуки*, сначала трактовалось как антропофоническое, т. е. физическое, физиологическо-акустическое [Там же, I: 121, 183], опирающееся, в частности, на механизмы дыхания. Второе *деление* текущего языка, или текущей речи, на *знаменательные предложения, слова, морфемы*, как бы оно ни называлось: фонетически-морфологическим (семасиологическим и синтаксическим?) [Там же, I: 121], психическим делением на единицы, наделенные значением [Там же, I: 182—183], морфологическим [Там же, II: 77—78] или семасиологическо-морфологическим [Там же, II: 256], — во всех вариантах опирается на значение и осуществляется психически. Это деление кончается на морфеме. «Если морфеме можно делить дальше на ее составные части, то эти составные части должны быть с нею однородны, должны также иметь значение» [Там же, I: 182]. Такое деление морфем возможно, хотя и с оговорками: «по крайней мере в некоторых языках, и то только до некоторой степени и в определенных случаях» [Там же, I: 183]. В разных вариантах второго членения составные части морфемы именуется Бодуэном по-разному: фонемы (причем под фонемами понимаются подвижные компоненты морфем и признаки морфологических категорий) [Там же, I: 121], фонемы-коррелятивы [Там же, I: 182], фонемы как морфологические дроби [Там же, II: 78], психические (морфологически-семасиологические) составные части морфем [Там же, II: 256]. Нетрудно заметить, как от варианта к варианту Бодуэн

стремится уже самим названием составных частей морфемы подчеркнуть их связь со значением.

Позднее оба членения — не только на знаменательные, но и на произносимые единицы — стали трактоваться как психические. Это обосновывалось тем, что произносительно-слуховой стороне свойственно «беспрерывное течение физиологических работ и акустических впечатлений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 214], «...отделение же единиц происходит в психике» [Там же, II: 215]. В то же время было показано, что фонетическое деление предложений, слов текущей речи, «всегда непременно представляемых мыслью» [Там же, II: 76], завершаемое в мире психическом, церебрационном фонемами, соотносительно с делением вплоть до звуков при ее осуществлении в фонации и аудиции, «во время исполнения» [Там же, II: 77, 253]. Фонема в психофонетическом членении — это психический эквивалент звука, обобщение его антропофонических свойств; это антропофоническое представление, возникающее путем психического слияния представлений от произношения одного и того же звука.

Кроме указанных делений текущего языка / речи существует также делимость групп языковых представлений, сохраняемых исключительно в психическом центре и не получающих произносительно-слухового осуществления.

В основе перечисленных делений лежат разные типы ассоциаций. Делимость текущего языка производится на базе ассоциаций *по смежности*, а «точнее — по непосредственной последовательности во времени» [Там же, II: 76], причем фонетическое членение строится как будто исключительно на данных ассоциациях (ср., однако, [Там же, II: 276, 327–328]), а при морфологическом членении в качестве вспомогательных используются также ассоциации *по сходству*. Они возникают благодаря употреблению одних и тех же элементов языка в разных сочетаниях. Например, распадение предложений на значащие слова, или на дальше не делимые с синтаксической точки зрения синтаксические единицы (*синтагмы*), основано на том, что с тем же приблизительно значением эти единицы входят в другие предложения. Точно так же разложение синтагм (слов) на неделимые сами по себе морфемы «достигается прежде всего путем сопоставления слов с другими словами, в которых те же части повторяются приблизительно с тем же значением» [Там же, II: 255]. В общем, именно «...возможность отделения от одних сочетаний и соединения с другими и является объективным средством установления морфологических элементов языкового мышления» [Там же, II: 224]. Наконец, делимость групп представлений, хранящихся в психическом центре, осуществляется *только* с помощью ассоциаций *по сходствам и различиям*. Сюда относится, в частности, «группировка синтаксических, морфологических, семасиологических и фонетических единиц языка по их характеристическим признакам, обуславливающим их более или менее тесное родство и сходство» [Там же, II: 79]. Например, «все фонемы, объединяемые известным общим им свойством, составляют в психическом центре особую группу и подвергаются сходным видоизменениям и перерождениям» [Там же, II: 259]. Таковы все носовые фонемы в отличие от неносовых, все звонкие в отличие от незвонких и т. д.

Указанные категории делимости: в текущей речи и в церебрационном центре — связаны друг с другом, так как семасиологически-морфологическое членение речи опирается на (парадигматическую) группировку единиц языка по их сходствам и различиям.

Связь между фонетическим и семасиологически-морфологическим членением речи. Семасиологизация и морфологизация. Противопоставив фонетическое членение речи семасиологически-морфологическому, Бодуэн показал также зависимость первого членения от второго. Он исходит из того, что «...всякое языковое целое лишь постольку действительно принадлежит языку, поскольку оно ассоциируется с представлениями, с одной стороны, из мира внеязыкового (физического, социального, лично-психического...), с другой же стороны, из мира морфологии языка, т. е. из мира расчленения языковых целых на структурные или строительные элементы» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 254].

Связь двух членений речи проявляется в семасиологизации и морфологизации средств и единиц фонетического членения, т. е. в ассоциации их с различием значений или форм. Так, *ударение* может оформлять слово (синтагму) либо как неделимую синтаксическую единицу (составную часть предложения), либо как морфологически сложную единицу (комплекс морфем). В первом случае ударение синтактизуется, т. е. морфологизуется и семасиологизуется лишь в составе предложения как совокупности синтагм. Выделяя постоянно какой-то один определенный слог слова, такое ударение служит средством разграничения слов в предложении. Во втором случае ударение морфологизуется и семасиологизуется в составе слова как совокупности морфем. Будучи морфологически подвижным, оно выделяет уже не слог, а морфему [Там же, II: 34, 142–143, 170, 318, 335, 348].

Слогоделение, точнее — его соотношение с морфемным членением, также может быть морфологизовано, если, «повторяясь в целом ряде слов (vo×d-a vo×d-i... / vod-n-i vut... gło×v-a gło×v-i... / głu-v-n-i głu-f...) (Знак × разделяет слоги, а черточка — морфемы. — *Примечание Бодуэна.*), постоянно ассоциируется с представлением определенных форм и становится по необходимости морфологической чертой» [Там же, II: 166].

Вычленение фонем осуществляется на основе их семасиологизации и морфологизации. Как указывает Бодуэн, «в отношении морфологического членения отдельные фонемы могут:

либо сливаться с синтагмой, т. е. со словом, как морфологическим элементом предложения, например польские *o, a, u, i_m*;

либо составлять морфему в слове, например *a* в vod-a, śan-a, bik-a, gad-a; *u* в stol-u, ojc-u, pis-u-je...; *o* в śan-o, żon-o...; *e* в pol-e, stol-e, źeś-e...; *i_m* в vod-i_m, m'ez-i_m, źiś-i_m, stoj-i_m, vol-i_m...; *b* в lič-b-a, śej-b-a...; *n* в trud-n-, lič-n-, da-n...; *t* в b'i-t-, dar-t-, bi-t-...;

либо входить в состав морфемы как ее главная, семасиологизованная и морфологизованная, часть, например польск. *o // a* в mog- // mag-, noś-i- // paś-, vol-i- // val-...» [Там же: 328].

Но фонема — понятие объективно сложное, ее мельчайшие элементы — кинемы (психические произносительные элементы) и акусмы (психические слуховые элементы). «Сочетание кинем и акусм в единое целое составляет фонему. Фонемы представляют собой не отдельные ноты, а аккорды, составленные из нескольких элементов» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 203]. (Ср. с современным определением фонемы как пучка дифференциальных признаков.)

Функциональный критерий учтен Бодуэном и при определении кинем и акусм. Об этом свидетельствует указание на их семасиологизацию и морфологизацию: «в произносительно-слуховом языке семасиологизуются и морфологизуются не цельные, неделимые фонемы, а только их более дробные произносительно-слуховые элементы (кинемы, акусмы, кинакемы) как их составные части» [Там же, II: 279]. «В языковом мышлении эти произносительно-слуховые... представления живут лишь постольку, поскольку они семасиологизованы и морфологизованы» [Там же, II: 327]. И наоборот, «все психофонетические... представления, поскольку существуют в языковом мышлении, семасиологизуются и морфологизуются» [Там же, II: 328]. При этом «морфологизуются лишь некоторые произносительно-слуховые различия, в разных языках разные» [Там же, II: 329]. Например, в русском морфологизованы твердость — мягкость согласных и ударяемость — неударяемость гласных [Там же, II: 264, 278]. Если морфологизация осуществляется избирательно, то семасиологизация «свойственна всем произносительно-слуховым работам и их акустическим продолжениям» [Там же, II: 218, а также 329]. Так, в словах [там] и [дам] семасиологизовано различие работ голосовых связок гортани, в словах [баба] и [мама] — различие работ мягкого неба и т. п. [Там же, II: 218, 279].

С понятиями морфологизации и семасиологизации связано у Бодуэна, далее, понятие *социализации*. Все психические ассоциации, ведущие к морфологизации и семасиологизации, являются, согласно Бодуэну, лишь «частными представлениями общего процесса социализации или обобществления. Ибо язык, как в целом, так и во всех своих частях, имеет только тогда цену, когда служит целям взаимного общения между людьми» [Там же, II: 280]. Социальная ценность и устойчивость фонем тем больше, чем сильнее морфологизованы и семасиологизованы входящие в их состав элементы [Там же, II: 198].

Помимо семасиологизации и морфологизации социальная ценность произносительно-слуховых элементов зависит, по Бодуэну, от системы в целом: «физиологически тождественные звуки разных языков имеют различное значение, сообразно со всею звуковою системой, сообразно с отношениями к другим звукам» [Там же, I: 90]. Как видно, И. А. Бодуэн де Куртенэ уже в 70-х гг. прошлого века разрабатывал понятие значимости (ценности) языковых единиц, введенное позднее Ф. де Соссюром, причем у Бодуэна оно намечается более глубоко, так как учитываются не только одноуровневые связи между произносительно-слуховыми элементами, но также их функциональные свойства, обусловленные межуровневыми связями, на что указывает введение понятий морфологизации и семасиологизации. Фонемы, которые на первый взгляд кажутся такими же, но различаются

по степени морфологизации и семасиологизации входящих в их состав элементов, имеют разную социальную ценность и различаются по степени устойчивости в истории языка [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 198]. Таким образом, в понятие ценности включается наряду со статическим динамический аспект, что также выгодно отличает учение И. А. Бодуэна де Куртенэ, требовавшего *рассматривать состояние языка в известный момент в связи с полным его развитием* [Там же, I: 70], от концепции Ф. де Соссюра, который настаивал прежде всего на *неисторическом аспекте языка* [Соссюр 1990: 92] ввиду совершенно абсолютной и не терпящей компромисса *противоположности синхронии и диахронии* [Соссюр 1977: 116].

Разложение фонемы на составные части Бодуэн связывает с ее функционированием в качестве «фонетического компонента морфологической части слова». Иначе говоря, разложение фонемы производно от разложения морфемы.

Будучи простейшим элементом, дальше не делимым с морфологической точки зрения, морфема является двусторонней значащей единицей и определяется, «с одной стороны, своим произносительно-слуховым составом (т. е. составом из произносительно-слуховых представлений), с другой же стороны, ассоциацией как с представлениями внеязыковыми, семасиологическими, так и с представлениями морфологического характера» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 275]. Определив морфему как «комплекс звуковых представлений, объединяемый *в одно целое* ассоциацией с известной группой представлений из области или строя слов (представления морфологические), или их значения (представления лексические и семасиологические)» [Там же, II: 100–101; выделено мною. — Л. 3.], Бодуэн тем не менее допускает разложение морфемы на произносительно-слуховые элементы. Это разложение есть следствие фонетической альтернации морфем. Хотя «...альтернируют между собой целые морфемы и их соединения», «но фонетическая альтернация целых морфем распадается на альтернации отдельных фонем, как фонетических компонентов этих морфем» [Там же, I: 273], а альтернирующие фонемы в свою очередь распадаются на отдельные произносительные и слуховые элементы в соответствии с закрепленной за ними функцией. Так, на основании анализа чередующихся модификаций морфемы *vod-/vodz̄-*, *vut-/vud-* в словах *woda*, *wodzie*, *wódka*, *wódeczka* и т. д. Бодуэн заключает, что огубленность гласных (сближение губ) семасиологизована, а степень этого сближения морфологизована. В конечном согласном корня переднеязычность и смычность семасиологизуются, а различие типов смычных (взрывной — аффриката) морфологизуется [Там же, II: 165–166].

Поскольку морфологизуются лишь отдельные фонетические представления, Бодуэн не исключает морфемного шва «внутри» фонемы. Например, в формах *woda*, *wode* «...придется, может быть, считать основою ту часть слова, которая оканчивается, правда, согласною фонемою [d], но не полною, а еще без представления определенной работы средней части языка, стало быть, ни “твердою”, ни “мягкою”. В таком случае представление той или другой работы средней части языка отойдет к окончанию и составит вместе с гласною фонемою окончания

одну неделимую морфему» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 231]. В результате морфологически и семасиологически неделимые морфемы разлагаются «на части, т. е. на фонемы, кинемы, акусмы, кинакемы, морфологизованные и семантизованные» [Там же, II: 310].

Что же касается фонем, то их разложение на составные части может быть связано с фонетической альтернативой не только морфем, но и слов. Так, в случае внешнего сандхи наблюдается ассоциация фонетических представлений с синтаксическими, т. е. с представлениями структуры предложения как совокупности синтагм [Там же, II: 171–172, 184].

Разложение фонем, не участвующих в альтернативах, опирается на семасиологическое различие слов. Например, семасиологическое различие слов *сад/зад, там/дам, кора/гора, суд/зуд, пал/бал* указывает на семасиологизацию различия между отсутствием звонкости и звонкостью [Там же, II: 279].

Таким образом, по Бодуэну, в разложении фонем на составные части «задействованы» все значащие единицы языка, начиная с морфемы и кончая предложением, и это лишней раз обнаруживает связь фонетических представлений с морфологическими и семасиологическими, а значит, и целостность языковой системы в представлении ученого.





Иерархия языковых единиц и их многомерность. Через двоякое членение «текущего языка» Бодуэн показал не только механизмы действия тех отношений между языковыми единицами, которые стоят за ассоциациями по сходству и по смежности (в современной терминологии, это парадигматические и синтагматические отношения). Он выявил также иерархию единиц первого и второго деления и тем самым описал иерархические отношения, связывающие друг с другом единицы различных уровней.

Вследствие постепенной делимости языкового целого в текущей речи, во время «мышления вообще» последнему сопутствуют особые ряды языкового мышления. В результате мыслимая фраза предстает в виде параллельных рядов представлений, друг с другом ассоциируемых [Там же, II: 249], — то как ряд фонем, то как ряд морфем, то как ряд синтагм [Там же, II: 270]. «Тут предшествующие представления сменяются следующими: первые “переходят” во вторые. Это относится как к произносительно-слуховым, так и к морфологическим представлениям: фонема предшествующая “переходит” в следующую; морфема предшествующая “переходит” в следующую; синтагма предшествующая “переходит” в следующую» [Там же, II: 269]. Члены каждого из этих рядов представляют собой неделимые единицы. Но благодаря иерархическим отношениям, связывающим различные языковые элементы, в процессе постепенной делимости речи, т. е. в результате анализа, неделимые — в пределах каждого данного ряда — единицы распадаются на более мелкие и предстают как совокупности последних. При операции синтеза неделимые единицы, сохраняя целостность, выступают как составные части более крупных единиц. По заключению Бодуэна, «в соответствии с характером морфологизирующей и семасиологизирующей ассоциации различные психические единицы

коллективно-индивидуального языка могут выступать как неделимые единства или как совокупности, составленные из отдельных частей. Таким образом, мы постепенно получаем: синтагмы как составные части предложения, морфемы как составные части синтагм, фонемы как составные части морфем. <...> Мы разлагаем фонемы на психические — произносительные и слуховые — элементы, которые уже не подлежат дальнейшему разложению» [Бодуэн де Куртене 1963, II: 198–199]. (Под последними имеются в виду кинемы и акусмы.)

Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что каждый элемент имеет три ипостаси, которые характеризуют его в отношении 1) к единицам того же рода, 2) к единицам низшего порядка, 3) к единицам высшего порядка. В первом случае он являет собой неделимую целостность, во втором — совокупность составных частей, в третьем сам оказывается составной частью.

Выявленная многомерность языковых единиц отражена в предлагаемой мною схеме:

предложение		составная часть текущей речи неделимое целое в ряду предложений совокупность синтагм (слов)
синтагма (слово)		составная часть предложения неделимое целое в ряду синтагм совокупность морфем
морфема		составная часть синтагмы (слова) неделимое целое в ряду морфем совокупность семантизированных и морфологизованных фонем
фонема		составная часть морфемы неделимое целое в ряду фонем совокупность кинем и акусм

Особое значение придает Бодуэн функционированию неделимой единицы в качестве составной части единицы более высокого ранга. Осуществляя таким образом функциональный подход к единицам языка, Бодуэн показывает, что только на этой основе — через посредство «вышестоящих» элементов — становится возможным разложение неделимых единиц.

Указанное понимание неоднородности языковых единиц, базирующееся на иерархических связях между ними, Бодуэн распространяет на все единицы языка, включая фонему, и придерживается этой точки зрения как будто в течение всей своей жизни. Вопреки утвердившемуся мнению, разные определения фонемы не противоречат у Бодуэна друг другу, а дополняют одно другое, характеризуя фонему в фокусе двоякого членения языковой системы во всей ее сложности. Не случайно в своем фонологическом манифесте «Некоторые отделы “сравнитель-

ной грамматики” славянских языков» (1881) Бодуэн дает *одновременно* два определения. С одной стороны, фонема — «просто обобщение антропофонических свойств», с другой — это «подвижной компонент морфемы и признак известной морфологической категории» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 122]. Последнее определение основывается, во-первых, на тождестве происхождения фонетических единиц и, во-вторых, на тождестве (гомогенности) морфем [Там же, I: 118]. При этом тождество может устанавливаться как внутри одного языка, так и в нескольких родственных. Определяемая в качестве «фонетического компонента морфологической части слова» [Там же, I: 125], «с антропофонической точки зрения *фо н е м а* может равняться: 1) цельному, неделимому звуку...; 2) неполному звуку...; 3) цельному звуку + свойство другого...; 4) двум или более звукам...» [Там же, I: 121–122].

Позднейшие уточнения обоих определений не меняют сути дела. Определяя фонему в ее отношении к фонемам как «психический эквивалент звука» [Там же, I: 351], как «однородное, неделимое в языковом отношении антропофоническое представление, возникающее в душе путем психического слияния впечатлений, получаемых от произношения одного и того же звука» [Там же, I: 355], Бодуэн вовсе не отказывается от определения фонемы как компонента и составной части морфемы. Так, в «Опыте теории фонетических альтернатив» (1894) эти определения рассматриваются как взаимно дополняющие друг друга: «...Та или иная фонема, рассматриваемая независимо от наделенных значением морфем, образует нечто единое только как фонетическое представление, только как образ памяти, тогда как психическое единство фонемы, рассматриваемой как компонент морфемы, подчеркивается также этимологической связью морфем» [Там же, I: 295]. При этом Бодуэн обращает внимание также на то, что «...каждая фонема (звук) подвергается разнообразным влияниям в зависимости от того, рассматривается ли она как простой звук или как фонетическая составная часть морфологической единицы» [Там же, I: 323]. Более того, будучи фонетическим компонентом морфологической части *слова*, фонема опосредованно — через морфему — связана и со словом, причем многомерность слова отражается и на фонеме. В соответствии со своим положением в иерархии языковых единиц «...понимаемые слова, всё равно, как части ли предложения, или же совершенно независимо от предложения, с одной стороны, являются тоже непрерывным рядом представляемого произносимым и слышимым, с другой же стороны, они состоят из морфологически и семасиологически неделимых единиц, которые мы называем *мор ф е м а м и*» [Там же, II: 249]. В результате «...уже сам факт, что *фо н е м а* входит в состав слов, которые обнаруживают то антропофонические различия, различия фонетической связи или фонетического строения (например, различие в отношении к акцентуации слов), то психические различия (семасиологические или морфологические), создает разницу между внешне одинаковыми фонемами, которая со временем может стать заметной» [Там же, II: 322–323].

Сформулировав в 1881 г. морфемный критерий определения фонемы, в соответствии с которым «...морфологические сопоставления составляют исходную точку для сопоставлений фонетических» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 118], Бодуэн остается ему верен и в дальнейшем. Это явствует, в частности, из того, как он идентифицирует фонемы в «слабых» позициях. Например, согласно определению 1899 г., «в слове *póg* — та же самая фонема *g*, что и в словах *poга*, *poга*, *poга*, и разница между ними — это разница произносящихся звуков, разница не психическая, а физиологическая, зависящая от условий произношения: одной фонеме *g* соответствуют здесь два звука, *g* и ослабленный *k*» [Там же, II: 351]. Строго функциональный подход к фонеме и ее составляющим отличает и позднего Бодуэна. «С точки зрения языкового мышления..., — заявляет он во “Введении в языковедение” (1917), — фонемы и вообще все произносительно-слуховые элементы не имеют сами по себе никакого значения. Они становятся языковыми ценностями и могут быть рассматриваемы лингвистически только тогда, когда входят в состав всесторонне живых языковых элементов, каковыми являются морфемы, ассоциируемые как с семасиологическими, так и с морфологическими представлениями» [Там же, II: 276], т. е. благодаря связи со значением и формой.

Принятая позднее в разных фонологических школах односторонняя ориентация на одно из бодуэновских определений фонемы вступает в явное противоречие с самим духом его учения о *двоичном* членении «текущего языка» и целостности языковой системы, обуславливающей многосторонность, неоднородность языковых единиц.

Вариативность языка и языковых единиц. Единицы языка и их манифестации. Проблема вариативности языка и языковых единиц, выдвинувшаяся на передний план сравнительно недавно, занимает важное место в концепции Бодуэна. По Бодуэну, вариативность языка есть отражение антиномии индивидуального и коллективного, с одной стороны, и необходимое следствие смешения языков как «в порядке географическом и территориальном», так и «в порядке хронологическом» — с другой.

Поскольку язык «создавался и непрерывно создается у каждого говорящего индивида путем смешения и скрещивания множества различных автоматизированных представлений и навыков», то «...жизни языка — как в головах отдельных людей, так и в языковом общении — свойственны постоянные колебания, качественная вариативность и количественная растяжимость. <...> Разумеется, колебания и изменчивость проявляются отчетливее при сравнении различных индивидуальных языков» [Там же, II: 200]. Прежде всего Бодуэн отмечает вариативность индивидуального языка в функционально-стилистическом отношении. «...Каждый человек может владеть несколькими индивидуальными “языками”, отличающимися друг от друга как в сфере произносительной, так и в слуховой: повседневным языком, языком официальным, языком церковных проповедей, языком университетских кафедр и т. д. (в зависимости от общественного положения данного индивидуума). Все люди пользуются различными языками в различные моменты своей жизни;

это зависит от различных душевных состояний, от различного времени дня и года, от различных возрастных эпох жизни человека, от воспоминаний о прежнем индивидуальном языке и от новых языковых приобретений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 199–200]. Следовательно, заключает Бодуэн, индивидуальный язык — такое же видовое понятие, как и коллективный язык [Там же, I: 77].

Помимо вариативности индивидуальных языков существуют также «колебания в процессах, сопутствующих языковому общению, т. е. в психофизических особенностях человеческого организма и в физическом мире». И наконец, «... вследствие постоянно меняющегося состава общества, наделенного речевой способностью», происходят «постоянные колебания фикции, называемой средним этническим или национальным языком» [Там же, II: 201].

«Всякое племенное языковое целое разнообразится, — пишет Бодуэн, — в различных направлениях. ...Здесь имеет место распадение по вертикальным и горизонтальным наслоениям. С одной стороны, с чисто племенной, территориально-этнографической точки зрения, получается деление на говоры в строгом смысле этого слова, на говоры, отличающиеся между собою прежде всего произношением, т. е. фонетическими особенностями. С другой стороны, в языковом разнообразии отражаются различия специальностей, сословий, уровней образования и т. п.; подобного рода разнообразие сказывается и в употреблении слов с своеобразным значением и в своеобразном языковом мировоззрении» [Там же, II: 161].

Понимание социальной природы языка заставляет Бодуэна обратить особое внимание на функциональный и социальный аспект его варьирования. «Один и тот же племенной или национальный язык может играть роль языка государственного, административного, церковного, школьного, книжного, ученого и т. д. Различаются язык простонародный от языка “облагороженного”, возвышенного, язык народный от языка “образованного класса”, от языка “интеллигенции”, язык устный от языка письменного, литературного и т. д. На почве одного и того же племенного языка вырастают языки известных ремесл, званий (например, язык актеров) и общественных классов, язык мужчин и женщин, язык различных возрастов, язык различных переходных положений (например, язык солдатский, язык каторжников и заключенных и т. п.). Существуют, далее, языки тайные и полутайные, так называемые “жаргоны”: язык студентов, язык гимназистов, язык странствующих торговцев..., язык уличных мальчишек, язык проституток, язык хулиганов, язык мошенников, воров и всякого рода преступников и т. п.» [Там же, II: 74]. «Особый класс в языковом мире составляют всевозможные языки, обусловленные языковыми и уклонениями (ненормальностями) или недостатками самого различного характера» [Там же, II: 75].

Проявления вариативности в системе языка, по наблюдениям Бодуэна, многообразны. Они обнаруживаются: 1) в шаткости и неустойчивости деления слов на морфемы ввиду неодинаковой ясности последних, 2) в различной степени семасиологизации и морфологизации произносительно-слуховых элементов, 3) в альтернативах морфем и фонем.

Вариативность морфемного членения Бодуэн объясняет существованием «разных степеней выразительности морфологических узлов слова». «Не во всех индивидуальных головах участников данного языкового коллектива морфологическая делимость слов представляется одинаково ясной и определенной. Границы между отдельными морфемами бывают и более ясны и более туманны. Некоторые морфемы так ясны, так выпуклы, так резко отделяются от других, что при их определении никто не ошибется. Зато при определении других морфем замечаются значительные индивидуальные различия. Мало того, даже у одного и того же лица, в зависимости от интенсивности языкового мышления в данную минуту, проявляется в разное время различная делимость одних и тех же, по-видимому, слов» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 232].

Неопределенность и ослабление морфологической делимости Бодуэн связывает с многовидностью морфем, с отсутствием параллелизма между формой и функцией [Там же, II: 234], а также с влиянием степени образованности людей, знания ими других языков и т. п. Последнее подтверждается различной делимостью слов иноязычного происхождения у людей образованных и необразованных [Там же, II: 233].

Колебания в морфологической делимости сопровождаются *различиями в степени морфологизации и семасиологизации фонем*. Поскольку к осознанию морфологизованных и семантизованных альтернативных отношений между фонемами каждый индивид приходит постепенно, по мере накопления и закрепления соответствующих ассоциаций [Там же, I: 307], то «...различные индивиды характеризуются разной степенью интенсивности морфологизации и семасиологизации произносительных и слуховых элементов, которая на первый взгляд кажется у них одинаковой» [Там же, II: 200].

Так как морфологизация фонетических представлений, в свою очередь, непосредственно связана с чередованиями фонем в составе альтернирующих морфем, все перечисленные проявления вариативности в конечном счете упираются в *фонетическую альтернацию морфем*. Поэтому данные альтернации оказываются в центре внимания Бодуэна в его поисках закономерностей одновременного языкового состояния. Убежденный в крайней неуместности «измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени» [Там же, I: 68], Бодуэн настаивает на различении звуковых законов, фонетических изменений, с одной стороны, и фактов совместности, сосуществования фонетически различных, но этимологически родственных звуков языка в данном его состоянии — с другой [Там же, I: 268, 271]. Подробно рассмотрев типы фонетических альтернатив, причины их возникновения и стадии развития, генетические связи и историческую последовательность, Бодуэн наглядно показал хронологическую многослойность статике, ее динамичность. Однако значение созданной им теории альтернатив гораздо шире. По существу, в ней *Бодуэн заложил основы трех лингвистических дисциплин: фонологии, морфонологии, морфематики*.

Под *альтернативой* Бодуэн понимает сосуществование разновидностей в одном и том же языковом мышлении [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 274]. Тем самым задолго до структуралистов он различает наряду с *инвариантными* (в современном представлении) *единицами языка их манифестации* (вариации, варианты, модификации, виды, разновидности, видоизменения, разветвления, расщепления).

Указав на существование семасиологической, или смысловой, альтернативы морфем и целых слов [Там же, I: 273], Бодуэн сосредоточивается на анализе фонетических различий морфологически родственных морфем. Он выделяет *два главных вида альтернатив*, определенно соотносящихся с двояким членением речи и отражающих многомерность языковых единиц:

«1) Одни альтернативы объясняются настоящим данного племенного языка, точнее: объясняются тем, что по необходимости происходит в каждом носителе данного языкового мышления. Источником подобных альтернатив является несовпадение фонационного (произносительного) намерения с исполнением...

2) Другие альтернативы объясняются только исторически, как разветвления первоначально единого на два или более видоизменений, совершившиеся с течением времени, при передаче языкового мышления от лингвистических предков к лингвистическим потомкам...

Исходною точкою или базисом первого рода альтернатив следует считать однородную фонему, исполнение которой приспособляется к условиям сочетания фонем, к условиям фонетического построения слова и к условиям произношения вообще. Исходною же точкою или базисом альтернатив второго рода следует считать не единую, однородную фонему, а морфему», являющуюся двусторонней единицей [Там же, II: 274–275].

Между этими видами альтернатив нет жесткой границы. Живое ощущение «психической ценности (психической значимости) фонетических явлений..., зависящее от индивидуальных свойств всех членов данного языкового сообщества, становится то слабее, то сильнее», так что «...мы должны принять целую шкалу сомнительных и переходных состояний, напоминающих гаснущую лампу, пламя которой то угасает, то опять становится видимым» [Там же, I: 332]. Это относится, в частности, не только ко второму виду альтернатив, одни из которых (корреляции) связаны с морфологическими или семасиологическими различиями, другие (чисто традиционные альтернативы) такой связи не обнаруживают. Поскольку фонема функционирует как неделимое целое в ряду фонем и как составная часть морфемы одновременно, то и альтернативы первого вида, или дивергенции, неоднородны. Они подразделяются на чисто фонетические, антропофонические дивергенции самих фонем «независимо от их принадлежности к составу родственной морфемы» и фонетически-этимологические альтернативные дивергенции, т. е. не фонетические альтернативы «родственных» морфем и входящих в их состав фонем. Одни и те же дивергенты могут функционировать как безотносительно к морфемам, так и в составе последних. Таковы, например, дивергенты гласных $o // o_p$, $a // a_p$, $e // e_p$, обусловленные твердостью или мягкостью последующего согласного,

в словах *закон, мат, мел и конь, мать, мель*, с одной стороны, и в формах *воза/вожит, баба/бабе, этот/эти* — с другой [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 296].

Проблема различения единиц языка и их манифестаций разрабатывается Бодуэном прежде всего применительно к фонеме и звуку. Это продиктовано также необходимостью разграничить внутреннюю и внешнюю стороны языка. Отсюда пристальное внимание к фонетическим альтернациям, в особенности к дивергенциям как универсально распространенному типу чередований, на базе которого развиваются другие типы внутриязыковых чередований. В самом деле, «...ни в одном языке, — замечает Бодуэн, — нет ни одного звука, который стоял бы в языке изолированно, не имея другого, альтернирующего с ним звука, так же как нет слова, к которому было бы неприменимо учение о звуковых альтернациях» [Там же, I: 271], ибо «...нет, пожалуй, ни в одном языке ни одной фонемы, которая всегда находилась бы в одних и тех же антропофонических условиях» [Там же, I: 322]. «...Ни один из периодов языковой жизни не знает абсолютного отсутствия альтернаций. <...> В каждом языковом состоянии происходят какие-нибудь антропофонические изменения, какие-нибудь аккомодации фонем к антропофоническим условиям, а затем результаты этих аккомодаций переходят от поколения к поколению путем традиции, передачи, пока, наконец, результаты произведенных в прошлые периоды работ не будут устранены новыми изменениями» [Там же, I: 347].

Так же как исторически унаследованные морфологические альтернации, «распадение одинаковых психически фонем на разновидности со стороны исполнения» [Там же, II: 271] может вызвать «несовпадения физической природы звуков с их значением в механизме языка, для чутья народа» [Там же, I: 82, 109]. Ориентируясь на значение звуков в механизме языка, Бодуэн считает недопустимым распространенное «неразличение психической или церебрационной и фонационной или исполнительской стороны по отношению к звукам языка» [Там же, II: 37], т. е. смешение фонем со звуками. Примером такого смешения является, на взгляд Бодуэна, идентификация русских гласных *ы* и *и* в качестве равноправных фонем, несмотря на то что со стороны психической «это гласные тождественные, фонационная разница которых определяется сочетанием с предшествующим согласным» [Там же, II: 36–37].

«Отождествляющую роль» в идентификации бесконечно изменчивых и разнообразных и к тому же преходящих звуков играют, по мысли Бодуэна, произносительно-слуховые представления. Иначе говоря, «психическим объединителем всех этих видоизменений» является *фонема* [Там же, II: 217]. Так как при этом подчеркивается, что данные представления «живут лишь постольку, поскольку они с е м а с и о л о г и з о в а н ы и м о р ф о л о г и з о в а н ы» [Там же, II: 327], то, очевидно, в конечном счете Бодуэн связывает фонемное отождествление с функциональным критерием. Это тем более вероятно, что и «постоянные отношения между рядами фонем» он также соотносит с морфологическими чередованиями [Там же, II: 168]. Уже в начале своего творчества ученый заметил, что «оттенки и различия антропофонические сопровождаются оттенками и различиями морфологическими»

[Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 119] и что «параллели звуков, основывающиеся на отличительных физиологических свойствах», в частности различия твердых и мягких, глухих и звонких согласных, долгих и кратких, ударенных и неударенных гласных, «находятся в тесной связи со значением слов и их частей» [Там же, I: 80, 81].

Строго различая фонему и звук, Бодуэн при определении известных антропофонических свойств фонем допускает «самое широкое разнообразие в действительном их проявлении» [Там же, I: 122–123]. Фонемы — это фонетические типы, отвлеченности, результаты обобщения, очищенные «от положительно данных свойств действительного появления или существования» [Там же, I: 122]. (Нетрудно заметить очевидные схождения между И. А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром в отношении к «положительно данным свойствам». Ср. [Соссюр 1977: 151–153].) Поэтому, предупреждает Бодуэн, «гоняться при фонемах за антропофонической точностью есть большой методологический промах» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 123].

Тем не менее при обобщении дивергентов в фонемы, равно как и при обобщении известных фонем «в фонемы более общие, в фонемы высшего порядка» [Там же], в процессе приведения «более частных проявлений дивергенции и корреляции к более общему знаменателю» Бодуэн не исключает вовсе субстанцию и учитывает близость к нему каждого из звеньев дивергенции или более частной корреляции «по присущим ему антропофоническим свойствам». В качестве основания принимается альтернант, менее осложненный антропофонически, логически и исторически переживший меньше изменений. Например, в чередованиях $k // k'$ и $k // \check{c}$ основным (первичным) членом альтернации является твердый k , производными (вторичными) — k' и \check{c} [Там же, I: 124]. Так осознается неравноправность альтернантов и членов фонематических противопоставлений и устанавливается их иерархия, подготовившая позднее различие немаркированных и маркированных членов оппозиций.

При сопоставлении дивергентов с точки зрения «фонетического родства» (= сходства) Бодуэн обращает внимание на то обстоятельство, что «антропофоническое расщепление психически единой фонемы, независимо от того, свойственно ли оно чисто антропофоническим или альтернационным дивергентам, состоит а) либо в развитии действительно различных свойств в одном члене альтернирующей пары, точнее говоря — в субституции одних свойств вместо других..., б) либо только в ослаблении индивидуальности одного из членов альтернирующей пары» [Там же, I: 297]. А так как альтернация дивергентов идет параллельно альтернации фонетических условий, от которых зависят данные дивергенты [Там же, I: 299], то *иерархия дивергентов* по степени фонетической близости *пересекается* в представлении Бодуэна с *иерархией позиций*. Соответственно выделяются два типа позиций: 1) «положения, благоприятствующие проявлению всех индивидуальных свойств данной фонемы» [Там же, I: 297], когда «...физиологические условия, заключающиеся в деятельности участвующих в произнесении органов, позволяют полностью произвести предполагаемую мозговым центром группу фонационных

работ» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 278], и 2) положения, каким-то образом препятствующие этому. «Так, например, положение *t* в *ta*, *sta* благоприятствует проявлению его индивидуальных свойств, тогда как в *at* это проявление затруднено» [Там же, I: 297].

Исходя из сказанного, Бодуэн различает «фонемы, исполняемые сообразно с произносительным намерением», и «фонемы, исполнение которых далеко не совпадает с этим произносительным намерением». Параллельно с разграничением благоприятных и неблагоприятных позиций вводится различие «фонем самостоятельных и максимально независимых (или же минимально зависимых)» и фонем зависимых, «причем эта увеличенная зависимость может быть двух или даже более степеней» [Там же, II: 262]. (Ср. с различием сильных и слабых позиций, сильных и слабых фонем представителями Московской фонологической школы.)

В качестве примера Бодуэн указывает на три уровня самостоятельности русских гласных фонем: высший — в ударном слоге, средний — в первом предупредительном слоге и в конечном открытом слоге, низший — в прочих безударных слогах [Там же, II: 263]. К фонемам высшего уровня Бодуэн относит те фонемы, «которые исполняются согласно с их постоянно существующим психически составом из дальше неразлагаемых произносительно-слуховых элементов» [Там же, II: 262]. Таковы ударные гласные. «Обезличивающее влияние ударения» приводит к сокращению числа различаемых фонем и частных представлений (= признаков) в безударном положении [Там же, II: 265–266].

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

5.1. Начало языка

«...Живая речь, “язык”, отличает, с одной стороны, человека от человека (речь индивидуальная), племя от племени, народ от народа (язык в строгом смысле), с другой стороны — человечество или род человеческий вообще (речь человеческая) от животных» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 68]. Соответственно, Бодуэн различает «двоякого рода начало языка: каждовременное начало и индивидуального языка и начало языка филогенетическое, начало языка во всем человеческом роде» [Там же, II: 84]. Это последнее является также началом коллективного языка [ср.: Там же, II: 84 и 308], ибо начало каждого из племенных и национальных языков Бодуэн рассматривает «с точки зрения вечности и непрерывности языковой традиции» [Там же, II: 309] и возводит его к началу человеческого языка вообще [Там же, II: 84]. При таком подходе «все роды и все языки — одинаково древние», «все человеческие роды берут свое начало в эпоху дочеловека», «все языки начинаются с доязыкового состояния» [Там же, II: 299]. «...Например, русский язык в своей непрерывной преемственности восходит к той отдаленной эпохе, когда лингвистические предки нынешних русских только что начинали говорить, т. е. —

с этой точки зрения — становятся людьми» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 84]. Каждый современный племенной и национальный язык является историческим продолжением ряда языковых состояний. Так, «племенной и народный польский язык ведет свое начало — если двигаться назад — от прапольского, от общеславянского как предшественника польского языка, от праславянского как предшественника польского языка, от дославянского, от общеариевропейского, от праариевропейского, от доариевропейского и т. д., очевидно, от всех языков, понимаемых как всё более древние стадии изменяющегося во временной последовательности польского языкового мышления» [Там же, II: 300].

Филогенетическое начало языка. Бодуэн предполагает полигенетическое начало человека и человеческой речи. «Человек, как существо общественное и наделенное языком, образовался в разных местах и в разное время, он образовывался много раз, независимо один от другого, из разных групп или стад низшего вида антропоидов» [Там же, I: 210]. «При постепенном развитии от низших, дочеловеческих видов человек с точки зрения языка стал человеком лишь тогда, когда развил у себя язык, или речь, в их современном виде» [Там же, I: 209].

Возникновение языка, считает Бодуэн, не может быть объяснено ни божественным откровением, ни общественным договором. Единственно научной является эволюционная теория, идущая от Эпикура и Лукреция: «человеческий язык произошел путем эволюции, путем постепенного, бессознательного, естественного, произвольного развития, путем восхождения от более низких ступеней человеческого развития к ступеням более высоким» [Там же, II: 84–85].

Среди физиологических предпосылок речи Бодуэн особо выделяет *прямохождение*. Именно оно способствовало формированию и совершенствованию механизма речи, а также обогащению внутренней, знаменательной стороны языка. «...Хождение на четвереньках, сжимая и сдавливая легкие, стесняя развитие гортани, исключает возможность говорить по соображениям чисто механическим и физиологическим» [Там же, II: 86]. «...Люди могли начать говорить только тогда, когда, перестав ходить на четвереньках, они начали держаться на двух ногах, с поднятой вверх головой, с выпрямленной шеей, с кольцами гортани и дыхательного горла, лежащими один над другим, а не расположенными один возле другого. ...Ребенок может начать действовать органами речи, как это делают взрослые, только тогда, когда он ходит или, по крайней мере, уже держится прямо» [Там же, I: 211]. «Кроме того, возможность при стоянии на двух ногах смотреть прямо перед собою и свободно поднимать голову вверх является, путем богатства космических впечатлений, неисчерпываемым источником для обогащения внутренней, знаменательной стороны языка» [Там же, II: 120], «неисчерпываемым источником всё новых воздействий мира внешнего на всё более совершенствующийся перцепционный и языко-моторный, языко-рефлекторный снаряд человеческого организма, во всей его психо-физической сложности» [Там же, II: 86].

Вопрос о роли внешнего мира Бодуэн решает вполне материалистически. «Филогенетическое становление языка, т. е. возникновение языка, или речи, у всего

человеческого рода, мы должны представить себе, — пишет он, — прежде всего как результат рефлексов мозга, или “духа”, на раздражения внешнего мира» [Бодуэн де Куртене 1963, II: 60]. Но этим его функции не ограничиваются. Внешний мир — не только «поставщик» внеязыковых представлений, но и необходимое условие обобществления и связующее звено между членами данного племени или народа [Там же, II: 296].

Значение же человеческого общения, по мысли Бодуэна, огромно: «Государство, народ, *общество*, правительство, закон, обычай, религия, право, учреждения, богатство, *труд*, экономические представления и понятия вообще, наука, литература, искусство, *язык*, письмо... (выделено мною. — Л. З.) всё это возникает путем междучеловеческого общения, хотя, впрочем, при помощи физической среды и физических средств» [Там же, II: 130].

Первоначальное средство общения существовало в синкретической форме. «...Язык или речь человеческая в самом тесном смысле этого слова развилась постепенно из той сложной зародышной психически-физиологической деятельности, которая с течением времени дифференцировалась: 1) на язык говоримый, по своим физиологическим последствиям принадлежащий к акустике, т. е. действующий на слух; 2) на пение, равным образом действующее на слух; 3) на эмоциональные движения, действующие по преимуществу на зрение» [Там же, II: 88]. Позднейшее ограничение акустическим средством Бодуэн объясняет его большими возможностями: оно дает самое большое разнообразие впечатлений, им можно пользоваться в темноте, на расстоянии, через непрозрачную преграду. Предпочтительность слуха перед зрением обусловлена также тем, что «воздух как вибрирующая акустическая среда окружает человека везде и всегда, свет же не всегда и не везде» [Там же, I: 210–211]. И наконец, формирование звукового языка Бодуэн подводит под действие некой общей тенденции. С его точки зрения, «этот процесс устранения из области языкового общения движения разных органов, а также зрительных и других ощущений, и сведения его почти исключительно к произносительным функциям и слуховым ощущениям — одно из проявлений экономии труда, свойственной всякому биологическому и психическому развитию» [Там же, II: 61].

Специфика человеческого языка, его универсальные свойства становятся очевидными из сопоставления с «языком» животных. Бодуэн видит два существенных взаимосвязанных различия между звукообразованием у людей и животных.

1) Главной особенностью человеческой речи является локализация речевых работ в отдельных органах и в отдельных точках полости рта, тогда как у животных такая локализация отсутствует и главные органы звукообразования находятся внизу и сзади, в первую очередь в гортани [Там же, I: 258; II: 86]. При этом человеческая речь отличается от животной многообразием звуковых элементов, что обусловлено большим разнообразием положений и видов работ, выполняемых речевыми органами, прежде всего в полости рта.

2) В отличие от неделимых, неразложимых, однородных и не ограниченных по длительности голосов животных звуки языка не могут иметь непрерывной

длительности и характеризуются переходом от одного положения органов речи к другому [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 259, 278; II: 73, 85]. Иначе говоря, они членораздельны.

Понятие *членораздельности* у Бодуэна не оставалось неизменным. С течением времени оно становилось всё более «структурным» и функциональным.

В определении 1893 г. (в статье «Человечество языка») членораздельность звуков языка связывается с наличием *взаимных отношений* между ними. «Подлинные звуки языка... суть оформленные, поставленные в известное взаимное отношение друг к другу, характеризуемые лишь определенной протяженностью звуковые элементы» [Там же, I: 259].

В 1904 г. в статье «Язык и языки» в определение членораздельности вводятся дополнительные указания, во-первых, на *связь элементов произношения с элементами значения* и, во-вторых, на строго заданные *пределы вариативности* произношения, в том числе вариативности отношений между произносительными единицами. Пределы эти обусловлены системой данного языка. Ср.: «Членораздельность или артикуляция состоит в переходе от одних положений фонационных органов к другим, причем каждая точка произношения может биться особою психическою жизнью и соединяться с элементами значения посредством особых ассоциаций. Членораздельное (артикулованное) произношение отдельных звуков в их взаимной связи, по отношению к свойственным им особенностям вроде долготы, напряжения и т. п. колеблется между известными минимумами и максимумами; этих пределов нельзя никак переступить, не лишая данный язык свойственных ему особенностей индивидуальной или же племенной принадлежности». «...Отношение между двумя единицами произношения может изменяться, но только в известных, строго определенных пределах. Артикулованные звуки и производящие их фонационные работы являются как будто строго определенными отрезками из линий, по своей идее бесконечно длинных» [Там же, II: 73–74].

Наконец, во «Введении в языковедение» (1-е изд. в 1909 г., 5-е — в 1917 г.) членораздельность и протяженность произносительно-слуховых элементов связывается с их *морфологизацией как основой для социализации*. Таким образом, в понятие членораздельности включается указание на *взаимодействие двух делений* «текущего языка». Ср.: «Вне языка, во внешнем мире, в области явлений природы произносимое может длиться без перерыва, длиться бесформенно и не пропорционально. В человеческом же членораздельном языке *морфологизуемая* (курсив мой. — Л. З.) временная длина фонемы колеблется между определенным минимумом и максимумом. Переходя за такой максимум, она становится чем-то внеязыковым, чем-то могущим быть рассматриваемым в механике, в акустике и в физике, но чем-то совершенно чуждым психосоциальной сущности языкового мышления, ибо в нем уже не морфологизованным.

Именно к этой стороне морфологизации произносительно-слуховых элементов, — подчеркивает Бодуэн, — я бы считал уместным применять термины “членораздельность” или “артикуляция”» [Там же, II: 280].

Благодаря последнему уточнению понятие членораздельности произношения органически смыкается с понятием «морфологической артикуляции», под которой Бодуэн имел в виду последовательное членение значащих единиц языка, иерархический принцип структурной организации языковой системы.

«Структурность языка, форма языка, так сказать, морфологическая артикуляция, состоящая в членении предложения на слова, слов же — на значащие части, совершенно чужда животным, чужда свойственным им неделимым звуковым проявлениям.

Организация ранее неоформленной субстанции звуковых проявлений с помощью собственно языковой формы была важнейшим шагом на пути человечения языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 263].

Еще одним специфически человеческим свойством языка Бодуэн, так же как Гумбольдт, Потебня и их предшественники, считает его *символичность*. Звуки животных выражают именно то, что они в действительности выражают. «...Они всегда связаны с определенной конкретностью» и «неспособны к абстракции», а «значения издаваемых звуков в их отношении к этим звукам всегда имеют характер необходимости, непосредственности и относительной неизменности — черты, совершенно противоположные природе человеческой речи». «Слова человеческого языка, напротив, ни в коем случае не являются просто знаками известных конкретных проявлений, но представляют собой абстракции, которым прямо не соответствует во внешнем мире ничего непосредственно чувственного» [Там же, I: 262]. «...Они что-то означают лишь потому, что они ассоциированы с известным рядом значений. Характер необходимости им совершенно чужд. Они обязаны своим употреблением в данный момент лишь стечению случайностей. Например, лишь случай определяет, почему голова называется по-немецки Kopf или Haupt, по-русски *голова*, по-эстонски *rää*, по-латыни *caput*, по-французски *tête*.

Итак, подавляющая часть слов человеческого языка — лишь случайно возникшие символы, которые при других обстоятельствах могли бы сформироваться совершенно по-другому, — совершенно независимые от вызвавших их чувственных впечатлений.

И как раз эта случайность есть характерная черта языка» [Там же, I: 261–262].

Кроме того, в отличие от звуков животных символы человеческого языка изменяются во времени и в пространстве [Там же, II: 85], «отличаются способностью принимать все новые значения» [Там же, I: 261], что явственно обнаруживает творческую природу человеческого языка, также чуждую языку животных.

Начало индивидуального языка отличается от филогенетического по своим условиям: «...каждый ребенок наследует у предков языковое предрасположение, языковые способности и находит сразу людей кругом него говорящих, находит

готовую языковую среду, возбуждающе на него действующую. Ни того, ни другого не было в зачаточной стадии человеческого языка вообще, т. е. в то время, когда зарождался первобытный язык». «Индивидуальный язык рождается и возникает *вместе с мозгом, вместе с психикой* (выделено мною. — Л. З.) каждого отдельного человека; хотя человек говорит не сразу, но он приносит с собою способность говорить, а затем, под влиянием окружающих, происходит постепенное развитие и рост данного индивидуального языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 84]. При этом, вопреки существующим представлениям, «ребенок не повторяет вовсе в сокращении языкового развития целого племени, но, напротив того, ребенок захватывает в будущее, предсказывая особенностями своей речи будущее состояние племенного языка, и только впоследствии пятится, так сказать, назад, всё более и более принаравливаясь к нормальному языку окружающих» [Там же, I: 349–350].

Выделив два фактора, участвующие в становлении индивидуального языка, — наследственный (биологический и психологический [Там же, II: 195]) и социальный, Бодуэн не приемлет биологический детерминизм, проявившийся, в частности, в концепции Шлейхера. Хотя он и признает «наследственность мозга и наследственность способностей, в том числе языковых» [Там же, II: 57], а также «наследственные черты в строении органов произношения (прежде всего — в гистологическом строении), наследственность в области общей речевой способности и, в частности, способности говорить на определенном языке, наследственность определенных произносительных и слуховых способностей и тенденций» [Там же, II: 195], но в то же время полагает, что «язык не может быть унаследован» [Там же, I: 335] и «отдельные языки ни в коем случае не суть нечто само по себе врожденное» [Там же, II: 139]. Бодуэн строго различает биологическое и социальное, биологическое и лингвистическое в образовании индивидуального языка, причем на первый план он выводит социальное начало: «Наследственность является биологическим фактором, тогда как каждый индивид приобретает язык путем социального общения» [Там же, I: 335].

Преимущественное значение социального общения, языковой среды, «лингвистических предков» в сравнении с биологической наследственностью доказывается, в частности, тем, что «китайский или готтентотский по своему рождению ребенок свободно может в языковом отношении стать немцем, если он с самого начала будет воспитываться в немецкой среде, и наоборот. Лингвистические предки — это, таким образом, нечто совсем иное, нежели биологические предки». От биологических предков человек наследует «только самые общие предпосылки языка» [Там же, II: 139], «только способность к овладению языком вообще» [Там же, I: 335], «только языковые способности, языковое предрасположение вообще» [Там же, II: 89].

Что касается специфических «этнографических» (этнических) особенностей, то из них передаются путем наследования (да и то лишь «может быть») «минимальные склонности к языковому развитию в том или другом направлении» [Там же, II: 89], «лишь минимальные различия, в минимальной степени различающиеся

тенденции» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 139]. Тем не менее «в известных мелких особенностях произношения даже через несколько поколений может сказываться происхождение известного индивида, чуждого данному племени» [Там же, II: 89]. Кроме того, можно унаследовать «склонности к некоторым определенным направлениям изменений, совершающихся в структуре языка» [Там же, I: 335].

На этом основании Бодуэн находит возможным «прибегнуть именно к наследственности, чтобы объяснить постоянство происходящих в языке исторических изменений, и именно следующим образом: самые радикальные изменения совершаются во всякое время в языке детей данного языкового сообщества. Глубже всего идут фонетические изменения, выравнивание форм и т. п. В дальнейшем дети постепенно возвращаются к языковому состоянию взрослых, но известная часть изменений, совершившихся в их детском языке, может остаться и в дальнейшем в их индивидуальном языке и, что важнее всего, склонности к таким изменениям, хотя они и возникают у следующего поколения сами собой, спонтанно, переходят к этому поколению путем наследственности. Собираясь или накапливаясь и усиливаясь в ряде поколений, эти изменения, наконец, становятся настолько сильными, что окончательно укрепляются в языке» [Там же, I: 335–336].

5.2. РАЗВИТИЕ И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Исходя из антиномии индивидуального и коллективного языка и опираясь на психологическое его понимание, Бодуэн различает развитие и историю. Они противопоставляются по характеру причинности — непосредственной или опосредованной, а также с точки зрения непрерывности — прерывности изменений. По определению Бодуэна, «история является последовательностью явлений однородных, но разных, связанных между собою посредственной, а не непосредственной причинностью. В противоположность этому развитие — это непрерывная и непрестанная протяженность однородных, но разных явлений, связанных между собою непосредственной причинностью, или же... развитие — это непрерывная продолжаемость существенных изменений, а не явлений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 251]. «Чтобы развитие можно было действительно считать развитием, оно должно непрерывно продолжаться» [Там же, I: 207]. Поэтому «о развитии языковых особенностей можно говорить только у индивидуума» [Там же, I: 208]. Бодуэн основывается на том, что «объяснение языковых изменений может быть только психологическое и до некоторой степени физиологическое. А психическая и физиологическая жизнь свойственна только индивидууму, но не обществу. Психические процессы и физиологические изменения происходят только у единиц, но никогда не происходят в обществе» [Там же, I: 224]. Поэтому хотя «в языковом отношении индивидуум может развиваться только в обществе, но язык как общественное явление развития не имеет и иметь не может. Он может иметь только историю» [Там же, I: 208].

Тем не менее вследствие социальной природы человека противоположность развития и истории представляется Бодуэну относительной. Так как «развитие

одного индивидуума зависит от развития других и соответственно на него воздействует, то история общества представляет собой сумму развития отдельных индивидуумов. Таким образом, история также является развитием, но развитием прерывающимся, прерывающимся в своей пространственной протяженности и в своей временной последовательности» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 223].

Значение социального фактора выражается также в том, что «необходимым условием подлинной истории как прерывающегося развития, но опосредствованно соединенного, является непрерывная продолжаемость общения индивидуумов. ...Если прервется нить взаимного общения, прервется и история общества, а следовательно, и история языка». Благодаря взаимному общению обобществившихся индивидуумов «развитие одного индивидуума передается развитию другого индивидуума». Так происходит развитие целого общества, распадающееся на развитие отдельных лиц [Там же, I: 224].

5.3. Внешняя и внутренняя история

Историю языка как психически-общественного явления Бодуэн разделяет на внешнюю (географически-этнологическую) и внутреннюю (грамматическую).

В истории внешней язык рассматривается как неразложимое целое [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 295]. «Внешняя история языка тесно связана с судьбами его носителей, то есть с судьбами говорящих им индивидуумов, с судьбами народа» [Там же, I: 69]. Она отражает географическое и этнографическое распространение языка, сословную принадлежность его носителей и их количество, использование языка с разными целями в общественной жизни внутри данного племени или народа, а также в жизни международной и межгосударственной, в частности употребление данного языка в качестве литературного, в том числе и за своими собственными пределами — пространственными и временными [Там же, I: 69; II: 295]. Кроме того, «в состав внешней истории языка входит, с одной стороны, распадение языка на несколько разновидностей, с другой — смешение языков, их взаимное влияние и управление (исчезновение различий между ними)» [Там же, II: 90]. Короче, внешняя история языка — «это, следовательно, история данного племени и народа, рассматриваемого с точки зрения общности языкового мышления». Такую историю языка Бодуэн считает скорее предметом исследований этнологов и историков [Там же, II: 295]. Он выводит ее за пределы чистого языковедения в прикладное на правах приложения систематики к этнографии и этнологии [Там же, I: 69].

«Для внутренней... истории языка материалом служит сам язык как предмет исследования» [Там же, I: 45]. Она «слагается из эволюции языковых представлений» [Там же, II: 90].

В предложенной Бодуэном программе изучения внутренней истории языка отчетливо виден системный подход. «Совершенная, идеальная история языка, — как полагает Бодуэн, — должна бы дать сначала обстоятельную историю каждого

в отдельности элемента, каждой в отдельности составной части, каждой стороны языковой жизни. Только после такого аналитического освещения следовало бы попытаться синтезировать эти отдельные части, представить их в их взаимной связи» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 295]. Последнее означает, что, в отличие от Соссюра, Бодуэн не исключает системности языковых изменений. Если отдельные элементы изменяются «в их взаимной связи», следовательно, изменения касаются системы в целом.

Далее. Хотя внутренняя история языка «обращает внимание на перемены, происходящие внутри его же самого», она должна изучаться, «не отвлекая его неестественным образом от его носителей, от людей, а, напротив того, понимая его всегда в связи с физической и психической организацией говорящего им народа». Но и этого мало. Внутренняя история не может быть оторвана от внешней. «Внешняя и внутренняя история языка... влияют взаимно друг на друга. Влияние внешней на внутреннюю кажется сильнее, чем наоборот»; от нее «зависит ускорение или замедление и своеобразие внутреннего развития языка» [Там же, I: 69].

5.3.1. Внешняя история

Взаимодействие языков. Их расщепление и смешение. Поскольку язык по природе своей — явление не только психическое, но и общественное, то «распад языков и их смешение можно и должно рассматривать только в связи с историей взаимодействующих между собой человеческих коллективов» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 343]. Бодуэн считает ошибочной укоренившуюся привычку «рассматривать языки как особые существа, как “живые организмы”, в отрыве от людей. Только при таком ошибочном подходе могли возникнуть “генеалогические древа” родственных языков (Stammbaumtheorie) и “теория волн” (Wellentheorie)» [Там же, II: 342–343].

Рассматривая взаимодействие языков в связи с взаимодействием человеческих коллективов, Бодуэн выступает против одностороннего сведения наблюдаемых при этом процессов исключительно к дифференциации, поскольку «этот, так сказать, центробежный процесс постоянно чередовался с развитием в противоположном направлении» [Там же, I: 128]. Следовательно, «не может быть речи об одностороннем расщеплении какого-то однородного “Ursprache”, как бы одного ствола дерева, на несколько частей, которые в свою очередь подвергаются новому распаду или расщеплению. Ясно, что расщепление происходит постоянно, беспрерывно. Но, с другой стороны, происходит постоянное смешение, слияние, укрупнение, амальгамирование, уменьшение разнообразия» [Там же, II: 349–350]. На первый план Бодуэн, так же как Г. Шухардт и Г. И. Асколи, выдвигает смешение языков, считая его, возможно, не без влияния Пауля (ср.: [Пауль 1960: 459]), «постоянно повторяющимся и неизбежным процессом языковой жизни и постоянного взаимодействия как между индивидами, так и между целыми языковыми коллективами» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 348].

Смешение языков Бодуэн трактует очень широко, понимая под ним «их взаимодействие и влияние друг на друга» «путем языкового общения и в отдельных человеческих головах» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 276]. Смешение языков в процессе языкового общения означает, по Бодуэну, «воздействие друг на друга говорящих людей — как вообще в области языковых представлений, так и, в частности, в области психофонетических представлений, а также в сфере автоматизированных навыков — как произносительных или исполнительных, так и слуховых или рецептивных» [Там же, II: 199]. К смешению языков Бодуэн относит и взаимодействие индивидуальных «языков» (имеются в виду функциональные стили) в мозгу индивида, и взаимное влияние друг на друга членов семьи, лиц одной профессии и т. п., и взаимные влияния членов разных этнических и национальных коллективов, и влияние друг на друга разных поколений [Там же, II: 199–200].

Смешение племенных и национальных языков происходит путем устного общения соседствующих народов, под влиянием современной и культивируемой древней письменности, культуры и образования, церкви и церковного языка [Там же, II: 92], в ходе кочевой жизни, войн, торговли, научного обмена [Там же, I: 364]. Вследствие всех этих влияний происходит скрещивание и смешение языков в порядке географическом и территориальном, с одной стороны, и хронологическом — с другой [Там же, I: 365]. В результате оказывается, что «все существующие и когда-либо существовавшие языки произошли путем смешения» [Там же, I: 348].

«Это смешение может быть разных степеней, начиная с минимума, т. е. с соприкосновения к другим племенам без всякого видимого следа в собственном языке, и кончая максимумом, т. е. языковую денационализацией, принятием чужого языка вместо своего прежнего. Между этими двумя крайностями стоят смешанные языки, с перевесом на стороне то того, то другого языка, или с равным, одинаковым участием обоих источников во вновь образовавшейся языковой смеси» [Там же, II: 91]. Такковы, например, языки, происходящие из смешения китайского языка с европейскими: русско-китайский (кяхтинский, маймачинский), португальско-китайский, английско-китайский [Там же, II: 92].

Влияние смешения языков на их внутреннюю структуру проявляется в двух направлениях. Одно из них состоит в заимствовании чужих языковых элементов: знаменательных слов, синтаксических оборотов, морфем (например, суффиксов) и звуков [Там же, I: 366; II: 93]. Другое выражается в ослаблении степени и силы различаемости, свойственной отдельным частям данного языка. Еще Я. Grimm заметил, что соприкосновение языков (диалектов) способствует их взаимному упрощению [Grimm 1964a: 57]. Бодуэн, анализируя последствия смешения языков, обратил внимание на то, что прежде всего «при этом процессе пропадают тонкости и мелкие различия языка более трудного, недоступные для представителей другого племени» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 93]. «При его содействии происходит гораздо быстрее упрощение и смешение форм, устранение нерациональных различий, действие уподобления одних форм другим (действие “аналогии”), потеря флексивного склонения и замена его сочетанием однообразных форм с предлогами, потеря

флективного спряжения и замена его сложением однообразных форм с представлениями местоименного происхождения и вообще с разными вспомогательными частицами, потеря морфологически подвижного ударения и т. д.

При столкновении и взаимном влиянии двух языков, смешивающихся “естественным образом”, победа остается в отдельных случаях за тем языком, в котором больше простоты и определенности. Переживают более легкие и ясные в своем составе формы, исчезают же более трудные и нерациональные. Итак, если смешиваются два языка, в одном из которых существуют родовые различия, в другом же этих различий не имеется, то всегда в языке, остающемся как результат смешения, произойдет или полное исчезновение, или же по крайней мере ослабление этих родовых различий» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 366].

В результате указанных изменений «при смешении языков язык, вновь образующийся, является сложною равнодействующею, своими составными частями наклоняющеюся в сторону более легких особенностей обоих языков» [Там же, II: 93].

«То же самое относится и к перевесу двух смежных языков в “борьбе за существование”: победа остается за языком, легче усваиваемым и требующим меньшей затраты энергии, как физиологической, так и психической. Так, например, в местностях, где румыны живут бок о бок с немцами или славянами, языком преобладающим, языком междуплеменного общения является язык румынский; и это понятно, так как язык румынский легче усваивается немцами и славянами, нежели наоборот» [Там же, I: 367].

5.3.2. Внутренняя история

Причины и основные закономерности языковых изменений. Бодуэн рассматривает движение как форму существования языка: «Нет неподвижности в языке. ...В языке, как и вообще в природе, всё живет, всё движется, всё изменяется. Спокойствие, остановка, застой — явление кажущееся; это частный случай движения при условии минимальных изменений. Статика языка есть только частный случай его динамики или скорее кинематики» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 349].

Изменения языка постоянны и бесконечны. «...Они одинаково повторяются в разные времена и в разных местах совершенно независимо друг от друга, в зависимости только от постоянной одинаковости психического и физического склада всех людей, а также от случайного сходства условий, влияющих на развитие языка» [Там же, I: 248].

«Эти изменения постоянны и вечны, потому что причины, их вызывающие, являются постоянными и вечными» [Там же, I: 249]. Однако законы причинности, которым подчиняются языковые изменения, — это не общие звуковые законы, «равно общие, постоянные и неизменные, как законы физические или химические» [Там же, I: 196]. Нет, «таковых в языке не существует» [Там же, II: 94], а их «открытие» следует отнести за счет «недостаточного понимания природы языка,

трактовки языка в оторванности от человека» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 196]. «“Звуковые законы” были бы возможны», по мнению Бодуэна, «только при непризнании множества индивидуальностей, коллективности, социальной жизни, обмена языковым мышлением между индивидами, при непризнании социологии применительно к языковой жизни» [Там же, II: 329–330]. Поскольку же язык — психосоциальное явление, то «исторические изменения в народном и племенном языке происходят также в психической сфере» [Там же, II: 61] и «осуществляются посредством общения между индивидуумами» [Там же, II: 206]. Поэтому, как и язык вообще, языковые изменения подчиняются законам психическим и социальным [Там же, I: 169], причем они не лежат на поверхности. «Действительные “законы”, законы причинности, скрыты в глубине, в запутанном узле самых различных элементов» [Там же, II: 208].

К общим причинам, общим факторам, которые вызывают развитие языка и обуславливают его строй и состав, с точки зрения Бодуэна, относятся такие силы психического свойства, как «1) привычка, т. е. бессознательная память, 2) стремление к удобству, 3) бессознательное забвение и непонимание, 4) бессознательное обобщение или аперцепция, 5) бессознательная абстракция, стремление к разделению, к дифференцировке» [Там же, I: 102; подробнее: Там же, I: 58]. На первый план Бодуэн ставит стремление к удобству, причем он специально подчеркивает неосознанный характер этого стремления и недопустимость телеологического объяснения языковых изменений. В частности, «упрощение языковых форм, наличие в языке однородных типов, большее соответствие формы и содержания, слов и мыслей осуществляется не в результате стремления к заранее намеченной цели, а только для облегчения процесса речи, как простое подсознательное мнемотехническое средство, как стремление к устранению излишней работы. Таким образом, здесь действуют простые эгоистические и альтруистические побуждения, стремление к облегчению, с одной стороны, умственного развития индивидуума, а с другой — общественной жизни» [Там же, I: 196–197]. Точно так же «все языковые изменения, которые можно определить как постепенное человечение языка (см. ниже. — Л. З.), происходят не планомерно, не как результат стремления к заранее поставленной цели, но как необходимое следствие присущего всем существам, наделенным речью, стремления к облегчению во всех трех направлениях, которые можно усмотреть в процессе говорения»: в фонации, аудии и церебрации. «По всем этим направлениям постепенно устраняется, постепенно отбрасывается всё неясное, неопределенное, ненужное» [Там же, I: 263].

«Само церебрационное существование языка (как психического явления. — Л. З.) служит причиной изменений, так как связано с кумуляцией, с постепенным усилением ощущений и зависимых от них представлений» [Там же, II: 61]. Дело в том, что, согласно Бодуэну, однородные языковые представления неодинаковы по интенсивности [Там же, II: 62–63]. В этом отношении язык аналогичен природе. «В природе мы констатируем противопоставление определенных точек, пунктов, обладающих в том или ином смысле особенной энергией, и целых масс,

действующих только своей массой, инертных. <...> Нечто подобное мы встречаем также в языковом мышлении и в его эволюциях» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 322]. Развивая это положение, Бодуэн показывает, что язык не является системой равновесных элементов. «Во всех составных частях языка, — замечает ученый, — мы можем констатировать места более сильные и более слабые» [Там же, II: 61].

Наличие в языке сильных и слабых, более существенных и менее существенных элементов [Там же, II: 340], существование «различий, основанных на степени напряжения и силы воздействия в группах и рядах» (т. е. в парадигматике и синтагматике. — Л. З.) [Там же, II: 319], отражает «постоянную «борьбу» между двумя противоположными тенденциями: между прогрессивным стремлением к упрощению, облегчению и ликвидации ненужных работ и между консервативной защитной силой, стремящейся подчеркнуть необходимые психофонетические элементы также и физически» [Там же, II: 339].

В истории языка наряду с постоянной изменчивостью постоянно наблюдается и известный консерватизм. Например, в фонетике, «с одной стороны, налицо повторение тех же произносительных и слуховых комбинаций...; с другой стороны, рождение новых комбинаций». Их соотношение зависит «1) от произносительно-слухового состава фонем, то есть от различного группирования кинем и акусм в фонемах; 2) от слабой устойчивости артикуляционной базы; 3) от той или иной степени морфологизации и семасиологизации» [Там же, II: 201].

Задатки изменений звуков в определенном направлении обусловлены уже их физическими (физиологическими) свойствами, самой структурой соответствующих фонем. Эта зависимость имеет место не только в случае спонтанных изменений фонем, но и тогда, когда «данная фонема обязана началом своих эволюций влиянию фонетического соседства и связи с другими фонемами того же слова или даже предложения»: «как только данная фонема изменяет свою природу благодаря внешним влияниям, она становится другой и затем ужé, как фонема, измененная и усложненная новыми элементами, вошедшими в ее структуру, начинает изменяться в определенном направлении чисто спонтанно, сама по себе, независимо от какого бы то ни было влияния соседства или окружения» [Там же, I: 361].

Звуки языка различаются по степени относительной сложности, определенности, внятности, и это сказывается на их силе / слабости и восприимчивости к историческим изменениям. «Чем труднее и сложнее произношение определенного момента в фонетическом ряду, чем большей работы мускулов требует оно, тем сильнее будет стремление к замене этой работы работой более легкой и простой. К этому же должна привести неопределенность и неясность произношения, требующая большего напряжения внимания, большей работы восприятия» [Там же, I: 188]. Поэтому, «например, заднеязычные (*k, g...*) и среднеязычные (*t', d', s'...*) легче подвергаются изменениям, чем фонемы чисто переднеязычные (*t, n*) или губные (*p, m...*)» [Там же, I: 359].

Так как в самой природе звуков заложены «зародыши их относительного постоянства или изменчивости», «одни звуки меняются очень быстро, другие же

в течение доступной нам истории языков остаются почти неизменяемыми» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 187]. А это значит, что, вопреки Соссюру [Соссюр 1977: 184], «переменяемости звуков положен известный предел» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 84, 89]. Не исключено, что предел этот разнится от языка к языку, ибо, по Бодуэну, относительная легкость или трудность звуков — категория этнологическая. Он говорит об относительной легкости или трудности звуков «для известного народа» [Там же, I: 83].

Предел переменяемости звуков связан не только с их физическими свойствами. В развитии языка, и в том числе в звуковых переменных, «постоянно скрешиваются друг с другом и действуют вместе» два фактора — чисто физический (физиологический) и психически-физиологический (морфологический) [Там же, I: 82], т. е. структурный.

В отличие от младограмматиков и Соссюра, Бодуэн твердо стоит на той точке зрения, что изменения языка исходят из системы и имеют своим следствием ее изменения. К этому выводу он пришел уже в 1871 г.: «Механизм языка и вообще его строй и состав в данное время представляют результаты всей предшествовавшей ему истории, всего предшествовавшего ему развития, и наоборот, этим механизмом в известное время обуславливается дальнейшее развитие языка» [Там же, I: 68]. В частности, одной из причин звуковых изменений может быть «перевес психических отношений звуков над их физической стороной» [Там же, I: 82]. Свидетельством тому служит возможность «различного развития в разных языках, развития в различные стороны одного и того же звука в связи с разнообразием всего звукового устройства данного языка» [Там же, I: 195], т. е. вследствие различий в «скале звуков» и «сообразно с отношениями к другим звукам» [Там же, I: 90]. Например, «немецкое S потому могло развиваться в R, что вся немецкая звуковая система была тогда совершенно отличной от славянской системы, в которой S такому изменению не подвергалось» [Там же, I: 195].

Характеристика исторического процесса развития звуков, как указывает Бодуэн, предполагает определение того, «в каком направлении развились отдельные категории звуков и вся звуковая система в целом» (выделено мною. — Л. З.) [Там же, I: 133]. Эта установка существенно отличает позицию Бодуэна от практики младограмматиков и теоретических постулатов Соссюра.

В противоположность Соссюру, признававшему лишь изолированные, случайные изменения отдельных элементов независимо от их системных связей, Бодуэн видит в истории языка, так же как в истории общества, «постоянно обновляющуюся группировку по противопоставлениям и различиям, получающим на некоторое время доминирующее положение в языковом мышлении. Так, например, в области фонетических представлений современному польскому языковому мышлению свойственно усиление (морфологизирование, семасиологизирование и т. п.) различий, основанных на различии представлений действий средней части языка по отношению к нёбу (при согласных), а также на различии представлений положений всей ротовой полости (при гласных). В прежние эпохи языковой жизни на первый

план выступали различия и противопоставления других фонетических представлений: работа голосовых связок гортани, аспирация (придыхание) и неаспирация (непридыхание), локализация работы органов ротовой полости и т. д.» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 173–174].

Исключительно важен и тот замеченный Бодуэном факт, что изменения, касающиеся частных систем языка, не являются автономными. Поэтому «перевес психических отношений звуков над их физической стороной», помимо связей внутри звуковой системы, может быть обусловлен функционально — «психическим ударением, или акцентом», т. е. «большей или меньшей *функциональной важностью* (выделено мною. — Л. З.) произносительно-слуховых элементов, входящих в состав морфем» [Там же, II: 306], или, иначе, относительной психической важностью фонем для морфологических и семасиологических ассоциаций. По мысли Бодуэна, «присутствие “психического ударения” делает данную фонему устойчивой в ее фонационных проявлениях; при отсутствии же “психического ударения” выразительность фонемы всё более слабеет и, переходя через ступень фонационной факультативности, т. е. единственно возможности, но не необходимости произношения, доходит со временем и в психическом церебрационном мире до полного нуля, исчезает» [Там же, II: 40–41].

Интенсивность психического акцента определяется, таким образом, степенью морфологизации и семасиологизации произносительно-слуховых элементов. Поэтому и «относительная способность кажущихся одинаковыми фонем противостоять количественным и даже качественным изменениям зависит от степени их относительной семасиологизации и морфологизации» [Там же, II: 339] и связанной с ними социализации. «Фонемы, элементы которых слабо морфологизованы и семасиологизованы, при манифестации языковых представлений мобилизуются слабо и в дальнейшем, при передаче языка от одного индивидуума к другому, полностью исчезают. И наоборот, фонемы, которые на первый взгляд кажутся такими же, но у которых некоторые входящие в их состав элементы морфологизованы и семасиологизованы более сильно, имеют большую социальную ценность и сохраняются в течение долгого времени в устойчивом состоянии» [Там же, II: 198]. Например, в польском языке «гласные фонемы на конце слов, пока они играют роль особых морфем или в каком-то другом отношении важны для целостности морфемы, остаются без изменения, но уступают место фонетическому нулю, как только их морфологическая ценность слабеет». В частности, «*o* сохраняется как окончание в *ciał-o*, *wiek-o*, *copyt-o...*, *góg-o*, *żon-o*, *ziemi-o...*, но исчезло в наречиях *tamo*, *jako*, *tako...*, которые сократились исторически в *tam*, *jak*, *tak...*» [Там же, II: 306].

«Семасиологизация и морфологизация поддерживают различие фонем в истории племенного языка» [Там же, II: 328] и тем самым обеспечивают относительную устойчивость звуковой системы. В то же время «благодаря разной степени морфологизации одни морфемы становятся более сильными, стойкими, а другие — более слабыми и легко исчезающими. ...Морфологическая и семантическая девальвация морфем, входивших некогда в состав слов как их живые

и самостоятельные элементы» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 321], забвение или непонимание коренной связи слов, потеря чутья их делимости, потеря знаменательности слов приводят к постепенной потере определенности звуков, всё большей и большей их безразличности и смешению [Там же, I: 86], благоприятствуют фонетическим сокращениям и перерождениям (ср. делимое лат. *ad-voc-a-t-us* и неделимое франц. *avoüé*) [Там же, II: 94]. Например, при изменении интервокального глухого согласного в звонкий «проявлению подобного уподобляющего влияния (гласных. — Л. З.) значительно способствует “аналитическое” или децентрализованное строение слов, т. е. строение, которому свойственны слова сросшиеся, с исчезнувшим чутьем границ между морфемами» [Там же, II: 38].

Установленная Бодуэном зависимость фонетических изменений от морфологизации фонем, от морфологического строения и степени знаменательности слов как нельзя лучше подтверждает не только связь между двумя членениями «текущего языка», но и зависимость фонетического членения от семасиологически-морфологического.

Однако благодаря действию общих стремлений, обуславливающих своеобразное развитие всего механизма языка, его строй и состав, эта зависимость не является односторонней. «Психофонетические различия и отождествления влияют на системы морфологических типов» [Там же, II: 330]. В частности, «“морфологизация” различий произносительно-слуховых элементов сказывается в существовании различных морфологических типов (склонения, спряжения, “словообразования”...)» [Там же, II: 218]. Дело в том, что постоянные отношения между рядами фонем, складывающиеся на основе морфологических (и синтаксических) чередований, в свою очередь, отражаются на распределении и упорядочении морфологических типов. Фонетические различия используются для поддержки морфологических различий, а «морфологизация фонетических представлений перекрещивается с морфологизацией семасиологических представлений» [Там же, II: 170]. В соответствии с фонетическими различиями формируются новые группировки морфологических представлений [Там же, II: 168–170].

Таким образом, в исторических изменениях оказываются связаны все стороны языка.

Соотнесенность фонетической и морфологической сторон в процессе языковых изменений может выразиться также в своеобразном уравнивании сходных различий. Например, в истории польского языка «в произносительно-слуховой, или фонетической, области количественное мышление слабеет; зато в области морфологии растет и усиливается» [Там же, II: 304]. С одной стороны, утрачено различие гласных и слогов по длительности, не используются в целях морфологизации интонация и ударение, а с другой — растет число нулевых морфем, возникает особое склонение числительных, усиливаются различия количественного характера в области глагола [Там же, II: 304–305].

Действующий в фонетических изменениях критерий простоты / сложности, определенности / неопределенности применим и к морфологии. Не случайно

«структура языков, в которых показатели связей между словами — как групповых связей (родственные слова, образующие семьи, связанные общностью либо корней, либо суффиксов), так и связей данного ряда (в составе предложения) — требуют сосредоточения подсознательного или даже сознательного внимания только на одном месте (начало слова, конец слова), является значительно более крепкой и устойчивой, чем структура, требующая распыления внимания на разных местах: после основы, перед основой и в середине основы (например, *stól* — *stól-u* — *ze stól-u* — *na stól-e...*). Отсюда, с точки зрения трезвости языкового мышления и с точки зрения защитного языкового консерватизма, вытекает преимущество чистой агглютинации, например, урало-алтайских языков над словоизменением ариоевропейских и семитских языков» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 320]. Как видно из сказанного, преимущество это связано с выражением парадигматических и синтагматических отношений (в группах и рядах).

Противопоставление сильных и слабых мест в системе языка находит отчетливое выражение в явлениях морфологической ассимиляции, или аналогии, под влиянием форм, обнаруживающих либо превосходство большинства над меньшинством, либо превосходство «сильно морфологизованных единиц над массой рядовых явлений», либо морфологическое достоинство главной формы как на синтаксической основе (например в парадигме склонения превосходство формы, обозначающей субъект и прямой объект в предложении), так и при назывании мысленного объекта — и в повседневной жизни, и в словарях [Там же, II: 322]. «...Укрепление некоторых типов вследствие их распространения на большое количество слов данной грамматической категории увеличивает их, этих типов, аттракционную силу, силу ассимиляции, и способствует всё большему подчинению этими типами слабых, пережиточных типов, не оправданных с точки зрения господствующих в данный момент типов и систем языкового мышления» [Там же, II: 323].

Известно, однако, что не все пережиточные формы подвергаются аналогическому выравниванию. Так, весьма устойчивы своеобразные парадигмы склонения личных местоимений. Как и Пауль, Бодуэн полагает, что «устойчивой силой, сохраняющей некоторые формы-“исключения”, т. е. пережиточные по отношению к господствующим в данную эпоху языковой жизни типам, является частота их появления на поверхности подсознания и сознания» [Там же, II: 323].

Наконец, «значение напряжения и интенсивности некоторых элементов языкового мышления выступает наиболее выразительно в области семантики», в ассоциациях внеязыковых представлений с языковыми [Там же].

Итак, в процессе языковых изменений действует одна общая закономерность: «сильные места становятся всё более сильными, а места слабые — всё более ослабевают, так что различие между ними постоянно растет. Происходит это во всех направлениях: в направлении произношения, в направлении фонетического и психического подчеркивания слов, в направлении структуры слов, в направлении различной интенсивности психической ассимиляции слов, т. е. влияния так

называемой аналогии, в направлении семантических ассоциаций и т. д.» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 61–62].

Большую роль в этой дифференциации сильных и слабых мест Бодуэн отводит социальному фактору. «...Взаимное общение индивидов, составляющих данный языковой коллектив, значительно увеличивает разницу интенсивности отдельных однородных представлений.

Произносительная работа, вызванная более сильными представлениями, является источником более сильных ощущений и вызывает у слушающих индивидов представления исключительной интенсивности. Зато произносительная работа, вызванная более слабыми, тусклыми представлениями, становится источником и более слабых, чрезвычайно слабых ощущений, а иногда даже не вызывает никаких ощущений; такая слабость отнюдь не способствует возникновению соответствующих представлений в мозгу слушающих и воспринимающих индивидов» [Там же, II: 63]. Результаты односторонней кумуляции языковых ощущений лучше всего видны в языке детей (см. в конце 5.1).

Темпы языковых изменений, колебания в строе языков. Бодуэн постулирует «развитие языка по отдельным толчкам, медленно, без внезапных скачков» [Там же, I: 102]. Подобно своим предшественникам, он признает в истории языка лишь «незаметный переход одного состояния в другое, незаметное развитие, незаметное влияние медленно, но основательно действующих сил»; «бесконечно малое изменение, произведенное в один момент, повторившись бесконечное число раз, дает наконец известную заметную определенную перемену» [Там же, I: 67]. Значительную роль в этом процессе Бодуэн, как и Пауль, отводит детской речи. Именно «основные тенденции детского языка, аккумулируясь в течение многих поколений, ведут в конечном итоге к историческим изменениям в языке данной этнической группы» [Там же, II: 200].

Так как «изменения коллективных языков, происходящие во времени, охватывают, разумеется, все стороны языковой жизни, языкового мышления» — произносительно-слуховую, морфологическую, синтаксическую [Там же, II: 350], «строй языка постепенно изменяется» [Там же, II: 94].

Однако Бодуэн считает предвзятой идею Шлейхера, будто изолирующий тип развился в агглютинирующий, а последний — во флектирующий. Это предположение об исторической последовательности языковых морфологических типов он объявляет «более чем сомнительным» [Там же, II: 178]. В своей критике Бодуэн руководствуется диалектически понятыми идеями эволюционизма.

«...Настоящая эволюционная теория, — утверждает ученый, — допускает не только прогрессивное движение, не только движение по направлению ко всё более совершенным формам, но тоже движение регрессивное, от форм более совершенных к формам менее совершенным. Ходячая же лингвистическая теория о постепенности в развитии языковых форм видит перед собою только совершенствование, т. е. переход от самой несовершенной “изоляции” через более совершенную “агглютинацию” к самой совершенной “флексии”» [Там же, II: 179].

Между тем, «рассматривая языки на протяжении многих тысячелетий, мы констатируем постоянные, хотя и медленные, колебания строя слов (морфологические осцилляции)». «“Агглютинация” переходит во “флексию”, “флексия” перерождается в “агглютинацию” другого рода, та опять в другую “флексию”, и так далее, без конца» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 94]. «...Централизованное (синтетическое. — Л. 3.) строение слов постепенно уступает место строению децентрализованному (аналитическому. — Л. 3.); децентрализованные слова срastaются, следует новая централизация, вызывающая затем новую децентрализацию, и так далее, без конца» [Там же, II: 113–114]. «Чисто суффиксальная структура переходит в структуру со слабеющей суффиксальностью и со вспомогательными префиксальными показателями, а эта последняя — в чисто префиксальную структуру, которая в свою очередь также ослабевает, и языковое мышление обращается к помощи суффиксов. Суффиксальная структура переходит в смешанную, та — в префиксальную, префиксальная в смешанную, смешанная в суффиксальную, и т. д. ...В результате получается нечто вроде колебания, вибрации, вечная эволюция языков, напоминающая прилив и отлив моря» [Там же, II: 352].

Эти колебания не являются вполне равномерными. Существует «большая или меньшая переменяемость языка сообразно с географическими, историческими и этнографическо-антропологическими условиями» [Там же, I: 102]. В частности, «ускорению... перехода морфологической стороны языка из состояния “синтетического” или централизованного в состояние “аналитическое” или децентрализованное способствует в значительной мере этнографическое смешение с каким-нибудь другим племенем» [Там же, II: 29].

В свою очередь и морфологический строй данного языкового состояния также влияет на скорость «перехода». Так, «не подлежит сомнению, что в известных группах языков (прежде всего в ариоевропейском семействе) темп исторических эволюций морфологического строя был гораздо быстрее, нежели темп исторических эволюций морфологического строя других групп» [Там же, II: 114]. То же явствует из сопоставления языков разных семей. Например, туранские языки в сравнении с ариоевропейскими более консервативны. «С исторической точки зрения, с точки зрения развития, — считает Бодуэн, — все ариоевропейские языки обречены, вследствие своего строения, на переход из синтетического состояния в состояние аналитическое; между тем как консервативные туранские языки предохранены от подобного изменения своего строя: они, вследствие своей агглютинации, с самого начала являются “аналитическими” и обладают средствами заменять суффиксы, потерявшие свою знаменательность, новыми вполне живучими и содержательными суффиксами. В ариоевропейских языках, подвергавшихся сильным звуковым изменениям и сокращениям, можно до поры до времени спасти синтетическое строение при содействии аналогии и т. п. сил, но, наконец, все подобные средства исчерпываются и наступает окончательный переход в аналитическое состояние» [Там же, I: 105].

Темп фонетических изменений, по наблюдениям Бодуэна, также зависит от морфологического строя. В частности, им отмечены «гораздо более быстрые

изменения и фонетическая «порча» в языках аналитических, нежели в синтетических. Прозрачность языков синтетических, слова которых чувствуются не только единично, но и в своем морфологическом составе. Напротив того, слова языков аналитических не защищены от изменений живым чутьем своего состава и подвержены действию одних только звуковых законов. Взаимное непонимание племен, говорящих на близкородственных аналитических говорах, в противоположность взаимной понятности языков синтетических, генетическое расстояние между которыми гораздо больше. С одной стороны, например, зенд и санскрит; с другой же, говор миланский и неаполитанский» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 106].

Неравномерность свойственна также внутриязыковым изменениям. «Как и вообще в индивидуальной и в общественной жизни, не все стороны языковой жизни в исторической последовательности идут в ногу, *pari passu*. Некоторые идут равномерно, в ногу, другие опаздывают, а третьи опережают общее шествие. Благодаря этому в каждом языковом состоянии мы констатируем пережитки и признаки будущего» [Там же, II: 308]. В частности, Бодуэн замечает, что среди единиц определенного «уровня» одни изменяются быстрее, другие — медленнее. Например, «не все фонемы и ряды фонем изменяются с одинаковой быстротой и силой» [Там же, I: 360].

Общее направление языковых изменений. Эволюционные изменения языка, несмотря на указанные колебания языкового строя, не исключают, по мысли Бодуэна, движения в определенном направлении. «Жизнь слов и предложений языка можно бы сравнить с *perpetuum mobile*, состоящим из весов, беспрестанно осциллирующих (колеблющихся), но вместе с тем подвигающихся беспрестанно в известном направлении» [Там же, I: 349]. Это направление Бодуэн связывает с «объективным прогрессом человека как одного из звеньев природы», а раз так, то оно имеет универсальный характер. Отсюда понятно, почему и «в области языка, помимо всех исторических случайностей, некоторые течения вершатся во всем человечестве на один лад» [Там же, II: 128]. Прогресс человека влечет за собой прогресс его языка. Этот прогресс совершается «под общим углом зрения постоянного, постепенного человечения языка» [Там же, I: 264] и касается в первую очередь тех двух основных его свойств, которые, начиная с Демокрита и кончая Гумбольдтом и Потебней, определялись как общечеловеческие, а именно — членораздельности и символичности.

Прогресс языка в отношении членораздельности обеспечивается путем передвижения артикуляции вперед и вверх, прогресс в плане символичности — посредством углубления абстракции. «...Постепенное передвижение речевой деятельности снизу вверх и сзади вперед является одной из внешних черт постоянно прогрессирующего человечения речи, в то время как внутренней чертой этого прогресса является всё более растущая абстрактность языка» [Там же, I: 236]. «Если кое-где и можно заметить шаг назад, т. е. возвращение от абстрактности к конкретности, то общий результат этой осцилляции — постепенный прогресс, ведущий ко всё большему одухотворению языка» [Там же, I: 262].

Бодуэн задумывается и над тем, существует ли прогресс в способе связи звуковой стороны с психическим содержанием, но вынужден отказаться «от формулирования соответствующего общего положения» ввиду отсутствия достаточного материала, чтобы и в исторических осцилляциях морфологической стороны «констатировать продолжающееся движение в определенном направлении» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 263].

Человечение звуковой стороны языка Бодуэн усматривает во все большей противоположности полости гортани и полости рта, а в последней — органов задних (задней и средней части языка) и передних (передней части языка и губ). Это проявляется в целом ряде историко-фонетических процессов.

Усиление функциональной нагрузки полости рта за счет ослабления роли гортани выражается в сокращении числа произносительных различий, достигаемых работами гортани, в частности в результате устранения сжатия и взрыва голосовых связок при образовании согласных; ослабления аспирации и исчезновения противопоставления придыхательных согласных непридыхательным; постепенного уменьшения богатства акцентуации и интонации (тональных характеристик) гласных; замены временно-количественных отношений между гласными качественными, появления новых гласных, различающихся по форме полости рта, по степени напряжения и сгущения мускульной массы языка [Там же, II: 120–121].

Постепенное повышение звукообразующей активности передних органов ротовой полости за счет задних обнаруживается, в частности, в замене *j* переднеязычными согласными, в палатализации и огублении заднеязычных, в сохранении, как правило, лишь одного из трех рядов заднеязычных согласных при замене двух остальных губными и переднеязычными.

Названное изменение в соотношении нижних и верхних, задних и передних работ может осуществляться по-разному: в результате *замещения* гортанных артикуляций ротовыми, задних передними; вследствие *исчезновения* нижних или задних действий и соответствующей различаемости; в силу *возникновения* новых действий и новой различаемости в верхней и передней части речевого аппарата. При сохранении той же различаемости может измениться статистическое соотношение указанных работ [Там же, II: 125]. По мере развития фонационной работоспособности верхних и передних органов возрастает различаемость в этих частях произносительного аппарата.

За всеми этими процессами Бодуэн видит стремление к разграничению сильных и слабых мест, к экономии работ и облегчению языкового общения. «Ослабление как работоспособности органов нижних и задних, так и психической различаемости по отношению к ним объясняется относительно неопределенностью и шаткостью всего того, что в них происходит и до них касается. Усиление же как работоспособности органов верхних и передних, так и относящейся к ним психической различаемости объясняется свойственной им определенностью, ясностью и выразительностью» [Там же, II: 126]. Значение относительной ясности,

определенности и выразительности обуславливается необходимостью передачи произносимого и слышимого от одних индивидов к другим [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 126–127]. С одной стороны, «легче и выразительнее можно действовать органами полости рта, нежели гортанью с ее голосовыми связками, легче и выразительнее действовать губами и, в частности, передней частью языка, чем несравненно менее определенной пространственно задней частью языка». С другой стороны, и «наше ухо имеет ту особенность, что ему несравненно легче отличать звуки человеческой речи, образующиеся в полости рта, чем входящие в состав человеческой речи акустические продукты деятельности голосовых связок и гортани вообще, и что значительно легче оно отличает в полости рта то, что образуется благодаря действию губ и передней части языка, нежели то, что обязано своим происхождением артикуляциям широкой и неопределенной задней и средней части языка» [Там же, I: 236]. Вот почему, несмотря на возможные частные отклонения, «равнодействующая общего исторического хода идет всегда и везде в указанном направлении» [Там же, II: 124].

Человечение внутренней стороны языка, подсознательное стремление к облегчению речевой деятельности в самом речевом центре, к сбережению работы памяти обнаруживается в устранении расхождений, нарушающих *соответствие содержания и формы*. В осуществлении такого соответствия Бодуэн видит принцип, обуславливающий как языковое состояние, так и его изменение. «Нервному центру, мозгу в отношении языка свойственна способность осуществления симметрии, гармонии между содержанием и формой, следовательно, сближения по форме того, что является близким по содержанию и, наоборот, сближения по содержанию того, что является близким по форме, а также различие в форме того, что является разным по содержанию и, наоборот, различие в содержании того, что является разным по форме. В этом и заключается обусловленность языкового состояния, а также повод к языковым изменениям» [Там же, I: 226].

Побуждениями к языковым изменениям и облегчению работ в области языкового мышления являются: 1) излишество одних форм и нехватка других для выражения духовных потребностей вследствие случайности накопления запаса языковых форм; 2) изолированность, разобщение, забвение связей, чему способствует опосредствованность развития (в процессе общения не весь запас представлений и их связей переходит от одного индивида к другому); 3) стремление мышления к абстракции [Там же, I: 226–227].

Стремление к экономии работы центрального мозга, и в частности стремление к гармонии между формой и содержанием, к упрощению и единообразию формальных типов и пропорциональности отношений, к устранению нерациональных формальных различий, не оправдываемых ассоциацией с представлениями различий значения, выражается в аналогическом выравнивании форм (например путем замены нескольких окончаний с тем же значением одним), в установлении единообразия типов склонения, спряжения, словообразования (в том числе в результате ликвидации фонетического различия одинаковых по значению основ), в устранении из языка

грамматических родов [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 243–247; II: 156]. Последнее Бодуэн считает «великим логическим прогрессом» [Там же, I: 246].

«В области синтаксиса проявление этого стремления к облегчению в языковом центре нужно видеть во всех показателях общности слов, взаимосвязанных друг с другом и представляющих собою в каком-либо отношении одно целое. Только из этого источника происходит склонение прилагательных, выражение числа и рода в формах глагола и т. д.

Точно так же только для облегчения внимания, для облегчения понимания связи между словами образовались предлоги как более точное определение падежных отношений» [Там же, I: 240].

В стремлении к облегчению работ, касающихся значения слов, Бодуэн выделяет два мощных течения. «Течение, проявляющееся в иносказаниях, в метафорах, в “народной этимологии”, облегчает поэтическое творчество, облегчает оживление и конкретизацию речи. Наоборот, течение, проявляющееся во всё большем обособлении и абстрагировании слов, облегчает трезвое, прозаическое мышление, облегчает строго научную работу человеческого разума. Таким образом, в зависимости от имеющейся в данном случае потребности, человеческий разум действует то в одном, то в другом направлении» [Там же, I: 245]. Облегчению движений абстрактной мысли способствует абстрагирование слов в результате забвения этимологической связи далеких по значению слов, в частности вследствие сращения прежде составного слова в одно неделимое целое. Благодаря большей абстрактности «слова становятся более определенными символами и не столь неустойчивыми, как раньше, когда существовало еще живое ощущение их этимологической связи с другими словами» [Там же, I: 240]. В том же направлении: от неопределенности к определенности содержания и от конкретности к абстрактности — изменяются и значения корней [Там же, I: 100].

Ввиду целостности языковой системы и взаимосвязанности всех трех направлений языковой работы — говорения (фонации), слушания (аудиции), языкового мышления (церебрации) — в каждом акте речи «стремления одного направления могут быть парализованы стремлениями другого направления, так что, например, результаты стремления к облегчению произношения проявляются лишь постольку, поскольку этому не мешает стремление к выразительности и сохранению связи между отдельными формами, составляющими единое целое» [Там же, I: 231]. Морфологизация определенных фонетических представлений, связь соответствующего слова (формы) с другими словами препятствует звуковым изменениям.

В качестве примера можно привести тонкий сравнительный анализ «спорадического изменения» *кисть* в *тисть*, *гиря* в *диря*, с одной стороны, при сохранении произношения *рук'и* (*руки*), *рук'э* (*руке*) // *рука* — с другой. Причину указанного расхождения в идентичной фонетической позиции Бодуэн видит в том, что «во всех формах слов *кисть*, *гиря*... и во всех словах, им родственных, имеются всегда одни только сочетания *ки*, *ги*, стало быть, с “мягкими” *к'*, *г'*, между тем как в формах *руки*, *руке* “мягкое” заднеязычное *к'* чередуется с чаще встречающимся

“твердым” *к* родственных форм и слов: *рука, руку, рукою, рук, рукам, руками...*, *рукав, рукоделие...* Ассоциация с подобными формами и словами с устойчивой, ибо не осложненной, заднеязычностью “твердого” *к* и повторение впечатлений от произношения этой фонемы с определенной, несомненной заднеязычностью поддерживают заднеязычность и “мягкого” *к’* форм *руки, руке...*, тогда как “мягкие” *к’, г’* слов *кисть, гиря...*, лишенные подобной поддержки, подвергаются пассивно действию фонетического стремления к замене заднеязычных “мягких” “мягкими” переднеязычными» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 41]. Этот и другие примеры такого рода, подрывая тезис о непреложности звуковых законов, позволяют Бодуэну подразделить фонетические стремления на два вида: «одни повсеместные, всеобщие, распространяющиеся на все случаи появления данных звуковых сочетаний; другие же — не столь сильные и парализуемые противодействием со стороны ассоциации форм», со стороны «психического фактора в процессе языкового общения между людьми» [Там же, II: 42].

Результаты языковых изменений. Механизм, строй и состав языка в каждом данном состоянии являются результатом всего предшествовавшего развития [Там же, I: 68]. Последствия языковых изменений могут быть более или менее значительны. «...Они вызывают не только непрерывные преобразования в исторической непрерывности данного языка, но и распад одного почти монолитного языка на несколько родственных, а также перерождение всего строя, то есть языковой структуры» [Там же, I: 249].

«В жизни языка замечается постоянный труд над устранением хаоса, разлада, нестройности и нескладицы, над введением в него порядка и однообразия» [Там же, II: 94–95]. Отсюда исчезновение разнообразия детского языка и уподобление его языку окружающих, уменьшение разнообразия племенных языков, подведение обособленных и пережиточных форм под общие типы [Там же, II: 95]. «Но “естественные” языки не успеют еще избавиться от одного пережитка прежних различий, некогда так или иначе обоснованных, как уже действие новых факторов создает новые различия в таком же роде и ставит новые задачи для решения» [Там же, II: 157]. По этой причине и ввиду неравномерности развития «результатом языковых изменений являются разные наслоения, разные, так сказать, пласты в составе и строении каждого языка, слои, аналогичные геологическим пластам в строении земной коры, а также раскрытым антропологией пластам в разного рода явлениях человеческой жизни» [Там же, I: 248]. Наличие же в языке различных хронологических наслоений само по себе служит стимулом всё новых и новых его преобразований.

6. ЯЗЫКОВЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Язык — общественное (психосоциальное) явление, существующее в *пространстве* и во *времени*. Поэтому, согласно Бодуэну, «вообще разнообразие языков может быть рассматриваемо с трех точек зрения: 1) в отвлечении от географических и хронологических различий, с точки зрения общественных наслоений,

как языки разных возрастов (дети, взрослые, старики), полов, сословий, классов общества; 2) в отвлечении от социологии и хронологии, с точки зрения географии и топографии, как разнообразие местных говоров и племенных языков; 3) в отвлечении от социологии и географии, с точки зрения хронологии, как разнообразие языковых состояний, следующих одно за другим во временной последовательности» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 91].

Типы языковых сходств и различий. Помимо указанных выше универсальных языковых свойств, отличающих, в частности, язык человека от «языка» животных, Бодуэн выделяет три типа групповых сходств между языками:

1) Историческое, фактическое, генетическое родство языков, представляющих собой «разные видоизменения» [Там же, II: 110], «своеобразные модификации одного и того же исконного языкового материала» [Там же, I: 128];

2) «Родство, опирающееся на общность и сходство черт языков, соседствующих между собой и связанных общим географическим субстратом» [Там же, II: 342], или, иначе, «свойство (“породнение”) как результат взаимного влияния, равно как и общих условий существования и хронологической последовательности сменяющих друг друга поколений» [Там же, II: 112]. В определении природы данного типа сходств Бодуэн, в отличие от Шлейхера, не грешит географическим детерминизмом и не преувеличивает роли географического субстрата. По мнению Бодуэна, «общие географические условия сводятся обыкновенно к одинаковому этнологическому влиянию, т. е. к одинаковому влиянию какого-то, обыкновенно исчезнувшего, иноплеменного языка на существующие языки». В качестве примера «породнения» Бодуэн указывает «на общие свойства языков Балканского п-ва, языков Кавказа и т. д. при полной независимости от наличия или отсутствия их древнего генетического родства» [Там же];

3) «Сходства и различия общечеловеческие, не зависящие ни от генеалогии, от исторического родства, ни от контактов в пространстве, от географии» [Там же, II: 342]. «Мы постоянно находим одинаковые свойства, одинаковые изменения, одинаковые исторические процессы и перерождения в языках, чуждых друг другу и исторически, и географически» [Там же, I: 371].

Итак, «в первой категории мы имеем дело с субстратом, главным образом, историческим, во второй — с субстратом, главным образом, географическим, в третьей — с физиолого-психологическим субстратом». Однако, развивая системный подход к языку, Бодуэн настаивает на том, чтобы во всех трех случаях «объяснять рассматриваемые факты одновременно как в связи с историей, так и с географией, наконец, с физиологией и психологией и даже с физикой и механикой» [Там же, II: 342]. Именно с этих позиций он критикует «ходячие» классификации языков.

Классификации языков. В соответствии с тремя указанными типами сходств Бодуэн считает возможными три классификации языков:

1) по родству — *генеалогическая* (генетическая), или историческая, классификация, разделяющая языки на *семьи*;

2) по свойству — классификация, впервые выделенная Бодуэном и получившая позднее название *ареальной*, она имеет дело с теми группировками, которые впоследствии были обозначены Н. С. Трубецким как *языковые союзы*;

3) по сходству языковых состояний или направлений в изменениях — *морфологическая* или *структурная* [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 110–115], разбивающая языки на морфологические *типы*.

Кроме того, Бодуэн предлагал провести последующую группировку и классификацию родственных языков с хронологической точки зрения, т. е. «в отношении различных стадий в истории их структуры и комплекса связанных между собой разносторонних и разнородных элементов, или простейших составных частей». Можно объединить, например, «в единое целое латинский язык и другие древнеиталийские наречия с древнеиндийскими и древнеиранскими языками, противопоставляя им 1) более поздние стадии романских языков и пракритских диалектов, 2) еще более поздние, новейшие стадии современных нам романских, индийских и иранских говоров» [Там же, II: 351].

Существующие генеалогические и морфологические классификации языков Бодуэна не удовлетворяют.

Недостатки генеалогических классификаций он видит прежде всего в упрощении действительной картины.

Во-первых, вследствие утвердившегося отрыва языка от человека не принимается во внимание взаимодействие языковых коллективов, в частности огромное влияние этнографического смешения, с одной стороны, и эмиграции и прочих случаев этнографической изоляции — с другой [Там же, I: 132]. Соответственно, упускается из виду, что благодаря смешению языков (точнее — языковых коллективов) и их взаимовлиянию каждый язык оказывается «равнодействующей пересечения различных языков». Иными словами, каждый язык «полигенетичен» [Там же, II: 342], т. е. имеет не одного, а многих предков.

Во-вторых, наблюдается известная недооценка действующих общих закономерностей, а ведь под их влиянием «в двух отдаленных точках одной и той же обширной языковой области могут возникать совершенно независимо друг от друга одни и те же тенденции и в результате развиваются совершенно схожие, но генеалогически абсолютно независимые различия» [Там же, I: 132].

В-третьих, анализ ограничен отдельными частностями второстепенного характера. Поэтому «найденные отличительные признаки в большей своей части слишком незначительны, чтобы служить основанием для какой-либо генеалогии языков» [Там же, I: 131]. Бодуэн же с самого начала своей научной деятельности был уверен, что «принципа генетического разделения родственных языков следует искать не по общепринятому обычаю — в отдельных фонетических, лексических и формальных различиях, но в общих стремлениях, обуславливающих своеобразное развитие всего механизма языка, так как только эти общие стремления можно признать характеристическими и постоянными свойствами, обособляющими отдельные языки в среде всех прочих, находящихся с ними в более или менее близком родстве» [Там же, I: 71].

Однако в настоящее время по указанным причинам, а также ввиду недостатков метода и ограниченности фактических данных [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 112] выявление таких общих стремлений представляется Бодуэну неосуществимым. Поэтому он считает необходимым «совершенно отказаться от якобы точной генетической классификации языков и удовлетвориться точной характеристикой отдельных языков и языковых семей, а также переходных периодов между более древними стадиями развития языка и более поздними стадиями» [Там же, I: 132]. «Наиболее целесообразною характеристикой языков была бы их характеристика по общим морфологическим и семасиологическим чертам», но и она при современном состоянии науки вряд ли возможна [Там же, I: 133].

Особый акцент Бодуэн делает на морфологии. На основании одинаковых явлений во многих родственных и неродственных языках он приходит к выводу, что «фонетический и семасиологический элемент (физическое — материальное — и психическое) является общечеловеческим. Циркуляция в этой области происходит совершенно независимо от родства и происхождения. Филогенетическое (генеалогическое) значение имеет в языке только форма, морфологический элемент, только специальное приложение и комбинирование семасиологического и фонетического элемента» (цит. по: [Леонтьев 1959: 127]).

Точность морфологических классификаций Бодуэн тоже ставит под сомнение, в первую очередь — «из-за огромного количества совсем еще не исследованных языков» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 215]. Но даже если судить по известным языкам, ясно, что «“односложность”, “агглютинация”, “флексия”, “инкорпорация” — не исчерпывают всего богатства морфологических принципов, могущих проявляться в разных языках» [Там же, II: 115].

Неприемлемо для Бодуэна и однозначное определение морфологического типа каждого данного языка, столь характерное для «обыкновенных», «ходячих» морфологических классификаций. Они «приписывают известным языкам исключительно “односложность” (собственно, одноморфемность), другим языкам исключительно “агглютинацию”, третьим исключительно “флексию” или “инкорпорацию”...» [Там же, II: 114]. В действительности же, как справедливо отмечает Бодуэн, «в строении различных языков мы видим одновременное применение двух или даже трех морфологических принципов. Так, например, в русских *стол*, *на-стол*, *стол-а*, *от-стол-а*, *стол-у*, *к-стол-у*, *стол-ом*, *под-стол-ом*, *в-стол-е*, *стол-ы*, *на-столаы*, *стол-ов*, *со-стол-ов*, *стол-ам*, *к-стол-ам*, *стол-ами*, *над-стол-ами*, *в-стол-ах* и т. д. рядом с флексией, состоящей в присоединении окончаний, равно как и в психофонетической альтернации или чередовании последнего согласного основы, *л* (в *стол*) и *ль* (в *стол-е*, *столь-э*), мы имеем также представочную или префиксальную агглютинацию (ясные и определенные по своему значению префиксы *от*, *над*, *на* и т. д.); если же к этому прибавим такие выражения, как *у-ломберного-стол-а*, *под-ломберным-стол-ом*, *в-ломберном-стол-е*, *в-этом-моем-ломберном-стол-е* и т. д., то мы должны будем признать тоже известного рода “воплощение” или “инкорпорацию”, т. е. вставление целых слов и даже выражений

внутри неделимых синтаксических целых, каковыми являются все простые или сложные формы склонения, спряжения и т. д.» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 114–115].

Невозможность однозначной морфологической квалификации каждого отдельного языка Бодуэн связывает с тем, что «состояния языков, которые берутся в основу, вовсе не постоянные, не вечные, не неизменные, а лишь переходные» [Там же, I: 215]. Между тем «в ходячих морфологических классификациях постоянно повторяется ошибка, состоящая в том, что известные состояния строя, свойственные отдельным, соединяемым в одно группам языков, считаются чем-то постоянным и неизменяемым». Эти классификации пренебрегают тем обстоятельством, что «все языки (понимаемые с хронологической стороны в самом обширном смысле этого слова, т. е. как непрерывный ряд изменений на той же линии исторической последовательности) проходят через различные морфологические состояния» [Там же, II: 113] и что «в пределах одной и той же генетической или исторической отрасли морфологическое строение слов и предложений может совершенно измениться» (ср.: санскрит и английский) [Там же, II: 114]. Отсюда встречающееся неразличение морфологической и генеалогической классификации. Оно выражается в отождествлении морфологических типов древних и новых индоевропейских языков, вследствие чего эти языки противопоставляются «как нечто общее морфологическим типам других языков» [Там же, II: 180]. Указанные недочеты морфологических классификаций заставляют Бодуэна задуматься над тем, «не следует ли ввиду всего этого признать, что морфологические характеристики известных языков или известных языковых групп, принимающие в соображение только их одновременное состояние, односторонни и неудовлетворительны?» [Там же, II: 114]. Такая постановка вопроса логически вытекает из развиваемого Бодуэном диалектического понимания статики языка как частного случая динамики [Там же, I: 349] и вполне согласуется с требованием рассматривать состояние языка в известный момент в связи с полным его развитием [Там же, I: 69–70].

Отвергнув ходячие морфологические классификации как «неудавшиеся и отжившие свой век», Бодуэн предлагает заменить их «новым методом определять основные свойства морфологического построения языков» — путем сравнительной характеристики не столько даже языков, сколько «людей по свойственному им языковому мышлению» [Там же, II: 182]. Не замыкаясь на физиолого-психологическом субстрате, она должна «объяснять рассматриваемые факты одновременно как в связи с историей, так и с географией» [Там же, II: 342], т. е. должна учитывать существование языка во времени и пространстве. Соответственно, «эту сравнительную характеристику следует проводить в двух направлениях: с одной стороны, определять морфологические различия между сосуществующими языковыми мышлениями (сравнительная характеристика на топографической или географической подкладке), с другой же стороны, следить за постепенными переходами одних морфологических типов в другие (историческая эволюция в области морфологии языкового мышления)» [Там же, II: 182]. В идеале «характеристики

языков по известным статическим особенностям должны быть заменены характеристиками по целым линиям исторического развития, по целым линиям постепенных видоизменений, проделанных языками в течение их многовековой исторической жизни» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 35]. На все морфологические элементы — морфемы, синтагмы и т. д. — следует смотреть как на постоянно видоизменяющиеся единицы [Там же, II: 183]. Так как в каждом данном состоянии сосуществуют различные хронологические наслоения, «всесторонняя морфологическая характеристика языкового мышления должна считаться с фактом наличности, с одной стороны, пережиточных форм, унаследованных от прошлого и уже не соответствующих данному общему строю языка, с другой же стороны, явлений, предвещающих, так сказать, будущее состояние данного племенного и национального языка и еще не подходящих под современное построение этого языка» [Там же, II: 186].

Определение морфологического типа не должно исчерпываться «посредством одной простой формулы» (изоляция, агглютинация и т. д.). «Всякое языковое мышление представляет из себя столь сложное целое, что и характеристика его основных морфологических черт является слагаемою из многих частных формул» [Там же, II: 182]. Но это вовсе не исключает наличия известных общих стремлений. И в основу классификации, с точки зрения Бодуэна, необходимо положить именно эти «общие стремления, обуславливающие своеобразный строй и состав данного языка» [Там же, I: 115]; «такие характерные признаки, которые имели бы общую значимость, которые... проникали бы насквозь как чисто фонетический, так и морфологический строй языка» [Там же, I: 132]; общие морфологические и семасиологические черты [Там же, I: 133].

Сравнительная морфологическая характеристика должна охватывать фонетическое построение слов и предложений (акцент, количество слогов и т. п.), с одной стороны, и морфологическое построение слов и предложений — с другой [Там же, II: 186]. При морфологической характеристике языковых элементов надо обращать внимание: а) на относительную свободу сочетаний морфем в слове, синтагм в предложении; б) на синтетическое или аналитическое построение слов и других морфологических целых [Там же, II: 183], а также на преобладающий способ выражения морфологических отношений, учитывая, что «экспонентами морфологических отношений могут быть отдельные “предложения”, отдельные слова; изменения внутри слов и предложений; прибавления в начале слов, в конце слов, в середине слов; место, занимаемое синтагмою в предложении и морфемою в слове (контекст синтагм и морфем)» [Там же, II: 184].

Кроме того, «задача исследователя, занимающегося тончайшим анализом языковых элементов, состоит в отделении внеязыкового от чисто языкового, состоит в точном определении, какие из наличных произносительно-слуховых представлений морфологизуются, т. е. используются (утилизируются) для морфологических целей, и какие из них семасиологизуются, т. е. являются экспонентами внеязыковых различий» из области физического мира, из области мира общественного

и из области мира лично-психического. «Отражение тех или других замечаемых во внеязыковом мире различий в различениях чисто языковых может служить основанием для сравнительной морфологической характеристики отдельных языковых мышлений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 185]. При этом необходимо принять во внимание, какие внеязыковые представления имеют морфологические экспоненты, а какие составляют по отношению к языку группу «скрытых языковых представлений» [Там же, II: 186].

Природа «флексии» и «агглютинации». При выделении типов языков Бодуэн рекомендует опираться на различие по ряду взаимосвязанных признаков. В частности, различие «флексии» и «агглютинации» выражается, по Бодуэну, в следующих различениях:

а) Психофонетические, морфологизованные альтернации одних и тех же морфем противопоставляются отсутствию подобных альтернаций.

б) Полиморфизм основ противопоставляется мономорфизму.

в) Полиморфизм окончаний и морфем вообще, отсутствие параллелизма между «формою» и «функцией» противопоставляются мономорфизму и параллелизму между «формою» и «функцией».

г) Использование в качестве морфологических экспонентов прибавок в начале и конце слова, а также психофонетических альтернаций внутри слова противопоставляется сосредоточению морфологических экспонентов в конце слова (после корня).

д) Наличие грамматического рода противостоит его отсутствию.

В соответствии с последними двумя признаками агглютинативные языки, вопреки распространенному мнению, идущему от Ф. Шлегеля, оказываются «более трезвыми и более упорядоченными», чем флективные [Там же, II: 184–185, 320].

При сравнении флективных ариоевропейских языков с агглютинативными туранскими (урало-алтайскими и угро-финскими) Бодуэн указывает еще ряд отличительных признаков «флексии» и «агглютинации», касающихся не только морфологической (в широком смысле), но и фонетической стороны.

Среди морфологических признаков Бодуэном выделены различия в соотношении частей речи (глагольный характер ариоевропейских языков, именной — туранских), в выражении синтаксических связей (грамматическая конгруэнция подчиненных слов с главным словом в ариоевропейских языках и ее отсутствие в туранских), в порядке слов (совершенно отличном в данных «отраслях») [Там же, I: 104–105].

К числу признаков общей значимости, насквозь проникающих фонетический и морфологический строй и обуславливающих упомянутый Бодуэном параллелизм между фонетикой, морфологией и синтаксисом [Там же, I: 101–102], можно отнести частоту совпадения произносительно-слухового состава морфем с произносительно-слуховым составом синтагм. Отмечая возможность таких совпадений во всех языках, Бодуэн указывает, что для некоторых языков (китайского, английского и др.) «они составляют норму морфологического типа» [Там же, II: 183].

Различие в частоте подобных совпадений во флективных ариоевропейских и агглютинативных туранских языках порождает целый ряд взаимосвязанных расхождений. В ариоевропейских языках при низкой частоте совпадения морфемы со словом–синтагмой служебные морфемы сливаются с корнем в одно целое и не употребляются самостоятельно. Отсюда изменяемость корня, регрессивные звуковые влияния и изменения. В туранских языках почти все суффиксы (точнее, «корни в роли суффиксов») существуют самостоятельно и только временно сочетаются с главным корнем, сохраняя отчетливость и обособленность. Соответственно, наблюдается исключительно прогрессивное направление звуковых влияний и изменений, а корень остается неприкосновенным [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 104]. Это различие в звуковой форме морфем может быть вызвано также тем, что присущий агглютинативным туранским языкам «*м о н о м о р ф и з м* морфологических показателей увеличивает психический акцент и степень морфологизации фонетических элементов данной морфемы, тогда как *п о л и м о р ф и з м* (свойственный большей части индоевропейских языков) ослабляет интенсивность как психического акцента, так и морфологизации» [Там же, II: 198].

Ослабление морфологизации может быть вызвано также переходом языкового строя от синтетического состояния к аналитизму. Как заметил Бодуэн, «аналитическому состоянию языков, характеризующемуся децентрализующей тенденцией в области морфологии, морфологические корреляции чужды» [Там же, I: 308].

Таким образом, несмотря на «одинаковость частных фонетических процессов и законов при совершенно различном морфологическом и синтаксическом строе» [Там же, I: 116], получается, что «даже данные фонетики годятся для морфологической классификации» [Там же, I: 103], ибо действительно существуют признаки, имеющие общую значимость, проникающие насквозь как морфологический, так и фонетический строй языка и тем самым обеспечивающие целостность языковой системы, цементирующие ее.

Наличие таких признаков порождает «несоизмеримость языков» не только в области морфологии и семантики, но и в области произносительно-слуховых представлений. Так, «акцентные отношения русского языкового мышления несоизмеримы с акцентными отношениями польского языкового мышления, не говоря уже о тех языках, в которых к различению ударения (*ictus*) и долготы (*quantitas*) добавляется еще и различие музыкальной интонации, т. е. перехода от более высоких тонов к более низким, и наоборот, в составе целых слов, слогов и фонем» [Там же, II: 318].

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ф. ДЕ СОССЮР

Выдающийся швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857–1913) — один из крупнейших теоретиков современной лингвистики, во многом определивший ее лицо и направление развития своим «Курсом общей лингвистики» (1916).

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Место языкознания в системе наук. Приступая к изложению своей лингвистической концепции, Соссюр указывал, что истинная природа языка остается не выявленной, ибо до сих пор его изучали «в зависимости от чего-то другого, с чуждых ему точек зрения» [Соссюр 1977: 54]. В самом деле, если встать на позиции Соссюра, то при рассмотрении языка одни лингвистические направления исходили из отношения языка к *внешним факторам*: мышлению (логико-грамматическое направление), истории и культуре (романтическое направление). Другие сводили язык к *одному из аспектов речевой деятельности*: физиологическому (натуралистическое направление) или психическому (психологическое направление), причем в последнем случае анализ мог быть ограничен либо индивидуальной сферой (младogramматическая школа), либо социальной (этнопсихология Г. Штейнтала). В результате языкознание смыкалось то с философией, логикой и нормативной грамматикой, то с филологией, историей и этнографией, то с биологией, антропологией и физиологией, то с психологией.

Определяя границы и объект лингвистики, Соссюр настаивает на строгом ее отграничении от этнографии и истории, антропологии и физиологии, филологии и нормативной грамматики. Он связывает лингвистику с *социологией* и *социальной психологией*, поскольку, с одной стороны, «язык есть факт социальный» [Там же: 44], а с другой — «в языке всё психично» [Там же: 45].

Но, будучи фактом социальным, «язык не есть общественное установление, во всех отношениях подобное прочим» [Там же: 48]. *Он во многом отличается от политических, юридических и других установлений.*

1. «Прочие общественные установления — обычаи, законы и т. п. — основаны, в различной степени, на естественных отношениях вещей; в них есть необходимое соответствие между использованными средствами и поставленными

целями» [Соссюр 1977: 108]. Другое дело — язык. Согласно Соссюру, «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Там же: 114], и «своим произвольным характером язык резко отличается от всех прочих общественных установлений» [Там же: 108].

2. «Предписания закона, обряды религии, морские сигналы и пр. затрагивают одновременно лишь ограниченное количество лиц и на ограниченный срок; напротив, языком каждый пользуется ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех» [Там же: 106], «исторический фактор преемственности господствует в нем полностью» [Там же: 105].

3. «Из всех общественных установлений язык предоставляет меньше всего возможностей для проявления инициативы» [Там же: 106–107]. «...Рефлексия не участвует в пользовании тем или другим языком: сами говорящие в значительной мере не осознают законов языка» [Там же: 105]. «Не только отдельный человек не мог бы, если бы захотел, ни в чем изменить сделанный уже языком выбор (означающего по отношению к обозначаемому понятию. — Л. З.), но и сам языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом; общество принимает язык таким, какой он есть» [Там же: 104].

Указанные отличия: *произвольный* и в то же время *принудительный* характер, *преемственность* и *непрерывность* функционирования, охватывающая всех членов общества, *независимость* от воли индивидуальной и коллективной — свойственны языку как семиологической системе. Поскольку язык представляет собой общественное установление знаковой природы, то именно этим определяется и место лингвистики среди наук. Соссюр, так же как задолго до него Дж. Локк, относит языковую проблематику в область *семиологии* (семиотики). Семиологией он назвал еще не выделившуюся тогда в особую научную дисциплину ту часть социальной психологии, которая должна изучать жизнь знаков в жизни общества [Там же: 54]. Таким образом, по Соссюру, *языкознание* — не естественная и не историческая, а *семиологическая наука*.

Язык как предмет языкознания (язык как семиологический и лингвистический объект). Подобно Локку, Соссюр полагает, что «проблемы лингвистики — это прежде всего проблемы семиологические» [Там же: 55]: язык — наиважнейшая из знаковых систем — должен изучаться с семиологической точки зрения в первую очередь.

«Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка» [Там же].

Определение языка как семиологического явления предполагает, по Соссюру, разрыв с рядом других определений.

1. *Отказ от понимания языка как номенклатуры* [Там же: 54]. Поскольку естественные вещи не имеют отношения к языку, язык — не перечень названий вещей, а система знаков. С «изъятием» вещи идущая от Аристотеля традиционная трехчленная схема знака, связывающая вещь, понятие и слово (имя), заменяется

у Соссюра двухчленной «понятие — слово» → «понятие — акустический образ», а затем, чтобы подчеркнуть иррелевантность не только звуковой, но и психической субстанции, знак определяется как ассоциация означающего с означаемым. «Изъятие» вещи из схемы знака приводит, далее, к тому, что из двух выделявшихся ранее принципов произвольности и условности знака, характеризующих соответственно связь имени и понятия, с одной стороны, и связь имени и вещи — с другой, в качестве лингвистически релевантного остается только первый. Принцип условности знака имплицитно выводится за пределы лингвистики и потому не обсуждается.

2. *Отказ от точки зрения «психологов, изучающих механизм знака у индивида»* [Соссюр 1977: 55], ибо знак, как и язык в целом, имеет социальную природу: «язык никогда не существует вне общества... Его социальная природа — одно из его внутренних свойств» [Там же: 110]. Поэтому полное определение языка обязательно включает социальный аспект, подчеркивающий связь языка не с говорящим индивидом, как у младограмматиков, а с говорящим коллективом.

3. *Отказ от отождествления языка с другими общественными установлениями, более или менее зависящими от нашей воли*, от взгляда на язык как на простую условность, которую заинтересованные лица могут изменить по своей воле. Положение Соссюра о неподвластности языка воле говорящих продолжает предшествующую лингвистическую традицию. Тезис о независимости языка и в первую очередь его организма (формы) от воли человека лежит в основе лингвистической концепции А. Шлейхера и служит ему критерием для отграничения языкознания от филологии. О действии в языке фактора непреднамеренности и бессознательности писал Г. Пауль. В концепции Соссюра зависимость или независимость от воли человека (индивидуальной или социальной — не столь важно) выступает одним из оснований для разграничения языка и других общественных установлений, во-первых, и для различения языка и речи, во-вторых. Причину, по которой языковой «знак всегда до некоторой степени ускользает от воли как индивидуальной, так и социальной» [Там же: 55], Соссюр видит в том, что язык существует не только в говорящем коллективе, но и во времени. Совместное действие времени и социальных сил обуславливает установление в языке *принципа непрерывности*, а этот принцип исключает свободу языка и вмешательство воли говорящих [Там же: 110–111]. «Однако непрерывность по необходимости подразумевает изменение» [Там же: 111]. Отсюда вывод: «непрерывность знака во времени, связанная с его изменением во времени, есть принцип общей семиологии» [Там же: 109].

После выявления общих черт языка с иными знаковыми системами «задача лингвиста сводится к выяснению того, что выделяет язык как особую систему в совокупности семиологических явлений» [Там же: 54]. Примечательным образом переключаясь с Ч. С. Пирсом [Пирс 2000: 172, 185–186, 200–222] (ср. с обсуждением теории Пирса в работе [Якобсон 1983: 103–108, 115–117]), Соссюр допускал возможность выделения различных типов знаков в зависимости от степени их естественности / произвольности — в полной мере естественных, в некоторой

степени естественных, полностью произвольных. Но только последние он считал идеалом семиологического подхода и главным предметом семиологии [Соссюр 1977: 101]. Именно таковы, с его точки зрения, языковые знаки.

Существенное отличие языка от всех прочих семиологических систем состоит, по Соссюру, в том, что «мы не видим в нем непосредственно данных и различных с самого начала [конкретных] сущностей» [Там же: 139], «непосредственно наблюдать конкретные сущности или единицы языка невозможно» [Там же: 146]. К тому же «функционирование языка пронизано бесчисленным множеством колебаний, приблизительных и неполных разложений. Никогда никакой язык не обладал вполне фиксированной системой единиц» [Там же: 205]. В системе языка сами ее элементы — знаки — не разграничены заранее [Там же: 136], так же как не даны, не предустановлены заранее ни понятия, ни звуки. «...В языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы» [Там же: 152–153], «*в языке нет ничего, кроме различий*» [Там же: 152], «язык является системой, целиком основанной на противопоставлении его конкретных единиц» [Там же: 139]. Иными словами, язык — это прежде всего совокупность отношений [Там же: 160] и — как следствие — «система чистых значимостей» [Там же: 144]. Отсюда единственно возможное направление лингвистического анализа — *от отношений в системе к ее членам*, но не наоборот. Соссюр считал ложной мысль, «будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов» [Там же: 146]. «От понятия системы мы приходим к понятию ценности. Система приводит к члену» (цит. по: [Слюсарева 1975: 53]). Таким образом, казалось бы, исходное в концепции Соссюра определение языка как *системы знаков* является таковым лишь на «поверхностном» уровне. Оно восходит к определению языка как *системы значимостей*, а это последнее производно от определения языка как *совокупности отношений*. Следовательно, отношения первичны, единицы вторичны. В терминах современных лингвистических учений, разграничивающих понятия системы и структуры, *понятие системы у Соссюра в сущности редуцируется до понятия структуры* как сетки отношений.

Сведёние языка к системе отношений, к противопоставлениям и различиям естественно приводит Соссюра к заключению о том, что «сущность языка... не связана со звуковым характером языкового знака» [Соссюр 1977: 45]: «какова природа условно избранного знака, совершенно безразлично» [Там же: 48]. Как и любая другая субстанция, «звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал». Означающее языкового знака «по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно, и его создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов» [Там же: 151].

В то же время, называя признаки, выделяющие язык из совокупности семиологических систем, Соссюр указывает на *линейный* (одномерный) характер означающего и языка. В отличие от многомерных означающих, воспринимаемых зрительно, например морских сигналов, означающие языковых знаков воспринимаются на слух и, развертываясь во времени, обладают протяженностью, которая *«имеет одно измерение — это линия»* [Соссюр 1977: 103]. Линейный характер означающего, который «исключает возможность произнесения двух элементов одновременно» [Там же: 155], лежит в основе синтагматических отношений и, отличая реализацию языка в речи, связывает их таким образом в некое единство.

Структура языкознания. *Предметом лингвистики* в целом являются *устройство и условия существования языка гесп. речевой деятельности*. Понимание языка как совокупности отношений, как системы чистых значимостей служит для Соссюра основанием для деления лингвистики на ряд частных дисциплин, установления их стратификации и определения предмета каждой из них.

Исходя из критерия *системности* и стремясь устранить из понятия «язык» всё чуждое его системе, Соссюр в первую очередь разделяет лингвистику на *внешнюю и внутреннюю*. *Предметом внешней лингвистики являются условия существования языка*. Так как подобно любой другой системе знаков «язык никогда не существует вне общества» [Там же: 110], история языка тесно переплетается с историей общества. Однако история расы и цивилизации, политическая история, внутренняя политика государства, культура, церковь и школа, географические факторы, хотя и связаны с языком, влияют лишь на внешние по отношению к внутренней системе языка его характеристики: границы распространения, дробление на диалекты, характер и степень взаимодействия с другими языками, образование литературного языка, его взаимоотношение с обиходным (разговорным) языком, развитие специальных языков и т. п.

Признавая вслед за романтиками, что «обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию» [Там же: 59], соглашаясь, что «общность языка позволяет говорить о социальной общности, лежащей в ее основе» [Там же: 261], Соссюр вместе с тем считает необходимым строго отделить внешнелингвистические явления от «языка в собственном смысле», так как его внутренний организм может быть познан и безотносительно к указанным внеязыковым факторам. «...Нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык. <...> Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку» [Там же: 61]. Это доказывается, в частности, тем, что «язык дает сравнительно мало точных и достоверных сведений о нравах и институтах народа, который пользуется этим языком» [Там же: 264], о доистории народов, их прародине, образе жизни, мифологии, религии и т. п. [Там же: 261].

Язык в отношении к мышлению и звуковой субстанции. Вопрос о соотношении языка и мышления решается аналогичным образом. Соссюр выступает против той точки зрения, будто «язык отражает психологический склад народа».

Он исходит из того, что «языковые средства не обязательно определяются психическими причинами» [Соссюр 1977: 264]. На основании грамматического типа языков и приемов, используемых ими для выражения мысли, «нельзя с уверенностью делать каких-либо заключений о том, что *лежит за пределами языка как такового*» (выделено мною. — Л. 3.) [Там же: 265], то есть в данном случае о мышлении. О том, что «язык непосредственно не подвластен мышлению говорящих», свидетельствует, по мнению Соссюра, безграничная эволюция языков, вследствие которой «ни одна языковая семья не принадлежит раз и навсегда к определенному лингвистическому типу» [Там же: 266].

Внешней по отношению к языку как системе значимостей является не только мыслительная, но также звуковая и графическая субстанция. Согласно Соссюру, письменность сама по себе «чужда внутренней системе языка» [Там же: 62], а фонология (= физиология звуков) «затрагивает только речь» и нисколько не освещает проблем языка [Там же: 71]. Не случайно в третьем, последнем, цикле своих лекций Соссюр рассматривал вопросы письменности и фонологии в конце раздела, освещавшего проблемы внешней лингвистики [Холодович 1977б: 16].

Понимание Соссюром мышления и звуковой субстанции важно не только для отделения внешелингвистических элементов от внутренних, но и для определения языка как системы значимостей, для выявления функций языка и установления соотношения лингвистики с другими науками.

Как полагает Соссюр, «взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом как нет никаких различий (понятий. — Л. 3.) до появления языка. <...> Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление» [Соссюр 1977: 144]. «Поток речи, взятый сам по себе, есть линия, непрерывная лента, где ухо не различает никаких ясных и точных делений: чтобы найти эти деления, надо обратиться к значениям. <...> Лишь тогда, когда мы знаем, какой смысл и какую функцию можно приписать каждой части звуковой цепочки, эти части выделяются нами, и бесформенная лента разрезается на куски» [Там же: 136].

Отсутствие предустановленных понятий, с одной стороны, и ясных и точных делений в звуковой субстанции — с другой, заставляют Соссюра усомниться в том, что функция языка состоит в *выражении* мысли. Он приходит к выводу, что «язык не есть механизм, созданный и приспособленный для выражения понятий» [Там же: 118]. «Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить *посредствующим звеном между мыслью и звуком*, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному *разграничению* единиц». Тем самым «мысль, хаотичная по природе, по необходимости *уточняется*, расчлениваясь на части» (выделено мною. — Л. 3.) [Там же: 144].

Обоюдное разграничение единиц в неопределенном плане смутных понятий и в столь же неопределенном плане звучаний заставляет Соссюра пересмотреть

то определение *членораздельности*, согласно которому «в отношении речевой деятельности членораздельность может означать либо членение звуковой цепочки на слоги, либо членение цепочки значений на значимые единицы» [Соссюр 1977: 48]. Как подчеркивает Соссюр, *нет двух отдельных членений*: членение звуковой цепочки и членение цепочки значений возможно только во взаимосвязи и не может быть произведено независимо друг от друга. Членораздельность предполагает язык как «систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям» [Там же: 49]. В каждом языковом элементе как вычленном сегменте «понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия». Поскольку язык — это пограничная область, где сочетаются элементы обоего рода — мысли и звуки, Соссюр неоднократно указывает, что «в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли» [Там же: 145]. С одной стороны, «не бывает языковых фактов вне звукового материала, расчлененного на значимые элементы» [Там же: 142], а с другой — «звуковая цепочка только в том случае является языковым фактом, если она служит опорой понятия». Итак, «в языке понятие есть свойство звуковой субстанции, так же как определенное звучание есть свойство понятия» [Там же: 135]. «Материальная единица существует лишь в силу наличия у нее смысла, в силу той функции, которой она облечена... И наоборот, ...смысл, функция существуют лишь благодаря тому, что они опираются на какую-то материальную форму» [Там же: 172].

Внутренняя лингвистика. Понятие речевой деятельности. *Предметом внутренней лингвистики является речевая деятельность.* Данное определение, на первый взгляд, как будто переключается с определением Г. Штейнталя, который считал предметом лингвистики речь как действие, речь как духовную деятельность [Штейнталь 1964: 128–129]. Но в отличие от Штейнталя, Соссюр выделяет исследование условий существования языка и в целом речевой деятельности в самостоятельную лингвистическую дисциплину и относит изучение речевой деятельности лишь к части лингвистики. Для Штейнталя, так же как для Гумбольдта, такое противопоставление условий существования языка языку как системе принципиально невозможно, ибо в конечном счете именно они определяют внутреннюю форму языка.

«Взятая в целом, речевая деятельность многообразна и разнородна» [Соссюр 1977: 48]. На примере индивидуального акта речевого общения Соссюр показал, что речевая деятельность протекает в ряде областей: *физической* (звуковые волны), *физиологической* (говорение, фонация, то есть речеобразование, и слушание, восприятие) и *психической* (словесные = слуховые = акустические образы и понятия). Кроме того, «у речевой деятельности есть две стороны: *индивидуальная* и *социальная*, причем одну нельзя понять без другой. ...В каждый данный момент речевая деятельность предполагает и *установившуюся систему* и *эволюцию*; в любой момент речевая деятельность есть одновременно и *действующее установление* и *продукт прошлого*» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 47].

Организирующим началом всей этой совокупности явлений выступает язык. Именно он вносит в нее *единство* [Там же: 49]. В частности, единство физической,

физиологической и психической областей речевой деятельности обеспечивает тем, что язык как система двусторонних знаков вырабатывает свои единицы во взаимодействии мышления и звуковой субстанции [Соссюр 1977: 145], так что ни мысль, ни звук не могут быть абстрагированы, оторваны друг от друга. Именно благодаря этому «звук, сложное акустико-артикуляционное единство, образует в свою очередь новое сложное физиолого-мыслительное единство с понятием» [Там же: 47].

Язык и речь. Язык как явление социальное противопоставляется речи. В основе данного противоположения также лежит критерий, согласно которому «внутренним является всё то, что в какой-то степени видоизменяет систему» [Там же: 61]. Для языка «его социальная природа — одно из его внутренних свойств» [Там же: 110]. Взятый в индивидуальном аспекте, язык — нечто нереальное, всего лишь «совокупность языковых навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым» [Там же: 109–110]. Элементы речи, включая фонацию и звуковую субстанцию, внутренним свойством не являются, ибо не затрагивают язык как систему знаков [Там же: 56–57]. Такой вывод следует и из излюбленного соссюровского сопоставления языка с шахматами, в которых «внутренним является всё то, что касается системы и правил игры». В самом деле, рассуждает Соссюр, «если я фигуры из дерева заменяю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для системы; но, если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая перемена глубоко затронет “грамматику” игры» [Там же: 61].

Противоположение языка и речи служит Соссюру основанием для разделения внутренней лингвистики на две части. «...Одна из них, **основная**, имеет своим предметом язык, то есть нечто *социальное* по существу и независимое от индивида; это наука чисто *психическая*; другая, **второстепенная**, имеет предметом *индивидуальную* сторону речевой деятельности, то есть *речь*, включая фонацию; она *психофизична*» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 57].

Только лингвистику языка Соссюр считает лингвистикой в собственном смысле слова, единственным объектом которой является язык [Там же: 58]. Первостепенность лингвистики языка по отношению к лингвистике речи Соссюр мотивирует тем, что, представляя социальный аспект речевой деятельности, язык является важнейшей ее частью [Там же: 47] и ему принадлежит «первое место среди явлений речевой деятельности» [Там же: 48].

Сама *способность к речевой деятельности* не ограничена способностью говорить и представляет собой прежде всего *языковую способность*. Согласно Соссюру, «чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка» [Там же: 47–48], необходима «способность создавать язык, то есть систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям», необходима «способность любыми средствами вызывать в сознании знаки упорядоченной речевой деятельности». Это значит, что «над деятельностью различных органов существует способность более общего порядка, которая управляет этими знаками и которая и есть

языковая способность по преимуществу» [Соссюр 1977: 49]. Последняя включает в себя рецептивную и координативную способность, которая обуславливает «формирование у говорящих примерно одинаковых для всех психических образов». Она обнаруживается во взаимосвязи знаков и «играет важнейшую роль в организации языка как системы» [Там же: 51]. Языковая способность, как и язык, является социальным продуктом. Ведь даже «способность... артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия, созданного и предоставляемого коллективом» [Там же: 49], и, таким образом, оказывается социально обусловленной.

Но, различая язык и речь, отводя языку первое место среди явлений речевой деятельности, Соссюр подчеркивает *единство языка и речи* и даже *вторичность языка по отношению к речи*. «...Язык необходим, чтобы речь была понятна и тем самым была эффективна» [Там же: 57]. С этой точки зрения, взятый в индивидуальном аспекте, язык представляет собой «совокупность языковых навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым» [Там же: 109–110]. «...Речь в свою очередь необходима для того, чтобы сложился язык» [Там же: 57]. «Язык — это клад, практикой *речи* (выделено мною. — Л. З.) отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу» [Там же: 52].

«...Исторически факт речи всегда предшествует языку». С одной стороны, ассоциация понятия со словесным акустическим образом предварительно имеет место в акте речи. «С другой стороны, только слушая других, научаемся мы своему родному языку; лишь в результате бесчисленных опытов язык отлагается в нашем мозгу. Наконец, именно явлениями речи обусловлена эволюция языка» [Там же: 57]: «всё *диахроническое* в языке является таковым лишь через речь. Именно в речи источник всех изменений; каждое из них, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым числом говорящих. <...> Факту эволюции всегда предшествует факт или, вернее, множество сходных фактов в сфере речи» [Там же: 130].

Взаимодействие языка и речи Соссюр подробно прослеживает на явлениях *аналогии*. Он замечает, что «новообразование, которое является завершением аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере речи; оно — случайное творчество отдельного лица. Именно в этой сфере и вне языка следует искать зарождение данного явления. Однако при этом следует различать: 1) понимание отношения, связывающего между собою производящие формы; 2) подсказываемый сравнением результат, то есть форму, импровизируемую говорящим для выражения своей мысли. Только этот результат относится к области речи» [Там же: 199]. В то же время «аналогия показывает нам зависимость речи от языка и позволяет проникнуть в самую суть работы языкового механизма... Всякому новообразованию должно предшествовать бессознательное сравнение данных, хранящихся в сокровищнице языка, где производящие формы упорядочены согласно своим синтагматическим и ассоциативным отношениям.

Таким образом, — заключает Соссюр, — значительная часть образования по аналогии протекает еще до того, как появляется новая форма. Непрерывная

деятельность языка, заключающаяся в разложении наличных в нем элементов на единицы, содержит в себе не только все предпосылки для нормального функционирования речи, но также и все возможности аналогических образований. Поэтому ошибочно думать, — предупреждает ученый, — что процесс словотворчества приурочен точно к моменту возникновения новообразования; элементы нового слова были даны уже раньше. Импровизируемое мною слово, например *in-décor-able* “такой, которого невозможно украсить”, уже существует потенциально в языке: все его элементы встречаются в таких синтагмах, как *décor-er* “украшать”, *décor-ation* “украшение”, “декорация”; *pardonn-able* “простительный”, *mani-able* “такой, с которым удобно работать”, “гибкий”; *in-connu* “неизвестный”, *in-sensé* “безрассудный” и т. д., а его реализация в речи есть факт незначительный по сравнению с самой возможностью его образования.

Резюмируя, Соссюр утверждает, что «аналогия сама по себе есть лишь один из аспектов явления интерпретации, лишь частное проявление той общей деятельности, содержание которой состоит в обеспечении различения языковых единиц, чтобы затем их можно было использовать в речи» [Соссюр 1977: 200].

Наконец, единство языка и речи отчетливо обнаруживается в синтагматических отношениях, которые, возникая в речи, находятся во взаимозависимости с локализующимися в мозгу ассоциативными отношениями и опираются на них. По словам Соссюра, «в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представляется затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому что в создании ее участвовали оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые невозможно» [Там же: 157].

Указав на единство и взаимосвязанность языка и речи, Соссюр в то же время настаивает на необходимости их *различения*. Разграничение языка и речи вскрывает природу ряда *антиномий языка*, на которые и раньше обращали внимание, прежде всего В. Гумбольдт.

В первую очередь это относится к антиномии *социального* (коллективного) — *индивидуального*. О значении этой антиномии говорит хотя бы тот факт, что на ее основе в рамках психологического направления сложились две самостоятельные лингвистические концепции, одна из которых трактовала язык как продукт социальной психологии, а другая брала за основу индивидуальную психологию. Разграничивая язык и речь, Соссюр определяет язык как явление социальное и не зависящее от индивида [Там же: 57]. «Он представляет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду» [Там же: 52]. Язык независим от индивида в том смысле, что он находится «вне воли тех, кто им обладает» [Там же: 57], и индивид «сам по себе не может ни создавать его, ни изменять». «Язык не деятельность (*fonction*) говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности» [Там же: 52].

Однако, определяя язык как готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим, Соссюр не отказывается вовсе от гумбольдтовского понимания языка как деятельности. С точки зрения Соссюра, язык — деятельность в том смысле, что внутреннее строение языка непрерывно видоизменяется [Соссюр 1977: 206]. «Язык непрерывно интерпретирует и разлагает на составные части существующие в нем единицы» [Там же: 204]. Эта деятельность языка непрерывна и связана с деятельностью по обеспечению различения языковых единиц. Она обнаруживается в принципе аналогии (принципе языковых новообразований), явлении целиком грамматическом и синхроническом, характеризующем нормальное функционирование языка [Там же: 211] и предполагающем преднамеренность [Там же: 213].

Речь представляет собой индивидуальную сторону речевой деятельности. Это «индивидуальный акт воли и разума», причем от воли говорящих зависят оба выделяемые Соссюром аспекта речи: и индивидуальные «комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли» [Там же: 52], и акты фонации, в которых объективируются эти комбинации [Там же: 57]. Однако и свобода речи ограничена, так как «в речи синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан каждому человеку принуждением коллективного обычая» [Там же: 125], коль скоро говорящий пользуется языковым кодом для выражения своей мысли. «...Речь возможна лишь благодаря такому продукту, как язык, который снабжает индивида элементами для построения речи» (цит. по: [Слюсарева 1975: 14]). «...Сокровищница языка всегда необходима для говорения» (цит. по: [Там же: 10]).

Противоположение социального и индивидуального перекрещивается с противоположностью *общего* и *отдельного*, частного. «Язык существует в коллективе как совокупность впечатков, имеющихся у каждого в голове... Это, таким образом, нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем». Напротив, «в речи нет ничего коллективного...; здесь — нет ничего, кроме суммы частных случаев» [Соссюр 1977: 57]. Соответственно язык — это *существенное*, а речь — *побочное* и более или менее *случайное* [Там же: 52].

Поскольку язык существует в головах его носителей, то в языке как таковом можно усмотреть *единство социального и индивидуального, общего и отдельного*, а также *целого и части*. Дело в том, что язык как «грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ...не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе» [Там же].

Сходным образом раскрывается у Соссюра и *диалектика речи*. Если иметь в виду психическую ассоциацию данного понятия с соответствующим акустическим образом в мозгу говорящего и акт фонации, то речь носит индивидуальный характер, так как «исполнение никогда не производится коллективом; оно всегда индивидуально, и здесь всецело распоряжается индивид» [Там же: 51]. При этом, согласно Соссюру, «все органы речи являются столь же посторонними по отношению к языку, сколь посторонни по отношению к азбуке Морзе служащие для

передачи ее символов электрические аппараты. Фонация, то есть реализация акустических образов, ни в чем не затрагивает самой их системы» [Соссюр 1977: 56]. Однако, как показывает сам Соссюр, вовсе не доказано, что способность к речевой деятельности присуща человеку от природы: над деятельностью органов речи стоит социально обусловленная языковая способность [Там же: 48–49].

Что касается индивидуальных комбинаций, в которых говорящий использует код языка, то речь индивидуальна в силу индивидуальности этих комбинаций и социальна постольку, поскольку используется общий для всех говорящих языковой код. В частности, реализующиеся в речи индивидуальные новообразования обнаруживают явную зависимость речи от языка [Там же: 200]. Противопологая факты языка фактам речи, Соссюр считает характерным свойством речи свободу комбинирования элементов [Там же: 156–157]. В то время как факт языка запечатлен коллективным обычаем, имеет *узальный* характер, передается готовым, по традиции, отвечает общим типам, построен по определенным правилам, факт речи зависит от индивидуальной свободы и, следовательно, *окказионален*, случаен. Однако во многих случаях в создании данной комбинации единиц участвуют оба фактора: и коллективный обычай, и индивидуальная свобода. И что самое замечательное, «все эти новообразования вполне правильны» [Там же: 203], ибо опираются на синтагматические и ассоциативные отношения между элементами в системе языка. Благодаря этим отношениям создаются предпосылки нормального функционирования речи, в частности становится возможным свободное комбинирование элементов [Там же: 200]. Таким образом, язык, согласно Соссюру, есть *потенция*, возможность, речь — ее *реализация*.

Язык несвободен, устойчив и не может быть изменен по воле говорящих не только потому, что он является готовым продуктом социальных сил, который пассивно регистрируется говорящим, но и потому, что он *существует во времени и связан с прошлым* [Там же: 107]. Проявления речи, напротив, индивидуальны и *мгновенны* [Там же: 57]. С другой стороны, существование языка во времени делает его *изменчивым*, тогда как «речь функционирует лишь в рамках данного состояния языка, и в ней нет места изменениям, происходящим между одним состоянием и другим» [Там же: 122], «для говорящего не существует последовательности этих фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние» [Там же: 114]. Тем не менее изменяется язык лишь через речь [Там же: 130].

Наконец, «в языке всё психично» [Там же: 45], тогда как речь *психофизична, материальна* [Там же: 56–57].

Синхроническая и диахроническая лингвистика. Последующее *разделение лингвистики языка* происходит из того, что язык существует во времени. Вследствие действия фактора времени необходимо тщательно разграничивать *ось одновременности* и *ось последовательности*. Соответственно, язык может изучаться и с точки зрения отношений знаков в системе на оси одновременности, и с точки зрения отношений знаков во времени. Отсюда выделение *двух лингвистик. Наука о состояниях языка, синхронии, называется статической, или синхронической,*

лингвистикой, наука о фазах эволюции, диахронии, — эволюционной, или диахронической, лингвистикой.

Синхрония и диахрония подчиняются принципиально разным закономерностям. Их противоположность представляется Соссюру абсолютной и не терпящей компромисса [Соссюр 1977: 116]. В основе противопоставления лежит отношение синхронических и диахронических явлений к *системе* языка. «...Синхроническое явление не имеет ничего общего с диахроническим...: первое есть *отношение* между одновременно существующими элементами, второе — замена во времени одного элемента другим, то есть *событие*» (выделено мною. — Л. З.) [Там же: 124]. Синхронический факт, по Соссюру, всегда апеллирует к двум (по крайней мере) сосуществующим членам отношения, диахронический факт затрагивает лишь один член отношения [Там же: 118].

В каждом данном состоянии «язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической взаимообусловленности» [Там же: 120], так что синхроническая лингвистика оперирует значимостями и отношениями [Там же: 133]. Причем состояние языка, в сущности, не является абсолютно статичным, оно динамично, так как «язык всегда, хотя бы и минимально, всё же преобразуется» [Там же: 134]. Поэтому «состояние языка не есть математическая точка. Это более или менее продолжительный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих изменений остается ничтожно малой» [Там же: 133].

Система сама по себе неизменна, она никогда не изменяется непосредственно [Там же: 117]. «Изменения никогда не происходят во всей системе в целом» [Там же: 120], «изменению подвержены только отдельные элементы, независимо от связи, которая соединяет их со всей совокупностью» [Там же: 117], и от тех конкретных синхронических последствий, которые могут из него проистекать, ибо нет никакой внутренней связи между исходным изменением в той или другой точке системы и возможными последствиями этого изменения для целого [Там же: 120]. В этом смысле «диахронический факт является самодовлеющим событием» [Там же: 117] и, как полагает Соссюр, может изучаться только вне системы. В диахронической перспективе он видит «отнодь не язык, а только ряд видоизменяющихся его событий» [Там же: 123]. «В диахронической перспективе мы имеем дело с явлениями, которые не имеют никакого отношения к системам, хотя и обуславливают их» [Там же: 118].

Такой характер диахронических изменений тесно связан с произвольным характером языка и его независимостью от воли говорящих. В диахронических изменениях отсутствует намерение изменить систему [Там же], «всё происходит по чистой случайности» [Там же: 119], стихийно, бессознательно. Хотя «всякое изменение сказывается в свою очередь на системе» [Там же: 120], «диахронические события всегда в действительности носят случайный и частный характер» [Там же: 126], «сдвиги в системе происходят в результате событий, которые не только ей чужды..., но сами изолированы и не образуют в своей совокупности системы» [Там же: 127]. Диахронические факты, будучи навязанными языку, производят

определенное действие и в этом смысле носят императивный характер, однако они не имеют характера общности [Соссюр 1977: 125, 127].

Вследствие такого характера эволюции и всякое состояние имеет случайный характер. Хотя каждое данное состояние упорядочено и подчинено принципу регулярности [Там же: 125], синхронические факты «совершенно лишены какого-либо императивного характера» [Там же: 127], установившийся порядок не императивен, случаен и потому непрочен. Соотношение членов системы в каждом данном состоянии — «случайный и невольный результат эволюции» [Там же: 119], и оно не лучше служит для выражения тех или иных значений, чем прежде.

Всё это лишний раз выявляет произвольный характер языка. Отсутствие естественной связи между двумя сторонами языкового знака означает отсутствие в языке «внутренней значимости» [Там же: 151]. Относительный же характер значимостей не препятствует изменению отношений между элементами знака.

В результате сопоставления диахронических фактов с синхроническими Соссюр приходит к выводу, что «это различие по существу между сменяющимися элементами и элементами сосуществующими, между частными фактами и фактами, затрагивающими систему, препятствует изучению тех и других в рамках одной науки» [Там же: 120].

«Синхроническая лингвистика должна заниматься логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующие систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.

Диахроническая лингвистика, напротив, должна изучать отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием, то есть элементы, последовательно сменяющие друг друга и не образующие в своей совокупности системы» [Там же: 132].

Настаивая на различии синхронии и диахронии, синхронической и диахронической лингвистики, Соссюр указывал также на различия в методах синхронических и диахронических исследований и недопустимость их смешения [Там же].

Метод синхронии состоит в собирании языковых фактов от говорящих на данном языке, в изучении *языкового сознания* носителей языка. «...Чтобы убедиться, в какой мере то или другое языковое явление реально, необходимо и достаточно выяснить, в какой мере оно существует в сознании говорящих» [Там же: 123]. Свидетельствам говорящих Соссюр придает большее значение, нежели анализу лингвиста: «...В конечном счете непререкаемое значение имеет только анализ говорящих, так как он непосредственно базируется на фактах языка» [Там же: 218]. (Ср. с аналогичными идеями И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы [Бодуэн де Куртенэ 1963; Щерба 1974].)

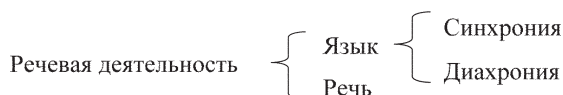
Диахроническая лингвистика оперирует двумя методами:

1) *проспективным*, опирающимся на памятники письменности, причем не обязательно одного языка, и 2) *ретроспективным* методом реконструкции, который опирается на сравнение путем индукции [Соссюр 1977: 123, 248–249].

Недопустимость смешения методов синхронии и диахронии Соссюр обосновывает тем, что «для говорящего не существует последовательности этих фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние. Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание говорящих» [Соссюр 1977: 114–115].

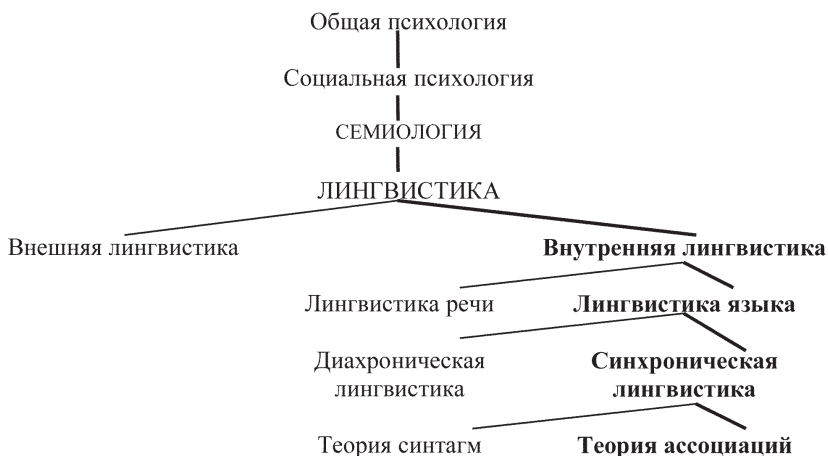
В своей оценке роли синхронического и диахронического аспектов Соссюр исходит из их значения для носителей языка. Поскольку для говорящих подлинной и единственной реальностью является только синхрония (им непосредственно дано лишь состояние), синхронический аспект превалирует над диахроническим. Поэтому одностороннее изучение синхронии предпочтительнее односторонности исторического подхода, и, по мнению Соссюра, лингвистике от периода увлечения диахронией необходимо «вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики, но уже понятой в новом духе, обогащенной новыми приемами и обновленной историческим методом, который, таким образом, косвенно помогает лучше осознавать состояния языка» [Там же: 115–116].

В целом лингвистическая наука, а точнее — внутренняя лингвистика, должна принять, согласно Соссюру, следующую рациональную форму [Там же: 131]:



Синхроническая лингвистика, изучая отношения между сосуществующими фактами в двух разных сферах, в свою очередь, разделяется на теорию ассоциаций и теорию синтагм [Там же: 169].

Таким образом, структуру лингвистики и ее связи с другими науками можно представить следующей схемой:



2. СИСТЕМА ЯЗЫКА

Знак в системе языка. Язык, по Соссюру, — это система знаков. *Языковой знак является двусторонней психической сущностью и представляет собой ассоциативную связь понятия (означаемого) и акустического образа слова (означающего)*. Но это определение верно лишь до некоторой степени [Соссюр 1977: 150]: «взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием является серьезным заблуждением» [Там же: 146], поскольку «язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии... двух аморфных масс» [Там же: 145] — мышления и звуковой субстанции. Ни в мышлении, ни в звуковой субстанции ничто четко не разграничено [Там же: 144]. Соответственно и «язык — это не просто совокупность заранее разграниченных знаков, ...в действительности язык представляет собой расплывчатую массу, в которой только внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее элементы» [Там же: 136].

Так как, во-первых, в языке нет ни заранее данных, предустановленных понятий, ни заранее разграниченных звуковых сегментов, а во-вторых, «...выбор определенного отрезка звучания для определенного понятия совершенно произволен» [Там же: 145], то означаемое и означающее знака определяются исключительно наличным состоянием входящих в систему элементов. Следовательно, и означаемое, и означающее — величины относительные. Они представляют собой значимости (= ценности), которые определяются своими отношениями к прочим членам системы, причем определяются исключительно отрицательно. Последнее существенно отличает язык, например, от политэкономии, где «...одной из своих сторон значимость связана с реальными вещами и с их естественными отношениями» [Там же: 113], ибо здесь понятие ценности (= значимости) предполагает «1) наличие какой-либо *непохожей* вещи, которую можно *обменивать* на то, ценность чего подлежит определению; 2) наличие каких-то *сходных* вещей, которые можно *сравнивать* с тем, о ценности чего идет речь» [Там же: 148]. Связь ценности с вещами «дает ей естественную базу, а потому вытекающие из этого оценки никогда не являются вполне произвольными, они могут варьировать, но в ограниченных пределах» [Там же: 114].

Иначе в языке, где «...значимость каждого элемента зависит лишь от его противоположения всем прочим элементам» [Там же: 121]. Хотя как будто бы «...и слову может быть поставлено в соответствие нечто непохожее на него, например понятие, а с другой стороны, оно может быть сопоставлено с чем-то ему однородным, а именно с другими словами» [Там же: 148], однако слова не служат для выражения заранее данных понятий [Там же: 144]. «...Языковые символы не связаны с тем, что они должны обозначать» (цит. по: [Соссюр 1990: 101]), и словесный знак «...сам по себе никакого присущего ему значения не имеет» [Соссюр 1977: 162]. Означаемое понятие «является лишь значимостью, определяемой своими отношениями к другим значимостям того же порядка» [Там же: 150]. Точно так же

и означающее «создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые ограничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов» [Соссюр 1977: 151]. Так как «...нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить» [Там же: 150], то в отличие от политэкономии, где варьирование ценности ограничено некоторыми пределами, в слове нет ничего, ограничивающего действие фонетических изменений. «Это свойство фонетических изменений обусловлено произвольностью знака, ничем не связанного со значением» [Там же: 184]. Важно лишь, чтобы данный знак отличался от других. Поэтому «произвольность и дифференциальность суть два коррелятивных свойства» [Там же: 150]. Оба компонента знака чисто дифференциальны [Там же: 154]. Как величины чисто дифференциальные и отрицательные означаемое и означающее представляют собой целиком относительные чистые значимости.

Язык как система. Единицы и отношения между ними. Указанные свойства составляющих знака заставляют Соссюра внести уточнение в определение языка как знаковой системы: «язык есть система чистых значимостей» [Там же: 113]. «В языке, как и во всякой семиологической системе, — утверждает ученый, — то, что отличает один знак от других, и есть всё то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу». «Отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей» [Там же: 154] и обеспечивают ее тождество. Иначе говоря, «понятие тождества сливается с понятием значимости» [Там же: 143], а так как эти «значимости целиком относительны» [Там же: 145–146], положительные свойства языковых единиц не играют роли в отождествлении последних. «Весь механизм языка зиждется исключительно на тождествах и различиях, причем эти последние являются лишь оборотной стороной первых» [Там же: 141]. «Весь механизм языка... покоится на... противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях» [Там же: 153–154]. «Языковая система есть ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в понятиях» [Там же: 153].

Чтобы выявить различия, необходимо исследовать отношения между единицами языка. По Соссюру, «образующая язык совокупность звуковых и смысловых различий является результатом двоякого рода сближений — ассоциативных и синтагматических. ...Именно эта совокупность отношений составляет язык и определяет его функционирование» [Там же: 160].

Таким образом, последовательно уточняемые Соссюром определения языка развертываются в следующем порядке: 1) язык — *система знаков*, 2) язык — *система значимостей*, 3) язык — *совокупность отношений*. Так постепенно понятие системы редуцируется до понятия *структуры* как совокупности отношений. Основой для такой редукции служит в конечном счете то, как понимает Соссюр отношения между языком и мышлением.

При установлении элементов языка и принципов их отождествления основополагающим для Соссюра является определение языка как системы противопоставлений, как совокупности отношений. С его точки зрения, конкретные единицы,

выступающие в качестве членов системы, можно выделить только исходя из совокупной целостности [Соссюр 1977: 146], ибо в языке «ничто не может существовать в одном члене» (цит. по: [Слюсарева 1975: 54–55, 72]). Каждый из членов системы, входя в противопоставления с другими ее членами, образуется целым рядом взаимодействующих противопоставлений внутри системы и является результатом совокупного ряда отношений [Соссюр 1977: 154].

Опираясь на учение представителя Казанской лингвистической школы Н. В. Крушевского об ассоциациях по смежности и ассоциациях по сходству [Крушевский 1998], Соссюр выделяет два основных типа отношений — *синтагматические* и *ассоциативные* (позднее получившие название *парадигматических*).

Синтагматические отношения — *отношения сочетаемости, комбинаторики языковых единиц одного ранга*. «Как правило, мы говорим не изолированными знаками, но сочетаниями знаков, организованными множествами, которые в свою очередь тоже являются знаками» [Соссюр 1977: 161]. Эти сочетания, эти составные, сложные единицы всякого рода и любой длины (сложные и производные слова, члены предложения, целые предложения) Соссюр назвал *синтагмами*. Синтагматические отношения даны *in praesentia* и основываются на протяженности. Они строятся на противопоставлении и взаимной связи элементов в составе синтагм как единиц высшего порядка. Синтагматические отношения включают *взаимоотношения между частями синтагмы*, с одной стороны, и *их отношения к синтагме в целом* — с другой. «Значимость целого определяется его частями, значимость частей — их местом в целом; вот почему синтагматическое отношение части к целому столь же важно, как и отношение между частями целого» [Там же: 160].

Так как в создании синтагм участвуют и коллективный обычай, и индивидуальная свобода, то в области синтагм нет резких границ между фактами языка и фактами речи. Критерием для отнесения синтагмы к языку или речи служит степень свободы комбинирования элементов. Синтагмы, являющиеся плодом импровизации и отличающиеся свободой комбинирования элементов, Соссюр относит к речи. В частности, речи принадлежит, по Соссюру, такое типичное проявление синтагмы, как предложение. Напротив, все готовые, узуально закрепленные речения, выражения, слова, в которых обычай воспрещает что-либо менять и которые передаются готовыми, по традиции, относятся к языку. «К языку, а не к речи надо отнести и все типы синтагм, которые построены по определенным правилам». Это могут быть и производные слова, образованные по определенному типу, «каковой в свою очередь возможен лишь в силу наличия в памяти достаточного количества подобных слов, принадлежащих языку». Это могут быть также предложения и словосочетания, если они составлены по определенному шаблону и «отвечают общим типам, которые в свою очередь принадлежат языку, сохраняясь в памяти говорящих» [Там же: 157]. «Наша память хранит все более или менее сложные *типы* (выделено мною. — Л. З.) синтагм, какого бы рода и какой бы протяженности они ни были» [Там же: 162]. Следовательно, *к языку относятся* не только *единицы*, но также *их типы* и *правила их построения*.

Если синтагматическое отношение опирается на протяженность двух или более единиц, «в равной степени наличных в актуальной последовательности» [Соссюр 1977: 156], то *ассоциативное отношение соединяет сходные той или иной чертой единицы* вне процесса речи, *in absentia*. Они локализируются в мозгу, в сознании, в памяти и принадлежат собственно языку. «Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не ограничиваются сближением членов отношения, имеющих нечто общее, — ум схватывает и характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений». Это может быть «либо общность как по смыслу, так и по форме, либо только по форме, либо только по смыслу. Любое слово всегда может вызвать в памяти все, что способно тем или иным способом с ним ассоциироваться. <...> Любой член группы можно рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку, где сходятся другие, координируемые с ним члены группы, число которых безгранично» [Там же: 158]. Ограниченность ассоциативной группы определенным количеством членов, впрочем, возможна. Она характеризует, например, парадигмы словоизменения. Порядок следования членов ассоциативной группы, в том числе и в составе словоизменительной парадигмы, Соссюру представляется неопределенным. Это отличает ассоциативную группу от синтагмы, в которой и число, и последовательность элементов определены.

Синтагматические группы связаны взаимозависимостью с ассоциативными и обуславливают друг друга. Синтагматические отношения способствуют созданию ассоциативных, а ассоциативные необходимы для выделения составных частей синтагм. Данная синтагма является таковой и может быть разложена на единицы низшего порядка только в том случае, если существуют другие синтагмы и ассоциативные ряды, включающие эти низшие единицы. В случае исчезновения таких форм бывшая синтагма становится простой единицей и ее части не противопоставляются друг другу.

Соссюр показывает функционирование этой двоякой системы в речи. Употребление той или иной формы, ее выделение, ее выбор определяется совместным действием синтагматических и ассоциативных противопоставлений и производится из целой системы форм. Так, например, значимость и адекватное понимание формы *marchons!* ‘идем!’ обеспечиваются наличием целой скрытой системы противопоставлений данной синтагмы другим, ассоциирующимся с ней по одному из общих элементов: с одной стороны, *marche!* ‘иди!’, *marchez!* ‘идите!’, а с другой — *montons!* ‘взойдем!’, *mangeons!* ‘съедем!’ [Там же: 162–163].

Указанная система противопоставлений, взаимодействие синтагматических единств и ассоциативных групп служит основанием для *разложения* наличных в языке *элементов на составные части* и, значит, для разделения единиц на единицы низшего и высшего порядка (более мелкие и более крупные).

Соссюр считал, что описание данного состояния языка (его грамматика в широком смысле слова) должно основываться на различении синтагматических и ассоциативных отношений. При этом следует отказаться от принятого разграничения

морфологии, синтаксиса, лексикологии, во-первых, потому, что формы и функции образуют единство и нельзя разъединять изучение форм и функций языковых единиц, а во-вторых, потому, что отношения между языковыми единицами во многих случаях с равным успехом могут быть выражены как грамматически, так и лексически [Соссюр 1977: 167–169].

3. ПРИРОДА МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ РАЗЛИЧИЙ

Все языки и в каждом данном состоянии, и в диахронии подчиняются некоторым общим, постоянным принципам, вследствие чего «различия языков таят в себе глубокое единство» [Соссюр 1977: 131].

Рассматривая язык во времени и в пространстве, Соссюр приходит к выводу, что «языковая дифференциация обусловлена именно временем», а географическое разнообразие языков, на которое лингвистика обратила внимание прежде всего, — явление вторичное, ибо «само по себе пространство не может оказывать никакого влияния на язык», в частности «само по себе разобщение не создает различий» [Там же: 234].

В отличие от своих предшественников Соссюр выводит характер межъязыковых различий из особенностей языка как знаковой системы. Основным отличительным признаком, который может быть использован при классификации языков, является *степень мотивированности знаков*, или, иначе, *лексичность / грамматичность языка*. «Во всех языках имеются двоякого рода элементы — целиком произвольные и относительно мотивированные, — но в весьма разных пропорциях» [Там же: 165]. В одних языках преобладает склонность к употреблению лексических средств и соответственно господствуют немотивированные знаки. В других языках отношения предпочтительно выражаются с помощью грамматических средств и в результате здесь выше доля мотивированных знаков. Те языки, в которых немотивированность максимальна, Соссюр называет *лексическими*, а те, где она составляет минимум, — *грамматическими*. В частности, китайский язык — ультралексический, санскрит — ультраграмматический. (Как видно, и по критерию, избранному Соссюром, изолирующие и флективные языки оказываются на разных полюсах.)

Остальные указанные Соссюром признаки, отличающие один язык от другого, вытекают из различий в степени мотивированности знаков. Так, от грамматичности / лексичности языка и соответственно от большей или меньшей степени разложимости слова зависит его *способность производить новые слова*, а значит, и пропорция между продуктивными и непродуктивными (простыми) словами [Там же: 200–201].

По той же причине различается и *степень осознания частей слова* носителями языка. Грамматичность языка, а значит, и высокая частота относительно мотивированных знаков, разложимых на составные элементы, благоприятствует осознанию последних. Так, «латинский язык сильно способствовал осознанию частей слова

(основ, суффиксов и т. д.) и их взаимодействия. В наших современных языках это чувство развито у говорящих, вероятно, в меньшей степени, но у немцев оно всё же острее, чем у французов» [Соссюр 1977: 202]. Дело, очевидно, еще и в том, что в более грамматичных языках у соответствующих частей слова вырабатываются определенные характерные свойства. Благодаря им корень в семитских языках и в немецком ощущается сильнее, чем, например, во французском [Там же: 222].

4. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА

Согласно Соссюру, закономерности языкового развития отражают все существенные свойства языка: его социальную природу, существование языка во времени, знаковый характер и такие дихотомии, как язык и речь, социальное и индивидуальное.

Сама сущность эволюции, ее характер трактуются с *семиологических* позиций.

Язык существует во времени, а «время изменяет всё» [Соссюр 1977: 109]. Поэтому и «язык непрестанно развивается» [Там же: 65], чему способствует принцип произвольности языкового знака. При отсутствии естественной связи между означаемым и означающим «язык коренным образом не способен сопротивляться факторам, постоянно меняющим отношения между означаемым и означающим» [Там же: 108]. «Поскольку абсолютной неподвижности языка не существует..., постольку по истечении некоторого времени рассматриваемый язык уже не будет тождественным самому себе» [Там же: 235]. Абсолютное состояние, совершенно статичное, в сущности невозможно [Там же: 134].

Но эволюция «может быть различной в отношении темпа и интенсивности» [Там же: 173]. Языковые преобразования осуществляются весьма неравномерно как в отдельные периоды развития одного и того же языка, так и в разных сосуществующих языках одного периода: «...Случается, что в течение сравнительно долгого промежутка времени язык почти не изменяется, а затем в какие-нибудь несколько лет претерпевает значительные изменения. Из двух сосуществующих в одном периоде языков один может сильно эволюционировать, а другой почти вовсе не измениться» [Там же: 133–134].

Непрерывность языка и его развития предполагает его *преемственность* и действие в нем закона традиции. «...Язык всегда унаследован от предшествующей эпохи» [Там же: 107] и «в любой момент является не более как продолжением состояния, существовавшего до него» [Там же: 252]. «...Исторический фактор преемственности господствует в нем полностью и исключает возможность какого-либо общего и внезапного изменения» [Там же: 105]. «При всяком изменении преобладающим моментом является устойчивость прежнего материала, неверность прошлому лишь относительна. Вот почему принцип изменения опирается на принцип непрерывности» [Там же: 107]. Так, «если иметь в виду субстанцию французской речи, то можно сказать, что французский язык на $\frac{4}{5}$ восходит к индоевропейскому». Это объясняется тем, что «в великом множестве изменений по аналогии,

охватывающих целые столетия развития, почти все старые элементы сохраняются и только иначе распределяются» [Соссюр 1977: 206].

В отличие от развития человеческого рода «изменения языка не связаны со сменной поколений», тем более что последние «перемешаны между собой и проникают одно в другое, причем каждое из них включает лиц различных возрастов» [Там же: 105]. Общество по отношению к языку выступает как консервативный фактор [Там же: 107]. То обстоятельство, что «языком каждый пользуется ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех», обуславливает невозможность революции в языке [Там же: 106]. «Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора». Хотя вследствие произвольности знака выбор означаемого свободен [Там же: 107], но по той же причине «он не поддается никакой произвольной замене» [Там же: 105]: ведь «нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить» [Там же: 150]. «Именно потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным только потому, что опирается на традицию» [Там же: 107].

Произвольностью знака Соссюр объясняет и *независимость языковых изменений от воли говорящих* [Там же: 106]. «...Изменения происходят без всякого намерения» [Там же: 118]. «...Так как язык существует одновременно и в обществе и во времени, то никто ничего не может в нем изменить» [Там же: 108–109]. Неспособность говорящих сознательно изменить язык обусловлена также множественностью знаков и слишком сложным характером языковой системы [Там же: 106]. Отсюда приписываемая ей Соссюром неизменность [Там же: 117]. Итак, язык как социальное явление устойчив.

Источник изменений — речь индивида [Там же: 130]. «...Все явления эволюции коренятся в сфере деятельности индивида» [Там же: 203]. В истории любой инновации Соссюр отмечает «два момента: 1) момент появления ее у отдельных лиц и 2) момент превращения ее в факт языка, когда она, внешне оставаясь той же, принимается всем языковым коллективом» [Там же: 131].

В чем же состоит эволюция языка и как она происходит?

Исходная *предпосылка языковой эволюции — произвольность знака*. «...Произвольность его (языка. — Л. З.) знаков теоретически обеспечивает свободу устанавливать любые отношения между звуковым материалом и понятиями. Из этого следует, что оба элемента, объединенные в знаке, живут в небывалой степени обособленно и что язык изменяется, или, вернее, эволюционирует, под воздействием всех сил, которые могут повлиять либо на звуки, либо на смысл» [Там же: 109].

Однако *Соссюр не исключает связи между изменением означаемого и означаемого*. «Когда в результате фонетических изменений два элемента смешиваются (например, франц. *décéripit* при лат. *dēcrepītus* и франц. *décéripī* при лат. *crispus*...¹),

¹ Франц. *décéripit* ‘дряхлый’, *décéripī* ‘облупившийся’; лат. *dēcrepītus* ‘дряхлый’, *crispus* ‘волнистый’, ‘курчавый’.

то и понятие проявляет тенденцию к смешению, если только этому благоприятствуют данные. А если слово дифференцируется, как, например, франц. *chaise* ‘стул’ и *chaire* ‘кафедра’? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым, что, впрочем, удается далеко не всегда и не сразу. И наоборот, всякое концептуальное различие, усмотренное мыслью, стремится выразить себя в различных означающих, а два понятия, более неразличаемые в мысли, стремятся слиться в одном означающем» [Соссюр 1977: 153]. Все эти явления Соссюр склонен объяснять свойствами языкового сознания человека. Хотя язык — не механизм для выражения понятий, но «каждый раз, как возникает новое состояние, разум одухотворяет уже данную материю и как бы вдыхает в нее жизнь» [Там же: 118]. Так происходит, например, в случае чередований звуков, когда «сознание ухватывается за это материальное различие с целью сделать его значимым и связать его с различием понятий» [Там же: 192]. В случае аналогических новообразований, «поскольку языку не свойственно сохранять два означающих для одного понятия, обычно первоначальная форма, как менее регулярная, сперва начинает употребляться реже, а затем и вовсе исчезает» [Там же: 198].

Изменение даже одного из компонентов знака приводит к изменению *соотношения* их обоих. «...Изменчивость знака есть не что иное, как сдвиг отношения между означающим и означаемым. Это определение применимо не только к изменямости входящих в систему элементов, но и к эволюции самой системы; в этом именно и заключается диахрония в целом» [Там же: 216]. В результате сдвига указанного отношения меняется *степень произвольности*: одни языковые знаки приобретают абсолютно произвольный характер, другие становятся относительно мотивированными. «Внутри отдельного языка всё его эволюционное движение может выражаться в непрерывном переходе от мотивированного к произвольному и от произвольного к мотивированному; в результате этих разнонаправленных течений сплошь и рядом происходит значительный сдвиг в отношении между этими двумя категориями знаков. Так, например, французский язык по сравнению с латинским характеризуется, между прочим, огромным возрастанием произвольного: лат. *inimicus* ‘враг’ распадается на *in-* (отрицание) и *amicus* ‘друг’ и ими мотивируется, а франц. *ennemi* ‘враг’ не мотивировано ничем, оно всецело относится к сфере абсолютно произвольного, к чему, впрочем, в конце концов, сводится всякий языковой знак. <...> Этот прирост элементов произвольностей — одна из характернейших черт французского языка» [Там же: 166].

При рассмотрении традиционно выделяемых *типов языковых преобразований*: фонетических изменений, аналогии, народной этимологии, агглютинации — Соссюр, как и его предшественники, ведущую роль отводит двум первым типам.

Соссюр специально подчеркивает *отражение в фонетических изменениях принципа произвольности знака*. Отсутствие связи означающего с означаемым приводит к тому, что «фонетические явления не встречают никакого ограничения» [Там же: 185] и происходят безотносительно к значениям. «Наивно думать, — предупреждает Соссюр, — что слово может видоизменяться лишь до определенного

предела, как будто в нем есть нечто оберегающее его от дальнейших изменений. <...> ...Нельзя предвидеть заранее, до какой степени это слово стало или станет неузнаваемым» [Соссюр 1977: 184]. Фонетические изменения охватывают слова независимо не только от их лексических значений. Грамматические свойства слова, его частеречная принадлежность также не играют роли. Не имеет значения и то, обладает ли данный звук грамматической значимостью или нет. В этой независимости фонетических изменений от грамматики, а значит, и от синхронии, и состоит, по Соссюру, «слепой» характер звуковых изменений [Там же: 185].

«...Фонетические изменения являются деструктивным фактором в жизни языка» в том смысле, что «они способствуют ослаблению грамматических связей, объединяющих между собою слова» [Там же: 195]. В частности, разрываются деривационные отношения между производящими и производными словами, затемняются связи между формами одного и того же слова [Там же: 186–187], стирается сложное строение слова, если вследствие фонетического изменения «отдельные значимые части слова теряют способность выделяться: слово становится неделимым целым» [Там же: 187]. В результате в языке уменьшается доля относительно мотивированных знаков, и «абсолютная произвольность оттесняет на задний план относительную произвольность» [Там же: 195].

Существенные коррективы вносит Соссюр в понятие *аналогии*. Прежде всего, как показывает Соссюр, аналогия сама по себе не может считаться изменением, так как это не диахроническое, а синхроническое, грамматическое явление [Там же: 199–200]. В его основе лежит осознание и понимание отношений, связывающих формы между собой в данном языковом состоянии, ибо *аналогия апеллирует и к ассоциативным рядам, и к синтагмам. Принцип аналогии есть в сущности принцип языковых новообразований*. Но не будучи фактом эволюции, аналогия тем не менее становится мощным эволюционным фактором, превосходящим по своей роли звуковые изменения, поскольку она вызывает непрестанную замену старых, нерегулярных форм новыми, более правильными, составленными из живых элементов.

Соссюр обращает внимание на двоякую роль аналогии в жизни языка. С одной стороны, аналогия выступает как *консервативный*, охраняющий, стабилизирующий фактор. Во-первых, потому, что «она для своих инноваций пользуется исключительно старым материалом» [Там же: 206–207], старыми элементами, лишь по-новому их распределяя. Во-вторых, потому, что благодаря непрерывному возобновлению по аналогии прежние формы сохраняются в неприкосновенности; составляющие их элементы, поддержанные регулярными соответствиями в других ассоциативных рядах, не изменяются. Своей устойчивостью прежние слова и формы обязаны аналогии не меньше, чем новообразования.

С другой стороны, аналогия действует как *преобразующее* начало. В особенности активно преобразующее действие аналогии сказывается в отношении форм с ограниченными ассоциативными связями [Там же: 208]. Еще важнее то обстоятельство, что благодаря аналогии в языке закрепляются те изменения в интерпретации языковых единиц и их разложении на составные части, которые произошли

под влиянием фонетических изменений и агглютинации, в результате которой «из сочетания отдельных элементов возникает единое целое» [Соссюр 1977: 204].

Таким образом, «не являясь сама по себе фактом эволюции, она (аналогия. — Л. З.) тем не менее в каждый момент отражает изменения, происходящие в системе языка, и закрепляет их новыми комбинациями старых элементов. Она принимает активное участие в деятельности всех тех сил, которые беспрерывно видоизменяют внутреннее строение языка. В этом смысле она может считаться мощным фактором эволюции» [Там же: 206]. Причем в отличие от фонетических изменений аналогия является не деструктивным, а *конструктивным* фактором, ибо «аналогия действует в направлении большей регулярности и стремится унифицировать способы словообразования и словоизменения» [Там же: 196], тем самым способствуя увеличению доли относительно мотивированных знаков.

Несмотря на все различия между фонетическими изменениями и аналогическими образованиями, между ними есть и нечто общее, а именно — *непредсказуемость* тех и других. Точно так же как невозможно предвидеть, где прекратятся фонетические изменения и до какой степени преобразится данное слово [Там же: 184], так «нельзя наперед сказать, до какого предела распространится подражание образцу и каковы те типы, по которым будут равняться другие. Так, далеко не всегда образцом для подражания при аналогии служат наиболее многочисленные формы» [Там же: 196], и не все однотипные формы подвергаются ее действию. Следовательно, хотя «аналогия есть прием, предполагающий анализ и соединение (*combinaison*), умственную деятельность и преднамеренность» [Там же:], «у нее есть и свои капризы» [Там же: 196], свидетельствующие об ограниченном действии преднамеренности и в случае аналогии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЯЗЫК В ЗЕРКАЛЕ ЗНАКОВЫХ ТЕОРИЙ

1. Синтезирующий подход:

ПЛАТОН, В. фон Гумбольдт, А. А. Потемня

«...Специфика языкового знака есть не что иное, как сам же человек» [Лосев 1982а: 126]. Поэтому степень адекватности той или иной знаковой теории языка его сути и функциям определяется тем, в какой мере отражены в ней единство человека и природы, человека и общества, единство в человеке природного и социального, физического и психического, единство в человеческой психике бессознательного и сознания, чувственного и рационального, единство в человеке общего, особенного и отдельного, единство исторического процесса, а также единство языка и мышления, единство в языке формы и содержания.

Само понимание природы языкового знака и его свойств зависит прежде всего от того, насколько учитывается триединство мира, человека и языка, единство объективного и субъективного, отражения и обозначения.

ПЛАТОН. По существу, это единство было отчетливо осознано уже в первой системной концепции языкового знака, а именно в учении Платона, диалектически синтезировавшего в диалоге «Кратил» две теории именования — по природе вещей и по установлению [Платон 1990: 613–681]. (См. глубокий комментарий А. Ф. Лосева [Лосев 1990б: 826–835], послуживший опорой при анализе диалога.)

Согласно Платону, структуру знака составляют 4 компонента: 1) пребывающая в вечном становлении *вещь*; 2) ее *идея, эйдос, образ* как порождающее устойчивое сущностное начало; 3) *эйдос, образ имени*, подобающий, подражающий сущности вещи (т. е. образ образа); 4) воплощение образа имени в слогах и буквах, *чувственно воспринимаемое слово–знак*.

Ведущую роль в этой структуре Платон как объективный идеалист отводит идеальным, образным составляющим, и в первую очередь эйдосу обозначаемой вещи. Платон исходит из того, что, несмотря на постоянное становление, «сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность безотносительно к нам и независимо от нас», «они возникают сами по себе, соответственно своей сущности» [Платон 1990: 617]. Познающий и именующий субъект (законодатель, учредитель, присвоитель имен) «воссоздает образ имени, подобающий каждой вещи»

[Платон 1990: 621], путем подражания ее сущности, а не каким-либо внешним свойствам — звучанию, очертаниям, цвету, тоже имеющим какую-то сущность [Там же: 661].

Правильность наименования зависит и от того, верно или нет постигал вещи учредитель имен [Там же: 676], и от того, насколько владел он искусством наименования [Там же: 666–667, 670–671].

«...Хорошо установленные имена подобны тем вещам, которым они присвоены», и представляют собой изображения вещей [Там же: 679]. Это сближает имена с живописными произведениями. Ведь имя, считает Платон, «в некотором роде есть подражание, как и картина» [Там же: 669]. А так как при изображении чего-то определенного и вообще при всяком изображении «вовсе не нужно воссоздавать все черты, присущие предмету, чтобы получить образ», то имена, подражающие вещам, изображающие их, и сами вещи не должны быть «во всем друг другу тождественны». Главное, чтобы в образе имени сохранялся «основной облик вещи» [Там же: 671]. «Пока сохраняется этот основной вид, пусть отражены и не все подобающие черты, всё равно можно вести речь о данной вещи» [Там же: 672]. «И пока имя выражает вложенный в него смысл, оно остается правильным для того, что оно выражает» [Там же: 626].

Подобно тому как «всякое изображение требует своих средств» [Там же: 662], так и образ имени нуждается в материальном воплощении. Учредитель первых имен, предполагает Платон, опирался на явления звуко-символизма и давал вещам названия путем подражания сходным их свойствам [Там же: 664], словно примеряя звуки к вещам [Там же: 662]. Ориентируясь на образ имени, подражающий сущности вещи, «он подбирал по буквам и слогам *знак* (выделено мною. — Л. З.) для каждой вещи» [Там же: 665]. Естественно, здесь открывался простор для субъективного произвола учредителя имен. Отсюда знаковый характер звуковой стороны имени в ее отношении к идее как имени, так и вещи. Это подтверждается, с одной стороны, звуковыми изменениями, вследствие которых имя может настолько изменить со временем свой внешний вид, что первоначально выражаемый смысл станет недоступным [Там же: 650, 654, 658]. С другой стороны, о знаковом характере звуковой формы имен свидетельствует явление синонимии. В самом деле, замечает Платон, имеется много имен, «которые разнятся буквами и слогами, а смысл имеют один и тот же» [Там же: 626]. Следовательно, «теми же ли слогами или другими будет обозначено одно и то же — не имеет значения. И если какая-то буква прибавится или отнимется, неважно и это, доколе остается нетронутой сущность вещи, выраженная в имени» [Там же: 625], так что «сведущий в именах рассматривает их значение, и его не сбивает с толку, если какая-то буква приставляется, переставляется или отнимается или даже смысл этого имени выражен совсем в других буквах» [Там же: 626].

Знаковость, понимаемая как известная независимость, произвольность звуковой стороны имени в ее отношении к вещи и ее идее, следует и из межъязыковых различий в названиях идентичных вещей. Тем не менее, предупреждает Платон,

«если не каждый законодатель воплощает имя в одних и тех же слогах, это не должно вызывать у нас недоумение». Будь он эллин или варвар, «пока он воссоздает образ имени, подобающий каждой вещи, в каких бы то ни было слогах, ничуть не хуже будет здешний законодатель, чем где-нибудь еще» [Платон 1990: 621].

Поскольку в единстве объективного и субъективного, отражения и обозначения их соотношение может быть различным в зависимости от глубины постижения субъектом (учредителем имен) объективной сущности вещей, познавательная ценность имен, начиная с первых и кончая позднейшими, по Платону, неодинакова. Только в той мере, в какой имя — его образ, идея, смысл — отражает сущность вещи, можно признать: «кто знает имена, знает и вещи» [Там же: 675]. Но, будучи низшей ступенью познания, имя дает самое неопределенное и недостаточное знание из выделенных Платоном четырех ступеней познания [Платон 1994: 483]. Ведь идея, образ даже хорошо установленного имени в силу своей вторичности семантически всегда беднее, чем идея вещи, подобием которой оно является. Если же учесть также возможные ошибки учредителя имен в постижении сущности вещей при их наименовании и возможное затемнение первоначального смысла с течением времени, то «не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих» [Платон 1990: 679].

В. фон ГУМБОЛЬДТ. Важнейшим этапом в исследовании языка как единства объективного и субъективного, отражения и обозначения явилось учение В. фон Гумбольдта. Согласно Гумбольдту, язык выступает посредником между миром и человеком, природой и духом. Это его детерминантное свойство. В результате взаимосвязанных воздействий реальной природы вещей, субъективной природы народа и своеобразной природы языка¹ каждый отдельный язык «одновременно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах и [не целиком] произвольное творение говорящего» [Гумбольдт 1984: 319–320]. Соотношение отражательных и знаковых свойств разнится от языка к языку в зависимости от духа данного народа, от способа укоренения его в действительности [Там же: 172], а именно от индивидуальной направленности народа на чувственное созерцание, на внутреннее восприятие или на отвлеченное мышление [Там же: 177], и, следовательно, от того, «вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности» [Там же: 104]. В соответствии с преобладающей направленностью сознания либо на глубины духа, либо на внешнюю действительность [Там же: 173], «один язык несет в себе больше последствий своего употребления, больше условности, произвола, другой же ближе стоит к природе» [Гумбольдт 1985: 379–380].

Активное взаимодействие языка с природой и духом, превращающее язык в единстве с существующим благодаря ему мышлением в орган оригинального мышления и восприятия нации, не позволяет сводить язык к номенклатуре предметов

¹ Самому языку принадлежит, в частности, художественный творческий принцип, сближающий его с искусством [Гумбольдт 1984: 109].

и/или понятий. «Тот, кто задумывался когда-либо над природой языка, не осмелится утверждать, — полагает Гумбольдт, — что язык — это совокупность произвольных или случайно употребляющихся знаков понятий, что слово не имеет другого назначения и силы, кроме того, чтобы отсылать к предмету, представленному либо во внешней действительности, либо в мыслях» [Гумбольдт 1984: 324]. Поскольку «...языковые образования возникают в результате взаимодействия внешних впечатлений и внутреннего чувства в соответствии с общим предназначением языка, сочетающим субъективность с объективностью в творении идеального, но не полностью внутреннего и не полностью внешнего мира» [Там же: 123], Гумбольдт считает вредным и ограниченным мнение, будто «...слово есть не что иное, как знак для существующей независимо от него вещи или такого же понятия» [Там же: 304]. Вслед за Э. Б. де Кондильяком В. фон Гумбольдт утверждает, что обозначаемые вещи не воспринимаются сами по себе помимо языка и человек «живет с предметами так, как их преподносит ему язык», а что касается понятий, то «...ни одно понятие невозможно без языка» [Там же: 80], ибо оно вторично по отношению к слову. Таким образом, «слово, действительно, есть знак, до той степени, до какой оно используется *вместо* вещи или понятия» [Там же: 304; выделено мною. — Л. З.]. Но не более.

Хотя понятие знака связывается с произволом говорящего [Там же: 320], однако в трактовке Гумбольдта знаковая не тождественна произвольности, а произвольность не означает субъективности, ибо под произвольностью он понимает скорее *неопределенность* семантических составляющих знака, чем немотивированность (см. ниже), а под субъективностью — духовное своеобразие данного народа и каждого отдельного индивида в его составе, которое обуславливает самобытное мировидение, накладывающее свой отпечаток на объективное восприятие [Там же: 80, 166].

Коль скоро «...ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное», то и слово «есть отпечаток не предмета самого по себе, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе» [Там же: 80] на основе субъективного восприятия последнего (и, значит, «семантический» аспект знака, по Гумбольдту, неотделим от «прагматического»). Поэтому «...слово — не эквивалент чувственно воспринимаемого предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный момент изобретения слова». А так как осмыслен он может быть в разные моменты и разными людьми по-разному — через разные свойства и разные соотносительные понятия, то именно здесь Гумбольдт видит главный источник не только многообразия выражений для одного и того же предмета [Там же: 103], но и возможных расхождений в значениях [Там же: 320]. «...Сколько обозначений, столько и свойств, через которые осмысливается предмет». Каждое из этих свойств и есть то «звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий», благодаря которому в процессе общения «...у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы» и в пределах которого, «пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» [Там же: 166].

Диалектика слова, его специфика как знакового образования состоит, следовательно, в том, что «слово не является изображением вещи, которую оно обозначает, и в еще меньшей степени является оно простым обозначением, заменяющим саму вещь для рассудка или фантазии. От изображения оно отличается способностью представлять вещь с различных точек зрения и различными путями, от простого обозначения — тем, что имеет свой собственный определенный чувственный образ» [Гумбольдт 1984: 305]. И то и другое наводит Гумбольдта на мысль, что «...слово проявляет себя как сущность совершенно особого свойства, сходная с произведением искусства» [Там же: 306].

Раскрывая свойства слова, отличающие его от обычного понятия условного знака, Гумбольдт связывает их не только со способом представления — внутренней формой — означаемого (т. е. с означаемым компонентом семантической структуры словесного знака), но и с особенностями самого *означаемого*, тем более что именно они определяют характер означаемого. Главное, что отличает означаемое, будь то конкретный физический или «внефизический» предмет, — это его *неопределенность*.

Прежде всего Гумбольдт обращает внимание на «неопределенность предметов, при которой представление их не должно быть всякий раз ни исчерпывающим, ни раз и навсегда данным, поскольку оно способно на всё новые и новые преобразования, — неопределенность, без которой была бы невозможна самодеятельность мышления». В сравнении с неопределенностью конкретных предметов «мысли и чувства имеют соответственно еще менее определенные очертания, могут быть многосторонними, представляемыми в большем числе чувственных образов» [Там же: 306]. Поэтому «...как бы ни был богат и плодотворен вечно юный и вечно подвижный язык, никогда невозможно представить подлинный смысл, совокупность всех объединенных признаков подобного слова (речь идет об обозначении “внефизических” предметов. — Л. З.) как определенную и завершенную величину» [Гумбольдт 1985: 365]. «И как невозможно исчерпать содержание мышления во всей бесконечности его связей, так неисчерпаемо множество значений и связей в языке» [Гумбольдт 1984: 82]. Неопределенность и неисчерпаемость для познания предметов внешнего и внутреннего мира, неопределенность мыслительного содержания коррелируют с известной неопределенностью и потенциальной неисчерпаемостью языкового содержания. Масса оформившихся элементов языка «несет в себе живой росток бесконечной определмости» [Там же: 82]¹, что заложено в самом характере внутренней формы и что становится вполне очевидным при сравнении языков, когда особенно отчетливо выявляется разнообразие точек зрения на способы обозначения. Вследствие единства объективного и субъективного «...многосторонность предметов в сочетании со множественностью механизмов понимания делают число этих точек зрения неопределенным» [Гумбольдт 1985: 378]. В таких условиях выбор одной из них тоже оказывается достаточно

¹ В переводе А. А. Потебни — «без конечной определмости» [Потебня 1976: 180].

неопределенным и может быть истолкован как произвольный даже при тех ограничениях на выбор, которые задает внутренняя форма данного языка, *мотивированная* способом укоренения данного народа в действительности, его духом.

Совмещение отражательных и знаковых свойств в языковом содержании влияет и на отношение звука и значения. «Кажется совершенно очевидным, — пишет Гумбольдт, — что существует связь между звуком и его значением; но характер этой связи редко удается описать достаточно полно, часто о нем можно лишь догадываться, а в большинстве случаев мы не имеем о нем никакого представления» [Гумбольдт 1984: 92]. Тем не менее Гумбольдт говорит о *согласованности между звуком и мыслью* [Там же: 75]. Эта согласованность и составляет *принцип знака* как неотъемлемой части языка, вбирающей в себя свойства целого.

Каким образом отдельный знак отражает свойства целостной системы языка?

Знак образуется во взаимодействии сил, создающих обозначаемое, с обозначающими силами. Типичный языковой знак — слово, так что «словесное единство в языке имеет двоякий источник: оно коренится во внутреннем, соотнесенном с потребностями мыслительного развития, языковом сознании и в звуке». Обусловленная мышлением «потребность языкового сознания в символическом речевом представлении всех различных видов понятийного единства» приводит к тому, что «...оба фактора — внутреннее языковое сознание и звук — взаимодействуют между собой, причем последний приспосабливается к потребностям первого, и трактовка звукового единства тем самым превращается в символ искомого определенного понятийного единства. Последнее, будучи таким образом воплощено в звуке, пронизывает всю речь в качестве одухотворяющего принципа, и звуковая форма, искусно образованная мелодически и ритмически, в свою очередь оказывает обратное воздействие на дух, укрепляя в нем связь организующих сил разума с творческой фантазией, в результате чего переплетение сил, направленных вовне и вовнутрь, к духу и к природе, возвышает жизнь и приводит к гармонической подвижности» [Там же: 127–128]. Так в знаке воплощается единство внутренней и внешней формы языка в результате их синтеза и тем самым совершается единение духа и природы, посредником между которыми служит язык.

Единство звука и понятия / значения в словесном знаке, в свою очередь, сопряжено с таким сущностным свойством языка, как *членораздельность*. Каждая из соединяющихся в слове сфер — и звуковая, и мыслительная — членится не сама по себе, а в тесной взаимосвязи с другой [Там же: 317]. В силу членораздельности, позволяющей формировать из элементов отдельных слов неопределенное число других слов, слово предстает «в своей форме как часть бесконечного целого, языка», а сам язык — как «вечно порождающий себя организм» [Там же: 78].

В иерархическом членении языкового целого слово обнаруживает структурную неоднородность. В отношении к конструкции предложения оно выступает как индивидуальная сущность, как одно *неделимое целое*, обладающее *внешним единством*. В отношении к составляющим его элементам, экспонирующим разные взаимосвязанные понятия, слово есть нечто *членораздельное*, обладающее *внутренним*

единством [Гумбольдт 1984: 78, 127]. Степень внутреннего словесного единства зависит от того, однородны обозначаемые понятия или нет, а это, в свою очередь, определяется тем, как осуществляется в данном языке *категоризация*.

В языковой категоризации триединство мира, человека и его языка получает наиболее явное системное выражение.

Как «вечный посредник между духом и природой» [Там же: 169], как «отражение и знак» [Там же: 320], как «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Там же: 63], язык сочетает в слове два принципа: объективный принцип обозначения понятия и субъективный принцип логического подразделения, переводящий понятие в ту или иную категорию [Там же: 118–119].

Согласно Гумбольдту, «перевод понятия в определенную категорию мышления есть новый акт языкового самосознания, посредством которого единичный случай, индивидуальное слово, соотносится со всей совокупностью возможных случаев в языке или речи. Только посредством этой операции, осуществляемой в самых чистых и глубоких сферах и тесно связанной с самой сущностью языка, в последнем реализуется с надлежащей степенью синтеза и упорядочения связь его самостоятельной деятельности, обусловленной мышлением, и деятельности, обусловленной исключительно восприимчивостью и более связанной с внешними впечатлениями» [Там же: 118]. И взаимодействие звука с языковым сознанием, и обратное воздействие звуковой формы на дух — это во многом следствие языковой категоризации. Благодаря категоризации, в особенности благодаря первоначальным категориям мышления, которые «сами по себе образуют взаимозависимое целое» [Там же], язык обретает целостность и систематическую завершенность, что не может не отразиться в строении словесного знака.

Именно благодаря категоризации создается и та «согласованность между звуком и мыслью», на которую указывает Гумбольдт. Более того, поскольку «общие отношения... образуют закрытые системы», «...понятия этого класса выступают в устойчивой аналогии со звуками» [Там же: 94]. Примечательно, что аналогический способ звукового обозначения понятий проявляется, по Гумбольдту, не столько в присущем самим этим звукам характере, сколько в наличии «в звуковой системе словесных единств определенной протяженности» [Там же]. Внутри простых производных слов, по наблюдениям Гумбольдта, происходит стирание значения и звучания, сокращение компонента, выражающего общее, модифицирующее понятие, в противовес компоненту, заключающему в себе более индивидуальное или определенное обозначение [Там же: 117]. Различение типов словесных знаков и их компонентов по степени протяженности, обнаруживая категориальную мотивированность означающих, ограничивает произвольность языковых знаков.

Значимость этих и других категориальных различий в аспекте взаимодействия языкового сознания и звука тем более велика, что «...мы можем подходить к изучению этого вопроса лишь с обратной стороны, двигаясь к внутреннему созна-

нию от звуков и их анализа» [Гумбольдт 1984: 120]. По мысли Гумбольдта, такой подход к исследованию взаимодействия языкового сознания и звука не только вынужден, но и оправдан, ибо языку присуще соответствие звука действиям духа и, «...подобно языку, он (звук. — Л. З.) отражает вместе с обозначаемым объектом вызванные им ощущения и во всё повторяющихся актах объединяет в себе мир и человека, или, говоря иначе, свою самостоятельную деятельность со своей восприимчивостью» [Там же: 76].

Типологические расхождения во взаимодействии языкового сознания со звуком в словесном знаке также определяются тем, как осуществляется категоризация: получает ли слово модифицирующее категориальное обозначение «применительно к своему положению в речи», т. е. не с помощью грамматических показателей, а через фиксированный порядок слов, как в изолирующих языках, или же «...слово образуется от корня при помощи присоединения к нему общего понятия» [Там же: 118], как в синтетических языках. В последнем случае важно, что обозначается — классы реальных объектов или формы мышления и речи — и каким образом происходит объединение в слове двух указанных принципов — посредством механического присоединения к индивидуальному понятию определительного дополнительного понятия, т. е. сочетанием двух элементов, как в агглютинативных языках, или посредством одного элемента, переведенного в определенную категорию путем модификации внутренней или внешней, как во флективных языках [Там же: 119–125].

В соответствии с характером категоризации и нагрузкой грамматических показателей в словесном знаке языки образуют определенную шкалу. На этой шкале китайский, с одной стороны, и санскрит с семитскими языками — с другой, «образуют два четких конечных пункта», «...все остальные языки можно считать находящимися посередине, то есть между указанными конечными пунктами» [Там же: 244].

А. А. ПОТЕБНЯ. Наиболее полное воплощение синтезирующий системный подход получает в знаковой теории А. А. Потебни. Ее истоки восходят к учению В. фон Гумбольдта.

Детерминантой лингвистической концепции Потебни и его знаковой теории является признание за языком познавательной функции в качестве наиважнейшей. По определению Потебни, «язык есть средство познания» [Потебня 1981: 133], «известная система приемов познания» [Потебня 1976: 259]. Опосредуя связь человека с миром, «язык постоянно остается посредником между познанным и вновь познаваемым. Как вещественные значения, так и формы должны быть рассматриваемы как средства и вместе акты познания» [Потебня 1958: 59]. Сама форма существования языка есть деятельность, направленная к познанию человеком мира и самого себя, деятельность, слагающая и постоянно развивающая мирозерцание и самосознание человека и тем самым меняющая отношение личности к природе [Потебня 1981: 113; 1976: 171], иначе говоря, отношение субъективного к объективному.

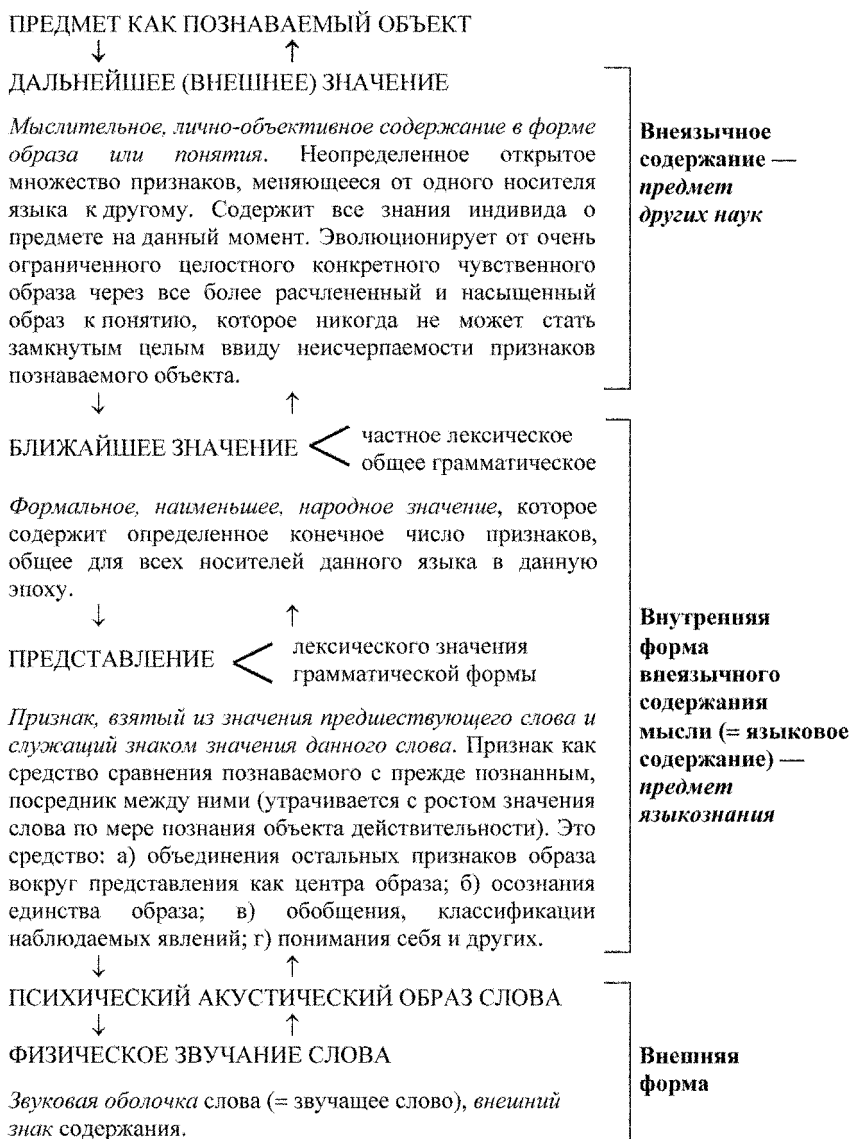
Познавательная функция языка предопределяет его активную роль в мышлении. Являясь генетически одной из форм мысли [Потебня 1958: 70], знаменующей переход от бессознательности к сознанию [Потебня 1976: 69] и самосознанию, «...язык есть средство не выразить уже готовую мысль, а создавать ее» [Там же: 171]. Язык возникает как средство преобразования первоначальных доязычных элементов мысли [Там же: 259] и служит могущественным средством дальнейшего развития и совершенствования мысли [Там же: 153, 201], ее «преобразовательной машиной», причем у каждого народа она своя [Потебня 1973: 238].

Будучи формой мысли, ее «преобразовательной машиной», язык выполняет двоякую функцию в отношении к миру и человеку, его познающему. Сводя почти необъятное множество признаков, составляющих мир познания человека, к ограниченному числу признаков, служащих знаками—представлениями значений, язык как система знаков не только преодолевает противоречие между бесконечностью мира и его познания, с одной стороны, и крайней ограниченностью «сцены» человеческого сознания — с другой [Потебня 1981: 133; 1976: 520], но и оказывается способным к неопределенному, к безграничному расширению [Потебня 1981: 134], чтобы удовлетворить требования постоянно развивающейся мысли, дать каждому индивиду возможность самовыражения и обеспечить взаимопонимание в процессе общения.

Оба указанных свойства языка Потебня объясняет своеобразной природой языкового знака исходя из разграничения внеязычного (мыслительного) и язычного содержания и выявления роли последнего в познавательной деятельности и мышлении, в процессе общения. Язычное содержание, заключенное а) в «*представлении*», т. е. признаке—посреднике между вновь познаваемым и прежде познанным, который служит средством их сравнения [Потебня 1976: 543], и б) в «*ближайшем значении*», является *способом представления, внутренней формой, символом, внутренним знаком* мыслительного содержания, заключенного в «*дальнейшем*», «*внешнем значении*». В соответствии с данным разграничением означаемое внешнего знака имеет иерархическую структуру, между компонентами которой устанавливаются отношения последовательного намекания: *представление* → *ближайшее значение* → *дальнейшее значение*. В этой иерархии семантически более бедный и формальный компонент служит *намеком* на более содержательный. Ближайшее значение является непосредственным знаком дальнейшего значения. Представление выступает знаком по отношению к ближайшему значению и знаком знака по отношению к дальнейшему.

Внешний знак или внешняя (звуковая) форма слова, поскольку «...произнесение звука посредствуется его образом в душе» [Там же: 111], имеет две стороны — физическую и психическую. Пока сохраняется представление, внешняя форма является знаком по отношению к представлению, знаком знака по отношению к ближайшему значению и знаком знака по отношению к дальнейшему значению. В словах с забытым представлением внешняя форма оказывается знаком ближайшего значения и знаком знака дальнейшего значения. (См. схему.)

Схема языкового знака по А. А. Потебне



Следует особо подчеркнуть, что в языке как средстве познания структура знака не может быть ограничена только психическими составляющими, как у Ф. де Соссюра [Соссюр 1977]. Она должна включать в себя и познаваемый предмет, и звук, объективирующий мысль, без чего, как полагает А. А. Потебня, невозможно самопознание [Потебня 1976: 306], ибо «человек обращается внутрь себя только от внешних предметов, познает себя сначала только вне себя» [Там же: 203], так что и «...сознание содержания мысли в звуке... не может обойтись без понимания звука другими» [Там же: 113].

Определяющую роль в мыслительной деятельности, в процессах познания, именовании, общения и соответственно в структуре словесного знака Потебня отводит представлению, или *образу* значения [Потебня 1989: 215]. Из сопоставления представления со значением следует, «а) что собственное значение слова не есть полное содержание мысли, связанной со словом, а только один признак, символически обозначающий эту мысль, что слово есть *представление* мысли; б) что изменение значений одного и того же слова и образование от известного слова новых слов устанавливает прежде всего связь представлений, а потом — всего того, что мыслится под представлениями. В этом установлении связи обнаруживается влияние языка на мысль. Принятое в языке сочетание представлений становится исходною точкою для мысли всех говорящих этим языком. <...> Повторение одинакового способа сочетаний образует привычку мысли» и обуславливает «сгиб народного ума, насколько он зависит от языка» [Там же: 444–445].

Именно с представлением Потебня связывает одно из двух существенных общечеловеческих свойств языка — символичность¹. Все языки с внутренней стороны — «системы символов, служащих мысли» [Потебня 1976: 259]. «Слово только потому есть орган мысли и неперемное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» [Там же: 196]. В слове, так же как в художественном произведении, различаются внешняя форма, внутренняя форма и содержание. Например, в скульптуре «это — *мраморная* статуя (внешняя форма) женщины с мечом и весами (внутренняя форма)..., представляющая правосудие (содержание)» [Там же: 175].

Все указанные выше свойства языка: как средства познания, как посредника между познанным и вновь познаваемым, как формы мысли, в которой осуществляется переход от бессознательности к сознанию и самосознанию, как средства создания и преобразования мысли — заключены прежде всего в представлении, которое для Потебни и есть собственно знак–символ.

По его определению, «знак в слове есть необходимая (для быстроты мысли и для расширения сознания) замена соответствующего образа или понятия; он есть

¹ Другое общечеловеческое свойство языков — членораздельность — сам Потебня относит только к звукам [Потебня 1976: 259]. Однако, по сути, через анализ представления он показал механизмы членимости (членораздельности) и в семантической сфере.

представитель того или другого в текущих делах мысли» [Потебня 1958: 18]. Содержание мысли, «*значение*, то есть то, что в слове дано чувственным восприятием, *представляет множество признаков, представление — только один*. Следовательно, из значения в представлении устранено все, кроме того, что почему-то показалось существенным» [Потебня 1989: 215]. Так, «...чувственный образ травы как снеди заключает в себе много признаков, из которых для образования слова выбран лишь один»: слово *трава* в значении 'корм скота' возводится к церковно-слав. *тру-ти* 'есть' [Там же: 217].

Замена образа или понятия представлением осуществляется не сама по себе, а через связь, через *сравнение* с другим образом или понятием. Иначе и быть не может, ибо, согласно Потебне, «...исходная точка языка и сознательной мысли есть сравнение» [Потебня 1976: 209], что вытекает из его роли в процессе познания. В понимании Потебни, «познание есть приведение в связь познаваемого (Б) с прежде познанным (А), сравнение Б с А при помощи признака, общего и тому и другому» [Там же: 301]. Соответственно, знак в слове «есть общее между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, или основание сравнения, *tertium comparationis* в слове» [Потебня 1958: 17]. Этим общим выступает один признак–посредник, который берется из круга признаков, составляющих значение (мыслительное содержание) предыдущего слова [Там же: 25], и является одним из объективных признаков обозначаемого предмета [Потебня 1976: 116]. Таким образом, данный признак связывает значение предыдущего слова со значением последующего слова.

По отношению к обоим этим значениям, каждое из которых включает более или менее сложную совокупность признаков, связывающий их признак является лишь указанием, отношением, но не воспроизведением [Потебня 1958: 17–18, 27–28]. Отсюда *знаковый* характер данного признака, несмотря на то что сам он принадлежит к кругу признаков обозначаемого, а не находится вне и, так же как другие его признаки, имеет *отражательную* природу; несмотря на то что, будучи внутренней формой содержания, он составляет часть его (ср.: [Потебня 1976: 264]) и с этой точки зрения *не является произвольным*. Присутствие подобного символизма уже в самых начатках человеческой речи приводит Потебню к заключению: «в создании языка нет произвола» [Там же: 116].

Однако отражательная природа признака–представления еще не означает исчерпывающей мотивированности его знакового использования — и ввиду известной случайности закрепления знаковой функции именно за данным признаком, и ввиду «текучести значения» [Там же: 373], т. е. представляемого, обозначаемого содержания мысли. Коль скоро «...мир... неисчерпаем для познания» [Потебня 1958: 59] и «...количество признаков в каждом кругу восприятий неисчерпаемо», так что «...понятие никогда не может стать замкнутым целым» [Потебня 1976: 194], коль скоро «...немыслима точка зрения, с которой бы видны были все стороны вещи», коль скоро «...в слове невозможно представление, исключаящее возможность другого представления» [Там же: 229], то нельзя исключить и известную

случайность ассоциативной связи данного познаваемого объекта именно с этим, а не с каким-либо другим познанным объектом, например круглого матового колпака лампы с арбузом, а колоса кукурузы с веретеном пряжи [Потебня 1958: 17, 27], и именно по данному, а не какому-либо иному признаку, тем более что выбор признака—представления не является осознанным.

Выступая средством доводить до сознания новое значение [Там же: 34] и инстинктивным началом самосознания [Потебня 1976: 170], представление возникает в сфере бессознательного. «...Само оно сознается только тогда, когда направим внимание на свойства нашего слова. Его можно сравнить с глазом, который сам себя не видит» [Потебня 1958: 34–35].

Несмотря на семантическую бедность, а скорее всего, именно благодаря ей, представление играет главную роль в познании и в видоизменении доязычной мысли, и «...только представление вызывает дальнейшие, исключительно человеческие преобразования чувственного образа» [Потебня 1976: 147], подготавливающие условия для перехода от образа к понятию.

Сама возможность постоянного роста мыслительного содержания и, следовательно, расширения значения слова также заложена в представлении. Благодаря его активной роли содержание в известном смысле выводится из формы, составляющей часть самого содержания. В самом деле, «...лишь объединив чувственные образы посредством представления, мы создаем такой объект мысли, которого содержание способно развиваться, — создаем формы, в которые удобно будет ложиться всякий новый признак» [Потебня 1989: 216].

Применение слова к новым признакам, заключенным в значении слова помимо представления, расширяет его содержание. Вместе с тем растет несоответствие между представлением и значением. По мере того как «посредством соединения представления с другими представлениями производится расчленение образа, *превращение его в понятие*» [Потебня 1976: 302], разрыв между представлением и значением увеличивается. Когда в ряду других признаков представление оказывается несущественным, оно теряется [Потебня 1989: 222–223; 1976: 176].

В результате структура как означаемого, так и знака в целом в трактовке Потебни оказывается весьма динамичной. Эта динамичность обусловлена тем, что ввиду историчности человеческого познания [Потебня 1976: 306] «...содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании, на *я* и *не-я*, есть нечто постоянно развивающееся» [Там же: 170]. Соответственно в ходе познавательной деятельности изменяется и отношение людей к знакам, и воздействие знаков на людей. С эволюцией мировосприятия и самосознания изменяется оценка самой знаковой функции, зависящая от того, осознают или нет носители языка, что словесный знак только обозначает и называет предмет, но не есть сам этот предмет, его суть, что язычное и мыслительное содержание (представление и значение) разнородны и не тождественны.

Неоднократно подчеркивая нетождественность знака—представления и значения [Потебня 1958: 18, 34] и указывая на недопустимость смешения свойств слова

и свойств образа и понятия [Потебня 1958: 53], Потебня дает пространственное осмысление отношений как внутри языкового знака, так и между языковыми знаками. В само определение знака Потебня включает пространственные ориентиры. «Знак..., — пишет он, — будучи доступнее означаемого, служит средством *приблизить* к себе это последнее, которое и есть настоящая цель нашей мысли. Означаемое есть всегда нечто *отдаленное*, скрытое, трудно познаваемое сравнительно со знаком» [Там же: 16; выделено мною. — Л. 3.].

В своем анализе отношений между означаемым и означающим (прежде всего между значением и его представлением) Потебня исходит из того, что «язык есть искусство, и речь, как всякое произведение искусства, не равна изображаемому» [Потебня 1977: 139]. То же относится и к отдельному словесному знаку, который как элемент языка есть акт бессознательного творчества и обладает свойствами художественного произведения, несмотря на особую природу изобразительности в слове. «...Нет слова, которое могло бы “изобразить”, нарисовать форму, вид предмета, ибо слово может иметь или один признак (представление), или не иметь никакого. Изобразительность слова есть живость его представления», т. е. способа обозначения, но не свойство обозначаемого [Потебня 1958: 53].

«...Во всяком вновь возникающем слове обозначение его значения знаком есть всегда иносказание, аллегория, так как между одним признаком (представлением) и массой признаков (значением) всегда находится значительное расстояние» [Потебня 1989: 217]. «Никогда значение слова... не было равно его внутренней форме, т. е. тому признаку, которым обозначено значение» [Потебня 1977: 113]. «Уже при самом возникновении слова между его значением и представлением, то есть способом, каким обозначено это значение, существует неравенство: *в значении всегда заключено больше, чем в представлении*» [Потебня 1976: 302].

При изначальном неравенстве отношения между означающим (представлением, образом) и означаемым (значением, содержанием) интерпретируется носителем языка по-разному — прежде всего в зависимости от накопленного к тому времени «капитала мысли». Пространственная интерпретация этого отношения приобретает мировоззренческую значимость. Чем меньшим капиталом мысли обладают люди, тем вероятнее, что «при недостаточности наблюдений и при чрезвычайно слабом сознании этой недостаточности» [Там же: 437] «... человек не только не отделяет слова от мысли, но даже не отделяет слова от вещи» [Потебня 1989: 206]. Это тем более вероятно, что «...первоначально расстояние между образом и значением было весьма мало» [Потебня 1976: 421] в силу чрезвычайной ограниченности последнего. Лишь позднее, с расширением значения в процессе познания, с осознанием различия между относительно субъективным и относительно объективным содержанием мысли [Там же: 420], человек осознает разнородность образа и значения. Эта эволюция самосознания и отношения личности к природе находит отражение в смене типов языкового мышления — от мифического к собственно поэтическому и далее к прозаическому.

Соответственно меняется структура означаемого как целостности в его отношении к знаку. Мыслительное содержание слова (его дальнейшее значение) эволюционирует от очень ограниченного целостного конкретного чувственного образа через всё более насыщенный и расчлененный образ к понятию. С ростом содержания образа увеличивается расстояние между ним и представляющим его признаком и всё очевиднее становится их несоизмеримость. Когда вместе с образованием понятия представление становится несущественным, всё реже и реже входит в сознание [Потебня 1976: 301] и, наконец, затемняется [Там же: 303], утрачивая функцию представителя известного мыслительного содержания, тогда трехчленная структура означаемого внешнего знака (представление — ближайшее значение — дальнейшее значение) сменяется двучленной (ближайшее значение — дальнейшее значение). С утратой внутреннего знака—представления заместителем ближайшего и дальнейшего значения остается только внешний знак—звук, слово из образного превращается в безобразное, из знака—символа известного содержания — в чистое указание на мысль [Там же: 167].

Сообразно с этим и отношение говорящих к употребляемым знакам становится менее активным ввиду невозможности объяснить их чем-либо, кроме предания [Там же: 299–300]. Но даже когда представление забылось, оно не исчезает бесследно, и связь между звуком и значением лишь кажется произвольной, ибо сохраняется разница между данным словом и соответствующим словом другого языка «в количестве предикатов, вещественным средоточием коих служило представление» [Потебня 1958: 19].

Из сказанного ясно, что, вопреки сложившемуся мнению [Степанов 1983: 24], Потебня вовсе не ограничивается исследованием языковых знаков исключительно в семантическом аспекте. *Семантический аспект органично сочетается у Потебни с прагматическим*, приобретая благодаря этому мировоззренческую значимость: *в концепции Потебни отношение знаков к обозначаемым объектам неотделимо от отношения к знакам познающих данные объекты субъектов — носителей языка*. Рассматривая интерпретацию знаков носителями языка в зависимости от степени развития их самосознания, анализируя отношения между элементами слова — между звуком и значением, представлением и значением, в частности выявляя причины неоднозначного соотношения последних и обосновывая таким образом задолго до С. О. Карцевского принцип асимметричного дуализма языкового знака, заложенный в свойствах как познаваемого объекта (многосторонность любого предмета), так и познающего субъекта (возможность множества различных точек зрения на один и тот же предмет), Потебня тем самым разрабатывает знаковую теорию языка *в единстве* семантики и прагматики.

Не обойден вниманием и собственно прагматический аспект. Потебня анализирует и отношение говорящих к употребляемым словам, и действие речи и слова на говорящего и слушающего [Потебня 1976: 299–300, 305–308]. Вскрывая механизмы понимания — непонимания в речевом общении через структуру знака, через разграничение общих для всех, «народных», значений, с одной стороны,

и «личных» значений — с другой, Потебня показывает, что понимание представляет собой творческий акт, состоящий не в передаче, а в возбуждении мысли [Потебня 1976: 305–308], и что именно общее для всех язычное содержание, т. е. «ближайшее, или формальное, значение слов, вместе с представлением, делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга» [Потебня 1958: 20]. Непонимание же обусловлено расхождением дальнейших значений, т. е. мыслительного содержания: «...значение, группа признаков объясняемого, составилось в говорящем и понимающем самостоятельно и потому различно» ([Потебня 1989: 226]; см. также [Потебня 1976: 538–539]).

Рассмотрение процесса понимания служит для Потебни новым подтверждением того, что язык как средство создания мысли не является выражением готовой мысли с помощью условных знаков [Там же: 307].

Не остается без внимания и *синтактика языковых знаков и ее связь с семантикой и прагматикой*. Для Потебни, поставившего во главу угла познавательную функцию языка, немислимо рассмотрение знака вне знаковой ситуации, поскольку только в ней знак выполняет функцию обозначения конкретного предмета или явления реальной действительности. Так как знаковая ситуация реализуется в контексте, актуализирующем значение языковых знаков и отсылающем к конкретному предмету или явлению обозначаемой действительности, Потебня постоянно подчеркивает, что «всякое значение узнается только по контексту» [Потебня 1990: 207] и что «в слове все зависит от употребления» [Потебня 1958: 41]¹. «Только в действительной жизни языка, т. е. в связной речи», устанавливается отношение символа–представления к данному обозначаемому, а не к какому-либо иному, и тем самым определяется реальное значение словесного знака. «Ни реальное, ни формальное значение слова не могут существовать сами по себе» [Потебня 1977: 113]. Именно употребление выявляет синтаксические свойства знака, его отношения к другим знакам в связной речи и в системе языка, а через отношения обнаруживает его ближайшее и дальнейшее значение.

В самом деле, по Потебне, «значение слова возможно только в речи», ибо только в ней оно обнаруживает свои лексические и формальные свойства. При этом под речью Потебня понимает, по существу, необходимый синтагматический контекст, а именно «такое сочетание слов, из которого видно... значение входящих в него элементов». Это может быть одно предложение или ряд соединенных предложений [Потебня 1958: 42]. Но значение слов видно из речи «лишь до некоторой степени», «и речи, в значении известной совокупности предложений, недостаточно для понимания входящего в нее слова», ибо «речь в свою очередь существует как часть большего целого, именно языка», и они не могут быть оторваны друг от друга. «Для понимания речи нужно присутствие в душе многочисленных отношений данных в этой речи явлений к другим, которые в самый момент речи оста-

¹ Ср. у Гумбольдта: «Как правило, слово получает свой полный смысл только внутри сочетания, в котором оно выступает» [Гумбольдт 1984: 168].

ются, как говорят, “за порогом сознания”, не освещаясь полным его светом. ... Без своего ведома говорящий при употреблении данного слова принимает в соображение то большее, то меньшее число рядов явлений в языке» [Потебня 1958: 44].

Явно различая таким образом синтагматические и парадигматические отношения, Потебня отчетливо осознает не только их единство, но и их зависимость от типа языка, от степени разграничения в нем вещественного, лексического и формального, грамматического. В формальных, по Потебне [Там же: 37], или грамматических, по Соссюру [Соссюр 1977: 165], языках при четком разграничении лексического и грамматического парадигматические, категориальные свойства слова задают и его синтагматические характеристики. В частности, в индоевропейских (арийских) языках «слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам», его синтаксические функции [Потебня 1958: 35]. Тем самым в формальных языках наглядно обнаруживается взаимосвязь между членением синтагм и образованием парадигм, например между разложением слов на значащие составные части и исчислением последних, с одной стороны, и распределением слов по семействам, объединенным общностью какой-либо из составных частей слова (корня, суффикса и т. п.), — с другой [Потебня 1981: 159]. В отличие от этого в неформальных, или лексических, языках «подведение лексического содержания под общие схемы, каковы предмет и его пространственные отношения, действие, время, лицо и пр., требует каждый раз нового усилия мысли. То, что мы представляем формой, в них является лишь содержанием, так что грамматической формы они вовсе не имеют» [Потебня 1958: 38].

При анализе связей между единицами языка Потебня, как до него Гумбольдт, а после него Соссюр, придает огромное значение их относительным свойствам. Подчеркивая народно-субъективный характер грамматических различий [Потебня 1977: 93], Потебня в определении значения формы исходит из ее места в составе целого — в речи и в схеме форм, как то: в схеме предложения, в словоизменительной парадигме [Потебня 1958: 85–86, 44]. Одновременно учитывается общность отношений, характеризующих те или иные ряды значений [Там же: 43]. Оpozнание формы, согласно Потебне, основывается на всей системе языка, при этом наличие / отсутствие противоположения («противня») и функциональное тождество важнее материального различия [Потебня 1958: 45, 454; 1977: 157]: «нет формы, присутствие и функция коей узнавались бы иначе, как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке» [Потебня 1958: 45].

В отличие от Ф. де Соссюра, А. А. Потебня не сводит систему знаков исключительно к синхронии. Данный строй языка — лишь звено в цепи исторического развития, и «в каждый момент речи наша самостоятельность направляется всею массою прежде созданного языка» [Там же: 457]. В языке как исторически

развивающейся знаковой системе реальное и формальное значения слова не существуют сами по себе также потому, что знак как символ–представление есть *отношение* к значению *предыдущего* слова и *указание, намек* на значение *последующего* слова [Потебня 1958: 17–18]. Каждое представление обусловлено рядом предшествующих представлений вплоть до начала слова [Потебня 1977: 113], вследствие чего определение значения формы и слова опирается на исторически предшествующие и последующие категории [Там же: 217]. Системно и исторически обусловлены все элементы означаемого, включая дальнейшее и ближайшее значение. С изменением грамматических категорий изменяется и предложение, в котором они возникают и изменяются [Потебня 1958: 82–83] и без которого было бы невозможно разложение чувственного образа и превращение его в понятие, а значит, и расширение значения слова, ибо для этого требуется соединение и сравнение одного чувственного образа с другими, каковое осуществлялось уже в первоначальных предложениях [Потебня 1976: 159].

Развитие отношений между знаками Потебня рассматривает в пространственно-временной перспективе с опорой на противоположение изобразительности/неизобразительности. В системе языка «...для наблюдателя формы и вообще значения распадаются на две группы. Одни стоят, так сказать, на краю горизонта, так что за ними ничего не видно. Таковы слова этимологически темные, коим предшествующих наблюдатель не знает... Другие ближе к наблюдателю, заключают в себе явственные указания на свои предыдущие» [Потебня 1958: 51]. «...Одновременное существование в языке слов образных и безобразных условлено свойствами нашей мысли, зависимой от прошедшего и стремящейся в будущее» [Потебня 1976: 303]. В разделении грамматических категорий, в том числе частей речи, на первообразные и производные, исторически предшествующие и последующие действует тот же принцип, что и в отдельных словах: «как вообще в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им, так, в частности, понятия действия, качества суть относительно поздние отвлечения» [Потебня 1968: 218]. Это следствие их «неуказуемости» и «неизобразимости» [Там же: 60]. Сходным образом в развитии предложения, так же как в развитии живописи, отсутствие перспективы древнее ее присутствия, паратактические связи грамматических форм внутри предложения [Там же: 163] и между предложениями [Потебня 1958: 128; 1968: 505] древнее гипотактических.

Историческая обусловленность языковых знаков и отношений между ними означает для Потебни принципиальную невозможность проведения такой жесткой разграничительной линии между историей языка и его состоянием, между диахронией и синхронией, какую пытался провести Соссюр, связывавший существование языка как системы произвольных знаков исключительно с синхронией [Соссюр 1977: 113, 116; 1990: 91, 100, 116, 191]. В трактовке Потебни, языковой знак–символ вбирает в себя неисчерпаемость мира для познания [Потебня 1958: 59] и как следствие неограниченность развития языка [Потебня 1976: 436].

Сама возможность развития, в том числе в понимании человеком мира и себя, заложена в первоначальной символичности слова, в способности его внутренней формы благодаря ее ограничению одним признаком возбуждать самое разнообразное и неисчерпаемое содержание без конечной определенности [Потебня 1976: 180–182]. Этому способствует динамичность языкового знака, выражающаяся, в частности, в оборачиваемости формы и содержания [Там же: 177–178], когда «...функции знака и значения не раз навсегда связаны с известными сочетаниями восприятий и... бывшее прежде значением в свою очередь становится знаком другого значения», причем «одно значение слова вследствие своей сложности может послужить источником несколькими знакам, т. е. несколькими другим словам» [Потебня 1958: 17]. Наконец, способность языка к безграничному расширению Потебня связывает еще и с тем, что количество комбинаций, которые можно произвести из наличных элементов языка, так же безгранично, как в цифрах и шахматах [Потебня 1981: 134–135], а «...образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнительно с способностью языков создавать образы из сочетания слов, всё равно, образных или безобразных» [Потебня 1976: 370].

Таким образом, органичный синтез системного и исторического подходов к языку с семиотическим позволил А. А. Потебне выявить природу словесного знака, осуществить анализ языковых знаков в единстве семантического, прагматического и синтаксического аспектов и показать, как в языковом знаке–символе претворяется диалектическое единство субъективного и объективного, индивидуального (личного) и социального (народного), психического и физического, бессознательного и сознания, чувственного и рационального, как в единстве языкового и мыслительного содержания реализуется единство формы и содержания, а в единстве синтагматики, парадигматики и эпидигматики — единство языковой структуры. Тем самым А. А. Потебне удалось всесторонне раскрыть то, что А. Белый обозначил как «соединяющий смысл символического познания» [Белый 1910: 29].

2. АСПЕКТИРУЮЩИЙ ПОДХОД: Ф. ДЕ СОССЮР

Теория **Ф. де СОССЮРА** является по сути антитезой рассмотренных знаковых теорий синтезирующего типа. Расхождения Ф. де Соссюра с В. фон Гумбольдтом и А. А. Потебней предопределены различием в детерминантах их лингвистических концепций.

Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра, весьма последовательная и систематичная, неоднократно рассматривалась с позиций детерминантного подхода, причем детерминанта ее определялась по-разному. Во главу угла ставили то разграничение языка и речи [Звегинцев 1965: 111], то принцип оппозитивного дуализма [Бенвенист 1974: 54–55], то принцип произвольности языкового знака [Де Мауро 1999: 315, 346], то понятие ценности [Слюсарева 1975: 46–68], то понятие системы, сводимой к совокупности отношений [Зубкова 1992: 49–63].

Хотя каждая из указанных характеристик может претендовать на статус детерминирующей, все они, как показал анализ, в свою очередь могут быть возведены к детерминанте еще более высокого ранга, которая, очевидно, и является исходной. Именно она позволяет, с одной стороны, понять специфику языкового знака и языка как общественного установления знаковой природы с исповедуемой Соссюром семиологической точки зрения, а с другой — оценить его концепцию в сравнении с иными знаковыми теориями на базе современных научных представлений.

Теория языкового знака, выдвинутая Соссюром, имела такое влияние на последующее развитие языкознания, что на какое-то время затмила вклад его предшественников. Между тем само понимание знака как двусторонней идеальной сущности восходит к Платону, и не исключено, что у Соссюра оно сложилось не без влияния картезианцев. Произвольность языковых знаков в сущности доказывает уже Демокрит, анализирувавший явления так называемого асимметричного дуализма.

Утверждение, будто «ни в одной работе проблема знакового характера языка не была определена столь широко, как это было сделано Ф. де Соссюром» [Слюсарева 1975: 31], тоже спорно. В свете современных знаковых теорий, различающих вслед за Ч. С. Пирсом и Ч. У. Моррисом разные типы знаков (иконы, индексы, символы) и разные аспекты отношений, в которых участвуют знаки (семантический, прагматический, синтактический) [Пирс 1983; Моррис 1983], можно прийти к прямо противоположному выводу — о чрезвычайной узости концепции Ф. де Соссюра, особенно в сравнении с учениями В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни. В самом деле, если следовать Соссюру, то все языковые знаки могут быть отнесены или, по крайней мере, возведены (как в случае относительной мотивированности) к одному типу — знаков-символов и должны рассматриваться лишь в отношениях между собой, т. е. исключительно в синтактическом аспекте.

В определении Ч. С. Пирса, «Символ есть знак, который отсылает к обозначаемому им Объекту в силу закона, обычно — ассоциации общих идей, действующего так, чтобы заставлять нас интерпретировать Символ как отсылающий к этому Объекту» [Пирс 2000: 186]. Будучи конвенциональным знаком, зависящим от привычки [Там же: 215], «всякое обычное слово, такое, как “давать”, “птица”, “свадьба”, является примером символа. Он применим к чему бы то ни было, что может воплощать идею, связанную со словом; но сам по себе не идентифицирует этой вещи» [Там же: 216].

Столь узкое понимание Ф. де Соссюром природы языкового знака, а следовательно, и языка в целом вступает в явное противоречие с традицией, идущей от Платона к В. фон Гумбольдту и А. А. Потебне и далее к современному языкознанию. Согласно этой традиции, язык и языковые знаки рассматриваются в отношении к миру и человеку, в единстве семантики, прагматики и синтактики. Как посредник между миром и человеком, сочетающий в себе объективное и субъективное, язык представляет собой *единство* отражательных и знаковых свойств.

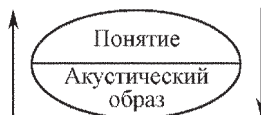
Вслед за Дж. Локком, В. фон Гумбольдтом, И. Тэнном [Aarsleff 1982: 357, 366] Ф. де Соссюр также отказывается «считать язык номенклатурой предметов» [Соссюр 1990: 121]. Но в отличие от многих своих предшественников, рассматривавших язык как особую форму отражения действительности — как специфическое мировидение, Соссюр исходит из того, что «...естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], ибо «...язык и письменность НЕ ОСНОВАНЫ на естественном положении вещей» [Соссюр 1990: 94]. Именно это положение, являющееся подлинной детерминантой всей концепции Ф. де Соссюра, определяет, в частности, его трактовку языкового знака.

Соссюр категорически отрицает, что «...у знака существует внешняя опора», а значит, «*сначала дан предмет, затем знак*» [Там же: 121]. По его мнению, «...случаи, когда в психической ассоциации, образующей сему, несомненно имеется *третий* элемент» и «...сема соотносится с некоей достаточно определенной сущностью внешнего порядка» [Там же: 149], не типичны для языка, поскольку «...имена не составляют основу языка. Лишь случайно языковой знак соответствует предмету, производящему определенное воздействие на органы чувств, например *лошадь, огонь, солнце*» [Там же: 120–121], но «...такая сема *не подчиняется* общим законам образования знака» [Там же: 149]. Как правило, отношения в языке строятся в отвлечении от реальной связи, направленной на предмет [Там же: 121], так что важнейшим свойством языковых знаков, с точки зрения Соссюра, является их независимость от реальности, «отсутствие *всякого рода* видимой *связи* с обозначаемым объектом» [Там же: 91]. Соответственно, восходящая к Аристотелю традиционная трехчленная схема знака, связывающая вещь, ее название—слово и «готовое понятие, предшествующее слову» [Соссюр 1977: 99], должна быть для начала заменена двучленной структурой, включающей *понятие и слово*.

Однако Соссюр не ограничивается изъятием «вещи». Развивая положение о независимости языка от реальности, он вслед за «вещью» устраняет из схемы знака всякие намеки на то, будто «...в языке есть какая-то субстанциональность» [Там же: 154].

Прежде всего изгоняется звуковая субстанция. «...Звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал» [Там же: 151]. Изъятие звуковой субстанции согласуется с принятым Соссюром разграничением языка и речи, тоже направленным на утверждение независимости языка от реальности. Поскольку отношение знака к конкретному предмету, обозначаемому в определенной ситуации, реализуется в речи, то неудивительно, что знак, по Соссюру, — элемент не речи, а языка как виртуально существующей системы. Язык же в отличие от психофизической речи — явление чисто психическое [Там же: 45, 57]. Его сущность «не связана со звуковым характером языкового знака» [Там же: 45]. Будучи элементами чисто психической системы, языковые знаки также «психичны по своей сущности» [Там же: 53].

Поэтому в схеме Соссюра «слово» (название), ничего не говорящее о том, какова его природа — звуковая или психическая, заменяется «акустическим образом» [Соссюр 1977: 99]:



Но и эта схема не удовлетворяет Соссюра. Во-первых, очевидно, потому, что имеющий чувственную природу акустический образ [Там же] и понятие суть формы отражения и как таковые они не могут быть независимы от реальности, а следовательно, в соответствии с исходным постулатом не могут принадлежать языку. Во-вторых, потому, что ни стороны знака, взятые в отдельности, ни знак в целом не даны заранее и не определены сами по себе [Соссюр 1977: 135; 1990: 107–110, 135]. В языке вообще нельзя найти ни одного такого факта или аспекта, который был бы дан независимо от других [Соссюр 1990: 107]. Это положение, также вытекающее из постулата о независимости языка от реальной действительности, Соссюр распространяет на всю речевую (= языковую) деятельность. Она целиком подчинена закону Двойственности и нарушить его невозможно [Там же: 170–171]. В частности, «звуковая цепочка только в том случае является языковым фактом, если она служит опорой понятия». Точно так же и понятия «становятся [конкретными] языковыми сущностями лишь благодаря ассоциации с акустическими образами» [Соссюр 1977: 135]. Таким образом Соссюр обосновывает двусторонний характер языкового знака как фундаментальное свойство последнего, проистекающее из понимания отдельного языкового факта как отношения [Соссюр 1990: 197].

«Означивать (signifier), — учит Соссюр, — это не только наделять знак понятием, но также и подбирать знак понятию» [Там же: 152]. Соответственно, «в языке понятие есть свойство звуковой субстанции, так же как определенное звучание есть свойство понятия» [Соссюр 1977: 135]. В результате знак как «...языковой факт основывается на равновесии между звуками и понятиями» [Соссюр 1990: 134].

Нераздельность двух сторон знака подтверждается, по мнению Соссюра, также тем, что «говорящие субъекты совершенно не сознают *апосемы* (апосема — звуковая сторона, “тело” знака–семы. — Л. З.), которые они произносят, как, впрочем, и *чистые понятия* (idees pures). Они осознают только *сему*» [Там же: 152], т. е. знак как целое. Что касается его составляющих, в частности означающего, то «...в семе звук неотделим от остальной ее части, и мы осознаем звук только в той мере, в какой воспринимаем *всю сему*, то есть вместе со значением» [Там же: 160].

Отвергнув, таким образом, и «неосознанное допущение о наличии субстанции» [Там же: 107], и глубоко укоренившуюся вследствие этого иллюзию *естественной данности* фактов языковой деятельности [Там же: 108], Соссюр доказывает,

что для существования языкового факта требуется «наличие СООТВЕТСТВИЯ, но ни в коей мере СУБСТАНЦИИ или ДВУХ субстанций» [Соссюр 1990: 129]. Выступая «посредствующим звеном между мыслью и звуком» [Соссюр 1977: 144], *язык является формой*, а не субстанцией [Там же: 145]. Лишенный субстанции, знак уже не может трактоваться как соединение понятия и акустического образа. Знак — это прежде всего «связывающее оба его компонента отношение» [Там же: 147]. Поэтому Соссюр отдает предпочтение чисто функциональной схеме знака:



Данная схема имеет то преимущество, что в ней благодаря использованию однокоренных терминов наглядно выявляется соотносительность обеих сторон знака между собой и со знаком в целом, их взаимная противопоставленность [Там же: 100].

Независимость языка от реальности обнаруживается и в *характере* отношения между двумя сторонами знака. Этому отношению, покоящемуся на *несходстве* одной стороны с другой, Соссюр придает огромное значение, полагая, что именно оно «составляет самую сущность понятия ценности» [Соссюр 1990: 194].

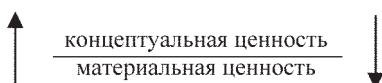
В то время как в человеческих установлениях, основанных на естественной взаимосвязи вещей, ценности коренятся в самих вещах и определяются последними [Там же: 191], в языке в отсутствие привнесенных извне элементов ценности целиком относительно [Соссюр 1977: 145–146]. В результате из-за отсутствия внутренней связи между двумя сторонами языкового знака «связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна» [Там же: 100]. И это имеет далеко идущие последствия, ибо, с точки зрения Соссюра, принцип произвольности «подчиняет себе всю лингвистику языка» [Там же: 101] и «...вся система языка покоится на иррациональном принципе произвольности знака» [Там же: 165].

Отношение между означаемым и означающим составляет лишь одну из осей ценности. Другая ее ось, неразрывно связанная с первой, образуется отношениями данного знака (семы) с подобными ему членами системы, вследствие чего знак имеет «косистематическую» природу [Соссюр 1990: 149].

В свете косистематической природы языкового знака схема, связывающая понятие и акустический образ, представляется Соссюру неудовлетворительной еще и потому, что она провоцирует ошибочный «взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием» [Соссюр 1977: 146]. Между тем каждая из сторон знака определяется не только отношением друг к другу, но и отношениями данного знака с иными знаками как членами языковой системы.

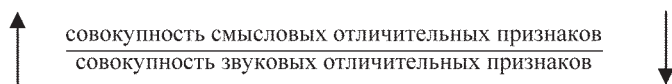
Означаемые знаков — это не заранее данные понятия, а *концептуальные ценности*, которые «определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы» [Соссюр 1977: 149]. Сходным образом и означающее «по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно». Оно создается благодаря различиям, отграничивающим данный акустический образ от остальных акустических образов [Там же: 151].

Итак, в составляющей знак ассоциации имеются лишь две ценности, «одна из которых основывается на другой (произвольность знака)» [Соссюр 1990: 191]. Иными словами, понятие ценности покрывает понятие знака, а точнее — понятие знака в концепции Соссюра производно от понятия ценности, т. е. «схема отношения означаемого и означающего... является вторичным продуктом по отношению к ценности» (цит. по: [Слюсарева 1975: 57]). Следовательно, данная схема восходит к схеме



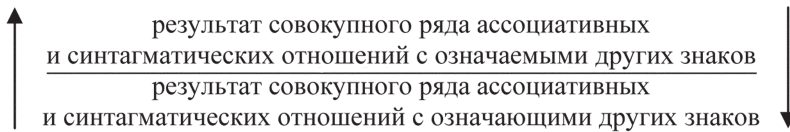
В соответствии с ценностной природой языкового знака «...язык есть не что иное, как система чистых значимостей» (= ценностей) [Соссюр 1977: 144].

Поскольку из-за отсутствия привнесенных извне элементов ценности определяются лишь отрицательно — теми отличиями, которые отграничивают один знак от другого в языковой системе, постольку «...любой знак основывается лишь на негативном ко-статусе» [Соссюр 1990: 120]. Поэтому схема знака должна принять следующий вид:



Что же является *основанием* для сравнения знаков при выявлении их отличительных признаков, как обойтись при этом без «внешней опоры» — без отношения к обозначаемой действительности, без субстанции, Соссюр не указывает. Отождествив элементы и отличительные признаки [Там же: 163, 197], он приходит к выводу: «В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу» [Соссюр 1977: 154]. Значит, «...в языке нет ничего, кроме различий» [Там же: 152].

В свою очередь «...образующая язык совокупность звуковых и смысловых различий является результатом двоякого рода сближений — ассоциативных и синтагматических» [Там же: 160]. Каждая из этих сфер «образует свой ряд значимостей» [Там же: 155]. В результате в окончательном своем виде схему знака следовало бы представить так:



Таким образом, знак есть результат совокупного ряда отношений, который, не ограничиваясь отношением, связывающим оба его компонента, включает в себя также ассоциативные и синтагматические отношения данного знака с другими знаками — членами системы. Отсюда с неизбежностью следует вывод: «Любой языковой факт представляет собой отношение, в нем нет ничего, кроме отношения» [Соссюр 1990: 197], чем и объясняется «внутренняя пустота знаков» [Там же: 152], лишенных субстрата в виде отражательных свойств и субстанции.

Анализируя *знак в целостности*, образуемой двумя его сторонами, Соссюр видит в нем нечто положительное и определяет его как *положительный член системы*. Тем самым опровергается отправное положение, будто «...в языке имеются только различия *без положительных членов системы*» [Соссюр 1977: 152].

По мысли Соссюра, «...утверждать, что в языке все отрицательно, верно лишь в отношении означаемого и означающего, взятых *в отдельности*; как только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся перед чем-то в своем роде положительным. Языковая система есть ряд различий в звуках, *связанных* с рядом различий в понятиях, но такое сопоставление некоего количества акустических знаков с *равным* числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого, порождает систему значимостей; и эта-то *система значимостей создает действительную связь* между звуковыми и психическими элементами *внутри каждого знака*. Хотя означаемое и означающее, взятые *в отдельности*, — величины чисто дифференциальные и отрицательные, их сочетание есть факт *положительный*. Это даже единственный вид фактов, которые имеются в языке, потому что *основным свойством языкового устройства является как раз сохранение параллелизма между этими двумя рядами различий*» [Там же: 153; выделено мною. — Л. З.].

В доказательство Соссюр ссылается не на факты синхронии с ее способностью к означиванию [Соссюр 1990: 116], а на бесчисленные диахронические факты, «...когда изменение означающего приводит к изменению понятия и когда обнаруживается, что в основном сумма различаемых понятий соответствует сумме различающих знаков. Когда в результате фонетических изменений два элемента смешиваются..., то и понятие проявляет тенденцию к смешению... А если слово дифференцируется...? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым... И наоборот, всякое концептуальное различие, усмотренное мыслью, стремится выразить себя в различных означающих, а два понятия, более неразличаемые в мысли, стремятся слиться в одном означающем.

Если сравнивать между собой знаки, положительные члены системы, то говорить в данном случае о различии уже больше нельзя. <...> Два знака, каждый из которых содержит в себе означаемое и означающее, не различны (*différents*), а лишь различимы (*distincts*). Между ними есть лишь *противопоставление*. Весь механизм языка... покоится на такого рода противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях» [Соссюр 1977: 153–154].

В свою очередь, параллелизм между рядами тех и других различий, подтверждаемый, в частности, и названными диахроническими процессами, заставляет усомниться в том, насколько произвольны отдельные знаки и языковая система в целом.

Итак, развивая свою точку зрения на истинную природу языка как семиологического и лингвистического объекта, независящего от реальности, от естественных вещей и их отношений, Соссюр последовательно отвергает ряд неприемлемых при данной детерминанте определений языка и языкового знака и предлагает взамен свои. Рассматриваемые определения языка соотносительны с определениями знака (см. рисунок на с. 379)¹. И те и другие образуют цепь взаимосвязанных переходов.

Согласно Соссюру, язык — это не номенклатура предметов (1), не психофизическое явление (2), не субстанция (3), «не просто совокупность заранее разграниченных знаков» [Там же: 136], каждый из которых мог бы мыслиться и вне системы при наличии положительной ценности (4). Язык — это психическое явление (3), форма (4), система чистых ценностей, определяемых только отрицательно (5), система, в которой нет ничего, кроме проистекающих из нее различий (6), это совокупность отношений, которыми определяются отличительные признаки и ценности языковых знаков (7). В конечном счете язык — не совокупность имен вещей, как думали в античную эпоху, не совокупность имен и их связей, как полагали в Новое время (например Т. Гоббс), а исключительно совокупность отношений, т. е. структура.

В соответствии с таким пониманием сущности языка Соссюр шаг за шагом модифицирует традиционную схему знака (1), постепенно освобождая ее от любых намеков на естественные вещи и их отношения, на субстанциональность. Сначала изымается вещь (2), затем звуковая (3) и психическая субстанция (4). В результате в качестве исходной принимается схема отношения означаемого и означающего (4). Дальнейший анализ этого отношения показывает, что ассоциативная связь означаемого и означающего (4) вторична по отношению к ценности (5), сама ценность вторична по отношению к отличительным признакам (6), а последние вторичны по отношению к существующим в системе связям (7).

¹ Чтобы показать эту соотносительность и проследить логику развития предлагаемых дефиниций, ниже при каждом определении языка и знака в скобках указывается номер соответствующей схемы знака на рисунке.

Так раскрывается «косистематическая природа знаков» [Соссюр 1990: 149]. Лишенный внешней опоры, субстанции, а тем самым и внутренней положительной ценности, языковой знак характеризуется как произвольный и определяется лишь через систему (точнее, структуру) — как ее часть, ее продукт, ее производное. Являясь результатом совокупного ряда отношений, он по необходимости имеет комплексный характер [Там же: 148], а следовательно, «язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы» [Соссюр 1977: 154].

Отсюда понятно, почему, с точки зрения Соссюра, «в области лингвистики связь, которую мы устанавливаем между объектами, предшествует *самим этим объектам* и служит их определению. <...> Прежде всего существуют устанавливаемые нами разного рода отношения» [Соссюр 1990: 110]. «...Ни один элемент не обладает собственным *существованием*» [Там же: 200]. Нельзя «изолировать его от системы, в состав которой он входит». Ввиду первичности системы, понимаемой как совокупность отношений, анализ элементов возможен лишь в направлении от отношений в системе к ее членам, но не наоборот. Система не строится путем сложения ее членов, она не есть сумма членов. Дойти до составляющих язык элементов можно, лишь отправляясь от совокупного целого [Соссюр 1977: 146].

Стремлением устранить из понятия «язык» все чуждое его системе, все, в чем обнаруживается действие внешних по отношению к системе факторов, включая не только «естественные вещи», но и любые проявления индивидуальной свободы говорящих, их разума и воли, определяется в конечном счете и предлагаемая Соссюром структура языкознания.

Ни внешнелингвистические факторы, к которым Соссюр относит условия развития и функционирования языка, в том числе языковые контакты и «дух народа», ни явления речи, в частности фонация, звуковая субстанция, индивидуальные комбинации в речи говорящих, не имеют, согласно Соссюру, системообразующего статуса. Поэтому дисциплины, ориентированные на семантический и прагматический аспекты семиологического анализа, а именно внешняя лингвистика в противоположность внутренней, лингвистика речи в противоположность лингвистике языка, оцениваются как второстепенные и отодвигаются на задний план. То же относится и к диахронической лингвистике. На передний план выдвигается таким образом лингвистика языка, которая, в сущности, сводит семиологический анализ исключительно к синтаксическому аспекту в синхронии, т. е. к совокупности внутризнаковых и межзнаковых отношений в данном языковом состоянии, когда, по Соссюру, реализуется способность к означиванию.

Таким образом, в лингвистической концепции Ф. де Соссюра и природа языкового знака, и сущность языка, и структура языкознания получают свое обоснование и объяснение исходя из детерминирующего постулата о независимости языка — во всяком случае, его виртуальной системы — от естественных вещей и их отношений во внеязыковой реальности.

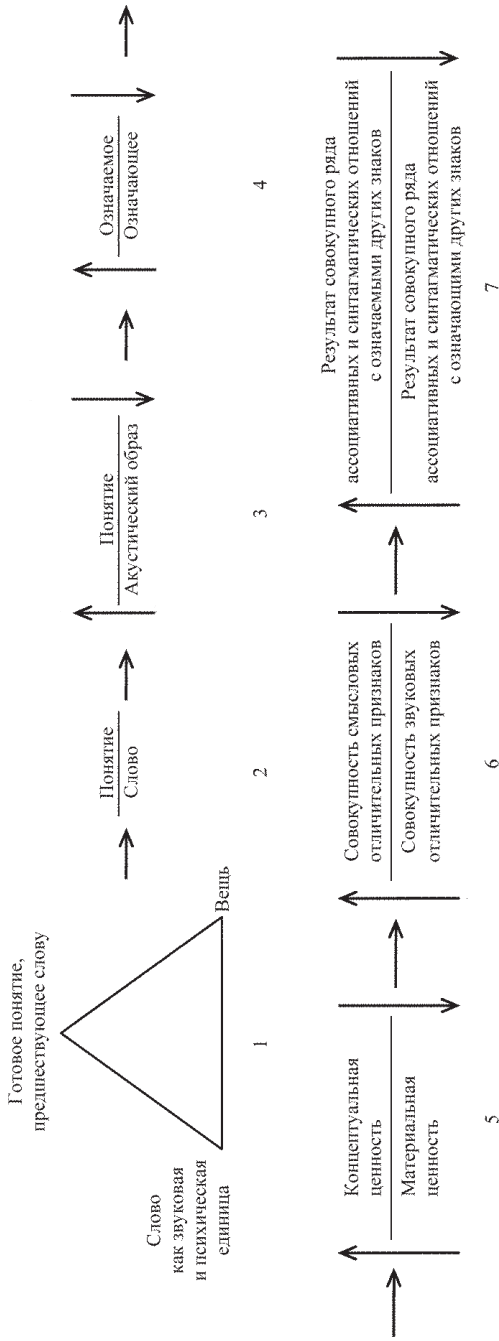


Рисунок. Схемы языкового знака по Ф. де Соссюру:

- 1, 2 — схемы, от которых Соссюр отказывается;
- 3, 4 — схемы, предложенные Соссюром;
- 5, 6, 7 — схемы, последовательно уточняющие понятия означаемого и означающего языкового знака в концепции Соссюра и предполагающие не изолированный знак, а знак в отношениях с другими знаками той же языковой системы.

Примечательно, однако, что, несмотря на стремление жестко отграничить язык от прочих проявлений речевой (языковой) деятельности, Соссюр не исключает все же из ведения лингвистики ни индивидуальные речевые проявления, зависящие от воли говорящих, ни диахронические факты, ни даже внешние элементы, ибо и то, и другое, и третье безразлично вовсе для языкового знака. Ведь прежде чем закрепиться в языке, ассоциация понятия со словесным образом предварительно имеет место в акте речи [Соссюр 1977: 57]. Именно явления речи обуславливают эволюцию языка [Там же], и в частности изменения языковых знаков, выражающиеся в сдвиге отношения между означаемым и означающим [Там же: 107–108], так что со временем происходит общее смещение соотношения членов и ценностей в языке как знаковой системе [Соссюр 1990: 188]. История языка, диахронические факты в свою очередь сложно переплетены и взаимосвязаны с разнообразными внешними явлениями: историей расы или цивилизации, политической историей и т. д. [Соссюр 1977: 59]. Поэтому наряду с внутренней лингвистикой, лингвистикой языка, синхронической лингвистикой Соссюр выделяет также внешнюю лингвистику, лингвистику речи, диахроническую лингвистику, причем показывает не только их автономность относительно друг друга, но и их взаимодействие. Очевидно, совершенно изолировать язык и языковые знаки от реальной действительности невозможно, и Ф. де Соссюр, по всей вероятности, это осознавал, как ни стремился доказать противоположное.

3. К ЦЕЛОСТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА: К. БЮЛЕР

К. Бюлер в своей книге «Теория языка. Репрезентативная функция языка» (1934) разрабатывает поистине целостную концепцию знака исходя из модели языка как орудия общения.

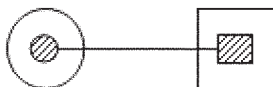
Знак в свете принципа абстрактивной релевантности. В определении языка К. Бюлер ориентируется на знаменитую формулу схоластов *aliquid stat pro aliquo* ‘нечто стоит вместо чего-либо’. Если в отношении замещения заместителем является конкретный предмет, «... всегда возможна двойственная трактовка этого конкретного предмета. Одна из них абстрагируется от функции замещающего как такового, определяя его как нечто для себя (*für sich*). Вторая трактовка, напротив, акцентирует внимание на свойствах, связанных с замещением. Конкретный предмет функционирует “как” знак только благодаря абстрактным моментам и в тесном взаимодействии с ними». Такова суть принципа абстрактивной релевантности [Бюлер 1993: 44].

«Явление *абстракции* занимает центральное место в сематологии» [Там же: 47], или семиологии [Там же: 17]. «Общий закон сематологии заключается в том, что все предметы и процессы в мире, используемые нами как знаки, употребляются по принципу абстрактивной релевантности» [Там же: 205]. «... Когда в роли знака–носителя смысла выступает чувственно воспринимаемая *hit et nunc* вещь, то с выполняемой ею семантической функцией не должна быть связана вся сово-

купность ее конкретных свойств. Напротив, для ее функционирования в качестве знака релевантен тот или иной абстрактный момент» [Бюлер 1993: 47].

Ключом к знаковой природе языка для К. Бюлера становятся фонологические идеи Н. С. Трубецкого, в соответствии с которыми «...звук языка можно и нужно изучать в двух направлениях... С одной стороны, можно исследовать их свойства “для себя”, а с другой — их функционирование в качестве знаков. Первую задачу выполняет фонетика, вторую — фонология», оперирующая фонемами как дискретными звуковыми знаками. «Их семантическая функция — служить в качестве *диакритик* сложных явлений, называемых словами» [Там же].

В типичном словесном языке, обладающем двусторонней сущностью, каждая сторона — не только звуковая, но и семантическая — подчинена принципу абстрактивной релевантности. Поэтому в схеме для назывных слов, т. е. языковых понятийных знаков, К. Бюлер подчеркивает зеркальное строение звукового образа слова и его семантики:



«Заштрихованный малый круг символизирует *совокупность* диакритически релевантных моментов для словесного образа — точно так же, как заштрихованный малый квадрат символизирует совокупность концептуально выделенных моментов для объекта, обозначаемого назывным словом» [Там же: 254–255].

Многосторонность знака в языке как полифункциональном орудии межличностного общения. Указанными релевантными моментами отнюдь не исчерпывается реальная сложность языкового знака. Прежде всего К. Бюлер отмечает *многосторонность знака*, обусловленную *многосторонностью языка* как инструмента межсубъектного (межличностного) общения.

В таком толковании языка К. Бюлер опирается на диалог Платона «Кратил».

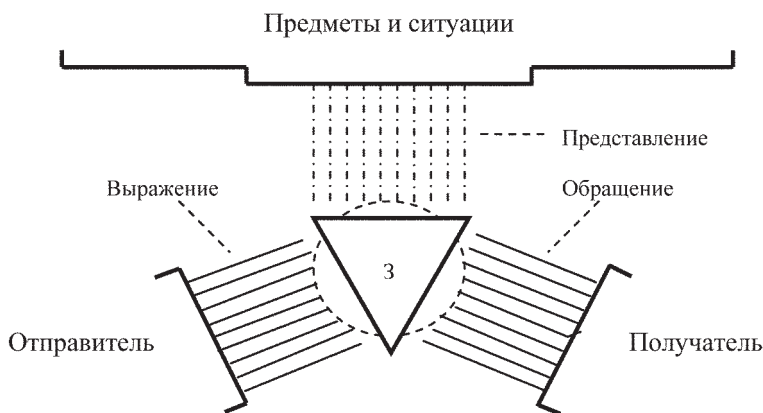
В понимании Платона, *говорить* есть действие. «...Действия производятся в соответствии со своей собственной природой» [Платон 1990, 1: Кратил 387а; с. 617] и с помощью орудий, данных для этого от природы [387с; с. 618]. Для действия *говорить* таким орудием служат *имена*. «...Имя есть некое орудие обучения и распределения сущностей, как, скажем, челнок — орудие распределения нити» [388bc; с. 619]. «Правильность имени... состоит в том, что оно указывает, какова вещь» [428e; с. 666]. В процессе общения в ходе взаимодействия между *я* и *ты*, «...произнося какое-то слово, я подразумеваю нечто определенное, ты же из моих слов узнаешь, что я подразумеваю именно это». «И если ты узнаешь это тогда, когда я произношу какое-то слово, то можно сказать, что *я* как бы *сообщаю тебе что-то*» [434e–435a; с. 674; выделено мною. — Л. З.].

К. Бюлер распространяет платоновское определение имени на язык в целом. Соответственно, «...язык есть *органит*, служащий для того, чтобы один человек мог

сообщить другому нечто о вещи» [Бюлер 1993: 30]. «...Представляя собой органон, подобный вещественным инструментам..., как и орудия труда, язык есть *специально сконструированный посредник*» в общении между людьми [Там же: 1–2]. Отсюда «интерсубъективность языкового механизма», который служит средством регламентации социального поведения членов сообщества на основе знаковой коммуникации [Там же: 3–4].

В предложенной Бюлером схеме–модели языка как органа «круг в середине символизирует конкретное языковое явление. Три переменных фактора призваны поднять его тремя различными способами до ранга знака. Три стороны начерченного треугольника символизируют эти три фактора. Треугольник включает в себя несколько меньше, чем круг (принцип абстрактивной релевантности). С другой стороны, он выходит за границы круга, указывая, что чувственно данное всегда дополняется апперцепцией¹.

Множество линий символизирует семантические функции (сложного) языкового знака. Это *символ* в силу своей соотнесенности с предметами и положением дел; это *симптом* (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и *сигнал* в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет так же, как и другие коммуникативные знаки» [Там же: 34].



В соответствии с указанными семантическими функциями языкового знака язык как инструмент межличностного общения обладает тремя функциями: *репрезентации*, *экспрессии* и *апелляции* [Там же].

Доминантой в инструментальной модели языка является репрезентативная функция [Там же: 36, 136]. Соответственно, «...доминирующая функция знаков

¹ Апперцепция — «воздействие общего содержания психической деятельности, всего предыдущего опыта человека на его восприятие предметов и явлений» [ФЭС 1989: 35]

человеческого языка — *функция репрезентации*» [Бюлер 1993: 5]. Однако «неверно, что всё, для чего звук является посредническим феноменом, посредником между говорящим и слушающим, охватывается понятием “вещи” или более адекватной понятийной парой “предметы и ситуации”. Скорее верно другое, то, что в создании речевой ситуации не только отправитель как деятель процесса говорения, отправитель как *субъект* речевого акта, но и получатель как тот, к кому обращаются, получатель как *адресат* речевого акта имеют свои собственные позиции. Они являются не просто частью того, что может быть предметом сообщения, но партнерами по общению, и поэтому в конечном счете возможно, что посреднический звуковой продукт обнаружит свою собственную знаковую связь с тем и с другим» [Там же: 36]. Короче, языковые знаки выступают в качестве «интерсубъективных посредников» [Там же: 44].

В результате «один и тот же конкретный феномен является знаком предмета, имеет экспрессивную значимость и так или иначе затрагивает получателя, то есть имеет апеллятивную ценность» [Там же: 40]. «...Со всеми словами дело обстоит так, что либо их особое фонематическое оформление (императивы *veni, komm* ‘приходи’), либо определенная музыкальная модуляция, либо даже просто употребление в данной речевой ситуации обеспечивает им роль команды или восклицания и экспрессивного знака. До некоторой степени они всегда несут это в себе. Таким образом, можно утверждать, что языковые феномены в рамках модели органа выглядят *многосторонними*» [Там же: 38].

«Одно и то же конкретное языковое явление многосторонне осмысливается или многосторонне интерпретируется как посредник между отправителем и получателем. <...> Принцип абстрактивной релевантности... объясняет, насколько возможен в обычных условиях многосторонний коммуникативный эффект звукового явления. Он, в частности, возможен там и настолько, где и насколько в звуках отражаются экспрессии, *иррелевантные* для репрезентации, и наоборот» [Там же: 48]. Например, в индоевропейских языках фонематическая структура выполняет репрезентативную функцию, тогда как «...тон, иррелевантный для репрезентации, сопровождает экспрессию и апелляцию», в чем и состоит функция интонации [Там же].

Так или иначе ввиду интерсубъективности языкового механизма его функции не ограничиваются «образующей язык потребностью» в функции наименования. Более того, поскольку язык имеет социальную природу, она проявляется и в процессе именования. По словам Бюлера, «социальное возникло тогда, когда в Адаме пробудилось человеческое и он дал вещам имена, каждой согласно ее характеру; и полная мера социального, вскрываемого уже у животных, проникает, подобно жизненным сокам, так же и человеческий язык» [Бюлер 1960: 29]. «Не случайно оказываются вынужденными устанавливать основные функции языка на основе обычной ситуации, когда **некто** говорит **другому** о **чем-либо**» [Там же: 28]. Ориентация на ситуацию объясняет, почему наряду со знаками-названиями в каждом человеческом языке имеются слова-указатели. Таковы, в частности, указатели

положения — *здесь, тут, там*, указатели участия — *я, ты, он* [Бюлер 1960: 29]. По мысли Бюлера, «...язык есть орудие ориентации в общественной жизни также и тогда, когда один подводит другого к тому, что доступно восприятию, и направляет его бодрствующие чувства, дабы он видел и слышал, что происходит вокруг него. Язык знал еще до Канта, что понятия без представления пусты, и устанавливал контакт между нами и пестрым миром чувств; лучшим и простейшим средством для этого является языковой знак» [Там же: 30; выделено мною. — Л. З.]. Из сказанного следует, что «выражение» и «обращение», иначе «экспрессия» и «апелляция», должны быть включены в число «образующих язык потребностей» наравне с репрезентацией. Все они должны учитываться в инструментальной схеме-модели языка, даже если в какой-то речевой ситуации «...на первый план выступает то одна, то другая из трех основных функций звукового языка» [Бюлер 1993: 37]. Так, доминантность функции репрезентации особенно очевидна в языке науки, хотя и он не лишен экспрессивной функции. Правда, у логика экспрессия выражена слабее, нежели у лирика. «На третью, собственно апеллятивную функцию полностью нацелен, например, язык команд; на апеллятивную и экспрессивную функции — в равной степени ласкательные слова и ругательства». В общем, «...каждое из трех отношений, каждая из трех смысловых функций языкового знака открывает и тематизирует свою область лингвистических феноменов и фактов» [Там же].

Речевое действие и языковое произведение (*Sprechhandlung* — H, *Sprachwerk* — W), речевой акт и языковая структура (*Sprechakt* — A, *Sprachgebilde* — G). В совокупном предмете науки о языке «после Гумбольдта практически все крупные языковеды признавали важность различения *energeia* и *ergon*, а после Соссюра — речи и языка» [Там же: 50]. Взамен данных противопоставлений К. Бюлер принимает схему из четырех элементов-полей, объединяя их также парно:

	I	II
1.	H	W
2.	A	G

«...Речевые действия и речевые акты принадлежат полю I, а языковые произведения и языковые структуры — полю II. <...> В итоге языковые явления можно определить так:

соотнесенные с субъектом,

отвлеченные от субъекта и потому межличностные».

«...Речевые действия и языковые произведения принадлежат полю I, а речевые акты и языковые структуры — полю 2». Соответственно различаются *две ступени формализации*: действия и произведения — на *низшей*, акты и структуры — на *высшей* [Там же: 51].

«Существуют ситуации, в которых с помощью речи решается актуальная в данный момент жизненная задача, то есть осуществляются *речевые действия*. Но есть и другие обстоятельства, когда мы в поисках адекватного языкового выражения творчески работаем над данным материалом и создаем *языковое произведение*. ...Речь “исполняется” (осуществляется) в той мере, в какой ей удастся реализовать практическое решение проблемы в данной ситуации...

Языковое произведение как таковое стремится к независимости от положения в жизни индивида и переживаний автора. Результат, представляющий собой произведение человека, имеет тенденцию к обособлению от конкретной ситуации и полной самостоятельности» [Бюлер 1993: 54]. Так со временем возможно «освобождение смысла предложения от речевой ситуации» [Там же].

Языковая структура есть более высокая ступень формализации.

«При лингвистическом описании *структуры* латинского языка или языков банту, *совокупности звуков, словаря или грамматики* речь идет в конечном счете о *системе языковых образований*» [Там же: 58; курсив мой. — Л. 3].

Смысл понятия «языковое образование» показан в книге на примере единиц лексикологии. «Когда лингвист говорит: “слово *отец*”, употребляя при этом форму единственного числа, он имеет в виду целый класс явлений из интересующей его области. ...Слово, соответствующее в индоевропейских языках, например, нем. *Vater*, никогда не могло бы внезапно и не следуя каким-либо законам изменить фонематический облик или символическую значимость. На основе генетического тождества в истории языка сформировалась единица *Vater*, занявшая определенное место в словаре немецкого языка и всех его диалектов в прошлом и настоящем, поэтому *Vater* трактуется лингвистами как *одно* слово. Такие единицы словаря представляют собой естественные классы, с точки зрения филолога. Грамматист же в слове *Vater* и во многих других единицах словаря одновременно видит, например, и разряд существительных, оставаясь при этом в сфере своих интересов — лингвистического учения о структурах» [Там же: 60–61]. Другие общие и частные грамматические категории, например *глагол, артикль, аккузатив*, также принадлежат к языковым образованиям.

Наименее разработанным и наиболее дискуссионным в схеме четырех полей Бюлер считает понятие *речевого акта*. Сама необходимость в таком понятии и, далее, в различении речевых актов и языковых структур заключается в том, что «...языковая репрезентация везде открывает *простор* для семантической неопределенности, который может уничтожаться только из-за “объективных возможностей”, как это и происходит в человеческой речи. Если бы всё было иначе, ...естественный язык лишился бы своих самых удивительных и ценных свойств, поразительной способности приспосабливаться к неисчерпаемому богатству фактов, подлежащих языковой формулировке в каждом конкретном случае» [Там же: 64].

Путь к решению проблемы речевого акта как высшей ступени формализации явлений, соотнесенных с субъектом, Бюлер видит в том, чтобы соотносить с субъектом не все значения и, исключив индивидуально случайное, вести речь

«не о непосредственно воспринимаемом в каждом конкретном случае психологическом и лишь дейктически указанном субъекте или Я, ...а о некоем субъекте второй ступени формализации (логическом и трансцендентальном Я)» [Бюлер 1993: 65].

Однако исследование способов употребления знаков в конкретных языках заставляет оставить «закрытое пространство монад с его субъективно ориентированными значениями» и не более чем воображаемым миром [Там же: 65–66]. Если в анализе языка ориентироваться на модель органона, то «...наряду с теорией актов следует принять во внимание дополняющее ее учение о структурах, составлявшее главный предмет грамматики во все времена» [Там же: 66]. Более того, Бюлер полагает, что «...теория структур, выведенная прежними методами из подлинной модели языка как органона, а тем самым из объективной трактовки языка и сопряженного с ней *социального характера языка*, должна логически предшествовать или по крайней мере быть логически рядоположной ориентированной на субъект теории актов» [Там же].

Модель структуры языка в трактовке Бюлера указывает на то, что языковые феномены в рамках модели органона являются не только многосторонними, но и *многоступенчатыми* знаковыми образованиями. «Уже звуковой образ слова строится как знак и в виде знака; слово *Tische* ‘столы’ как звуковое образование содержит четыре элементарные характеристики... Эти характеристики, *фонемы* слова, функционируют как своего рода *notae*, признаки; они являются *знаками различия* звуковых образов. Далее: целый звуковой образ *Tische* функционирует в осмысленной речи как *знак предмета*; он представляет вещь или класс (вид) вещей. Наконец слово *Tische* в контексте обладает позиционной значимостью и иногда фонематически обогащается за счет *s* на конце; мы назовем все это полевыми значимостями, которые может приобретать слово в синсемантическом окружении (внешнем поле)» [Там же: 38]. При переходе от фонем к осмысленным слогам и к словесным формам число элементов последовательно возрастает, например в немецком языке в соотношении 40 // 2 000 // 30 000. Соответственно устанавливается очевидная лестница, или иерархия, разнообразия [Там же: 39].

Язык как двухклассная система. Слово и предложение. Понятие поля. Среди систем коммуникативных знаков К. Бюлер различает два типа. «Важнейшее различие систем заключается в функционировании глобальных сигналов в одном случае и расчлененных символов в другом» [Там же: 68–69].

К первому типу принадлежат некоторые системы флажковых знаков. Таким системам свойственна *глобальная символизация*. Это значит, что «самым существенным признаком системы следует считать отсутствие какого-либо смыслового членения сигнала, соотношенного с чувственно воспринимаемыми знаками. <...> ...В типичной коммуникативной ситуации каждый флажковый комплекс функционирует как нерасчлененное коммуникативное средство. Вся система состоит из семантических единиц одного типа или класса. Система представляет собой не что иное, как их сочетание, и является *одноклассным* знаковым

механизмом» [Бюлер 1993: 68]. Неправильно отождествлять подобные глобальные сигналы с предложениями языка или с именами: «...они не являются ни тем и ни другим» [Там же].

Ко второму типу относится система естественного звукового языка, который, как заметил уже В. фон Гумбольдт, обладает двумя самобытнейшими свойствами — *членораздельностью* и *символичностью* [Гумбольдт 1984: 160]. По Бюлеру, в языке представлены два класса (типа) структур — слова и предложения, лексикон (словарь) и синтаксис, так что «система языкового типа строит каждую законченную (и способную не зависеть от ситуации) репрезентацию в два шага, которые следует разграничивать путем абстракции: выбор слов и построение предложения... Первый класс языковых структур и соответствующих установлений как бы преследует цель разорвать мир на части, расчленив на классы вещей, процессов и т. д., разделить на абстрактные аспекты, каждый из которых коррелирует со знаком, в то время как второй класс стремится заранее предоставить знаковые средства для конструирования того же самого (репрезентируемого) мира на основе отношений» [Бюлер 1993: 69–70].

В двухклассной системе языка «предложение так же не может существовать до слова, как и слово до предложения, поскольку они являются *коррелятивными элементами* одного и того же (скорее всего, достаточно продвинутого) состояния человеческого языка. <...> Абстрактная схема предложения без словесного наполнения так же не может существовать, как какое-либо отношение без членов этого отношения» [Там же: 70–71]. Поэтому при определении слова и предложения «нельзя абсолютизировать тот *или* иной термин, они взаимосвязаны и могут быть определены лишь в рамках корреляции» [Там же: 67].

Требованиями корреляции обусловлено понятие *поля*, которое Бюлер ввел в лингвистику, позаимствовав его из психологии. Чтобы использовать для репрезентации языковые знаки, необходимо поле или множество полей. «То, что они требуются для репрезентации, — это основное сематологическое положение [Там же: 166]. В языке «в принципе повсюду дело обстоит так же, как в случае нотного стана, географической карты или картины; так или иначе, но должно возникать поле, на котором и с помощью которого можно создать правильно построенное и расчлененное изображение в виде *языкового произведения*» [Там же].

С понятием поля Бюлер связывает проявление некой внутренней сущности в целостной модели языка. «Какое-либо поле в широком смысле этого слова всегда наличествует; соотношение с ним имеется всегда, когда рождается речевой звук и когда он, наделенный значением, вступает в мир». В частности, оно обнаруживается в контексте определенного действия, когда знак получает истолкование «на основании местоположения в осмысленном поведении посылающего его (говорящего)». Если физическое окружение, в котором выступает знак, и жизненный опыт его производителя отходят на задний план, «...отдельный знак находит опору и смыслонаполнение в структурном образовании с себе подобными. <...> ...Он толкуется и отлично понимается на основе контекста. В крайних случаях

синсемантические факторы являются его единственным релевантным полем» [Бюлер 1960: 34–35].

Словесный знак существует в поле предложения. Соединение слов в предложении включает в себя «сигнификативную смену при переходе от знаков, которые называют предметы или указывают на них, к полю, которое обозначает ситуацию» [Бюлер 1993: 234–235].

В конструктивном ряду: фонема, слово, предложение — слово вступает также в отношение с составляющими его фонемами¹. «Кроме того, словесный знак является собой целостный образ, он имеет свой “мелодический облик”, который изменяется (как и человеческое лицо) в зависимости от экспрессивных факторов и смены значений аппеллятивной функции» [Там же: 235].

Как целостный образ словесный знак обладает *гештальтными свойствами*, которые Бюлер объясняет действием словесного акцента и словесной мелодики. Возникающие при этом музыкальные модуляции могут быть релевантны лексически, морфологически, синтаксически. Иными словами, «...каждое слово имеет свой *мелодический облик*, который не определяется целиком и полностью экспрессией, но отчасти передает и его символическую значимость, а также его синтаксическую валентность» [Там же: 161–162].

В итоговом определении Бюлера, «...*слова являются звуковыми знаками языка, обладающими фонемной структурой и способностью к полемому употреблению*» [Там же: 271]. «...К полемому употреблению могут быть способны лишь те единицы, которые мысленно противопоставляются полю и отделяются от него; поле предложения и слова имеют различный характер. Слова находятся в символическом поле, занимая определенные позиции в нем... <...> ...Только звуковые образования, обладающие символической значимостью (или сигнальной значимостью в том смысле, в каком ею обладают указательные слова), способны к полемому употреблению» [Там же: 273].

Поскольку «...все символы нуждаются в поле, а каждое поле — в символах для того, чтобы добиться приемлемой репрезентации», постольку символы и поле представляют собой «коррелятивные факторы». Вот почему «...их придется определять коррелятивно» [Там же: 170–171]. Соответственно, «...одним из признаков понятия слова является способность звуковых знаков, которые мы называем словами, включаться в (синтаксическое) поле» [Там же: 171].

Два поля словесных знаков. Полная модель речевого общения не позволяет К. Бюлеру ограничиться анализом знаков–символов, постоянно занимающих внимание лингвистов. Речевое общение требует разделения словесных знаков на два

¹ Если же в указанной конструктивный ряд включить минимальную значащую единицу — морфему, то тогда по отношению к составляющим его морфемам слово тоже обнаружит свойства поля. Не случайно фонемная структура корня коррелирует с канонической морфологической структурой слова в данном языке, а в консонантной структуре корневого слова разграничиваются три типа позиций: внутри морфемы, потенциальный морфемный стык, потенциальный словесный стык [Зубкова 2010: 587–589, 696].

поля — *символическое* и *указательное*. «Наличие в языке не одного, а двух полей — это уже новая концепция. ... Она верифицирует на лингвистическом материале тезис Канта, согласно которому понятия без наглядных представлений пусты, а представления без понятий — слепы; она показывает, как речевое мышление одновременно мобилизует названные два фактора, принадлежащие совершенному познанию, в их причудливом, но зримом переплетении. ... Это двойственность, неизбежно присущая любому языковому явлению, а также характеризующая — сегодня, как и всегда, — язык в целом. <...> ... *Теория двух полей* исходит из того, что наглядное указание и представление несколькими способами ровно в той же степени приближаются к сути естественного языка и составляют эту суть, как составляют ее абстракция и понятийное восприятие мира. Это и есть квинтэссенция развиваемой здесь теории языка» [Бюлер 1993: 2–3].

«...Языковое указательное поле мы отчетливее всего обнаруживаем в *речевом действии*, а поле символов — в обособившемся *языковом произведении*» [Там же: 153].

Для языковой реализации коммуникативных потребностей различие указательных и назывных слов, проводившееся уже первыми греческими грамматистами, является основополагающим [Там же: 76–77].

Все участники общения находятся во власти некоторой системы координат субъективной ориентации. Естественной исходной точкой координат выступает «я» [Там же: 95, 121]. «Указательное поле языка в непосредственном общении — это система “здесь — теперь — я” субъективной ориентации. Бодрствуя, отправитель и получатель постоянно существуют в этой системе ориентации и в опоре на нее понимают жесты и другие средства наглядного указания» [Там же: 136]. В системе «здесь — сейчас — я» основные указательные слова наделены функциями показателя *места*, показателя *времени* и показателя *индивида* [Там же: 99]. Участвуя в конкретном речевом событии, «...отправитель не только занимает определенное положение на местности (как дорожный указатель), но и играет, кроме того, некоторую *роль* — роль отправителя, отличную от роли получателя. Ведь не только для женитьбы, но и для любого социального происшествия нужны двое, а конкретное речевое событие должно быть описано прежде всего на основе полной модели речевого общения. Если говорящий “хочет указать” на отправителя произносимого слова, то он говорит *я*, а если он хочет указать на получателя, то он говорит *ты*» [Там же: 74]. «То, к чему относятся “здесь” и “там”, изменяется в зависимости от позиции говорящего точно так же, как с переменной ролей отправителя и получателя “я” и “ты” перемещаются от одного речевого партнера к другому и обратно» [Там же: 75]. «Строго говоря, *здесь* указывает на позицию говорящего в данный момент, а эта позиция может изменяться от говорящего к говорящему и от речевого акта к речевому акту. Таким же образом от абсолютно случайных обстоятельств зависит, будут ли два употребления *ты* относиться оба раза к носителю одного и того же собственного имени или нет» [Там же: 96].

С функциональной точки зрения указательные слова суть *сигналы*. В отличие от них «назывные слова функционируют как *символы*» [Бюлер 1993: 76]. Это символы предметов.

Будучи символом, каждый понятийный знак употребляется всеми для обозначения *одного и того же* предмета в его *качественной определенности*. Такой предмет, имея определенные свойства, «не меняет их существенным образом в зависимости от конкретного случая употребления слова. Ни для каких указательных слов это условие не выполняется и не может выполняться. Ведь сказать *я* может всякий, и всякий, кто это говорит, указывает на иной предмет — не на тот, на который указали бы другие. Если бы мы захотели перевести межличностную многозначность этого единого слова *я* в однозначность, требуемую логиками от языковых символов, то нам бы понадобилось столько собственных имен, сколько имеется говорящих. И в принципе точно так же обстоит дело с любым другим указательным словом» [Там же: 96].

Так же как указательные слова, назывные слова имеют свое поле. Оно реализуется в предложении, которое представляет собой «элементарное языковое произведение» [Там же: 329].

Специфика языкового поля символов раскрывается Бюлером в сравнении с другими репрезентативными системами. Бюлер доказывает, что «...языковое мышление и любое другое оперирование предметными символами в познавательных целях так же нуждается в символическом поле, как художник в палитре, картограф — в сетке параллелей и меридианов, композитор — в нотной бумаге или, обобщая, как каждая система двух классов — в репрезентативных знаках» [Там же: 232].

В частности, в целостном живописном произведении цветовые пятна «приобретают различную *изобразительную ценность* в контексте всей картины», когда «...эти изобразительные ценности находятся в синсемантическом окружении и приобретают в нем определенные полевые ценности. Для того чтобы такие структуры могли выявиться, цветовые пятна (обобщенно: чувственно воспринимаемые данные) должны получить знаковую ценность. <...> Контекст изобразительных ценностей на картине является аналогом контекста языковых знаков; и там и здесь имеется синсемантическое окружение. <...> Отправитель, не задумываясь, одновременно производит жесты, мимику и звуки; при этом в качестве синсемантического окружения действует вся совокупность произведенных коммуникативных знаков» [Там же: 150]. «...Подобно тому как краски живописца нуждаются в холсте, чтобы стать картиной, так и языковым символам требуется окружение, в котором они располагаются. Мы назовем его *полем символов* языка. ...Оно выполняет свою важнейшую миссию благодаря более общему и более четкому охвату того отношения, которое существует между синтаксическими и лексическими явлениями языка» [Там же: 137].

«Языковое поле символов в сложном языковом произведении дает в наше распоряжение еще один класс опор для конструирования и понимания; их можно объединить под общим названием *контекст*; ситуация и контекст... — это два

источника, питающих в каждом конкретном случае точную интерпретацию языковых высказываний» [Бюлер 1993: 136]. Необходимость в такого рода опорах обусловлена природой языковых понятийных знаков. «Не следует думать, будто в языке... звуковой материал благодаря своей наглядной упорядоченности непосредственно представляет собой зеркало действительности и репрезентирует ее. ...Между звуковой материей и действительностью стоит совокупность опосредствующих факторов, стоят... языковые посредники» в виде языкового полевого инструментария. Причем «...разные языковые семьи *отдают предпочтение* разным полям посредников и символов, поскольку то, что надо репрезентировать, то есть мир, в котором люди живут, они видят по-разному» [Там же: 138].

Суть языковых расхождений в полях символов и посредников становится понятной, если обратиться к синтаксису как учению о классах и формах слов [Там же: 153].

Классы слов, указывает Бюлер, «содержат фундаментальные инструкции для построения текста. <...> В каждом языке существуют избирательные сродственные связи: наречие стремится к своему глаголу, то же наблюдается и у других частей речи. ...Слова определенного класса открывают вокруг себя одно или несколько *вакантных мест*, которые должны быть заполнены словами определенных других классов» [Там же: 158]. Значит, для установления частеречной принадлежности слова «начать следует с полевой значимости, которую слова получают в составе предложения... Если глагол типа *amare* ‘любить’ допускает два вопроса: *кто?* и *кого?*, — то это... означает..., что функция этого слова в символическом поле предусматривает два вакантных места. Эти два места могут быть заполнены лишь представителями определенного (а отнюдь не любого) класса слов. Слово *albus* ‘белый’ открывает лишь одно вакантное место, которое также должно быть заполнено символами определенного класса». Таким образом, «...проблема частей речи решается только с помощью овладения символическими полями». Иными словами, «...“понятийные категории” появляются только после анализа “структур предложения”» [Там же: 276].

Рассматривая формы слов, мы обращаемся к синтаксическим средствам связи. Исчерпывающей перечень средств выражения связи, выступающих в качестве контекстуальных факторов, был составлен Г. Паулем [Пауль 1960: 145–146], и К. Бюлер полностью приводит соответствующий параграф из книги Г. Пауля. При этом К. Бюлер не упускает из виду типологических различий в использовании контекстуальных факторов: в индоевропейском немецком языке полевым инструментарием служит падежная система [Бюлер 1993: 138, 217–229], тогда как в китайском языке — порядок слов [Там же: 158].

Если следовать Г. Паулю, то из семи названных им средств выражения связи представлений служебные слова и флективное словоизменение «могли сложиться лишь постепенно, в ходе длительного исторического развития, тогда как первые пять уже с самого начала находились в распоряжении говорящего» [Пауль 1960: 146]. Это «1) простое соположение слов.; 2) порядок слов; 3) различия в силе

произношения отдельных слов, сильное или более слабое ударение (ср. нем. *Karl kommt nicht* “Карл не придет” — *Karl kommt nicht* “Карл не придет”); 4) модуляция высоты тона (ср. *Karl придет* — утвердительное предложение и *Карл придет?* — вопросительное); 5) темп речи, обычно тесно связанный с силой произношения и с высотой тона» [Пауль 1960: 145–146].

Не исключено, что именно такой ход исторического развития наводит К. Бюлера на мысль об общих закономерностях эволюции знаковой системы и грамматического строя языка. «В истории человечества, — предполагает Бюлер, — взаимопонимание при помощи звуков, по всей видимости, гораздо старше *оформленного* предложения, так же как применение камней в качестве орудий, очевидно, древнее точно обработанных каменных топоров» [Бюлер 1993: 336]. В ходе экспериментального изучения речевого мышления Бюлер убедился в том, что знание формы предложения, его синтаксической схемы, отношений между отдельными частями целостной формы «всегда или почти всегда выступает в роли *посредника* между мыслями и словами» [Там же: 231]. «Формальный мир грамматики, по сути дела, возник в результате подключения синсематических языковых знаков и в соответствии с этим должен был развиваться». Вот почему известные нам человеческие языки представляют собой системы с символическим полем, с чем «должна считаться теория предложения», ибо «... полное предложение характеризуется *замкнутым и заполненным символическим полем*» [Там же: 337].

Чтобы удовлетворить потребности языкового мышления в символическом поле, «человеческий язык как механизм репрезентации, насколько он нам известен сегодня, прошел некоторые стадии развития, заключающиеся во все возрастающем освобождении от указания и отдалении от живописания» [Там же: 232]. В результате меняется также *соотношение ситуации и контекста* как источников интерпретации языковых высказываний. Тем самым и «в области употребления языковых знаков можно выделить освободительное движение, пожалуй, наиболее знаменательное в становлении человеческого языка. ...Его можно квалифицировать как освобождение (в той мере, в какой это возможно) от *ситуативных вспомогательных средств*; это переход от в основном эмпирической речи к языковым произведениям, в значительной степени синсемантически самостоятельным (самодостаточным)» [Там же: 337].

Неодинаковую зависимость языковых выражений от ситуативных условий Бюлер показывает на следующих примерах. «Пассажир в трамвае говорит: “Без пересадки!”, сосед в вагоне рассказывает: “Папа римский умер”. Второе выражение снабжено всем необходимым, чтобы и не в трамвайном вагоне быть понятым так же однозначно. Первое — эмпирически завершаемая, а второе — синсемантически замкнутая речь. <...> Можно утверждать, что где бы ни было высказано в один и тот же день это (второе. — Л. З.) предложение, оно будет понято одинаково при всем различии локальных ситуаций. Таким образом, смысл данного предложения свободен от локальных, но не темпоральных условий речевой ситуации, он свободен от Здесь, но не от Теперь», ибо «говорящий

сообщает о событии дня». «Смысл некоторых предложений не зависит и от темпоральных условий, например “дважды два — четыре” и другие научные высказывания» [Бюлер 1993: 337–338].

«В той же мере, в какой репрезентативное содержание языковых выражений освобождается от конкретной речевой ситуации, языковые знаки подчиняются новому порядку, наделяются полевой значимостью в символическом поле, попадают под сопутствующее воздействие *синсемантического* окружения» [Там же: 342].

Но это не исключает взаимодействия символического поля с указательным.

Несмотря на указанное «освободительное движение», наглядные представления и понятия, составляющие суть человеческого языка, продолжают сосуществовать, поскольку он служит орудием межличностного общения в окружающей действительности. Неудивительно, что между сигналами и символами нет жесткой границы и очевидно, что ее никогда не будет.

В частности, знаки–символы не лишены вовсе указательных свойств. Это становится вполне очевидным, если среди прочих контекстуальных факторов учесть феномен *материальных опор*, входящий «в число повседневных привычек обычного пользования языковыми знаками». «...Коммуникант как говорящий или слушающий должен обращать свое внимание, всю свою внутреннюю созидающую или реконструирующую активность на то, символами чего являются языковые знаки. В этом случае думают о вещах, о которых говорится, и конструктивная и реконструктивная внутренняя деятельность в значительной мере направляется с а м и м п р е д м е т о м, который уже известен или который задается и создается текстом» [Там же: 157]. Так, «если где-либо появляется слово ‘редис’, то читатель сразу же мысленно переносится за обеденный стол или в огород, то есть, следовательно, в совсем иную “сферу”..., чем при появлении слова ‘океан’» [Там же: 156]. Как видно, «...указание, осуществляемое указательным пальцем, не только характеризует функцию указательных слов, но также может быть обнаружено в сфере функционирования знаменательных слов» [Там же: 157]. Не случайно в определенных условиях имена замещают указательные знаки, и тогда лица, например в японском, называются (а не указываются) с соответствием с социальным положением собеседников [Там же: 133–134].

Со своей стороны, указательные слова тоже способны замещать назывные, так что «...любой указательный знак может выполнять номинативную функцию, иначе не было бы никаких местоимений» [Там же: 130]. Способность указательных знаков к такого рода замещениям имеет внутренние предпосылки. Дело в том, что «указательные слова также являются *символами* (а не только сигналами); слова типа *da* и *dort* ‘там’ символичны, они называют, так сказать, геометрическое пространство, то есть то место, окружающее говорящего в каждом конкретном случае, где находится указанный объект, точно так же, как *heute* ‘сегодня’, по сути дела, обозначает совокупность дней, когда это слово может произноситься, *ich* ‘я’ — всех потенциальных отправителей человеческих сообщений, а *du* ‘ты’ —

класс получателей сообщений¹. Тем не менее между этими именами и прочими назывными словами языка сохраняется различие, заключающееся в том, что слова рассматриваемого типа всякий раз требуют спецификации своего значения в указательном поле языка, спецификации, которая осуществляется при помощи чувственно воспринимаемых данных, поставляемых указательным полем в каждом конкретном случае» [Бюлер 1993: 83].

«Указательные слова не нуждаются в символическом поле языка, чтобы полно и аккуратно выполнять свои обязанности. Но они нуждаются в указательном поле и в детерминации, осуществляемой в каждом конкретном случае при помощи этого указательного поля, или... наглядных моментов данной речевой ситуации. С назывными словами дело обстоит в этом пункте совершенно иначе: правда, они иногда приобретают свой полный смысл эмпрактически..., находясь в указательном поле. Однако это не является неизбежным: в законченном репрезентативном суждении типа $S \rightarrow P$ языковая репрезентация оказывается в значительной степени независимой от конкретных ситуационных ориентиров» [Там же: 110]. Впрочем, и в данном случае К. Бюлер не говорит о *полной* независимости от ситуации. Далее же он замечает: «При систематическом изучении постепенного освобождения смысла предложения от условий речевой ситуации и постепенно возрастающего доминирования символического поля обнаруживается, что предложения $S \rightarrow P$, являясь высказываниями о *действительности*, во всех науках пользуются самостоятельностью, но по своему репрезентативному содержанию никогда не могут полностью обойтись без структурных данных указательного поля в той степени, насколько они в строгом смысле слова остаются высказываниями о действительности, экзистенциальными высказываниями» [Там же: 342].

Кроме того, надо иметь в виду, что сфера действия указательного поля охватывает и более сложные языковые произведения. В конструктивном ряду, включающем фонему, слово, (простое) предложение и сложноподчиненное предложение, «заключительный элемент этого конструктивного ряда, сложное предложение, удивительным образом обнаруживает те же дейктические характеристики, которые свойственны [указательным] словам... <...> Связи формирующегося высказывания сами используются как дейктическое поле. Контекст является анафорическим полем; формирующееся высказывание само в тех или иных фрагментах требует обращения вспять или вперед, оказывается *рефлексивным*» [Там же: 235]. В результате возникает *контекстуальное указательное поле* как разновидность единого указательного поля [Там же: 114].

¹ Вообще, согласно К. Бюлеру, «... формирование класса — привилегия назывных слов, языковых понятийных знаков» [Там же: 129].

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ОТ ГИПОТЕЗЫ СЕПИРА — УОРФА К НОВОМУ СИНТЕЗУ В ТЕОРИИ ЯЗЫКА

В лингвистических концепциях американских ученых Эдварда Сепира (1884–1939) и Бенджамена Ли Уорфа (1897–1941) тенденция акцентировать активную роль языка в отношении к мышлению, опыту, отражению и истолкованию действительности принимает завершённую и иногда даже крайнюю форму.

1. Э. СЕПИР

Язык и мышление. Э. Сепир различает в человеческом сознании мыслительную, или познавательную, сферу, волевую сторону и эмоции. В свою очередь в мыслительной сфере он выделяет два плана — до-рассудочный и рассудочный. Первый оперирует образами, второй — значениями. (В таком контексте «значения» в трактовке Э. Сепира как будто совпадают с понятиями.)

Язык, согласно Э. Сепиру, движется главным образом в мыслительной сфере. Сближаясь в этом отношении с А. Шлейхером, Э. Сепир считает, что «...в языке властвует мышление, а воля и эмоция выступают в нем как определенно второстепенные факторы» [Сепир 1993: 54]. Примат мышления Сепир объясняет функционально — целями и потребностями общения, а также познавательным по преимуществу характером языка. «Мир образов и значений — бесконечно и постоянно меняющаяся картина объективной реальности, — вот извечная тема человеческого общения... Желания, стремления, эмоции есть лишь личностная окраска объективного мира; они входят в частную сферу отдельной человеческой души и имеют сравнительно небольшое значение для других» [Там же].

Вот почему языковая материя отражает в первую очередь и главным образом концептуальное содержание — мир образов и значений, тогда как «...эмоциональный аспект нашей психической жизни лишь весьма скудно выражен в строении языка» [Там же: 193]. Более того, по мнению Сепира, выражение воли и эмоций не носит подлинно языкового характера, поскольку используемые для этого средства в сущности представляют собой измененные формы инстинктивных звукоиспусканий и движений, общих у человека с животными [Там же: 54].

Но и движение языка почти исключительно в мыслительной сфере отнюдь не снимает вопроса о соотношении языка и мышления. Для его решения сам Сепир

считает необходимым разобраться, не являются ли язык/речь и мышление лишь двумя гранями одного и того же психического процесса, возможно ли мышление вне речи.

Сепир не признает тождества языка и мышления, во-первых, потому, что мышление и мыслительная сфера для него не одно и то же, а во-вторых, потому, что функционирование языка он в значительной мере относит к сфере бессознательного. По Сепиру, внутреннее содержание как сознания, так и языка неоднородно и изменчиво с точки зрения психической значимости и интенсивности. Оно охватывает любые психические состояния — от конкретных образов до исключительно абстрактных значений и отношений. Но только эти последние Сепир относит к собственно мышлению. Такое ограничение сферы мышления существенно отличает его позицию от взглядов Э. Б. де Кондильяка, В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, понимавших мышление гораздо шире. Если принять ограничение Сепира, то «с точки зрения языка мышление может быть определено как наивысшее скрытое или потенциальное содержание речи, как такое содержание, которого можно достичь, толкуя каждый элемент речевого потока как в максимальной степени наделенный концептуальной значимостью» [Сепир 1993: 36]. Хотя такое содержание достижимо, в реальной речи оно не является нормой, ибо «...сам поток речи как таковой не всегда указывает на наличие мысли». Реальное использование языка не всегда имеет отношение к значениям (\approx понятиям), так как «мы в нашей повседневной жизни оперируем не столько значениями, сколько конкретными явлениями и специфическими отношениями» [Там же: 35]. «Из этого с очевидностью следует, что границы языка и мышления в строгом смысле не совпадают. В лучшем случае язык можно считать лишь внешней гранью мышления на наивысшем, наиболее обобщенном уровне символического выражения» [Там же: 36], тогда как «в своих основных формах язык есть символическое выражение человеческой интуиции» [Там же: 120].

В результате речевые формы обычно не осознаются [Там же]. Неосозанный характер основных языковых форм есть одно из проявлений принудительности и преимущественной бессознательности форм социального поведения вообще [Там же: 265, 600]. Это значит, что «...отношения между элементами жизненного опыта, служащие для придания этим элементам формы и значения, воспринимаются человеком не столько через сознание, сколько в гораздо большей степени через ощущения и интуицию» [Там же: 599]. Каждый язык, будучи формой выражения опыта, обладает законченной формальной ориентацией, которая залегает глубоко в подсознании носителей языка и реально ими не осознается [Там же: 254].

Как символическое выражение интуиции язык не сводим исключительно к выражению мышления (точнее, к выражению того типа мышления, который предшественники Сепира называют абстрактным, понятийным, научным, прозаическим). Функции языка значительно шире, ибо это «...такое орудие, которое пригодно в любых психических состояниях»: «...начиная с таких мыслительных состояний, которые вызваны вполне конкретными образами, и кончая такими со-

стояниями, при которых в фокусе внимания находятся исключительно абстрактные значения и отношения между ними и которые обычно называются рассуждениями» [Сепир 1993: 36].

Поскольку эти высшие состояния достигаются в результате длительного развития, тождество языка с так понимаемым мышлением невозможно и по генетическим соображениям. Генетически, как предполагает Сепир, «...язык есть орудие, первоначально предназначенное для использования на уровне более низком, чем уровень концептуальной структуры» [Там же]. «...Язык возник до-рассудочно» [Там же: 37], «...язык по своей сути есть функция до-рассудочная» [Там же: 36].

Подобно Э. Б. де Кондильяку, И. Г. Гердеру, В. фон Гумбольдту, А. А. Потебне, Э. Сепир признает активную роль языка по отношению к мышлению, в том числе в генетическом аспекте. «...Язык не есть ярлык, заключительно налагаемый на уже готовую мысль», ведь сама «...мысль возникает как утонченная интерпретация его содержания. Иными словами, продукт (мышление. — Л. З.) развивается вместе с орудием (языком. — Л. З.)». «...Оно (мышление. — Л. З.) в своем генезисе и в своем повседневном существовании немислимо вне речи» [Там же]. «...Речь есть единственный возможный путь, приводящий нас к этой области» — мышлению [Там же: 37].

«...Разделяемое многими мнение, будто они могут думать и даже рассуждать без языка, является всего лишь иллюзией», которая порождена, согласно Сепиру, во-первых, неумением различать образное мышление и собственно мысль, а во-вторых, отождествлением языка с его звуковым выражением. Иллюзия эта поддерживается также тем, что символическое выражение мысли может осуществляться вне поля сознания [Там же].

Тем не менее «...даже наиболее утонченная мысль есть лишь осознаваемый двойник неосознанной языковой символики» [Там же]. «...Значение не получает своего особого и независимого существования, пока оно не нашло своего специального языкового воплощения. <...> Лишь тогда, когда в нашем распоряжении оказывается соответствующий символ, мы начинаем владеть ключом к непосредственному пониманию того или иного значения» [Там же: 38].

С другой стороны, Сепир отнюдь не исключает существенной зависимости развития речи от развития мышления: «...мы не должны воображать, что высоко развитая система речевых символов выработалась сама собою еще до появления точных значений, до того, как сложилось мышление при помощи значений» [Там же: 37]. «...Значение, раз возникнув, неизбежно воздействовало на жизнь своего языкового символа, способствуя дальнейшему росту языка» [Там же: 38].

Всё это, заключает Э. Сепир, наглядно выявляет сложный процесс *взаимодействия языка и мышления*: «орудие делает возможным продукт, продукт способствует усовершенствованию орудия» [Там же].

Символичность. В поисках сущности языка, обеспечивающей выполнение им функций орудия мышления и «инструмента познания в науках о человеке» [Там же: 260], Э. Сепир из двух самобытнейших свойств языка — символичности

и членораздельности — в отличие от В. Гумбольдта отдает явное предпочтение символичности, то есть на первое место он ставит знаковую, семиологическую природу языка. В этой связи Сепир считает необходимым если не пересмотреть, то уточнить иерархию всеохватных функций языка. Как до него Э. Б. де Кондильяк, а после него Г. Гийом, он убежден, что «...коммуникативный аспект речи преувеличен» [Сепир 1993: 231]. По своей первичной функции «...изначально язык является звуковой реализацией тенденции рассматривать явления действительности символически», и «...именно это свойство сделало его удобным средством коммуникации» [Там же].

Специфика языковых знаков-символов раскрывается Сепиром исходя из общих свойств и типологии символов.

В определении символов Сепир выдвигает на первый план две постоянные характеристики. «Одна из них — то, что символ всегда выступает как заместитель некоторого более тесно посредничающего типа поведения, откуда следует, что всякая символика предполагает существование значений, которые не могут быть непосредственно выведены из ситуационного контекста. Вторая характеристика символа — то, что он выражает сгусток энергии; т. е. его действительная значимость непропорционально больше, чем на первый взгляд тривиальное значение, выражаемое его формой как таковой» [Там же: 205].

Характеризуя языковые символы, Сепир берет за основу различие символов первичных и вторичных. Для первичных символов характерно некоторое объективное и очевидное сходство с тем, что они замещают или на что указывают (ср.: стук в дверь как замена акта открывания). Для вторичных, или отсылочных (referential), символов характерна утрата всякой внешней связи с тем, что они замещают (таковы, например, государственные флаги). «Чем менее первичен и ассоциативен символ, чем более он оторван от своего первоначального контекста и чем менее эмоционален, тем больше он приобретает воистину референциальный характер» [Там же: 206].

Языковые знаки Сепир относит к референциальному типу. Это значит, что «...по своей функциональной значимости языковые формы носят в основном опосредованный характер. Звуки, слова, грамматические формы, синтаксические конструкции и другие языковые формы, усваиваемые нами с детства, имеют определенное значение лишь постольку, поскольку общество молчаливо согласилось считать их символами тех или иных референтов» [Там же: 600]. Однако Сепир не исключает, что «...и примитивные выкрики, и другие типы символов, выработанные людьми в процессе эволюции, первоначально соотносились с определенными эмоциями, отношениями и понятиями» и, следовательно, не были произвольными, немотивированными. «Но связь эта между словами или их комбинациями и тем, что они обозначают, сейчас уже непосредственно не прослеживается» [Там же: 263].

Итак, в формулировке Сепира, «...сущность языка заключается в соотношении условных, специально артикулируемых звуков или их эквивалентов к различным элементам опыта» [Там же: 34]. «...Он (язык. — Л. З.) сводится к особым

символическим отношениям, с физиологической точки зрения произвольным, между всевозможными элементами сознания, с одной стороны, и некоторыми определенными элементами, локализуемыми в слуховых, моторных или иных мозговых и нервных областях, с другой» [Сепир 1993: 33].

При всей важности внешнего психофизического аспекта в процессе общения сущность языка, если не преувеличивать коммуникативного аспекта речи, может быть определена в отвлечении от психофизической основы: «...язык есть вполне оформленная функциональная система в психической, или “духовной”, конституции человека» [Там же].

«Та легкость, с которой речевая символика может быть перенесена с одной формы восприятия на другую, с техники на технику, сама по себе показывает, что самые звуки речи не составляют языка, что *суть языка лежит скорее в классификации, в формальном моделировании, в связывании значений*. Итак, язык, как некоторая структура, по своей внутренней природе есть *форма мысли*» [Там же: 41; выделено мною. — Л. 3.], «инструмент выражения значения» [Там же: 42].

Соответственно и «...речь есть значащая функция» [Там же: 43], тогда как «...собственно фонетическая структура речи не относится к внутренней сущности языка, и отдельный звук артикулируемой речи вовсе не является языковым элементом» [Там же: 57]. Чтобы стать элементом языка, языковым фактом, «приобрести хотя бы рудиментарную языковую значимость», локализованный в мозгу речевой звук должен ассоциироваться с каким-либо элементом или группой элементов опыта, то есть «со зрительным образом или рядом зрительных образов или с ощущением какого-либо отношения». «Этот элемент опыта есть содержание или “значение” языковой единицы» [Там же: 33]. Только такая «освященная обычаем ассоциация корневых элементов, грамматических элементов, слов и предложений со значениями или с группами значений, объединенных в целое, и составляет сакральный факт языка» [Там же: 53].

При этом ассоциация должна удовлетворять следующим двум требованиям.

Во-первых, «ассоциация должна быть чисто символической; иначе говоря, слово должно быть закреплено за образом, всегда и везде обозначать его, не должно иметь иного назначения, кроме как служить *как бы фишкой*, которой можно воспользоваться всякий раз, как представится необходимым или желательным указать на этот образ» [Там же: 34; выделено мною. — Л. 3.].

Во-вторых, в целях успешного общения «мир опыта должен быть до крайности упрощен и обобщен для того, чтобы оказалось возможным построить инвентарь символов для всех наших восприятий вещей и отношений; и этот инвентарь должен быть налицо, чтобы мы могли выражать мысли. Элементы языка — символы, фиксирующие явления опыта, — должны, следовательно, ассоциироваться с целыми группами, определенными классами этих явлений, а не единичными явлениями опыта» [Там же: 34], ибо, и это показал уже Дж. Локк, единичный опыт, пребывающий в индивидуальном сознании, не может быть сообщен (ср.: [Локк 1985: 466–467; Сепир 1993: 34–35]). Чтобы общение стало возможным,

«...мы должны *более или менее произвольно объединять и считать подобными* целые массы явлений опыта для того, чтобы обеспечить себе возможность рассматривать их чисто условно, наперекор очевидности, как тождественные» [Сепир 1993: 35; выделено мною. — Л. 3.]. Например, «...речевой элемент “дом” есть символ прежде всего не единичного восприятия и даже не представления отдельного предмета, но “значения”, иначе говоря, *условной оболочки мысли*, охватывающей тысячи различных явлений опыта и способной охватить еще новые тысячи» [Там же; выделено мною. — Л. 3.]. В этих разъяснениях Сепира, в частности в определении значения как условной оболочки мысли, можно видеть, как кажется, развитие идей Гумбольдта о несводимости содержательной стороны языка исключительно к «отражению», о наличии в ней знаковых свойств, о необходимости различения мыслительного и языкового содержания.

Сепир как будто разграничивает два уровня обобщения в самой содержательной сфере: обобщенный человеческий опыт (мысли и ощущения) и частный, индивидуальный опыт. Мышление как «язык, свободный от своего внешнего покрова», и есть «своего рода обобщенный язык, своего рода символическая алгебра, по отношению к которой все известные языки только переводы». В этом неязыковом, или, лучше сказать, — уточняет Сепир, — в обобщенном языковом, пласту «подлинно глубокая символика... не зависит от словесных ассоциаций отдельного языка; она прочно покоится на интуитивной подоснове всяческого языкового выражения. <...> На этом более глубоком уровне отношения между мыслями не облечены специфическим языковым одеянием; ритмы свободны, они не прикованы в первую очередь к традиционным ритмам» конкретного языка [Там же: 197].

Различение этих двух пластов — обобщенного и конкретно-языкового — весьма существенно для функционирования языка как средства литературы. Если дух художника движется в значительной мере в глубинном обобщенном языковом пласту, созданное им литературное произведение переводится на другие языки без всякого ущерба для своего содержания (таковы пьесы Шекспира). В противном случае литературное произведение фактически непереводаемо (хороший пример такого рода — лирика Суинберна) [Там же: 196–198].

Язык как форма. В языке как форме мысли Сепир — в соответствии с традиционным разграничением словаря, фонетики и грамматики — различает, подобно И. А. Бодуэну де Куртенэ, три составные части: значащую сторону — содержание (то есть словарь), фонетическую систему (то есть систему звуков, использующихся для построения слов), грамматическую форму (то есть формальные процессы и логические или психологические классификации, используемые в речи). В составе грамматической формы выделяются два основных ее вида: *морфология*, или формальная структура слов, и *синтаксис*, или способы объединения слов в большие единицы и предложения [Там же: 271–272]. В целом названное трехчастное членение языка сводится к бинарному противопоставлению содержательной стороны (словаря) формальной, к которой Сепир относит фонетическую систему и грамматическую форму, или морфологию (в широком смысле) [Там же: 184].

Таким образом, язык, по Сепиру, «...обнимает два пласта: скрытое в языке содержание — нашу интуитивную регистрацию опыта, и особое строение данного языка — специфическое “как” этой нашей регистрации опыта» [Сепир 1993: 196].

Лингвистика, как считает Сепир, — это прежде всего исследование формы [Там же: 250–251]. Под языковой формой он понимает *систему моделирующих средств* (types of patterning), которые могут и должны изучаться независимо от ассоциируемых с ними функций [Там же: 70], ибо «...форма и функция взаимонезависимы» [Там же: 69], на что указывает отсутствие одно-однозначного соответствия между ними.

Инстинктивное тяготение языка к форме Э. Сепир усматривает и внутри фонетической системы. В результате в ее составе он считает необходимым различать, с одной стороны, механическую, психологически незначимую чисто объективную систему звуков данного языка, а с другой — более ограниченную (но зато и более устойчивую) «внутреннюю» или «идеальную» систему звуковых функциональных отношений [Там же: 67, 298]. Эта последняя выступает в качестве действующего психологического механизма. «В качестве модели, определяющей и число, и соотношение, и функционирование фонетических элементов, она может сохраняться на долгое время и после изменения своего фонетического содержания» [Там же: 67], каковым, судя по всему, оказывается объективная система звуков в артикуляторном или перцептивном универсуме речи [Там же: 298]. Схематически фонетическую систему в концепции Сепира можно представить так:

Фонетическая система	Содержание	– объективная система звуков в артикуляторном или перцептивном универсуме речи
	Форма (модель)	– идеальная внутренняя фонематическая система, целостная система звуковых функциональных отношений

Поскольку «...у каждого языка есть своя внутренняя фонетическая система, отвечающая определенному образцу (модели)» [Там же: 71], «...существенным свойством всех языков является не только их фонетичность, но также и их “фонематичность”» [Там же: 224]. Сложившаяся в данном языке модель, как показывает Сепир, включает фиксированное количество звуковых единиц (фонем) и задает их свойства таким образом, что в результате «у каждого языка имеется своя фонетическая структура, в рамках которой каждый конкретный звук... занимает определенное конфигурационно обусловленное место, соотношенное с местами всех других звуков, которые различаются в данном языке. Иными словами, отдельно взятый звук никоим образом не тождествен артикуляции или восприятию артикуляции. Он является, скорее, элементом структуры» [Там же: 604], членом целостной системы звуковых отношений [Там же: 298]. Эти идеи Сепира вполне в духе учения Ф. де Соссюра.

Определенную предрасположенность к моделированию Сепир отмечает и в области грамматического формообразования [Сепир 1993: 71]. Более того, само понятие формы связывается в первую очередь с грамматикой: «грамматичность» и «формализованность» — для Сепира синонимы [Там же: 226]. Грамматика определяется им как «система формальных механизмов», как «сфера формальных процедур» [Там же: 225]. Характеризуя «форму в языке», Сепир различает, с одной стороны, используемые языком формальные средства, его «грамматические процессы», формальные модели, а с другой — распределение значений в соответствии со способами их формального выражения, содержание, функции формальных моделей.

Сепир признает, что «...явление языка лишь в том случае свидетельствует о наличии определенного “процесса”, если ему присуща функциональная значимость» [Там же: 71]. Однако, показав на ряде примеров асимметрию между формой и функцией, когда внутри одного языка и в разных языках равно возможно как различное формальное выражение идентичной функции, так и использование одного и того же средства для выражения ряда различных функций, он делает вывод о взаимной независимости формы и функции и на этом основании допускает их автономное изучение [Там же: 70].

Склонность языка вообще и каждого языка в отдельности к определенным образцам в области грамматических процессов обнаруживается в двойках количественных ограничений — универсального и индивидуального характера. Во-первых, все известные в языках мира грамматические процессы могут быть расклассифицированы лишь по шести главным типам: порядок слов, сложение, аффиксация, чередование гласных или согласных, редупликация, «акцентуационные различия» (ударение, тон). Во-вторых, в каждом данном языке эти типы используются также весьма избирательно, в результате чего одни грамматические процессы развиваются за счет других [Там же: 70–71].

Действие системы формальных механизмов распространяется, согласно Сепиру, и на концептуальное содержание — мир образов и значений. Необходимость систематизации мира значений в языковой структуре для Сепира вполне очевидна уже потому, что «конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество значений по тем или иным основным концептуальным рубрикам» [Там же: 87]. В качестве таких рубрик выступают некоторые мыслительные (психологические и логические, чисто понятийные) категории, если они приобретают грамматическое значение и получают формальные средства для своего выражения [Там же: 278].

Задавшись вопросом, «каковы же те безусловно необходимые значения, которые должны находить выражение в речи, для того чтобы язык удовлетворительно выполнял свое назначение служить средством общения», Сепир, как до него картезианцы, исходит из структуры суждения. Но если авторы «Грамматики» и «Логики» Пор-Рояля при анализе значений опираются на слово и разделяют слова в зависимости от выполняемой в предложении–суждении функции на части речи, обозначающие объекты мыслей, с одной стороны, и форму мыслей — с другой, то Сепир

в своем анализе значений не считает возможным ориентироваться ни на слово вообще, ни на «пресловутые “части речи”».

Различая функцию и форму, Э. Сепир разграничивает функциональные и формальные единицы речи. «Корневой (или грамматический) элемент и предложение — таковы первичные функциональные единицы речи, первый — как абстрагированная минимальная единица, как «наименьший значимый элемент», который выделяется, абстрагируется из слова, что совпадает с определением морфемы у И. А. Бодуэна де Куртенэ, последнее (предложение) — как эстетически достаточное воплощение единой мысли. Формальные же единицы речи, слова, могут совпадать то с одной, то с другой функциональной единицей; чаще всего они занимают промежуточное положение между двумя крайностями, воплощая одно или несколько основных корневых значений и одно или несколько вспомогательных» [Сепир 1993: 49]. Невозможность — ввиду указанных совпадений — определить слово с функциональной точки зрения приводит Сепира к заключению, что «слово есть только форма, есть нечто определенным образом оформленное, берущее то побольше, то поменьше из концептуального материала всей мысли в целом в зависимости от “духа” данного языка. Поэтому-то отдельные корневые и грамматические элементы, носители изолированных значений, сравнимы при переходе от одного языка к другому, а целостные слова — нет» [Там же]. В таком случае при построении типологии языковых значений следует опираться не на слова, обладающие психологической реальностью лишь для носителей данного языка, а на корневые и грамматические элементы языка (= морфемы) ввиду их логической реальности и на предложения, имеющие как строго логическое или абстрактное, так и психологическое существование [Там же: 51]¹.

Что касается частей речи, то Сепир отрицает существование единой универсальной системы частей речи, ибо «у каждого языка своя схема» [Там же: 116]. Единственное исключение составляет различие имени и глагола, необходимое для выражения фундаментального противоположения субъекта и предиката как основных компонентов предложения-суждения. Поэтому «какой бы неуловимый характер ни носило в отдельных случаях различие имени и глагола, нет такого языка, который вовсе бы пренебрегал этим различием» [Там же]. Однако нельзя игнорировать тот факт, что с другими частями речи дело обстоит совсем иначе. «Ни одна из них для жизни языка не является абсолютно необходимой» [Там же]. Отсюда такое тесное примыкание одной части речи к другой, вновь демонстрирующее асимметрию функции и формы, когда одну и ту же идею можно выразить с помощью разных частей речи. Так, «...мы можем оглаголить идею качества», «...мы можем представить себе качество или действие и в виде вещи», а идею пространственного отношения выразить не только предлогом, но и глаголом и именем [Там же: 115]. Поразительная превращаемость одной части речи в другую, позволяющая сравнить

¹ Так в сущности подводится теоретическая база под известное игнорирование понятия слова в американской дескриптивной лингвистике.

часть речи — вне налагаемых синтаксической формой ограничений — с «как бы блуждающим огоньком» [Сепир 1993: 116], убеждает Сепира в условности классификации слов по частям речи. Такая классификация лишь смутно отражает реальную действительность. Это прямое следствие того, что «...“часть речи” отражает не столько наш интуитивный анализ действительности, сколько нашу способность упорядочивать эту действительность в многообразные формальные шаблоны» [Там же]. Указанный недостаток частеречной классификации препятствует установлению безусловно необходимых языковых значений.

В отличие от Ф. де Соссюра, Сепир не пытается отгородить язык от чувственного мира, ибо полагает, что «никакое человеческое суждение, как бы абстрактно оно ни было, невысказуемо вне связи в одной или нескольких точках с конкретным чувственным миром. Во всяком вразумительном суждении должно быть выражено по крайней мере два корневых понятия, хотя в исключительных случаях одно из них или даже оба могут подразумеваться из контекста» [Там же: 94]. Отсюда «ясно, что прежде всего мы должны иметь в своем распоряжении богатый запас основных, корневых значений, конкретное содержание речи. Для того чтобы говорить о предметах, действиях, качествах, мы должны иметь соответствующие символы в виде самостоятельных слов или корневых элементов» [Там же]. «И далее, должны быть выражены такие реляционные значения, которые прикрепляют конкретные значения одно к другому и придают суждению его законченную, типовую форму», указывая на характер отношений между конкретными значениями — «какое конкретное значение непосредственно или опосредованно связано с другим, с каким именно и как именно» [Там же: 94–95]. «Наиболее основным и наиболее могучим из всех связывающих принципов является принцип линейного порядка» [Там же: 109]. В любом языке порядок слов служит наиболее фундаментальным средством выражения синтаксических отношений [Там же: 114]. Это дает основание предположить, что «...всё реальное содержание речи, заключающееся в потоке произносимых гласных и согласных звуков, первоначально ограничено было сферой конкретного; отношения не выражались первоначально посредством внешних форм, но подразумевались и устанавливались при помощи линейного порядка и ритма» [Там же: 112].

Но и такой язык, не знающий употребления не-корневых, формальных элементов в чистом виде, если и может быть признан «бесформенным», то только в этом механическом, поверхностном смысле. Как ранее И. А. Бодуэн де Куртенэ, Сепир отказывается от бытовавшего когда-то несостоятельного противопоставления языков, имеющих форму, языкам, не имеющим формы, ибо «всякий язык может и должен выражать основные синтаксические отношения, даже если в его словаре и не представлено ни одного аффикса» [Там же: 120], так что «...всякий язык есть оформленный язык» [Там же: 120] независимо от того, выражаются синтаксические отношения в чистом виде или они фузионно совмещаются с иными типами значений [Там же: 121].

Таким образом, к безусловно необходимому, базовому значениям Сепир относит, с одной стороны, основные (конкретные) значения предмета, действия, качества,

не заключающие в себе никаких отношений, а с другой — чисто-реляционные (чисто абстрактные) значения, которые «...служат для взаимной связи конкретных элементов суждения, придавая ему тем самым законченную синтаксическую форму» [Сепир 1993: 101]. Эти два типа обязательных, универсальных значений образуют два полюса языкового выражения. «...Язык стремится к двум полюсам языкового выражения — к материальному и реляционному содержанию, и... между этими полюсами располагается длинный ряд промежуточных значений» [Там же: 108], включающий еще два класса — класс деривационных и класс конкретно-реляционных значений. Значения указанных четырех классов образуют «скользящую шкалу» [Там же: 106] с постепенной утратой конкретности — «начиная с самых грубых материальностей (“дом” или “Джон Смит”) и кончая наиболее отвлеченными отношениями» [Там же: 102]. Внутри каждого из классов ощущение чувственной реальности также неодинаково [Там же: 103].

Выделение классов языковых значений позволило Сепиру существенно уточнить понятие общей формы языка. «...В основе каждого языка, — пишет он, — лежит как бы некоторая базисная схема (basic plan), ...у каждого языка есть свой особый покров. Этот тип, или базисная схема, или “гений” языковой структуры, есть нечто гораздо более фундаментальное, нечто гораздо глубже проникающее в язык, чем та или другая нами в нем обнаруживаемая черта» [Там же: 117].

В предложенной Сепиром типологии языковых структур наряду с техническими характеристиками внешней формы учтены содержательные характеристики внутренней формы. Сепир не видит особой надобности в установлении инвентаря частных грамматических значений и категорий, ибо они, хотя и существенны для «внутренней формы» языка, уступают по значимости тем более коренным различиям, которые обнаруживаются в выделенных четырех типах значений [Там же: 107–108]. В общей иерархии внешних (чисто технических) и внутренних (концептуальных) характеристик языковой формы ведущая роль отводится содержательной стороне (то есть внутренней форме). Соответственно, фундаментальным классификационным признаком языков Сепир считает не степень синтезирования (осложненности), не степень фузирования и технику выражения, как было принято в предшествующих типологических классификациях, а содержание выражаемого, природу выражаемых в языке значений.

Ввиду универсальности двух полярных классов значений — основных (конкретных, корневых) и чисто-реляционных [Там же: 102] — типологические различия связаны с использованием промежуточных классов значений — деривационных и конкретно-реляционных (смешанно-реляционных). Концептуальная классификация языков определяется тем, используются ли при образовании конкретных идей еще и деривационные значения, а при выражении реляционных отношений конкретно-реляционные значения. Так как наиболее фундаментальным отличительным признаком общей формы языка является выражение отношений, «...наиболее фундаментальная понятийная основа классификации — это выражение основных синтаксических отношений как таковых в противоположность

их выражению в обязательном сочетании с понятиями конкретного характера», когда, например, обозначение подлежащего невозможно без одновременного указания на число и род субъекта [Сепир 1993: 237]. В результате в качестве первичного разделения языков у Сепира выступает их разбиение на чисто-реляционные и смешанно-реляционные.

Фундаментальность, базисность содержательного критерия вообще и данного противоположения языков в частности подкрепляется историческими данными. Формальный (языковой) характер выделенных типов значений и установленных на их основе концептуальных языковых типов доказывается чрезвычайной устойчивостью последних. Из трех перекрещивающихся классификационных признаков (типы значений, техника и степень синтезирования), согласно Сепиру, «...легче всего подвергается изменению степень синтезирования; изменчива, но в гораздо меньшей степени, и техника, а типы значений обнаруживают тенденцию удерживаться дольше всего». Во всяком случае убедительные примеры перехода от чисто-реляционного к смешанно-реляционному типу и обратно, по данным Сепира, отсутствуют [Там же: 136]. Технический же строй языка малоустойчив. По-видимому, «...в противопоставлении языков чисто-реляционных и смешанно-реляционных (или конкретно-реляционных) мы имеем дело с чем-то более глубоким, более всеобъемлющим, нежели в противопоставлении языков изолирующих, агглютинативных и фузионных» [Там же: 137]. «...Противопоставление языков синтетических и аналитических или агглютинативных и “флективных” (фузионных) не представляет, в конце концов, ничего особенно фундаментального» [Там же].

Разная степень исторической устойчивости концептуального типа и технического строя языка объясняет отсутствие одно-однозначного соответствия между ними. В результате к одному и тому же концептуальному типу могут принадлежать языки разных морфологических типов (примеры см. [Там же]).

За этим несоответствием стоит такое глубинное, фундаментальное свойство языка и языковых символов, как уже упоминавшееся несоответствие между функцией–значением и формой выражения. Оно наглядно показано Сепиром на примере одного простого английского предложения *The farmer kills the duckling* ‘Земледелец убивает утенка’, в котором на 5 слов приходится 13 различных значений [Там же: 90–91].

Асимметрия между функцией и формой проявляется весьма многообразно. Например, в английском языке «метод суффиксации используется как для деривационных, так и для реляционных элементов; самостоятельные слова или корневые элементы выражают как конкретные идеи (предметы, действия, качества), так и реляционные...; одно и то же реляционное значение может быть выражено более одного раза...; на один элемент может быть возложено выражение не одного какого-либо определенного значения, а целого ряда сопутствующих значений» [Там же: 91–92]. В иных языках, даже весьма близких, некоторые из зафиксированных в английском языке значений могут быть опущены, зато «...другие значения,

не требующие выражения в английском языке, могут рассматриваться как совершенно необходимые для вразумительной передачи суждения» [Сепир 1993: 92], наконец, однотипные значения могут быть иначе выражены, иначе сгруппированы, иначе интерпретированы [Там же: 92–94].

Несоответствие между формальными и функциональными различиями, наличие незначащих, иррациональных форм, «формы ради формы», незначащих формальных различий Сепир объясняет тремя причинами.

Это, во-первых, большая устойчивость формы в процессе исторического развития сравнительно с концептуальным содержанием.

Во-вторых, «это — тенденция к установлению классификационных схем, которым должны подчиняться все языковые значения», даже если соответствующие категории утратили жизненность [Там же: 99].

В-третьих, «это — механическое действие фонетических процессов, приводящих сплошь и рядом к таким формальным различиям, которым не соответствует и никогда не соответствовало никакое функциональное различие» [Там же: 100].

Тем не менее Сепир колеблется в определении степени автономности звучания и значения, фонетики и грамматики по отношению друг к другу.

С одной стороны, замечает Сепир, хотя и в фонетике, и в грамматике имеется предрасположенность к моделированию, но «обе эти скрытые в языке и властно его направляющие к определенной форме тенденции действуют как таковые, безотносительно к потребности выражения тех или других значений и к задаче внешнего оформления тех или других групп значений» [Там же: 71].

С другой стороны, он склоняется к тому мнению, что «...нынешняя наша тенденция рассматривать фонетику и грамматику как взаимно не соотносящиеся области языка представляется ошибочной. Гораздо вероятнее, что эти области и исторические линии их развития фундаментальным образом связаны друг с другом, но ухватить суть этих связей мы в полной мере пока не можем. В конце концов, раз звуки речи существуют лишь постольку, поскольку они являются символическими носителями существенных значений и пучков значений, почему бы мощному дрейфу в сфере значений, а также ее постоянным характеристикам не оказывать поощряющего или сдерживающего влияния на направление фонетического дрейфа? Я полагаю, — заключает ученый, — что такого рода влияния могут быть вскрыты и что они заслуживают гораздо более внимательного изучения, чем это делалось до сих пор» [Там же: 167].

В этой связи может быть далеко не случайным общий (я бы сказала — *категориальный*. — Л. З.) характер фонетического дрейфа, Либо «он есть не столько движение к определенному ряду звуков, сколько к определенным типам артикуляции» [Там же: 165].

В фонетической и грамматической системе действуют единые принципы моделирования. В результате «отношение между фонетической системой и индивидуальным звуком в общем параллельно [отношению] между морфологическим

типом языка и одной из его специфических морфологических черт» [Сепир 1993: 169]. Такой изоморфизм наводит Сепира на мысль, что фонетическая система и фундаментальный тип языка «...связаны между собой каким-то особым образом, каким именно — мы в настоящее время не можем полностью уразуметь» [Там же: 169–170]¹.

Мысль о единстве общей языковой формы находит свое развитие в идее *формальной завершенности* любого языка. Это «глубоко своеобразное свойство языка» раскрывается следующим образом.

«Каждый язык обладает четко определенной и единственной в своем роде фонетической системой, с помощью которой он и выполняет свою функцию; более того, все выражения языка, от самых привычных и стандартных до чисто потенциальных, укладываются в искусный узор готовых форм, избежать которых невозможно. На основе этих форм в сознании носителей языка складывается определенное ощущение или понимание всех возможных смыслов, передаваемых посредством языковых выражений, и через эти смыслы — всего возможного содержания нашего опыта, в той мере, разумеется, в какой опыт вообще поддается выражению языковыми средствами. Если попытаться выразить это свойство формальной завершенности речи иными словами, то можно сказать, что язык устроен таким образом, что, какую бы мысль говорящий ни желал сообщить, какой бы оригинальной или причудливой ни была его идея или фантазия, язык вполне готов выполнить любую его задачу» [Там же: 251–252].

Разъясняя это положение, Сепир предостерегает от сведения возможностей языка, языковой формы к словарю, к лексическому запасу, от отождествления ощущения формы языкового выражения с передаваемым содержанием, от отождествления тем самым процессов, происходящих в разных областях психики — на уровне сознания и в подсознании, в области интуиции, которая, возможно, является не чем иным, как «предощущением» отношений [Там же: 255], а значит, и формы. Точное определение тех «обширных и самодостаточных сетей психических процессов», культурными хранилищами которых являются языки, — дело будущего. Однако, исходя из уже известных научных данных, Сепир склоняется в пользу той точки зрения, что «...процесс усвоения языка, в особенности приобретения ощущения формальной структуры языка, в значительной степени бессознателен и включает механизмы, которые по своей природе резко отличны и от чувственной, и от рациональной сферы», ибо основываются на интуиции, на врожденном внутреннем стремлении индивида к совершенствованию формы и выразительности и к бессознательному структурированию групп взаимосвязанных элементов опыта [Там же: 255].

¹ Эта связь действительно существует, и она обнаруживается вполне отчетливо, если, следуя Сепиру, основой классификации языков считать природу выражаемых в языке значений и прежде всего степень разграничения лексических и материально выраженных грамматических значений.

А если так, то «формальная завершенность не имеет ничего общего с богатством или бедностью словаря» [Сепир 1993: 252]. Отсутствие в нем какого-либо понятия отнюдь не означает, что данный язык не способен выразить соответствующее отношение. В частности, «...способность ощущать и выражать причинное отношение ни в коей мере не зависит от способности восприятия причинности как таковой. Последняя способность относится к сфере сознания и интеллекта по своей природе; она требует значительных умственных усилий, как большинство сознательных процессов, и характеризуется поздним этапом эволюции. Первая же способность находится вне сферы сознания и интеллекта по своей природе, развивается очень быстро и очень легко на ранних этапах жизни племени и индивида». Вот почему «...те концепции и отношения, которыми первобытные народы совершенно не способны владеть на уровне сознания, выражаются вне контроля сознания в языках этих народов — и при этом нередко чрезвычайно точно и изящно» [Там же: 254]. «Подлинный фундамент языка — развитие законченной фонетической системы, специфическое ассоциирование речевых элементов с значениями и сложный аппарат формального выражения всякого рода отношений, — всё это мы находим во вполне выработанном и систематизированном виде во всех известных нам языках» [Там же: 41].

Разработанное таким образом понятие общей формы языка, охватывающей и его содержательную сторону, в сочетании с последовательным разграничением осознаваемых и бессознательных психических процессов дали возможность Сепиру развить свою концепцию языка как формы мысли, формы выражения опыта и культуры, обозначить общие контуры гипотезы лингвистической относительности.

Язык — мышление — опыт — окружающий мир. Возвращаясь к толкованию языка как формы мысли, нельзя не отметить вклад Сепира в разграничение мыслительного и языкового содержания. Этот вклад представляется особенно значительным на фоне известного антиментализма американской лингвистики того времени (см., в частности, труды Л. Блумфилда и его последователей).

Как ранее А. А. Потебня, так и Э. Сепир для выявления реального содержания и сути мыслительных процессов считает необходимым устранить из них то, что привносится языковым облачением. Сепир показывает, что в одном и том же языке и в разных языках идентичная мысль может быть выражена различными формальными структурами. «Так, мы имеем функционально эквивалентные выражения типа “смех приятен” (laughter is pleasurable), “смеяться приятно” (it is pleasant to laugh), “смеются с удовольствием” (one laughs with pleasure) и так далее ad finitum [до бесконечности], но все подобные выражения, передавая одно и то же содержание, воплощают в себе совершенно разные ощущения формы» [Там же: 253]¹. «Содержание» и «ощущение формы» у Э. Сепира различаются,

¹ Ср. у А. А. Потебни: «Чтобы получить внеязычное содержание, нужно бы отвлечься от всего того, что определяет роль слова в речи, напр. от всякого различия в выражениях:

по-видимому, так же, как мыслительное («внеязычное») и языковое (формальное) содержание у Потебни.

Расхождение в «ощущениях формы» становится еще очевиднее при передаче одного и того же впечатления, одной и той же мысли на разных языках. Наивно полагать, предупреждает Сепир, будто передача мысли сводится к составлению однозначного беглого перечня заключенных в ней элементов и отношений, к отбору и группировке нужных слов, соответствующих единицам объективно проведенного анализа [Сепир 1993: 256]. На примере передачи впечатления от падения камня средствами английского, немецкого, французского, русского и ряда индейских языков Сепир показывает, «...сколь многое может быть добавлено к нашей [английской. — Л. З.] форме выражения, изъято из нее или перегруппировано в ней без существенного изменения реального содержания нашего сообщения об этом физическом факте» [Там же], а лишь в зависимости от наличия / отсутствия грамматических категорий рода, числа, одушевленности–неодушевленности, определенности–неопределенности, времени или вследствие лексической неэквивалентности, например в отсутствие глагола, соответствующего понятию «падать» (как в языке нутка) [Там же: 256–258].

Примеры такого рода приводят Сепира к далеко идущему заключению о *не-соизмеримости членения опыта в разных языках, об относительности понятий и в целом формы мышления* [Там же: 258]. Именно эти положения легли в основу широко известной гипотезы лингвистической относительности Сепира — Уорфа.

Надо, однако, иметь в виду, что представления Сепира о закономерностях отражения окружающего мира в языке, о соотношении языка и опыта претерпели определенную эволюцию.

Первоначально — в книге «Язык» (1921) и статье «Грамматист и его язык» (1924) — Сепир исходит из единства окружающего мира и внутреннего содержания отражающих этот мир языков [Там же: 193, 252]. Переход от одного языка к другому он уподобляет переходу от одной геометрической системы задания точек определенного пространства к другой, меняющей лишь «ощущение ориентации». «*Окружающий мир*, подлежащий выражению посредством языка, *один и тот же для любого языка*, мир точек пространства один и тот же для любой системы отсчета. Однако формальные способы обозначения того или иного элемента опыта, равно как и той или иной точки пространства, столь различны, что возникающее на их основе ощущение ориентации не может быть тождественно ни для произвольной пары языков, ни для произвольной пары систем отсчета. В каждом случае необходимо производить совершенно особую или ощутимо особую настройку, и эти различия имеют свои психологические корреляты» [Там же: 252; выделено мною. — Л. З.].

“он носит меч”, “кто носит меч”, “кому носить меч”, “чье дело ношенье меча”, “носящий меч”, “носитель меча”, “меченоситель”, “меченосец”, “меченоша”, “меченосный” [Потебня 1958: 72].

Через несколько лет в статье «Статус лингвистики как науки» (1929) Сепир пересматривает свою позицию относительно влияния языка на субъективное восприятие объективно единого, казалось бы, окружающего мира и «социальной действительности». Для него становится очевидным, что «люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном, как это принято думать: в значительной степени они все находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. <...> ...“Реальный мир” (в кавычках! — Л. 3.) в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности». Более того, «*миры, в которых живут различные общества, — это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками*», как представлялось когда-то. «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» [Сепир 1993: 261; выделено мною. — Л. 3.].

Еще позднее в энциклопедической статье «Язык» (1933) Сепир дает следующую развернутую характеристику языка как формы выражения опыта.

«...Язык обладает силой расчленять опыт на теоретически разъединимые элементы и осуществлять постепенный переход потенциальных значений в реальные¹, что и позволяет человеческим существам переступать пределы непосредственно данного индивидуального опыта и приобщаться к более общепринятому пониманию окружающего мира» [Там же: 226].

«...Его формы предопределяют для нас определенные способы наблюдения и истолкования действительности», ибо «...мы никогда не в состоянии выйти за пределы форм отражения и способа передачи отношений, предопределенных формами нашей речи» [Там же: 227].

«Для нормального человека всякий опыт, будь он реальным или потенциальным, пропитан вербализмом» так, «...как будто первичным миром реальности является словесный мир» [Там же: 228].

«...Язык не только соотносится с опытом или даже формирует, истолковывает и раскрывает его, но... он также замещает опыт — в том смысле, что в процессах межличностного поведения, составляющих большую часть нашей повседневной жизни, язык и деятельность взаимно дополняют друг друга и выполняют работу друг друга в прочно организованной цепи челночно взаимодействующих звеньев» [Там же: 228].

Итак, язык как «совершенная форма выражения для всякого подлежащего передаче опыта» [Там же: 194] и символическая система не просто обозначает опыт, но

¹ Реальные значения являются, по Сепиру, проекцией потенциальных значений на сырой материал опыта [Сепир 1993: 226].

приобщает индивида к общепринятому пониманию окружающего мира (а значит, и к социальному миру), предопределяет его истолкование, замещает опыт, взаимодействует с ним. Вследствие этого взаимодействия язык «...в своем конкретном функционировании не стоит отдельно от непосредственного опыта и не располагается параллельно ему, но тесно переплетается с ним», помогая и мешая его исследовать. Вот почему «...нередко трудно провести четкое разграничение между объективной реальностью и нашими языковыми символами, отсылающими к ней; вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются» [Сепир 1993: 227].

Подобная мифологизация всей области языкового мышления, резко контрастирующая с его трактовкой у Потебни¹, может быть объяснена тем, что определяющую роль в языковом поведении Сепира отводит интуиции, бессознательному, а «бессознательное представляет собой форму психического отражения, в которой образ действительности и отношение субъекта к этой действительности представлены как одно нерасчлененное целое: в отличие от сознания в бессознательном отражаемая реальность сливается с переживанием субъекта» [ФЭС 1989: 58].

Язык и культура. Значительное место в трудах Э. Сепира занимает обсуждение соотношения языка и культуры. В интерпретации Сепира «культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [Сепир 1993: 193]. При этом под культурой понимается «цивилизация, взятая в той мере, в какой она воплощает в себе национальный дух» [Там же: 469], и на практике допускается отождествление культуры с духом, или гением, нации [Там же: 470]. Понятие духа у Э. Сепира включает в себя исторически сложившийся определенный способ мышления, «тенденцию думать и действовать согласно с некоторыми установленными и почти что инстинктивными формами», причем формами национально-специфическими [Там же].

Отождествление же культуры с национальным духом означает, что, рассматривая соотношение языка и культуры, Сепир по сути обращается к проблеме языка и духа народа, так волновавшей умы на рубеже XVIII и XIX вв.

В ее разрешении Сепир исходит из указанного выше разграничения двух пластов языка: скрытого в нем содержания и особого строения данного языка, или, иначе, интуитивной регистрации опыта и специфического «как» этой регистрации [Там же: 196].

Внутреннее содержание языка (то есть интуитивная регистрация, интуитивное знание опыта, отобранный инвентарь опыта), согласно Сепиру, запечатлено в сло-

¹ В определении Потебни язык — одна из форм мысли, знаменующая переход от бессознательности к сознанию. В языковом мышлении Потебня различает образное (поэтическое) и понятийное (прозаическое, научное) мышление. В генетически первичном поэтическом мышлении он выделяет мифический способ мышления, который отличается от собственно поэтического неразличением относительно объективного и относительно субъективного содержания мысли [Потебня 1976: 69, 420–421; Зубкова 1989: 114–118].

варе и неразрывно связано с культурой, которая представляет собой осуществляемый обществом ценностный отбор инвентаря опыта [Сепир 1993: 193–194].

Сведение содержания языка к словарю отвечает представлению о содержании как инвентаре, наборе элементов, наполняющих форму.

«...Словарь, содержательная сторона языка, всегда выступает в виде набора символов, отражающих культурный фон данного общества» [Там же: 276]. Соответственно «...словари разных народов, сильно отличающихся по характеру и уровню развития культуры, отражают эти значительные различия» [Там же: 275], причем, по свидетельству Сепира, лексические различия отнюдь не ограничиваются именами культурных объектов, в равной мере касаясь ментальной области, например употребительности абстрактных терминов [Там же: 243]. Ведь само появление последних тоже диктуется социокультурными потребностями общества. «Чем более необходимым представляется носителям данной культуры проводить разграничение в пределах данного круга явлений, тем менее вероятно существование в их языке общего для них понятия. И наоборот, чем меньшее значение имеют некоторые элементы среды для данной культуры, тем больше вероятность того, что все они покрываются единственным словом общего характера» [Там же: 273].

Допуская как будто связь морфологической системы со специфическим типом мышления, характерным для носителей данного языка [Там же: 278], Сепир считает, что и в тех случаях, которые вроде бы свидетельствуют о корреляции между культурой и средой, с одной стороны, и грамматикой — с другой, на самом деле имеет место корреляция не с грамматикой, а со словарем, поскольку участвуют в ней не сами по себе грамматические формы, но лишь значения, выражаемые ими [Там же: 281].

Что же касается соотношения с культурой грамматических форм и языка как формы, то Сепир не признает настоящей причинной зависимости между ними, ибо не видит взаимной связи между развитием языкового строя и развитием культуры. Поэтому ему представляются тщетными всякие попытки «связывать определенные типы языковой морфологии с какими-то соответствующими степенями культурного развития. <...> И простые, и сложные языки, в их бесконечном множестве разновидностей, можно найти на любых уровнях культурного развития» [Там же: 194].

И позднее, признавая важность языка в целом для определения, выражения и передачи культуры, равно как и роль языковых элементов, их формы и содержания в более глубоком познании культуры, Сепир отрицает существование простого соответствия между формой языка, его грамматическими категориями и формой обслуживаемой им культуры. «Не существует никакой общей корреляции между культурным типом и языковой структурой. Изолирующий, агглютинативный или флективный строй языка возможен на любом уровне цивилизации. Точно так же отсутствие или наличие в каком-либо языке, например, грамматического рода не имеет никакого отношения к пониманию социальной организации, религии или фольклора соответствующего народа» [Там же: 242].

Опосредованный характер языковых форм, их вторичное отношение к социокультурным потребностям общества обуславливают отсутствие строгих функциональных соответствий между конкретной языковой формой и культурой употребляющего ее народа [Сепир 1993: 600].

Ввиду указанных различий в соотношении «содержания» и «формы» языка (его словаря и грамматики) с культурой вопрос о наличии или отсутствии параллелизма между развитием языка и развитием культуры также решается по-разному.

Такой параллелизм — правда, поверхностный и внешний — затрагивает, по мысли Сепира, лишь содержательную сторону языка: словарь чутко реагирует на изменение культурного фона. О наличии параллелизма между словарем и культурой говорит сходство в самом характере претерпеваемых ими изменений. Поскольку «дрейф культуры, иначе говоря, ее история, есть сложный ряд изменений в инвентаре отобранного обществом опыта — приобретений, потерь, изменений в оценках и в системе отношений» [Там же: 193], постольку и в истории лексики наблюдаются те же процессы. Ведь «...изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование новых — всё это зависит от истории самой культуры» [Там же: 243].

Однако «лингвист никогда не должен впасть в ошибку отождествления языка с его словарем» [Там же: 194]. История языка не тождественна истории его словаря. По мнению Сепира, «дрейф языка, собственно говоря, вовсе не связан с изменениями содержания, а только с изменениями формального выражения» [Там же: 193], которые в отличие от более или менее осознаваемых изменений в области культуры не контролируются сознанием или волей [Там же: 281–282]. «...Из всех исторических образований язык... в наименьшей степени способен вторгаться в фокус сознания» [Там же: 538]. «...Возмущающая сила рационализации, которая постоянно изменяет и заново формирует культуру, в языке практически не проявляется» [Там же]. Вследствие подсознательного характера грамматической классификации «сама по себе грамматическая система склонна оставаться неизменной» [Там же: 283]. Во всяком случае формальная основа языка гораздо консервативнее, нежели культура, элементы которой изменяются быстрее и потому, что они служат более непосредственным потребностям общества, и потому, что они легче осознаются [Там же: 282–283].

Отсюда итоговый вывод о том, что «...изменения в сфере культуры не параллельны языковым изменениям и, следовательно, они не находятся в причинно-следственных отношениях друг с другом» [Там же: 282]. «Если бы такой параллелизм существовал, как это иногда полагают, было бы невозможно понять быстроту, с которой распространяется культура, несмотря на наличие глубоких языковых различий между заимствующим и дающим народами» [Там же: 242].

Впрочем, изначально причинно-следственные отношения между культурой и языком не исключаются. Сепир допускает прямую их взаимосвязь и взаимодействие, известную параллельность их изменений на некой примитивной стадии

развития, когда типы мысли и явления культурной деятельности получали свое отражение не только в словаре, но и в грамматической системе, в грамматических категориях и процессах [Сепир 1993: 282]. Это продолжается до тех пор, пока накопившийся разрыв в скорости и объеме изменений не приводит к тому, что взаимозависимость между культурой и языковой формой становится почти невозможно обнаружить. Тем не менее разрыв причинно-следственных отношений между языком и культурой на продвинутых стадиях развития не означает отсутствия какого бы то ни было влияния культуры на языковую форму в это время. Эволюционные процессы, протекавшие в Западной Европе на протяжении последних 2000 лет, наводят Сепира на мысль, что «...быстрое усложнение культуры с необходимостью ведет к соответствующим, хотя и не столь быстрым, изменениям языковой формы и содержания» [Там же: 283].

2. Б. А. Уорф

Принцип лингвистической относительности как антитеза рационалистической теории языка. В своей статье «Наука и языкознание» (1940) Б. Л. Уорф четко изложил неприемлемую для него систему взглядов на язык и мышление. Эта система, утвердившаяся в естественной логике «Всякого человека», «в здравом смысле», совпадает по сути с рационалистической теорией языка. В изложении Уорфа она сводится к следующему [Уорф 1960б: 169–170].

- Законы мышления одинаковы для всех людей.
- Мысль зависит от одинаковых для всех обитателей вселенной законов логики, отражающих рациональное начало.
- Формирование мысли, мышление — это самостоятельный, независимый, строго рациональный процесс, «...никак не связанный с природой отдельных конкретных языков».
- Понятийное содержание мысли одно и то же независимо от того, на каком языке она выражена.
- Ввиду единства логического мышления, универсальности его законов «...различные языки — это в основном параллельные способы выражения одного и того же понятийного содержания».
- Использование языка подчинено рациональному, или логическому, мышлению.
- «...Речь, т. е. использование языка, лишь “выражает” то, что уже в основных чертах сложилось без помощи языка».
- Функция речи состоит в сообщении мыслей, но не в их формировании.
- Грамматика, являющаяся основой языковой системы, — лишь «инструмент для воспроизведения мыслей».

В качестве антитезы этому логическому подходу к языку Б. Л. Уорф выдвигает свою концепцию, в которой ведущая роль безоговорочно отводится не мышлению, а языку. Поскольку же мышление опосредует связи языка с действительностью,

то формирующее влияние языка через посредство мышления распространяется и на нее. Во всяком случае, «...кое-какие из его законов влияют на природу и на то, что обычно называется “mind” (“дух, разум”» [Уорф 1960а: 190], а также на повседневный опыт [Уорф 1960б: 172] и различные виды деятельности людей [Уорф 1960в: 135].

С точки зрения Уорфа, природа, окружающий мир представляет собой «непрерывный поток явлений» [Уорф 1960а: 192], который отражается в человеческой психике в виде потока ощущений [Там же: 190], калейдоскопического потока впечатлений [Уорф 1960б: 174]. Как видно из анализа представлений о времени, «**всё** есть в сознании, и всё в сознании существует и существует нераздельно. В нашем сознании соединены чувственная и нечувственная стороны восприятия», память, и предвидение, прошедшее, настоящее и будущее [Уорф 1960в: 148]. Ввиду нерасчлененности, нераздельности потока природных явлений и человеческой психики «...определить явление, вещь, предмет, отношение и т. п., исходя из природы, невозможно» [Уорф 1960б: 177], категории и типы мира явлений отнюдь не самоочевидны [Там же: 174].

Членение, организация обоих указанных потоков — непрерывного потока явлений и калейдоскопического потока впечатлений — становятся возможными благодаря языку, и прежде всего благодаря грамматике как основе языковой системы.

Суть концепции Уорфа, обозначенная им самим как «принцип лингвистической относительности», коротко изложена в названной выше статье. Поэтому, предваряя анализ, представляется необходимым привести это изложение полностью, выделив основные моменты.

«...Основа языковой системы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, *грамматика* сама *формирует мысль*, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза.

Формирование мыслей — это не независимый процесс, строго рациональный в старом смысле этого слова, но *часть грамматики* того или иного языка и *различается у различных народов* в одних случаях незначительно, в других — весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих языков.

Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, *мир* предстает перед нами как *калейдоскопический поток впечатлений*, который должен быть *организован* нашим сознанием, а это значит в основном — *языковой системой*, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка. <...>

Это обстоятельство имеет исключительно важное значение для современной науки, поскольку из него следует, что никто не волен описывать природу абсолютно независимо, но все мы связаны с определенными способами интерпретации... <...> Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что *сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем*» [Уорф 1960б: 174–175].

Так на новом витке спирали преобразуется старая идея Дж. Вико и И. Г. Гердера о зависимости выразительных и функциональных возможностей языка от его «возраста» и типа (см. об этом [Зубкова 1989: 16–17]) и вновь утверждается «сознание произвольной зависимости всех наших знаний от языковых средств» [Уорф 1960б: 182], возрождая идеи, высказанные когда-то Э. Б. де Кондильяком.

От грамматической системы языка к организации понятий и членению мира. Ведущая роль языка проистекает из его системного характера. «...Язык является системой, а не просто комплексом норм» [Уорф 1960в: 164]. Грамматика как основа языковой системы — это не только система моделей и грамматических категорий, способы построения предложений. Это также способы анализа и обозначения восприятий [Там же: 166], средство анализа и синтеза впечатлений [Уорф 1960б: 174]. Система моделей языка — это и средство расчленения мира, и средство организации понятий, и средство распределения значений, причем, судя по разъяснениям Уорфа, распределение грамматических значений задает и организацию понятий, и сегментацию мира.

Так, в английском и других индоевропейских языках распределение большинства слов по двум классам — существительных и глаголов — приводит к разграничению в логике, в структуре суждения–предложения субъекта и предиката, деятеля и действия, объекта и его определения и, обуславливая двустороннее восприятие окружающего мира, делит мир на два полюса — длительные и устойчивые явления, то есть предметы, и временные и кратковременные явления, то есть действия [Уорф 1960б: 176–177; Уорф 1960а: 193–194, 196].

В языке нутка в отсутствие частей речи предложение не членится на субъект и предикат [Уорф 1960а: 195], «...перед нами как бы монистический взгляд на природу, который порождает только один класс слов для всех видов явлений» [Уорф 1960б: 177]. В результате и о доме, и о пламени можно сказать одинаково: *a house occurs* ‘дом имеет место’ и *a flame occurs* ‘пламя имеет место’ или *it houses* ‘домит’ и *it bums* ‘горит’ [Там же].

Относительность понятийных систем. Поставив под сомнение универсальную естественную логику «Всякого человека», заменив ее релятивистской логической основой, которая может различаться в зависимости от языка, Уорф усомнился и в существовании понятия «Язык» с большой буквы (язык вообще). Чисто грамматические факты «...отнодь не обязательны для всех языков и ни в каком смысле не являются общей основой мышления» [Там же: 172]. Реально существуют отдельные языки. Поэтому неверно, будто «мышление является

материалом **языка**». На самом деле «мышление является материалом различных языков», которые формируют его по-разному [Уорф 1960а: 191]. Отсюда относительность всех понятийных систем, их зависимость от языка [Уорф 1960б: 176].

Относительность понятийных систем касается не одних более или менее частных обобщений, порождающих лексическую неэквивалентность наподобие обозначений «снега» англичанами, эскимосами или ацтеками [Там же: 178].

Для доказательства относительности понятийных систем Уорф обращается к анализу основополагающих понятий «пространства», «времени», «материи» у народов Standard Average European ‘среднего европейского стандарта’ (SAE) и у индейцев хопи.

Опираясь на известные ему данные психологических экспериментов, Уорф высказывает предположение, что «...понимание пространства дается в основном в той же форме через опыт, *независимый от языка*» [Уорф 1960в: 167; выделено мною. — Л. 3.]. В отличие от «пространства», «...понятия “времени” и “материи” не даны из опыта всем людям в одной и той же форме. Они зависят от природы языка или языков, благодаря употреблению которых они развились», от способов анализа и обозначения восприятий, которые закрепились в языке [Там же: 166].

Тем не менее вследствие взаимодействия отдельных понятий в единой понятийной системе определенной модификации подвергается даже общее, казалось бы, понятие пространства. Иначе говоря, «...**понятие пространства** несколько варьируется в языке, ибо, как категория мышления, оно очень тесно связано с параллельным использованием других категорий мышления, таких, например, как “время” и “материя”, которые обусловлены лингвистически» [Там же: 167]. В результате «наш глаз видит предметы в тех же пространственных формах, как видит их и хопи, но для нашего представления о пространстве характерно еще и то, что оно используется для обозначения таких непространственных отношений, как время, интенсивность, направленность, и для обозначения вакуума, наполняемого воображаемыми бесформенными элементами, один из которых может быть назван “пространство”. Пространство в восприятии хопи не связано психологически с подобными обозначениями, оно относительно “чисто”, т. е. никак не связано с непространственными понятиями» [Там же: 167–168].

Еще более значительны лингвистически обусловленные различия между другими соотносительными понятиями.

В частности, по наблюдениям Уорфа, «наше собственное “время” существенно отличается от “длительности” у хопи. Оно воспринимается нами как строго ограниченное пространство или иногда — как движение в таком пространстве и соответственно используется как категория мышления. “Длительность” у хопи не может быть выражена в терминах пространства и движения» [Там же: 166–167].

Иногда же соотносительность понятий как будто и вовсе отсутствует. Так, «наше понятие “материи” является физическим подтипом “субстанции”, или “вещества”, которое мыслится как что-то бесформенное и протяженное, что должно принять

какую-то определенную форму, прежде чем стать формой действительного существования. В хопи, кажется, нет ничего, что бы соответствовало этому понятию; там нет бесформенных протяженных элементов» [Уорф 1960в: 167].

И это различие не просто обусловлено, но «навязано» языком. В языках SAE грамматически различаются, с одной стороны, существительные, обозначающие отдельные предметы определенной формы, а с другой — существительные, обозначающие однородные вещества без четких границ. Первые имеют формы единственного и множественного числа, вторые — в указанном значении — употребляются только в форме единственного числа. Соответственно «законы наших языков часто заставляют нас обозначать материальный предмет словосочетанием, которое делит представление на бесформенное вещество плюс та или иная его конкретизация (“форма”): glass of water ‘стакан воды’, stick of wood ‘брусок дерева’ и т. п. [Там же: 144].

В отличие от этого в хопи «...нет особого подкласса — “материальных” существительных. Все существительные обозначают отдельные предметы и имеют и единственное и множественное число. <...> В каждом конкретном случае water ‘вода’ обозначает определенное количество воды, а не то, что мы называем “субстанцией воды”. <...> Само существительное указывает на соответствующую форму или сосуд. Говорят не a glass of water ‘стакан воды’, а kə·yí ‘вода’... В языке хопи нет ни необходимости, ни моделей для построения понятия существования как соединения бесформенного и формы» [Там же: 144–145].

В результате этих и других различий мыслительный мир, или, иначе, микрокосм, SAE существенно расходится с мыслительным миром хопи.

В определении Уорфа, «микрокосм SAE, анализируя действительность, использует главным образом слова, обозначающие предметы (тела и им подобные) и те виды протяженного, но бесформенного существования, которые называются “субстанцией”, или “материей”. Он воспринимает бытие посредством двучленной формулы, которая выражает всё сущее как пространственную форму плюс бесформенная пространственная непрерывность, соотносящаяся с формой, так же как содержимое соотносится с формой содержащего. Явления, не обладающие пространственными признаками, мыслятся как пространственные, несущие в себе те же понятия форм и непрерывностей» [Там же: 153].

Если «...английский и ему подобные языки дают возможность воспринимать мир как собрание отдельных предметов и событий, соответствующих отдельным словам» [Уорф 1960а: 192], то в восприятии хопи мир — не собрание отдельных предметов, а нечто находящееся в процессе какой-то подготовки. «Микрокосм хопи, анализируя действительность, использует главным образом слова, обозначающие **явления** (events, или точнее eventing)» [Уорф 1960в: 153].

Выявленная зависимость понятийной системы от конкретного языка разрушает былые представления об ее универсальности. Даже такие общие категории, как время и материя, оказываются не всегда существенными, по мнению Уорфа, для построения картины вселенной [Уорф 1960б: 178].

Сказанное не следует, однако, понимать, предупреждает автор, как «исчезновение» самих этих категорий. «Психические переживания, которые мы подводим под эти категории, конечно, никуда не исчезают, но управлять космологией могут и иные категории, связанные с переживаниями другого рода, и функционируют они, по-видимому, ничуть не хуже наших» [Уорф 1960б: 178].

Языковое членение мира. В свою очередь заданное грамматикой и опосредованное микрокосмом членение и понимание макрокосма также не является универсальным. Сегментация непрерывного потока непрерывно изменяющихся явлений природы в ее развитии и бесконечном разнообразии ее движения, красок, форм производится отнюдь не одинаково: «...языки расчленяют мир по-разному» [Там же: 176]. При этом Уорф не исключает неадекватности навязанного языком членения действительному положению дел, когда «...сама природа совсем так не делится» [Там же] и проводимое «...различие не вытекает из условий действительности» [Уорф 1960а: 193]. Но поскольку язык содержит бессознательные гипотезы, относящиеся к бытию [Там же: 197], это не может не влиять на восприятие бытия. В частности, будучи носителями языков SAE, «мы постоянно привносим в окружающий мир вымышленные сущности, совершающие действия просто потому, что в наших языках глаголам должны предшествовать существительные. Мы должны сказать *It flashed* ‘Сверкнуло’ или *A light flashed* ‘Огонь (или свет) сверкнул’, придумывая деятеля *it* или *light*, чтобы изобразить то, что мы называем действием *to flash* ‘сверкнуть’» [Там же: 196]. С другой стороны, «...мы привносим действие в каждое предложение», даже если речь идет совсем не о действии, а об относительном положении в пространстве, как в предложении *I hold it* ‘Я держу это’, или о состоянии [Там же: 196–197].

Влияние языка на нормы культуры и поведения людей. Влияние лингвистически обусловленного микрокосма накладывает свою печать и на социальную действительность, на нормы культуры и поведения людей. В сущности, с точки зрения Уорфа, такое влияние неизбежно, ибо в само понятие микрокосма или «мыслительного мира» он включает *взаимодействие* между языком и культурой в целом [Уорф 1960в: 152].

Создавая бессознательные гипотезы относительно бытия, подвергая повседневной оценке те или иные явления, наш лингвистически детерминированный мыслительный мир «...вовлекает даже наши собственно подсознательные действия в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты» [Там же: 162]. «...В той или иной ситуации люди ведут себя соответственно тому, как они об этом говорят» [Там же: 154]. Такая зависимость обнаруживается и в жестикulyации, и в явлениях кинестезии и синестезии, и в характере развиваемых данным народом видов искусства и спорта [Там же: 162–164].

Показав косвенное влияние языка, его грамматических категорий на нормы культуры и поведения, Уорф тем не менее далек от того, чтобы утверждать существование прямой корреляции между языком, характером его грамматического строя («флективным», «синтетическим», «изолирующим») и культурой

[Уорф 1960в: 141]. Он полагает, что «между культурными нормами и языковыми моделями существуют связи, но не корреляции или прямые соответствия» [Там же: 168], причем и эти связи обнаруживаются, когда мы изучаем язык и культуру как нечто целое, и при условии их длительного исторического сосуществования [Там же].

Язык и теоретическое знание. Более тесная связь существует, по-видимому, между лингвистически детерминированными нормами мышления и теоретическим знанием. Уорф полагает, что «философские взгляды, наиболее традиционные и характерные для “западного мира”, во многом основываются на двучленной формуле — форма + содержание. Сюда относятся материализм, психофизический параллелизм, физика, по крайней мере в ее традиционной — ньютоновской — форме, и дуалистические взгляды на вселенную в целом» [Там же: 159]. В частности, «...ньютоновские понятия пространства, времени и материи не есть данные интуиции. Они даны культурой и языком. Именно из этих источников и взял их Ньютон» [Там же: 160].

Сам Уорф имплицитно также пользуется указанной двучленной формулой в ходе научного анализа. Эта формула лежит в основе его интерпретации природы, вселенной:

Содержание (материя)	– непрерывный поток непрерывно изменяющихся явлений природы
Форма	– языковая (и научная) картина вселенной как способ ее восприятия, членения и понимания

Та же формула заложена в толковании Уорфом человеческой психики:

Содержание (материя)	– калейдоскопический поток впечатлений; – поток ощущений; – нераздельное сознание
Форма	– понятийная система; – нормы мышления

Наконец, как следует из проведенного анализа, указанная формула распространяется и на лингвофилософское толкование самого языка в европейской традиции.

Согласно Уорфу, статус формы принадлежит в языке системе его грамматических моделей и категорий.

Именно свойства грамматической системы языка, доказывает далее Уорф, «в конечном счете выражаются в особенностях структуры логических или математических построений» [Уорф 1960а: 186]. Так, для типа логического мышления небезразличен тип синтаксиса. Взаимоотношения составляющих элементов в предложении напоминают химическое соединение в полисинтетических индейских языках и механическую смесь в аналитическом английском и других индоевропейских языках. «Химический» или «механический» тип сочетания слов обуславливает и соответствующий способ мышления. В основе традиционной для носителей индоевропейских языков логики Аристотеля лежит механистическое мышление [Там же: 187–189].

Научная картина мира, по мнению Б. Л. Уорфа, производна от его языковой картины. В частности, сложившееся в западной системе мышления представление о предметной сущности действительности объясняется тем, что индоевропейские языки рисуют мир в виде собрания отдельных предметов. Неудивительно, что «...восприятие вселенной как собрания отдельных предметов, различных размеров — это наиболее полная характеристика классической физики и астрономии» [Там же: 192]. (Вполне естественно, что и в основе античного «номенклатурного» определения языка как совокупности имен вещей также лежит представление о мире в виде совокупности вещей.)

В таком случае, заключает Уорф, «...языки, не изображающие мир в виде отдельных объектов–предметов (так, скажем, как это происходит в английском и родственных ему языках), указывают нам путь к возможным новым типам логического мышления и новым способам восприятия вселенной» [Там же: 193].

Отсюда познавательная ценность для Уорфа любого языка. Отсюда же его убежденность в невозможности ограничить мышление рамками одного, даже самого искусного, языка. Ведь «...это значит потерять силу мысли, которая, будучи однажды утерянной, никогда не сможет быть восстановлена» [Там же: 197]. «...Те, кто представляет себе человечество будущего говорящим на одном языке, будь то английский, немецкий или русский, глубоко заблуждаются, принимая за идеал то, что способно принести огромный вред развитию человеческого мышления. Западная культура при помощи языка произвела предварительный анализ реального мира и считает этот анализ окончательным, решительно отказываясь от всяких корректив. Единственный путь к исправлению ошибок этого анализа лежит через все те другие языки, которые в течение целых эпох самостоятельного развития пришли к различным, но одинаково логичным, предварительным выводам» [Там же: 197–198].

Подобно тому как каждый язык может быть более эффективно понят «с удобной позиции многоязычного сознания» [Там же: 197], так и познание отдельных

сторон вселенной и построение ее всеобъемлющей картины нуждается в разнообразии типов мышления и способов восприятия. Приемы мышления, выработанные на основе моделей нескольких индоевропейских языков, с точки зрения Уорфа, вовсе не являются вершиной развития человеческого разума [Уорф 1960б: 181] и не исчерпывают всю полноту разума и познания [Там же: 182]. Возможны иные системы логического мышления помимо традиционной для носителей индоевропейских языков логики Аристотеля. Поэтому сравнительное и контрастивное изучение языков, включая весьма экзотические, является необходимым условием будущего развития мысли и познания истины на основе новых оригинальных типов логического мышления, позволяющих понять некоторые стороны вселенной [Уорф 1960а: 191–192, 197]. Сознание зависимости наших знаний от языковых средств не должно обескураживать ученых. Напротив, проявляющееся в каждом отдельном языке своеобразие человеческого разума призвано стимулировать, по мысли Уорфа, широкое развитие чувства перспективы и подлинной научной любознательности [Уорф 1960б: 181–182].

3. Г. Гийом

Характерный для гипотезы лингвистической относительности (особенно в версии Б. Л. Уорфа) известный перекосяк в понимании взаимоотношений между языком и мышлением был устранен в философии языка Гюстава Гийома (1883–1960).

Иерархия противостояний, лежащих в истоках языка, и его функций. Общепринятое определение языка как общественного явления Г. Гийом считает ограниченным и упрощенческим, ибо оно ведет к принижению и недооценке сущности языка и не позволяет объяснить, как он создается и формируется. Учитывая взаимоотношения между людьми, данное определение не учитывает отношения всех и каждого к миру (универсуму), а ведь «именно благодаря этим отношениям, основе всех других, включая непосредственные социальные отношения, люди могут общаться друг с другом. Они не могут выйти за их пределы.

В истоках языка человека — и прозорливые философы это понимали, — полагает Г. Гийом, — лежит не маленькое противостояние *Человек / Человек*, но великое противостояние *Универсум / Человек*» [Гийом 1992: 161], из которого возникает и от которого не отделяется противостояние *Человек / Человек*.

«Признавать в языке социальное явление, каким он является в силу его использования людьми в качестве средства экстерииоризации и передачи своих мыслей и чувств, и не видеть в нем собственно человеческого явления, т. е. внесоциального, заключенного в самом человеке, говорящем или не говорящем, но думающем, — это значит, — предупреждает Г. Гийом, — лишить себя всякой возможности познания его структуры, возникшей не из встречи человека с человеком, а из вечного противостояния человека и вселенной, универсума, из специфически человеческих условий этого столкновения, определенным зеркалом которых и стала структура языка» [Там же: 162].

В этой связи Г. Гийом считает ошибкой «...слишком тесно соотносить построение языка с тем, что происходит во время акта речевой деятельности». На взгляд Г. Гийома, «...язык создается, конечно, в нас, в ходе его использования, но также частично и вне использования, в течение того непрерывного глубокого раздумья, в которое всегда погружены мыслящие люди... Самая глубинная часть языка в гораздо большей мере зависит от постоянного глубокого раздумья человеческого мышления, чем от непосредственного упражнения в речи...» Соответственно «...в языке записаны не только потребности мышления в непосредственный момент выражения, но, кроме того, и те, которые можно было бы назвать потребностями молчаливого мышления, занятого вне акта речетворчества самосозерцанием и определением лучших способов перехвата того, что в нем происходит» [Там же: 68]. Это потребности «...проникновенного самопознания, гораздо менее зависящего от узкосоциальных отношений между людьми, чем от экстрасоциального, уходящего корнями в бесконечность отношения человека, существующего во вселенной, к этой вселенной, в глубине которой он утверждает свою силу и относительно растущую автономию» [Там же: 155]¹.

Среди тех прозорливых философов, кто природу собственно человеческого видел скорее в способности «думать», чем говорить, и потому сущность и функциональное назначение языка связывал прежде всего с его отношением к мышлению, в первую очередь, надо полагать, должны быть названы Т. Гоббс, И. Г. Гердер, а во французской философско-лингвистической традиции, конечно, Э. Б. де Кондильяк (см. выше), влияние которого в этом вопросе на Г. Гийома кажется несомненным.

Задолго до того как было осознано различие языка и речи, Т. Гоббс разграничивает слова—метки (*notae*) и слова—знаки. Согласно Т. Гоббсу, «имена по своему существу прежде всего суть *метки* для подкрепления памяти. Одновременно, но во вторую очередь они служат также для обозначения и изложения того, что мы сохраняем в своей памяти». «Разница между метками и знаками состоит в том, что первые имеют значение для нас самих, последние же — для других» [Гоббс 1965: 62].

Вслед за Т. Гоббсом Дж. Локк и Г. В. Лейбниц также указывают «на *двойное употребление слов*: во-первых, для закрепления наших собственных мыслей; во-вторых, для сообщения наших мыслей другим [людям]» [Локк 1985: 534]. (См. также: [Лейбниц 1983: 340].)

Позднее указанное функциональное разграничение меток и знаков получает дальнейшее развитие в концепции И. Г. Гердера — во введенном им различении

¹ Сходные идеи развивал А. А. Потебня. Согласно А. А. Потебне, «познание своего я есть другая сторона познания мира, и наоборот» [Потебня 1976: 305]. Ход объективирования предметов представляет собой одновременно процесс образования взгляда на мир, а так как это объективирование — явление развивающееся, то и «содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании, на *я* и *не-я*, есть нечто постоянно развивающееся» [Там же: 170]. Соответственно, Потебня выделяет разные типы языкового мышления (подробнее см.: [Зубкова 1989: 114–118]).

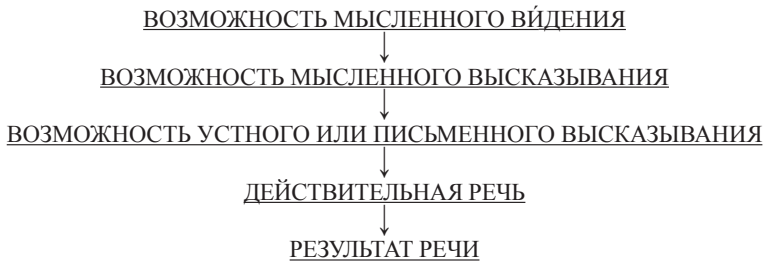
внутреннего и внешнего языка. Согласно Гердеру, человек имеет язык потому, что, в отличие от животных, он является сознающим существом и обладает смышленностью — способностью выделить и удержать в океане ощущений одно из них, осознать его, сосредоточиться, задержать внимание на одном из образов восприятия, выделить его приметы, осознать определенную особенность образа как отличительную. Внутренний язык образуется совокупностью осознанных примет как отличительных особенностей образов восприятия внешнего мира, как памятных знаков представлений и понятий. Именно этот внутренний язык, «духовное, а не плотское средство образования идей» и есть, по мысли И. Г. Гердера, собственно человеческий язык, «язык разума». Внутренний язык сам по себе не предназначен для целей общения и создан человеком не как говорящим членом общества, а как сознающим существом «независимо от помощи органов речи или человеческого общества» [Гердер 1959: 143]. Даже если человек не говорит (например, одинокий дикарь или немой), он мыслит, а значит, пользуется приметами как элементами языка.

Прямым предшественником Г. Гийома в рассмотрении языка на основе отношения Мир (Универсум) / Человек является В. фон Гумбольдт. Гумбольдт вполне осознает ограниченность взгляда на язык как на средство общения [Гумбольдт 1985: 377]. В его определении «язык — не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей» [Гумбольдт 1984: 51], «...язык — не просто средство обмена, служащее взаимопониманию, а поистине мир, который внутренняя работа духовной силы призвана поставить между собою и предметами» [Там же: 171]. «Вечный посредник между духом и природой» [Там же: 169], «...язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Там же: 304]. Таким образом, уже у Гумбольдта противоположение мира и человека интерпретируется как исходное.

Этапные преобразования в процессе порождения речи. По мысли Гийома, язык человека начинается с того момента, как стало реальным и осуществилось преобразование невозможного выразить словами (*indicible*) в возможное (*dicible*) [Гийом 1992: 138].

Появлению возможного выразить словами предшествовал «опыт, которым овладевал человек в процессе своего существования в физическом мире. И этот опыт в силу своей обширности, в силу некогерентного разнообразия, в силу внутреннего накопления не мог быть переведен в представление и поэтому не мог быть выраженным словами» [Там же: 140]. «Человеческий язык существует только с того момента, когда пережитый опыт преобразуется в *представление*» [Там же: 145], когда свойственное животному непосредственное видение реальности заменяется собственно человеческим опосредованным видением, основанным на обработке образа окружающего мира через канал предварительного мысленного представления [Там же: 144]. С появлением возможности мысленного видения приобретает возможность мысленного высказывания, которая в свою очередь предполагает такую манеру мышления, когда к мыслимому можно добавить знак и таким образом осуществить переход от возможности мысленного высказывания к семиологической возможности устного или письменного высказывания, а затем

к действительной устной или письменной речи — к физическому словесному высказыванию. Этапы указанных преобразований–переходов в структурном механизме деятельности говорящего Гийом представляет в следующей схеме [Гийом 1992: 22]:



Данная схема отражает противопоставление языка и речи как противопоставление возможности (потенции) и действительности (реализации, актуализации). На первых трех ступенях действуют бессознательные механизмы языка, на последующих — сознательные механизмы речи [Скрелина 1992: 203].

Язык и мышление. В толковании функций языка, его роли по отношению к мышлению Г. Гийом сходится с В. Гумбольдтом и А. А. Потебней. Подобно Потебне, он видит в языке переход от бессознательного к сознанию.

Первоначальное состояние бессознательной мысли Гийом, аналогично многим своим предшественникам, характеризует как хаотическое, беспорядочное, «турбулентное» течение. Сама сущность человеческого мышления должна непременно отказаться от исходной беспорядочности потока мысли, свойственной животному. Больше или меньше упорядочение мыслимого происходит благодаря представлению. «Оно его делит, подразделяет, внутренне организует, систематизирует, чтобы высказать всё, и результатом этих систематизирующих операций является язык» [Гийом 1992: 94]. Язык, в определении Г. Гийома, и есть общее, интегральное представление мыслимого, всего потенциального мышления с некоторой внутренней систематизацией [Там же: 94–95].

С отказом в представлении от ментальной турбулентности закладывается дальнейшая потенция человеческого мышления. Акты представления, образующие язык, обеспечивают, согласно Г. Гийому, собственные возможности человеческого мышления, основанного на глубинных необходимых операциях, в отсутствие которых и сами эти возможности не существовали бы. Совокупности этих глубинных операций (см. ниже) создают акты представления языка и возможность человеческого мышления. Подсознательно используемые первичные способности представления порождают сознательное. Они лежат в основе логических способностей к рассуждению. И в этом Гийом явно сходится с Кондильяком.

Само создание мыслимого осуществляется путем построения потенциальной мысли и построения языка, причем, как и у И. Г. Гердера, в трактовке Гийома «оба построения идут рука об руку» [Гийом 1992: 163; ср.: Гердер 1959: 153].

Вследствие этого история человеческого мышления, считает Гийом, как бы зашифрована в структурной истории языка, правдиво отражаясь в категоризации, в историческом следовании его структурных состояний [Гийом 1992: 140].

Для адекватного понимания специфики человеческого мышления и роли языка в интерпретации Гийома надо иметь в виду, что, обсуждая характер связи между языком и мышлением и возможность их отождествления, Гийом настаивает на различении двух различных областей — собственно мышления и возможности мысленного самослежения. По мнению Гийома, «язык абсолютно независим от самого мышления, но он стремится к отождествлению себя с возможностью, которую имеет мышление в самослежении, т. е. перехвате своей собственной деятельности, какой бы она ни была. Мышление свободно, совершенно свободно и безгранично в своем движении к активной свободе, но средства, которыми оно пользуется для своего собственного перехвата, это средства систематизации и организации, ограниченные по своему количеству, и в своей структуре язык дает их верное отображение. <...> Под таким углом зрения язык представлен совокупностью средств, которые мышление систематизировало и сформировало для того, чтобы обеспечить себе постоянную способность проведения быстрого и ясного, по возможности мгновенного, перехвата того, что в нем разворачивается, каким бы ни было это разворачивание и его суть» [Там же: 54].

Поскольку «операцией, фундаментальной для построения потенциальной мысли, является перехват мышлением самого себя» [Там же: 163], постольку специфически человеческое «...мышление существует само по себе только в том случае, если оно способно контролировать (перехватить) себя и тем самым различать в себе отдельные моменты деятельности. Эти перехваты отождествляются с представлением; это то, что является представлением» [Там же: 109]. А так как представление в свою очередь отождествляется с языком, то ясно, что вместе с ним в сущности создается не только специфически человеческое мышление, но и сам человек [Там же: 146]. Поэтому Г. Гийом, как до него В. фон Гумбольдт [1985: 412] и А. Шлейхер [1868: 10, 14], считает, что «язык человека обладает антропогенным аспектом» [Гийом 1992: 164]. Только благодаря языку обеспечивается относительная автономия человека в мире, в котором он живет [Там же: 125, 147, 159].

Отношение всеобщего и единичного в языковом сознании. Вся архитектура речевой деятельности, вся структура языка строится, согласно Гийому, на отношении всеобщего (универсального) и единичного, а конкретной основой этого отношения является базовое отношение Мир (Универсум) / Человек [Там же: 162–163].

Как показывает Гийом, в основе человеческого (языкового) сознания, в основе мыслительной потенции, включая собственные оперативные возможности мышления, а также в основе всего построения языка, его структуры лежат две главные, базовые потенциальные операции, два противоположных движения мысли: **конкретизирующее** движение в сторону единичного, в направлении от широкого к узкому, от большего к меньшему, свойственное *партикуляризации*, и **обобщающее**

движение в сторону всеобщности, в направлении от узкого к широкому, от меньшего к большему, свойственное *генерализации* [Гийом 1992: 56, 106, 119]. Двойная способность языкового сознания — обобщать и индивидуализировать — составляет единое внутренне бинарное целое [Там же: 119]. Соответственно и в языке как системе систем также действуют эти две тенденции: «...тенденция к разделению систем и их идентификации как целого и противоположная тенденция к сохранению тесной и почти непрерывной связи между ними» [Там же: 106].

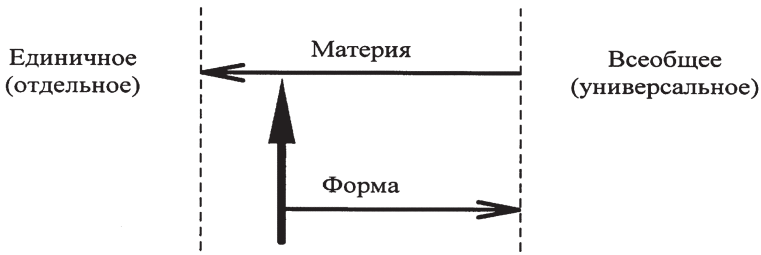
Ранее те же две тенденции были выделены Э. Б. де Кондильяком и подробно описаны В. фон Гумбольдтом. Подобно тому как «...всякое мышление состоит в разделении и соединении» [Гумбольдт 1984: 127], так и язык «...вечно разъединяет и связывает» [Там же: 236]. «...В нем нет ничего, что не могло бы быть частью либо целым, и эффективность его непрерывного действия зависит от легкости, точности и согласованности его делений и сочетаний» [Гумбольдт 1985: 414]. Соответственно, «из всего многообразия феноменов, обозначаемых языком, выделяются два существенным образом отличающихся друг от друга класса: это, с одной стороны, отдельные предметы или понятия и, с другой стороны, — общие отношения, которые устанавливаются со многими из предметов или понятий, выделенных в первый класс, частично с целью обозначения новых предметов или понятий, частично для поддержания связности речи. Общие отношения большей частью принадлежат непосредственно формам мышления, они выводятся из первоначального принципа и образуют закрытые системы» [Гумбольдт 1984: 94].

Порождение материи и формы. К тем же исконным базовым операциям, к тем же движениям мысли возводит Гийом — и, может быть, не без влияния Гумбольдта — разграничение материи и формы в языке.

Согласно Гийому, «материя является следствием первого движения мышления», когда «наше сознание, достигнув некоторого состояния абстрактной потенции, отправляется от всеобщего в сторону единичного» [Гийом 1992: 112] и происходит мысленное вычленение частного из общего, выделение отдельного из полного универсума, содержащего отдельное [Там же: 115]. В результате этого движения осуществляется необходимая партикуляризация (сингуляризация, выделение, вычленение, индивидуализация) смысла, образуются *понятийные идеи* [Там же: 130], происходит индивидуализация семантем [Там же: 115], слово получает свое «начальное значащее содержание» [Там же: 114], формируются основы, или, иначе, материальные части слов [Там же: 111–112, 117–119].

«...Форма же есть результат второго движения мышления — обратно к своему исходному положению», к всеобщему [Там же: 112] и, следовательно, относится к уровню генерализации (универсализации, включения, категоризации), на котором образуются *структурные идеи* [Там же: 130], формальные, морфологические части слов.

Схематически это порождение материи и формы Гийом представляет так [Там же: 113]:



Антиномия пространства и времени в языке. Когда в ходе операции категоризации «абстрагированное из всеобщего в отдельное возвращается обратно во всеобщее» [Гийом 1992: 115], это последнее представляет собой уже не полный универсум, содержащий отдельное, а пустой универсум, из которого выделено частное и который тем самым лишен характеризуемого содержания [Там же: 115–116]. Категоризация в таком универсуме может осуществляться лишь путем противопоставления всеобщего, универсального видения самому себе на основе ноологического различения пространства и времени [Там же: 114–116]. Поэтому «слова в наших языках в процессе движения, созидającego их форму и приводящего их к границе всеобщего, от которой они вначале удалились, выходят либо в универсум–Время, либо в универсум–Пространство», образуя таким образом базовое частеречное противоположение глагола и имени [Там же: 114].

Будучи чистой формой, часть речи как окончательная, завершающая форма не содержит ничего материального и не имеет материального обозначения [Там же: 119].

Приведение слова к той завершающей форме, какой является часть речи, производится с помощью промежуточных формальных операций, которые образуют пред-завершающие формы. Эти промежуточные формы не полностью лишены понятийного содержания и потому имеют материальное обозначение [Там же: 118–119]. Таковы грамматические показатели категорий представления времени (наклонения, времени, лица) и категорий пространственного представления (рода, числа, падежа...).

В результате всех указанных операций образуются слова, которые, по определению Гийома, относятся к *оформленной языковой субстанции* [Там же: 91].

В итоге же, «...целиком опираясь на антиномию пространства и времени, язык (другими словами, область представления или высказывания на доречевом уровне) создает в мыслящем человеке идеальный универсум (*univers-idée*), находящийся в постоянном расширении» [Там же: 157]¹, неизбежно растущий в количественном и качественном отношении [Там же: 158], меняющийся из поколения в поколение, выявляя таким образом прогресс цивилизации и меру самостоятельности человеческой личности по отношению к окружающему миру, физическому универсуму,

¹ Ср. с определением А. А. Потебни, согласно которому язык является знаковой системой, способной к неопределенному, к безграничному расширению [Потебня 1981: 134].

вселенной [Гийом 1992: 159]. «Будучи языком мыслящего человека, идеальный универсум построен по образу и подобию самого человека, который одновременно и зритель и наблюдатель — глазами тела и глазами разума — действительного универсума, реального мира» [Там же: 157].

Сама структура языка становится определенным *зеркалом* специфически человеческих условий *противостояния человека и вселенной* [Там же: 162].

Противоположение языка и речи в речевой деятельности. Из великого противостояния Универсум / Человек возникает малое противостояние Человек / Человек, и в речевой деятельности закрепляется противоположение языка и речи, которое функционально в интерпретации Г. Гийома напоминает противоположение внутреннего и внешнего языка у И. Г. Гердера [Гердер 1959; 1977].

Обоснование противоположения языка и речи Г. Гийом подытоживает следующей схемой речевой деятельности [Гийом 1992: 166]:



Сравнительно с Ф. де Соссюром Г. Гийом вводит в понятие речевой деятельности ряд уточняющих факторов. Прежде всего это фактор времени и дополняющий его фактор преемственности. Согласно Г. Гийому, «речевая деятельность как целое, как интеграл заключает последовательность: это последовательность перехода языка, постоянно существующего в говорящем (следовательно, вне зависимости от конкретного момента), к речи (в речь), принадлежащей говорящему только в конкретные моменты времени (с большими или меньшими интервалами между этими моментами)» [Там же: 37]. Таким образом, язык как возможность, потенция, как прошедшее, завершённое предшествует речи как действительности [Там же: 36], причем переход к действительной речи, к физическому говорению (*parole effective*) опирается на не замеченное Ф. де Соссюром виртуальное, нефизическое, безмолвное говорение (*parole virtuelle, parole non physique, silencieuse*). Кроме того, в языке и речи существует связь и соответствие говорения (*parole*), которое играет в речевой деятельности роль означающего, с лежащими в его основе психомеханизмами.

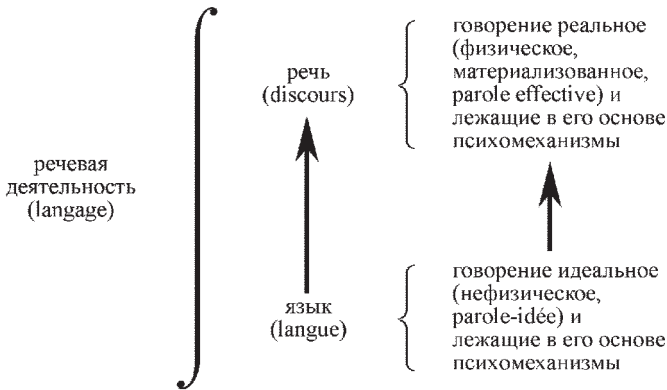
В результате формула Соссюра

$$\text{речевая деятельность} = \text{язык} + \text{речь}$$

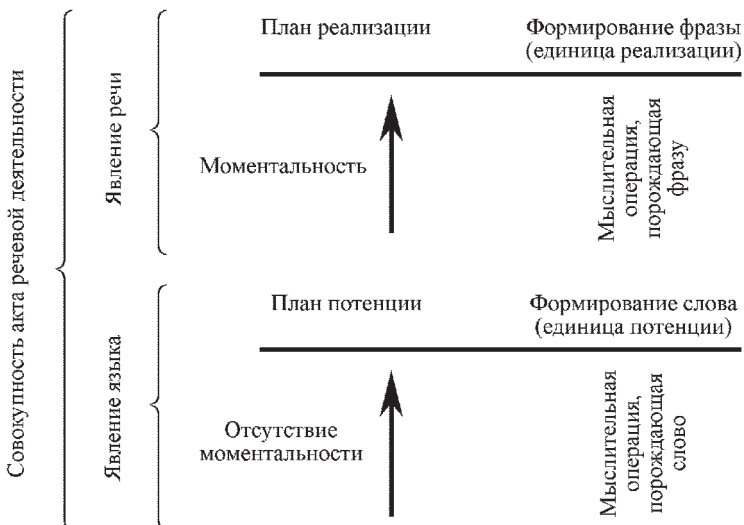
изменяется. Прежде всего она представляется Гийомом в виде *не суммы*, а *интеграла* [Там же: 37]:



Затем в схему речевой деятельности включается *переход* от языка к речи, от идеального говорения к реальному [Гийом 1992: 39]:



Наконец, с учетом внутренней хронологии акта речевой деятельности и единиц, формируемых в начальной фазе потенции и в конечной фазе реализации, а именно *слова и фразы*, схема еще более уточняется [Там же: 85]:



Деятельность говорящего, заключающаяся в переводе возможности языка в действительность речи, проходит, таким образом, несколько этапов, представленных в схеме, которая приведена на с. 426.

Содержание языка и речи. Язык и речь как форма. Различия в характере мыслительных операций, которые в языке — в фазе потенции — протекают бессознательно (особенно это относится к более глубинным операциям) и направляются предсознанием, человеческой способностью «ясновидения»¹, а в фазе реализации подпадают под сознательное наблюдение говорящего [Гийом 1992: 85], Гийом связывает с различием в предмете и содержании языка как *непроизвольной деятельности* и речи как *целенаправленной деятельности*.

«Содержание языка — это данная разом человеческому сознанию вся совокупность мыслимого... в виде систематизированного представления» [Там же: 96], т. е. все потенциальное мышление, способное выразить любую мысль [Там же: 95].

«Содержание речи — это выборочная часть мыслимого, использованная для производства в действительность обдуманного» [Там же: 96], которое строится говорящим «в данный момент на основе мыслимого и находящегося в его постоянном распоряжении запаса, т. е. интегрального, внутренне систематизированного представления, которым является язык в сознании говорящего» [Там же: 95].

«Таким образом, в переходе от мыслимого в представлении, т. е. от языка, к выражению обдуманного, т. е. к речи, наблюдается переход от *интеграла* к *дифференциалу*: от всей потенции, данной сразу человеческому мышлению, к реализованной части, произведенной в конкретный момент необходимости и подчиняющейся этой моментности» [Там же].

Переходу в плане содержания от мыслимого (бессознательно) к обдуманному (и осознанному) соответствует разграничение языка и речи как двух разных форм. «Речь — это форма, принятая обдуманной стороной для выражения (*expression*); язык — это форма, принятая мыслимой стороной для представления (*représentation*)» [Там же: 94]. Выражение мысли становится возможным благодаря тому, что язык представляет собой *форму отношений, связей*, установленных между элементами [Там же].

Определение языка и речи как формы не означает, однако, системности обоих компонентов речевой деятельности, ибо Гийом разводит понятия формы и системы, отнюдь не отождествляя их. Противопоставив язык и речь по признаку *устоявшееся — неустоявшееся*, Г. Гийом, как до него Ф. де Соссюр, полагает, что «...система существует только в устоявшемся» [Там же: 107], т. е. в языке, тогда как речи, которая существует только за счет неустоявшегося [Там же: 98], принадлежит «использование системы» [Там же: 108]. Но и в языке, как показывает

¹ Характеристика этой способности у Г. Гийома весьма напоминает характеристику «размышления» у Э. Б. де Кондильяка [1980: 105–111; 1983: 192] и «смьшлености» у И. Г. Гердера [1959: 141].

Гийом, уточняя Соссюра, не все системно: «...система существует там, где формы чередуются в замкнутой цепи, и система не существует там, где в устоявшемся (а устоявшееся — это и есть язык) формы чередуются в разомкнутой, открытой цепи» [Гийом 1992: 107].

Схематически противопоставление языка и речи в единстве содержания и формы, по Гийому, может быть представлено так:

	ЯЗЫК	РЕЧЬ
СОДЕРЖАНИЕ	– вся совокупность <i>МЫСЛИМОГО</i> ;	– <i>ОБДУМАННОЕ</i> , построенное на основе мыслимого, его выборочная часть;
	– расширяющийся внутренний идеальный универсум рассмотрения, состоящий из идей для рассмотрения, идей рассматривающих;	– рассмотренные идеи;
	– данное разом систематизированное мыслимое	– сиюминутные, единичные мысли
ФОРМА	– интегральное внутренне систематизированное <i>ПРЕДСТАВЛЕНИЕ</i> <i>мыслимого</i> ;	– <i>ВЫРАЖЕНИЕ</i> <i>обдуманного</i> на основе представленного и с помощью средств, которые предлагает представление;
	– вместилище представления, имеющего недискретную форму	– вместилище представления, имеющего дискретную форму

За переходом от интеграла языка к дифференциалу речи стоит глубинный «переход от интеграла к дифференциалу», который характеризует постоянно меняющееся отношение человека к окружающему миру, к универсуму. Поскольку структура языка почти всем обязана данному отношению, то, ввиду изменения последнего по мере освобождения человека от полного подчинения универсуму, «...всё в языке представляет собой процесс» [Там же: 136].

Как и в мышлении, в языке «вначале было целое, и это целое было хаосом; на стадии созидания произошло разделение, дифференциация, организация, всё большее и большее проявление этой организации» [Там же: 12], включая всё большее размежевание актов представления и выражения, языка и речи. О степени их дифференциации можно судить по разграничению слова и фразы. Чем четче они разграничены, тем определеннее противоплагаются язык и речь.

По соотношению в речевой деятельности двух видов образования идей, понятийных и структурных, Гийом выделяет три типологических языковых ареала, соотносимых с основными морфологическими типами языков.

В начальном языковом ареале в отсутствие «структурных» (грамматических. — Л. З.) идей и морфогенеза, необходимого для их выражения, имеет место

некоторая интерференция акта выражения и акта представления [Гийом 1992: 91]. В таких языках в речевой деятельности «...достаточно образования понятийных идей, как, например, в китайском» [Там же: 171].

Во втором языковом ареале слова характеризуются тем, что «...их оформление не полностью завершается в языке, а заканчивается во время *перехода* (transitus) из языка в речь» [Там же: 40], поэтому наложение двух видов образования идей, понятийных и структурных, является не совсем одновременным. Таково, по Гийому, положение дел в семитских языках, в которых между образованием понятийных идей, обозначаемых консонантным корнем, и образованием структурных идей, обозначаемых морфологическими гласными и аффиксами, вписывается разделяющий их кратчайший и, насколько возможно, приближающийся к нулю временной промежуток» [Там же: 130–131]. На мой взгляд, ко второму ареалу могут быть отнесены и классические агглютинативные языки, в которых морфологическое выражение определенных грамматических значений не является строго обязательным: оно наличествует или отсутствует в зависимости от контекста.

И только в третьем ареале слово получает законченное оформление в языке [Там же: 40], ибо благодаря обязательному и одновременному наложению друг на друга двух видов образований — понятийного и структурного — становится возможным приведение слова к той завершающей чистой форме, какой является часть речи [Там же: 117–119]. Вследствие развитой категоризации окончательно закрепляется противоположение слова как потенциальной единицы языка и фразы как реализованной единицы речи, а вместе с ним и противоположение языка и речи.

Целостность интегральной речевой деятельности обеспечивается согласованностью гетерогенных целевых устремлений возможности и действительности, творящих язык и речь [Там же: 55] так, чтобы существовала социально необходимая взаимная соотносительность представления и выражения [Там же: 97–98]. Ввиду отношений преемственности между языком и речью «... выражение возможно только на основе представления» [Там же: 97], «...представление дает выражению средства, которыми это последнее пользуется» [Там же: 155]. «...Мы обращаемся к словам, потенциальным единицам языка, принадлежащим представлению, для того, чтобы построить фразы (предложения–высказывания. — Л. З.), реализованные единицы речи, принадлежащие выражению» [Там же: 90–91]. Как и число «рассматриваемых идей» («идей наблюдения»), обладающих устойчивым инвариантным и обратно пропорциональным отношением содержания и объема, число потенциальных единиц ограничено. Число «рассмотренных идей» намного превышает число идей наблюдения за счет вариативности объема, вследствие чего в речи на основе одной и той же идеи наблюдения, закрепленной в языке, реализуются весьма разные рассмотренные идеи. Ср.: *L'homme s'endormit* 'Человек уснул' и *L'homme est mortel* 'Человек смертен' [Там же: 158–160]. И по этой причине, и благодаря выбору и употреблению слов число реализованных единиц речи — фраз — безгранично [Там же: 92]. Тем не менее язык обеспечивает мышлению возможность и удобство выражения, ибо, будучи «упреждающей системой», он

обладает «системным предвидением своих потребностей, охватывающих все возможные случаи выражения, сколь бы разными они ни были» [Гийом 1992: 94].

Наконец, целостность речевой деятельности обеспечивается единством означаемых, принадлежащих к области представления, и означающих, принадлежащих к области выражения [Скрелина 1992: 192]. Теоретически означающие «могут быть сколь угодно разнообразными и гетерогенными, раз они обеспечивают достаточность обозначения» [Гийом 1992: 75]. Но несмотря на царящую в семиологической системе свободу выбора средств обозначения, несмотря на то, что представление предшествует выражению [Там же: 97] и в области означаемых системная единица складывается задолго до оформления соответствующей единицы в семиологической области [Там же: 75], психосемиологический механизм стремится стать удачной физической калькой психосистематического организма, ибо каждый из них хорошо виден только тогда, когда за ним просматривается другой [Там же: 42–43]. Чтобы быть оперативной, семиология должна соответствовать психическому плану, воспроизводить его, стремиться к повторению системной когерентности (связности). Поэтому в структуре языка всегда поддерживается, по словам Г. Гийома, *общий закон соответствия физического (фонетического) и психического (судя по примерам, грамматического) планов* благодаря их *взаимному приспособлению* [Там же: 76–77].

4. Э. БЕНВЕНИСТ

Во взглядах Эмиля Бенвениста (1902–1976) на язык остро чувствуется дух синтеза, так ярко проявившийся в системных лингвистических концепциях — в учениях В. фон Гумбольдта, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ. Не случайно понятия единства, целостности, необходимой связи, системной обусловленности, взаимозависимости, общей структуры, совмещенных свойств, совмещенной субстанциональности и т. п. становятся для Э. Бенвениста ключевыми.

Опираясь во многом на Ф. де Соссюра, отдавая должное его вкладу в лингвистику, Э. Бенвенист преодолевает некоторые крайности его знаковой теории благодаря тому, что принцип *оппозитивного дуализма*, который, по мнению Бенвениста, составляет «центральный пункт учения Соссюра» [Бенвенист 1974: 55], преобразуется у Бенвениста в более диалектичный принцип *двустороннего единства*. Тем самым Бенвенист делает шаг к разрешению противоречия «между единством как категорией нашего восприятия объектов и двойственностью, модель которой язык навязывает нашему мышлению» [Там же: 56]. Ревизия принципа оппозитивного дуализма позволила Бенвенисту, в частности, «преодолеть соссюровское понимание знака как единственного принципа, от которого будто бы зависит и структура языка и его функционирование» [Там же: 89], восстановить «подлинную природу знака в его системной обусловленности» [Там же: 96] и немало способствовать тому, чтобы лингвистика стала наукой, «вновь обретающей единство своего внутреннего плана в бесконечном разнообразии языковых явлений» [Там же: 46].

Природа человека и язык. В основе лингвистической концепции Бенвениста лежит не столько антропоцентрический [Степанов 1974: 14–15], сколько антропогенный принцип. Сущность этого принципа в понимании Бенвениста становится очевидной благодаря строгому различению функций языка и речи. Исходя из единства человека и природы, Бенвенист признает орудийную, посредническую функцию речи, но ставит под сомнение «упрощенное представление о языке» как орудии общения. Язык — «феномен человеческий» [Бенвенист 1974: 45], и применительно к языку «говорить об орудии — значит противопоставлять человека природе. Кирки, стрелы, колеса нет в природе. Их изготовили люди. Язык же — в природе человека, и человек не изготавливал его» [Там же: 293]. «... Человек не был создан дважды, один раз без языка, а другой раз с языком» [Там же: 29]. «Невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык. Невозможно представить себе изолированного человека, ухитряющегося осознать существование другого человека. В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, необходимо принадлежит самому определению человека.

Все свойства языка: нематериальная природа, символический способ функционирования, членораздельный характер, наличие *содержания* — достаточны уже для того, чтобы сравнение с орудием, отделяющее от человека его атрибут — язык, оказалось сомнительным» [Там же: 293].

Последние три свойства в их нераздельном единстве образуют детерминанту языка и составляют сущность лингвистической концепции Бенвениста. Рассмотрим их в порядке, обозначенном самим автором.

1. Символический способ функционирования

Символизм, знаковый характер языка является, согласно Бенвенисту, важнейшим его свойством. В этой оценке символичности языка Э. Бенвенист вполне солидарен с Э. Сепиром, но заслуга Э. Бенвениста заключается в том, что он рассматривает символичность в необходимой связи с другими сущностными свойствами языка: членораздельностью, наличием содержания — ввиду единства языка и мышления, а также в соответствии с их социальной природой.

Способность к символизации. Согласно Бенвенисту, «...присущая языку знаковая природа есть общее свойство всей совокупности социальных феноменов, которые составляют *культуру*» [Там же: 58].

Культурой Бенвенист называет «*человеческую среду*, всё то, что помимо выполнения биологических функций придает человеческой жизни и деятельности форму, смысл и содержание. <...> Культура определяется как весьма сложный комплекс представлений, организованных в кодекс отношений и ценностей: традиций, религии, законов, политики, этики, искусства — всего того, чем человек, где бы он ни родился, пропитан до самых глубин своего сознания и что направляет его поведение во всех формах деятельности» [Там же: 31].

В знаковой природе заключено фундаментальное отличие явлений, присущих человеческой среде, от явлений физических и биологических [Там же: 58]. Это

отличие Бенвенист объясняет одной из основных особенностей человеческого бытия, может быть, самой глубокой. Она состоит в том, что «...нет естественного, непосредственного и прямого отношения ни между человеком и миром, ни между одним человеком и другим. Необходим посредник — тот символический аппарат, который сделал возможным мышление и язык. За пределами биологической сферы способность к символизации — самая характерная способность человеческого существа» [Бенвенист 1974: 31], неотъемлемая от самой сущности человека [Там же: 28]. Именно этой способностью обусловлено возникновение *homo sapiens* из разряда животных. Именно в ней видит Бенвенист источник мышления, языка и общества [Там же: 29]. «...Именно символ устанавливает... живую связь между человеком, языком и культурой» [Там же: 32].

Под способностью к символизации Э. Бенвенист понимает «способность *представлять (репрезентировать)* объективную действительность с помощью “знака” и понимать “знак” как представителя объективной действительности и, следовательно, способность устанавливать отношение “значения” между какой-то одной и какой-то другой вещью» [Там же: 28].

Значение символизации для человеческого сознания. Язык — мышление — действительность. В наиболее общей форме способность к символизации и ее значение для человеческого сознания и общественно-культурной жизни характеризуются у Бенвениста следующим образом.

«Роль знака заключается в том, чтобы репрезентировать, замещать какую-либо вещь, выступая ее субститутом для сознания» [Там же: 76].

«Употребить символ — значит зафиксировать характерную структуру какого-либо объекта и затем уметь идентифицировать ее в различных других множествах объектов. Именно эта способность свойственна человеку и делает его существом разумным. Способность к символизации делает возможным формирование понятия как чего-то отличного от конкретного объекта, который выступает здесь лишь в качестве образца. Она является одновременно принципом абстракции и основой творческой фантазии. Эта символическая в своей сущности репрезентативная способность, лежащая в основании образования понятий, появляется только у человека. У ребенка она пробуждается очень рано, еще до начала речевой деятельности, на заре его сознательной жизни» [Там же: 28].

«Способность к символизации лежит в основе мыслительных функций. Мышление — не что иное, как способность создавать представления вещей и оперировать этими представлениями. Оно по природе своей символично. Символическое преобразование элементов действительности или опыта в *понятия* — это процесс, через который осуществляется логицирующая способность разума. Мысль не просто отражает мир, она категоризует действительность, и в этой организующей функции она столь тесно соединяется с языком, что хочется даже отождествить мышление и язык с этой точки зрения» [Там же: 29–30].

Саму возможность такого отождествления Бенвенист обосновывает, во-первых, тем, что «...возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности,

поскольку язык — это структура, несущая значение, и мыслить — значит оперировать знаками языка» [Бенвенист 1974: 114], а во-вторых, тем, что, как и мысль, «язык есть прежде всего категоризация, воссоздание предметов и отношений между этими предметами» [Там же: 122].

Функция языка задается способностью к символизации. Как наивысшая форма данной способности «язык *воспроизводит* действительность» [Там же: 27]. Только на основе этой первичной своей функции язык, актуализируясь в речи, становится орудием коммуникации между индивидами. (Такая иерархия функций языка весьма сходна с их иерархией у Г. Гийома.)

Поднимая проблему адекватности воспроизведения «реальности» в языке, Бенвенист восстанавливает в правах познавательную функцию языка. Он исходит из того, что с лингвистической точки зрения «...не может существовать мышления без языка и что, следовательно, познание мира обусловлено способом выражения познания. Язык воспроизводит мир, но подчиняя его при этом своей собственной организации. Он есть *lógos* — речь и разум в единстве, как понимали это древние греки. И он является таковым потому, что язык — это членораздельный язык, заключающийся в совокупности органически упорядоченных частей и формальной классификации предметов и процессов. Следовательно, передаваемое содержание (или, если угодно, “мысль”) расчленяется в соответствии с языковой схемой. “Форма” мысли придается ей структурой языка. И язык в системе своих категорий также обнаруживает свою посредническую функцию» [Там же: 27]. В этом сжатом изложении самой сути лингвистических взглядов Бенвениста и форма мышления, и воспроизводимый в языке мир предстают в необходимой диалектической связи с языком, его структурной организацией, образуя таким образом триединство.

Язык — общество — индивид. Аналогичная связь устанавливается при семиологическом подходе между языком, обществом и индивидом, причем Бенвенист доказывает языковую обусловленность как общества, так и индивида.

Опираясь на семиологическое отношение интерпретирования (см. ниже), Бенвенист квалифицирует соотношение языка и общества как «взаимозависимость на основе их способности к семиотизации». Если с социологической точки зрения «...язык функционирует внутри общества, которое включает его в себя» как часть, то в соответствии с семиологическим подходом «...только язык и дает обществу возможность существования. Язык — это то, что соединяет людей в единое целое, это основа всех тех отношений, которые в свою очередь лежат в основе общества. В этом смысле можно сказать, что язык включает в себя общество» [Там же: 86], а не наоборот. Отсюда вывод: «общество возможно только благодаря языку» [Там же: 27].

С другой стороны, «...только благодаря языку возможен индивид. Пробуждение сознания у ребенка всегда совпадает с овладением языком, который постепенно и вводит его в общество как индивида» [Там же: 27–28]. «Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как *субъект*, ибо только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство *быть*, — понятию “Его” —

«мое я»» [Бенвенист 1974: 293]: «тот есть “ego”, кто *говорит* “ego”» [Там же: 294]. Но человек осознает себя, свое «я» только в противопоставлении «другому» — «ты». В результате на основе языковой функции ввиду взаимодополнительности и одновременно взаимобратимости «я» и «ты» «...рушатся старые антиномии “я” и “другой”, индивид и общество. Налицо двойственная сущность», в которой диалектическое единство связывает индивида с обществом и определяет их во взаимном отношении [Там же]. Таким образом, заключает Бенвенист, «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга» [Там же: 27].

Семиотическая специфика языка. Особое положение языка в мире знаковых систем, употребляющихся в жизни общества, и по отношению к самому обществу Бенвенист объясняет тем, что язык как символическая система является системой интерпретирующей по отношению ко всем другим семиотическим системам. «...Знаки, имеющие хождение в обществе, могут быть полностью интерпретированы посредством знаков языка, но не наоборот. Язык, таким образом, выступает как интерпретант общества» [Там же: 78–79], а «...само общество интерпретируется через язык» [Там же: 79], ибо «никакая другая система не располагает соответствующим “языком”, с помощью которого она могла бы сама создавать свои категории (самокатегоризоваться) и самоинтерпретироваться в соответствии со своими семиотическими отличиями, тогда как язык в принципе может категоризовать и интерпретировать всё, включая и самого себя» [Там же: 85].

Превосходство языка над всеми другими семиотическими системами заключено в природе языковых знаков и способе их функционирования.

«Язык дает нам единственный пример системы, которая является семиотической одновременно и по своей формальной структуре, и по своему функционированию:

1) он реализуется в высказывании, которое имеет референтом определенную вне его лежащую ситуацию: говорить — это всегда говорить о чем-то;

2) в формальной структуре он состоит из отдельных единиц, каждая из которых есть знак;

3) он воспроизводится и воспринимается каждым членом коллектива на основе одних и тех же референтных связей;

4) он представляет собой единственную форму реализации межсубъектной коммуникации.

По этим причинам язык является системой с наиболее ярко выраженным семиотическим характером» [Там же: 86], вследствие чего он обретает способность к семиотическому моделированию, способность — в качестве моделирующей структуры — сообщать другим системам знаковые свойства, свойство передавать значение [Там же: 86–87].

Двойное означивание. Истоки превосходства языка над другими знаковыми системами и в том числе истоки его метаязыковой способности «высказывать нечто означивающее о самом означивании», которая служит источником отношения

интерпретирования [Бенвенист 1974: 88–89], Бенвенист видит прежде всего в том, что «...язык передает значение специфическим способом, присущим только ему и не повторяющимся ни в какой другой системе. Он обладает свойством *двойного означивания*», сочетая два разных способа означивания — *семиотический* и *семантический* [Там же: 87].

Язык принадлежит к системам с означивающими единицами [Там же: 82], к системам, в которых «...означивание присуще уже первичным элементам в изолированном состоянии, независимо от тех связей, в которые они могут вступать друг с другом». Иными словами, в таких системах означивание «неотделимо от самих знаков» [Там же: 83].

Такой способ означивания, который присущ самому языковому знаку и придает ему статус целостной — хотя и двусторонней — единицы, Бенвенист называет семиотическим.

Каждый знак получает четкую характеристику присущего ему означивания внутри некоторой совокупности знаков, выявляющей его различительные признаки. «Взятый сам по себе, знак представляет чистое тождество с самим собой и чистое отличие от любого другого, он является означивающей основой языка, необходимым *материалом выражения*. Он существует в том случае, если опознается как означивающее всей совокупностью членов данного языкового коллектива и если у каждого вызывает в общем одинаковые ассоциации и одинаковые противопоставления. Таков характер семиотического способа и сфера его действия» [Там же: 88; выделено мною. — Л. З.].

Только этот способ положил Ф. де Соссюр в основу своей концепции структуры языка и его функционирования. Принятое Соссюром ограничение семиотического анализа одной синтактикой в ущерб семантике и прагматике обусловлено тем, что, с его точки зрения, отношения в языке строятся в отвлечении от реальной связи, направленной на предмет [Соссюр 1990: 121], и «...языковые символы не связаны с тем, что они должны обозначать» [Там же: 101]. Убеденный в независимости языка от реальности, Соссюр резко отграничивает язык от речи, очевидно, потому, что именно в речи реализуется референция знака к конкретному предмету, обозначаемому в определенной ситуации.

Восстановив в правах познавательную функцию языка, Бенвенист осознает, что соссюровский «...принцип знака нельзя считать единственным принципом языка в его функционировании для познания» [Бенвенист 1974: 89].

Один этот принцип — при том понимании знака, которое дает Соссюр и с известными уточнениями в основном принимает Бенвенист, — не раскрывает в сущности посредническую роль языка в отношениях между миром и человеком. С исключением из принципа знака референтных связей с обозначаемым, с естественными вещами и их отношениями нельзя понять, как же язык выполняет свою основную, с точки зрения Бенвениста, функцию, а именно — как же язык воспроизводит действительность.

Поэтому Бенвенист счел необходимым восстановить в сущности единство языка и речи, одновременно признав наличие в языке двух разных областей: семиотической и семантической. Соответственно во внутриязыковом анализе он выделяет помимо семиотического еще один — семантический — способ означивания, который порождается речью. Необходимость анализа означивания в плане речевого сообщения диктуется тем, что смысл высказывания не является результатом простого сложения составляющих его знаков, а реализуется как целое.

Вернув языку функцию средства познания, Бенвенист не мог не заметить различную познавательную ценность каждого из измерений означивания: «...семантическое означивание основано на всех референтных связях, в то время как означивание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой референции». Соответственно «семиотическое (знак) должно быть *узнано*, семантическое (речь) должно быть *понято*» [Бенвенист 1974: 88].

«Непереходимая грань» между знаком и высказыванием и соответственно между двумя измерениями означивания, о которой пишет Бенвенист [Там же: 89], в значительной мере заложена в сосюрковском понимании знака, на которое ориентируется Бенвенист. Она может быть преодолена, если взять за основу иное понимание знака — то, которое, следуя В. фон Гумбольдту, развил А. А. Потебня, и, таким образом, принять, что языковые знаки являются по своей природе символами, смысл которых хотя и не дан, но всё же задан «намеком» их внутренней формой, допускающей неоднозначную интерпретацию и бесконечно порождающей всё новые и новые смыслы.

Символизм языка и реальный мир. Природа языкового знака. В своем полном объеме символизм языка, осуществляющего означивание в двух разных измерениях, — явление динамическое. Согласно Бенвенисту, *он усваивается* и развивается «по мере того, как человек овладевает окружающим миром и мышлением, с которыми он в конечном итоге соединяется. Из этого следует, что основные из этих символов и их синтаксис неотделимы для человека от вещей и от опыта, в котором он с ними сталкивается: он овладевает ими по мере того, как открывает их как реальности» [Бенвенист 1974: 125]. «Для говорящего язык и реальный мир полностью адекватны: знак целиком покрывает реальность и господствует над нею; более того, он и *есть* эта реальность» [Там же: 93]. «Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык» [Там же: 36], ибо структура языка включает в себе начальную модель и как бы отдаленное предчувствие мышления и реальной действительности [Там же: 32]. «Поскольку язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как “реальный”, и отражает “реальный” мир» [Там же: 122]. Но при этом каждый язык членит реальность не по неким универсальным меркам, а на свой особый лад в соответствии со своей частной (не универсальной) логикой, отражающей направленность свойственных ему категорий [Там же: 122].

Даже различие имени и глагола Бенвенист не считает универсальным [Бенвенист 1974: 169]. Лежащее в его основе «противопоставление “процесса” и “объекта” не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том, что такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые языку остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу». В языках другого типа «...отношение между объектом и процессом может оказаться обратным или даже вообще исчезнуть, а грамматические отношения останутся теми же» [Там же: 168].

Ввиду различий в языковом членении мира лингвисты в отличие от наивных носителей языка осознают, что «...отношение символов к вещам, которым они, очевидно, соответствуют, можно только констатировать, но не мотивировать» [Там же: 125]. Иначе говоря, отношение языкового знака к явлению или объекту материального мира случайно. Для связи знака с обозначаемой вещью характерно отсутствие необходимости. Поэтому, уточняя положение Соссюра о произвольности языкового знака, Бенвенист ограничивает ее сферу лишь отношением знака к материальной действительности. «Произвольность заключается в том, что какой-то один знак, а не какой-то другой прилагается к данному, а не другому элементу реального мира» [Там же: 93].

Иной характер имеет отношение между двумя сторонами языкового знака. Соединение означающего и означаемого в языковом знаке Бенвенист определяет как *необходимое*, «поскольку, существуя друг через друга, они совпадают в одной субстанции» [Там же: 96]. В знаке как элементе структурированного целого, в знаке как значимости произвольность связи между означающим и означаемым исключена. Установленная Соссюром относительность материальной и концептуальной значимостей является, по мнению Бенвениста, лучшим доказательством того, что «...они находятся в тесной зависимости одна от другой в синхронном состоянии системы... Все значимости суть значимости в силу противопоставления друг другу и определяются только на основе их различия. Будучи противопоставлены, они удерживаются в отношении необходимой обусловленности» [Там же: 95]. Данное отношение заложено в структурном принципе языка, реализующем такое существенное свойство языка, как его членораздельный характер.

2. Членораздельный характер языка

Членораздельность отличает человеческий язык от коммуникации в мире животных [Там же: 102].

Членораздельность и типология знаковых систем. Именно это свойство обуславливает, согласно Бенвенисту, принадлежность знаковой системы языка к интерпретирующим. По определению Бенвениста, интерпретирующие системы — это «системы артикулирующие (самочленящиеся) и имеющие тем самым свою собственную семиотику», а интерпретируемые системы — это «системы

артикулируемые (несамочленяющиеся), семиотический характер которых выявляется только при наложении на них решетки какой-либо другой системы выражения». Способность языка создавать свои категории (самокатегоризоваться) и самоинтерпретироваться и делает его интерпретантом всех других семиотических систем [Бенвенист 1974: 85].

Единство прерывности и непрерывности, отношение части и целого в языке. Структура языка. Членораздельный характер языка предполагает дискретность его элементов. Действительно, как показывает Бенвенист, «язык во всех своих существенных пунктах имеет прерывный характер и оперирует дискретными единицами. Можно сказать, что язык характеризуется не столько тем, что он выражает, сколько тем, что он различает на всех уровнях» [Там же: 25]. Различение лексем позволяет установить инвентарь обозначаемых понятий, различение морфем создает инвентарь формальных классов и подклассов, различение фонем дает инвентарь фонологических различий, различение признаков («меризмов») ведет к организации фонем в классы [Там же].

Прерывность языка Бенвенист рассматривает в диалектическом единстве с непрерывностью. Отсюда пристальное внимание к отношениям части и целого, их диалектике в языке.

Отдавая предпочтение европейской традиции структурального анализа, Бенвенист определяет язык как органическую систему знаков [Там же: 129], в структуре которой «...каждая часть... существует лишь благодаря целому, в свою очередь существующему лишь в совокупности своих составных частей» [Там же: 38]. Как и в других органичных саморазвивающихся системах [ФЭС 1989: 736], в системе языка «...ничто ничего не значит само по себе и по своему природному свойству», в ней «...всё имеет значение вследствие зависимости от целого» [Бенвенист 1974: 25]. Примат системы над ее элементами [Там же: 66] не позволяет сводить язык лишь к некоторой совокупности наблюдаемых «форм», к перечням фонем и морфем, выделенных путем сегментации речевой цепи, ибо «...трактовать язык как систему — значит анализировать его *структуру*», то есть совокупность внутренних отношений между единицами, взаимно обуславливающими друг друга в составе целого [Там же: 64]. Анализ внутренних отношений не должен ограничиваться дистрибутивными — синтагматическими и парадигматическими — отношениями между единицами одного ранга. Если учитывать только эти отношения, то, с точки зрения Бенвениста, выделение языковых единиц в сущности оказывается невозможным.

«...Структура придает частям их “смысл”, или их функцию» [Там же: 25], и, что еще важнее, статус дискретных единиц прежде всего благодаря иерархической организации. Как система знаков и *иерархия единиц* [Там же: 24] «...естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях» [Там же: 42], и Бенвенист убежден, что «только понятие уровня поможет нам обнаружить за всей сложностью форм своеобразие строения частей и целого» [Там же: 129] и выделить сами эти части.

Нельзя не согласиться с Бенвенистом в том, что произведенное с помощью дистрибутивного метода «...разложение одной языковой единицы не приводит автоматически к установлению других единиц» [Бенвенист 1974: 25, 136], ибо, «разлагая единицу данного уровня, мы получаем не единицы низшего уровня, а формальные сегменты той же единицы» [Там же: 134]. «...Единственная возможность определить эти элементы как конститутивные состоит в том, чтобы идентифицировать их внутри определенной единицы, где они выполняют *интегративную* функцию. Единица признается различительной для данного уровня, если она может быть идентифицирована как “составная часть” единицы высшего уровня, *интегрантом* которого она становится» [Там же: 135].

В итоге на основании анализа разных систем Бенвенист приходит к определению языковой *формы как структуры*. Это определение вбирает в себя понятия части и целого, уровня и функции и таким образом раскрывает иерархический принцип структурной организации языка как органичного целого. Согласно данному определению, «...языковая форма представляет собой определенную структуру: 1) она есть единство некоего целого, доминирующего над частями; 2) эти части формально упорядочены на основе определенных постоянных принципов; 3) форма получает характер структуры именно в силу того, что все компоненты целого выполняют ту или иную *функцию*; 4) наконец, эти компоненты являются единицами какого-либо определенного *уровня*, причем каждая единица одного уровня становится подъединицей более высокого уровня» [Там же: 25].

Форма и значение языковых единиц. Из различия между конститутивной и интегративной функциями выводится у Бенвениста отношение *формы* и *значения* в единицах различных уровней и выделяется собственно языковой, точнее — структурный, аспект значения, отличный от значения–сигнификата и значения–денотата.

«Анализ проводится в двух противоположных направлениях и приводит к выявлению либо формы, либо значения в одних и тех же языковых единицах. <...>

Форма языковой единицы определяется как способность этой единицы разлагаться на конститутивные элементы низшего уровня¹.

Значение языковой единицы определяется как способность этой единицы быть составной частью единицы высшего уровня» [Там же: 136–137], как ее способность в качестве означающего образовать единицу, отграниченную от других единиц. «Это значение имплицитно, оно внутренне присуще языковой системе и ее составным частям» [Там же: 137].

¹ Применительно к слову сходное определение формы было дано ранее Ф. Ф. Фортунатовым. Ср.: «Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется... способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова» [Фортунатов 1956: 136]. Например, в слове *несу* выделяются основа *нес-* и «формальная принадлежность» -у.

Бенвенист настойчиво подчеркивает соотносительность значения и формы. «Форма и значение должны определяться друг через друга, и повсюду в языке их членение совместно. Их отношение... заключено в самой структуре уровней и в структуре соответствующих функций» — конститутивной и интегративной [Бенвенист 1974: 136; выделено мною. — Л. 3.].

Без анализа интегративных отношений, обеспечивающих межуровневые связи и целостность языка, без обращения к значению сегментация невозможна. «Форма и значение, таким образом, выступают как *совмещенные свойства*, обязательно и одновременно данные, неразделимые в процессе функционирования языка. Их взаимные отношения выявляются в структуре языковых уровней, раскрываемых в ходе анализа посредством нисходящих и восходящих операций и благодаря такой особенности языка, как членораздельный характер» [Там же: 137; выделено мною. — Л. 3.].

Вследствие соотносительности формы и значения язык состоит исключительно из значимых элементов, которые определяются через их взаимные отношения [Там же: 25], причем не только диатрибутивные — между элементами одного уровня, но и интегративные — между элементами разных уровней [Там же: 134].

Из сказанного ясно, насколько тщетны попытки при описании языковой формы избавиться от ее коррелята — значения [Там же: 136]. И хотя Бенвенист вполне допускает различные типы описания и формализации языка, но при одном непременном условии: «...все они должны с необходимостью исходить из того, что их объект, язык, наделен значением, что именно *благодаря этому он и есть структура* и что это — основное условие функционирования языка среди других знаковых систем» [Там же: 42; выделено мною. — Л. 3.].

Критикуя дистрибутивный метод за отказ от значения, Бенвенист выявляет ограниченность теорий и методов, сводящих значение к некоторой внешней обусловленности речи, к ситуации и игнорирующих собственно языковой аспект значения [Там же: 40–41]. При таком подходе «сегментация высказывания на дискретные элементы ведет к анализу языка не более, чем сегментация вселенной ведет к созданию теории физического мира» [Там же: 41]. С отказом от значения, от определения внутреннего отношения между значением и формой формализация лингвистического анализа не только не позволит раскрыть структурную организацию языка в его целостности, но грозит привести к его атомизации [Там же: 42]. Наконец, абстрагирование от значения вступает в противоречие с самой функцией языка.

Коль скоро «...функцией языка является “сказать нечто”» [Там же: 37] и, разумеется, нечто осмысленное, «...*осмысленность* — это основное условие, которому должна удовлетворять любая единица любого уровня, чтобы приобрести лингвистический статус» [Там же: 132], чтобы язык мог выполнять свою функцию. Данное условие распространяется на все единицы, включая незначащие. В частности, «фонема получает свой статус только как различитель языковых знаков, а различительный признак в свою очередь — как различитель фонем» [Там же].

Осмысленными должны быть и те отрезки речевой цепи, к которым применяются операции сегментации и субституции [Бенвенист 1974: 131–132]. «Действительно, ничто не позволяет определить дистрибуцию фонемы, объем ее комбинаторных, синтагматических или парадигматических, возможностей, то есть саму реальность фонемы, если мы не будем постоянно обращаться к некоторой *определенной единице* высшего уровня, в состав которой данная фонема входит. <...> Если фонема определена, то только как составная часть единицы более высокого уровня — морфемы. Различительная функция фонемы основана на том, что фонема включается в ту или иную определенную единицу, которая только в силу этого относится к высшему уровню» [Там же: 132], причем «...выявление новой единицы высшего уровня должно удовлетворять требованию *осмысленности*» [Там же: 131].

Эти положения Э. Бенвениста продолжают традицию, восходящую к основоположнику фонологии И. А. Бодуэну де Куртенэ, впервые показавшему, что именно «в связи с понятием “морфемы” мы должны установить понятие звуковой единицы языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 249].

Согласно Бодуэну, помимо фонетической стороны и произносительно-слухового членения «...в полном языковом мышлении есть другая сторона, сторона более важная, без которой нет ни слов, ни предложений, ни языкового общения, ни речи человеческой вообще. Это сторона значения и расчленяемости с этой именно точки зрения» [Там же, II: 247]. Фонетическое членение тесно связано с семасиологически-морфологическим.

«С точки зрения языкового мышления и основанного на нем научного языковедного (лингвистического) мышления, фонемы и вообще все произносительно-слуховые элементы не имеют сами по себе никакого значения. Они становятся языковыми ценностями (Sic! — Л. 3.) и могут быть рассматриваемы лингвистически только тогда, когда входят в состав всесторонне живых языковых элементов, каковыми являются морфемы, ассоциируемые как с семасиологическими, так и с морфологическими представлениями» [Там же, II: 276].

Сравнительно с Бенвенистом Бодуэн более строг в определении иерархии языковых единиц. Для него неприемлемы подмены одной основы деления другой, «скачки в делении», например от слова к фонеме, как у Бенвениста (ср.: [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 181–184] и [Бенвенист 1974: 133]).

Лингвистический статус значащих единиц. Значение как коррелят формы, как «внутреннюю составную часть языковой формы» [Бенвенист 1974: 137] не следует смешивать с другим аспектом понятия значения, который обусловлен соотносительностью языка с миром предметов, вследствие чего «каждое высказывание и каждый член высказывания обладает референцией» [Там же: 138].

Наличие у значения двух разных аспектов объясняет необходимость двойного означивания и принципиальное расхождение в лингвистическом статусе значащих единиц: морфемы и слова, с одной стороны, и предложения — с другой.

Знаковые единицы языка — слова и морфемы — «одновременно содержат конститутивные единицы и функционируют как интегранты» [Там же: 135].

Предложение же, хотя и содержит конститутивные единицы, «не может быть интегрантом никакой другой единицы более высокого уровня» [Бенвенист 1974: 135], ибо такого уровня не существует [Там же: 139]. «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (le discours)» [Там же].

Бенвенист обращает внимание на глубокое различие между языком как системой знаков и языком как деятельностью в процессе его использования каждым индивидом, когда индивид присваивает себе язык для личного пользования и язык обращается в акты речи [Там же: 289, 291].

«Предложение принадлежит речи». Оно «является полной единицей, которая имеет одновременно и смысл и референцию: смысл — потому, что оно несет смысловую информацию, а референцию — потому, что оно соотносится с соответствующей ситуацией» [Там же: 140]. Предложению как единице речи присущи определенные модальности, отражающие основные позиции говорящего путем различения утвердительных, вопросительных и повелительных предложений [Там же].

Соответственно, основанное на референтных связях означивание высказывания наряду с семантическим аспектом имеет также прагматический аспект. В трактовке Бенвениста оба эти аспекта неотделимы один от другого. «Самый акт использования и присвоения языка отвечает потребности говорящего установить посредством речевого сообщения некоторое соотношение, референцию с реальным миром, а у партнера создает возможность установить тождественную референцию — в той прагматической согласованности, которая делает из каждого говорящего собеседника. Референция является неотъемлемой частью акта высказывания. <...> Присутствие говорящего в его высказывании приводит к тому, что каждый речевой акт образует центр внутренней референции» [Там же: 313–314].

Связь между говорящим и его высказыванием устанавливается с помощью особых форм. К их числу Бенвенист относит формы, которые «не могли бы ни возникнуть, ни получить применения при использовании языка как орудия познания» [Там же: 315], которые рождаются в акте высказывания и служат инструментом обращения языка в речь [Там же: 288], которые «отсылают всегда и исключительно к индивидуальным явлениям, будь то лицо, момент времени или место, в отличие от слов номинативных, отсылающих всегда и исключительно к понятиям» [Там же: 314]. Статус «лингвистических индивидуалий» имеют личные местоимения и указательные слова. К формальному аппарату высказывания принадлежат также временные формы, прежде всего категория настоящего. С актом высказывания связывает Бенвенист ряд синтаксических функций и соответствующих форм¹.

¹ Примечательно, что веком раньше Ф. И. Буслаев уже призывал обратить внимание на «разговорное начало», чтобы определить отношение языка к мышлению.

Происхождение многих грамматических форм, указанных Бенвенистом, он также связывал с потребностями речевого общения. Ср.: «Помощию языка мы выражаем мысли для того, чтобы сообщать их другим, потому происхождение многих грамматических форм объясняется

Наконец, языковой аппарат высказывания включает в себя средства, подчеркивающие отношение к партнеру в структуре диалога. Особое внимание Бенвениста привлекает такая ситуация, когда диалог служит не выражению мысли, не передаче информации, а главным образом установлению контакта в процессе общения [Бенвенист 1974: 316–319].

Разграничив язык как систему знаков и язык как средство общения, признав тем самым введенное Ф. де Соссюром разделение внутренней лингвистики на лингвистику языка и лингвистику речи, Э. Бенвенист понимает, что язык и речь «охватывают одну и ту же реальность», вследствие чего и пути двух разных лингвистик «... всё время пересекаются» [Там же: 139]. Выявление таких пересечений становится возможным благодаря тому, что Бенвенисту отнюдь не чуждо понятие *языковой деятельности*, несовместимое с представлением языка в виде некоей номенклатуры. В действительности «язык — не застывший реестр, который каждому говорящему остается только приводить в действие для целей своего собственного высказывания. Язык сам по себе — средоточие непрестанной работы, которая воздействует на формальный аппарат, трансформирует его категории и создает новые классы» [Там же: 254]. Примером таких трансформаций может служить трансформация высказываний в словесные знаки при образовании сложных имен. Функция сложного имени, по Бенвенисту, состоит в транспонировании актуального отношения предикации, выраженного базовым предложением, в виртуальное [Там же: 255]. Трансформации такого рода лишней раз доказывают очевидное: «нет ничего в языке, чего не было бы раньше в речи» [Там же: 140]. Отсюда и ясно осознанная невозможность того размежевания синхронии и диахронии, которое отстаивал Соссюр. Оно снимается Э. Бенвенистом в его концепции «общей структуры», в которой диахрония рассматривается как «отношение между следующими друг за другом во времени системами» [Там же: 26].

3. Наличие содержания

Последнее из названных выше свойств языка, а именно наличие содержания, рассматривается Бенвенистом в тесной связи с другими его свойствами — символическостью и членораздельностью.

Наличие содержания характеризует язык как двустороннюю сущность. «...Язык — это особая символическая система, организованная в двух планах. С одной стороны, язык — физическое явление... <...> С другой стороны, язык — нематериальная структура, передача означаемых, которые замещают явления окружающего мира или знание о них их “напоминанием”» [Там же: 30]¹. Таким образом, «...язык характеризуется прежде всего тем, что имеет всегда два плана:

только тем, что они оказались необходимыми для взаимной передачи мыслей в разговоре; напр., местоимения *я* и *ты* для выражения лиц: говорящего и слушающего; местоимения и наречия вопросительные и указательные для выражения вопроса и ответа в разговоре; повелительное наклонение для сообщения желания, приказания и проч.» [Буслаев 1959: 265].

¹ «Напоминание» у Э. Бенвениста, очевидно, сопоставимо с «намеком» у А. А. Потебни.

означающее и означаемое» [Бенвенист 1974: 45]. Это свойство языка Бенвенист считает «конституирующим», видимо, потому, что для него передаваемое «содержание» и «мысль» в основе своей совпадают. Иначе и быть не может, если язык «...есть *λόγος* — речь и разум в единстве» [Там же: 27].

Из этого единства, из наличия содержания и организации языка в двух планах, из наделенности его значением в двух разных аспектах проистекают, согласно Бенвенисту, остальные преимущества языка над другими семиотическими системами:

— членораздельный, «артикулирующий» характер, а следовательно, способность к самочленению, самокатегоризации, воплощающаяся в иерархической структурной организации языкового целого;

— специфика символического способа функционирования, выражающаяся в передаче значений путем двойного означивания (при наличии означивающих единиц).

Язык и мышление. Бенвенист критически оценивает прежние воззрения на взаимоотношения между языком и мышлением.

Он отвергает широко распространенное неосознанное убеждение, «будто процесс мышления и речь — это два различных в самой основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свою область и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли» [Там же: 104].

Бенвенист исходит из того, что «...мышление и язык взаимно связаны и взаимобусловлены», однако «...их отношения не симметричны» [Там же: 105].

Склонный видеть в мышлении «потенциальную и динамичную силу, а не жесткие структурные рамки для опыта», он не признает примат мышления и считает ошибочным представление о свободе, независимости и индивидуальности мысли, по отношению к которой язык выступает всего лишь одним из ее возможных посредников или орудий [Там же: 114].

Не приемлет Бенвенист и другое заблуждение — будто бы мышлению внутренне присуща какая-то «логика», которая является внешней и первичной по отношению к языку, так что формальная система языка оказывается слепком с этой логики [Там же].

Ложно и лежащее в основе гипотезы лингвистической относительности представление о зависимости познания мира, образа мышления от типа языковой структуры, от строя и особенностей данного языка. «Никакой тип языка, — считает Бенвенист, — не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления» [Там же]. Хотя «...возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности», однако «...в процессе научного познания мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры» [Там же].

Если же ориентироваться на «язык вообще», на языковую способность, то определяющая роль во взаимоотношениях языка и мышления должна быть отведена языку.

Для Бенвениста вопрос о том, может ли мышление протекать без языка, лишен смысла, ибо «вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику» [Бенвенист 1974: 105].

Вне языка «...мысль если и не превращается в ничто, то сводится к чему-то столь неопределенному и недифференцированному, что у нас нет никакой возможности воспринять ее как “содержание”, отличное от той формы, которую придает ей язык» [Там же]. «Это содержание приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке...; оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним» [Там же: 104–105]. «Чтобы это содержание могло быть передано, оно должно быть распределено между морфемами определенных типов, расположенными в определенном порядке, и т. д. Короче, это содержание должно пройти через язык, обретая в нем определенные рамки. <...> Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками» [Там же: 105]. Неудивительно поэтому, что, «...пытаясь установить собственные формы мысли, снова приходят к тем же категориям языка» [Там же: 114].

Но хотя «...мысль может восприниматься, только будучи оформленной и актуализированной в языке», структура которого «...и придает *форму* содержанию мысли», Э. Бенвенист, в отличие от В. фон Гумбольдта и его последователей, полагает, что, «строго говоря, мысль не является материалом, которому язык придает форму, поскольку ни в один из моментов это “содержащее” нельзя вообразить лишенным своего “содержимого” или “содержимое” независимым от своего “содержащего”» [Там же: 105].

Те же идеи единства, а точнее «совмещенной субстанциональности», мысли (содержимого, содержания) и языка (содержащего, формы) Бенвенист развивал применительно к языковому знаку, доказывая *необходимый характер связи* между означаемым и означающим. «В сознании нет пустых форм, как нет и не получивших названия понятий» [Там же: 92]. «Следовательно, означающее и означаемое, акустический образ и мысленное представление являются в действительности двумя сторонами одного и того же понятия и составляют вместе как бы содержащее и содержимое. Означающее — это звуковой перевод идеи, означаемое — это мыслительный эквивалент означающего. Такая совмещенная субстанциональность означающего и означаемого обеспечивает структурное единство знака» [Там же: 93].

Характер содержания: категории мысли или категории языка? Рационалистическое положение о примате мышления над языком и его независимости от языка исходит из универсальности мыслительных категорий в отличие от языковых.

Однако анализ категорий, выделенных Аристотелем в качестве универсальных (таких как *субстанция* или *сущность*, *количество*, *качество*, *отношение*, *место*, *время* и т. д.), приводит Бенвениста к заключению, что они «...являются прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит» [Бенвенист 1974: 107].

Таким образом, по вопросу о природе отношений между категориями мысли и категориями языка Бенвенист принимает сторону тех философов и лингвистов, которые утверждают примат языка. Согласно Бенвенисту, «...“категории мысли” и “законы мышления” в значительной степени лишь отражение организации и дистрибуции категорий языка» [Там же: 36]. Это относится и к категориям Аристотеля. «В той степени, в какой категории, выделенные Аристотелем, можно признать действительными для мышления, они оказываются транспозицией категорий языка. То, что можно *сказать*, ограничивает и организует то, что можно *мыслить*. Язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами» [Там же: 111]. Неудивительно, что Аристотель, стремившийся определить свойства объектов, «установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства» [Там же]. «Отсюда следует, что под видом таблицы всеобщих и постоянных свойств Аристотель дает нам лишь понятийное отражение одного определенного состояния языка» [Там же].

В количественном отношении, по данным Бенвениста, «...набор морфологических категорий, каким бы обширным он ни казался, отнюдь не безграничен. Можно поэтому представить себе некоторую логическую классификацию этих категорий, которая показывала бы их соотношение и законы трансформации» [Там же: 36].

* * *

Таким образом, спустя 300 лет после выхода в свет «Грамматики» и «Логик» Пор-Рояля Э. Бенвенист как будто возвращается к рационалистическим идеям о нераздельном единстве языка и мышления, но в отличие от рационалистов и не без влияния Э. Б. Кондильяка и В. фон Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Л. Уорфа в качестве определяющей стороны этого единства Э. Бенвенист рассматривает не мышление, а язык.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Н. Я. МАРР

Во второй половине двадцатых — начале тридцатых годов XX в. наметился поворот языкознания к истории материальной культуры и форм социальной структуры. Одновременно анализ языка переключался с формальной стороны на содержательную.

Такие цели ставило перед собой «новое учение о языке», которое выдвинул советский ученый Николай Яковлевич Марр (1864/65–1934).

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

Критика старой лингвистики. По словам самого автора, новое учение представляет собой дальнейшее *развитие* индоевропейской лингвистики [Марр 1936: 6] и в то же время ее *антитезу* [Марр 1933: 222; 1936: 11]. Признавая свою связь со старой лингвистикой и даже зависимость от нее, Марр, подобно Соссюру, отказывается видеть в ней общую науку о языке: «...Есть лингвисты, но науки об языке доселе не было» [Марр 1936: 412]. «...Было учение не об языке, а об языках» [Там же: 394], прежде всего письменных, литературных, преимущественно мертвых языках одной индоевропейской семьи за исторические эпохи, вне связи с живой речью и в изоляции от других языковых семей [Марр 1933: 201; 1936: 6, 32, 352–353]. В результате произошла подмена науки о языке филологией [Марр 1934: 155], и Марр, удивительным образом перекликаясь с А. Шлейхером [Schleicher 1869: 121], несмотря на разительные расхождения в их взглядах на язык, вновь доказывает, что «лингвистика и филология это такие же различные области знания, как ботаника и садоводство» [Марр 1936: 179].

Филологическая замкнутость индоевропеистики на уже сложившихся и давно оформившихся языках обуславливает, по мнению Марра, ее историческую ограниченность: исключение из сферы внимания проблемы происхождения речи [Там же: 242], статический анализ исследуемого периода как одной стадии «без какого-либо представления о существовании... стадийного развития и его ступеней» [Марр 1933: 258].

Теоретическую ущербность индоевропеистики Марр объясняет «изолятивным» подходом к языку без увязки с социальными факторами. «...Для нее язык

живет своей имманентной закономерностью» [Марр 1933: 279] и «трактуются с таковой изоляцией, с самодовлеющим бытием и ему присущими законами, что трудно представить себе что-либо более антисоциологическое» [Там же: 267].

Языкотворческие факторы возводятся не к человеческому коллективу как первоисточнику [Там же: 267], а к естественно-производительным, природным силам [Там же: 192, 262].

Подход к языку как к дару природы, «как к биологическому, чуть ли не физиологическому явлению» привел к господству в лингвистике формального метода, когда «звук и формы захватывали всё внимание» [Марр 1937: 57] в ущерб словарию и семантике [Марр 1936: 128, 398].

Неудивительно, что в силу указанных недостатков старой лингвистики, ее отрыва от жизни и отвлеченности «сущность этой науки доселе считается спорной» [Там же: 378].

Язык как предмет языкознания. И в своей критике индоевропеистики (направленной, как видно, прежде всего против аспектирующих концепций, в особенности натуралистической и структуралистической), и в собственной позитивной программе Марр основывается на том, что «наукой об языке может быть признано только то учение, которое считается с особенностями всех языков мира и, исходя из учета конкретной системы каждого из них, не только отводит или намечает каждому из них принадлежащее ему место в среде всех, но и выявляет те пути и те рамки, в которых может и должна отныне протекать специальная работа над каждым языком, исчерпывающе углубленное исследование каждого языка» [Там же: 399].

Определяя эти пути, Марр противопоставляет убежденности предшественников «в натуральности и, что не лучше, в “психологичности” языка» положение о его *социологичности* [Марр 1934: 95], причем не столько в функциональном плане, сколько в генетическом. «Язык есть орудие общения, возникшее в трудовом процессе, точнее — в процессе творчества человеческой культуры, т. е. хозяйства, общественности и мировоззрения» [Марр 1936: 127]. Следовательно, *язык не только орудие общственности, но и ее создание* [Марр 1934: 56], и именно этим определяется его сущность. Соответственно, «не социальное потребление, а социальное творчество — вот что является основным моментом в построении нового учения» [Марр 1936: 244], его основным положением [Там же: 26].

Видя в языке «не естественно-историческое, а чисто социальное создание» [Марр 1937: 92], Марр стремится откинуть «мираж физиологических факторов языкотворчества» [Марр 1933: 291] на том основании, что «вообще в происхождении речи, в частности и звуковой речи человеческого коллектива как надстройки, нет таких природных или чувственных факторов, которые не были бы возведены в степень общественного бытия без корней в производстве и производственных отношениях» [Там же: 290]. То же относится к наследуемой речи на более поздних этапах жизни языка [Марр 1936: 25].

Не имея никаких отприродных качеств, «сам по себе язык не существует как закономерное явление, живущее особыми физиологическими или психологическими законами. Жизненность языковых явлений, вообще звуковой речи, в их органической связанности с развитием материальной культуры и техники» [Март 1936: 8]. Эта связь обусловлена тем, что *язык, согласно Марру, является одной из надстроечных категорий* [Март 1936: 107; 1934: 62] и как таковой оказывается «органическим отложением» истории материальной культуры [Март 1936: 70]. В сравнении с остальными культурными ценностями «язык занимает исключительное место в надстройке» благодаря охвату всех сторон человеческого бытия на всем протяжении времени и пространства [Март 1933: 290].

Если «язык — явление социальное и социально благоприобретенное» [Март 1936: 399] — принадлежит к надстройке, то понятно, что «нельзя дать его единого определения». В самом деле, «будучи созданием изменчивой материальной базы, производства, и с нею неразлучного или к ней ближайше примыкающего надстроечного фактора, социальной структуры, язык также есть историческая ценность, т. е. изменчивая категория» [Там же: 357].

Как надстроечная категория изменчивой материальной базы язык представляет собой «орудие производства с функцией выражать то и выражать так, что общественность коллективно ощущает потребность высказать, как она, эта общественность, сама сложена в своем конструктивном оформлении и в технике этого оформления, следовательно, в зависимости от способов производственного процесса и соответственных форм социального строя» [Март 1933: 279]. Таким образом, в понимании Марра «язык во всем своем составе есть создание человеческого коллектива, отображение не только его мышления, но и его общественного строя и хозяйства — отображение в технике и строе речи, равно и в ее семантике» [Март 1936: 70].

При всей изменчивости строя языка и его семантики под влиянием социальных факторов единственное, «что не меняется, так это сугубо, троекратно социальный характер речи, факт ее создания человеческим коллективом, с определенной целевой установкой, вытекающей из общественно-осознанной потребности, разумеется, общей потребности. Общественная ее функция (общность работы для процесса ее производства, коллективизм и продукция общего назначения) — это *condition sine qua non*, т. е. это “условие (три условия), без чего нет” и... не было никакого языка, не мог он ни существовать, ни произойти» [Там же: 359].

Отсюда задача языкознания — изучение языка «как категории социальных явлений, отражающей в своем содержании и в своем оформлении строй, смысл и устремление хозяйственно-общественной жизни не индивидуума, а человеческого коллектива, не в изоляции отдельных групп, а в целом, в их совокупности, с увязкой различных систем (казавшихся независимыми друг от друга семьями языков) друг с другом как носительниц неразлучно формальной и идеологической типологии различных этапов развития хозяйственно-общественной жизни человечества» [Там же: 129].

Место языкознания в системе наук. В определении научного статуса языкознания Марр руководствуется тем, что «наука, не увязывающаяся с экономикой и общественностью... — это наука без путей, наука без метода» [Марр 1934: 153]. Наука о языке в силу его социальной природы без этой увязки вообще немыслима. В соответствии с социальной сущностью языка *языкознание есть наука гуманитарная, собственно социальная* [Марр 1936: 23], *обществоведческая* [Марр 1935: 420]. В своем новом варианте она «затрагивает основные интересы, принципиальные, во всяком случае генетические проблемы всех наук о человеке, как общественном уже не животном, а деятеле, более того — общественном творце» [Марр 1936: 23].

Благодаря увязке с историей общественных форм, следовательно, с социологией [Там же: 23], причем в ее новейшей — марксистской — форме [Марр 1935: 420], новое «учение об языках своим значением выступает за круг чисто языковых интересов. От глоттогонии, т. е. происхождения языков, оно переходит к этногонии, т. е. происхождению племен, а также к происхождению племенной общественности и таких общественных ценностей, как религиозные представления, мифы, эпос, литературные сюжеты, искусство...» и т. д. [Марр 1933: 199]. Но и этого мало.

Поскольку новое учение — это «собственно социологическая или динамическая лингвистика» [Марр 1934: 243], у него «есть органическая увязка с историей материальной культуры» [Марр 1936: 23]. Если толчком к появлению языка служат прежде всего внутренние общественные факторы [Там же: 26], то нетрудно понять, почему «для языковеда кардинальный вопрос: где зародилась и как распространялась культура человечества, прежде всего история материальной культуры» [Там же: 70]. «...В целом история языка и история материальной культуры сходятся в одну науку в диалектическом единстве» [Марр 1934: XVII]. Лингвистика, в определении Марра, — это «материально-культурная языковедная историческая наука» [Марр 1936: 455]. Исключительное значение языковых материалов объясняется тем, что «наука о языке, обществоведческая, как никакая другая, во всех своих моментах и в технике их выявления отражает охватом всех времен и проникновением внутрь себя наиболее полно и наиболее четко объективную и субъективную историю всего мира» [Там же: 384], вскрывает этапы развития в истории материальной и надстроечной культуры. Поэтому исторические дисциплины, прежде всего археология, этнология, история литературы, должны опираться на языковые факты, в том числе генетического плана. В свою очередь, теория языка требует углубления «не только более четким усвоением диалектического и исторического материализма, но и привлечением в орбиту своей работы философии и психологии в новой их постановке» [Там же: 369].

В этой связи уместно заметить, что, признавая близость своей уже оформившейся концепции к марксизму и, в частности, марксистский характер используемого метода, Марр специально подчеркивает, что его учение выросло и строилось «не на предварительно усвоенных и осознанных марксистских положениях, а на изучении языка изменчивым методом с ростом охвата материалов и углубления

в них и независимо вырабатывавшимся из именно фактических данных — методом сначала формальным, сравнительным, впоследствии по увязке лингвистики с историей материальной культуры и форм социальной структуры — комплексным и идеологическим, постепенно становившимся материалистическим» [Мартт 1933: 268]. Не отрицает Мартт как будто и «перегиб палки» в сторону «экономики» как неизбежный методологический прием в борьбе со старой индоевропейской лингвистикой, «у которой “перегиб” был как раз в обратную сторону» [Мартт 1936: 118].

Материал и метод лингвистического исследования. Несмотря на преемственные связи со старой лингвистикой, новая теория языка, как утверждает Мартт, представляет собой совершенно самостоятельное учение не только по своеобразию материалов, но и по методам.

Новое учение является общим и интернационалистичным [Мартт 1934: 62], ибо охватывает все языки мира [Мартт 1933: 11], прежде всего живые [Там же: 4].

Главное расхождение между старым и новым учением Мартт усматривает в *методе*. Формальный метод индоевропеистики — это, по мнению Марра, «отсутствие всякого метода» [Там же: 232], его отрицание [Там же: 241].

Поскольку «существо речи в содержании ее, а не в форме» [Там же: 253], «нельзя изучать язык без изучения его неразрывного с ним содержания, именно — мысли, не просто мертвой, без движения мысли, а мысли в движении, т. е. мышления и его техники» [Мартт 1936: 441]. В определении Марра, «сам предмет наш — речь, как объект исследования — не один, не простая единица, язык не один, а единый в диалектическом единстве языка—формы и мысли—содержания, языка—оформления с его техникой и мысли—содержания в качественной действительности, мышления с его техникой» [Там же: 434].

Так как «главную роль играет здесь семантика, вообще идеология (до идеологии морфологических и собственно звуковых явлений включительно) и строгие законы ее развития, а не формальные фонетические и морфологические показания» [Там же: 309], *формальный метод* следует заменить *идеологическим*, «переноса научный интерес с формальных сторон звуковой речи на ее общественную функцию, общественно создаваемое ее осмысление и соответственно от осмысления зависящее оформление» [Мартт 1933: 275]. Отсюда коренное расхождение со старой лингвистикой в выборе *базового элемента исследования*. Для Марра и его последователей «лингвистический элемент — это значимое слово, т. е. мысль в звуковом воплощении, чем и было положено начало звуковой речи; для индоевропеиста лингвистический элемент — звук, так наз. фонема, осознание которого, как самостоятельной функциональной части первичных слов—элементов — явление очень позднее» [Там же: 258].

С переключением внимания на содержательную сторону «изолятивный подход к изучению человеческой речи» [Мартт 1937: 4] в отрыве от смежных научных дисциплин, истории материальной культуры, развития хозяйства и общественности [Там же: 47] оказался несостоятельным. Для общественно-материалистичес-

кой постановки изучения языка [Марр 1933: 2] необходим не просто «идеологический», а «материалистически-идеологический метод» [Марр 1937: 54]. Поэтому Марр предлагает изучать язык «комплексно в связи с историей материальной культуры и форм социальной структуры» [Марр 1935: 466], выходя «в опорных пунктах своих построений за пределы языковых явлений», пользуясь «аргументами из своей и соседящих специальностей, взаимно проверяя факты... из круга как материальной, так речевой и мировоззренческой культуры» [Марр 1933: 275].

В качестве основы идеологического, а точнее, идеологического палеонтолого-социологического метода [Марр 1936: 304] у Марра выступает *палеонтология речи*, разделяющаяся на *формальную* и *идеологическую*, или семантическую [Там же: 56, 122]. *Семантическая палеонтология*, или генетическая семантика, *рассматривает возникновение и развитие значений слов, а также морфологии и фонетики на различных ступенях стадияльного развития* [Марр 1933: 219; 1937: 232]. Таким образом прослеживается история языка и мышления по стадиям [Марр 1933: 280–281], устанавливается смена типов в хронологической последовательности. Благодаря увязке эволюции значений с эволюцией хозяйства, общественности и мировоззрения [Марр 1933: 241; 1936: 128] палеонтология речи становится одной из дисциплин *истории материальной культуры* [Марр 1935: 121].

Под формальную сторону речи Марр также пытается подвести *хозяйственно-общественное обоснование* [Там же: 400], мотивируя это тем, что неразлучный с идеологическим «формальный момент в языке отнюдь не может трактоваться вне идеологии, увязывающей его через общественность с производством» [Марр 1936: 389]. Такая увязка особенно отчетливо проявилась в анализе по пресловутым четырем элементам [Там же: 251] (см. ниже), который дополняется семантическим анализом в увязке с историей материальной культуры, общественных форм и надстроечных социальных категорий [Там же: 17].

В результате, «благодаря палеонтологии речи, углубляется сама сравнительная грамматика, формальный сравнительный метод осложняется учетом истории материальной культуры» [Там же: 132], и теперь лингвистика может подойти к разрешению основных своих вопросов — о происхождении и развитии языка.

2. Происхождение языка

Три подхода к проблеме глоттогенеза. Марр называет три существующих подхода к объяснению глоттогенеза: мифологический, естественно-исторический и хозяйственно-общественный [Марр 1934: 140–141].

Мифологический подход Марр отвергает ввиду позднего происхождения самих мифов [Там же: 140].

Естественно-исторический подход для Марра также неприемлем, и он отклоняет психофизическую теорию происхождения языка, всячески подчеркивая «свое совершенно отрицательное отношение» к опытам «зооантропологического освещения общественных вопросов, особенно в применении к эпохам, когда

творилась человеческая речь» [Март 1934: 140]. В языковом творчестве Март признает «лишь посредственное влияние природы, как всегда и везде в отношении к речи» [Там же: 141]. «Природная, физически данная от начала звуковая речь такая же фикция, как создание ее богом в наивной библейской форме наделения человека нужными словами или иным каким-либо путем. Впрочем, и по Библии, — замечает Март, — непосредственным творцом речи выводится сам человек» [Март 1936: 200]. Поэтому бесплодны попытки «увязать наш язык, как природный, непосредственно с языком природы, с языком животных» [Там же: 356], с естественным животным звукоиспусканием [Март 1933: 212], тем более что человек начинал не со звуковой речи, а с языка жестов.

Неразличение языка животных и звуковой человеческой речи даже на изначальной стадии ее развития — тоже заблуждение. Согласно Марту, «язык животных — в основе это произвольное природой данными средствами воспроизведение чувственного восприятия мира», тогда как «каждое слово звуковой человеческой речи есть в источнике акт осознанного, а не аффекционального или произвольного действия» [Март 1936: 199]. Март видит глубочайшую «пропасть между животным и человеком, не как физическим созданием, но как общественным типом» [Там же: 359].

В своей концепции возникновения и развития культуры и языка Март основывается на творческой, созидательной роли самого человечества. «...Не “бог” и не “природа”, а общественность сотворила всю и материальную и так называемую духовную культуру». Человеческий коллектив как общественно-производительная сила и действительно творящий фактор создает и самого человека [Март 1933: 231], его облик, психику, речь [Там же: 90]. Зоологический тип человека немислим без общественного очеловечения животного образа «с момента возникновения производства, истории материальной культуры, и зачатков его речевой, нераздельной с мышлением надстройки» [Там же: 280]. Процесс чelовечения неразрывно связан с трудовой деятельностью и, что не менее важно, с речевым взаимодействием. «...Человеком я считаю, — пишет Март, — зоологический его тип с эпохи зарождения у него общности, следовательно, с эпохи появления и бытовой обстановки, и средства взаимодействия, т. е. речи вообще, именно и линейной, или ручной, но затем и звуковой, т. е. нашей так называемой членораздельной речи, каковую эволюцию в средстве взаимодействия сопровождало бесспорно не внешнее лишь, но и внутреннее переорождение зоологического типа двуногого существа, развитие мозговой части» [Март 1937: 90] и «в процессе производства возникшего мышления» [Март 1934: 118].

Водораздельным моментом между человеком и животными является, по Марту, *осознание*, возникновение которого в процессе труда существенно изменяет сам характер производства.

В животном мире «также налицо производство и как будто производственные отношения, но без всякого осознания. <...> Многочисленные факты изумительной сметливости у животных не сущность или функция мышления, как опосредствованно через производство полученной особой надстройки; это сущность и функция

самих действий, определяемых природными факторами. Мышление животных — производственное, без отрыва от вида производства данного вида животных. ...В этом производственном мышлении нет накоплений с их динамикой, нет, следовательно, технических возможностей и тяги к смене самого производства. У животных есть материальная культура, весьма разнообразная; ...но нет смены орудий и способов производства из поколения в поколение, нет, следовательно, истории материальной культуры. И нет социальных взаимоотношений по производству» [Марр 1934: 117–118].

Язык животных «не только представляет достояние каждый особого вида животных, но и неотделим от производства, органически нераздельно связанного с их видовой физической структурой, нет здесь момента расхождения, т. е. отхода друг от друга материальной базы и надстроечной категории, нет, следовательно, условий для независимой от природного строения их эволюции, материальная база языков животных — сама природа и только». Поэтому «язык животных не общий, ни с какой стороны, ни с идеологической, ни с технической» [Марр 1936: 359].

Чтобы язык отделился от производства, нераздельно связанного с видовой физической структурой животных, чтобы мышление утратило узкопроизводственный характер и развилось осознание, необходима *смена орудий и способов производства* в человеческих объединениях.

Толчком к этому послужило физическое несовершенство человека по сравнению с животными в быстроте и свободе движений, в силе и т. п. «...Нужда, именно нужда, — заключает Марр, — заставила человека искать возмещения своих физических недостатков в развитии способов труда, искусственных приемов и создании искусственных орудий, в развитии прежде всего концентрации сил, общественности и организации коллективного труда, с чем органически связано и усиление потребности в языке, неизбежная работа над ее созданием» [Там же: 200]. Усиление потребности в «общем» языке должно быть связано с изменением *характера коллектива*. С точки зрения Марра, человеческий коллектив отличается от животного стада прежде всего тем, что изначально строится не на «видовой» («расовой») основе, «не по кровному признаку, а по интересам оборонительно-хозяйственным, производственно-хозяйственным» [Марр 1935: 405].

На основании сказанного из трех имеющихся подходов к проблеме глоттогенеза Марр принимает лишь один — *хозяйственно-общественный*. Он глубоко убежден, что «корни человеческой речи не на небесах и не в преисподней, но и не в окружающей природе, а в самом человеке, однако не в индивидуальной физической его природе, даже не в глотке, как и не в крови его, не в индивидуальном его бытии, а в коллективе, хозяйственном сосредоточении человеческих масс, в труде над созданием общей материальной базы» [Марр 1934: 141].

Марр исходит «из непрерывности работы человечества над языком не от палеолита, сравнительно позднейшей поры, а от начала возникновения *homo sociabilis* в обладании трудовой рукой, т. е. общественного человека из коллектива, до создания им, этим человеческим коллективом, искусственного орудия производства и до последовавшего, разумеется, затем возникновения звуковой речи» [Там же: 56].

Соответственно, в новом учении о языке «творчество перекладывается со статике отправных пунктов на процесс развития организованного труда и смены его форм, а в связи с ним и смены общественных форм и соответственных мировоззрений» [Март 1934: 57]. А так как в общественно-экономическом развитии возможны перемены постепенности, то и применительно к языку Март признает наряду с *эволюционными* путями развития («когда речь о постепенном развитии типа») *мутационными* («когда речь о перевоплощении в очередной новейший тип») [Март 1933: 236]. Источником коренных перемен мутационного порядка, источником смены типов и систем в языках Март, в отличие от индоевропейцев, считает не внешние массовые переселения, а те «революционные сдвиги, которые вытекали из качественно новых источников материальной жизни, качественно новой техники и качественно нового социального строя. В результате получалось новое мышление, а с ним новая идеология в построении речи и, естественно, новая ее техника. Отсюда различные системы языков» [Март 1937: 61]. При всем различии мутационных и эволюционных путей развития сближает их то, что «и переворотные движения мутационного порядка и эволюция человеческой речи, т. е. как возникновение ее и ее различных типов и систем, так развитие каждого типа, воспроизводят или освещают соответственные движения в формах общественного строя и смены создавшего ее, эту общественность, хозяйственного уклада» [Март 1933: 236].

Благодаря органической связи между общественным строем и структурой языка [Там же: 189] изучение языков, как полагает Март, дает возможность «проследить процесс формации различных языков в шаг с развитием форм общественности, с их сложением или разложением» [Март 1936: 197]. И всё же *прямолинейное отождествление общественного развития с языковым с позиций Марра недопустимо* (хотя бы в силу «отхода друг от друга материальной базы и надстроечной категории») [Там же: 359]. Социально-экономическое развитие может значительно опережать языковое. Например, «немцами сделан в культурном своем хозяйственном развитии и соответственном уровне просвещения громадный скачок без прохождения всех ступеней развития, проделанных языками более позднего склада», вследствие чего немецкий народ «говорит языком со структурой весьма архаичной ступени стадийного развития» [Март 1933: 346].

В целом, по наблюдениям Марра, «общественная отраженность в звуковой речи чрезвычайно сложна, пути ее прохождения чрезвычайно различны, а ее состав — это переплет вкладов бесконечно многообразных течений человеческой творческой жизни, — переплет, порой обращающийся в клубок, казалось бы, неразпутываемых нитей» [Март 1934: 69].

Основные стадии языкового развития. В соответствии с революционными сдвигами при переходе от одной стадии общественного развития к другой «функция языка менялась, изменялось обслуживаемое языком пространство, менялся объем охвата внутреннего порядка — количество нареченных предметов, изменилось орудие речевого производства, изменился его процесс и т. д.» [Март 1936: 357]. Это позволяет Марру говорить о *стадийном* развитии самого языка.

Выделяемые Марром стадии языкового развития характеризуются разной степенью обобщенности. Поскольку речь — «продукт труда и, смотря по эпохам, определенного подбора орудий производства» [Марр 1934: 248], прежде всего выделяются *две основные стадии*, различающиеся используемой *языковой техникой*, которая соотносится с определенным *типом орудий производства*.

Как и некоторые исследователи предшествующих эпох, например Э. Б. Кондильяк, Марр считает, что «человечество начало свое общение линейной, или ручной, речью, языком жестов и мимики. Оно продолжило его звуковой речью, языком членораздельных звуков, увязанной с линейной речью восприятием достижений, выработанных ею, линейной речью. Первый язык получил свое развитие с развитием общественности, основанной на хозяйственной жизни, протекавшей с помощью природой данных орудий производства. Второй язык, звуковой, возник лишь после того, как человечество перешло на труд с помощью искусственного, им изобретенного орудия» [Марр 1936: 129].

Ручная речь. «Сравнительно с звуковой речью кинетическая речь более, несомненно, натуральна» [Там же: 76], но это «далеко не речь вне осознанного рефлекса, это не речь, целиком идущая произвольно из внутренних физических стимулов. Ручной язык предполагает технически развитость регулирующего мозгового аппарата и связь с ним, идеологически общественность, хотя и примитивную» [Там же: 202], причем не кровную, а хозяйственную [Там же: 90]. «Если технически тут действовала рука, идеологически всё зависело от общественности, следовательно, в конечном итоге и от хозяйственного строя, уже продуманного или планового хозяйственного строя, который осуществлялся хотя и без искусственного орудия производства, но с искусственным использованием натуральных предметов производства окружающей физической среды. Следовательно, даже кинетическая речь предполагает некий трудовой процесс как предпосылку ее развития» [Там же: 77].

«Ручной язык не только давал возможность выражать свои мысли, образы—понятия и общаться с коллективом, но и развивать представления, как средства, общения и с чужим, и своим племенем и затем также его отдельными членами» [Там же: 202].

Зарождение звуковой речи. «...С кинетической речью развивалось в свою очередь общественное мировоззрение, не исключая и культового, или магии» [Там же: 77]. *Истоки магии и неразрывно связанной с ней звуковой культовой речи* Марр также возводит к *трудовой деятельности и ее условиям*. В его представлении «творчество изначальных эпох происходило при мировоззрении человеческого коллектива, находившегося полностью во власти природы, и, казалось бы, мышление, следовательно, и речевая культура могли слагаться в зависимости от производства, протекавшего во все моменты его процесса в общении с природой, ее непосредственно используемыми силами, и как материал, и как орудие, и как отводимое для производства место и равным образом время. Возникавшие в условиях такого непосредственного воздействия природы представления не могли не отражать опытно приобретенных знаний, но при отсутствии данных для

проникновения в причинность явлений на помощь приходило умение “общения” с этой неизвестной силой, собственно воздействия на нее движением, и это производственное действие и есть магия» [Март 1937: 243].

Зачатки звуковой речи зародились в недрах кинетической речи первоначально в виде *диффузных* звуковых элементов–выкриков, сопровождавших в комплексном синкретичном действе «пляске–музыке–пении», неразлучном с эпосом, коллективный трудовой процесс, имевший магическо-производственное значение [Март 1936: 130]. В эволюции неразрывного двустороннего еще не дифференцированного труд-магического процесса [Март 1933: 258–259] из этих звуков вырабатываются четыре неразлучных его элемента (в условном обозначении А, В, С, D или sal, ber, uon, гош, что *не менее условно*). Их количество, по мнению Марта, «можно разъяснять прежде всего в технике магического действия», в частности в роли числа и в особенностях ритма [Март 1936: 94]. «...Каждый из этих четырех элементов в магическом восприятии сигнализировал одинаково с другими тремя главную таинственную силу магии, покровителя и тотема определенной социальной группы» [Там же: 89], не указанного «по суеверному страху или физической невозможности» [Там же: 93].

Однако культовая речь — это еще не звуковая речь как таковая, а лишь «подбор магических выражений трудового процесса» [Март 1933: 259]. «Объем потребных понятий находил достаточно линейных символов с помощью жестов и мимики для исчерпывающего своего выражения. Потребности в звуковой речи в целях взаимного общения не было» [Март 1936: 129]. Март объясняет это тем, что «общественность, построенная на началах естественного хозяйства, на довольствовании готовыми в природе видами пищи и на добывании готовым же от природы орудием, руками, никак не могла вооружить человека для создания такого сложного аппарата человеческого взаимообщения, как звуковая речь, — не могла потому, что дело шло об осознании возможности созидать из данного природного материала приспособленное к общественным навыкам творчества орудие для выражения своих мыслей» [Там же: 203]. Следовательно, заключает Март, «возникновение самой членораздельной речи не могло произойти ранее перехода человечества на производственный труд с помощью искусственно сделанных орудий. До замены ими руки в производстве материальной ценности совершенно немислима замена руки в производстве духовной ценности, речи из членораздельных звуков. <...> Звуковая речь не могла, следовательно, начаться раньше распространения навыка искусственной обработки хотя бы камня» [Там же: 205].

С развитием новых форм трудовой деятельности всё более явно обнаруживалась недостаточность ручной речи. «Как ни богата могла быть ручная речь (и, по всей видимости, была), она, разумеется, не обладала средствами для выражения полноты новых представлений и понятий, возникавших с развитием общественной жизни, рождением новых, дотоле невиданных форм, зависевших от новых форм хозяйственной жизни. Достаточно сказать, что ручной речью можно было пользоваться лишь при свете» [Там же: 203].

«...При всей связанности звуковой речи преемственно с кинетической появившиеся звуковой речи было революцией. Громадно революционное значение замены 'руки' и 'глаза' аппаратом, целиком сосредоточенным в головной части тела, в непосредственной связи с мозгом, в его окружении — с полостью рта и ушами. Действительности нового аппарата содействовало усиление общественной работы мозга от роста хозяйственной жизни и усложнения социальных взаимоотношений, вместе с тем расширение умозрительного кругозора коллективов, уже скрещенного племени. При таких данных использование технических и идеологических преимуществ звуковой речи представляло собой власть над тьмой и отчетливость в даче и восприятии материальных и надстроечных понятий, конкретных и отвлеченных представлений, образов и понятий» [Марр 1936: 82–83].

Формирование звуковой речи. Формирование символов звуковой речи из труд-магических элементов — процесс длительный. Оно происходило «в постепенно протекавшем диалектическом расхождении с кинетической речью, языком жестов и мимики, рядом с которым элементы звуковой речи служили долго лишь подсобным материалом, ограничивавшим свое использование кругом предметов и представлений магического порядка» [Там же: 418]. Тем не менее в представлении Марра эти элементы сыграли огромную роль в развитии языка, ибо именно на их основе стало возможным *образование собственно языковых знаков*. В самом деле, разъясняет Марр, «раз усмотрена была возможность звуковым комплексом, элементом, сигнализировать хоть один предмет, какой бы он ни был, тем более невидимый и отвлеченный, то не было уже никакой помехи осуществить мысль о переходе с линейной речи на звуковую, открывался путь для создания нового языка, способного выражать невидимые предметы, в числе их отсутствующие и отвлеченные, потребность в чем не могла не нарасти с развитием хозяйства с его техникой, общественности с ее усложнявшимися нормами и нового мировоззрения» [Там же: 130]. «В отношении же получения слова достаточно было осознать эту возможность сигнализации членораздельным звуковым комплексом хотя бы одного образа или явления, чтобы далее пошло беспрепятственно развитие звуковой речи в порядке применения тех же четырех звуковых комплексов, четырех элементов в том или ином потребном значении, в порядке, следовательно, расширения круга предметов, сигнализуемых каждым из четырех элементов» [Там же: 89].

«С момента использования элементов как звуковых сигнализаций тех или иных уже общественных представлений (конечно, не индивидуальных и не материальных), требовавших своего точного общественно-понятного выражения, судьба тех же элементов, уже слов, хотя бы с неустойчивым вначале значением, но устойчивым и последовательным использованием их для выражения общественно-наросших представлений и понятий, связывалась всё сильнее и сильнее с общественностью, за рамками магической организации, и с ее предпосылкой, хозяйством. В зависимости от разности территориальных условий, типа хозяйства и ступени развития общественности, значения одних и тех же элементов разнообразились, выбор того или иного элемента для использования в том или ином значении в различных

территориальных объединениях разнообразился. Но уже на дальнейших ступенях развития новой системы орудия общения с ростом общественной потребности в ней, т. е. по мере развития звуковой речи нарастали различные их виды, и постепенно, в зависимости от новых эпох развития хозяйства и общественности, нарастали новые типы языков всё из того же общего материала» [Март 1936: 90–91].

Ввиду непрерывности работы человечества над языком «первое время применения звуковых элементов в роли значимых величин система оставалась первоначальная, именно система кинетической речи, в которой звуковые элементы могли играть лишь побочную роль, дополнительную» [Там же: 84]. По той же причине звуковая речь «унаследовала всю первичную семантическую типологию от языка предшествующих эпох, языка жестов и мимики, линейного языка» [Март 1934: 56–57], так что «когда... сложилась звуковая речь и вышла за пределы магических потребностей в мир обыденных предметов и представлений, победительница сраженной кинетической речи оказалась забравшей все достижения линейного языка: первичные слова и производные образования звуковой речи не что иное, как перевод линейных, или кинетических, символов, сигнализовавшихся рукой, на звуковые символы» [Март 1936: 418]. Не случайно «в технике словообразования и даже морфологии вскрылась система мышления человечества еще с одной ручной речью, например, слово ‘звать’ оказалось в своем первичном восприятии одного происхождения с глаголом ‘указывать’, ‘манить’; оно также восходит к имени ‘рука’, точнее к предметному образу ‘руке’, орудию производства акта призыва ручным движением» [Март 1933: 257].

Преемственную связь звуковой речи с ручной и культовой Март усматривает и в *последовательности осознания предметов, и в появлении соответственных словесных знаков* (ср.: [Там же: 266]). В частности, труд-магическими истоками звуковой речи объясняется «возникновение слов объективного порядка раньше субъективных. Именно то, что аффекционально или рукой недостижимо, в звуковой речи была потребность прежде всего выразить... На этом основано, что если не первое, то одно из древнейших звуковое слово ‘небо’, космическое явление, а не предметы, которые близки человеку и, понятно, отчетливо указуемы, следовательно, легко выражаемы или называемы ручным языком» [Март 1936: 208]. «...Технологическое восприятие орудий производства и явлений социального или умственного порядка... в языкотворческом процессе вообще, в построении слов в частности есть позднейшее дело» [Там же: 272]. Поэтому социальные и производственные термины, включая микрокосмические (анатомические), появляются после космических [Март 1933: 266].

А так как на первых порах слов, «означавших конкретно в живых образах воспринимаемые космические силы», было мало, то «ими выражали множество осознававшихся постепенно в своем самостоятельном бытии существ (для нас и предметов)» [Март 1936: 209]. Отсюда полисемантизм слова. Отсюда «типическая техника возникновения значений слов, в подлинно доисторические эпохи техника образования целых семантических гнезд и отслаивавшихся в них пучков значений

в соответствии с диффузной природой первобытного мышления, дологического, обязательно конкретного, но не дифференцирующего понятий, без элементов действия и увязки. К наступлению же исторических эпох это... типическая техника развертывания тех же семантических пучков и гнезд, точно яиц, из которых вылупляются птенцы, носители мыслей, добытых дальнейшим развитием коллективной трудовой жизни, дальнейшим развитием организации труда, форм общественности и связанных с ними мировоззрений» [Марр 1934: 57].

Сходная закономерность характеризует *дифференциацию слов по частям речи*. Обсуждая последовательность их появления, Марр указывает, что «звуковая речь начинается не только не со звуков, но и не со слов, частей речи, а с предложения, гесп. мысли активной и затем пассивной, т. е. начинается с синтаксиса» [Марр 1936: 417], «главнейшей вообще части всякой звуковой речи». Так как в дозвуковой речи синтаксису присущ «полностью совершенно выдержанный диффузный характер», то и на самых начальных этапах развития звуковой речи «синтаксис отличается именно тем, что в нем идеология и техника неделимы, еще не расчлененно слиты, диффузны, не дифференцированы так же, как неделимо и не дифференцировано было еще общество без разделения труда и без социальной дифференциации в строе, собственно без осознания такого разделения труда и такой социальной дифференциации» [Марр 1935: 462].

Лишь «постепенно выделяются части предложения, определявшиеся по месту их нахождения в речи» [Марр 1936: 417].

В первую очередь появляются те звуковые символы, «которые, не будучи, понятно, еще именами существительными в нашем смысле, давали представление о предметах или которые, становясь фактически уже существительными, вмещали в представлении о них потенциально все части речи, и имя существительное, и его то или иное качество, или ту или иную форму его, или правомочность его в представлении первобытного человека замещать имя существительное и то или иное действие, связанное функцией этого обозначаемого таким существительным предмета» [Там же]. «...Использование этого образа, этого представления и этого понятия статически или динамически, т. е. или, с одной стороны, как имени существительного, или как имени прилагательного, или как местоимения, или как числительного, союза или, с другой стороны, как глагола, зависело от потребности речи», но «пока не было точного осознания других частей речи, пока фактически не было прилагательных, числительных, местоимений, союзов, глаголов, до тех пор не могло быть и существительного с теми строго ограниченными функциями, и в зависимости от этого с теми формальными признаками, какие неотъемлемо присущи ему теперь при нашем представлении о нем». «О последовательности возникновения частей речи по существу можно говорить конкретно, когда у них появляется оформление, закрепляющее их функцию как той или иной части речи» [Там же: 105]. Поскольку же «всякая отвлеченность — позднее достижение в осознании человека сравнительно с конкретным восприятием явления» [Марр 1934: 67] и «все слова не материального или не конкретного порядка... относятся

также к достижениям позднейшей стадии речевой культуры» [Март 1935: 403], то такая часть речи, как глагол, «возникла в разрезе ее оформления весьма поздно, после имен и их заместителей» [Март 1934: 67].

«Формальный рост звуковой речи происходил различными способами, прежде всего накоплением разновидностей словаря из четырех элементов, каждого из этих элементов. Самая дифференциация каждого из этих элементов, с чем связано возникновение разновидностей и постепенное их накопление, в позднейшие эпохи обязана своим происхождением социальному расслоению звуковых разновидностей, разности сначала производственно-коллективных, впоследствии племенных произношений» [Март 1936: 99], т. е. социальным, а не физиологическим факторам [Март 1935: 47]. К наступлению исторических эпох наблюдается «усиление дифференциации представлений и нарастание потребности в более уточненном их звуковом выражении с новым усилением межплеменных связей, на пути образования больших этнических группировок, впоследствии народов и семей, с новым схождением на договорных или иных началах племен, уже сложившихся раньше тем же порядком не по крови, не по подбору тех или иных физически схожих коллективов, а по “жесткой необходимости” хозяйственной жизни племен, обладавших уже речью из первичных слов-элементов. В этих целях, а также для облегчения взаимного понимания объединявшихся в одной общественности племен, следует возникновение типической техники, объединения и затем слияния, так наз. скрещения двух (и более) различных по звуковому составу племенных слов, первичных слов-элементов, слов двух (и более) объединявшихся и затем физически скрещавшихся племен» [Март 1934: 56–57].

С развитием словотворчества, по мере обогащения словаря постепенно формируется *звуковой состав языка*.

Первоначально *диффузное состояние звуковой речи* проявляется не только в ее *семантической нечеткости и нерасчлененности*, но и в *неполной членораздельности звуков* в первичных значащих элементах [Там же: 97]. Каждое слово представляло тогда один целый диффузный звуковой комплекс с не выделяемыми из его состава звуками. «...Первые звуки были все сложные, все аффрикаты» [Март 1933: 212], так что «более сложный состав согласных определяет более древнюю систему речи» [Март 1936: 58]. «Долго и долго отдельные звуки не были дифференцированы в той степени, как впоследствии. Даже став членораздельными, звуки сначала сохраняли диффузность, были диффузными» [Там же: 85]. Лишь с течением времени диффузные и диффузоидные звуки постепенно отмирают как менее совершенные по членораздельности. В частности, это относится к аффрикатам, среди них заднеязычные отмирают раньше переднеязычных [Там же: 58].

Решающее значение в формировании «фонемного языка» Март придает сближению и объединению различных производственно-хозяйственных групп: «членораздельности должно было прибавиться от слияния племен-примитивов в более очеловеченные скрещением виды племенных образований» [Там же: 206]. Он убежден, что «не было бы никакого “фонемного языка” без такого скрещения»

[Марр 1934: 178] и соответственного *скрещения первичных слов-элементов*. Только благодаря ему «с развитием звуковой речи каждый звук получил самостоятельное бытие в общественном сознании, в сознании человечества» [Марр 1936: 91]. Однако, согласно Марру, это осознание фонемы как отработанного человечеством членораздельного звука, сопровождаемого работой мозгового аппарата [Там же: 200], «представление об особом бытии» фонемы [Марр 1937: 59] «как самостоятельной функциональной части первичных слов-элементов — явление очень позднее, когда у каждой уже стабилизированной группировки языков имелся в наличии лишь определенный подбор таких звуков от двух-трех десятков до восьми-десяти, изолирующий одну систему языков от другой системы» [Марр 1933: 258], ибо «каждую систему языков отличает в то же время особое состояние звуковых данных» [Марр 1936: 57]. «По системе языка и его звуковой состав» [Там же: 7].

Наконец, лишь на позднейших этапах языкового развития звуки постепенно получают «функциональное самостоятельное существование», «самостоятельную значимость», «как бы независимое бытие с самодовлеющими, казалось бы, нормами» как явления чисто формальные и порой художественные, благозвучные [Там же: 58].

Язык и общество. «С генезисом и развитием речи неразрывно связаны... генезис и развитие общественности, коллективной создательницы человеческого языка» [Там же: 181]. «Начиная с изначальных форм общественности, это группировки людей не по крови, а по хозяйственной потребности» [Марр 1933: 241]. Первые «как бы молекулярные, зачаточные производственные образования» [Там же: 289] имеют, по Марру, *диффузную природу* «с нерасчлененностью производства с руководством, хозяйства с магией, где намечается материальное возникновение четырех элементов, сначала лишь музыкальных, отнюдь не речевых» [Марр 1936: 100]. «Потребность в звуковой речи возникла с образованием зачатков классовой дифференциации, когда в связи с магией выработалась специальная группировка с таинственными магическими действиями в плясках, песнях и играх» [Марр 1937: 59]. Формирование звуковой речи, «становление элементов словами совпадает со стабилизацией племенных образований», складывающихся «уже на кровных началах» путем поглощения коллективов с тотемами, «названия которых, в зависимости от расширения их значения, обращаются в племенные названия» [Марр 1936: 131]. «Племя кристаллизуется, следовательно, по изобретении и развитии звуковой речи» [Там же: 90]. Слагаясь «по признакам активного бытия, а не природной наследственности» [Марр 1934: 141], «любой род, любое племя есть скрещенное ряда производственно-социальных группировок» [Марр 1935: 407] и в этом смысле представляет собой «классовое» образование [Марр 1934: 173]. То же относится и к нации, ибо «каждая национальность — это результат скрещенного ряда социальных группировок» [Марр 1937: 78]. Следовательно, ни племя, ни нация не может трактоваться как цельный массив [Там же: 218]. Этим объясняется и «классовый» характер языков в трактовке Марра.

3. Язык и мышление. Стадии их развития

Исходный принцип. В трактовке данной проблемы Марр исходит из того, что «не только мысль и слово, т. е. язык и мышление, но оба они вместе с производством составляют единство» [Марр 1936: 459]. Поэтому Марр настаивает на том, чтобы *предмет языкознания* изучался «как язык и лишь технически выявляемое им мышление, т. е. как неразлучная двойная надстройка, корнями залегающая всегда в материальном базисе» [Там же: 298]. «Само собою понятно, — заключает Марр, — что языковые материалы, не только происхождение языка и его видов, но все особенности структуры речи вообще, каждого языка в частности разъясняются соответственно в своей причинности, как надстроечные явления в процессе их взаимодействия и во взаимодействии также с мышлением, собственно мировоззрением, ибо мышление с его техникой, как и язык, генетически связаны с производством» [Марр 1933: 280].

Язык–мышление и осознание действительности. Величайшее значение проблемы мышления Марр видит в том, что «с нею связан скачок в людское общество из животной орды, животной стадности, “стаинности”, “ройности”, словом, всякого зверино-зоологически организованного коллектива» [Марр 1934: 104]. Согласно новому учению, *этот скачок нельзя объяснить естественно-исторически, как не постигнуть естественно-исторически возникновение мышления.* Хотя «нет ничего вне времени и вне пространства», «ни место, география с пейзажем, природа сама по себе, хотя бы с ресурсами производства, ...ни время без четкой производством определяемой функции не имеют также, как никогда не имели, никакого значения для развития мышления, людского коллективного мышления» [Там же: 97]. «...Его корни находятся не в нем самом и не в природе, — указывает Марр, — а в материальном базисе» [Там же: 104], так как «человек начинал свое мышление с производством» [Там же: 273]. Поскольку же мышление и язык неразлучны, то и *возникновение людской речи означает, по Марру, появление мышления + языка* [Там же: 106].

Осознание человеком окружающей действительности, по мысли Марра, создается и нормируется в процессе коллективной трудовой деятельности [Марр 1936: 271] и меняется в соответствии с развитием материального производства. *Характер производства накладывает свой отпечаток и на мышление человека, и на его язык.* «...Когда не было коллективного, т. е. первично ручного производства, то не было ни того мышления, ни того языка», который Марр называет человечески-общественным, «ибо дотоле это было природно-производственное мышление, природно-производственный язык. Это — мышление без осознания». «...Но и тогда они, мышление и язык, были вместе в “производстве” животного, животнo-коллективном “производстве”, по диалектике природы». У человека «мышление и язык, ручной язык, следовательно, человечески-общественный, когда возникли, то возникли совместно, а когда их не было, то не было человека», причем любая речь — и ручная, и позднее звуковая — «была вначале производственной» и лишь затем становилась «разговорной» [Там же].

«Мышление в первичном состоянии есть коллективное осознание коллективного производства с коллективным орудием и производственных отношений; язык — коллективное выявление коллективного осознания в оформлении и объеме в зависимости от техники мышления и мировоззрения» [Марр 1934: 112].

В первоначальном, неразвитом состоянии производство + мышление + язык были слиты и, в сущности, неотделимы друг от друга. Такой *синкретизм* Марр объясняет тем, что при ручном языке–мышлении до появления искусственных орудий труда «орудия производства (руки. — Л. 3.) на начальных этапах у мышления и языка были общие с производством, и до выработки из них специального инструмента для языка (путем перехода к звуковым символам. — Л. 3.), до разлучения их с орудиями самого материального производства (в результате изобретения искусственных орудий труда. — Л. 3.), не могло быть никакой самостоятельной речи: не было отрешенного мышления, не было языка вне производства. <...> Первым своим орудием производства, ‘рукой’, язык мог располагать для полусамостоятельного использования без расщепления представления и понятия, следовательно, с зачатками сознательного мышления» [Марр 1936: 272].

Хотя в отличие от «речи» животных ручной язык не является целиком аффекциональным, но *осознание действительности в этот период носит ограниченный характер*. «Элементарно, что у доисторического человека осознание вытекало не из точных, исторически приобретенных впоследствии знаний материальной сущности предмета, а оно возникало и двигалось вперед от восприятия природным инстинктом видимости предмета, видимости соотношений предметов, силой воображения и в образах раньше, чем в отвлеченных самостоятельно выкристаллизовавшихся понятиях» [Марр 1934: 3]. *Мышление первобытного человека было диффузным, нечетким*. «Ведь не только как изображать, но и что изображать, подлинно доисторическому человеку было не так легко представить ясно, наша аналитика ему была абсолютно недоступна, ...не было способности из общего восприятия предмета, диффузного, выделить что-либо отдельно, осознать отдельные элементы. Как жил он лишь коллективной жизнью, так и мыслил коллективно, не имея в голове представления об индивидуальном, как не было его в общественности. Речь, какая бы она ни была, была без осознания элементов» [Там же: 241].

В ручном языке, особенно на начальных ступенях стадийного развития, «не было еще полноты выражения мысли» ввиду ее нерасчлененности. Ни действие, ни субъект «не выявлялись в речении самостоятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и производственных отношений» [Там же: 115], ибо «действие и действующее лицо не различались». Действующее лицо выделилось в сознании из действия «лишь с осознанием, т. е. обращением в надстройку материального базиса, производства и производственных отношений, т. е. выработкой разлученного с базисом тотема» как субъекта, определявшего весь смысл трудовой деятельности данного коллектива, как его собственного орудия производства. Это стало возможным, когда «уже нарождалось представление о коллективной собственности» [Там же: 116].

На следующем этапе «для усвоения причинности, независимой от невидимых мистических сил природы, ...необходимо было осознание... видимой причинности, и вот этот элемент осознания в признании видимых причин восходит не просто к отвлеченному созерцательному опыту и тем менее к какой-либо мистике, видениям, предзнаменованию, но к производству, причем производству с использованием искусственных орудий» [Марр 1936: 408].

На творческую роль труда в развитии осознания и в становлении «сознательно-го мышления» указывает, в частности, согласно Марру, *функциональный характер номинации* на древней стадии развития материальной культуры, когда «значения слов устанавливались по функции, возлагавшейся производством на данный предмет» [Марр 1935: 477]. В результате «действительность находит выявление в речи не природно-материальной своей стороной, конкретно предметы материальной культуры, пассивные ли они или активные соучастники в производстве, животные транспорта или рабочая сила, выявляются не особенностями, восходящими к их физическим или биологическим свойствам, как факторам, а их производственной или общественной функции в восприятии мышления» [Марр 1934: 111].

Марр убежден, что «нет ни одной мысли, ни одного слова у человечества, которое не прошло бы через осознание от изменчивого производства и слагающихся с ним соответственно изменчивых производственных отношений. <...> Нет не только слова, но и ни одного языкового явления, хотя бы из строя речи (морфологии, синтаксиса), или из ее материального выявления, в графике, кинетической линии и звучании, фонетике, нет ни одной частицы звуковой речи, которая при возникновении не была бы осмыслением, получила бы какую-либо языковую функцию до мышления, носила бы в себе какие-либо с происхождением или оформлением связанные особенности, восходящие к природным и чувственным явлениям, как факторам» [Там же]. Иными словами, «и осознание творилось не естественно-исторически, по одному факту нахождения предмета в физической среде, а в процессе выработки своего мышления и его технических средств, бравшихся не из природы, а из производства» [Марр 1936: 73].

Развитие мышления и языка. Коль скоро производство — определяющий фактор по отношению к мышлению — развивается, то и «мышление не стабильно» [Марр 1934: 70]. «...Мышление, как язык, есть явление “становления”, и его сущность и техника, а с ними его роль, изменяются в корне по сдвигам» [Там же: 96]. Количество и характер этих сдвигов в мышлении и его технике, «проистекающих в своей динамике, т. е. творческом движении, от коренных сдвигов в производстве и слагающихся по производству социальных отношений» [Там же: 106], соотносительные со стадиями в развитии материальной культуры. *Коренные сдвиги базиса создают изменения вообще надстроечных категорий и в первую очередь языка и мышления* [Там же: 97] как простейших форм идеологии [Марр 1936: 113]. «От преломления сдвигов в базисе намечаемых социально-экономических образований возникают системы в оформлении соответственного мышления, системы языков на подлежащих стадиях». При этом Марр отчетливо понимает «трудность

установления этих стадий, особенно их последовательность» уже потому хотя бы, что звуковой язык, «с одной стороны, вбирает и консервирует в себе бытующие в населении мировоззрения древнейших стадий, не исключая палеолитических, от линейного языка, с другой — переосмысляет идеологически изжитые построения» [Марр 1936: 255].

На первый взгляд, пишет Марр, «в нашем распоряжении» как будто, всего-навсего две ступени в стадильном развитии мышления: одна ступень — это то, что Lévy-Bruhl (Леви-Брюль) называет дологическим мышлением, а на наш взгляд — мышление образное» [Марр 1934: 70]. Оно существовало многие десятки тысяч лет.

Когда еще не было звуковой речи, «люди говорили жестикуляцией и мимикой, воспринимая мир и всю окружающую их жизнь в образах и по сродству образов и соответственно объясняясь друг с другом линейными движениями, символами тех же образов и форм. Когда же началась звуковая речь, слова служили символами-образами: первобытный доисторический человек представления имел образные, ассоциации у него были в образах, не в отвлеченных понятиях» [Марр 1933: 212]. В общем первобытные люди, замечает Марр вслед за романтиками, — дети природы, массово художники и поэты по натуре [Марр 1936: 206], «гениальные творцы в образах, ...но совсем неважные эрудиты-ученые» [Марр 1934: 309].

«...Только впоследствии, пройдя ряд коренных сдвигов, смены одних функциональных взаимоотношений, закономерностей, другими, общественность вырабатывает весьма поздно логическое мышление и сообразную систему языкотворчества с формально-технологическим восприятием мира, когда язык-звучание берет верх над мышлением» [Там же: 118]. Логическое мышление образует вторую ступень в развитии мышления и также охватывает длительный период [Там же: 70].

Помимо этих двух ступеней в стадильном развитии мышления должны быть и другие. Во-первых, «дологическое или образное мышление — не первоначальное». Во-вторых, логическое мышление неизбежно сменится новой системой мышления [Там же: 70]. В-третьих, логическое мышление не могло непосредственно следовать за дологическим. «При предпосылке... социально-экономических факторов наступление нового мышления и отход старого мыслимы при выделении первым из себя второго в порядке раздвоения или диалектического процесса» [Там же: 71].

Всего, таким образом, если не считать природно-производственного языка-мышления в животном состоянии, должно быть выделено *не менее пяти ступеней в стадильном развитии человеческого-общественного языка-мышления.*

Со времени его возникновения за многие сотни тысяч лет, миллиона три, последовательно сменились уже *четыре качественно различных языка* «со сменой орудия выявления (всего тела, рук и лица, полости рта и звуков), орудия восприятия (сердца, ушей) и локализации мышления (в правой руке, в сердце и, наконец, в голове)»:

1) «комплексный не дифференцированный пантомимо-мимическо-звуковой пиктографический [язык] со зрительным мышлением»,

2) стандартизованный ручной язык с мышлением, локализованным в правой руке,

3) «звуковой язык в первой стадии своего развития с тотемическим мышлением, космическим и микрокосмическим, развернутым в пределах возможностей ручной речи»,

4) звуковой язык «на второй стадии — с формальным логическим мышлением, когда оно стало воспринимать мир аналитически, всё более и более проникая в технику его построения и утрачивая чувство целого, синтез» [Марр 1934: 120–121].

Как нетрудно заметить, в дологическом мышлении обнаруживается «ряд ступеней со сменой закономерностей и техники» [Там же: 106], включающий *первые три языка*.

Кроме указанных четырех ступеней, еще одна ступень должна быть выделена в развитии звукового языка, ибо, по мнению Марра, «есть система языков, не отвечающих своей структурой логическому мышлению, и языковедные факты требуют отведения ей места перед периодом возобладания целиком логического мышления, и в то же время исключается возможность вместить ее в более ранний период господства дологического мышления» [Там же: 71].

Увязав типологическую перестройку звукового языка со сменой мышления, а то и другое — с социально-экономическими сдвигами, Марр приходит к следующему выводу: «Смены мышления — это три системы построения звуковой речи, по совокупности вытекающие из различных систем хозяйства и им отвечающих социальных структур: 1) первобытного коммунизма, со строем речи синтетическим, с полисемантизмом слов, без различения основного и функционального значения; 2) общественной структуры, основанной на выделении различных видов хозяйства с общественным разделением труда, т. е. с разделением общества по профессиям, расслоения единого общества на производственно-технические группы, представляющие первобытную форму цехов, когда им сопутствует строй речи, выделяющий части речи, а во фразе — различные предложения, в предложениях — различные его части и т. п., и другие с различными функциональными словами, впоследствии обращающиеся в морфологические элементы, с различением в словах основных значений и с нарастанием в них рядом с основным функционального смысла; 3) сословного или классового общества, с техническим разделением труда, с морфологиею флективного порядка» [Там же].

Итак, с учетом промежуточного (агглютинативного) типа звуковой речи в глоттогоническом процессе уже сменилось *пять* ступеней стадийального развития.

Пройденные ступени создали предпосылку для вступления языка–мышления в *следующий* этап своего развития. «Язык (звуковой) стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим безоговорочно пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом и новых стяжаний» [Там же: 121]. В результате «формальная логика, достояние классового

мышления, вместе с их создавшим классом, смещается диалектично-материалистическим мышлением пролетариата, идеологически-технологическим восприятием мира, где мышление берет верх над языком и имеет еще более брать верх, пока не только система звуковой речи будет сменена в новом бесклассовом обществе, но будет создан единый язык так же и более отличный от звукового, как и чем звуковой отличается от ручного, с новым орудием производства, имеющим сделать всё человечество не только с единым мышлением, но с единой речью — хозяином, подчиняющим себе все пространства и все времена» [Марр 1934: 118]. В сущности, по предположению Марра, это единое мышление «имеет сместить и заменить полностью язык. Будущий язык — мышление, растущее в свободной от природной материи технике» [Там же: 121]. Какова именно эта техника будущего языка—мышления, Марр не уточняет.

Итак, мышление, постоянно развиваясь, идет в своих сдвигах «от нерасчлененного материалистическо-идеалистического к расчлененному с уточнением материалистическому, производственно-идеологическому и техническому» и, наконец, к диалектико-материалистическому. В свою очередь, «у диалектико-материалистического мышления нет смены, но нет и замыкания, в нем неисчерпаемые возможности сдвигов вширь и вглубь, пространство и время» [Там же: 111].

Расхождения между языком и мышлением. Всячески подчеркивая неразрывную, казалось бы, связь языка и мышления, Марр указывает и на *отсутствие тождества* между ними, причем не только в будущем, но и в прошлом. «На всех стадиях, — пишет он, — мышление неразлучно с языком, одинаково с ним изменчиво, но, будучи также одинаково с языком коллективно, мышление с языком расходится техникой, качеством, количественным охватом своей службы.

1. Язык в действии обслуживает лишь актуальный коллектив, притом в различных пределах в зависимости от технических слуховых или зрительных средств распространения речи, тогда как для мышления физических пределов нет, пределы же замыкания — временны, поскольку они и во времени и в пространстве отодвигаются или совершенно снимаются с расширением и углублением опытных данных.

2. Язык подвержен воздействию окружения непосредственно или при посредстве слуховой передачи лишь в современности, а в прошлом, как и в будущем, его отношения реализуются только письмом, с определенной стадии закабалившим живой язык, а мышление, не имея иных способов выявления, как язык или его замена, не имеет, кроме пределов своих знаний, никаких препон для общения со всем миром и прошлым, и будущим...

3. Язык существует, лишь поскольку он выявляется в звуках; действие мышления происходит и без выявления.

4. У языка как звучания имеется центр выявления, центр работы мышления имеет мозговую локализацию, но всё это формально, особенно звукопроизводство, всегда сочетаемое с мышлением или с продукцией мышления» (нумерация моя. — Л. 3.) [Там же: 121].

И наконец, «у каждого из этих обоих явлений... есть своя форма и свое содержание: у отдельно взятого языка есть своя форма с ее техникой и свое содержание, и у отрешенного от языка мышления есть своя форма с ее техникой и свое содержание» (цит. по: [Аптекарь 1934: 71]).

4. ГЛОТТОГОНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ

Глоттогонический процесс. В новом учении о языке «все языки рассматриваются как произведения единого языкотворческого (глоттогонического) процесса в мировом масштабе» [Марр 1936: 135]. Сам «этот процесс находит свое объяснение в диалектическом развитии материальной базы непрерывно за всё время исторического существования человека» [Марр 1933: 311].

Единство глоттогонического процесса проявляется многообразно. Формально звуковая материя всех языков сводится Марром к четырем элементам. Семантически языки также подчиняются универсальным закономерностям, ибо «законы развития значимостей слов, семантики, везде одни и те же» [Марр 1934: 66]. Главное же заключается в том, что между отдельными языками и их группировками отрицаются как пространственные (географические), так и временные перегородки. «...Не только различные системы звуковой речи, но и по орудию производства различные языки, ручной язык, звуковой язык, лишь отдельные звенья этого грандиозного монистического процесса творчества речи» [Там же: 118], звенья, обнаруживающие преемственную связанность. Свидетельством тому — «увязка не только идеологическая, но морфологическая, от эпохи к эпохе и вплоть до возникновения звуковой речи, идеологическая вплоть до господства еще ручной или линейной речи» [Марр 1936: 135].

«С каждым звеном единого глоттогонического процесса, относящимся к новой стадии развития, темп производства ускоряется. Письменный звуковой язык длится от 5 до 10 тысяч лет, звуковой язык в общем от 50 000 до 500 000 лет и более, ручной стандартизованный язык от миллиона до полутора миллиона лет. Чем глубже и дальше от нас звено, тем больше колебаний в нормах и менее четкости в мышлении и способе высказывания мыслей или языкового общения» [Марр 1934: 119]. Так действует *основной закон мутационно-эволюционной системы*, согласно которому в диалектическом процессе «простым явлениям, как и сложным из простых, предшествуют диффузные явления» [Марр 1936: 73]. Это касается и структуры производственных коллективов [Там же: 100], и соотношения базиса и надстройки, и мышления [Марр 1934: 57], и звуковой и семантической сторон языка.

Общее направление глоттогонического процесса задается развитием хозяйства и форм общественности от разобщенности к единству [Марр 1936: 135]. В противоположность А. Шлейхеру Марр полагает, что «зарождение, рост и дальнейшее или конечное достижение человеческой речи можно изобразить в виде пирамиды, стоящей на основании. От широкого основания, именно, праязычного

состояния, в виде многочисленных моллюскообразных зародышей—языков, человеческая речь стремится, проходя через ряд типологических трансформаций, к вершине, т. е. к единству языков всего мира. У индоевропейской лингвистики с ее единым языком (праязыком. — Л. З.) палеонтология сводится к пирамиде, поставленной на вершину основанием вверх» [Марр 1933: 213–214].

Типологические трансформации звуковой речи Марр соотносит с традиционно выделяющимися языковыми семьями, с одной стороны, и с морфологическими типами языков — с другой.

Признавая «у языков одно происхождение» [Марр 1936: 135] и считая, что «родства в биологическом смысле у языков собственно нет, как нет отдельных семей» [Марр 1934: 69–70], Марр приходит к заключению, что на самом деле «так наз. семьи языков, казалось, расово различные по происхождению, представляют различные системы, отвечающие различным типам хозяйства и общественности, и в процессе смены одной культуры другой одна система языков преобразалась в другую» [Марр 1936: 72]. Каждая такая система представляет собой «новое образование родового общего типа, с новым оформлением или переоформлением прежних видов, соответствующее новой технике производства, новой структуре общественного строя и новой системе мышления, определяемого не просто завещанным пассивным, а вновь нарождающимся творческим бытием человечества на каждой ступени стадияльного его развития» [Марр 1934: 70]. В отсутствие базы накопления и смены типов материальной культуры языки, несмотря на свою архаичность, точно коченеют в своем развитии [Марр 1936: 72].

Некоторое представление о распределении языковых систем по периодам в порядке их возникновения дает следующая схема Марра:

I. языки системы первичного периода — китайский и примыкающие к нему по строю, а также средне- и дальнеафриканские языки;

II. языки систем вторичного периода — угро-финские, турецкие, монгольские;

III. языки системы третичного периода — яфетические (это главным образом кавказские языки) и хамитические;

IV. языки системы четвертичного периода — семитические и индоевропейские [Там же: 405].

Единство глоттогонического процесса поддерживается формальными связями между языками различных систем: «отсутствие форм (аморфность), нанизывание легко отделимых образовательных частиц (агглютинативность) и органическая связанность образовательных элементов с основой (флективность) раскрываются как смена одних приемов оформления другими» [Там же: 132]. Подобно А. Шлейхеру, *Марр относит синтетическую, или аморфную, систему к древнейшей типологии, агглютинативную — к последующей, флективную — к третьей* [Там же: 48]. Но в отличие от Шлейхера, *Марр усматривает в каждой из них отражение особого социального строя*, ибо полагает, что «каждое типологическое состояние генетически связано с соответственной ступенью развития общественных форм

и ею порождено» [Март 1936: 49]. Надо только иметь в виду, предупреждает Март, что «принадлежность различных систем морфологии к различным периодам языкотворчества опирается, разумеется, не непосредственно на тот или иной тип техники, хозяйственной и социальной структуры, а при посредстве мышления» [Март 1934: 70].

Соотнося «изменчивость морфологии с изменчивостью идеологии лексики и значимости слов в различные глоттогонические эпохи, соответственно различным эпохам хозяйственной и общественной жизни», Март предлагает руководствоваться в определении типологии «не отдельными признаками, а совокупностью признаков» [Март 1936: 7]. Обусловленное изменчивостью языка и возможным отложением в системе ряда стадий «подвижное, неустойчивое состояние различных речевых категорий не позволяет трактовать в целом идеологическую сторону отдельно от формальной, морфологию особо от синтаксиса, фонетику — без учета не только морфологии, но и синтаксиса» [Март 1933: 296]. На этом основании в новом учении о языке «системы определяются не по одиночным характерным признакам, притом формальным, а по совокупности ряда формальных и с ними неразлучных идеологических черт. Так, у языков так называемой моносиллабической системы моносиллабизм (односложность слов) связывается с полисемантизмом (многозначностью) каждого отдельного слова, синтетическим строем (строго определенным расположением слов в предложении) и аморфностью, т. е. отсутствием форм» [Март 1936: 134], включая отсутствие (или плохую дифференцированность) частей речи. Вместе взятые, эти признаки «составляют, как координаты, совместно ту сумму решающих признаков, которая языку соответственной системы отводит совершенно определенное хронологическое место в пластах диахронического разреза всех языков всех систем. <...> Таково же положение со следующими по своему возникновению системами», с той лишь разницей, что в цепи преемства «некоторые признаки старой системы переходят в новую как также актуальные признаки новой системы, а не только пережиточные» [Там же: 109–110]. «...Поскольку каждая из них в общем есть продукт диалектического процесса, ...нет системы, свободной от неизжитых особенностей прежней системы или даже нескольких прежних систем» [Там же: 108]. Последнее особенно ярко выступает в яфетической системе, где сплетаются языки различных типов — и синтетического, и агглютинативного, и флективного [Там же: 111].

Итак, в увязке с историей материальной культуры как языкотворческим фактором «формальные признаки систем, в том числе и морфологические, стабилизируются в своей преемственной связанности, да и осложняются синхронизмом (одновременностью) одних формальных признаков с другими», причем «у формальных признаков получаются координаты идеологические и материальные общественной жизни». Поэтому Март отклоняет ту точку зрения, будто «тот или иной морфологический тип может трактоваться как продукт любого времени, точно, например, аморфность, агглютинативность и флективность — друг от друга независимо возникшие категории, проводящие непроходимую грань между так наз. семьями

языков и присущие каждая исключительно той или иной одной семье, или точно они в какой-либо мере случайные явления, которым можно отвести любое место, а не лишь то, которое отводится им как неразрывно связанным друг с другом звеньям в цепи культурного развития человечества» [Марр 1936: 108].

Принципы классификации языков. *В силу единства глоттогонического процесса классификация языков, по мысли Марра, также должна быть динамичной и вскрывать их взаимную связанность.* Необходима такая классификация, в которой языки разъяснялись бы «не по родословному их наследованию, а по мутационно-эволюционному развитию одних систем вслед за другими» [Там же: 41]. Вот почему в новом учении о языке при рассмотрении глоттогонии во всех ее сторонах «наблюдения производятся не только над фактическим положением, как оно обстоит, но и над тем, как получилось это статически фактическое положение, каковы в нем первичные, наследственные элементы и какие элементы усвоены или развиты данным языком в процессе прохождения им его жизненной стези. Наконец, учет требуется не только того, что развивается, но и того, что изживает и отмирает» [Там же: 54].

В идеале, считает Марр, родословное дерево языков не может ограничиваться классификацией по схеме развития формальной типологии. *Должна быть учтена и семантическая сторона речи* как «одно из существенных мерил в определении времени и, следовательно, места языка среди других языков» [Там же: 55]. Соответственно, «нынешняя классификация по странам света и формальным признакам речи, в первую очередь голофонетическим, ...должна сдать место анализу идеологии и технике ее оформления и осмысления звуков и придаточных средств звуковой дифференциации. Это — основная сторона звуковой речи, увязывающая ее как с источником происхождения с производством и производственными отношениями, экономикой и социальным строем» [Марр 1933: 306].

Чтобы эта увязка была как можно более полной, *в классификации языков следует отразить также роль определенных классов, сословий, профессий в языковом творчестве:* «как нет одноприродных национальных народов-массивов, все расслоены на производственные коллективы различного происхождения, сословия ли это, или классы, так нет массивных одноприродных языков, всё скрещения, всё слоями. Каждый слой имеет свою историю». «И всё это придется внести диаграммно в родословие языков» [Марр 1936: 57].

Кроме того, *классификация языков должна учитывать их взаимоотношения при общении племен и народов друг с другом.* С точки зрения Марра, «при массовом и длительном общении строй речи и с ним мышление, следовательно, и морфология также может передаваться от одного племенного образования к другому, как и словарь» [Там же: 56]. Расхождение формальной типологии или морфологии данного языка или данной группы языков со словарным составом зависит, по Марру, «от типа общения народа с народом, в результате чего у одних народов от такого общения менялась внешность, морфология, но не словарь, у других перемена сказывалась лишь в словаре, т. е. получается, что один и тот же язык в отношении

внешней типологии может родниться с одной группой языков, а в отношении словаря с другой группой языков» [Март 1936: 57].

И наконец, «чтобы получить общее конкретное представление о системе языков и их взаимоотношениях, как жизненных явлениях, а не абстракциях», *смена типов в эволюционном порядке должна быть увязана с историей материальной культуры* [Там же: 70].

Такая всеохватывающая классификация языков могла бы синтезировать все существующие ее варианты.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Под воздействием идей Ф. де Соссюра о примате отношений над элементами в последующий период интенсивно развивается структурная лингвистика. Влияние системного учения И. А. Бодуэна де Куртенэ на тот момент оказалось не столь значительным.

Структурная лингвистика уделяет первостепенное внимание изучению структуры как сети отношений, определяющих реляционные (= системоприобретенные) свойства языковых элементов.

К тому времени понятием *структуры* овладевает уже целый ряд наук. В частности, в гештальтпсихологии в его основу был положен принцип *целостности*. Согласно автору «Технического и критического философского словаря» (1926) французскому философу А. Лаланду, на которого ссылается В. Брэндалль в статье «Структуральная лингвистика» (1939), слово *структура* употребляется в психологии «для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи с ними». В том же словаре швейцарский психолог Э. Клапаред дает следующее определение структурализма: «Сущность этой концепции состоит в том, что явления необходимо рассматривать не как сумму элементов, которые прежде всего нужно изолировать, анализировать и расчленивать, но как целостности, состоящие из автономных единиц, проявляющие внутреннюю взаимообусловленность и имеющие свои собственные законы. Из этого следует, что форма существования каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, им управляющих» [Брэндалль 1960: 43].

Основные направления лингвистического структурализма: *Пражская школа* и *глоссематика* в Европе, *дескриптивная лингвистика* в США — ставят своей целью превратить языковедение в подлинно самостоятельную науку. Но не все они при этом опираются на понятие *целостности* языка, которое В. Брэндалль называет «наиболее характерной чертой структурализма» [Там же: 44]. Дело в том, что, принимая подход к языку как к системе знаков и сосредоточиваясь на анализе отношений, составляющих структуру языковой системы, отдельные направления далеко не в равной степени учитывают *отношения языка к своим надсистемам*.

Создатель **глоссематики** Л. Ельмслев, стремившийся освободить лингвистику от изучения какой бы то ни было внеязыковой реальности, с тем чтобы сам язык стал целью имманентного знания [Ельмслев 1960в: 265], всю языковую проблематику, по заключению В. Скалички, сводит к проблеме структуры, или формы (см. [Скаличка 1960: 99]), понимаемой как сеть зависимостей, или функций.

В противоположность глоссематике, «представители **Пражской школы**, — говорится в коллективных тезисах 1958 г., — считали важнейшей чертой языковых систем их функциональное назначение, практическое использование языка» [Вахек 1964: 250], и потому они никак не могли обойти вниманием отношение языка к окружающей среде. В соответствии с принятой за основу функционально-структуральной ориентацией Пражская школа «понимает язык как структуру, образованную языковыми знаками, ...характеризующимися тесной связью с реальностью. Структура языка, разумеется, представляет собой социальное явление и носит функциональный характер» (Navránek В. 1940) [Вахек 1964: 115]. Соответственно пражцы стремятся осветить все три типа отношений и три разные проблемы, названные В. Скаличкой: «1. Прежде всего отношение языка к внеязыковой действительности, т. е. проблему семасиологическую. 2. Отношение языка к другим языкам, т. е. проблему языковых различий. 3. Отношение языка к его частям, т. е. проблему языковой структуры» [Скаличка 1960: 98].

Первостепенная значимость связи языка с реальностью продиктована знаковой природой языка. В программных тезисах, составленных редакцией журнала «Slovo a slovesnost» в 1935 г., Б. Гавранек, В. Матезиус и др. пишут по этому поводу: «Язык может информировать нас прежде всего *об объективных отношениях*, то есть *об отношениях между знаком и реальностью*, к которой знак относится, так как язык, устный и письменный, *стремится* главным образом *выражать реальность, влиять на нее* прямо или хотя бы косвенно». «Знак по самой своей сущности — это явление *социальное*. Он предназначен служить посредником между членами одного коллектива и может быть понят только на базе всей системы значимостей, общей для этого коллектива. *Язык, разумеется, располагает, помимо двух субъектов* — того, кто посылает знак, и того, кто его воспринимает, — *еще третьим постоянным моментом, определяющим внутреннее строение знака: той реальностью, которую знак отражает*» [Вахек 1964: 68; выделено мною. — Л. 3.].

Типы отношений, которые учитываются в **дескриптивной лингвистике**, как будто не ограничиваются отношениями между речевыми формами. Так, согласно Л. Блумфилду, идеи которого — и прежде всего его книга «Язык» (1933) — стали исходными для Йельской школы дескриптивизма, термин *значение* «должен охватывать все стороны семантического содержания (semiosis), которые можно установить благодаря философскому или логическому анализу: отношение на различных уровнях речевых форм к другим речевым формам, отношение речевых форм к неязыковым ситуациям (предметы, явления и т. д.) и отношения, опять на различных уровнях, к лицам, принимающим участие в процессе общения» (Bloomfield L. 1939: 18; цит. по: [Фриз 1965: 270]).

Поскольку же для антименталиста Л. Блумфилда «язык — это простейшая и самая главная из всех наших социальных (то есть свойственных только человеку) форм поведения» [Блумфилд 1968: 53], не имеющая отношения к так называемым *мыслительным процессам* [Там же: 145–147], постольку значение языковой формы он определяет с позиций бихевиоризма, а именно — «как ситуацию, в которой говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слушающего» [Там же: 142].

В сумме ситуации каждого говорящего и реакции каждого слушающего составляют окружающий нас мир и всю совокупность наших знаний [Там же: 72].

Но так как «...мы лишь в редких случаях можем точно сформулировать значение какой-либо языковой формы» [Там же: 73], то ввиду *неуловимой природы значений* [Там же: 223] теоретически возможно если не исключить вовсе, то ограничить обращение к значению не только при анализе незначущих единиц фонематической системы. Такой подход допустим и при описании значущих единиц грамматического уровня. Описывая значения морфем, т. е. семем, «лингвист исходит из того, что каждая семема представляет собой постоянную и определенную единицу значения, отличающуюся от всех других значений, то есть от всех других семем данного языка, но дальше этого лингвист пойти не может» [Там же: 169].

Тем самым подводится база под дескриптивный метод лингвистических исследований. Суть его Л. Блумфилд, руководствуясь принципами бихевиоризма, механицизма, физикализма и операционализма (подробнее см. [Фриз 1965: 264]), формулирует так: «Язык любого языкового коллектива предстает перед наблюдателем как сложная сигнальная система» [Блумфилд 1968: 311]. «...Сигналы (языковые формы с морфемами в качестве наименьших сигналов) состоят из различных сочетаний сигнальных единиц (фонем), и каждое такое сочетание произвольно закрепляется за определенным явлением окружающего нас мира (семемой). *Можно анализировать сигналы, но не то, что они сообщают.*

Это еще раз подтверждает тот **общий принцип**, согласно которому *изучение языка всегда должно отправляться от фонетической формы, а не от значения*. Фонетические формы — скажем, весь запас морфем языка — могут быть описаны в терминах фонем и их последовательностей, и на этом основании они могут быть расклассифицированы и перечислены в каком-либо удобном порядке, например в алфавитном; значения же... мог бы проанализировать или систематически перечислить разве что только всеведущий исследователь» [Там же: 170; выделено мною. — Л. 3.]. Поэтому «было бы серьезной ошибкой пытаться использовать данное значение (как и вообще любое значение), а не формальные признаки в качестве отправного пункта лингвистического исследования» [Там же: 180–181].

Аналогичную точку зрения защищают Дж. Трейджер и Г. Смит-младший. Если «значения как ориентир помогают слабо», «в этом случае становится очевидной теоретическая основа анализа: она заключается в установлении повторяемости (recurrences) и дистрибуции сходных моделей и последовательностей» (Trager G., Smith Jr. H. L., 1951), цит. по: [Фриз 1965: 274].

3. Хэррис из двух критериев в определении морфемы — дистрибуции и значения — также отдает предпочтение первому: «...в строго дескриптивном лингвистическом исследовании значение может быть использовано только эвристически, как источник догадок, а определяющие критерии приходится всегда выражать в терминах дистрибуции» (Harris Z. S. 1951), цит. по: [Фриз 1965: 274]. (При этом как-то упускается из виду, что, по Л. Блумфилду, даже «фонология предполагает рассмотрение значений» [Блумфилд 1968: 76].)

С исключением семантической сферы отношение языка к действительности в сущности выпадает из поля зрения Йельской школы дескриптивизма.

Соответственно принятому принципу освещения отношения между языком и объективной реальностью меняется и анализ *языка в отношении к времени* как категории бытия.

Для **глоссематики** с ее установкой на универсальность, абстрагирующуюся от специфики отдельных языков и их изменений во времени, можно считать типичной ориентацию на *панхронию* или *ахронию*. По словам В. Брэндала, это «факторы общечеловеческие, стойко действующие на протяжении истории и дающие о себе знать в строе любого языка» [Брэндал 1960: 45].

В **Пражской школе** понятие структуры разрабатывается применительно как к *синхронии*, так и к *диахронии* [Трнка и др. 1960: 103, 108–110]. Уже в Тезисах ПЛК, опубликованных в 1929 г., обосновывается необходимость сочетания синхронических и диахронических методов, чтобы познать язык в его цельности: «...Целью языковых изменений часто является именно установление системы, ее сохранение, ее восстановление и т. д. Поэтому диахроническое исследование не только не исключает понятий системы и функции, а, напротив, без учета этих понятий такое исследование оказывается неполным. С другой стороны, синхроническое описание также не может полностью исключить понятия эволюции. В любой синхронно рассматриваемой части языковой системы сосуществуют и осознаются элементы прошедшего состояния, современного состояния и формирующегося будущего состояния» [Вахек 1964: 196]. Ранее эти факты получили глубокое освещение и объяснение в трудах А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртене (см. об этом [Зубкова 2002/2003]).

Ориентированная на *синхронию* **дескриптивная лингвистика** не исключает диахронический анализ. Больше того, З. Хэррис предполагает, что «после того как наука о языке достигнет более высокой стадии развития, возможно будет, очевидно, предсказывать и различные направления фонологических диахронических изменений на основе дескриптивного (синхронического) анализа» [Хэррис 1960: 168–169]. Пока же на очереди синхроническое описание, ибо «адекватная дескриптивная информация о языках — это необходимая посылка для понимания истории» [Блумфилд 1968: 559].

Расходясь в мнениях относительно существования языка во времени, основные структуральные направления различаются и по тому, какие *типы отношений внутри языковой структуры* получают преимущественное освещение в каждом из них.

Американская дескриптивная лингвистика, движимая антиментализмом Л. Блумфилда, в исследовании языка руководствуется его *установкой на изучение явлений, доступных наблюдению* по времени и месту; см. [Фриз 1965: 250, 264]. «Эта установка на наблюдаемость, — подчеркивает В. В. Белый, — является чрезвычайно характерной и, более того, фундаментальной общеметодологической чертой американского дескриптивизма» [Белый 1977: 161]. Данное обстоятельство объясняет, почему, характеризуя язык как предмет лингвистики, Л. Блумфилд неоднократно указывает: «Исследователей языка интересует прежде всего именно речевой акт» [Блумфилд 1968: 41], «в принципе исследователя языка интересует только сама речь» [Там же: 72]. Поскольку же «акт речи есть *высказывание*», постольку «совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности, есть *язык* данной речевой общности» [Блумфилд 1960: 145]. В приведенных определениях явно просматривается *отождествление языка с речью*.

Соответственно в дескриптивистике на первый план выдвигаются *непосредственно наблюдаемые* в речи **синтагматические отношения**, главным образом на уровне фонем и на уровне морфем. Основной целью дескриптивного исследования является «отношение порядка расположения (дистрибуция) или распределения (аранжировка) в процессе речи отдельных ее частей или признаков относительно друг друга» [Хэррис 1960: 154]. «Сначала устанавливаются дифференциальные фонологические элементы и исследуются отношения между ними. Затем определяются морфологические элементы и исследуются отношения между ними» [Там же: 155].

Различаются **два типа дистрибуции** — *неконтрастирующая* и *контрастирующая*. Неконтрастирующая дистрибуция характеризует лингвистически тождественные элементы — *варианты*. Контрастирующая дистрибуция характеризует лингвистически нетождественные *инвариантные единицы*.

По определению Ч. Хоккета, «два элемента одного типа (т. е. два аллофона, два морфа и т. п.) находятся в неконтрастирующей дистрибуции, 1) если они находятся в дополнительной дистрибуции и 2) если они находятся в отношении частичной дополнителности, в то время как в тех окружениях, в которых они оба встречаются, они находятся в свободной альтернации» (Hockett C. F. 1947), цит. по: [Хэмп 1964: 128]. Согласно уточненной формулировке Б. Блока, неконтрастирующими являются «два или более сегмента, сочетания или компонента, находящиеся: а) в отношении дополнительной дистрибуции друг с другом, б) в свободной вариации друг с другом или в) в отношении частично дополнительной дистрибуции, а частично свободной вариации друг с другом» (Bloch B. 1948), цит. по: [Там же]. Напротив, «если *a* и *b* встречаются в соответствующих друг другу позициях в высказываниях, относящихся к различным классам эквивалентности, то они обнаруживают контрастную дистрибуцию». Между членами контрастной пары «наблюдаются различия при сходном контексте» (Hockett 1942), цит. по: [Там же: 95–96].

Дистрибутивные критерии стали для дескриптивистов исходными *при определении элементов* на двух основных уровнях — *фонологическом* и *грамматическом*

(Hockett 1942), цит. по: [Хэмп 1964: 229]. На фонологическом уровне «фонетических данных должно быть достаточно для объяснения фонемного анализа, хотя он мог быть подсказан морфологией» (Welmers W. E. 1947), цит. по: [Там же]. Однако морфологические подсказки, опирающиеся на значение, в принципе избегаются.

Анализ начинается с разделения потока речи — высказывания — на последовательные отрезки. «Всякий раз, когда два сегмента, будь они смежные или нет, производятся одним и тем же артикуляционным способом и являются акустически тождественными, они представляют собой одну и ту же **фонетическую единицу** или **фон** (Pike K. L. 1944), цит. по: [Там же: 241].

На следующем этапе вводится понятие *позиции*, дистрибутивного окружения и соответственно понятие *аллофона* (термин предположительно принадлежит Б. Л. Уорфу). В отличие от фона под **аллофоном** понимается «класс таких *фонов*, которые все являются членами одной и той же фонемы и *встречаются* в одинаковом β -фонетическом окружении (*в одной и той же позиции*)» (Hockett 1942), цит. по: [Там же: 35; курсив мой. — Л. З.]. «Если два аллофона не противопоставлены друг другу, то о них говорится, что они находятся в отношении **дополнительности** или в **дополнительной дистрибуции**; это означает, что ни один из них не встречается в том окружении, в котором встречается другой» (Hockett 1958), цит. по: [Там же: 36].

К определению **фонемы** в дескриптивистике обращались многие лингвисты. К дистрибутивному критерию прибегают, в частности, Б. Блок, Дж. Трейджер, Ч. Хоккет. С точки зрения Б. Блока и Дж. Трейджера, высказанной в 1941 г., «звуковые типы, образующие фонему, должны быть фонетически сходными, находиться в отношении дополнительной дистрибуции и согласованности моделей; класс, составленный таким образом, должен контрастировать и быть взаимоисключающим по отношению к любому другому такому же классу в данном языке. Пересечения фонем не допускается» [Там же: 235]. Годом позже определение становится более лаконичным: «**Фонема** — это класс фонетически сходных звуков, контрастирующих и взаимоисключающих все (другие) подобные классы в том же языке»; «Фонема лишена значения» [Там же: 236]. В 1948 г. Б. Блок предлагает уточненный вариант определения: «Фонема — это класс звуков в высказываниях на данном диалекте, таких, что а) все члены (этого) класса содержат признак, отсутствующий во всех других звуках; б) различия между ними находятся в дополнительной дистрибуции или в свободной вариации; в) [этот] класс принадлежит множеству классов, которые взаимно контрастируют друг с другом, а вместе взятые исчерпывают (все звуки)» [Там же: 236]. В определении Ч. Хоккета, данном в 1942 г., «фонема является классом фонем, определяемых шестью критериями: 1) *сходством* одного или более признаков, 2) *непересечением* с другими фонемами, 3) *контрастной и дополнительной дистрибуцией*, 4) *полнотой* (учета признаков и фонем), 5) *согласованием моделей*, касающихся отдельных фонем, с общей фонемической моделью данного языка, 6) *экономичностью*, предполагающей установление наименьшего числа фонем [Там же: 236, а также 155, 203, 217, 259].

На грамматическом (морфологическом) уровне триада *фон* — *аллофон* — *фонема* соответствует триада *морф* — *алломорф* — *морфема* (см. [Хэмп 1964: 34–35, 115–118]).

Иерархические отношения между единицами разных уровней Л. Блумфилд и его последователи обычно рассматривают в направлении «снизу вверх» — *от фонемы к морфеме, далее к высказыванию и языку.*

В комплексных языковых формах Л. Блумфилд отмечает обратное направление иерархических связей. «...Каждая комплексная форма целиком строится из морфем» [Блумфилд 1968: 170] и «целиком разлагается... на морфемы» как *конечные составляющие* [Там же: 168–169]. В частности, «английская форма *Poor John ran away* “Бедный Джон убежал прочь” состоит из пяти морфем: *poor, John, ran, a-* (связанная форма, например, в *aground* “на мели”, *ashore* “на берегу”, *aloft* “наверху”, *around* “вокруг”) и *way*» [Там же: 169]. Сведение такой комплексной формы, как предложение, к последовательности морфем оставляет в стороне качественные различия между основными значащими единицами языка — предложением, словом и морфемой.

Структура комплексных форм выявляется путем анализа по непосредственным составляющим. Так, «...*непосредственными составляющими* *Poor John ran away* являются две формы: *poor John* “бедный Джон” и *ran away* “убежал прочь”; ...каждая из них в свою очередь представляет собой комплексную форму; непосредственно составляющими *ran away* будут морфема *ran* и комплексная форма *away*, составляющие которой — морфемы *a-* и *way*, и ...составляющими *poor John* являются морфемы *poor* и *John*. Только таким путем надлежащий анализ (то есть такой, при котором учитываются значения) приведет к выделению конечных составляющих морфем» [Там же]. В итоге анализ по непосредственным составляющим явно обнаруживает иерархические отношения между языковыми формами в направлении «сверху вниз» — от наиболее сложных форм к простейшим. Такие отношения имеют место не только в предложении, но и в слове. Именно принцип непосредственно составляющих позволяет Л. Блумфилду выделить определенные классы слов [Там же: 225].

В языках со сложным морфологическим строем Л. Блумфилд усматривает *иерархию* конструкций и различает «несколько *иерархических ступеней* морфологической структуры. Во многих языках эти иерархические ряды распадаются на классы: в структуре комплексного слова, если исходить из его непосредственно составляющих, прежде всего обнаруживается внешний слой *словоизменятельных* конструкций, а затем — внутренний слой конструкций *словообразовательных*». «Так, в английском языке слово *actresses* “актрисы” состоит, прежде всего, из *actress* “актриса” и *[-ez]* — суффикса множественного числа...; *actress* в свою очередь состоит из *actor* “актер” и *[-ess]* — суффикса со значением “женского пола”... Наконец, *actor* состоит из *act* “играть” и *[-tɹ]* — суффикса деятеля» [Там же: 240].

В целом ориентация дескриптивистов на наблюдаемые в речи формальные характеристики безотносительно к семантике и парадигматическим связям, естественно, ограничивает понимание механизмов целостности языка, т. е. его внутреннего

единства. Это проявляется в суммативном толковании языка вообще и языковых форм в частности. (О суммативном толковании языка дескриптивистами см., например, [Белый 1977: 177–181].)

Весьма показательны в этом смысле некоторые определения языка. В книге «Язык» Л. Блумфилд пишет: «С физиологической точки зрения язык не является функциональным единством, но складывается из великого множества процессов, которые объединяются в единый всеобъемлющий комплекс навыков, возникающий благодаря повторяемости стимулов на протяжении всей предшествующей жизни человека» [Блумфилд 1968: 51]. «Язык каждого говорящего (за исключением индивидуальных особенностей...) — это *результат сложения* всего того, что он слышал от других людей» [Там же: 60; здесь и выше выделено мною. — Л. З.]. Соответственно язык определяется как *совокупность* или *множество* тех или иных элементов. Напомню определение, данное Л. Блумфилдом в статье «Ряд постулатов для науки о языке» (1926). Оно исходит из того, что «акт речи есть *высказывание*». Поэтому «совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в речевой общности, есть язык данной речевой общности» [Блумфилд 1960: 145]. Б. Блок понимает под языком «множество условных слуховых символов, с помощью которых члены речевой общности вступают во взаимодействие друг с другом» [Хэмп 1964: 261].

Если, предположим, «каждое высказывание полностью образуется формами», а «каждая форма полностью образуется фонемами» [Блумфилд 1960: 146–147], то кажется логичным заключить: «каждое высказывание может быть полностью идентифицировано как комплекс элементов фонематики, но каждое высказывание может быть полностью идентифицировано также как комплекс элементов морфематики» [Хэррис 1960: 168].

Пражская школа, выросшая на базе *Пражского лингвистического кружка* (ПЛК), стремится «вскрыть законы структуры лингвистических систем и их эволюции» [Тезисы... 1967: 18]. Поэтому она, во-первых, не замыкается в рамках синхронного анализа, а во-вторых, в исследованиях языковой структуры руководствуется установкой на *функцию*, т. е. назначение, роль, цель. Соответственно в «Тезисах ПЛК» (1929) язык определяется по своей целевой направленности: «...*язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели*» [Там же: 17]. Сообразно со структурным и функциональным характером языка «подчеркивалась важность не только отношений внутри языковых систем, но также отношений языковых систем и языковых проявлений ко внеязыковой действительности», а кроме того, принималась во внимание, хотя и не в достаточной мере, связь между языком и мышлением [Вахек 1964: 250]. Всё это выделяет Пражскую школу среди других направлений структурализма.

В понимании пражцев, язык представляет собой иерархически организованное целое. Это отчетливо показал Б. Гавранек. В 1940 г. он писал: «Структурные отношения между языковыми явлениями неоднородны... [Особую роль играет] отношение между знаком, с одной стороны, и означаемым и означающим — с другой.

Основной класс означающих образован с помощью элементов, относящихся к звуковому уровню; в структуре релевантных фактов этого уровня (фонемы и фонематические различия) вскрывается фонологическая система данного языка. В отношении, которое связывает означающее и означаемое со знаком, участвуют звуковой уровень и семантический уровень; этот последний делится на уровень лексических значений (выполняющий номинативную функцию) и уровень грамматических значений. Отношение между этими двумя последними уровнями структурно различно в языках разного типа» [Вахек 1964: 228–229]. В 1958 г., продолжая обсуждение вопроса об иерархии языковых уровней, Б. Гавранек отмечает: «...Язык — это чрезвычайно сложная система... Он имеет звуковой уровень и семантический уровень, причем... оба постоянно связаны определенными отношениями. Ясно, что семантический уровень не представляет собой чего-то однородного и единого; однако... придется признать, что на этом уровне лексические и грамматические компоненты связаны более тесно и что семантический уровень как целое противопоставлен звуковому уровню. Внутреннее членение семантического уровня в целом отрицать невозможно; однако было бы опасно рассматривать грамматический и лексико-семантический уровни совершенно изолированно друг от друга. Еще труднее разграничить морфологический и синтаксический уровни. Здесь каждый язык предлагает свое собственное решение, однако это не означает, что языки не имеют между собой ничего общего» [Там же: 229].

В итоге иерархическое членение языкового целого можно представить так:



Немаловажное значение придается функциональным свойствам языковой системы. Будучи знаковым образованием, нацеленным на выполнение определенных функций, «язык образуется благодаря *совместному функционированию двух систем. Одна из этих систем — семантическая, другая — звуковая.* Обе системы относительно автономны, поскольку они неоднородны; однако, с другой стороны, они тесно связаны и лишь *благодаря их совместному функционированию существует языковая система как инструмент мышления и общения...* <...> ...Эти частные системы, несмотря на существенное различие их субстанций, зависят одна

от другой таким образом, что *их совместное согласованное функционирование обеспечивает выполнение основной задачи языка, то есть **взаимопонимание***». Согласованность указанных систем не означает их равновесности, поскольку «*звучающая система... в известном смысле **подчинена семантической системе***», включающей морфологическую, синтаксическую и лексическую системы (Paulíny E. 1958), цит. по: [Вахек 1964: 199–200; выделено мною. — Л. 3.]. Эта подчиненность выражается в смысловозначительной функции фонологических оппозиций.

Благодаря внутреннему единству, а значит, целостности «...язык предстает как сложная система неразрывно связанных, взаимозависимых фактов, которые даже самая точная лингвистика не может распределить по независимым категориям» (Mathesius V. 1929), цит. по: [Там же: 261]. «Уже с самого детства каждый говорящий усваивает язык *не как конгломерат случайных элементов, но как систему элементов, систему сложную* и — что следует особенно подчеркнуть — *не вполне замкнутую*» (Vachek J. 1958) [Там же; выделено мною. — Л. 3.], ибо «...язык находится в постоянном движении» (Navránek B. 1958), цит. по: [Там же].

Целям выявления структурных законов языковых систем и, в частности, принципов установления полного состава тех или других элементов служит логическая классификация типов **парадигматических отношений**, которую разработал один из ведущих теоретиков ПЛК Н. С. Трубецкой в своем классическом труде «Основы фонологии» (1939). Кардинальное значение данной классификации состоит в обосновании *корреляции между составом элементов и системой противоположений*.

На материале конкретных фонологических систем Трубецкой доказывает, что «**фонемный состав** языка является, по существу, лишь **коррелятом системы фонологических оппозиций**. ...В фонологии *основная роль принадлежит не фонемам, а смысловозначительным оппозициям*» [Трубецкой 1960: 74; выделено мною. — Л. 3.]. Именно оппозиции придают каждой отдельной фонеме *качественную определенность*, обуславливая фонологическое содержание. Последнее представляет собой «совокупность всех фонологически существенных признаков фонемы, то есть признаков, общих для всех вариантов данной фонемы и отличающих ее от других и прежде всего от близкородственных фонем в данном языке» [Там же: 73]. «Определение содержания фонемы зависит от того, какое место занимает та или иная фонема в данной системе фонем, то есть в конечном счете от того, какие другие фонемы ей противопоставлены» [Там же: 74]. Отсюда, в свою очередь, следует, что «любая фонема обладает определенным фонологическим содержанием лишь постольку, поскольку система фонологических оппозиций обнаруживает определенный порядок или структуру. Чтобы понять эту структуру, необходимо исследовать различные типы фонологических оппозиций» [Там же: 74–75].

Понятие оппозиции в трактовке Трубецкого, по сути, основывается на отношении **тождества и различия**. В любой оппозитивной системе «противоположение (оппозиция) предполагает не только признаки, которыми отличаются друг от друга

члены оппозиции, но и признаки, которые являются общими для обоих членов оппозиции. Такие признаки можно считать основанием для сравнения» [Трубецкой 1960: 75].

В любой системе различаются три класса оппозиций:

А. *по отношению к системе оппозиций в целом* —

- а) одномерные — многомерные,
- б) пропорциональные — изолированные;

Б. *по отношению между членами оппозиции* —

- а) привативные,
- б) ступенчатые (градуальные),
- в) равнозначные (эквивалентные);

В. *по действительности в различных позициях*

(в разных синтагматических условиях) —

- а) постоянные,
- б) нейтрализуемые [Там же: 74–93].

Иерархия указанных трех классов не является случайной. *Первому классу отводится определяющая роль в структурной организации системы.* Так, «структура системы фонем зависит от распределения одномерных, многомерных, пропорциональных и изолированных оппозиций. Именно поэтому и имеет такое большое значение классификация оппозиций по четырем классам. Принципы классификации при этом связаны с системой фонем в целом: одномерность или многомерность оппозиции зависит от того, свойственно ли то, что является общим у членов данной оппозиции, лишь этим членам или же оно присуще и другим членам той же системы; пропорциональный или изолированный характер оппозиции зависит от того, повторяется или нет то же отношение и в других оппозициях той же системы» [Там же: 82].

Есть своя иерархия и *внутри* первого класса противоположений. Вот почему Трубецкой подчеркивает: «Различение одномерных и многомерных оппозиций имеет исключительное значение для общей теории оппозиций. Оно может быть обнаружено в любой оппозитивной системе» [Там же: 75], причем «в любой системе оппозиций многомерные противоположения численно превышают одномерные», что отнюдь не означает несущественности последних. Напротив, «...для определения фонологического содержания фонемы наиболее существенны как раз одномерные оппозиции» [Там же: 76]. Косвенно это подтверждается той ролью, какую играют среди многомерных оппозиций однородные противоположения, «члены которых могут быть представлены в качестве крайних точек “цепочек”... из одномерных оппозиций» [Там же: 76–77]. Такова в немецком языке многомерная оппозиция гласных *и—е* в цепочке одномерных оппозиций *и—о*, *о—ö*, *ö—е*. Несмотря на численную ограниченность однородных многомерных противоположений сравнительно с неоднородными, «...для определения фонологического содержания фонемы, а следовательно, и для общей структуры фонологической системы однородные оппозиции очень важны» [Там же: 77].

С другой стороны, «в любой системе изолированные оппозиции гораздо многочисленнее пропорциональных». Соотношение между указанными типами оппозиций в различных языках в основном одинаково: «...наибольшую группу образуют изолированные многомерные оппозиции, наименьшую — изолированные одномерные оппозиции; между этими крайними точками располагаются пропорциональные оппозиции, среди которых многомерные всегда преобладают над одномерными» [Трубецкой 1960: 78].

На примере немецкой системы согласных и гласных Трубецкой показывает, что «благодаря различным типам оппозиций достигается внутренняя упорядоченность или структурность фонемного состава как системы фонологических оппозиций» [Там же: 79].

Два других класса оппозиций, особенно последний, в большей степени характеризуют *функционирование* системы.

Во втором классе тип оппозиции фактически определяется как структурой, так и функционированием системы. Отношение между членами оппозиции зависит от того, можно ли их представить а) как утверждение или отрицание признака, т. е. как противоположение *маркированного* члена оппозиции *немаркированному*, либо б) как различные ступени одного и того же признака, либо в) они логически равноправны, не являясь ни утверждением или отрицанием признака, ни двумя ступенями какого-то признака. В данном классе оппозиций, различающихся по отношению между противоположаемыми членами, исключительно важны для фонологии привативные оппозиции. «Градуальные оппозиции сравнительно редки и не столь важны, как привативные. Эквиполентные оппозиции — самые частые оппозиции в любом языке» [Там же: 83].

При классификации оппозиций по их действительности в различных позициях и соответственно по объему смысловозначительной силы Трубецкой исходит из функционирования фонологической системы, понимая под ним «допустимую для данного языка сочетаемость фонем, а также условия фонологической действительности отдельных оппозиций» [Там же: 86].

Элементы, возможные во всех положениях, образуют постоянную фонологическую оппозицию и, таким образом, являются самостоятельными фонемами. Если, напротив, какие-либо элементы «являются взаимодополняющими звуками, ...их следует рассматривать не как две самостоятельные фонемы, а как комбинаторные варианты одной фонемы» [Там же]. Если же в одних положениях оппозиция сохраняет свою значимость, а в других утрачивает, значит, в этих последних позициях она нейтрализуется.

«...Нейтрализоваться могут только одномерные оппозиции» [Там же: 87]. «В тех положениях, где способное к нейтрализации противоположение действительно нейтрализуется, специфические признаки членов такого противоположения теряют свою фонологическую значимость; в качестве действительных (релевантных) остаются только признаки, являющиеся общими для обоих членов оппозиции (иными словами, основание для сравнения в данной оппозиции)» [Там же].

Возвращаясь к вопросу о фонологическом содержании фонем, можно заключить, что обособление того или иного различительного признака и степень связи между членами оппозиции обуславливаются характером противоположения. «...Участие двух фонем в одномерной пропорциональной привативной и к тому же нейтрализуемой оппозиции способствует, с одной стороны, несложному анализу фонологического содержания этих фонем, поскольку дифференциальный (различительный) признак в данном случае легко обособляется от общего (= основания сравнения), и, с другой стороны, трактовке этих фонем как особенно близкородственных между собой. В противоположность этому две фонемы, являющиеся членами изолированной многомерной (и, следовательно, ненейтрализуемой) оппозиции, максимально неясны в отношении своего фонологического содержания и максимально далеки друг от друга по степени родства» [Трубецкой 1960: 94].

Как видно, роль различных типов оппозиций в структурировании системы далеко не одинакова. «Чем больше в данной системе нейтрализуемых привативных пропорциональных одномерных и однородных оппозиций, тем структура, связи внутри нее прозрачнее; наоборот, чем более доминируют в данной системе логически эквивалентные изолированные многомерные и разнородные оппозиции, тем связи внутри структуры менее прозрачны» [Там же: 94]. Чтобы выделить привативные пропорциональные одномерные оппозиции среди всех прочих, для парных фонем, участвующих в такой оппозиции, вводится новое толкование термина *корреляция*. Под ней Трубецкой понимает «совокупность всех коррелятивных пар, обладающих одним и тем же коррелятивным признаком» [Там же: 95].

Подытоживая результаты анализа трех способов классификации оппозиций, Трубецкой еще раз указывает на их общеязыковую значимость: «Эти способы рассмотрения и принципы классификации имеют силу для *любой*, а не только фонологической *системы оппозиций*. Они не заключают в себе ничего специфически фонологического» [Там же: 100; выделено мною. — Л. 3].

Следует особо подчеркнуть, что Н. С. Трубецкой и другие пражцы, учитывая позиционные условия действительности отдельных оппозиций, анализируют парадигматические отношения *в единстве* с синтагматическими. Представители Пражской школы не признают жесткого разделения на «синтагматику» и «парадигматику» в языковом анализе, «так как оба эти отношения проходят через все слои языка» [Трнка и др. 1960: 107]. «...Отношения и носители отношений (“элементы”) являются коррелятивными понятиями, обязательно сосуществующими» [Там же: 100].

Создатель *глоссематики* Л. Ельмслев изложил ее основы в своей книге «Прологомены к теории языка» (1943). Видя в языке средство познания, он стремился «направить ищущий луч света на само средство познания» [Ельмслев 1960в: 266]. «Лингвистика, — писал ученый, — должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *suī generis*» [Там же: 267]; «...она должна искать **постоянное**, не связанное с какой-

либо внеязыковой “реальностью”, то постоянное, что делает язык языком», «организованным целым с языковой структурой как ведущим принципом» при рассмотрении любой «реальности», включая онтологическую [Ельмслев 1960в: 269]. В перспективе проекция языковой структуры на окружающие ее явления должна позволить удовлетворительно объяснить их в свете этой структуры, и таким образом «...после анализа глобальное целое (язык в жизни и действительности) может снова рассматриваться синтетически как целое, ...как явление, построенное в соответствии с ведущим принципом», а не как некий случайный конгломерат [Там же: 280].

В поисках постоянного в языке Ельмслев опирается на отношение части и целого. Разделение объекта на части, убежден он, должно соответствовать взаимозависимостям между этими частями [Там же: 282]: «...и рассматриваемый объект, и его части существуют только в силу этих зависимостей; рассматриваемый объект как целое может быть определен только через их общую сумму; каждая из его частей может быть определена только через зависимости, связывающие ее с другими соотносимыми частями, с целым и с частями следующего уровня, и через сумму зависимостей, которые связывают части этого следующего уровня друг с другом». Итак, объекты «являются не чем иным, как пересечением пучков подобных зависимостей». Отсюда основополагающий вывод о первичности отношений / зависимостей, что, кстати, вполне согласуется с аналогичным заключением Ф. де Соссюра. В понимании Л. Ельмслева, «зависимости, которые наивный реализм рассматривает как вторичные, предполагающие существование объектов, становятся с этой точки зрения первичными, предопределяемыми взаимными пересечениями» [Там же: 283].

«...Лингвистическая теория начинает с текста как единственно данного» [Там же: 281], а дан он изначально «в своей нерасчлененной и абсолютной целостности» [Там же: 273]. Описание текста строится «путем анализа или последовательного разделения, т. е. с помощью дедуктивного перехода от класса к сегменту и сегменту сегмента» [Там же: 281]. В сущности, указанная процедура иерархического деления была продемонстрирована уже Платоном в философии (см. «Софист») и И. А. Бодуэном де Куртенэ в лингвистике (см. его теорию двоякого членения речи).

Наряду с аналитической процедурой деления от класса к сегменту Л. Ельмслев, подобно Платону в философии и В. Гумбольдту в лингвистике, допускает обратную — синтетическую — процедуру, т. е. последовательный переход от сегмента к классу, включая переход от единичного, частного к общему, без чего, надо заметить, было бы невозможно сведение множества *вариантов* к ограниченному числу *инвариантов*. Мотивируя преимущества анализа, понимаемого как дедуктивный метод, Ельмслев пишет: «Фактически дедуктивный метод не препятствует тому, чтобы впоследствии иерархия была пройдена в обратном направлении», поскольку «...синтез предполагает анализ, но не наоборот. Это — простое следствие того факта, что непосредственно данным является неанализированное (нерасчлененное. — Л. З.) *целое*» [Там же: 291].

В ходе анализа нерасчлененного текста «при каждом делении можно составить инвентарь сущностей, обладающих одними и теми же отношениями, т. е. способными занимать одно и то же место в цепи» [Ельмслев 1960в: 300]. Особое значение при рассмотрении *языка как системы* Ельмслев придает тому, что «...раньше или позже в процессе дедукции наступит момент, когда число сущностей, вошедших в инвентарь, станет ограниченным и далее они будут постоянно уменьшаться» [Там же: 301]. «По сути дела, если бы не существовало ограниченных инвентарей, лингвистическая теория не смогла бы надеяться достичь своей цели — сделать возможным простое и исчерпывающее описание системы, на которую опирается текст» [Там же].

Последнее означает, что в отношении между процессом (текстом) и системой (языком) решающим началом является система. «...Существование системы есть необходимая предпосылка для существования процесса: процесс существует благодаря системе, стоящей за ним, системе, управляющей им и определяющей его в его возможном развитии. <...> Таким образом, невозможно иметь текст, не имея языка, лежащего в его основе. С другой стороны, можно иметь язык, не имея текста, построенного на этом языке», когда «...данный язык предвидится лингвистической теорией, но... ни один процесс, относящийся к нему, не **реализован**», т. е. текст является виртуальным [Там же: 298].

Уточняя далее понятие *системы* на основе процедуры последовательного анализа, Ельмслев не может вполне удовлетвориться традиционным нечетким определением языка как *системы знаков*. Знаками в собственном смысле слова являются только *носители значения*, или, по Ельмслеву, *знаковые выражения*. Таковы предложения, слова и их наделенные значениями компоненты (корни и аффиксы), которые обычно выступают в качестве конечных, неразложимых знаков [Там же: 302]. В отличие от этого слоги и фонемы представляют собой «только части знаковых выражений» [Там же: 304]. Таким образом, последовательная аналитическая процедура, согласно уже сложившейся к тому времени традиции, начинается с предложений и заканчивается фонемами.

Однако принятый в традиционной лингвистике анализ текста не устраивает Ельмслева, ибо он «не касается ни тех частей текста, которые имеют очень большую протяженность (таковы, например, отдельные произведения, главы, параграфы и т. п. — *Л. 3.*), ни тех частей текста, которые имеют маленькую протяженность». Необходимо не пропускать ни одной ступени при делении текста. «...Анализ должен идти в направлении от инвариантов, имеющих наибольшую возможную протяженность, к инвариантам, имеющим наименьшую возможную протяженность» [Там же: 353], вплоть до таких конечных точек, как *глоссемы*. Они определяются как «минимальные единицы формы», иными словами, как «неразложимые инварианты» [Там же: 337]. «...Глоссема выражения будет манифестироваться частью фонемы» [Там же: 356].

В результате аналитической процедуры выстраивается **иерархия**, которая включает в себя знаки на высших ступенях и незнаки на низших. Сравнительно

со знаками незнакомы представлены более ограниченным инвентарем. Количественное различие в инвентаре знаков и незнаком, считает Ельмслев, по-видимому, объясняется целью языка. По своей цели, по своей внешней функции во внеязыковой реальности язык действительно является знаковой системой, способной к образованию все новых знаков и в то же время удобной в обращении, практичной в усвоении и употреблении. «При условии неограниченного числа знаков это достигается тем, что все знаки строятся из незнаком, число которых ограничено... Такие незнакомы, входящие в знаковую систему как часть знаков, мы назовем **фигурами**... Таким образом, язык организован так, что с помощью горстки фигур и благодаря их все новым и новым расположениям может быть построен легион знаков. <...> ...В указанной черте — *построение знака из ограниченного числа фигур* — обнаруживается *наиболее существенная черта в структуре любого языка*.

Это означает, что языки не могут описываться как чисто знаковые системы. По цели, обычно приписываемой им, они прежде всего *знаковые системы*; но по своей *внутренней структуре* они прежде всего нечто иное, а именно — *системы фигур*, которые могут быть использованы для построения знаков» [Ельмслев 1960в: 305; курсив мой. — Л. 3.]. Причем Ельмслев указывает «на возможность объяснения и описания неограниченного числа знаков с помощью ограниченного числа фигур, в том числе с точки зрения их содержания» [Там же: 325; выделено мною. — Л. 3.].

Для такого объяснения потребовалось предварительно уточнить само понятие знака. Ельмслев исходит из того, что между двумя сущностями — **выражением** и **содержанием** — имеет место **знаковая функция** [Там же: 306]. «Знаковая функция сама по себе есть солидарность (т. е. взаимозависимость. — Л. 3.). Выражение и содержание солидарны — они необходимо предполагают друг друга. Определенное выражение есть выражение постольку, поскольку это выражение содержания, а содержание является содержанием постольку, поскольку это содержание выражения» [Там же: 307].

Чтобы избежать отождествления слова **знак** исключительно с *выражением* и подчеркнуть связь с обозначаемым, Ельмслев предлагает «использовать слово **знак** для обозначения единицы, состоящей из формы содержания и формы выражения и установленной на основе солидарности между этими двумя формами», т. е. на основе **знаковой функции**, которая *характеризует знак как двустороннюю сущность*, действующую «“вовне” — по отношению к субстанции выражения и “вовнутрь” — по отношению к субстанции содержания» [Там же: 316].

«Различие между **выражением** и **содержанием** и их взаимодействием в виде знаковой функции является *основой структуры* любого языка. Любой знак, любая система знаков, любая система фигур подчинены конечной цели существования знаков, т. е. языку, содержащему в себе форму выражения и форму содержания». Поэтому *первой ступенью анализа* и системы, и текста должно быть *разделение на две сущности — план выражения и план содержания* [Там же: 317; выделено мною. — Л. 3.]. То, что «... в области содержания менее развит аналитический

метод и труднее, по-видимому, получить объективные критерии» [Ельмслев 1960в: 322], не должно смущать. Такая трудность вряд ли случайна. Ельмслев объясняет ее чисто контекстуальным характером всех значений, включая лексические: «...любое знаковое значение возникает в контексте» — ситуационном или эксплицитном [Там же: 303].

При дальнейшем разделении целого «на каждой ступени анализа должен быть составлен инвентарь сущностей с единообразными отношениями» [Там же: 318]. Такие сущности Ельмслев называет *элементами*.

Аналитическая процедура имеет задачей выделить элементы, являющиеся частями текста и членами системы. И разделение текста на части, и вычленение членов в системе осуществляются на основе зависимостей, или функций, между элементами, так что «...анализ заключается в установлении функций» [Там же: 349].

Ельмслев выделяет **три типа зависимостей**, или функций, между членами зависимости, или функтивами: 1) «взаимные зависимости, при которых один член предполагает существование другого и наоборот», 2) «односторонние зависимости, при которых один член предполагает существование другого, но не наоборот», 3) «более свободные зависимости, в которых оба члена являются совместимыми, но ни один не предполагает существования другого» [Там же: 284]. Другими словами, это функция между двумя постоянными (1), функция между постоянной и переменной (2), функция между двумя переменными (3) [Там же: 294].

Кроме того, Ельмслев проводит различие между функцией «*и* — *и*» и функцией «*или* — *или*», т. е., в его терминах, между **реляцией** и **корреляцией**. Данное различие лежит в основе процесса и системы: при процессе в тексте имеет место *сосуществование* функтивов, тогда как в системе наличествует *альтернация* (*взаимозамена*, *выбор*) функтивов [Там же: 295]. Соответственно по традиции, идущей от Ф. де Соссюра, семиотический процесс (текст) определяется как **синтагматика**, семиотическая система (язык) — как **парадигматика** [Там же: 297–298, 364].

Анализ текста на основе указанных функций корреляции и реляции является, далее, предпосылкой для инвентаризации элементов путем выявления наименьшего числа объектов, выступающих в качестве **инвариантов** по отношению к **вариантам** на данной ступени анализа. Опираясь на взаимозависимость, связывающую форму выражения и форму содержания, Ельмслев вслед за фонологами Пражского кружка указывает, что «...различительный фактор должен рассматриваться как существенный для выявления инвариантов и для различения инвариантов и вариантов. Инварианты плана выражения отличаются в том случае, если между ними имеется корреляция (например, корреляция между *e* и *a* в *pet* — *pat*), которой соответствует корреляция в плане содержания (корреляция между сущностями содержания *pet* и *pat*), так что мы можем установить **реляцию** между корреляцией выражения и корреляцией содержания. Эта реляция есть непосредственное следствие знаковой функции, солидарности между формой выражения и формой содержания. <...> ...Этот принцип должен быть распространен на все

инварианты языка независимо от их степени или от их места в системе. Поэтому принцип действителен для всех сущностей выражения, вне зависимости от их протяженности, и не только для минимальных сущностей: он пригоден и для плана содержания в той же мере, как и для плана выражения» [Ельмслев 1960в: 323].

Последнее положение особенно важно ввиду устоявшихся предубеждений относительно самой возможности расчленения содержательной стороны минимального знака на меньшие компоненты [Там же: 325]. Однако «...процедура здесь точно такая же, как и в случае с планом выражения» [Там же]: «...различие между инвариантами и вариантами в плане содержания может быть проведено в соответствии с тем же самым критерием (мы имеем дело с двумя инвариантами содержания только тогда, когда их корреляция имеет реляцию к корреляции в плане выражения). <...> Наконец, отсюда вытекает неизбежное логическое следствие: *в плане содержания* точно так же, как и в плане выражения, *опыт замены* дает нам *возможность выделить фигуры* благодаря разделению минимальных содержаний знаков на функтивы (сущности и их взаимные реляции), составляющие их» [Там же: 324; выделено мною. — Л. 3.].

Таким образом, в ходе последовательной аналитической процедуры в обоих планах производится сведение сущностей, входящих в неограниченные инвентари, к сущностям, входящим в ограниченные инвентари [Там же: 328–329] — вплоть до фигур в обоих планах. Разделение функтивов на два класса — инварианты и варианты, а также их разграничение основываются на коммутационном тесте. Под **коммутацией** Ельмслев понимает «корреляцию в одном плане, которая имеет реляцию к корреляции в другом плане языка». Явление, противоположное коммутации, — **субституция**, под которой «понимается отсутствие мутации между членами парадигмы. <...> Тогда **инварианты** являются коррелятами с взаимной коммутацией, а **варианты** — коррелятами с взаимной субституцией» [Там же: 331]. «Число инвариантов в пределах каждой категории устанавливается посредством коммутации» [Там же: 332].

Столь высокая значимость коммутации приводит Л. Ельмслева к заключению, что изучение отношения между выражением и содержанием должно исходить из их взаимозависимости, вследствие чего они «не могут быть отделены друг от друга без значительного ущерба» [Там же: 333]. И с этим трудно не согласиться, особенно если взаимозависимость между содержанием и выражением не ограничивается тем, что они *предполагают* друг друга, а толковать шире, чем Л. Ельмслев, — как такое взаимоотношение, при котором содержание и выражение, *взаимодействуя, взаимообуславливают* друг друга, вследствие чего между ними устанавливается определенная **согласованность** и **знак обретает единство**.

В связи с различием двух планов немаловажно, насколько оно совместимо с противоположения «форма — материя / субстанция» и «язык — речь».

Согласно Л. Ельмслеvu, Ф. де Соссюр, противопоставляя язык и речь, соотносит понятие формы с языком не всегда последовательно, вследствие чего язык трактуется то как «чистая форма» (как чистая структура соотношений, как схема), то как

«форма в субстанции» [Ельмслев 1960а: 52]. Ельмслев стремится очистить понятие формы от малейших намеков на субстанциональность.

Следуя сосюрговскому определению языка как совокупности отношений, Ельмслев рассматривает язык как имманентную структуру [Ельмслев 1960в: 279]. Соответственно для Ельмслева язык как чистая форма — это схема взаимных соотношений, сетка синтагматических и парадигматических отношений [Ельмслев 1960а: 53; 1960г: 59], короче — сеть зависимостей, сеть функций [Ельмслев 1960б: 47; 1960г: 58], элементы которой являются чисто оппозитивными, релятивными и негативными сущностями, не имеющими никаких позитивных свойств [Ельмслев 1960г: 60].

Основным предметом изучения лингвистики, по Ельмслеву, является знаковая функция как «конституирующее качество языка» [Ельмслев 1960б: 48]. Знаковая функция имеет место между двумя сущностями — выражением и содержанием, которые необходимо предполагают друг друга и определяются противопоставительно и соотносительно — только по своей взаимной солидарности [Ельмслев 1960в: 307, 318]. «Различие между выражением и содержанием и их взаимодействием в виде знаковой функции является основой структуры любого языка» [Там же: 317].

Знаковая функция образует **форму содержания** и **форму выражения** [Там же: 312].

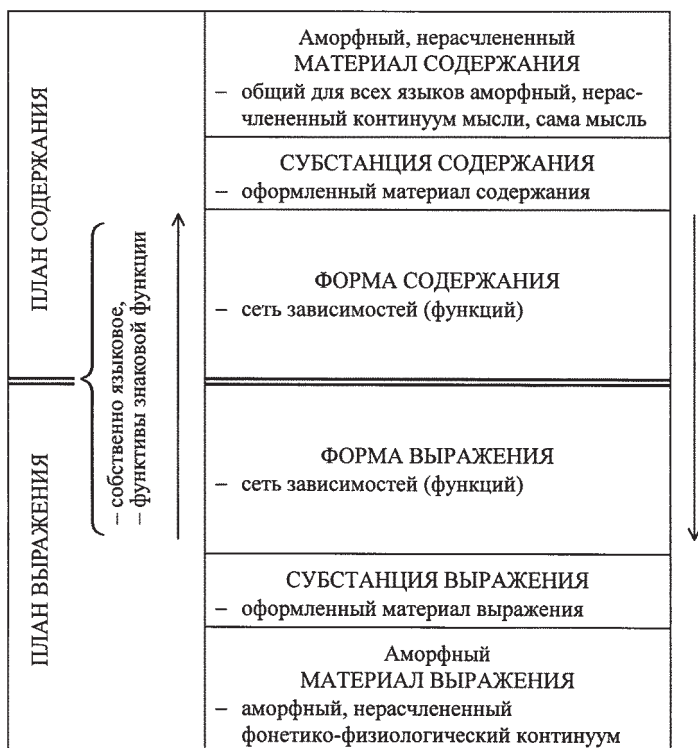
В отличие от Ф. де Соссюра, противопоставлявшего форме лишь нерасчлененную материю / субстанцию, Л. Ельмслев, в сущности, следует Платону, противопоставившему бесформенной первичной материи оформленную вторичную материю. Соответственно, Ельмслев наряду с формой различает, с одной стороны, **материал** как фактор, «общий для всех языков вообще» [Там же: 308], который и в содержании, и в выражении существует предварительно в виде аморфной массы, как нерасчлененная сущность, *нерасчлененный аморфный континуум* [Там же: 309, 310, 313], а с другой стороны — **субстанцию**, которая возникает путем *проекции формы на материал*, вследствие чего неоформленный материал различно располагается, членится, формируется в разных языках [Там же: 309–310]. «Это похоже, — пишет далее Ельмслев, — на одну и ту же горсть песка, которая принимает совершенно различные формы, или на облако в небе, с каждой минутой меняющее свои очертания на глазах Гамлета. Подобно тому как песок может принимать различные формы, а облако вновь и вновь менять свои очертания, принимает различную форму или различную структуру в разных языках и исследуемый нами материал» [Там же: 310]. Таким образом, в субстанции материал, несмотря на чувственную текучесть, не существует вне формы: в каждый данный момент и горсть песка, и облако имеют какую-то форму. Иное дело, что она подвижна и одна форма может тут же смениться другой.

И в плане содержания, и в плане выражения материал подчинен форме в качестве субстанции [Там же: 310, 314]. Форма независима и произвольна в отношении к материалу, который она формирует в субстанцию [Там же: 310]. В той зависимости, которая связывает форму и субстанцию, форма, будучи необходимой

предпосылкой для существования субстанции, является постоянной, субстанция — переменной [Ельмслев 1960в: 361]: «на основе произвольной реляции между формой и субстанцией одна и та же сущность лингвистической формы может манифестироваться в совершенно различных субстанциональных формах при переходе от одного языка к другим» [Там же: 352].

Так как субстанция, манифестирующая языковую форму или, иначе, схему, отождествляется у Ельмслева с языковым узусом [Там же: 361], то противопоставление формы и субстанции есть противопоставление схемы и узуса. Это последнее противопоставление коррелирует, согласно Ельмслеву, с сосноровской дихотомией «язык — речь» и могло бы заменить ее [Ельмслев 1960г: 66]: язык как чистая форма, определяемая независимо от ее социального осуществления и материальной манифестации, — это схема [Там же: 59], речь — это реализация [Там же: 64]. В трактовке Ельмслева, «...теория реализации включает в себя всю теорию субстанции» и имеет в качестве подлинного объекта узус, понятие которого покрывает в сущности понятия нормы и акта речи. «Реализация схемы обязательно является узусом» [Там же: 65]. Таким образом, **язык** — это **форма** и **схема**, **речь** — это **субстанция** и **узус**.

В итоге с учетом дихотомии «язык — речь» исходное соотношение формы и материи применительно к языку принимает у Л. Ельмслева следующий вид:



Данная схема наглядно показывает неудовлетворительность, неполноту принятого Ф. де Соссюром двоичного разделения на форму и субстанцию, ибо в действительности имеет место различие двух форм разных иерархий — языковой формы и формы материала [Ельмслев 1960в: 377]. В качестве последней выступает языковая субстанция, являющаяся субстанцией по отношению к данной языковой форме и формой по отношению к общему для всех языков материалу. «Таким образом, то, что с одной точки зрения является “субстанцией”, с другой точки зрения является “формой”» [Там же: 337].

Сходная оборачиваемость характеризует определяемые противопоставительно и соотносительно планы языка. Вследствие этого «...план выражения и план содержания могут быть исчерпывающе и непротиворечиво описаны как совершенно аналогичные по своей структуре, так что можно предвидеть идентично определяемые категории в обоих планах. Это является еще одним существенным подтверждением того взгляда, что содержание и выражение следует рассматривать как взаимосвязанные и равные во всех отношениях сущности» [Там же: 318]. То, что «...обе стороны (оба плана) языка имеют совершенно аналогичную категориальную структуру» [Там же: 356], дает основания для вывода об их изоморфизме. Подобные представления позднее были закреплены терминологически, например, в обозначениях инвариантных и вариантных единиц обоих планов (ср.: фон — аллофон — фонема, морф — алломорф — морфема, сема — аллосема — семема и т. п.).

Однако «аналогичное» не значит «тождественное». Логической «предпосылкой необходимости оперировать двумя планами должен быть тот факт, что два плана ... не могут иметь абсолютно тождественной структуры, т. е. взаимно однозначного соответствия между функцивами одного плана и функцивами другого плана. ... Два плана не должны быть **конформальны**» [Там же: 366]. Указанное отсутствие однозначного соответствия традиционно трактуется как проявление произвольной связи между планами. Так это или нет, предстоит выяснить. Но нельзя не согласиться с Ельмслевом, что «...независимо от того, заинтересованы ли мы в настоящий момент в выражении или в содержании, мы ничего не поймем в структуре языка, если не будем постоянно принимать во внимание взаимодействие обоих планов. Как изучение выражения, так и изучение содержания являются изучением отношения между выражением и содержанием; каждое из этих двух направлений исследования предполагает существование другого, т. е. они взаимозависимы и поэтому не могут быть отделены друг от друга без значительного ущерба» [Там же: 333].

* * *

Итак, рассмотренные направления структурализма исследуют структуру языка с разных сторон и потому в известной степени взаимно дополняют друг друга.

Из проведенного обзора ясно, что целостность языка может быть выявлена при соблюдении следующих важнейших условий:

- 1) если учитываются функции языка в надсистемах — физической, социальной и психической;
- 2) если учитываются двусторонняя сущность языковых знаков и двуплановый характер языковой системы;
- 3) если учитываются все основные типы внутрисистемных связей и отношений;
- 4) если учитываются изменения языка во времени.

Наиболее близка к выполнению названных условий Пражская школа, но и в ней концепция целостности языковой системы не получила должного всестороннего освещения.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Н. ХОМСКИЙ

Принципы бихевиоризма, сводившие человеческое поведение, включая речь, к цепи стимулов и реакций, как и следовало ожидать, не выдержали испытания временем. Отказ от анализа сознания и мыслительных процессов дискредитировал бихевиористическую теорию языка Л. Блумфилда. Стремление вернуть разум, мысль в науки о человеке обусловило поворот американской лингвистики и психологии к «рационалистской» теории языка и мышления. После Л. Блумфилда этот поворот американской науки к «новой» для нее научной парадигме (новой, только если пренебречь концепциями Э. Сепира и Б. Л. Уорфа, а тем более европейской традицией) был сочтен революционным. И его нарекли революцией. По имени ее теоретика, ведущего американского лингвиста второй половины XX в. Ноама Хомского, революцию называют Хомскианской.

Из всего множества работ Н. Хомского остановимся на двух — «Язык и мышление» (1968), «О природе и языке» (2005). В первой излагается научное кредо основателя генеративной лингвистики. Последняя, как следует из предпосланного ей эпиграфа, «является самым исчерпывающим обзором взглядов Хомского на широкий спектр проблем» [Хомский 2005: 1].

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА

В книге «Язык и мышление» Хомский рассматривает лингвистику как особую ветвь психологии познания. Чтобы приблизиться к решению классических проблем языка и мышления, он стремится преодолеть то несколько искусственное разделение лингвистики, философии и психологии, которое наметилось в XIX–XX вв. [Хомский 1972: 12].

С точки зрения Хомского, перед подлинной теорией языка стоят две базисные проблемы — проблема корректного описания языков, или *дескриптивная*, и проблема усвоения языка, *объясняющая* то, как описываемые языки вообще можно выучить. «До 1950-х гг. — полагает Хомский, — эти проблемы со всей отчетливостью не вставали, хотя сама дисциплина существует уже тысячи лет» [Хомский 2005: 154]. Посредством сочленения обеих указанных проблем Хомский и его последователи, очевидно, надеялись преодолеть свойственное американской дескриптивной лингвистике стремление описывать языковые явления без каких бы то ни было объяснений.

Судя по сложившемуся к тому времени состоянию методологии структурной лингвистики, психолингвистической теории стимулов и реакций, математической теории связи, теории автоматов, Хомский отвергает все эти подходы к построению моделей использования языка как неадекватные и принципиально неверные. На самом деле, «...если нам суждено когда-либо понять, как язык используется и усваивается, то мы должны абстрагировать для отдельного и независимого изучения определенную систему интеллектуальных способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими другими факторами определяет те виды поведения, которые мы наблюдаем». Иными словами, «...мы должны изолировать и изучать систему языковой компетенции, которая лежит в основе поведения, но которая не реализуется в поведении каким-либо прямым или простым образом» [Хомский 1972: 15]. Нацеливая лингвистику прежде всего на изучение языковой компетенции, Хомский опирается на «знаменитое сосюрровское положение о логической первичности изучения *языка* — *langue*» [Хомский 1965: 468].

В предшествующие периоды развития лингвистической мысли, как отмечает Хомский, «...существовало две действительно продуктивных исследовательских традиции, которые, несомненно, имеют большое значение для каждого, кто занимается изучением языка в наши дни. Одна из них — это традиция философской грамматики, которая процветала начиная с семнадцатого столетия на протяжении периода романтизма; вторая — это традиция, которую я несколько неточно назвал “структуралистской” и которая преобладала в исследованиях в течение последнего столетия, по крайней мере до начала 1950-х годов» [Хомский 1972: 33].

Твердые основы современной науки Н. Хомский возводит к XVII в. [Там же: 16], к «первой когнитивной революции» [Хомский 2005: 105]. Особое значение он придает учению Р. Декарта и его последователей, развивавших представление о творческой природе человека и его языка.

2. КРЕАТИВНОСТЬ ЯЗЫКА

В связи с обсуждением проблемы креативности Н. Хомский обращается к учению о трех видах–уровнях человеческого интеллекта, которое выдвинул испанский ученый Хуан Гуарте в конце XVI в. «Низший из них — “послушный разум”», основанный на показаниях органов чувств. «Следующий, более высокий уровень — нормальный человеческий интеллект — выходит далеко за пределы указанного эмпирического ограничения: он способен “порождать внутри себя, своей собственной силой, те принципы, на которых покоится знание”. <...> ...Он способен порождать новые мысли и находить подходящие новые средства их выражения, причем такими способами, которые полностью выходят за пределы какого-либо обучения или опыта». Различие между этими двумя видами разума и составляет, по Гуарте, различие между животным и человеком. Наконец, третий — высший — вид разума выходит за рамки нормального интеллекта. Он характеризуется истинной

творческой способностью, действием творческого воображения. Благодаря этому некоторые, как утверждает Гуарте, «не прибегая ни к ремеслу, ни к науке, говорят такие тонкие и удивительные вещи, причем истинные, что раньше их никто никогда не только не видел, не слышал и не писал, но и даже ни в какой степени о них и не думал» [Хомский 1972: 20–21].

В последующей рационалистской теории языка и в период романтизма в центре внимания оказывается творческая порождающая способность нормального человеческого интеллекта [Там же: 21]. Она «обнаруживается у человека при нормальном использовании языка как свободного орудия мысли» и отсутствует у животных [Там же: 22].

Именно творческое начало выделяет мыслящего и говорящего человека среди животных и вообще в мире природы. Она представляется Р. Декарту в виде огромного сконструированного механизма. Другое дело человек с присущим ему интеллектом. По словам Н. Хомского, «он (Декарт. — Л. З.) показал, как ему думалось, что разум и воля, два фундаментальных свойства человеческого мышления, затрагивают такие способности и принципы, которые не могут быть реализованы даже самыми сложными автоматами» [Там же: 17]. Прежде всего имеется в виду творческий акт использования языка, а именно «специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе “установленного языка”, языка, который является продуктом культуры и подчиняется законам и принципам, частью характерным именно для него, а частью являющимся отражением общих свойств мышления» [Там же].

По мысли Декарта, разъясняет Хомский в более поздней книге, «... большинство явлений природы можно объяснить в механических терминах: неорганический и органический мир, кроме людей, но также в значительной мере и физиологию человека, его ощущения, восприятие и действия. Пределы механического объяснения достигались тогда, когда эти человеческие функции опосредовались мышлением, уникальным наследием человека, основанным на принципе, который ускользает от механического объяснения: “креативный” принцип, лежащий в основе актов воли и выбора, которые суть “самое благородное, что у нас может быть”, и единственное, что нам “подлинно принадлежит” (в картезианских терминах). Люди лишь “побуждаемы и склонны” действовать определенным образом, но они не действуют “вынужденно” (или случайно), и в этом отношении они не похожи на машины, т. е. на весь остальной мир. Самым поразительным примером для картезианцев было нормальное употребление языка: люди способны выражать свои мысли всё новыми бесчисленными способами, которые ограничиваются телесным состоянием, но не определяются им, соответствуют тем или иным ситуациям, но не обуславливаются ими и вызывают в других мысли, которые они могли бы выразить похожими способами, — словом то, что мы бы назвали “креативным аспектом использования языка”» [Хомский 2005: 100–101].

Согласно Хомскому, Декарт и картезианцы видят проявление креативности языка в трех его свойствах. Во-первых, «... нормальное использование языка носит

новаторский характер в том смысле, что многое из того, что мы говорим в ходе нормального использования языка, является совершенно новым, а не повторением чего-либо слышанного раньше, и даже не является чем-либо “подобным” по “модели”... тем предложениям или связным текстам, которые мы слышали в прошлом. Это трюизм, но весьма важный, который часто не замечали и не так уж редко отрицали в бихевиористский период развития лингвистики» [Хомский 1972: 23]. Между тем наряду с авторами «Грамматики» Пор-Рояля на способность языка выражать бесконечное множество мыслей конечными средствами обращали внимание также Г. Галилей, В. фон Гумбольдт, Ч. Дарвин и другие [Хомский 1972: 28, 32; 2005: 72–76].

Во-вторых, «...нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и *свободным от управления* какими-либо *внешними или внутренними стимулами*», благодаря чему «...язык может служить орудием мышления и самовыражения... не только для исключительно одаренных и талантливых, но фактически и для любого нормального представителя человеческого рода.

Всё же свойства неограниченности и свободы от управления стимулами сами по себе не выходят за рамки механического объяснения». Поэтому картезианцы обратились «к третьему свойству нормального использования языка, а именно к *связности* и “*соответствию ситуации*”» [Хомский 1972: 23–24; выделено мною. — Л. З.].

3. ПОДХОД К ОБЪЯСНЕНИЮ УСВОЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ЯЗЫКА

Названные свойства еще не дают возможности *объяснить* нормальное использование языка. «Свойства человеческой мысли и человеческого языка, подчеркнутые картезианцами, достаточно реальны; они находились тогда, так же как и находятся теперь, за пределами объяснительных возможностей всех хорошо разработанных теорий физического характера. Ни физика, ни биология, ни психология не дают нам ключа к решению этой проблемы» [Там же: 24]. «...Мы сегодня так же далеки, как и Декарт три столетия назад, от понимания того, что же именно дает человеку возможность говорить таким способом, который носит новаторский характер, является свободным от управления стимулами, а также обладает свойствами соответствия ситуации и связности» [Там же].

Вот почему, «если мы надеемся понять человеческий язык и психологические способности, на которых он зиждится, мы должны сначала задаться вопросом, что он такое, а не как или для каких целей он используется» [Там же: 88].

Во всяком случае нуждается в коррекции иерархия функций языка. Подобно Т. Гоббсу, Дж. Локку, Г. В. Лейбницу и в особенности Э. Б. де Кондильяку, И. Г. Гердеру, наконец, Г. Гийому, Н. Хомский не считает язык системой коммуникации в собственном смысле слова. По своей функции язык — «это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно же, можно использовать

для коммуникации, как всё, что делают люди, — манеру ходьбы, либо стиль одежды или прически, например. Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка и, возможно, даже не несет в себе какой-то уникальной значимости для понимания его функций и природы» [Хомский 2005: 114]. Не случайно «...употребление языка по большей части направлено на себя: “внутренняя речь” в случае взрослых, монолог в случае детей» [Там же: 115].

В сравнении с коммуникативными системами животных «...человеческий язык... основан на совершенно других принципах» [Хомский 1972: 88]. «Сущностные характеристики человеческого языка, такие как дискретно-бесконечное использование конечных средств..., представляются биологически изолированными, притом это пример совершенно нового развития и в эволюции человека через миллионы лет после отделения от ближайших сохранившихся родственных видов» [Хомский 2005: 76–77].

«...Обладание человеческим языком связано с особым типом умственной организации, а не просто с более высокой степенью интеллекта. <...> ...Сейчас нет лучшего и более многообещающего пути исследования существенных и отличительных свойств человеческого интеллекта, чем путь детального исследования структуры этого уникального человеческого дара» — языка [Хомский 1972: 89].

Свойственные языку высокоабстрактные принципы и структуры определяют характер умственных процессов человека, участвующих в организации такой специфической области человеческого знания, как знание языка. [Там же: 90].

В представлении Хомского, «...наиболее обнадеживающим подходом сегодня является путь описания явлений языка и умственной деятельности как можно более строгим образом, путь попыток создания абстрактного теоретического аппарата, который, насколько возможно, объяснит эти явления и выявит принципы их организации и функционирования, оставив в стороне попытки на данном этапе связать постулированные умственные структуры и процессы с какими-либо физиологическими механизмами или проинтерпретировать мыслительную функцию в терминах “физических причин”» [Там же: 25]. Он убежден, что «...для объяснения нормального использования языка мы должны приписать говорящему—слушающему сложную систему правил, которые связаны с умственными операциями очень абстрактной природы, применяемыми к представлениям, которые весьма далеки от физического сигнала» [Там же: 76].

Ключом к такому объяснению может служить предложенный картезианцами в «Грамматике» и «Логике» Пор-Рояля анализ предложения *Невидимый Бог создал видимый мир*. Оно включает в себя три суждения: *Бог невидим, Он создал мир, Мир видим*. В толковании Н. Хомского, предложение есть *поверхностная структура*, тогда как система трех суждений — это *структура глубинная*. «...Лежащая в основе глубинная структура, с ее абстрактной организацией языковых форм, “дана уму”, в то время как сигнал, с его поверхностной структурой, производится или воспринимается телесными органами. А трансформационные операции, связывающие

глубинную и поверхностную структуры, являются действительными мыслительными операциями, выполняемыми умом, когда предложение производится или понимается. Различие носит фундаментальный характер. Из последней интерпретации следует, что должна существовать представленная в мышлении фиксированная система порождающих принципов, которые характеризуют и связывают глубинные и поверхностные структуры некоторым определенным образом, другими словами, грамматика, которая как-то используется, когда речь производится или интерпретируется. Эта грамматика представляет лежащую в основе языковую компетенцию» [Хомский 1972: 29–30], управляющую языковым употреблением (performance).

В принятой генеративной лингвистикой практике описания языков «...*грамматика* состоит из *синтаксического компонента*, который задает бесконечное множество пар глубинных и поверхностных структур и выражает трансформационные отношения между элементами этих пар, из *фонологического компонента*, который приписывает фонетическую репрезентацию поверхностной структуре, и *семантического компонента*, который приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре. ...Некоторые аспекты поверхностной структуры тоже релевантны для семантической интерпретации. ...Полная грамматика должна содержать весьма сложные правила семантической интерпретации, обусловленные, по крайней мере отчасти, весьма специфическими свойствами лексических единиц и формальных структур рассматриваемого языка» [Там же: 72; выделено мною. — Л. 3.].

Преимущество своей теории трансформационной порождающей грамматики перед структурной лингвистикой Н. Хомский видит в том, что предложенные Ф. де Соссюром методы сегментации и классификации на основе синтагматических и парадигматических отношений «в лучшем случае применимы только к явлениям поверхностной структуры и не могут поэтому вскрыть механизмы, которые лежат в основе творческого аспекта использования языка и выражения семантического содержания» [Там же: 34].

Преимущественное внимание Н. Хомского к языковой компетенции, а не к употреблению языка объясняется стремлением устранить понятийную лагуну в бихевиористской психологии, в которой «теория овладения знанием ограничивается узким и, безусловно, неадекватным представлением о том, что усваивается, — а именно системой связей стимулов и реакций, сетью ассоциаций, набором поведенческих единиц, иерархией привычек или системой предрасположений к ответам определенного характера при заданных стимульных условиях» [Там же: 91]. Осмысленное изучение овладения знанием, проявляющегося в наблюдаемом использовании языка, возможно лишь *на основе* предварительно разработанной теории компетенции, причем последнюю следует толковать «в том смысле, в котором компетенция характеризуется порождающей грамматикой». Прежде всего нужно понять, что усваивается, и лишь затем можно задаваться вопросом о том, как это усваивается [Там же: 90–92, 117].

4. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА

В целях объяснения лежащей в основе языка компетенции Н. Хомский обращается к идее универсальной грамматики. В ее определении Хомский, по его словам, «...несколько отходит от традиционного взгляда, согласно которому универсальная грамматика является просто подструктурой каждой конкретной грамматики, системой правил, входящей в самое ядро каждой грамматики» [Хомский 1972: 83]. Он следует приверженцам классической рационалистской грамматики и В. фон Гумбольдту, которые придерживались взгляда, что «...в основе любого человеческого языка мы найдем систему, которая универсальна, которая просто выражает уникальные интеллектуальные свойства человека», выделяющие его из животного мира, а потому «...языки сходны только на более глубоком уровне, уровне, на котором выражаются грамматические отношения и на котором должны обнаруживаться процессы, обеспечивающие творческий аспект языка» [Там же: 94, 95]. Коль скоро «...язык представляет прямое “зеркало разума”» [Там же: 9], то, надо полагать, «...определенные аспекты человеческого мышления и умственных способностей в существенной части инвариантны в разных языках», «несмотря на значительный разноречивой во внешней реализации» [Там же: 94].

В своей трактовке универсальной грамматики Н. Хомский опирается на учение В. фон Гумбольдта о форме языка. «...Мы должны рассматривать языковую компетенцию — знание языка — как абстрактную систему, лежащую в основе поведения, систему, состоящую из правил, которые взаимодействуют с целью задания формы и внутреннего значения потенциально бесконечного числа предложений. Такая система — порождающая грамматика — дает экспликацию идеи Гумбольдта о “форме языка”» [Там же: 89]. «Такая грамматика определяет язык в гумбольдтовском смысле, а именно как “рекурсивно порождаемую систему, где законы порождения фиксированы и инвариантны, но сфера и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными”¹.

В каждой такой грамматике есть конкретные, идиосинкратические элементы, набор которых определяет один специфический человеческий язык, и есть общие универсальные элементы, условия, налагаемые на форму и организацию любого человеческого языка, которые составляют предмет изучения “универсальной грамматики”. Среди принципов универсальной грамматики находятся..., например, принципы, которые различают глубинную и поверхностную структуру и которые ограничивают класс трансформационных операций, связывающих их» [Там же: 90].

Итак, предмет универсальной грамматики составляют «принципы, которые задают форму грамматики и которые определяют выбор [конкретной] грамматики

¹ В переводе Г. В. Рамишвили с немецкого на русский это определение языка ближе к авторскому смыслу. В. фон Гумбольдт видел в языке «вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными» [Гумбольдт 1984: 78].

соответствующего вида на основе определенных данных... Исследование универсальной грамматики, понимаемой таким образом, — это исследование природы человеческих интеллектуальных способностей. Оно пытается сформулировать необходимые и достаточные условия, которым должна удовлетворять некоторая система, чтобы считаться потенциальным человеческим языком, — условия, которые не просто случайно оказались применимыми к существующим человеческим языкам, а которые коренятся в человеческой “языковой способности” и образуют, таким образом, врожденную организацию, которая устанавливает, что считать языковым опытом и какое именно знание языка возникает на основе этого опыта. Универсальная грамматика, следовательно, представляет собой объяснительную теорию гораздо более глубокого характера, чем конкретная грамматика, хотя конкретная грамматика некоторого языка может также рассматриваться как объяснительная теория» [Хомский 1972: 38].

5. ВРОЖДЕННАЯ УМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА КАК ОСНОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ И ЗНАНИЯ ЯЗЫКА

Размышляя над психологической проблемой объяснения человеческого знания, Н. Хомский отмечает: «...Мы не можем не поражаться огромному несоответствию между знанием и опытом, в случае языка — между порождающей грамматикой, которая выражает языковую компетенцию говорящего, и скудными, дефектными данными, на основе которых он построил для себя эту грамматику» [Там же: 96]. В качестве первого приближения к порождающей грамматике некоторого языка следует задать вопрос: «Какая начальная структура должна быть приписана мышлению, чтобы она обеспечила ему способность построить такую грамматику на основе чувственных данных?» [Там же]. Хомский исходит из предположения о существовании врожденной умственной структуры, позволяющей усвоить язык. «...Она, видимо, является способностью, специфической для данного биологического вида и в основном независимой от умственных способностей... Мы знаем, что грамматики, которые конструируются в действительности, лишь слегка варьируются среди носителей одного и того же языка, несмотря на широкие вариации не только в умственных способностях, но также в условиях, при которых усваивается язык. <...> ...Если мы действительно сравниваем порождающие грамматики, которые должны постулироваться для различных носителей одного и того же языка, мы находим, что сходства, считающиеся само собой разумеющимися, четко выражены и что расхождения немногочисленны и носят периферийный характер. Более того, представляется, что диалекты, которые, с поверхностной точки зрения, значительно удалены друг от друга, даже с трудом понимаемые при первом столкновении с ними, имеют огромное центральное ядро общих правил и процессов и очень немногим различаются в своих внутренних структурах, которые, как кажется, остаются инвариантными на протяжении долгих исторических эпох. Более того, мы обнаруживаем существенную систему принципов, которые не меняются

от языка к языку даже в случае, если эти языки, насколько нам известно, совершенно не родственны» [Хомский 1972: 97].

Все эти сходства между носителями одного и того же языка, между различными диалектами, между неродственными языками приводят Хомского к заключению: «Мы должны постулировать врожденную структуру, которая достаточно содержательна, чтобы объяснить несоответствие между опытом и знанием, структуру, которая может объяснить построение эмпирически обоснованных порождающих грамматик при заданных ограничениях времени и доступа к данным. В то же время эта постулируемая врожденная умственная структура не должна быть настолько содержательной и ограничивающей, чтобы исключать определенные известные языки. Существует, другими словами, верхняя граница и нижняя граница степени и точного характера сложности, которая может постулироваться в качестве врожденной умственной структуры» [Там же].

Так Н. Хомский, в сущности, воскресил обоснованные Р. Декартом представления XVII в. о врожденных идеях, о наличии в уме «определенных врожденных интерпретирующих принципов, определенных понятий, которые происходят от самой “способности понимать”, от способности думать, а не прямо от внешних объектов» [Там же: 101]. В своей теории врожденной универсальной грамматики Хомский видит «дальнейшее развитие классической рационалистской доктрины» [Там же]. Оно должно быть нацелено на то, чтобы решить проблему усвоения знания языка. Для этого необходимо, во-первых, вскрыть врожденную схему универсальной грамматики, определяющую “сущность” человеческого языка; во-вторых, детально изучить характер «стимуляции и взаимодействия организма с его окружением, которые приводят в действие врожденные интеллектуальные механизмы»; в-третьих, установить, как «гипотеза о порождающей грамматике языка “согласуется” с данными органов чувств» [Там же: 105–106].

«...В случае языка, — предполагает ученый, — естественно ожидать наличие тесных связей между врожденными свойствами мышления и признаками языковой структуры, ибо язык, в конце концов, не имеет существования, отдельного от его умственной репрезентации. Какими бы свойствами он ни обладал, они обязательно придаются ему посредством врожденных умственных процессов организма, который изобрел его и который изобретает его заново с каждым последующим поколением, наряду со всеми теми свойствами, которые связаны с условиями его использования. И снова мы видим, что язык должен по указанной причине быть весьма удачным пробным камнем, с помощью которого должна исследоваться организация умственных процессов» [Там же: 111]. Перспективы такого исследования тем более велики, что «...в работах, активно проводимых сегодня, классические вопросы языка и мышления не получают окончательного решения или даже намека на окончательное решение. <...> Например, центральные проблемы, связанные с творческим аспектом использования языка, остаются такими же недоступными, какими они были всегда» [Там же: 115].

6. Языковая способность как развивающееся свойство мозга

Спустя тридцать лет Н. Хомский возвращается к проблеме креативности и вновь подчеркивает «значимость центрального и одного из наиболее отличительных свойств человеческого языка: использования конечных средств для выражения неограниченного множества мыслей» [Хомский 2005: 72]. «Ответственность» за это свойство несет специализированный орган языка в человеческом мозге. Поскольку язык как компонент мозга [Там же: 98] входит в число высших ментальных способностей [Там же: 94], а, согласно современной неврологии, «всё ментальное, да собственно и разум, есть развивающиеся свойства мозга» [Там же: 86, 96, 106, 111], постольку таким развивающимся свойством обладает и языковой компонент мозга. «Этот орган мозга, или... “языковая способность”, принадлежит всему человеческому виду в равной мере... При созревании и взаимодействии с окружающей средой всеобщая языковая способность принимает то или иное состояние, проходя несколько стадий и, по-видимому, окончательно стабилизируясь к пубертатному периоду. Состояние, достигаемое этой способностью, напоминает то, что в обыденном употреблении называется тем или иным “языком”, но лишь отчасти... <...>

Внутренний язык, в специальном смысле, есть некоторое состояние языковой способности. Каждый внутренний язык обладает средствами конструирования ментальных объектов, которыми мы пользуемся для выражения наших мыслей и интерпретации непрекращающегося ряда явных выражений, с которыми мы сталкиваемся. Каждый из этих ментальных объектов соединяет звук и значение в конкретной структурированной форме. Ясное понимание того, как конечный механизм может сконструировать бесконечное множество таких объектов, было достигнуто лишь в XX в. в трудах по формальным наукам. <...> Последние полвека немалая часть изучения языка посвящена исследованию таких механизмов — в изучении языка они называются “порождающими грамматиками”» [Там же: 75–76].

Далее Хомский уточняет: «...“специализированный орган языка”, языковая способность (ЯС), является частью биологического наследия человека. Ее начальное состояние представляет собой экспрессию генов и сравнимо с начальным состоянием системы зрительных анализаторов человека; по-видимому, можно предположить, что оно является общечеловеческим достоянием. Соответственно, типичный ребенок усвоит любой язык при надлежащих условиях, даже при жестком дефиците и в “неблагоприятных средах”. Под активизирующим и формирующим воздействием опыта и внутренне детерминированных процессов созревания начальное состояние меняется, что дает позднейшие состояния, которые, похоже, стабилизируются на нескольких этапах, окончательно к пубертатному периоду. Начальное состояние ЯС мы можем представить себе как устройство, которое отображает опыт в достигнутое состояние L: “устройство усвоения языка” (УУЯ)» [Там же: 126–127].

Итак, «в общепринятой терминологии... орган языка — это *языковая способность* (ЯС); теория начального состояния ЯС, экспрессии генов, — это *универсальная грамматика* (УГ); теории достигаемых состояний — это *конкретные грамматики*; а сами состояния — это *внутренние языки*, или, коротко, просто “языки”. Начальное состояние, конечно же, не проявляется при рождении, как и в случае других органов, скажем, зрительной системы» [Хомский 2005: 98].

Врожденная умственная структура в качестве исходного начала обуславливает врожденную схему универсальной грамматики как начального состояния языковой способности.

7. МИНИМАЛИСТСКАЯ ПРОГРАММА

С конца 1970-х гг. на основе принципов универсальной грамматики в исследованиях Н. Хомского и его школы происходит определенная смена направления. Чтобы объяснить усвоение языка детьми, потребовалось уйти от колоссального увеличения количества самых разнообразных систем правил, обнаруживаемых в порождающей грамматике в соответствии с традиционным подходом к структуре языка.

В этих целях был разработан метод, позволивший «вообще устранить правила и конструкции» и ограничиться выявлением лишь самых общих принципов и параметров (ПиП), поскольку некоторые принципы поддаются параметризации. Конкретная грамматика любого языка мыслится теперь как определенная реализация системы общих принципов универсальной грамматики при заданных значениях тех принципов, которые варьируют в известном диапазоне. Каждый данный язык отличается от остальных значениями параметров, допускающих выбор вариантов.

Отбор вариантов в Минималистской программе подчинен принципу экономии [Беллетти, Рицци 2005: 55; Хомский 2005: 141].

Сам этот принцип известен давно — по крайней мере, с середины XIX в. В частности, И. А. Бодуэн де Куртенэ среди общих факторов языковых изменений на первый план ставит стремление к удобству, к экономии усилий [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 58, 102], чтобы облегчить работу двигательных моторных нервов в фонации, работу чувствительных («сенситивных») нервов в аудиции, работу центральных нервов мозговой субстанции в языковом мышлении, церебрации [Там же, I: 226]. «По всем этим направлениям постепенно устраняется, постепенно отбрасывается всё неясное, неопределенное, ненужное» [Там же, I: 263].

Н. Хомский при разработке минималистского подхода к анализу языковой способности и выявлению универсальной грамматики ориентируется главным образом на те внешние системы языка, которые являются внутренними для сознания.

В среде уже существующих внешних систем — внешних для языковой способности, внутренних для сознания — Хомским выделяются: *сенсомоторная* система;

система *мышления* (формирования понятий, интенций и т. д.), к которой относятся «общие понятия» или «врожденные идеи»; *«наивная психология»*, в частности «интерпретация действий людей в терминах убеждений и желаний, узнавание вещей в мире и того, как они двигаются, и т. д.». «...Всё это не находится всецело в зависимости от языка... Языковая способность должна взаимодействовать с этими системами, иначе она вообще ни на что не годится. <...> ...Единственное условие... заключается в том, что *этим системам должна быть доступна информация, которая хранится в языке*, ведь он, в сущности, представляет собой *информационную систему»* [Хомский 2005: 158–159; выделено мною. — Л. 3.].

Хомский допускает, что «...орган языка в мозге приближается к какому-то оптимальному устройству. <...> Если же окажется, что устройство совсем недавно появившегося органа, который к тому же занимает центральное место в жизни человека, приближается к оптимальному, то это можно истолковать как следствие функционирования физических и химических законов в отношении мозга, который каким-то неизвестным образом достиг некоторого уровня сложности» [Там же: 87–88].

Если система языка характеризуется оптимальным устройством, значит, язык должен быть совершенным. А для того, чтобы он был совершенным, следовало бы устранить всё избыточное как несовершенное.

Вообще-то, с позиций Хомского, «...даже тот факт, что существует более одного языка, — это своего рода несовершенство» [Там же: 160].

«...Тяжелейшим случаем является фонологическая система: вся фонологическая система выглядит как величайшее несовершенство, она обладает всеми недостатками, какие только можно помыслить» [Там же: 173]. Поэтому рассмотрение взаимодействия языковой способности с сенсомоторной системой отложено на будущее, а поиск избыточного и подлежащего устранению в универсальной грамматике в первую очередь был применен к синтаксическому компоненту, непосредственно связанному с системой мышления. Следует устранить такие элементы синтаксических структур, которые не удовлетворяют условиям мыслительной системы — требованиям логической формы.

В этой связи Хомский обращается к особенностям обслуживающей синтаксис словоизменительной морфологии. На поверхностный взгляд, определяющее свойство естественных языков, «морфология — чрезвычайно поразительное несовершенство» [Там же: 160]. Однако если предположить различие мыслительной системой интерпретируемых и неинтерпретируемых признаков, то далеко не всё в морфологии несовершенно. «Например, число при существительных на самом деле не является несовершенством. Ведь надо же как-то отличить единственное число от множественного, внешним системам надо знать об этом» [Там же: 162]. «Несовершенство кроется в показателях числа при глаголе. Там-то они зачем? При существительном они уже есть, так зачем же они нужны еще и при глаголе или при прилагательном? Там показатели числа выглядят избыточными, и вот это и есть несовершенство. Иначе говоря, этот признак, или проявление этого признака,

скажем, множественности при глаголе, не интерпретируется. Оно интерпретируется только при существительном» [Хомский 2005: 163].

«То, что согласуется, — надо полагать, глагол, прилагательное, артикль и т. д., — видимо, имеет неинтерпретируемые признаки — признаки, которые не получают самостоятельной интерпретации от внешних систем. Стало быть, зачем они там нужны? В этом-то и есть несовершенство. Несовершенство — это неинтерпретируемые признаки» [Там же: 164].

Сходным образом в системе падежей следует проводить различие между глубинными и структурными падежами. В соответствии с подходом ПиП «падежи делятся на те, которые имеют семантические свойства, как преимущественно дательный, и те, которые таких свойств не имеют, как номинатив и аккузатив (или эргатив и абсолютив). <...> И глубинные падежи, те, что связаны с семантикой, на самом деле не являются несовершенством: они маркируют семантическое отношение, о котором надо знать интерпретатору (подобно множественности при существительных). А с другой стороны, зачем нам номинатив и аккузатив (или эргатив и абсолютив), они-то что делают? Интерпретации они не получают: существительные интерпретируются совершенно одинаково, независимо от того, в номинативе они или в аккузативе, это как словоизменяемые признаки при прилагательных и глаголах: кажется, будто бы их там быть не должно» [Там же: 165–166].

Отсюда следует, что различие интерпретируемых и неинтерпретируемых признаков имеет функциональный характер. Интерпретируемые признаки обеспечивают взаимодействие с системами сознания — мозга. Неинтерпретируемые признаки обуславливают конкретное состояние языковой способности, вследствие чего характеристика какого-либо конкретного языка — это, по сути, описание системы неинтерпретируемых признаков.

«Работы последних двадцати лет дают значительные основания подозревать, что эти системы неинтерпретируемых признаков во многом похожи в различных языках, хотя по внешнему проявлению признаков различаются довольно систематическим образом, и что немалая часть типологического многообразия языка сводится именно к этому крайне узкому субкомпоненту. <...> *Конкретное состояние ЯС* — конкретный внутренний язык — *детерминируется отбором из возможных высоко структурированных лексических единиц и установкой параметров, которые ограничиваются неинтерпретируемыми словоизменяемыми признаками и их реализацией*» [Там же: 131–132; выделено мною. — Л. 3.].

Однако вследствие связи неинтерпретируемых признаков с другими синтаксическими средствами такие признаки не препятствуют взаимодействию с системами мышления. «Представляется, что те же неинтерпретируемые признаки могут фигурировать и в повсеместно присутствующем свойстве смещенности (*dislocation*) естественного языка. Под этим термином подразумевается то, что словосочетания очень часто артикулируются в одной позиции, а интерпретируются так, как если бы они находились в другом месте, где они способны находиться в похожих выражениях: смещенный субъект пассивной конструкции, к примеру, интерпрети-

руется так, будто он находится в позиции объекта в локальном отношении к глаголу, который ему назначает семантическую роль. Смещенность имеет интересные семантические свойства. Возможно, что “внешние” системы мышления (внешние для ЯС, внутренние для системы сознания — мозга) требуют, чтобы ЯС генерировала выражения с такими свойствами для того, чтобы они должным образом интерпретировались. Есть также основания полагать, что неинтерпретируемые признаки могут быть тем самым механизмом для реализации свойства смещенности, а может даже и оптимальным механизмом для удовлетворения этого условия, внешне налагаемого на ЯС. Если это так, то ни свойство смещенности, ни неинтерпретируемые признаки не представляют собой “несовершенства” ЯС, “недостатки конструкции”... Эти и другие соображения поднимают более общие вопросы оптимальности устройства: не является ли ЯС оптимальным решением для условий интерфейса, налагаемых системами сознания — мозга, в которые она встроена, сенсомоторной системой и системой мышления?» [Хомский 2005: 132–133].

Н. Хомский склонен к положительному ответу на этот вопрос, предполагая, что возникновение языка произошло «путем какой-то реконструкции мозга, которая ввела в игру физические процессы, вследствие которых возникло *нечто, действующее близким к оптимальному образом*, подобно оболочке вируса» [Там же: 218; выделено мною. — Л. З.].

Таким образом, благодаря различению интерпретируемых и неинтерпретируемых признаков удалось приблизиться к решению поставленных Минималистской программой новых вопросов: имеет ли система языка некое оптимальное устройство, совершенен ли он [Там же: 142], «хорошо ли он сконструирован для взаимодействия с системами, внутренними по отношению к сознанию?» [Там же: 156].

Новизна данных вопросов, впрочем, преувеличена. Проблема совершенства — несовершенства языков была поставлена ранее Э. Б. де Кондильяком, глубоко осмыслена В. фон Гумбольдтом и обсуждалась также А. Шлейхером.

Согласно В. Гумбольдту, о совершенстве — несовершенстве языков можно судить по их способности оказывать самостоятельное благотворное влияние на дух. «При наблюдении языка как такового должна быть вскрыта форма, которая среди всех мыслимых форм более всего соответствует задачам языка; недостатки и преимущества конкретных языков нужно уметь оценивать по степени их приближения к этой единственной форме. ...Такой формой должна быть та, которая более всего подходит для общей направленности человеческого духа, своей оптимально упорядоченной деятельностью способствует его росту и не просто облегчает соотносительную согласованность всех его устремлений, но еще более оживляет ее посредством обратного воздействия» [Гумбольдт 1984: 228].

В самих *принципах организации* реальных языков В. Гумбольдт замечает стремление «воплотить идею совершенного языка в жизнь», с тем чтобы обеспечить «последовательное восхождение к наиболее удачному строению языка», способному стимулировать человеческую духовную силу к постоянной деятельности

[Гумбольдт 1984: 52] и одновременно поддерживать «жизненность и долговечность порождающего начала в языке» [Там же: 197].

Совершенство — несовершенство языков обуславливается *степенью синтеза* «врожденной языковой способности» [Там же: 245], *внутреннего языкового сознания, внутренней мыслительной формы со звуком* [Там же: 197], короче — *степенью синтеза внутренней и внешней формы языка*. Оно проявляется в грамматическом методе построения предложения и в способе грамматической категоризации.

Предполагаемое Н. Хомским оптимальное устройство языка заставляет его отказаться от представления американских структуралистов, будто «...языки могут отличаться друг от друга без предела и произвольным образом» [Хомский 2005: 203]. На самом деле система языка, «в сущности, единообразна» [Там же: 213], несмотря на многочисленность языков. Вот почему «...дети везде усваивают любой язык, насколько нам известно, а значит, базовая система единообразна. Никаких генетических различий никто обнаружить не смог; может, какие-то и есть, но, видимо, столь малые, что мы не можем их уловить. Так что в основном речь идет о единообразной системе, а значит, со времени ее появления никакой значительной эволюции не было. Система просто оставалась такой. Люди рассеивались, есть группы людей, которые в течение длительного времени жили изолированно, и всё же никто не может уловить никаких языковых различий. Так что, по-видимому, это что-то возникшее совсем недавно, столь новое, что еще не успело претерпеть сколько-нибудь значимой эволюции» [Там же: 214].

Если же допустить, что «...минималистские условия имеют силу для всех состояний языковой способности, включая начальное состояние» [Там же: 191], то тогда подход ПиП, «в сущности, уничтожает принципиальное различие между начальным состоянием и достигнутыми состояниями» [Там же: 192]. Тем самым снимается расхождение между объяснительной адекватностью теории начального состояния (предмета универсальной грамматики) и дескриптивной адекватностью теорий достигнутых состояний (реальных языков) [Там же].

В результате «...программа ПиП по существу разрубила гордиев узел, преодолев напряжение между проблемой дескриптивной и проблемой усвоения языка, или объяснительной; на самом деле впервые в истории дисциплины появилась настоящая модель для теории» [Там же: 153]. Благодаря этому, по утверждению Н. Хомского, «...за последние 20 лет о языке узнали больше, чем за предыдущие 2000 лет» [Там же: 141].

8. Язык и внешний мир

В концепции Н. Хомского язык рассматривается как биологический объект [Там же: 185], биологический орган [Там же: 190] вне отношения к внешнему миру, включая социальный. В понимании автора, «...язык отличается от большинства других биологических систем, в том числе и от некоторых когнитивных систем, тем, что физические, внешние ограничения, которые он должен учитывать, крайне

слабы» [Хомский 2005: 214], хотя, разумеется, «надо иметь свойство, позволяющее каким-то способом говорить о мире, но может быть сколько угодно таких способов» [Там же: 215].

Отношение слово — вещь Н. Хомским, как и Ф. де Соссюром, в естественный язык не допускается. «В формальной системе, подобной системе Фреге, ... символы предназначаются для того, чтобы выделять вещи, реальные вещи. <...> А вот работает ли так язык, — это большой вопрос. По-моему, не работает», — полагает Н. Хомский [Там же: 161]. И продолжает: «...Если верно, что отношения слово — вещь не существует, как я это себе представляю, то тогда вопрос, почему отношения слово — вещь не существует, пока что чересчур труден» [Там же: 162]. Впрочем, ответом на этот вопрос — в случае правоты Хомского — может служить, во-первых, подчеркиваемая им биологическая природа языка, а во-вторых, то, что базовая структура языка «идет изнутри, а не снаружи» [Там же: 137].

«...С биолингвистической точки зрения, — пишет Хомский, — мы можем представить себе конкретный язык L как состояние ЯС; L — это рекурсивная процедура, которая генерирует бесконечное множество выражений. Каждое выражение можно считать неким набором информации для других систем сознания — мозга. ...Со времен Аристотеля... такая информация делится на две категории — фонетическую и семантическую... <...> Каждое выражение, стало быть, представляет собой внутренний объект, состоящий из двух наборов информации: фонетического и семантического. Эти наборы называются “репрезентациями”, фонетической и семантической репрезентацией, но *никакого стойкого изоморфизма между репрезентациями и аспектами окружающей среды нет*. Ни в каком подходящем смысле *внутренний символ и репрезентируемая вещь не спарены между собой*. <...> Фонетическую репрезентацию можно представить себе как множество инструкций для сенсомоторных систем, но *никакой конкретный элемент внутренней репрезентации не соотносен с какой-то определенной категорией событий во внешнем мире* или, может быть, с конструкцией, основанной на движении молекул. *Похожие выводы, как мне представляется, уместны и со смысловой стороны*» [Там же: 128–129; выделено мною. — Л. З.].

Не передавая информации о внешнем мире, «...даже простейшие слова включают в себя много разной информации: о материальном строении, об устройстве и предназначении, о происхождении, о гештальтных и каузальных свойствах и много о чем еще. <...> Те же выводы остаются в силе для простых существительных, исчисляемых и неисчисляемых — “река”, “дом”, “дерево”, “вода”, личные имена и географические названия, — для “чистейших референтных термов” (местоимений, пустых категорий) и т. д.; а когда мы обращаемся к элементам с реляционной структурой (глаголы, время и вид...), эти свойства усложняются, тем более когда мы переходим к более сложным выражениям. Относительно того, как рано в процессе онтогенеза начинается функционирование этих сложных систем знаний, известно мало, но есть все основания предполагать, что основы их являются частью биологического наследия человека в той же мере, как и способность

к стереоскопическому зрению или отдельные виды управления моторикой», которые выявляются в связи с ощущением [Хомский 2005: 130]. Отражательные свойства языка и социальный фактор не упоминаются.

Коммуникация в обществе, да и само общество, с точки зрения Хомского, все не обязательны для существования языка. «Фундаментальным условием, которому должен удовлетворять язык, является пригодность к употреблению, чтобы человек, владеющий им, был в состоянии им пользоваться. Собственно, *языком можно пользоваться, даже если вы единственный человек с языком во Вселенной*, и на самом деле при этом даже будет адаптивное преимущество. Если бы у одного человека вдруг появилась языковая способность, то этот человек получил бы немалые преимущества; *этот человек смог бы мыслить, смог бы четко выражать для себя свои мысли, смог бы планировать, смог бы заострять и развивать мышление*, как мы это делаем во внутренней речи, что оказывает большое влияние на жизнь каждого из нас. Внутренняя речь — это большая часть речи. *Почти все употребление языка направлено на себя... <...>* В более многочисленной группе необходимо только, чтобы эта (языковая. — Л. З.) способность была общей. *Привязка к внешнему миру чрезвычайно слабая*, и поэтому эта способность может быть очень стабильной, поскольку просто нет смысла ее менять» [Там же: 215—216; выделено мною. — Л. З.].

Невнимание к природной и социальной обусловленности языка не позволило Н. Хомскому должным образом объяснить ни онтогенез языковой способности, ни системы мышления, которые она снабжает информацией. «...Что-то выяснить об этих системах, помимо их взаимодействия с языковой способностью, очень трудно». То же относится к мышлению без языка, хотя «...что-то в этом роде явно существует» [Там же: 178]. Во взаимодействии языка и мышления в качестве детерминирующего начала оказывается скорее язык, чем мышление, что отличает Н. Хомского от картезианцев, на которых он ориентируется, и сближает, например, с Б. Л. Уорфом.

С исключением отношения языка к внешнему миру лингвистическая концепция Н. Хомского принимает выраженный аспектирующий характер.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Г. П. МЕЛЬНИКОВ

За два века существования теоретического языкознания как вполне самостоятельной науки при всем многообразии школ и направлений лишь в немногих лингвистических концепциях можно найти целостное изложение общей теории языка и ее основных проблем с четко осознанной и аргументированной опорой на глубоко продуманную, самостоятельно выработанную понятийную и методологическую базу.

В современном отечественном языкознании к таковым едва ли не в первую очередь следует отнести лингвистическую концепцию Геннадия Прокопьевича Мельникова (1928–2000).

Исследования Г. П. Мельникова касаются всех аспектов и уровней языка: фонологии, морфологии, синтаксиса, лексической и грамматической семантики. В них Геннадий Прокопьевич решает основополагающие вопросы как общего, так и частного языкознания на материале языков различных типов и семей — индоевропейских, урало-алтайских (прежде всего тюркских), семитских, банту, китайско-тибетских.

Сам Геннадий Прокопьевич постоянно определял свою теорию языка как *синтезирующую*, а значит, обобщающую результаты изучения частных взаимодополнительных аспектов языка, дающую целостное знание о сущности языка, развивающую предшествующие синтезирующие концепции В. фон Гумбольдта, И. И. Срезневского, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ. Но заслуга Г. П. Мельникова — отнюдь не только в стремлении к синтезу, а в самом бережном отношении к *любому* знанию.

Внимательное отношение к иным позициям продиктовано теми методологическими установками, которые развивал Г. П. Мельников, одновременно вбирая в свою теорию языка всё то ценное, что было накоплено всей предшествующей лингвистикой, в том числе в методологически неприемлемых направлениях. К последним Геннадий Прокопьевич прежде всего относит структурализм, потенциалы которого к тому времени, когда Г. П. Мельников приступил к научным исследованиям, были уже в значительной степени исчерпаны.

1. СИСТЕМОЛОГИЯ КАК ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЛИНГВИСТИКИ

Кризис структурализма, с точки зрения Г. П. Мельникова, мог быть преодолен только путем разработки нового философско-методологического обоснования научных исследований. Причем начинать надо с общей методологии, т. е. «между методологией любой частной науки и философией должна стоять общая для всех частных наук промежуточная, посредническая метанаучная дисциплина, в терминах которой должно раскрываться содержание понятий методологий частных наук, в том числе и лингвистики, а также отношений этих понятий к понятиям и категориям философии» [Мельников 1990: 6]. В концепции Г. П. Мельникова такой общеметодологической дисциплиной является *системология*. Ее основы изложены автором в монографиях [Мельников 1978; 2000; 2003].

Через посредничество системологии, системологических понятий методология лингвистики получает философское обоснование и интерпретацию. В частности, принципы системной типологии языков через предварительно разработанные принципы системологии соотносятся с категориями диалектики. В результате предельно абстрактные философские категории наполняются конкретным лингвистическим содержанием. Впрочем, последнее относится не только к философским категориям. Г. П. Мельников наполняет конкретным содержанием и самые абстрактные лингвистические категории. К ним в первую очередь следует отнести гумбольдтовское понятие внутренней формы языка.

В разработанной Г. П. Мельниковым общей методологии научных исследований в полной мере проявился его собственный стиль научного мышления.

В своей классификации методологических подходов Г. П. Мельников существенно отступает от позиции Р. Фейнмана, который выявляет в науке вообще только два полярных подхода, условно называемые им *вавилонским* и *греческим* [Фейнман 1968].

«...“Вавилонская традиция” в науке, например в математике, заключается в том, что вы знаете самые разные теории, многие связи между ними, но не осознаете до конца, что все они могут быть сведены и к набору “аксиом”, т. е. некоторому исходному небольшому перечню самых важных первичных знаний.

“Греческая традиция”, на примере математики, исходит из того, что *все* теоремы геометрии можно вывести из нескольких простых “аксиом”» [Мельников 2000: 5].

Г. П. Мельников явно предпочитает не прагматичный «вавилонский», служащий удовлетворению сиюминутных текущих потребностей, а «греческий» «с его устремленностью к целостности, к онтологичности, к выяснению истоков и направления развития каждой вещи, существа, общества и мира в целом» [Мельников 1990: 144]. «Греческий ориентирован на постижение сути вещей, на формирование как можно более целостной картины мира, на детализацию этой картины, выявление общего в частностях и на постоянный пересмотр этой картины ради

приближения ее характеристик к свойствам реальности и для усиления ее объяснительных и предсказательных возможностей» [Мельников 1990: 142–143].

В отличие от «вавилонского» стиля, наиболее прочно утвердившегося с развитием технологической цивилизации прежде всего в США и выразившегося, в частности, в смене ряда научных парадигм в лингвистике XX в. (соссюрианский структурализм, дистрибутивный анализ, трансформационный анализ, «хомскианская революция» с ее генеративными моделями, семантический синтаксис, «когнитивная революция»), «греческий стиль в наибольшей степени сохранялся там, где было заметно влияние классической немецкой философии, а высшего уровня он достиг в философии русских космистов и в традициях российской науки, а также в кругу писателей, деятелей культуры и искусства, воспитанных в атмосфере русского космизма. С этой точки зрения системная лингвистика, и в частности системная типология языков, — одно из проявлений живучести греческого стиля мышления в некоторых слоях преемников культуры античной Греции и средневековой Византии» [Там же: 143].

Позднее, в последней прижизненной книге, изданной в начале 2000 г., Г. П. Мельников уточняет место системной методологии в системе научных подходов. Важнейшие методологические подходы к познанию действительности сведены Геннадием Прокопьевичем к четырем типам, противопоставленным по признакам *нецелостный (суммативный) — целостный и параллельный — последовательный (причинно-следственный)* анализ. **Системологическая** методология — *целостная* в отличие от суммативных методологий (последовательной формально-логической ахронической «греческой» и параллельной фактологической, феноменологической «вавилонской») и *последовательная* в отличие от параллельной, синхронной *холистической*.

Синтезируя достоинства остальных методологических подходов, «системология, как методологический принцип, обеспечивает непрерывное приближение к идеалу формально-математических методов (разработанных в их первых вариантах еще *древними греками*), т. е. к *последовательной выводимости* понятий и представлений о мироздании из всё меньшего числа исходных понятий и аксиом, но тем самым оказывается обеспеченным и *непрерывное приближение к идеалу холизма*, т. е. к построению всё более *целостной* картины мироздания, причем такой, которая не ограничивается холистической *синхронной* данностью, а раскрывает как этапы эволюционного *становления* изучаемых объектов, так и тенденции *предстоящих* изменений» [Мельников 2000: 11].

Так системный подход в его систематическом варианте оказывается способным существенно продвинуться к тем целям, которые ставят перед собой представители как формально-математической, так и холистической методологии научного исследования, т. е. *методологии последовательной, но не целостной*, а суммативной, ахронической, к методологии целостной, но не последовательной, синхронной» [Там же: 11].

Что касается возможного совмещения системного подхода с «вавилонским», то надо иметь в виду два обстоятельства.

Во-первых, «...некоторая часть знаний, накопленных человечеством, *всегда существует как параллельная сумма* несвязанных фактов, рецептов и т. п., т. е. формируется на основе “вавилонской”, “алхимической” методологии» [Мельников 2000: 12].

Во-вторых, «...насколько глубоко ни увязывались бы известные факты с их причинами и условиями, а причины и условия с еще более глубокими исходными факторами и понятиями и как ни уменьшался бы благодаря этому круг *первичных понятий и аксиом* мироздания, всё равно самые первичные из них остаются ниоткуда логически *последовательно не выводимыми*, опирающимися лишь на интуицию ученого и не укладывающимися в целостную научную картину и потому также остающимися суммативными и параллельно представленными. Следовательно, и без “вавилонской”, т. е. суммативной и параллельной, методологии воспользоваться достоинствами системологической, т. е. целостной и последовательной, методологии невозможно» [Там же].

«К настоящему времени способность системологии синтезировать достоинства иных методологических подходов может быть подтверждена результатами ее приложений к решению сложных проблем многих научных дисциплин» [Там же], включая, разумеется, и системную типологию языков.

2. СИСТЕМНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ

Синтезирующий характер системной типологии языков, основам которой посвящен главный труд Г. П. Мельникова, состоит уже в том, что системная типология в понимании Геннадия Прокопьевича не тождественна какой-либо структурной классификации языков. Она не ограничивается сравнительным изучением равноуровневых структурных и функциональных свойств языков независимо от их генезиса и ареальных связей. По определению Геннадия Прокопьевича, разрабатываемая им системная типология есть систематика языков в духе И. А. Бодуэна де Куртенэ, т. е. *система типологий*.

К выводу о необходимости выделения «систематики» в качестве самостоятельной дисциплины в структуре языкознания пришел уже А. Шлейхер, выделявший наряду с грамматикой *дескриптивную глоттику*. Задачей последней А. Шлейхер считал установление естественной системы языков, их классификации от простейших организмов к высшим, исходя из организации в целом, т. е. с учетом грамматики во всех ее частях [Schleicher 1869].

Г. Штейнталь также выделял в составе языкознания — как его очень существенную и неотъемлемую часть — дисциплину, занимающуюся систематизацией или классификацией языков, которая, не удовлетворяясь объединением языков по общим признакам в классы и семьи, образует из этих классов шкалу, систему рангов.

Согласно Г. Штейнталю, «классификация языков выражает всеобщую сущность языка, как она воплотилась в отдельных языках в индивидуальных формах,

и представляет собой подлинную всеобщую грамматику. Она представляет каждый язык как индивидуальное осуществление понятия “язык” и указывает на единство языков, ставя их все в определенные отношения друг к другу и соединяя их в систему по их родству и совершенству их организации» [Штейнталь 1964: 132].

И. А. Бодуэн де Куртенэ, как и А. Шлейхер, противопоставил грамматике отдельную дисциплину, изучающую языки в их целостности, и назвал ее *систематикой*. Первоначально в систематике были выделены два способа сравнительной характеристики языков — структурная и генетическая классификация. Позднее к ним была присоединена классификация языков, связанных общим географическим субстратом, по их свойству.

Поскольку язык — это общественное, психосоциальное явление, существующее во времени и в пространстве, постольку разнообразие языков обусловлено, по Бодуэну, географическими, хронологическими и социологическими различиями. И хотя Бодуэн допускает возможность рассмотрения языков с какой-либо одной точки зрения в отвлечении то от географии и хронологии, то от социологии и хронологии, то от социологии и географии [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 91], но, развивая системный подход к языку, он настаивает на том, чтобы при любой классификации языков «объяснять рассматриваемые факты одновременно как в связи с историей, так и с географией, наконец, с физиологией и психологией и даже с физикой и механикой» [Там же: 342]. Учитывая существование языка в пространстве и во времени, сравнительную характеристику морфологического построения языков «следует проводить в двух направлениях: с одной стороны, определять морфологические различия между сосуществующими языковыми мышлениями (сравнительная характеристика на топографической или географической подкладке), с другой же стороны, следить за постепенными переходами одних морфологических типов в другие (историческая эволюция в области морфологии языкового мышления)» [Там же: 182].

В основу классификации И. А. Бодуэн де Куртенэ предлагал положить «общие стремления, обуславливающие своеобразный строй и состав данного языка», такие характерные признаки, которые имели бы общую значимость, которые, так сказать, проникали бы насквозь как чисто фонетический, так и морфологический строй языка», общие морфологические и семасиологические черты [Там же, I: 115, 132, 133], отделяя при анализе языковых элементов внеязыковое от чисто языкового [Там же, II: 185].

Эти установки И. А. Бодуэна де Куртенэ послужили для Г. П. Мельникова руководством к разработке главных положений, принципов и методов системной типологии языков. В сущности, это дело всей жизни Геннадия Прокопьевича. В наиболее полной, но не исчерпывающей форме принципы и методы изложены самим автором в опубликованной в 2003 г. книге, которая представляет собой докторскую диссертацию, защищенную в 1990 г.

3. ДЕТЕРМИНАНТА СИСТЕМЫ: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ

Общесистемологическое понятие *детерминанты* как главной характеристики, главного параметра системы было введено Г. П. Мельниковым применительно к языку. Эффективное функционирование языка требует согласованных отношений между частью и целым, системой и ее элементами, надсистемой и ее системами, адаптации их друг к другу. Согласно Г. П. Мельникову, «...формирующееся в процессе адаптации специфическое свойство системы как целого становится ее *внутренней детерминантой, интенциональный фокус* в надсистеме, задающей направление адаптации системы, — *внешней* ее детерминантой» [Мельников 1989: 13]. Другими словами, внешняя детерминанта языка — это «те внеязыковые факторы, которые определяют функцию и, следовательно, специфику внутренней детерминанты» [Там же: 12], так что в идеале внутренняя детерминанта «логически *выводится* как *неизбежность* из внеязыковых факторов» [Мельников 2003: 132].

Соответственно, «системная типология языков с основными ее понятиями *детерминанты* языкового типа увязывает (благодаря расщеплению этого понятия на два — внутреннюю и внешнюю детерминанты) идею *цельносистемности* языкового организма, выводимой из учета особенностей внутренней детерминанты, с идеей функциональной и материальной обусловленности этих особенностей, т. е. объясняет уникальную согласованность *субстанциональных* и *структурных* характеристик языковой системы предрасположенностью исходного материала и своеобразием запросов надсистемы на *функцию* системы, т. е. своеобразием внешней детерминанты языка» [Там же: 138].

3.1. ВНЕШНЯЯ ДЕТЕРМИНАНТА ЯЗЫКОВОГО ТИПА

Развивая в своей лингвистической концепции идеи предшественников, в частности И. А. Бодуэна де Куртенэ, Г. П. Мельников обращается к *психосоциальному миру* и соответственно к *социальному аспекту человеческих индивидов*, существующих в определенных условиях *пространства* и *времени* (ср.: [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 191, 194]). Он показывает, как «общительный характер» «общественных индивидов» [Там же, I: 77, 223] реализуется в языке.

Суть концепции Г. П. Мельникова заключена в стремлении вскрыть осуществляющуюся в языке и через язык *диалектику взаимоотношений индивидуального и социального сознания* в зависимости 1) от особенностей языкового коллектива как надсистемы и 2) от условий общения его членов во времени и пространстве в мире как надсистеме высшего порядка, в которой живет и функционирует человеческое общество.

В определении Мельникова, язык (языковое сознание) как форма есть «средство превращения несоциализированного сознания в социализированное в каждом индивидуальном сознании» [Мельников 2003: 98]. Необходимость такого

превращения диктуется одной из важнейших функций языка — «быть средством формирования и поддержания *единства* социального сознания» [Мельников 2003: 121].

Поэтому в системной типологии языков, разработанной Г. П. Мельниковым, «исходным при поиске внешних детерминант, определяющим внутренние детерминанты каждого языкового типа, явилось известное положение В. Гумбольдта и его последователей, что язык возникает и развивается в психике индивидов в связи с потребностями духа преодолеть индивидуальную субъективность и подняться до уровня национальной субъективности, т. е. с потребностями превращения индивидуального сознания в социальное» [Мельников 2003: 95].

Субъективность национального сознания в конечном счете обусловлена функционально. Функции языков в человеческих коллективах не являются вполне тождественными [Мельников 1989: 11–12] ввиду различий в поводах коммуникации. Это объясняется теми внешними факторами, которые влияют на условия коммуникации в человеческом коллективе как надсистеме, т. е. внешней детерминантой языка, обуславливающей в свою очередь специфику его внутренней детерминанты, в частности специфику морфологического строя со свойственным ему коммуникативным ракурсом.

Внешняя детерминанта имеет иерархическую структуру. *В качестве наивысшего уровня системности, согласно Мельникову, выступают социально значимые характеристики.* Прежде всего это особенности языкового коллектива, в котором формировался соответствующий языковой тип, и условия языковой коммуникации во внешнем мире. К ним относятся: *величина коллектива* (малый — большой коллектив), *однородность — разнородность его состава* (не-смешанное — смешанное население), а также *оседлый или неоседлый (кочевой) образ жизни* и связанный с этим *режим общения*, а именно его *непрерывность — прерывность во времени и в пространстве.*

Малые однородные коллективы с малыми межкоммуникационными перерывами в пространстве и во времени говорят на инкорпорирующих языках. Большие смешанные коллективы общаются на корнеизолирующих языках. В случае больших однородных коллективов большие временные межкоммуникационные интервалы характерны для говорящих на агглютинативных языках, длинные пространственные межкоммуникационные интервалы свойственны общению на флективных языках [Мельников 2003: 129–130].

Язык как «специализированный для коммуникации механизм» [Там же: 100] должен служить средством постоянного распространения новых социально значимых знаний [Там же: 117], быть средством получения нового выводного знания. Главный организующий принцип, формирующий в качестве внешней детерминанты целостную органичную языковую систему, «определяется долей и характером социализируемой информации из сферы личного опыта» [Там же: 119].

Поводом для коммуникации в не-смешанных языковых коллективах, говорящих на языках с фиксированным коммуникативным ракурсом, обычно является

неполнота информации относительно тех или иных фрагментов картины мира. Дефицит информации в определенном отношении зависит от типовых условий общения. Он касается:

- либо сведений относительно текущей обстановки, положения дел, в тончайших деталях знакомого членам малого однородного языкового коллектива как монолитного целого [Мельников 2003: 110];
- либо сведений «об интегрированном результирующем состоянии общеизвестных людей, вещей, мест и т. п., сложившемся за относительно *длительный период* времени, в течение которого воспользоваться какими-либо каналами коммуникации вообще не было возможности» [Там же: 121];
- либо сведений, относящихся «к целым *классам* явлений, объектов и субъектов, поскольку члены языкового коллектива с *индивидуальными* представителями этих классов бывают, как правило, незнакомы» [Там же: 122].

В первом случае средством общения служат инкорпорирующие языки, во втором — агглютинативные, в третьем — флективные, имеющие соответственно обстановочную, качественно-признаковую и событийную внутреннюю детерминанту.

В отсутствие фиксированного коммуникативного ракурса, как в корнеизолирующих языках, на которых говорят смешанные языковые коллективы, внутренняя детерминанта носит окказиональный характер.

Следующий, низший, уровень в структуре *внешней детерминанты* образует *психика, внеязыковое сознание индивидов*.

Характерное для носителей инкорпорирующих и агглютинативных языков наличие общих знаний в форме близких индивидных образов обуславливает линейную связь поводов сюжетов, относящихся к отдельным фрагментам картины мира, в памяти коммуникантов. У говорящих на флективных и корнеизолирующих языках в отсутствие общих знаний в форме близких индивидных образов «поводы сюжетов ассоциированы лишь по родовидовым признакам, образуют не линейную, а сетевую связь» [Мельников 1989: 22].

На уровне отношений между сознаниями индивидов языковые коллективы различаются по степени близости (подобия) не только индивидных, но и текущих (преходящих) образов, а также по степени общности мировидения и, следовательно, родовидовых образов. При этом обнаруживается явная корреляция между степенью близости текущих образов в индивидуальных сознаниях и величиной коллектива, с одной стороны, и степенью близости мировидения и однородностью — неоднородностью коллектива, с другой стороны. В малом коллективе имеет место неослабленная близость текущих образов, что отличает носителей инкорпорирующих языков от носителей иных морфологических типов языков. Однородность языковых коллективов, говорящих на инкорпорирующих, агглютинативных и флективных языках, способствует неослабленной близости мировидения в сознании индивидов. В смешанных языковых коллективах, говорящих на корнеизолирующих языках, близость индивидуальных мировидений ослаблена.

В целом степень близости индивидуальных сознаний членов языковых коллективов последовательно убывает в соответствии с морфологическим типом языков. Она оказывается наибольшей у говорящих на инкорпорирующих языках, ниже у носителей агглютинативных и тем более флективных языков, наименьшей — у носителей корнеизолирующих языков [Мельников 2003: 130, табл. 3].

В том же направлении, вероятно, меняется и *степень противопоставления индивида коллективу*. Эксплицитно эта последняя зависимость была отмечена Мельниковым при характеристике *исходного* типа языков, к каковому он относит языки минимальных однородных языковых коллективов, т. е. инкорпорирующие языки [Там же: 100, 111, 127]. «Очевидно, что чем меньше подобные коллективы, тем более взаимосвязаны и взаимозависимы его члены, тем более монолитную социальную единицу представляют собой эти коллективы, тем более значима для каждого человека информация об обстановке, о состоянии дел в коллективе как монолитном целом и *тем менее типично и значимо противопоставление индивида коллективу*» [Там же: 100; выделено мною. — Л. 3.].

Противоположная ситуация имеет место в процессе смешения представителей многих народов, когда в языке развивается тенденция к корнеизоляции. «В этих условиях резко сужается исходный объем социального, общественного знания; сужается та традиционная сфера содержания, в границах которой представители разных культур имеют основания надеяться на взаимное понимание; сокращается объем общеизвестных языковых единиц и круг тех ситуаций, в которых один человек считает необходимым вступить в общение с другим» [Там же: 123], «увеличивается роль окказионального творческого употребления имеющихся знаков с учетом контекста, конкретной ситуации общения и индивидуальных особенностей слушающего» [Там же: 124]. «...Вероятность наличия в сознании коммуникантов одних и тех же индивидуальных образов еще меньше, чем в случае больших *однородных* коллективов» [Там же: 125], говорящих на агглютинативных и флективных языках.

Однако все эти различия, по мнению Мельникова, в сущности не имеют отношения к мыслительным процессам в зоне внеязыкового сознания. Не отрицая определенного параллелизма между языком и мышлением, языковым и внеязыковым сознанием [Там же: 135], он убежден, что «процедуры и механизмы мыслительных процессов и актов, осуществляясь в зоне внеязыкового сознания, в зоне отражения и прогнозирования состояний внешней действительности, остаются общими, универсальными для всех народов, независимыми от строя языка» [Там же: 13].

Системная типология языков проводит (во всяком случае, стремится провести) четкую грань между универсальными и типологическими закономерностями. «Всё, что в речевом потоке и в процессах его формирования, распознавания и понимания зависит от особенностей материального антропофонического субстрата и от общечеловеческих особенностей процессов накопления, хранения и преобразования знаний в психике, проявляется как *универсальные* закономерности и единицы строя языка и речевого потока. Типологическое же своеобразие любого уровня

(начиная с уровня общенационального через диалектные, социолектные, вплоть до идиолектных), проявляющееся в конечном счете в особенностях внутренней формы языка, определяется *внешними* факторами, но лишь в той мере, в какой они влияют на условия коммуникации» [Мельников 2003: 134].

Итак, «...любой язык, будучи специализированным для универсальной коммуникации компонентом социального сознания, несет на себе следы *общечеловеческих* характеристик сознания и осуществляемого им мышления, т. е. *мышление прямо не влияет на типологическое своеобразие языков* (выделено мною. — Л. З.). Но поскольку — с триадических позиций — язык и речь как продукт формируются под воздействием особенностей условий общения как формы, которые в различных зонах возникновения и функционирования языка существенно отличаются, то это и приводит к типологическому расхождению языков. И лишь в той мере, в какой особенность типа языка, несмотря на наличие непосредственных взаимодействий сознания с внешней действительностью через практическую деятельность, влияет на режимы осуществления мыслительных процессов, своеобразие языкового типа оказывает некоторое косвенное, *вторичное* влияние на картину мира носителей языка. Обычно же, когда настаивают на том, что человек смотрит на мир через очки языкового мировидения, то... отождествляют картину мира с коммуникативным ракурсом... Результатом такого неразграничения оказываются неимоверно преувеличенные представления о степени параллелизма между языком и сознанием, говорением и мышлением» [Мельников 2003: 135–136]. (Речь идет, в частности, о гипотезе Сепира — Уорфа и теории Н. Я. Марра.)

Таким образом, определяя внешнюю детерминанту языка как психосоциального явления, как средства социализации индивидуальных сознаний и получения нового выводного знания, как специализированного для целей коммуникации механизма, Г. П. Мельников выдвигает на передний план коммуникативную функцию языка в ее модификациях в зависимости от условий общения и не касается влияния на внутреннюю детерминанту языка духовных особенностей языковых коллективов, которые обусловлены различиями в «способе укоренения человека в действительности», в формах ее отражения, в соотношении чувственного и рационального, конкретного и абстрактного во внеязыковом сознании, что представлялось В. фон Гумбольдту и его предшественникам основополагающим фактором межъязыковых различий. Насколько правомерно принятое Г. П. Мельниковым ограничение, должны показать специальные исследования.

Целостное представление о механизмах внешней детерминанты явно требует синтеза данных о влиянии всех трех миров, в которых существует язык, — физического, социального, психического. Мостиком к решению этой задачи может послужить творческий синтез идей Г. Гийома, Г. П. Мельникова и В. фон Гумбольдта с его предшественниками и последователями.

Кроме того, для полного объяснения своеобразия языкового строя внешними условиями следует уделить должное внимание не только рациональному, но

и чувственному отражению действительности во внеязыковом и языковом сознании. Необходимо учесть также различные ценностные ориентации, духовные и прагматические устремления народов.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ И ВНУТРЕННЯЯ ДЕТЕРМИНАНТА ЯЗЫКОВОГО ТИПА

Синтезирующий характер системной типологии языков и в целом системной лингвистики задается *системой взаимодополнительных принципов* исследования языка как развивающегося объекта действительности. Из них основными Г. П. Мельников считает *три принципа*, имеющие прямое отношение к внутреннему строю языка.

«...*Первый* — принцип *материальности субстрата* изучаемого объекта: изучение не может быть достаточно эффективным, если исследователь не имеет ясных представлений о том, каков материальный субстрат изучаемой им системы. В частности, системная типология исходит из того, что субстратом для речевого потока является акустико-артикуляционная материя, а для языка и внеязыкового *мыслительно-го* содержания (для *значений, смыслов* и т. д. — *психика*, т. е. *нейронная материя*).

Второй — принцип *мерности* при рассмотрении объекта как *развивающейся системы*. Принцип *пространственной мерности* языка проявляется в наличии в нем единиц разных ярусов, в противопоставленности языка как целого, как системы, *надсистеме*, т. е. той внешней среде, в которой он функционирует. *Пространственную меру* имеет и язык как *типологический класс*, ибо существует на определенных территориях, в определенных социальных сферах.

Принцип *временной мерности* в объектах типологии, как и в любых развивающихся системах, проявляется в наличии этапов становления, развития и качественных перестроек на линии *эволюции* типологических характеристик. Проблемам мерности во времени наибольшее внимание уделяется сторонниками *стадиальных* концепций языкового типа (например, *контенсивной* типологии), но они разрабатываются не столько в дополнение, сколько взамен “пространственных” концепций, к числу которых относится и общеизвестная “морфологическая классификация языков”.

Третий — принцип *триадичности* как условие системности рассмотрения языкового типа в отличие от принципа *диадичности* (бинарности, антиномичности), лежащего в фундаменте *структурных* типологических концепций, хотя и они, вслед за Ф. де Соссюром, декларируют системность своих методов с неизменными антиномиями: синхрония или диахрония, форма или субстанция, статика или динамика и т. д. В связи с динамичностью последовательно *структурный* анализ может быть только статичным; если же объект, в том числе языковой тип, нужно рассмотреть в его развитии, то охарактеризован он может быть не менее чем через *три* категории, например: “причина–условие–следствие”, “форма–материя–содержание”, “сущность–среда–явление”, “структура–субстрат–субстанция”, “функция–парадигматика–синтагматика”, “значение–внеязыковое сознание–смысл” и т. д.

Решение проблем системной типологии языков потребовало внести пространственные и временные уточнения в системологическое понятие детерминанты. В *пространстве* — это противопоставление *внутренней* детерминанты языка как целостной системы частным детерминантам ее подсистем, а также *внешней* детерминанте как таким характеристикам *надсистемы*, под воздействием которых формировалась внутренняя детерминанта. В конечном счете эти характеристики доводятся до представления о *запросе* надсистемы к системе, т. е. о *функции* системы как компонента надсистемы, а *внутренняя* детерминанта оказывается тем главным свойством системы, без которого система не могла бы выполнять запрашиваемых функций.

Временные уточнения в понятии детерминанты заключаются прежде всего во введении представления об *исходном*, *текущем* и *предельном* этапе на линии эволюции системы и соответственно об исходной, текущей и предельной детерминанте. В частности, язык приобретает черты всё более явно выраженной *типологической* принадлежности, по мере того как под влиянием определенной *текущей* *внешней* детерминанты его *текущая* *внутренняя* детерминанта от полюса *исходной* приближается к полюсу *предельной*, так что и в отношениях между детерминантами соблюдается принцип триадности» [Мельников 2003: 86–87].

Принятие указанных принципов исключает рассмотрение языка «в себе и для себя» в смысле Ф. де Соссюра — как формы, структуры, системы чистых значимостей, существующей исключительно в синхронии. Противопоставив структурной лингвистике системную, Г. П. Мельников показал несостоятельность соссюрских дихотомий–антиномий «внутреннее–внешнее», «язык–речь», «синхрония–диахрония», «парадигматика–синтагматика». В системной типологии языков *противоположности* оказываются *взаимодополнительными*. Благодаря этому становится очевидной их системообразующая значимость, а сама система оказывается не только более сложной и многомерной, но и более целостной. Так, рассмотрение *парадигматики* и *синтагматики* языкового типа в одной триаде с *функцией* языкового типа, выполняемой им в надсистеме, позволяет вскрыть синтагматико-парадигматическую функциональную согласованность как важнейшее свойство языковой системы, обеспечивающее ее целостность, и таким образом не только показать взаимосвязь синтагматики и парадигматики, но и *объяснить* ее.

Объяснение оказывается возможным потому, что, во-первых, учитывая диалектику целочастных и родовидовых отношений, Г. П. Мельников выводит свойства и взаимосогласованность отдельных элементов системы из ее главного, насквозь проникающего все уровни детерминантного свойства, в свою очередь выводимого из условий функционирования и специфики выполняемых языком функций в человеческом языковом коллективе как надсистеме, в которой существует язык.

Учет наиболее типичных условий общения и характера типичных языковых коллективов согласуется с идущим от В. фон Гумбольдта определением языка как посредника между миром и человеком, с положением о триединстве мира, человека и его языка, с требованием В. фон Гумбольдта «рассматривать язык с точки

зрения разносторонних связей человека» [Гумбольдт 1985: 348], наконец, с его учением о социальной природе человека и его языка как их внутреннем свойстве.

Сам В. фон Гумбольдт в объяснении языковой специфики, и в частности содержательной стороны языка, его *внутренней формы*, исходит из духовных особенностей наций, из «способа укоренения человека в действительности», из преобладающей направленности сознания, «либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность» [Гумбольдт 1984: 173]. В зависимости от индивидуальной направленности народа на чувственное созерцание, внутреннее восприятие или отвлеченное мышление язык по-разному осваивает и воспроизводит окружающий мир [Там же: 177]. В результате, например, «слова одного языка являют больше чувственной образности, другого — больше духовности, третьего — больше рассудочного отражения понятий» [Гумбольдт 1985: 379]. Так в соответствии с духовными задатками народа складывается форма каждого языка, и в частности его внутренняя форма, под которой В. фон Гумбольдт понимает свойственный данному языку способ организации мыслительной материи, «способ представления», «осмысления», «модификации» ее элементов [Гумбольдт 1984: 103, 149, 317; 1985: 396], «метод разделения поля мышления» [Гумбольдт 1985: 364].

В концепции Г. П. Мельникова гумбольдтовское понятие внутренней формы конкретизируется в понятии *внутренней детерминанты* как функционально наиболее важного свойства языкового строя, но не отдельного языка, а языкового типа.

В отличие от Э. Б. де Кондильяка, выводившего *преобладающее качество* из характера народа, и В. фон Гумбольдта, объяснившего специфику внутренней формы духовными особенностями нации, Г. П. Мельников исходит из коммуникативной обусловленности внутренней детерминанты языка. Согласно Г. П. Мельникову, язык — это прежде всего коммуникативное устройство, а не инструмент мышления [Мельников 1977: 227]. Собственно мышление, с точки зрения Геннадия Прокопьевича, не вербально и универсально.

Различия в языковых коллективах, в условиях общения и во внеязыковом сознании, затрагивающие тип связи поводов сюжетов в памяти коммуникантов, степень близости их текущих, индивидуальных образов и мировидения, обуславливают *неожиданность коммуникативной функции* языка, ее вариативность.

Поскольку же «*смысл* типичного высказывания как *внутренняя форма сообщения* должен быть приспособлен для преобразования типичных поводов в типичном *аспекте* при формировании типичных, для рассматриваемых условий общения, *сюжетов* и при типичных временных и пространственных межкоммуникативных интервалах» [Мельников 1989: 24], то язык как адаптивная коммуникативная система должен обладать определенными особенностями *коммуникативного ракурса*. Именно в коммуникативном ракурсе, в особенностях смысловой схемы типичных высказываний Г. П. Мельников видел важнейшее проявление *внутренней формы языка*, в которой реализуется *внутренняя детерминанта* системы.

По словам автора, «...наиболее кратко и емко внутренняя форма языкового типа, т. е. его внутренняя детерминанта, может быть охарактеризована через специфику той *точки показа*, того *коммуникативного ракурса*, в котором смысл типичного высказывания “высвечивает”, “представляет” перед мысленным взором слушающего *сюжет* сообщения как тот конечный образ, который должен возникнуть как результат преобразования, в нужном *аспекте*, *повода* в *сюжет* с помощью номинативного смысла высказывания.

В области сюжетов и поводов, т. е. в зоне *внеязыкового* сознания, картина мира остается объективной, мало зависящей от “языкового мировидения”. Своеобразие *языкового* мировидения, ракурса показа сюжета, влияет на выбор лишь *способов намеков* на *именуемые* высказываниями типичные смыслы, т. е. на то, какие из смыслов в данном языке предпочтительно бывают *ближайшими*, каков состав морфем с *вещественными* значениями, какие наиболее частые последовательные и параллельные отношения между смыслами требуют выражения с помощью *грамматических* значений и т. д. Таким образом, коммуникативный ракурс действительно *детерминирует* своеобразие прежде всего единиц всех уровней языковой системы, но не самой картины мира.

При этом очевидна и зависимость внутренней детерминанты от *внешней*, характеризующей особенности тех *внеязыковых* условий существования языкового коллектива, которые в конечном счете определяют то, какими будут типичные *сюжеты* и *аспекты* сообщений, что служит типичным поводом вступления людей в акт коммуникации. Четыре наиболее типичных, в отношении этих условий, языковых типа и раскрывает системная типология через их внутреннюю форму. Каждый из типов представляет собой оптимальный инструмент социализации не социализированных знаний членов языкового коллектива» [Мельников 1989: 32].

В работах исследователя подробно анализируются четыре внутренние детерминанты как четыре главных коммуникативных ракурса и соответственно четыре внутренние формы, которые характеризуют выделенные В. фон Гумбольдтом морфологические типы языков: *обстановочная* — *инкорпорирующий* тип, (*качественно*) *признаковая* — *агглютинирующий* тип, *событийная* — *флексивный* тип, *оказиональная* — *корнеизолирующий* тип.

Языковые системы, не попадающие в раздел типичных, оказываются *переходными* между четырьмя основными типами, и «именно на них сосредоточено внимание стадиальной, контенсивной и ареальной типологии языков» [Там же: 26].

Так или иначе становится возможным *объяснить функциональные связи* между *семантическим своеобразием языка* и теми особенностями *условий общения* в языковом коллективе, которые влекут за собой соответствующую модификацию функций языка.

В единстве с внешней детерминантой внутренняя детерминанта оказывает глубоко диалектичной цельносистемной характеристикой, учитывающей и те предрасположенности к связям и отношениям, которые вытекают из устойчивого имманентного свойства типологически сформировавшегося языка, и те его свой-

ства и предрасположенности, которые возникают из «диспозиции» языка в сети отношений с объектами окружающей среды [Мельников 1990: 56–64].

Внутренняя детерминанта языка как его форма обуславливает свойства, единицы и отношения на всех уровнях вплоть до фонетического, выявляя таким образом цельносистемность языка.

Эта системообразующая роль внутренней детерминанты детально раскрывается автором во второй части посмертно изданной книги путем анализа гармонии гласных в урало-алтайских языках, прежде всего тюркских, изучению которых посвящены многие работы Геннадия Прокопьевича.

На том же объекте показаны сущность и приемы использования системы методов и моделей исследования, направленных на постижение природы языка как целостной системы исходя из принципов системной типологии.

От системы принципов к системе методов и, далее, к системе типологий — такова логика лингвистического исследования в концепции Г. П. Мельникова.

Этой логике подчинен и детерминантный анализ отдельных языков.

«Опора на понятие детерминанты языка как главной типологической черты, с учетом временных разновидностей этого понятия, позволяет построить достаточно строгое *исчисление* самих *типологий*, т. е. способов объединения языков в один класс. Так, совокупность языков с общей *исходной* внутренней детерминантой представляет собой *генеалогический* класс, совокупность языков с близкими *текущими* внутренними детерминантами — *морфологический* класс, совокупность языков с близкими *предельными* внутренними детерминантами — *типологический* класс; языки с близкими *исходными* и *предельными* внутренними детерминантами при близости фазы их *текущей* детерминанты в интервале между исходной и предельной представляют собой один *стадиальный* класс, например контенсивный. Это дает право считать, что *системная* типология языков действительно является *синтезирующей* концепцией, *типологией типологий*, или *систематикой* языков» [Мельников 2003: 88].

В последней прижизненной книге автор, продолжая разрабатывать систему типологий, осуществляет синтез традиционной морфологической классификации языков и вариантов стадиальной типологии, показывает, как «через осознание внутренней формы последовательность “стадиальных” типов языковых систем всё более естественно “накладывается” на систему морфологических классов» [Мельников 2000: 53]. Тем самым доказывается взаимодополнительность морфологической и стадиальной классификаций языков. То или иное направление стадиальных перестроек, а значит, переход с одной внутренней детерминанты на другую, объясняется изменением условий общения, среди которых помимо изменения величины языкового коллектива особенно важным оказывается *уровень преемственности языкового и культурного опыта между разными поколениями*. Высокий уровень преемственности способствует сохранности синтетизма в процессе стадиальных перестроек, низкий — ведет к усилению аналитических черт.

Здесь невольно напрашивается аналогия с тем, что мы наблюдаем в истории нашей науки: высокий уровень преемственности характеризует синтезирующие концепции, низкий — приводит к смене одной аспектирующей концепции другой.

Хотелось бы надеяться, что синтезирующая тенденция, так мощно проявившаяся в творчестве Геннадия Прокопьевича Мельникова, получит дальнейшее развитие, стимулируемое, в частности, и идеями этого замечательного ученого.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

А. Д. КОШЕЛЕВ

Отношения между миром внешних явлений и внутренним миром человека, между действительностью, мышлением и языком занимают центральное место в теории языка. Однако реальные механизмы связи между ними, по сути, оставались нераскрытыми до конца XX в.

Выявление таких механизмов становится возможным на основе развиваемой А. Д. Кошелевым *когнитивной теории семантики*, совмещающей референциальный подход к языку с концептуальным.

Их прообразом, по-видимому, является выделенное в античности противопоставление двух миров. С одной стороны, это «область зримого» (чувственный мир), с другой — «область умопостигаемого» (мир идей).

В учении основоположника теоретического языкознания В. фон Гумбольдта различаются два типа мышления — доязыковое и языковое. Доязыковое мышление, служащее материалом для языка, не связано «прочными и четкими узлами звука». Оно неопределенно [Гумбольдт 1985: 406] и бесформенно [Там же: 364], представляя собой «совокупность чувственных впечатлений и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Гумбольдт 1984: 73].

Позиция А. Д. Кошелева четко заявлена уже 20 лет назад в статье «Референциальный подход к анализу языковых значений» [Кошелев 1996]. Согласно автору, «...первичной феноменологической данностью является начальное представление об окружающей действительности, основанное на ее чувственном восприятии. Относительно этого представления естественный язык и порождаемое им понимание действительности феноменологически вторичны. *Познание действительности посредством языка начинается у человека не с нулевого уровня знаний о мире, а с некоторого уже имеющегося в его мозгу первичного (доязыкового) концептуального представления.* Оно формируется в первые месяцы жизни отдельными (неязыковыми) понятийными и логическими механизмами в процессе непосредственного чувственного освоения этого мира» [Там же: 136: выделено мною. — Л. 3.].

«...Первичные концепты — значимые для языка обобщения элементов... дискретного представления [ребенка] о мире». Определяя концепт «предмета», автор

трактует его «...как результат двухэтапной абстракции первичных перцептивных впечатлений воспринимающего субъекта» [Кошелев 1996: 138]. На первом (языковом) этапе абстракции представлен «...пока не предмет, а как бы целостный “предмето-процесс” — синтетический набор статических и динамических (зависящих от времени) характеристик» [Там же: 139]. «Второй, индуцированный языком, этап абстракции — это разложение цельного “предмето-процесса” на предметную и процессную составляющие» [Там же].

Таким образом, автор оперирует двумя подходами — референциальным и концептуальным, внося существенные коррективы в понимание языка как отражения реальной действительности.

Будучи одной из составляющих в наивной картине мира носителя языка, предметная лексика занимает особое место в отражении наивной предметной классификации мира. В статье «О схеме лексического значения предметного существительного и ее функционировании в акте коммуникации» [Кошелев 2006] автор основывается на том, что «лексическое значение предметного существительного — это комплексное описание класса его референтов как ячейки (таксона) наивной предметной таксономии носителя языка» [Там же: 516]. Соответственно, схема лексического значения — это совокупность характеристического и прототипического компонентов и их коммуникативные функции. Центральные понятия статьи — предметный признак и партитивная модель референта. Анализируя партитивное значение генетивной группы *УХ-а*, автор с ее помощью изучает партитивную структуру референтов разных типов: артефактов, натуральных предметов и живых организмов. Таким образом определена семантическая схема предметного существительного и рассмотрена роль ее компонентов в осуществлении языковой коммуникации.

В статье, посвященной И. А. Мельчуку, «Значение слова как генеративный комплекс...» [Кошелев 2012] А. Д. Кошелев, рассматривая значение слова в диахроническом аспекте, показывает «необходимость строгого различения в значении слова двух относительно независимых составляющих: **когнитивной (ядерной)** — структуры концептов, на основе которых порождаются (→) новые узуальные и окказиональные значения слова, и **языковой (периферийной)** как набора порожденных ранее и уже устоявшихся смыслов, управляющих узуальными употреблениями слова» [Там же: 301].

Так как многозначность — «характеристическое свойство языка», статья «О семантической категории слова, ее структуре и механизмах образования» представляет собой попытку «построить теорию лексической полисемии, которая... а) объясняет механизмы микродиахронии (образование и изменение) многозначности и б) описывает процессы онтогенеза многозначности (как она возникает у ребенка, осваивающего родной язык)» [Кошелев 2014б: 136].

Значительным вкладом в когнитивную теорию семантики является книга «Когнитивный анализ общечеловеческих концептов», вышедшая в свет в 2015 г.

А. Д. Кошелев убежден, что любая семантическая теория должна носить объяснительный характер и удовлетворять трем необходимым фундаментальным принципам:

«1) объяснять механизм образования новых лексических значений слов носителями языка;

2) объяснять механизм формирования у ребенка первых представлений о лексических значениях слов;

3) опираться при определении лексических значений не на вербальные описания (толкования), а на специальную систему когнитивных понятий» [Кошелев 2015а: IV].

В книге анализируется конкретная и абстрактная лексика. Основное лексическое значение конкретного сенсорного слова задается «дуальной структурой когнитивных единиц “Прототип — Ядро”, где Прототип — это *визуальная* характеристика типичных референтов слова (он помогает *понять* услышанное слово), а Ядро — *функциональная* характеристика всех элементов слова (оно обеспечивает его *референцию*)» [Там же: аннотация]. У основного значения абстрактного слова главный компонент — семантическое Ядро — всегда имеется, тогда как прототипический компонент факультативен. В случае его отсутствия «основное значение слова представляется только ядром» [Там же: 145].

Поэтому, осуществляя референциальный анализ основных значений конкретной и абстрактной лексики, автор главное внимание уделяет «изучению и описанию семантического ядра — содержательного компонента основного значения слова, задающего строгую категорию прямых референтов слова» [Там же: 25].

В определении А. Д. Кошелева, «...Прототип и Ядро — суть самостоятельные когнитивные единицы разной природы, хранящиеся в отдельных ячейках лексикона — области долговременной памяти, содержащей данные о лексике языка. Там же хранится и связывающее их отношение интерпретации, реализующееся как устойчивая ассоциативная связь между ними» [Там же: 17].

Так по существу уже здесь раскрывается понятие «когнитивный язык мысли», о чем подробнее в последней книге автора, анализируемой ниже.

Предваряя последнюю (еще не изданную) книгу, в которой рассматриваются наряду с сенсорной знаменательной лексикой элементы сенсорной грамматики, А. Д. Кошелев в 2016 г. публикует статью «О структурном и генетическом сходстве лексических и грамматических значений».

В специальном когнитивном языке мысли автор различает визуальные (шире — перцептивные) и функциональные (шире — интерпретационные) когнитивные единицы. «*Визуальные* единицы — это типизированные продукты **восприятия** видимого мира — типичные образы предметов, действий и свойств, а *функциональные* единицы — это типизированные продукты человеческого **осмысления**, или интерпретаций (←) визуальных единиц» [Кошелев 2016: 20]. «...Дуальная структура со строгим разделением прототипа и ядра свойственна любому языковому

значению, как лексическому, так и грамматическому» [Кошелев 2016: 20]. Она представлена в двух структурах:

(А) Основное значение = визуальный Прототип ← семантическое Ядро.

Далее от *Основного значения образуются производные значения*. Соответственно, (В) «структура значений сенсорного слова имеет вид:

Основное значение — множество производных от него значений (метафор и метонимий)» [Там же: 22].

«В структурном и генетическом плане лексические и грамматические значения сенсорных единиц языка неразличимы» [Там же: 25].

Среди рассматриваемых грамматических категорий особенно показательна категория залога, в которой благодаря различению трех залогов — актива, пассива и рефлексива — отражаются важнейшие изменения объекта, происходящие в мире: *независимые* (актив), *зависимые* (пассив), *одновременно независимые и зависимые* (рефлексив). Выявленные при анализе залоговые значения удалось представить «в виде разветвляющейся цепочки, звенья которой связаны метафорическими и метонимическими переходами» [Там же: 27–29].

1. ОТ КРИЗИСА В ЛИНГВИСТИКЕ И ДРУГИХ КОГНИТИВНЫХ НАУКАХ К ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПУТЕМ НОВОГО СИНТЕЗА

Разные проявления кризиса в языкознании и вообще в когнитивной сфере живо волнуют А. Д. Кошелева. Этой проблеме посвящена специальная статья «Современная теоретическая лингвистика как Вавилонская башня» [Кошелев 2013б]. Она же обсуждается в обширном послесловии автора к книге У. Т. Фитча «Эволюция языка» [Кошелев 2013а], а также в статьях [Кошелев 2014а; 2015б].

Ослабление влияния структурализма способствовало кризису теоретической лингвистики во второй половине XX в. Кризис в лингвистике усугубляется тем, что с того же времени — с 70-х гг. XX в. — кризисная ситуация охватила и другие когнитивные науки, причем каждая из них существует изолированно от остальных: «каждая конкретная наука развивается независимо, в соответствии со своим собственным видением своего предмета — того или иного аспекта знаний о человеке и его деятельности. Как будто этот аспект существует как самостоятельное целое, отдельно от других аспектов — предметов исследования других наук о человеке» [Кошелев, в печати: 51]. Это, естественно, «сказывается на их развитии самым пагубным образом» [Там же].

Неудивительно, что в настоящее время и в языкознании, и в других когнитивных науках царит концептуальный антагонизм, препятствующий их развитию.

С позиций А. Д. Кошелева, язык как предмет лингвистического исследования обладает тремя отличительными чертами.

1) Он не может быть абстрагирован от **среды общения**. Поэтому недопустимо игнорировать при его изучении следующие аспекты человеческой деятельности: *мышление*, ментальную репрезентацию *мира*, речевую деятельность в *социальной сфере*, эмоции, действия, соучаствующие в происхождении языковых выражений.

Соответственно, в исследование языка должен быть включен весь круг наук о человеке, входящих в единую когнитивную науку.

2) Человеческий язык, усваиваемый ребенком, полностью зависит от речи родных и близких.

3) Отличительной чертой конкретных человеческих языков является «непрерывное и быстрое изменение» [Кошелев, в печати: 39–40].

«...Отмеченные выше специфические свойства языка (взаимодействие в процессе функционирования с другими человеческими подсистемами и непрерывность происходящих в нем изменений) на изучение языковых структур оказывают минимальное влияние, особенно в условиях *доминирования синхронического подхода*. Поэтому, при всем своем внешнем разнообразии, в первой половине XX в. теории языка сохраняли некоторое внутреннее единство.

Однако как только в центре интересов теоретической лингвистики оказались проблемы *функционирования языка*, роль этих специфических свойств резко возросла. Между тем в современных теориях языка они продолжают недооцениваться. По-прежнему доминирует синхронический подход. Не представлена в современных моделях функционирования языка роль сопредельных ему подсистем — мышления, представления знаний и др. Наконец, недостаточно изучается роль инпута в формировании своеобразия частеречных и грамматических значений (механизмы этого влияния и его сила, равновеликая универсальным законам когнитивного развития ребенка). Понятно, что в таких условиях при построении модели языка лингвист пользуется гораздо большей творческой свободой, чем при описании его структуры» [Там же: 42].

Отсюда вывод: «Язык, будучи *социально-биологическим* явлением, представляет собой лишь одну из человеческих способностей, которая в своем формировании и функционировании теснейшим образом связана с рядом других, соположенных ей, человеческих способностей: с перцепцией, представлением знаний, памятью, эмоциями, вниманием, мышлением, движениями и действиями, социальным взаимодействием и пр. А стало быть, теоретическая лингвистика не может развиваться в отрыве от других когнитивных дисциплин, изучающих перечисленные выше способности человека» [Кошелев, в печати: 41; 2013б: 19].

Для построения языковых моделей необходима фундаментальная теория мозга или хотя бы психического поведения. В ее отсутствие предлагаемые лингвистами модели языка по-разному толкуют его назначение, специфику функционирования, вид и способ интерпретации производимых выражений, типологию используемых языком структур данных [Кошелев, в печати: 43]. Примерами могут служить модели Н. Хомского, Р. Джекендоффа, И. А. Мельчука [Кошелев 2013б: 6–10].

Согласно А. Д. Кошелеву, чтобы преодолеть кризис в лингвистике, следует начать построение теории языка заново, добиваясь всеобъемлющего, всестороннего описания языка с учетом всей многоаспектности его свойств. «В духе синхронически-диахронического подхода она должна представлять собой **единство двух составляющих: синтетической и эволюционной. Синтетическая составляющая** призвана учесть как внутрисистемные, сугубо лингвистические свойства языка и процессов его синхронного функционирования, так и межсистемные требования, выдвигаемые другими подсистемами, такими как мышление, представление знаний, эмоции, память и пр., тесно взаимодействующими с языковой подсистемой. **Эволюционная составляющая** должна служить основой для объяснения эволюции языка и процессов его становления и развития у ребенка.

...Эволюционно-синтетическая (далее просто **синтетическая**) теория не может быть сугубо лингвистической. В нее, наряду с лингвистической, будут входить системно связанные с ней когнитивная, мыслительная, социальная и др. составляющие. Фактически **новая теория языка должна строиться в рамках новой когнитивной парадигмы**, которую **тоже** можно назвать **синтетической**, поскольку она будет нацелена на системное объединение парадигм частных когнитивных наук: лингвистики, психологии, нейробиологии и др.» [Кошелев, в печати: 45–46; выделено мною. — Л. 3.; 2013б: 19].

Новая теория языка не может обойти стороной вопрос об отношении языковых знаков к действительности, а значит, новая теория не может продолжать игнорировать теоретические достижения прошлого в философии, в том числе в теории познания, в теории мыслительной деятельности, семиотики, лингвистики, психологии, физиологии, т. е. всех тех областей научного знания, которые обращались к *отражению реальной действительности в языке*.

2. РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ

Материалы этого раздела опубликованы в ряде работ А. Д. Кошелева: в статьях [Кошелев 1996; 2006; 2014б; 2015б], в монографии [Кошелев 2015а: 7–144] и в подготовленной монографии [Кошелев, в печати].

2.1. СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА

Уже античная классика различение способов познания связывала с онтологически обусловленным противопоставлением двух миров — изменчивого мира становления, каким является чувственный мир, «область зримого», и мира неизменного бытия, который представляет собой «область умопостигаемого».

Как заметил А. Д. Кошелев, противоположение видимых и невидимых вещей и их имен более 200 лет назад было осознано в отечественном языкознании А. С. Шишковым. В его определении видимые вещи, такие как *солнце, звезды*,

камень, дерево, трава, мы постигаем чувствами, невидимые, или умственные, вещи наподобие *счастье, невинность, щедрота, ненависть, лукавство* постигаются разумом [Шишков 1803/2010: 35; Кошелев 2015а: 35].

А. Д. Кошелев слова, референты которых распознаются на основе непосредственного чувственного восприятия (визуального, тактильного, слухового...), называет *сенсорными*. К ним относятся: *стул, дерево, собака, бежать, кричать*; «абстрактные» слова типа *идея, благодарность, руководить, замышлять* являются *несенсорными*.

Согласно А. Д. Кошелеву, «основное значение сенсорного слова (и существительного, и глагола) имеет дуальную структуру: “Прототип — семантическое Ядро”, где Прототип отражает свойства (преимущественно визуальные) типичных референтов слова, а семантическое Ядро — характеристическое свойство, присущее всем (типичным и не типичным) его референтам» [Кошелев 2015а: 11].

При таком подходе оказывается, что «словарные и научные толкования сенсорных слов сосредоточены на описании исключительно прототипического компонента основного значения слова, т. е. фиксируют лишь типичные свойства его референтов. Описание ядерного компонента значения в толкованиях отсутствует» [Там же].

Толкование слова путем указания на характерные свойства его типичных референтов позволяет человеку *понять*, какой предмет (или действие) обозначает это слово. Но чтобы осуществить обратную операцию референции и правильно *обозначить* предмет, необходимо обратиться к семантическому Ядру как главному компоненту основного значения слова, задающего единое осмысление всех его прямых референтов.

Стрелка, связывающая компоненты дуальной¹ структуры, означает отношение интерпретации:

Основное значение существительного / глагола = Прототип ← семантическое Ядро.

Ядро (содержательная характеристика референта) приписывается Прототипу (типичному внешнему виду референта) [Там же: 14, 16].

«Определение Прототипа требует использования перцептивных когнитивных единиц, а определение Ядра — функциональных, или казуальных, когнитивных единиц» [Там же: 22].

Если носитель языка знаком с данными референтами, простое словарное толкование успешно справляется с ролью вербального указателя на Прототип. «Главное, чтобы оно описывало наиболее характерные признаки этого Прототипа» [Там же].

Оказалось, однако, что «...строго дифференцировать категории “Стуля” и “Кресла” на основе внешних различий (наличие подлокотников, наклон спинки,

¹ *Дуальный* — от лат. *dualis* ‘двойной, двусторонний’.

низкое сиденье и под.) не удается. Категориальные различия между ними можно сформулировать только на уровне функциональных характеристик», обращаясь к семантическому Ядру [Кошелев 2015а: 25–26]. Сравним функциональные характеристики *стульев, кресел и табуреток*.

Стул «сделан для сидения одного человека в полуустойчивой (полу-расслабленной) позе, удобной для различного вида работы с использованием рук, обычно за столом; тело человека имеет одну основную опору для зада и две дополнительные опоры — для спины и для ног».

Кресло «сделано для сидения в почти устойчивой к падению (почти расслабленной) позе, удобной для отдыха, непродолжительного и публичного (в верхней одежде); тело человека имеет основную опору для зада и две дополнительные — для спины и рук» [Кошелев, в печати: 82].

Табурет «сделан для сидения в неустойчивой (не расслабленной) позе, обеспечивающей сидящему максимальную подвижность (встать, повернуться всем телом и под.)» [Там же: 85]. «...Поэтому подлокотники и спинка здесь не нужны» [Там же: 84].

Следовательно, «...дискретность категорий “Кресла”, “Стулья” и “Табуреты” обусловлена дифференцированностью трех указанных выше положений (состояний) человеческого тела и свойственных им трех видов сидячей деятельности человека» [Там же: 85].

Таким образом, семантическое Ядро, участвуя в дифференциации категорий сенсорной лексики, обретает функциональную значимость.

Как показывает А. Д. Кошелев, «представление основного значения слова в виде пары “Прототип ← семантическое Ядро”, где визуальные и функциональные характеристики референтов не перемешаны (синкретически), а строго разделены, важно» и потому, что «1) в порождении (посредством метафоризации) производных значений из основного значения Прототип и Ядро часто участвуют по отдельности» [Там же: 85], и потому, что «2) имеются нейрофизиологические данные, подтверждающие раздельную локализованность в долговременной памяти человека визуального Прототипа и функционального Ядра» [Там же: 87].

Анализируемые А. Д. Кошелевым **глаголы** подразделяются на 3 группы: 1) глаголы *действия*; 2) глаголы *неподвижного положения* в пространстве; 3) глаголы *движения*.

В группу **глаголов действия** включены глаголы *ударить* (в отличие от *коснуться, толкнуть*), *падать, взять* и *взбираться*.

Применительно к глаголам, называющим видимые действия, необходимо различать три аспектуальных значения — *текущее, актуальное* и *фоновое*, которые выражают действия на микро-, мини- и макроинтервале. Ср.: *Иван пьет воду, Иван пьет чай* и *Иван второй день пьет вино*.

«...Для текущего значения глагола называемые им видимые действия являются столь же полноценными референтами, сколь и предметы для предметного существительного» [Там же: 92]. Сенсорный глагол в текущем значении досту-

пен очень быстрому, практически мгновенному, распознаванию. Такое текущее значение автор называет основным значением сенсорного глагола, а называемые им действия — референтами глагола [Кошелев, в печати: 92].

Приведем в качестве примера глагол контакта *ударить*.

Словарные толкования этого глагола в русском и английском языках задают визуальный прототип действия «ударить». Однако «...ни одно из содержащихся в нем свойств не является обязательным для описываемого действия» и для действий–референтов основного значения глагола.

В предложении «**Х ударяет по Y-у** (*нога ударила по мячу*)

Прототип = В некоторый момент t

- 1) между движущимся компактным предметом X и неподвижным предметом Y
- 2) резко и кратковременно возник
- 3) контакт, часто сопровождающийся громким звуком
- 4) возможно, Y сдвинулся с места» [Кошелев 2015а: 37].

Это толкование охватывает большинство референтов глагола *ударить*, включая одновременно и ряд «чужих» референтов типа *коснуться*, *задеть* и т. д., которые не обладают главной характеристикой удара, т. е. неизвестен характер контакта — получил ли Y от движущегося X-а *резкий толчок*.

Если резкий толчок, получаемый Y-ом от движущегося X-а, обязателен для каждой ситуации удара, то все или почти все внешние характеристики, отличающие Прототип: «резко», «кратковременно», «контактный X», «приходить в контакт», как показывает автор, необязательны, хотя и типичны.

Определяют удар или «резкий толчок» характеристики *силового взаимодействия* X-а и Y-а, влекущие за собой определенные последствия. Эти характеристики свойственны семантическому Ядру глагола *ударить*:

«**Х ударил по Y-у** (Ядро) = В момент t

- 1а) между движущимся объектом X, обладающим существенной “силой движения”, и неподвижным объектом Y, обладающим существенной “силой неподвижности”,
- 2а) возникло мгновенное
- 3а) силовое взаимодействие: X передал Y-у всю или большую часть своей силы движения, вследствие чего
- 4а) Y получил резкий толчок, был сильно сотрясен; если Y — живое существо, он испытал чувство боли» [Там же: 40].

Так основное значение глагола *ударить* приобретает дуальную структуру, в которой Прототип (визуальное описание) — это «типичная, но не обязательная характеристика действия–референта, а Ядро (функциональное описание) — это обязательная характеристика действия–референта» [Там же: 43].

Из покомпонентного сравнения визуальных характеристик Прототипа с функциональными (каузальными) характеристиками Ядра следует, что «каждое свойство Прототипа представляет собой типичную манифестацию соответствующего функционального свойства Ядра» [Кошелев 2015а: 43].

На примере глагола *брать/взять* автор показывает, как отграничить корректное употребление от некорректного, почему, в частности, можно *взять яблоко из корзины* и нельзя *взять яблоко с дерева*.

Толковые словари фиксируют типичные действия–референты данного глагола, а они не позволяют строго определить класс референтов во фразе *Человек X берет/взял предмет Y*, четко отграничив правильное употребление от неправильного. Чтобы добиться этого, автор обращается к составляющим основное значение фразы частям — *пресуппозиции* и *ассерции*. В определении А. Д. Кошелева, данную фразу в основном значении «можно употребить лишь в ситуации, когда Y является а) самостоятельным предметом (а не частью предмета), который находится б) в неподвижном и в) свободном положении, т. е. удерживается от движения только силой своего веса (не связан с другими предметами, не прикреплен к ним). В большинстве случаев это ситуации, когда предмет Y лежит или стоит на какой-либо поверхности)» [Там же: 48–49].

Всё это говорящий знает (видит, помнит, предполагает) в момент речи. Такова пресуппозиция основного значения фразы.

А. Д. Кошелев определяет визуальный и функциональный признаки пресуппозиции, т. е. ее Прототип и Ядро.

«Пресуппозиция =

Прототип (визуальный признак) = предмет Y, физически целостный и не связанный со своим окружением, неподвижно покоится на поверхности ←

Ядро (функциональный признак) = предмет Y обладает силой неподвижности, обусловленной его весом» [Там же: 51].

Однако *брать* — это целенаправленное действие. Ассерция указывает, как получить возможность перемещать предмет Y в нужном направлении.

«...Аналогичная формула для ассерции имеет следующий вид:

Ассерция =

Прототип (визуальный признак): X обхватил предмет Y рукой (руками) и сдвинул его с места ←

Ядро (функциональный признак) = X, имея цель получить контроль на перемещением предмета Y, преодолел силу его неподвижности (обусловленную исключительно его весом) и может начать перемещать его в произвольном направлении» [Там же].

В привычной дуальной структуре Прототип (визуальные признаки) — типичная, но не обязательная характеристика действия–референта. ← Ядро (функциональные признаки) — это обязательная характеристика действия–референта.

Таким образом, «**Человек X берет / взял предмет Y** (основное значение) =

Прототип: (пресуппозиция) предмет Y, физически целостный и не связанный со своим окружением, неподвижно покоится на поверхности + (ассерция) человек X обхватил предмет Y рукой (руками) и сдвинул его с места ←

Ядро: (пресуппозиция) предмет Y обладает силой неподвижности, обусловленной его весом + (ассерция) человек X, имея цель получить контроль над перемещениями предмета Y, преодолел силу неподвижности Y-а (обусловленную исключительно его весом) и может начать перемещать его в произвольном направлении» [Кошелев 2015а: 53].

Как и в других глаголах, в глаголе *брать / взять* «каждое свойство Прототипа представляет собой типичную манифестацию соответствующего функционального свойства Ядра». Переносные значения данного глагола в основном являются метафорическими, и называют они актуальные и фоновые действия, причем в качестве Y часто выступает не предмет, а место, отрезок времени, высота, вес [Там же: 56].

Словарные толкования *глаголов неподвижного положения в пространстве* *стоять, сидеть, лежать* и *висеть*, как и в других случаях, обозначают типичные референты и соответственно характеризуют Прототип. А он не может объяснить способность носителей языка осуществлять корректную референцию в случае нетипичных, редких референтов, что автор указывает на множестве конкретных примеров с глаголами *висеть, стоять*.

Сравнивая далее функциональные (каузальные) характеристики неподвижного положения X-а в пространстве, А. Д. Кошелев выделяет 2 различительных признака, действующих в семантическом Ядре: степень устойчивости X-а и тип опоры X-а. Глаголы *лежать, сидеть, стоять* имеют референты с нижней опорой и различаются по степени устойчивости, характеризуя соответственно полную, частичную устойчивость или неустойчивость. Глагол *висеть* характеризует неустойчивость X-а в случае верхней опоры [Там же: 76].

Сходным образом, по данным Т. Аошуан, обстоит дело в мандаринском диалекте китайского языка с глаголами *стоять, сидеть, лежать*, закрепленными исключительно за человеком [Там же: 77].

Глаголы движения *идти, бежать, ползти, шагать, прыгать, ехать* для определения основных значений требуют учета более сложной системы различительных признаков.

Толкования основных значений «базовых» глаголов *идти* и *бежать*, представленные в толковых словарях и научных работах, ориентированы на прототипические действия–референты. Они фиксируют меньшую/большую скорость движения и сохранение/утрату контакта с поверхностью [Там же: 80]. Однако оба эти признака не всегда позволяют отличить ходьбу от бега, езды, передвижения ползком.

В когнитивно-лингвистическом описании ходьбы и бега человека и, следовательно, семантики глаголов *идти* и *бежать*, согласно А. Д. Кошелеву, должно быть три уровня иерархии: «1) к и н е м а т и к а — внешний вид движения без указания

его причин (нижний уровень); 2) порождающая ее динамика — опорно-силовая схема движения (средний уровень); 3) мотивирующие ее (динамику) цели человека (верхний уровень)» [Кошелев 2015а: 92], поскольку опорно-силовая схема движения человека мотивируется целями. Основные значения ходьбы и бега, например, мотивируются целью человека переместиться в некоторый пункт пространства. Это их первичное значение. Если же, казалось бы, движения используются для неких вторичных непространственных целей, иерархия целей меняется и на первый план выходит иная главная цель, например тренировка спортсмена на выносливость в беге по стадиону, выражение какой-то эстетической мысли или чувства у балерины, бегущей по сцене, и т. д.

«Как только главной целью движения становится непространственная цель, она радикально меняет форму ходьбы / бега: и рисунок шагов, и положение тела, и движения рук и пр. Балерина думает не о том, как оптимальным образом шагнуть или прыгнуть, а как посредством шага или прыжка выразить изящество, легкость движений, эстетическое содержание танца» [Кошелев 2015а: 91]. А так как «...цели человека обладают фундаментальным свойством — дискретностью: они не переходят одна в другую через последовательность промежуточных целей», «...ни сами цели, ни их двигательные проявления не сливаются», и в беге балерины по сцене мы легко распознаем компоненты движения, обеспечивающие перемещение, и компоненты, реализующие посредством танца эстетическое содержание [Там же: 92].

Силовые признаки ходьбы и бега давно выделены Н. А. Бернштейном. По его словам, «движение ходьбы состоит для каждой ноги из чередования *опорного* и *переносного* времени. Переносное время длится при ходьбе дольше, чем опорное (при беге дело обстоит как раз наоборот), потому существуют интервалы времени, когда одна нога еще не окончила своего опорного времени, а другая уже начала свое. Эти интервалы мы называем временами *двойной опоры*» [Бернштейн 1990: 341] (цит. по: [Кошелев 2015а: 87]).

Соответственно, по данным референциального анализа, полагает А. Д. Кошелев, для адекватного определения основных значений *идти*, *ходить* и других глаголов движения необходимы недоступные непосредственному восприятию каузальные признаки, заключенные в семантическом ядре: 'толчок', 'опора', 'неустойчивость' и др. [Там же: 82].

Для классификации толчковых движений «достаточно описать а) тип самотолчка и б) характер связи самотолчков» [Там же: 97].

Если сравнить *идти*, *бежать* с глаголами *шагать*, *прыгать*, то во время ходьбы и бега толчки образуют целостное движение, непрерывно переходя один в другой, тогда как в *шагать*, *прыгать* они независимы и разделены, образуя составное движение.

Второй различительный признак — степень устойчивости движущегося. Как полагает автор, «...в языковом сознании носителя русского языка хранится по меньшей мере три нормативные степени устойчивости толчковых движений

(малая, средняя и высокая)» [Кошелев, в печати: 151]: в *ползти* она наибольшая, в *идти* и *шагать* локально неустойчивая, в *бежать* и *прыгать* глобально неустойчивая [Там же: 153].

Таким образом, глаголы, не различающиеся по характеру связи толчков, дифференцируются по степени устойчивости движущегося. Толчковое движение в свою очередь противопоставляется нетолчковому движению. Главную оппозицию толчковому движению составляет глагол *ехать*, обозначающий движение человека, при котором «...он а) непрерывно опирается на поверхность и б) сохраняет постоянную опорную область на поверхность» [Кошелев 2015а: 103]. В соответствии с данным противопоставлением следует различать «...два типа движения: 1) толчковое, при котором опора X-а на поверхность не постоянна — X “переваливается”, т. е. перемещается, перенося посредством самотолчков вес своего тела с одного места на другое, и 2) нетолчковое, при котором опора X-а на поверхность при продвижении его к новому месту постоянна. Толчковое движение распадается на подвиды (*ползет, идет, бежит*) по характеру изменения опоры X-а, а нетолчковое — на подвиды (*едет, скользит, катит*) — по типу постоянной опоры X-а (*едет* и *скользит* — опорная область постоянна, а *катит* и *катится* — опорная область меняется)» [Там же: 104].

2.2. СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОЙ ПОЛИСЕМИИ

Сущность лексической многозначности А. Д. Кошелев видит в ее потенциальной неограниченности вследствие постоянного употребления слова в окказиональных («мимолетных», по Ю. С. Маслову) новых, ранее не встречавшихся, значениях. «Они не хранятся в лексиконе носителей языка, а “изобретаются” говорящим для решения его текущей речевой задачи, становясь понятными окружающим только благодаря знанию а) общих механизмов их образования и б) контекста или референтной ситуации» [Кошелев, в печати: 169].

Так, слово *обезьяна*, помимо узуальных производных значений, представленных в словарях, имеет, в частности, множество окказиональных: ‘Сутулый длиннорукий человек’, ‘Аномально волосатый человек’, ‘Человек, живущий на дереве’ и т. д. [Там же: 169–170]. Как подчеркивает автор, «...потенциальные значения не содержатся в сознании носителя языка в виде, позволяющем им “всплыть на поверхность” при первой необходимости. Они каждый раз порождаются специальными механизмами из основного значения слова» [Там же: 173].

Благодаря этому становится возможным «конечными средствами языка описывать бесконечное разнообразие окружающего мира» [Там же: 164]. Соответственно «...одна из главных проблем когнитивной семантики заключается в объяснении механизмов образования у языковых единиц новых, окказиональных употреблений» [Там же]. Главными из них Кошелев считает *метафору* и *метонимию*. Все производные значения слова — это метафоры, метонимии, или синекдохи, порожденные из его основного значения, которое выполняет *генетическую функцию*

в отношении остальных значений. «Поэтому в традиционных толковых словарях... первым обычно дается основное значение, а за ним производные» [Кошелев, в печати: 165].

Так, В. Даль в толковании слова *цель* сначала указывает основное значение ‘мишень’, ‘цель для стрельбы’, затем (за чертой //) — метонимическое ‘мушка на дуле наводки по прицелу’, и далее под * идет переносное (иносказательное) — метафорическое значение ‘чего кто силится достигнуть’.

«Метонимия обычно определяется как перенос имени (слова) с предмета–референта на другой предмет (не референт), смежный с ним в пространстве или во времени», хотя бы временно (как в случае *мушки*).

«Метафора — это перенос имени с основного значения на другой предмет (также не референт), имеющий некоторое свойство, сходное с каким-то свойством основного значения» [Там же: 166].

«...Для порождения метафоры необходимо а) когнитивное (невербальное) описание... основного значения и б) строгое вычленение в его рамках семантического (каузального) Ядра» [Там же: 166–167]. «Ядро объясняет функцию референта и причину типичного действия с ним» [Там же: 167].

Итак, предлагаемый А. Д. Кошелевым подход к лексической полисемии имеет две отличительные черты:

«1) понимание *основного значения* как **базового концепта**, первично **возникающего** у ребенка уже на первом году жизни (до начала усвоения родного языка) **в результате восприятия и деятельностного освоения окружающего мира**, и

2) опора на *метафору* и *метонимию* как *главные механизмы образования производных значений* из основного значения» [Кошелев, в печати: 170; выделено мною. — Л. 3.].

Референциальный подход к основному значению слова позволил А. Д. Кошелеву осветить роль референции в лексикологии, отнюдь не порывая с традицией фиксации значений многозначного слова в толковых словарях, тогда как в современных лексикологических теориях референциальная функция слова практически не рассматривается. И здесь не обошлось без влияния структурализма. Соответственно, словари [Longman 2009] и [Активный словарь 2014] исходят из синхронического принципа описания лексической многозначности — от наиболее частотного значения к наименее употребительному. Поэтому в Московской семантической школе во главе с Ю. Д. Апресяном в качестве основной лексемы у слова *цель* выступает лексема в самом абстрактном значении ‘то, чего человек хочет добиться’, но не лексема в конкретном значении ‘мишень’.

Ср. в словаре В. И. Даля:

Цель 1) мета, предмет, в который кто метит, наводит, старается попасть; *цель для стрельбы*, мишень, с раскрашенными кругами, коих середина сердце или яблоко;

- 2) *Цель*, на стрельном оружии, мушка, шипок на дуле, для наводки по резке, мишени на казеннике, по прицелу;
- 3) *Переносное*. Конечное желание, стремление, намеренье, чего кто силится достигнуть.

Те же значения выделяет словарь Д. Н. Ушакова. И на них опирается А. Д. Кошелев. В рамках *референциального* подхода, пишет он, «получается естественное объяснение феномена лексической многозначности: и как *синхронического* состояния системы узувальных значений слова, и как процесса *диахронических* изменений этой системы — возможного появления у слова новых значений (образования окказиональных метафор и метонимий). Кроме того, из этого объяснения становится понятным, почему переносные значения, иногда столь далекие от основного значения слова, относятся тем не менее к кругу его значений. Почему, к примеру, [метонимическое] значение ‘мушка’ относится к системе значений слова *цель*. Также понятно, откуда взялось столь абстрактное [метафорическое] значение, как ‘то, чего человек хочет добиться’» [Кошелев, в печати: 174].

3. БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ КАК НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КОДЫ ПАМЯТИ

На основании экспериментальных когнитивных исследований Э. Рош, Дж. Лакоффа и др. было установлено, что первыми у ребенка формируются родовые категории, которые задают базовые концепты. Члены категории имеют сходный общий вид, воспринимаемый чувствами; для взаимодействия с различными членами категории человек использует сходные физические действия. Соответственно, по Лакоффу, базовый концепт имеет вид:

Концепт = типичная Форма + физическое Взаимодействие [Там же: 198].

С точки зрения А. Д. Кошелева, по данным проведенного анализа, «к визуальной форме предмета необходимо добавить его функцию (пара Форма ← Функция), а к визуальному действию — психофизическое состояние человека, осуществляющего это действие (пара Действие человека ← его психофизическое Состояние)» [Там же: 199].

С учетом ассоциативной связи (символ &) и отношения интерпретации (символ ←) получим:

Базовый концепт = Предмет (Форма ← Функция & типичное Действие с ним (Действие человека) ← его психофизическое Состояние).

Или короче:

Базовый концепт = Предмет (Форма ← Функция) & типичный Двигательный концепт.

В концепте СТУЛ (основное значение слова *стул*) общая неизменная функция формы стула (во всех его вариантах) — обеспечить возможность *сидеть* в определенном положении. Опуская в формуле предметного концепта типичный двигательный концепт, ограничимся таким образом формулой «Форма предмета ← его Функция». Это определение «...позволяет утверждать, что естественные человеческие категории по меньшей мере дуальны, т. е. задаются одновременно как прототипические, размытые (на основе прототипа), так и классические, строгие (на основе функциональных характеристик)» [Кошелев, в печати: 218].

Общая функция обуславливает деление предмета на функционально значимые части, каждая из которых выполняет свою частную функцию, из этих частных функций складывается общая функция данного предмета.

Поэтому в русском языке выражения *спинка / сиденье / ножки стула* корректны, а, например, **подголовник стула, *подножник стула* нет [Там же: 199], так как ни подголовник, ни подножник не являются функциональными частями *стула*.

В отличие от функции стула, состояние человека, на нем сидящего (полуустойчивое положение тела), представляет собой «совокупность его типизированных ощущений, вызванных этим действием», оно относится не к стулу, а к человеку [Там же: 200]. «Включение в определение базового концепта компонента “психофизическое состояние человека” критически важно. ... Именно разные психофизические состояния сидящего задают категории “Стулья”, “Кресла” и “Табуреты”, строго отделенные друг от друга. При этом ни различия в формах стульев и кресел, ни различия в формах сидения на стуле и в кресле не дают строгой дифференциации» [Там же: 201].

В таком случае исходными первичными человеческой таксономии мира являются не предметные базовые концепты, а «более элементарные когнитивные единицы — концепты человеческого действия, или двигательные концепты человека», поскольку «... именно посредством действий человек напрямую обеспечивает выполнение своих ближайших целей, реализацию своих желаний». Окружающие предметы лишь помогают достичь желаемых результатов [Там же: 206].

Двигательный концепт человека = Действие человека (визуальная форма) ← его психофизическое состояние.

Различая 3 типа предметных концептов, А. Д. Кошелев противопоставляет **базовым** концептам, обладающим общей формой (*дерево*), **суперординарные** как не имеющие общей формы (*растение*) и **субординарные**, прототипические формы, которые не являются общими (*яблоня*).

Среди двигательных концептов к базовым относится, например, ЧЕЛОВЕК СИДИТ, тогда как ЧЕЛОВЕК СИДИТ НА СТУЛЕ / В КРЕСЛЕ / НА ПОЛУ — субординарные [Там же: 207].

«Двигательный концепт человека имеет самостоятельный статус, не зависящий от предмета, с которым человек взаимодействует» [Там же: 208]. В частности,

«психофизическое действие (код памяти) представляет собой внутреннюю характеристику его психики», не содержащую свойств *стула* (*кресла* или *табурета*).

Определяя «психофизическое состояние человека», А. Д. Кошелев опирается на исследования Джо Циня (J. Tsien), посвященные изучению структуры памяти, и исходит, в частности, из того, что компоненты концепта СТУЛ, задающие категорию «Стулья», закодированы в семантической памяти человека в виде ансамбля отдельных групп нейронов (клик), которые сходно реагируют на определенные события, являясь кодирующими единицами памяти. Предположительно, «...одна клика реагирует, когда воспринимается предмет, похожий по форме на прототип (образ) стула, другая — когда тело человека занимает положение (осуществляет действие 'сидеть на стуле'), а третья — когда наступает полурасслабленное состояние от этого действия». В результате «...совокупность (ансамбль) этих клик кодирует в долговременной памяти человека концепт СТУЛ, задающий категорию "Стулья"» [Кошелев, в печати: 204–205].

Соответственно психофизическое состояние А. Д. Кошелев понимает как «нейронный код долговременной памяти (ансамбль клик), фиксирующий типизированное текущее действие человека, т. е. двигательный концепт. Иначе говоря, психофизическое состояние — это комплекс разнотипных данных, вырабатываемых различными подсистемами мозга человека при выполнении им конкретного физического действия», например: сидеть на стуле, сидеть в кресле, бежать, идти, ехать на велосипеде, ехать в автобусе и т. д. [Там же: 221].

В код памяти действия «входят три компонента (три нейронных клики)» в соответствии с трехуровневой структурой действия: цель → динамика (силовая схема) → кинематика (изменение отражается проприоцепторами¹ и визуальным образом движения). Поэтому в коде памяти «один компонент хранит кинематику действия (данные проприоцепторики, отражающие изменения положения тела человека и его частей в процессе действия), другой — динамику (данные эфферентного аппарата, управляющего двигательными нейронами), а третий компонент хранит данные о мотиве (цели) действия (данные лимбической² подсистемы)» [Там же: 229]. Таким образом, образуется трехуровневая иерархическая структура: кинематика — динамика (промежуточный уровень, силовая схема) — цель [Там же: 231]. И динамика, и цель отражаются на кинематике. Вклад динамики в кинематику позволяет отличить быструю ходьбу от шаркающего бега пожилого человека по периодической утрате опоры и положению локтей для сохранения равновесия при таком беге. О вкладе мотива движения в кинематику можно судить по тому, что если человек стремится *утоптать* только что сформированную

¹ Проприоцепторы — концевые образования чувствительных нервных волокон в скелетных мышцах, связках, суставных сумках [СЭС 1981: 1081].

² Лимбическая система — совокупность отделов головного мозга, расположенных преимущественно на внутренней поверхности больших полушарий. Л. с. участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др. [Там же: 720].

дорожку, он поднимает ступни выше и опускает их на дорожку с большей силой, нежели при ходьбе [Кошелев, в печати: 229].

Из сказанного, в частности, следует, что «...при ходьбе и беге опорно-двигательный аппарат человека работает в двух разных режимах, т. е. использует две различные биомеханические модели движения» [Там же: 228].

По визуальным прототипам (кинематике) действий человека «...в его памяти моментально активизируется семантическое ядро — главный компонент основного значения». Теперь понятен и реальный механизм связи прототипа с ядром: «...при восприятии человеком кинематики движения активизируется соответствующая клика кода памяти (хранящая данные проприоцепторов об этой кинематике), а вслед за ней активизируются и остальные клики кода памяти (семантическое ядро)» [Там же: 225].

Предположительно, «...при восприятии действия процедура распознавания в общем случае складывается из трех этапов. Сначала она по кинематике действия находит все коды памяти со сходным кинематическим компонентом. Если их несколько, то далее проверяется динамический аспект кинематики (вклад в нее динамики). Если и после этого остается несколько кодов памяти, то проверяется компонент цели действия.

Если в итоге остается только один код памяти, то воспринятое действие распознано — отнесено к категории действий, заданной этим кодом» [Там же: 230].

4. ЭЛЕМЕНТЫ СЕНСОРНОЙ ГРАММАТИКИ

«По характеру грамматических значений в лингвистике выделяются номинативные (“семантические”, “референциальные”) категории, непосредственно участвующие в отражении внеязыковой действительности, и синтаксические (“реляционные”) категории, отражающие лишь способность словоформ вступать в те или иные синтаксические отношения в предложении» [ЛЭС 1990: 216]. В. В. Лопатин среди грамматических значений также различает референциальные (несинтаксические), отражающие свойства предметов и явлений внеязыковой действительности, и реляционные (синтаксические), указывающие на связь словоформ в составе словосочетаний и предложений [Там же: 116].

Между тем референциальный подход актуален как для лексической семантики, так и грамматической. Элементы сенсорной грамматики А. Д. Кошелев иллюстрирует на основе анализа основного и производных значений приименного генетива, значения глагольной переходности и залога. Автор находит *структурное и генетическое сходство между лексическими и грамматическими значениями*.

Как уже указывалось, сенсорное слово имеет следующую структуру значения:

- (1) Основное значение = визуальный Прототип ← семантическое Ядро.

«...Прототип задает типичную визуальную (шире — перцептивную) характеристику референтов слова, а ядро — функциональную (каузальную, интенциональную) характеристику, присущую всем (а не только типичным) референтам» [Кошелев, в печати: 249].

Таков первый шаг к созданию специального когнитивного языка мысли, когда базовыми единицами языка описания лексических значений становятся предметные и двигательные концепты [Там же: 249–250].

С учетом производных значений, образованных от основного, получаем:

- (2) Структура значений сенсорного слова имеет вид: основное значение — множество производных от него значений (метафор и метонимий).

При выявлении новых явлений действительности человеческий язык для их обозначения в лексике и грамматике использует прежние языковые средства — сначала окказионально, а в благоприятных случаях и узуально [Там же: 250].

«...Во множестве грамматических единиц также имеются сенсорные единицы и их значения структурно и генетически сходны с лексическими значениями, А именно: основное значение сенсорной грамматической единицы имеет вид (1), а структура ее полисемии — вид (2). Иначе говоря, *в структурном и генетическом плане лексические и грамматические значения сенсорных единиц языка неразличимы*» [Там же: 254].

Анализ сенсорной грамматики начинается с **категории посессивности**. «Ее основное значение, в формулировке М. А. Журиной, — определение названия объекта через его отношение к некоторому лицу или предмету (относительная номинация), например “книга Петра”, “сын Николая”, “любитель книг”, “хвост осла”» [ЛЭС 1990: 388]. В именном склонении посессивность обычно выражается специальным падежом — посессивом (родительным). Посессивность может выражаться в именной группе типа «существительное + прилагательное», где прилагательное образовано от референтного имени, ср.: русское притяжательное прилагательное в словосочетании типа *петровские реформы* [Там же: 389].

Иной подход развивает А. Д. Кошелев, анализируя отношение «часть Y — целое X» в конструкции с приименным родительным падежом. Корректное употребление группы *Y X-а* предполагает, что Y — не только физическая, но и функциональная часть *X-а*, так что «...функция части Y вносит свой непосредственный вклад в общую функцию X-а» [Кошелев, в печати: 238].

«...некорректность употребления приименного генетива в группе *Y X-а...* может означать одно из двух: либо Y функционально связан не с самим X-ом, а с какой-то его функциональной частью (плохо: **форточка дома, *пол дома*, но нормально: *форточка окна, пол комнаты*), либо Y вообще функционально независим от X-а и, будучи связан с ним физически, не связан с ним функционально» [Там же: 239; 2003: 536]. Поэтому плохо: **балкон дома, *балкон комнаты*.

Таким образом, *основное значение* генетивной конструкции $Y X-a =$

Прототип: «Цельный (не составной) предмет X имеет неотделимую физическую часть Y семантическое Ядро».

«Функция части Y является частью общей функции $X-a$, т. е. вносит непосредственный вклад в эту общую функцию» [Кошелев, в печати: 241].

На примере слова *велосипед* автор показывает, как его многоуровневая партициптивная структура отражается на его функции:

«Велосипед (функция) — ‘колесное транспортное средство, позволяющее одному человеку передвигаться, сидя на нем; человек вращает его колеса, нажимая ногами на педали, и выбирает направление движения, поворачивая руками руль влево или вправо’» [Там же: 242].

В иерархической структуре велосипеда основные его части (колеса, сиденье, рама, педали, руль) образуют первый уровень функциональной иерархии. Части некоторых частей (спицы, шина каждого колеса) — второй уровень, а их части (гайка спицы, ниппель шины) — третий. Например, плохо сказать **спицы велосипеда*, но вполне нормально *колеса велосипеда*, *спицы колеса*. Сомнительно также сказать **насос велосипеда* (о насосе, прикрепленном к велосипеду, нужно сказать *велосипедный насос*), поскольку насос, будучи физической частью велосипеда, не является его функциональной частью, поскольку не вносит своего вклада в функцию велосипеда.

Опора на генитивную конструкцию позволяет утверждать, что, в отличие от структуры неживого объекта, структура живого организма трактуется носителем русского языка иначе. Так, дерево имеет одноуровневую структуру частей, т. е. «...практически все физические части дерева — не только корни, ствол и ветки, но и листья, почки, кора — относятся непосредственно к целому дереву», тогда как выражения *листья / почки веток* некорректны, несмотря на то что и листья, и почки физически принадлежат веткам [Там же: 243].

Некорректны и выражения **скворечник дерева / *качели дерева*, поскольку и скворечник, и качели, физически связанные с деревом, не являются функциональными частями дерева.

Функциональная структура человека и его тела с точки зрения взаимосвязей частей аналогична структуре дерева. «Подобно дереву, почти все части человеческого тела функционально подчинены непосредственно человеку, а не его телу». Поэтому мы говорим *тело / голова / руки / ноги / глаза / уши / бок / кожа человека*. В ряде случаев и у дерева, и у человека наблюдается двойное функциональное подчинение. Соответственно, вполне корректны выражения *кора ствола* и *кора дерева*, *сердцевина ствола*, с одной стороны, а с другой — *кисти человека* и *кисти его рук*, *ногти человека* и *ногти его пальцев*.

Подобно тому как плоды, еще зреющие на деревьях или кустах, являясь нефизической частью, не признаются функциональной частью, так и человеческий плод

не имеет статуса функциональной части вынашивающей его женщины. По этой причине некорректно выражение **плод женщины* [Кошелев 2006; в печати: 247].

Итак, мы видим, что генитивная конструкция *У Х-а* является сенсорной. Ее **основное** значение имеет важную прототипическую характеристику — физическая связность части *У* с целым *Х*. Она (эта характеристика) позволяет предположить, что *У* является функциональной частью *Х-а*. В противном случае это заведомо неверно. (Совершенно аналогично сенсорное существительное *стул* имеет важную прототипическую характеристику (типичную форму стула), позволяющую предположить, что воспринятый нами предмет — стул.) При отсутствии физической связности части *У* с целым *Х* генитивная конструкция употребляется уже в метафорических значениях: *сын Николая, книга Петра* и др. Характерно, что для части *У*, которая в норме физически связана с *Х-ом*, такие посессивные употребления некорректны. О колесе, которое лежит отдельно от машины, плохо сказать **колесо машины*.

В определение **глагольной переходности** как сенсорной единицы «... вводят-ся два понятия: Прототип — видимые (объективные) изменения объекта, вызванные контактными действиями Агенса, и Ядро (интерпретация), указывающее, что изменения объекта, как видимые, так и невидимые, порождаются Агенсом, важны для него и являются его целью». Ср.: *Иван освещает дорогу фонариком* (для Ивана освещенная дорога значима, хотя с ней самой изменений не происходит); *Крестьянин измеряет поле* (в представлении крестьянина поле изменяется, т. к. обретает величину площади, хотя с самим полем видимых изменений не происходит).

По А. Д. Кошелеву, «Глагольная переходность (основное значение) = Прототип: Агэнс осуществляет видимое действие в КОНТАКТЕ с прямым объектом, с которым синхронно происходят видимые изменения ← Ядро: Агэнс осуществляет действия, поэтому с прямым объектом (Пациентом) синхронно происходят изменения, значимые с точки зрения Агэнса и являющиеся его целью» [Кошелев, в печати: 255].

«Отношение “Агэнс в КОНТАКТЕ с прямым объектом” является манифестантом отношения каузации “Агэнс осуществляет действие, поэтому с прямым объектом происходят изменения”» [Там же: 255]. «Видимое изменение прямого объекта является манифестантом объективной (только для Агэнса) значимости его изменений. Оба эти свойства типичны для глаголов, обозначающих контактные физические действия Агэнса с объектом, производящие в объекте видимые изменения» [Там же: 255]. Ср.: *Рабочий взял топор, срубил дерево и построил дом*. Прототипические свойства основного значения глагольной переходности «Контакт Агэнса с прямым объектом» и обуславливает сенсорность этой грамматической единицы.

Если переходный глагол означает не действие, а смену состояний, когда Пациент становится стимулом, переходность приобретает метафорическое значение: *Маша пожалела бездомного*.

Сравнение фразы *Вода наполняет ванну* (процесс) с фразой *Вода наполняет ванну* (конечное состояние — ванна наполнена) позволяет выявить механизм метонимии.

При анализе **категории залога**, его основных и производных значений А. Д. Кошелев сначала формулирует традиционное определение залога. Оно исходит из соотнесения семантических ролей аргументов глагола (Агенса, Пациенса и др.) с их синтаксическими ролями (подлежащее, прямое дополнение и др.) в традиционно выделяемых трех залогах. В действительном (активном) залоге переходного глагола Агенса обозначен подлежащим, Пациенс — прямым дополнением (*Маша причесывает куклу*). В страдательном залоге (пассиве) Пациенс обозначен подлежащим, Агенса — косвенным дополнением (*Кукла причесывается Машей*). В возвратном залоге (рефлексиве) обе семантические роли — Агенса и Пациенса — совмещаются и обозначаются подлежащим (*Маша причесывается*).

Анализируя категорию залога на основе когнитивного подхода, автор выявляет референциально значимые характеристики основных залоговых значений. С его точки зрения, «...среди множества явлений окружающего мира, значимых для успешной жизнедеятельности человека, пожалуй, важнейшими являются происходящие в мире изменения. Поэтому при адаптации к окружающей действительности центральное место для человека играет восприятие и классификация наблюдаемых изменений, происходящих с живыми существами, предметами, сыпучими веществами, жидкостями, элементами ландшафта и пр.» [Кошелев, в печати: 261–262].

Полагая, что «...обозначаемую предложением ситуацию определяет его предикативное ядро: существительное-подлежащее и глагол-сказуемое», автор заключает, что залоговое значение глагола указывает на тип изменений субъекта — референта подлежащего» [Там же: 263].

В итоге «...трем категориям изменений соответствуют три типа залоговых значений:

1) в **активе** с субъектом происходят **независимые** изменения: *Иван бежит, Река течет, Маша причесывает куклу, Ветер сорвал крышу, Клоун размахивает картонным мечом;*

2) в **пассиве** с субъектом происходят **зависимые** изменения: *Кукла причесывается Машей, Дом разрушается, Воришка наказывается плетью;*

3) в **рефлексиве** с субъектом одновременно происходят два изменения: **независимое** и каузируемое им **зависимое**. Иначе говоря, **субъект самоизменяется** (изменяет себя): *Маша причесывается*.

Предложенные дефиниции имеют универсальный, внелингвистический статус, поскольку апеллируют к сугубо когнитивным понятиям — типам изменений предмета или одушевленного существа. Благодаря этому мы получаем единую семантическую основу для межъязыковых сравнений залоговых значений. Сказанное позволяет также утверждать: актив, пассив и рефлексив являются сенсорными единицами» [Там же: 264].

Источником всех остальных значений выступает основное значение актива переходного глагола:

«(1) *Мальчик моет машину* (действительный залог, актив) = переходный глагол в активе обозначает ситуацию, в которой субъект в роли Агенса осуществляет независимое и целенаправленное действие; оно переходит на прямой объект в роли Пациенса и изменяет его =

субъект в роли Агенса осуществляет независимое и целенаправленное действие; поэтому с прямым объектом в роли Пациенса синхронно происходят зависимости изменения» [Кошелев, в печати: 266].

Значение возвратности метонимически производно от значения актива (1).

«(2) *Мальчик моется* (рефлексив — метонимия от актива) = глагол с постфиксом *-ся* в рефлексиве обозначает ситуацию, в которой субъект в роли Агенса осуществляет независимое и целенаправленное действие, которое переходит на него же, выступающего также в роли Пациенса, и изменяет его = субъект в роли Агенса осуществляет независимое и целенаправленное действие; поэтому с тем же субъектом, выступающим также в роли Пациенса, синхронно происходят зависимости изменения» [Там же: 266–267].

«В основе нашего понимания фразы *Мальчик моется* лежит универсальный механизм образования метонимии. Подлежащее в этой фразе метонимически называет сразу двух участников, различных по своим [функциональным] ролям, но тесно взаимодействующих и физически совмещенных». Метонимия, подчеркивает автор, возможна, если между исходным и смежным с ним объектом существует общезначимое функциональное взаимодействие, связывающее оба объекта» [Там же: 267].

Кроме того, «...понимание возвратного значения глагола опирается на знание типичной области воздействия агенса на себя» [Там же: 267–268].

Пассив (страдательный залог) предназначен для того, чтобы указать на некое промежуточное (*машина моется*) или финальное (*машина вымыта*) динамическое состояние Пациенса, когда Пациенс находится в состоянии изменений, порожденных действием Агенса (обычно неизвестного или отсутствующего в момент наблюдения) [Там же: 268].

Значение пассива интерпретируется автором как метафорически производное от рефлексива, поскольку в обоих случаях Пациенс является субъектом предиката (обозначается подлежащим и претерпевает зависимые изменения).

«(3) *Машина моется, дом строится плотником* (пассив — метафора от рефлексива) =

субъект предиката, выступающий в роли Пациенса, находится в состоянии зависимого изменения, производимого независимым действием другого участника ситуации — Агенса или Причины (например *дождя, страха*) =

субъект предиката, выступающий в роли Пациенса, находится в состоянии зависимых изменений, потому что другой участник ситуации (Агенс) производит независимое действие» [Там же: 270].

Далее рассматриваются *метафорические значения* производных от рефлексива и пассива. По словам А. А. Шахматова, **от рефлексива образуются:**

1) **Автокаузатив.** В этом случае «субъект, оставаясь фактическим производителем действия, не мыслится таковым; он только объект». Например:

Мальчик останавливается (автокаузатив = метафора от рефлексива) = на субъект (лицо) переходит действие, производимое им самим под превалирующим влиянием его окружения =

с субъектом происходят *з а в и с и м ы е* изменения, потому что действия субъекта подчиняются независимым изменениям его окружения [Кошелев, в печати: 272].

2) **Хабитуальный имперсонал** (*кратно-пассивно-возвратное значение*): *собака кусается, корова бодается.*

Коля толкается (хабитуальный имперсонал — метафора от рефлексива) =

на субъект (лицо) переходит характерный признак «постоянный производитель действия», порожденный многократным осуществлением субъектом этого действия =

с объектом произошли *з а в и с и м ы е* изменения: у него появился новый признак «постоянный производитель данного действия», потому что субъект часто осуществляет это действие [Там же: 273].

3) **Косвенно-результативный рефлексив:** *разгулялся, насиделся, намучился, наплясался.*

Иван отоспался (метафора от рефлексива) =

на субъект (лицо) переходит косвенный результат действия, производимого им самим =

с субъектом произошли результативные *з а в и с и м ы е* изменения, потому что длительные действия субъекта порождали постепенное независимое накопление этих изменений [Там же: 274].

От пассива образуются:

1) **Декаузатив (антикаузатив):** *разбился, сломался, растворился...*

Дом разрушился (декаузатив — метафора от пассива) =

с субъектом предиката происходят зависимые изменения, вызванные какими-то изменениями его окружения =

с субъектом происходят *з а в и с и м ы е* изменения, потому что независимо изменились окружающие его условия.

По заключению автора, «... носитель языка выделяет в действительности четыре объективных фактора, вызывающих изменения субъекта: Агэнс изменяет себя (*мальчик моется*), Причина (*белье сушится ветром*), Коллектив (*нарушитель вызывается в милицию*) и Окружение (*дом разрушается*)» [Там же: 275].

2) **Безличный модальный пассив** (*пассивно-возвратное значение*): *мне хочется, хорошо работается, не спится, нездоровится, мне кажется, думается.*

Ивану легко работается (безличный модальный пассив — метафора от пассива) =

благодаря ситуационному окружению у участника ситуации возникло состояние, стимулирующее его к осуществлению действия =

с участником ситуации происходят *з а в и с и м ы е* изменения: у него возникло состояние, стимулирующее его к осуществлению данного действия, потому что произошли независимые изменения в ситуационном окружении участника.

В заключение анализируются **метонимические производные с постфиксом -ся. Они образуются от рефлексива** и имеют следующие значения:

1) **Объектный имперсонал** (*косвенно-возвратное значение*): *убралось, уложился, публиковался.*

Маша убирается (объектный имперсонал — метонимия от рефлексива) = субъект (Маша) метонимически отождествляется с принадлежащей ему собственностью (со своей комнатой). Поэтому независимые действия субъекта, изменяющие его собственность (Маша убирает комнату), трактуются как зависимые изменения, происходящие с самим субъектом (с Машей) =

субъект независимо воздействует на свою собственность, метонимически отождествленную с ним самим, поэтому с субъектом происходят *з а в и с и м ы е* изменения.

2) **Рефлексивный бенефактив** (*антипассив*): *запасается, закупается, одалживается.*

Данное значение аналогично объектному имперсоналу, ибо субъект ситуации совершает действие над исходным прямым объектом для себя: *Иван запасся дровами.*

3) **Рефлексивный каузатив** (*возвратно-каузативное значение*): *одевается* (у портного), *наблюдается* (у врача).

Анна стрижется у парикмахера (рефлексивный каузатив — метонимия от рефлексива) =

на субъект (Анну) переходит действие, производимое с ним другим участником (парикмахером), метонимически отождествленным с субъектом =

с субъектом происходят *з а в и с и м ы е* изменения, потому что другой участник ситуации, метонимически отождествленный с субъектом, осуществляет независимое действие с ним.

4) **Реципрок** (*взаимно-возвратное значение*): *борется, сражается, сговорился, соглашается.* Это значение аналогично предыдущему.

Иван целуется с Машей (реципрок — метонимия от рефлексива) =

субъект осуществляет действие с другим участником ситуации, который одновременно осуществляет это же действие с субъектом. Поскольку этот участник метонимически отождествлен с субъектом, получается, что субъект косвенно осуществляет действие с самим собой =

с субъектом происходят *з а в и с и м ы е* изменения, потому что другой участник ситуации, метонимически отождествленный с субъектом, осуществляет с ним те же действия, которые и субъект осуществляет с ним.

«Итак, залог является сенсорной единицей».

«...Постфикс *-сь/ся* имеет единое значение — обозначает зависимое изменение субъекта (или другого участника ситуации, если глагол безличный). Это единое значение распадается на множество конкретных видов употреблений, выражающих различные типы зависимых изменений. Исходным (или основным) для всех этих употреблений можно считать значение рефлексива, представляющего собой метонимию от актива. От рефлексива образуются две группы переносов: метафоры и метонимии» [Кошелев, в печати: 281].

В результате множество значений залога предстает «в виде разветвляющейся цепочки, звенья которой связаны метафорическими и метонимическими переходами» [Там же: 261].

5. СЕНСОРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЕНСОРНЫЙ ЯЗЫК. КОГНИТИВНЫЙ ЯЗЫК МЫСЛИ

В качестве простого сенсорного предложения рассматривается такое предложение, в котором все слова являются сенсорными и употреблены в основных значениях: *Человек бежит по тропинке к озеру; Иван режет хлеб ножом.*

В качестве исходных когнитивных единиц представления действительности, полагает А. Д. Кошелев, для человека являются элементарные изменения, названные предметно-двигательными событиями и обозначенные существительным и глаголом через дефис: *человек-сидит, собака-ест.* Некоторые события объединяются в классе визуально и функционально сходных событий. «В каждом таком классе кристаллизуется предметно-двигательный протоконцепт — обобщенное событие, отражающее внешний облик и интерпретацию наиболее типичных (частотных) событий класса» [Там же: 285].

«Начальный этап формирования базовых концептов младенца обусловлен чисто когнитивными факторами» [Там же: 288]. Развитие представлений ребенка о мире основано на фундаментальном принципе развития живого существа — на принципе дифференциации синкретичного целого на части, которые затем интегрируются в систему, представляющую собой более развитое представление о целостном предмете [Там же: 289]. Главное свойство детских протоконцептов — синкретизм, сплав предметных, двигательных, функциональных характеристик.

В синкретичном конкретном протоконцепте ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ «...нераздельно соединены действующий Агенса и другие участники, играющие в отношении него различные роли (опорная поверхность и пр.). Для него можно указать следующие этапы развития. Сначала протоконцепт делится на предметную и двигательную части: на Агенса (концепт ЧЕЛОВЕК) и на его действие вместе с его ролями. Затем эта часть делится на действие (двигательный концепт БЕЖИТ) и отдельные роли: Поверхность, Цель движения и др. Далее начинается этап интеграции: с одной стороны, концепты ЧЕЛОВЕК и БЕЖИТ объединяются в систему, а с другой стороны,

к концепту БЕЖИТ присоединяются самостоятельные роли. Тем самым синкретичный протоконцепт преобразуется в систему концептов (своих частей)» [Кошелев, в печати: 290].

Затем различаются два компонента значения ядра: центральный — действующий Агенс — и периферийный или ролевой — набор остальных участников со своими ролями [Там же: 294].

Значение ядра ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ — фрагмент трехмерного пространства, содержащий структуру концептов: предметный концепт ЧЕЛОВЕК, присоединяющийся к нему двигательный концепт БЕЖИТ и связанные с последним пространственно-функциональным отношением предметные концепты, способные служить Поверхностью движения, Целью движения и т. д. [Там же: 297—298]. «Ролевое отношение имеет ту же дуальную структуру “Прототип ← Интерпретация”, что и концепты, которые оно связывает» [Там же: 298].

Значения предикативного ядра и предложения различаются тем, что значение ядра есть пространственная структура, соотношенная и отождествленная с воспринятым событием *человек-бежит*. Значением предложения *Человек бежит по дороге к старому дереву* называется ситуация бега, т. е. «...значение ядра *Человек бежит*, в котором роли заполнены конкретными концептами-участниками» [Там же: 299].

Значит, начальный синкретичный перцепт в процессе распознавания и осмысления преобразовался в иерархическую древовидную структуру концептов и отношений (автор подробно останавливается на этом преобразовании).

Определение значений предикативного ядра и предложения сформулировано автором на языке когнитивных единиц, который он называет когнитивным языком мысли.

Между тем с конца XX в. по настоящее время (в трудах Джекендоффа, Лакоффа, Вежбицкой, Пинкера) «языком мысли принято называть универсальную, независимую от конкретного языка систему концептов и отношений, посредством которой Человек представляет свои мысли (структуры концептов) и языковые значения» [Там же: 305].

«Данное понимание языка мысли характеризуют две черты: 1) элементы языка замыкаются в рамках концептуальной семантики <...> и 2) в определении его элементов — концептов и отношений — непосредственно используются слова и синтаксические конструкции естественного языка. В результате концептуальный язык мысли, во-первых, оказывается изолированным от более низкого, перцептивного уровня мышления, результаты которого он фактически описывает. А во-вторых, он не получает статуса мышления, как такового, поскольку создается явно (А. Вежбицкая) или неявно для описания языковых значений, а не человеческих мыслей» [Там же: 306].

В интерпретации А. Д. Кошелева, «...когнитивный язык мысли содержит единицы двух уровней: перцептивного, описывающего первичные перцепты непосредственного распознавания и осмысления фрагментов действительности, и концептуального, связанного, с одной стороны, с перцептивным уровнем, а с другой

стороны, с языковыми значениями. При этом 1) все единицы когнитивного языка определяются эксплицитно и невербально, т. е. независимо от слов и выражений естественного языка (последние используются лишь как термины), 2) концептуальные единицы суть структуры перцептивных единиц» [Кошелев, в печати: 306].

В качестве основных элементов используемого нами языка мысли *на перцептивном уровне* выступают:

«а) протоконцепты;

б) их предметные и двигательные визуальные прототипы;

в) их функции и интерпретации;

г) перцептивное отношение интерпретации “визуальный Прототип ← Функция (Интерпретация)”» [Там же].

На концептуальном уровне:

«а) концепты (предметные, двигательные, адъективные и др.) и роли — пространственно механизированные классы предметных концептов (Поверхность, Цель, Источник, Путь и др.);

б) концептуальные отношения: конкретизирующее отношение (типа ЧЕЛОВЕК ← БЕЖИТ) и ролевые отношения (типа БЕЖИТ = 1 → Поверхность, БЕЖИТ = 2 → Цель и др.);

в) структура концептов: а) значения предикативных ядер типа *Человек бежит* (их можно считать пропозициональными формами) и б) значения предложений типа *Человек бежит по дороге к старому дереву*, т. е. структуры ситуаций (их можно считать препозициями);

г) абстрактные двигательные концепты: Актив (действительный залог, Рефлексив (средний залог); Транзитив (переходность) и Нетранзитив (непереходность))» [Там же: 306–307].

Все элементы концептуального уровня: концепты, роли, конкретизирующие и ролевые отношения — являются сенсорными единицами, т. е. имеют структуру «визуальный Прототип ← Интерпретация», «поэтому все конструкции, составленные из элементов концептуального уровня — вплоть до значения предложения, — также являются сенсорными» [Там же: 307].

Этот результат дает автору основание постулировать существование сенсорного подъязыка естественного языка, из которого путем метафорических и метонимических трансформаций формируется производный от него язык, т. е. остальная часть языка. Иначе говоря, имеет место следующая диахроническая формула языка:

Естественный язык = Сенсорный подъязык \Rightarrow Производный язык,

где стрелка \Rightarrow обозначает метафорические и метонимические переносы основных значений лексических и грамматических единиц сенсорного подъязыка.

Эта формула позволяет объяснить диахронический процесс усвоения ребенком родного языка. Сначала ребенок усваивает сенсорный язык (его лексику и грамматику), а затем, по мере усвоения сенсорных единиц, он, используя

общечеловеческие механизмы метафоризации и метонимизации, порождает производные единицы. В самом деле, сенсорные единицы легко усваиваются ребенком, поскольку «допускают остенсивное определение — на их референты можно указать жестом, взглядом, кивком головы. Ребенок обращает внимание прежде всего на те предметы и действия, которые привлекают его мать — детская способность к совместному вниманию и общему пониманию текущей ситуации (совместная интенциональность — *shared intentionality*, по М. Томаселло [Томаселло 2011: 104]. К примеру, он глядит на то же действие, на которое смотрит мать, называя это действие сенсорным глаголом. И в ситуационном контексте он догадываться об интерпретации этого действия. Тем самым в сознании ребенка постепенно формируется основное значение услышанного глагола — типичная форма (прототип) и типичная интерпретация (семантическое ядро) увиденного действия» [Кошелев 2016: 37; в печати: 307].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Функции языка в отношении к миру и человеку

Функции языка определяются его сущностью. От того, как понимается язык и его сущность, зависит и то, какие функции ему приписываются. Поскольку язык, согласно основополагающему определению В. фон Гумбольдта, служит посредником между миром внешних явлений и внутренним миром человека (в первую очередь его мышлением), постольку и функции языка должны определяться исходя из его отношения к миру и человеку. А так как положение человека в мире и его отношение к миру с течением времени меняются, неудивительно, что в ходе познавательной деятельности представления о мире и человеке претерпевали изменения. Соответственно менялись представления о функциях языка и их иерархии.

Генеральная тенденция в эволюции понимания функций языка в его отношении к миру и человеку может быть определена как прогрессирующее их «человечение» по мере развития самосознания человека в ходе познавательной деятельности, по мере роста автономии человека во вселенной.

Мыслители древности обращались к языку как *средству познания и адекватного выражения мысли* в речевом общении, имплицитно исходя из тождества мыслимого и высказываемого с сущим, из нераздельности речи и мысли, осуществляемой исключительно в языковой форме. Именно этим кажущимся тождеством объясняется то доверие, которое питали к языку и в античную эпоху, и в Средние века. И позднее в рационалистической традиции, утверждавшей примат мышления над языком, языковые функции сводились к потребностям речевого общения, к передаче мыслей и знаний с помощью чувственных знаков.

Недоверие к языку как средству познания и выражения мысли зарождается и упрочивается вместе с осознанием известной самостоятельности языка относительно мышления и бытия, с установлением связи языка с разными сферами психического отражения действительности вследствие единства рационального и чувственного, сознания и бессознательного.

Наиболее значительный перелом в трактовке языковых функций связан с выявлением созидательной роли языка в формировании мышления, а следовательно, и самого homo sapiens. С осознанием вклада языка в мыслительную деятельность вскрываются все новые и новые не замечавшиеся ранее функции языка, расширяется,

уточняется, модифицируется (иногда весьма существенно) понимание традиционно выделявшихся функций.

Ретроспективный обзор основных философско-лингвистических концепций, включая ключевые концепции XX в., позволяет к настоящему времени выделить следующие функции языка, реализующиеся в противостояниях Мир / Человек и Человек / Человек (где под Человеком понимается и человек вообще, и индивид, и общество).

Функции языка в отношении к миру внешних явлений. Как посредник между миром и человеком язык одновременно сочетает в себе отражение и знак (В. фон Гумбольдт), и потому первичная функция языка, согласно Э. Сепиру, Г. Гийому и Э. Бенвенисту, состоит в том, что язык, точнее — его содержательная сторона, воспроизводит, отражает объективную действительность, репрезентируя ее в знаковой форме, рассматривая явления действительности символически. Таким образом язык дает субъективный образ объективного мира.

Соответственно языковое отражение действительности не является зеркально-мертвым, пассивным. Язык осуществляет членение, упорядочение окружающей материальной действительности, производит выделение, обобщение, классификацию наблюдаемых явлений и тем самым оказывается *средством познания внешнего мира и передачи информации о нем*.

Так как каждый отдельный язык воспроизводит мир, подчиняя его своей собственной организации, накладывая на него свою модель (Э. Бенвенист), предлагая свое видение (В. фон Гумбольдт), свою интерпретацию мира, перенося на него свою «законность» (А. А. Потебня), язык оказывается средством познания и формой знания не только благодаря нераздельному и неслиянному единству с мышлением. *Язык представляет собой особую форму знания о мире*, отличную от других форм знания — интуитивного, созерцательного, непосредственного, с одной стороны, и научного, теоретического — с другой (И. А. Бодуэн де Куртенэ). Более того, как показал уже Э. Б. де Кондильяк, и человеческий разум, и человеческие знания обязаны своим происхождением формирующей роли языковых знаков в рождении связи идей.

Заложенное в языке как отражении мировидение не может не влиять на восприятие человеком действительности и на его *поведение* в ней (В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Л. Уорф).

Итак, язык в его отношении к объективному миру — это:

- 1) форма отражения мира,
- 2) средство его познания,
- 3) форма знания о мире,
- 4) форма поведения человека в мире.

Интерпретация последних трех функций и в целом соотношения языка с миром и человеком зависит от того, соотносится ли язык как отражение преимущественно со сферой бессознательного или с сознанием, признается ли языковое мышление исключительно универсальным либо идиоэтническим или же совмеща-

ющим универсальное с идиоэтническим. Акцентирование идиоэтнического и бессознательного, в котором отражаемая объективная реальность и отношение к ней субъекта не расчлняются, порождает своеобразный гипертрофированный «лингвоцентризм» в оценке соотношения мира, человека и его языка, и тогда языку, как в гипотезе лингвистической относительности, отводится преобладающая роль, и, в частности, из трех форм знания приоритетным объявляется языковое, а научная картина мира оказывается производной от языковой.

Функции языка в отношении к внутреннему миру человека, к мышлению. Долгое время язык считали в общем пассивным и вполне адекватным средством выражения, объективации, материализации универсальной мысли, не участвующим в ее образовании. В рационалистической традиции функция выражения мышления рассматривалась как едва ли не единственная ментальная функция языка. И позднее, когда были выявлены и другие функции языка в мыслительной деятельности, функция выражения выделялась практически постоянно. Исключения составляют учение Ф. де Соссюра, видевшего в языке посредствующее звено между мыслью и звуком, средство их обоюдного разграничения и членения, но не средство выражения предустановленных понятий (в отсутствие таковых), и антименталистская концепция Л. Блумфилда, для которого язык — не выражение мыслительных процессов, а лишь орудие общения, понимаемого как цепь стимулов и реакций.

На исходе рационалистической традиции между мыслью и ее языковым выражением в речевом общении всё чаще обнаруживается несоответствие. Оно объясняется по-разному: особенностями познавательной деятельности субъектов, обусловившими неадекватное постижение сущности и качеств именуемых вещей (Платон, Дж. Локк); недостаточным развитием мышления в то время, когда формировался язык (Ф. Бэкон); воздействием чувственно-эмоциональных и, шире, духовных различий как между отдельными индивидами, так и между народами (Т. Гоббс, Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт); типом языка, и прежде всего способом выражения грамматических отношений — внутри слова или вне его (А. Шлейхер).

С осознанием роли субъективного человеческого начала становится всё яснее, что постижение и интерпретация сущности вещей зависит от познающих мир субъектов, от склада их ума, наклонностей, интересов, эмоций, чувств, впечатлений. В результате с течением времени изменяются представления как о характере мышления, так и о сфере выражаемого в языке. Помимо мышления в нее включаются также различные формы чувственного отражения, воля, эмоции, инстинкт, интуиция и в целом «дух» народа.

Выделяется целый ряд функций, вскрывающих активную роль языка в мыслительной деятельности. Они образуют определенную иерархию.

1) Язык — *средство преобразования*, видоизменения *доязычной* бессознательной *мысли* — изначально неопределенной, хаотичной, беспорядочной, турбулентной (Э. Б. де Кондильяк, В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Г. Гийом).

2) Соответственно язык — *средство перехода от бессознательности к сознательной умственной деятельности* (А. А. Потебня).

3) Сознательная умственная деятельность, оперирующая понятиями, становится возможной потому, что язык — *«аналитический метод»* (Э. Б. де Кондильяк), *«метод разделения поля мышления»* (В. фон Гумбольдт), *категоризация* (Э. Бенвенист).

4) Поскольку «всякое мышление состоит в разделении и соединении» (В. фон Гумбольдт), в категоризации, которая задается языком (Э. Бенвенист), язык выступает *средством образования идей / понятий* (Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер, В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня) и *общих философских разрядов (категорий) мысли* (А. А. Потебня, Э. Бенвенист).

5) *Структура языка*, грамматика, морфологический строй *придают форму мысли*, причем в каждом отдельном языке по-разному (Э. Бенвенист, Б. Л. Уорф), обуславливая склад народного ума (И. А. Бодуэн де Куртенэ).

Таким образом, *«язык — образующий орган мысли»* (В. фон Гумбольдт).

6) Язык — *«изменчивый орган мысли» и орудие ее усложнения*. Благодаря своей формальности язык облегчает и стимулирует работу мысли, способствует ее обогащению и развитию разных форм мышления — и образного, и отвлеченного (А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ).

7) Язык осуществляет *регистрацию хода мысли и закрепляет ее в памяти* (Т. Гоббс).

8) Благодаря языку возможен *самоконтроль, самослежение, «перехват мышлением самого себя»* (Г. Гийом).

9) Тем самым *развивается самосознание*, а значит, способность различать относительно объективное и относительно субъективное содержание мысли (А. А. Потебня), отделять объект мысли от мыслящего субъекта, что составляет сущность мышления (В. фон Гумбольдт).

10) В результате для человека язык — *«непременное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя»* (А. А. Потебня).

Функции языка в отношении к человеку. С осознанием роли языка в становлении сознательной умственной деятельности, и в частности абстрактного мышления, в развитии самосознания, в творческой познавательной деятельности в полной мере выявляется главная, фундаментальная функция языка — антропогенная, человекообразующая (разумеется, наряду с другими человекообразующими факторами). Если «человек становится разумным благодаря языку» (И. Г. Гердер), то не будет преувеличением вслед за И. Г. Гердером, В. фон Гумбольдтом, А. Шлейхером, А. А. Потебней, И. А. Бодуэном де Куртенэ, Г. Гийомом, Э. Бенвенистом признать, что именно благодаря языку человек является человеком, и не просто человеком, а творческой личностью. По мере накопления «капитала мысли» в процессе познания, в том числе посредством общения с другими людьми, человек познает не только мир, но и свое «я». Соответственно растет его самосознание, благодаря чему он обособляется и выделяется из массы как личность (А. А. Потебня).

Благодаря языковому общению человек социализуется, становясь общественным существом. Наконец, благодаря языку обеспечивается относительная автономия человека в мире (Г. Гийом). И это относится как к отдельному индивиду, так и к обществу в целом, поскольку и индивид, и общество возможны лишь благодаря языку: «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга» [Бенвенист 1974: 27].

Функции языка в отношении к обществу. Социальные роли языка не ограничиваются коммуникацией, в процессе которой происходит обмен информацией. Поскольку общение с помощью языка является необходимым условием формирования и развития как общества, так и личности, *первичная функция языка в отношении к обществу есть функция социообразующая, обобществляющая, социализующая*, на что указывали, в сущности, уже Ф. Бэкон и Дж. Локк. «...Только язык и дает обществу возможность существования», соединяя людей в единое целое, — утверждает Э. Бенвенист [Там же: 86].

Следующая и важнейшая общественная функция языка, тесно связанная с первой, может быть обозначена как *социоидентифицирующая, социоопознавательная, социоразличительная*. Согласно В. фон Гумбольдту, «человек говорит, даже мысленно, только с другим или с самим собой, как с другим, и тем самым очерчивает круг своего духовного родства, отделяет тех, кто говорит, как он, от тех, кто говорит иначе. Эта черта, разделяющая всё человечество на два класса — свой и чужой, — есть основа всякой первоначальной общественной связи» [Гумбольдт 1985: 399]. Родная речь, заметил Э. Сепир, служит символом социальной солидарности всех говорящих на данном языке. Об индивидуальности общества, и в частности о духе народа, судят прежде всего по языку. Язык — основа национальной самобытности. Именно язык наиболее глубоко и полно воплощает в себе национальное самосознание.

Одновременно язык является средством индивидуализации каждого отдельного члена общества. «...Способность служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей заключена в глубочайшем существе его природы» [Гумбольдт 1984: 165].

Собственно коммуникативная функция нередко считается определяющей, первичной, что, впрочем, неоднократно оспаривалось. Многие мыслители первичные функции языка связывают с отношением человека к действительности (В. фон Гумбольдт, Г. Гийом), с ее отражением на основе способности человека к символизации (Э. Бенвенист, Э. Сепир), с познанием (А. А. Потебня), а в догумбольдтовскую эпоху чаще всего с мышлением (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. В. Лейбниц, Э. Б. де Кондильяк, И. Г. Гердер). И в самом деле, коммуникативная функция осуществляется на основе тех функций, которыми язык наделен в его отношении к реальному миру: в процессе общения язык может служить средством сообщения, передачи мысли, ее содержания и, соответственно, средством передачи информации о положении дел во внешнем и внутреннем мире человека потому, что язык отражает, воспроизводит действительность, служит средством ее познания и формой знания.

Исходя из отношения языка как знаковой системы к внеязыковой действительности и в связи с его общественной ролью в «Гезисах Пражского лингвистического кружка» (1929) различаются две функции: *коммуникативная* (в узком смысле), направленная на *означаемое*, и *поэтическая*, направленная на сам знак, точнее — на *означающее*. В более поздней версии Р. Якобсона это соответственно направленная на референт, контекст *референтивная* (денотативная, когнитивная) функция (она признается центральной) и направленная на сообщение как таковое *поэтическая* функция [Якобсон 1975: 199–203].

Реализующееся в процессе речевого общения противостояние Человек / Человек предъявляет свои функциональные требования к языку. С одной стороны, язык должен обеспечить *самовыражение говорящего и его воздействие на слушающего*, а с другой — *взаимопонимание* между ними. Для выполнения всех этих функций важно не только то, *что* сказано, но и то, *как* сказано. Взаимопониманию служат, в частности, и такие выделенные Р. Якобсоном функции, как *метаязыковая* и *фатическая*: для взаимопонимания (как, впрочем, и для воздействия на слушающего) необходим не только «общий фонд идей», как показал Э. Б. де Кондильяк, но и общий код (язык) и контакт, канал связи между говорящим и слушающим.

В неразрывной связи с функцией взаимопонимания членов языкового сообщества язык оказывается для человека *средством понимать самого себя*. Понимание человеком самого себя — это и условие (Э. Б. де Кондильяк), и следствие (В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня) понимания его другими.

С нарастающим успехом «очеловечения» (В. фон Гумбольдт, И. А. Бодуэн де Куртэнэ), по мере того, как мир из совокупности внешних вещей превращается в человеческий, очеловеченный мир, а это в значительной степени и прежде всего оязыковленный мир, всё более актуальной становится поставленная В. фон Гумбольдтом задача исследовать и язык вообще, и отдельные языки в целях «познания человека на разных ступенях его культурного развития». Коль скоро язык отражает в себе каждую стадию культуры, при установлении социальных функций языка языкознание не может обойти поднятый И. Г. Гердером и В. фон Гумбольдтом вопрос о соотношении определенной ступени развития языка с определенным уровнем культуры. Этот вопрос еще ждет своего решения.

2. ВАЖНЕЙШИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

МЕЖДУ СИНТЕЗИРУЮЩИМИ И АСПЕКТИРУЮЩИМИ КОНЦЕПЦИЯМИ В РЕШЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Систематическое обозрение основных общелингвистических проблем в трактовке И. Г. Гердера, В. Гумбольдта, А. А. Потебни и И. А. Бодуэна де Куртэнэ позволяет заключить, что к началу XX в. на базе рассмотренных синтезирующих концепций, вобравших в себя достижения философской и лингвистической мысли своего времени и предшествующих эпох, в языкознании сложилась целостная теория языка, которая по праву может считаться системной. Ее системность

подтверждается сопоставлением с аспектирующими концепциями А. Шлейхера, Г. Пауля и Ф. де Соссюра.

Язык как предмет языкознания. В центре внимания синтезирующих, системных концепций находятся взаимоотношения языка и человека, языка и общества, языка и природы. Причем имеется в виду не только и не столько человек вообще и человеческий род как целое, сколько конкретный индивид и конкретный народ, нация как индивид.

Поскольку «личность есть индивидуальный сгусток (узел, связь, структура, система, тождество, метод или какая-нибудь единичная закономерность) природных, общественных и исторических отношений» [Лосев 1989: 4], индивид как языковая — и, следовательно, социализованная — личность оказывается в фокусе взаимодействия языка со средой, а это значит, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю — к человеку, к конкретной языковой личности» [Караулов 1987: 7].

Невозможность лингвистического анализа без обращения к «человеческому фактору» в социальном и индивидуальном аспекте, равно как и в отвлечении от внешнего мира, была очевидной для авторов синтезирующих концепций. В самом деле, согласно Гумбольдту, генетически «язык столько же создание лица, сколько народа». Функционально, будучи посредником между миром и человеком и являясь средством социального общения, язык неотделим от индивидуального способа представлений человека и служит орудием для разнообразнейших индивидуальностей, только в речи индивида достигая окончательной определенности. И хотя «...общество — это необходимая среда для его существования, но отнюдь не единственная цель, к которой он стремится. Конечная цель его всё же, — подчеркивает Гумбольдт, — индивидуум, в той мере, в какой индивидуум может быть отделен от человечества» [Гумбольдт 1985: 397]. Затруднительность такого отделения обусловлена в первую очередь социальной природой человека, для которого тяга к общественному бытию является не внешним, а внутренним свойством. Индивидуальность человека есть другая сторона индивидуальности его общества [Там же: 383]. Поэтому самовыражение и общение индивидов возможны лишь на основе социально выверенных, узуально закрепленных в языке элементов, их функций и отношений, на базе общего фонда идей.

Развивая эти мысли, Бодуэн объявляет реальной величиной в языковедении не язык в отвлечении от человека, но самого человека как носителя языкового мышления, каковым он обладает, однако, лишь будучи членом общества. Язык — средство социализации индивида и его мышления.

Поскольку сущность языка проявляется в его функционировании в отношении к мыслительной деятельности и к речевому общению, синтезирующие концепции включают употребление языка в сфере лингвистики.

В своем идеальном, внутреннем бытии язык рассматривается как деятельность, а в индивидуальном языковом мышлении наряду с элементами языка различаются психосоциальные процессы. Как связующее звено между миром и человеком,

язык признается не просто орудием и средством общения, не просто выражением готовых мыслей. Язык — это еще и средство познания человеком мира и самого себя. Отсюда понятия языкового мировидения, языкового знания, т. е. восприятия и познания мира (материального, индивидуально-психического, общественного) в языковых формах.

Иное понимание языка в аспектирующих концепциях — прямое следствие отвлечения его от среды и в первую очередь от человека. Например, Шлейхер определяет язык как независимый от волеизъявления индивида естественный организм, подчиненный от природы данным неизменным законам [Schleicher 1869: 120]. Употребление языка, его духовная сторона, более подчиненная свободному самоопределению индивида, выводятся Шлейхером из языкознания в филологию.

Точно так же «разводят» эти науки младограмматики. В противоречии с собственным требованием изучать говорящего человека [Остгоф и Бругман 1964: 187], поскольку язык «по-настоящему существует только в индивидууме» [Там же: 193] и «...в действительности существует лишь индивидуальная психология» [Пауль 1960: 36], младограмматики — в лице Пауля — в то же время заявляют, что языкознание занимается общими, узуально упроченными языковыми отношениями, а их индивидуальное использование — дело филологии [Там же: 54].

Равным образом и для Соссюра язык — нечто социальное по существу и независимое от индивида [Соссюр 1977: 57]. Социальное мыслится как внешнее по отношению к индивиду.

Таким образом, все рассмотренные аспектирующие концепции «спотыкаются» на том, что диалектическое *единство* социального и индивидуального представляют как антиномию.

Отрыв языка от внутренней духовной деятельности человека приводит к тому, что в аспектирующих концепциях языку приписывается пассивность, деятельностное представление языка вновь вытесняется пониманием его как продукта и ни о какой познавательной функции языка уже нет речи.

Методы исследования. Противоположение двух видов концепций обусловлено методологически. В основе системных концепций, исследующих язык в единстве всех его сторон и многообразных типов связей, лежит *диалектический* метод. Односторонняя абсолютизация того или иного аспекта в составе языкового целого (например, природного у Шлейхера, структурного у Соссюра) — примета *метафизического* метода.

Диалектичность синтезирующих концепций и метафизичность аспектирующих особенно хорошо видна тогда, когда исследователь, подобно Гумбольдту и Соссюру, оперирует дихотомиями. Для Соссюра, так же как для Шлейхера, главное — развести разные стороны объекта, для Гумбольдта — выявить закономерности их взаимодействия. В действительности противопоставленные Соссюром стороны — синтагматика и парадигматика, синхрония и диахрония и т. п., различаясь, образуют *единство* и потому разведены отнюдь не столь резко, как казалось

Соссюру. Это со всей определенностью показал Ю. С. Степанов [Степанов 1975: 254–266] на примере постулатов Соссюра.

В соответствии с диалектическим методом синтезирующие концепции исходят из единства исторического и логического. Исторический взгляд на язык принимается за основу системного подхода: система рассматривается не как случайный плод эволюции, а как закономерный результат всего предшествующего развития.

В аспектирующих концепциях применение исторического метода так или иначе ограничивается. Прежде всего за пределы лингвистики или на ее периферию выводится внешняя история языка, связанная с исторической судьбой народа. Полный разрыв между историческим и логическим наблюдается тогда, когда, как в концепции Соссюра, внутренняя история языка сводится к случайности.

Есть разница и в отношении к частным общенаучным методам. Синтезирующие концепции, опираясь на наблюдение, широко пользуются дедукцией, разного рода обобщениями, которые позволяют не только восстановить прошлое, объяснить настоящее, но даже предсказать будущность языка. В позитивистски ориентированных аспектирующих концепциях — натурализме, младограмматизме, «кроме наблюдения, допускается только основанное на нем и по необходимости выведенное из него заключение». Исходя из толкуемого в духе позитивизма монистического принципа, «ничего не ищущего по ту сторону вещей и считающего сущность вещи и ее явление за предметы тождественные» [Шлейхер 1864: 4], Шлейхер отделяет от лингвистики философию языка, изучающую его как абстрактное, идеальное образование, и ограничивается анализом «более внешних и более доступных сторон языка — его звуков и форм» [Шлейхер 1964: 108].

Структура языкознания. С развитием языкознания его структура всё более усложняется и к началу XX в., как показал Бодуэн, приобретает весьма разветвленный характер.

Практически все рассмотренные учения, включая младограмматическое, относящее языкознание к историческим наукам, разграничивают изучение строя и развития языков, т. е. описательное и историческое языкознание. При этом, как правило, подчеркивается связь между ними и обосновывается необходимость исторического подхода к описанию языковых состояний. Исключение составляет Соссюр: противоположность синхронии и диахронии представляется ему совершенно абсолютной и не терпящей компромисса [Соссюр 1977: 116].

Наиболее общее расхождение между синтезирующими и аспектирующими концепциями касается вопроса о том, какая дисциплина должна заниматься изучением индивидуальной стороны речевой деятельности, употребления языка — филология (так считали Шлейхер и Пауль, продолжавшие традиции XVIII в. в разграничении изучения строя языка и его употребления) или языкознание. В последнем случае также возможны разногласия. Соссюр выделяет изучение речи в отдельную, причем второстепенную, лингвистическую дисциплину. Синтезирующие концепции рассматривают язык и речь как совокупное единство.

Другое расхождение (впрочем, связанное с первым) касается дисциплинарного статуса исследований содержательной стороны языка. С точки зрения Шлейхера, все духовное, как и всё индивидуальное, склоняется в сторону филологии [Schleicher 1869: 120]. Это относится и к учению о строе предложения, и, очевидно, к учению о функциях.

В рамках синтезирующих концепций учение о содержательной стороне языка не может быть выведено за пределы лингвистики, ибо, согласно Гумбольдту, «внутренняя и чисто интеллектуальная сторона языка и составляет собственно язык; она есть тот аспект (Gebrauch), ради которого языковое творчество пользуется звуковой формой» [Гумбольдт 1984: 100]. Не случайно Потебня и Бодуэн выделяют учение о значении в самостоятельную лингвистическую дисциплину.

Место языкознания в системе наук. В определении места языкознания среди наук синтезирующие и аспектирующие концепции также следуют разным принципам. Для аспектирующих концепций характерно стремление отграничить языкознание от смежных наук, причем отношение его к отдельным отраслям знания определяется по-разному — в соответствии со взятым за основу аспектом. В результате языкознание квалифицируется то как естественная (Шлейхер), то как историческая (Пауль), то как семиологическая наука (Соссюр).

Синтезирующие концепции, исходя из «человекообразующей» роли языка, относят языкознание к наукам о человеке. Но учитывая единство человека и природы, человека и общества, единство в человеке и языке природного и социального начала, а также принимая во внимание действие принципа системности во всех этих объектах, синтезирующие концепции постулируют *единство человеческого знания*. Поэтому в трактовке данных концепций языкознание, являясь основной наукой по отношению ко всем остальным отраслям знания, служит связующим звеном между естественными и гуманитарными науками. При этом подчеркивается, что с развитием познания будет происходить всё большее расширение спектра связей языкознания с другими науками и всё большее его сближение со смежными дисциплинами. Современное развитие науки полностью подтверждает это предвидение Бодуэна.

Язык и мышление. Различия между синтезирующим и аспектирующим подходом к решению данной проблемы определяются тем, насколько учитывается, во-первых, единство человеческой психики, единство сознания, а во-вторых, историческое развитие мышления.

В аспектирующих концепциях связь языка и человеческой психики понимается односторонне. За основу берется то бессознательное, то, напротив, сознание, но так, как будто забывают, что «человеческий разум не сухой свет, его окропляют воля и страсти» [Бэкон 1972: 22]. Стремление освободить язык от воздействия человеческой индивидуальности приводит к пониманию языка как выражения только мышления, но не воли и чувств [Schleicher 1896: 5], к представлению о независимости языка от воли индивидуальной и коллективной, с одной стороны, и соответственно о его пассивности — с другой [Соссюр 1977: 55, 52].

Сведёние многообразных взаимоотношений человеческой психики и языка к тождеству между языком и мышлением [Schleicher 1869: 5], в свою очередь, приводит к отождествлению последнего с универсально-логическим компонентом. Этому способствует также непонимание исторического хода мысли.

В противоположность аспектирующим концепциям в синтезирующих, начиная с Гердера, исходят из единства бессознательного и сознания, его познавательных и эмоционально-волевых компонентов, чувственного и рационального отражения внешнего мира. В полной мере это единство человеческой психики в ее взаимоотношениях с языком было показано уже Гумбольдтом. Благодаря такому подходу наряду с универсально-логическим был выделен идиоэтнический компонент мышления, а язык стал трактоваться как орган оригинального мышления и восприятия. С учетом исторического развития мышления язык оказывается лишь одной из его форм, в которой, сменяя друг друга и взаимодействуя, сосуществуют элементы образного и понятийного мышления. Во внеязыковом мышлении различаются формы, предшествующие языковому мышлению, и формы, развившиеся на его основе. Всё более утверждается идея взаимосвязанности языка и мышления в их поступательном развитии. Подчеркивая зависимость языка от мышления, возможность сознательного влияния человека на язык на определенном этапе развития, синтезирующие концепции указывают в то же время на активную, преобразующую роль языка в отношении мышления.

Язык и действительность. Языковой знак. В синтезирующих концепциях язык как одна из форм мысли признается соответственно специфической формой отражения объективного мира. Язык как мировидение, с одной стороны, обнаруживает способ укоренения народа (и, в известной степени, индивида) в действительности, а с другой — служит средством познания человеком мира и самого себя. Специфичность языкового мировидения — одно из проявлений специфичности человеческого сознания, создающего субъективный образ объективного мира, причем образ живой, подвижный, меняющийся по мере развития познавательной деятельности человека. Историзм познания проявляется в смене мировидений и их наложении друг на друга, в сохранении пережитков прежних мировидений в каждом данном состоянии языка.

Чтобы эта смена могла осуществляться, система языковых знаков должна обладать способностью к расширению, что и проявляется, в частности, в способности содержания слова к росту. Эта способность заложена в самом строении знака и обусловлена, по Потебне, тем, что означаемое имеет иерархическую структуру, компоненты которой связаны отношениями последовательного намекания: семантически более бедный и формальный элемент намекает на более содержательный (представление → ближайшее значение → дальнейшее значение). Иерархическая структура знака вскрывает механизм обобщения и классификации явлений действительности, с одной стороны, и механизм, обеспечивающий взаимопонимание в процессе общения, — с другой. Благодаря такой структуре знак оказывается единством социального (народного) и индивидуального (личного) и может служить

средством самовыражения и общения разнообразнейших индивидуальностей. Отражательная природа означаемого языкового знака заставляет отвергнуть догму о произвольности языкового знака.

Иное решение данной проблемы предлагает Соссюр. С его точки зрения, «...естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114]. Поэтому об отражательной природе языка у него нет речи, и вопрос об отношении языка к действительности, об отношении языкового содержания к мыслительному не поднимается. Означаемое (понятие), так же как означающее (акустический образ), сводится к значимости. Следовательно, сосюр-овское «понятие» отнюдь не тождественно ни логическому (научному) понятию, ни тому наивному понятию, которым оперируют в обыденном употреблении носители данного языка. При таком отторжении языка от действительности произвольность (точнее, условность) оказывается в числе основных признаков языкового знака и языка в целом.

Система языка. С конца XVIII в. представления о строении языковой системы и механизмах, обеспечивающих ее целостность, эволюционировали, пожалуй, наиболее заметно. К началу XX в. в рамках синтезирующих концепций системный характер языка стал вполне очевиден.

К этому времени в соответствии с различением функций, выполняемых языком в процессе умственной деятельности и в процессе общения, осознается противоречивое единство в языке идеального, внутреннего и материального, внешнего, взаимосвязь языка и речи.

В языковом строе были выделены основные единицы языка, на базе ассоциативной психологии выявлены основные типы связывающих их отношений, благодаря этому установлена структура языковой системы, ее многоуровневость и иерархичность; обнаружена и описана вариативность языковых единиц (прежде всего фонемы и морфемы) и определена роль относительных характеристик и функциональных свойств в их отождествлении.

В результате удалось доказать целостность языка и раскрыть ее механизмы. К ним относятся: многослойность, иерархичность языковой формы каждого языка, совмещающей в себе свойства ряда соподчиненных форм; иерархические отношения между внутренней и внешней формой языка, их взаимосвязь, оборачиваемость формы и материи, формы и значения; иерархия элементов, проявляющаяся как в отношениях единиц разных рангов, так и в отношениях единиц одного ранга и их модификаций; наличие общих стремлений, тенденций и свойств, проникающих все компоненты языка; зависимость элементов, характеризующих их свойств и отношений от места и функции в составе языкового целого; ассоциации по сходству и смежности (парадигматические и синтагматические отношения) между единицами одного ранга; параллелизм (изоморфизм) фонетики, морфологии, синтаксиса.

Кроме того, в синтезирующих концепциях осуществлен синтез структурно-функциональных и генетических представлений о языке, в частности раскрыт

закономерный, исторически обусловленный характер языкового состояния; установлена динамичность системы в каждом данном состоянии, в том числе благодаря наличию в ней сильных и слабых мест, а также вследствие сосуществования типологически разных форм и хронологических слоев.

Существенной особенностью языковой системы является ее деятельностный характер. Язык может успешно выполнять свои функции лишь путем совмещения свойств созидающего процесса, порождающего организма и продукта порождения. Только на этой основе осуществляется взаимодействие языка как системы со средой — человеком, обществом, внешним миром. Важнейшим результатом этого взаимодействия является отражающееся в языке мировидение, однако влияние среды этим не ограничивается, распространяясь и на внешнюю форму.

Самая известная среди аспектирующих учений концепция языковой системы, разработанная Соссюром, в сущности таковой не является, ибо, основываясь на понятии значимости, Соссюр сводит систему лишь к ее структурному компоненту, да и то неполному — без учета иерархических связей и динамических характеристик структуры.

Природа межъязыковых различий. Эта проблема в одних аспектирующих концепциях (в том числе у Шлейхера и Соссюра) занимает периферийное положение, в других (например у Пауля) — вообще не рассматривается. При ее решении ни Шлейхер, ни Соссюр не учитывают социальный фактор. У Шлейхера на первый план выдвигается природный фактор — материальные условия жизни, воздействующие на анатомию мозга и речевых органов. Согласно Соссюру, «...языковая дифференциация обусловлена именно временем» [Соссюр 1977: 234], географическое разнообразие языков вторично. Что касается социального фактора, то внутренний организм языка не зависит от условий и образа жизни народа, его нравов и психологического склада. Поскольку язык — система знаков, межъязыковые различия суть знаковые различия, выражающиеся в соотношении абсолютно произвольных и частично мотивированных знаков.

Для синтезирующих концепций проблема межъязыковых различий является одной из главных. Начиная с Гердера и кончая Бодуэном, авторы синтезирующих концепций связывают межъязыковые различия с комплексным действием природных, исторических и социальных факторов. Особое внимание уделяется духовному своеобразию наций, способу их укоренения в действительности, так как этим обусловлена специфика мировидения, а значит, и содержательные различия между языками, в свою очередь накладывающие отпечаток на восприятие мира.

Среди формальных особенностей (помимо традиционно отмечавшихся различий в звуковых, собственно знаковых характеристиках) были выделены структурные расхождения «значимостного» типа, касающиеся соотношения сходных категорий, степени связи одних форм и категорий с другими и т. п.

Благодаря наличию общих тенденций, пронизывающих весь строй языка, межъязыковые различия носят системный характер.

Развитие языка. В отличие от аспектирующих концепций, в особенности натуралистической, противопоставляющей доисторический период жизни языка историческому, в синтезирующих учениях развитие общества и развитие языка не отрываются друг от друга и рассматриваются как единый процесс культурно-исторического и языкового развития.

Понимание специфики языкового развития зависит от того, учитывается ли диалектическое единство необходимости и случайности в языковых изменениях. Среди аспектирующих концепций есть и такие, которые акцентируют внимание на необходимом, и такие, которые видят в языковых изменениях только случайное. К числу первых принадлежит концепция Шлейхера, к числу вторых — учение Соссюра. По мнению Шлейхера, развитие языков и их распад подчинены объективным универсальным законам, ибо природа человека везде одинакова. Согласно Соссюру, в диалектике «...всё происходит по чистой случайности» [Соссюр 1977: 119].

Характерное для синтезирующих концепций диалектическое решение вопроса впервые было предложено Гумбольдтом. Согласно Гумбольдту, наряду с закономерным развитием, скрепленным причинно-следственными связями, в языке действует непредсказуемое самодеятельное творческое начало. Действие этого начала и непреднамеренность изменений, происходящих главным образом в сфере бессознательного, означают отсутствие планомерности языковых изменений и невозможность их телеологического объяснения.

Тем не менее объективный прогресс человека как одного из звеньев природы, поступательное развитие человеческого разума, безграничное ввиду неисчерпаемости мира для познания, предполагают прогресс и поступательное развитие языка. Движущей силой возникновения и развития языка признаются прежде всего потребности мысли и развивающейся познавательной деятельности человека, эволюция его самосознания и мировосприятия.

Поскольку язык по своей природе — явление социальное, психическое и системное одновременно, языковые изменения, как показал, в частности, Бодуэн, подчиняются законам социальным и психическим и обусловлены системно. В результате взаимодействия указанных факторов, а также ввиду перекрещивания изменений в разных аспектах языкового строя и в разных областях языковой деятельности развитие языков отнюдь не обязательно протекает только в одном направлении — от простого к сложному. Против этой точки зрения, поддержанной Шлейхером и Паулем, выступали и Гумбольдт, и Потенбня, и Бодуэн. Наряду с «прогрессом» в языке не исключен и «регресс». В особенности это относится к морфологическому строю языка. И Гумбольдт, и Бодуэн отрицают последовательный ступенчатый прогресс морфологического строя от изоляции через агглютинацию к флексии. Более единообразны тенденции развития звуковой и содержательной стороны языка. Здесь Бодуэн усматривает постепенный прогресс, который толкуется им как постепенное человечение языка. Язык как отражение и средство познания характеризуется постоянным обогащением содержательной стороны. Ее развитие, как показал Потенбня, отличается системностью и правильностью, что в свою очередь

обусловлено закономерностями развития мысли. Она же со временем становится более сложной, отвлеченной, связанной и быстрой. Соответственно, в содержательной стороне развитие идет от простого, конкретного к сложному, отвлеченному. Тем не менее и здесь наблюдаются довольно регулярные отступления от генеральной линии. Так как ход мысли возможен не только от частного к общему, но и наоборот, так как язык отражает постоянную смену поэтического, образного и прозаического, понятийного мышления, то восходящее к образному, конкретному слову безобразное, отвлеченное слово вновь может обрести образность, конкретность.

Языковые изменения исходят из системы, определяются системой (ее состоянием и направлением развития) и в конечном итоге приводят к изменению самой системы. В частности, может измениться структура языка, а именно группировка элементов по противопоставлениям и различиям и иерархия этих противопоставлений.

К системным факторам языковых изменений относятся:

- 1) начало, принцип языка, определяющий общие стремления языкового развития;
- 2) влияние накопленного материала, усиливающееся по мере накопления;
- 3) собственные динамические свойства разных сторон и элементов языка — их устойчивость или, напротив, предрасположенность к изменениям (в частности, содержательная сторона языка ввиду тесной связи с мыслительной деятельностью более подвижна: она может измениться даже при неизменной внешней форме);
- 4) отсутствие равновесия в системе ввиду наличия сильных и слабых мест (причем в процессе общения их дифференциация усиливается);
- 5) несовершенство языковой системы: асимметрия звучания и значения, формы и содержания, наличие обособленных, редких форм, излишек одних форм и недостаток других и т. п.

Изменения частных систем языка не являются автономными. Бодуэн выявил взаимосвязь фонетических изменений с морфологическими, в том числе влияние функциональной значимости фонем — степени их морфологизации, семасиологизации и социализации — на историческую устойчивость. В этих свойствах фонем, как в капле воды, отразилось единство социальной природы, системного устройства и исторического характера языка. Аналогичная взаимозависимость была отмечена Потемной в отношениях между лексической семантикой и синтаксисом, морфологией и синтаксисом. Изменение значения слова и развитие грамматических категорий осуществляются в предложении и не проходят для него бесследно. По мере всё большей дифференциации частей речи и членов предложения его единство возрастает.

Внешние факторы также отнюдь не безразличны для языковой системы. В частности, согласно Гумбольдту, языковые контакты влияют на степень исторических преобразований языка, причем внутренняя форма по сравнению с внешней и в этом случае отличается большей подвижностью. Языковые контакты способствуют обогащению языкового содержания, ограничивают сферу материально значимого и могут изменить внутреннюю устремленность формы.

* * *

Проведенное сопоставление помогает понять, почему именно на базе синтезирующих лингвистических концепций был разработан системный подход к языку. Решающее значение имело то обстоятельство, что синтезирующие концепции в противоположность аспектирующим учитывают не только внутренние характеристики системности — целостность, структурность, многоуровневость, иерархичность, но и единство, активное взаимодействие, взаимосвязанность языковой системы и среды, причем в понятие среды включается и человек как социальное существо и потому носитель и пользователь языка, и общество, нужды которого обслуживает язык, и внешний мир, являющийся средой обитания человеческого общества и служащий не только источником языкового и внеязыкового содержания, но и связующим звеном в процессе социального общения с помощью языковых средств. Взаимодействием со средой объясняются активный характер языка, деятельностная форма его существования и способность выполнять познавательную функцию. В плане дальнейшего изучения взаимодействия языковой системы со средой заслуживает внимания опыт системно-типологического анализа языка на основе детерминантного подхода в концепции Г. П. Мельникова, в частности его поиски наряду с внутренней детерминантой языкового строя внешней детерминанты [Мельников 2000].

Анализ синтезирующих концепций прошлого убеждает также в том, что именно к ним восходят «парадигмальные устои современной науки о языке, определяющие его исторический характер, социальную природу, системно-знаковое устройство и психическую сущность» [Караулов 1987: 8]. В отличие от аспектирующих концепций в синтезирующих эти характеристики не противопоставляются друг другу и не считаются взаимоисключающими, а, напротив, рассматриваются в единстве и взаимодействии.

3. ЯЗЫКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВКЛАДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ В ТЕОРИЮ ЯЗЫКА

3.1. ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКОВЕДНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ЯЗЫКОВОМУ МЫШЛЕНИЮ

Общая теория языка, имеющая целью постижение сущности своего объекта, не может не учитывать факторы, которые определяют само языковедное (лингвистическое) мышление, а значит, и то или иное понимание природы языка. Поскольку лингвистическое мышление имеет своим объектом язык (языковое мышление) и связано родовидовым отношением с теоретическим мышлением вообще, характер и стиль лингвистического мышления зависят и от изучаемого языка, и от гносеологических установок данной эпохи, так или иначе вписываясь в соответствующую научную парадигму. Немаловажное значение имеет, разумеется, и личность

исследователя. Но надо иметь в виду, что и реализация творческого потенциала исторически развивающегося познающего субъекта, и гносеологические предпосылки и принципы эпохи, как и господствующие в ней «концептуальные каркасы» и догмы, основываются на свойственном ей отношении человека и природы.

Представления о языке и его функциях меняются вместе с изменением представлений о человеке в его отношении к природе, по мере осознания человеком своей автономности в познаваемой объективной реальности. Изначально связанное с философским осмыслением действительности, лингвистическое мышление очень медленно отпочковывалось от философского. А так как философия задает методологические основы языкознания, как и любой другой отрасли науки, то эволюция общей теории языка, рассматриваемого, согласно В. фон Гумбольдту, в триединстве с миром и человеком, соотносительна с развитием философской мысли.

Для античности типично слитное, синкретичное восприятие бытия, мышления и языка и, как следствие, отождествление онтологического, логического и языкового, проявившееся, в частности, в понятии логоса. В соответствии с внеличным, вещевистским, чувственно-материальным миропониманием, охватывающим человека и распространяющимся на сферу идеального, язык определяется как совокупность имен вещей.

Собственно теоретическое осмысление языка начинается с попытки объяснить его природу. И вполне естественно, что первое объяснение языка, предложенное модистами, было онтологическим. В триединстве мира, человека и его языка противоположение мира, природы человеку (вместе с его внутренним миром) должно быть осознано раньше, чем нетождественность составляющих внутреннего мира человека — мышления и языка (мышления вообще и языкового мышления). Поскольку же в противостоянии мира, универсума человеку ведущим началом со времен античности признается мир, то и язык, его грамматику, грамматическую категоризацию модисты объясняют природой и свойствами вещей того внешнего мира, в котором — как в над-системе — существует человек, носитель языка, и который определяет его внутренний мир, являясь источником языкового и мыслительного содержания. Онтологическое объяснение языка согласуется таким образом с его первичной (по Э. Бенвенисту) функцией — отражать, воспроизводить действительность в знаковой форме [Бенвенист 1974: 27].

С усилением личностного начала — прежде всего под влиянием христианского монотеизма, затем под воздействием гуманистического мировоззрения Возрождения — на смену онтологическому обоснованию грамматической категоризации как фундамента языка приходит рациональное (логическое) обоснование, а на первое место среди функций языка выдвигается выражение мыслей для сообщения их другим людям.

Названные периоды в развитии языковедной мысли, предваряющие вычленение языкознания в самостоятельную научную дисциплину, соотносительны с тремя основными всемирно-историческими типами неоплатонизма: «...античный неоплатонизм прежде всего космологичен; средневековый неоплатонизм в первую

очередь теологичен, и притом абсолютно персоналистически теологичен, и, наконец, возрожденческий неоплатонизм антропоцентричен» [Лосев 1978: 94–95]. Эволюционируя от космологизма к антропоцентризму, неоплатонизм переходит от понятия природного человека к абсолютной универсальной надмировой и надчеловеческой личности и далее к «самоутвержденной и космически устремленной земной и человеческой личности», причем личности стихийно-артистической, духовной, творческой [Там же: 92]. Сходным образом и в языковедных учениях с приближением к Новому времени растет внимание к человеческому началу в языке, в первую очередь в универсальном аспекте. Тем самым подводится база под онтологически и рационалистически ориентированные универсальные грамматики.

Однако только в первой трети XIX в. благодаря гению В. фон Гумбольдта лингвистика обретает наконец статус особой отдельной науки. И представляется закономерным, что происходит это тогда, когда с укреплением национально-государственного самосознания, с осознанием активности субъективного человеческого начала была вполне осознана формирующая роль языка в мыслительной деятельности, когда стало ясно, что язык — не просто средство выражения мышления, но такой творческий орган мысли, который не просто оформляет мысль, но *формирует* ее, причем так, что отражающийся в языке объективный мир несет на себе отпечаток субъективного мировидения, национального самосознания. Объяснение природы языка начинают искать в нем самом — в его происхождении и истории (А. А. Потебня), в его структуре (Ф. де Соссюр и его последователи).

За два века существования лингвистики как самостоятельной науки сменилось много направлений и школ, выявивших очевидную зависимость результатов исследования от исходных методологических принципов, в частности от того, насколько познающий субъект соотносится с природой познаваемого объекта. Чтобы убедиться в значимости этой зависимости для лингвистики, достаточно сравнить аспектирующую концепцию Ф. де Соссюра с синтезирующей концепцией И. А. Бодуэна де Куртенэ.

По мнению Соссюра, внешний мир, «естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике» [Соссюр 1977: 114], так что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [Там же: 269]. И если «другие науки оперируют заранее данными объектами, которые можно рассматривать под различными углами зрения», то «в лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект» [Там же: 46].

В противоположность этому Бодуэн признает первичность познаваемого объекта, полагая, что «с гносеологической точки зрения результаты наблюдения и теоретического мышления зависят, с одной стороны, от наблюдаемого объекта, а с другой — от ума человека, ведущего наблюдение и формулирующего результаты своих выводов и рассуждений» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 202].

Исходя из триединства мира, человека и языка, Бодуэн настаивает на том, что в лингвистике «реальной величиной является не “язык” в отвлечении от человека,

а только человек как носитель языкового мышления» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 182], принадлежащий одновременно ко вселенной, к органическому миру и к миру психосоциальному [Там же, II: 191].

Соответственно, применительно к лингвистическим исследованиям Бодуэн требует различать *объективное языковое мышление* и *научное языковедное мышление*, основывающееся на сравнении языков и на истории языка. Неэквивалентность этих двух мышлений вскрывается Бодуэном на конкретных примерах, касающихся разложения слова на морфемы и определения альтернатив морфем в русском языке [Там же, II: 288–289].

Более того, языковедное мышление может заблуждаться относительно характеристик языкового мышления. Знание других языков и истории языка таит в себе опасность приписать данному языку или данному состоянию языка чуждые категории, о чем Бодуэн неоднократно предупреждает и чем на самом деле грешила и грешит лингвистика. Он убежден: «Наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обуславливая его строй и состав» [Там же, I: 68]; «всякий предмет нужно прежде всего исследовать сам по себе, выделяя из него только такие части, какие в нем действительно имеются, и не навязывая ему извне чуждых ему категорий» [Там же, II: 22]. Этот общий для всех наук принцип распространяется и на изучение языка: «исследование языковых фактов должно стать строго объективным, оно должно быть констатацией существенных фактов данной эпохи и данной языковой области без навязывания им чужих категорий» [Там же, II: 17].

Примечательно, что, настаивая на различии мышления языкового, мышления языковедного и мышления вообще, И. А. Бодуэн де Куртенэ из всех разновидностей научного мышления особо выделяет именно языковедное. Очевидно, отграничить языковедное (лингвистическое) мышление, как и мышление вообще, от собственно языкового труднее всего. В общей теории языка *познаваемый объект* (идеализированная модель Языка вообще), *познающий субъект* (носитель определенного языкового сознания, с одной стороны, и определенного языковедного мышления — с другой), язык как *средство познания* и *посредник между познанным и вновь познаваемым* переплетаются столь тесно, как ни в одной другой области знания.

Положение усугубляется тем, что язык–объект, будучи воплощением языкового сознания, представляет собой знаковую систему, а знак по самой своей природе предполагает интерпретацию носителями языка, выступающими в качестве интерпретаторов. Следствием этой метаязыковой способности является определенный синкретизм собственно языкового и метаязыкового сознания, языка–объекта и метаязыка.

Развитие самосознания в процессе «человечения» не может не отразиться на развитии языкового и метаязыкового сознания и степени их размежевания.

Ключом к познанию языка–объекта и возможных видов метаязыкового сознания на разных этапах развития языкового мышления является уровень развития

самосознания. Возрастанием сознания и самосознания человека определяется не только эволюция общей теории языка как высшей формы метаязыкового сознания. Надо думать, что и менее автономное по отношению к языковому сознанию (сравнительно с теоретически систематизированным лингвистическим метаязыковым сознанием) обыденное метаязыковое сознание тоже эволюционирует с развитием самосознания, и это отражается как на выборе средств самовыражения, так и на механизмах понимания.

Противоположение обыденного метаязыкового сознания теоретически систематизированному лингвистическому, по-видимому, соотносительно (хотя и не совпадает) с различием разных типов и способов языкового мышления, выделенных А. А. Потебней.

Обыденное метаязыковое сознание, необходимое с самого начала усвоения ребенком родного языка и до конца человеческой жизни, функционирует при всех способах мышления, начиная с *мифического*, т. е. и «при состоянии мысли, не дающем возможности явственно разграничить субъективное познание от объективных его источников» [Потебня 1976: 446] вследствие недостаточности наблюдений и при чрезвычайно слабом осознании этой недостаточности [Там же: 437]. Вполне сознательная умственная деятельность, согласно Потебне, предполагает понятия и становится возможной с накоплением «капитала мысли» при переходе «в более исключительно человеческую форму мысли» [Там же: 84] — научное мышление. Способность к научному мышлению есть способность к *анализу* и *критике* [Там же: 421].

В теоретическом знании мифическое мышление вполне вероятно на базе аспектирующих концепций, которые акцентируют свое внимание на отдельных сторонах исследуемого объекта. Если к избранной отдельной стороне вследствие ее односторонней абсолютизации сводится вся сущность данного объекта, то таким образом создается научный миф.

Антитезой узкоспециализированного аспектирующего подхода является, по Потебне, стремление к *универсальности мысли* [Там же: 412], способность различать относительно субъективное и относительно объективное содержание мысли, не подменяя объективное субъективным. Только при широком системном подходе «чем лучше понимаем научный факт, тем более поражаемся неполнотою его разработки» и, следовательно, отдаем себе отчет в том, что «нет и не может быть совершенных научных произведений» уже потому хотя бы, что «наука невозможна без понятия», а «понятие никогда не может быть замкнутым целым» [Там же: 194] ввиду неисчерпаемости мира для познания [Потебня 1958: 59].

Но насколько безграничным может быть наше стремление к универсальности мысли в языковедении?

Ведь нет «языкового мышления вообще». Оно существует лишь в форме конкретного языка. Поскольку же язык — средство образования понятий и общих разрядов философской мысли [Потебня 1976: 285] (и анализ Э. Бенвенистом категорий Аристотеля это как будто подтверждает [Бенвенист 1974: 106–111]), то с осознанием индивидуальности и своеобразия каждого языка и его воздействия

на мыслительную деятельность, естественно, возникает *вопрос о влиянии конкретного языка, языкового мышления, языкового знания на лингвистическое мышление и теоретическое мышление вообще.*

Сам призыв не навязывать исследуемому языку чуждых ему категорий, прозвучавший в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. Ф. Фортунатова, говорит о реальной возможности интерферирующего влияния родного языка исследователя на толкование иноязычных категорий и в целом на его лингвистические взгляды. При изучении родного языка различие между языковедным и языковым мышлением словно бы нивелируется: описывая родной язык, исследователь естественно ориентируется на языковое сознание его носителей и свое собственное, иногда ограничиваясь последним, как это сделал Л. В. Щерба в «Русских гласных» [Щерба 1983]. Но и в таких случаях существует опасность навязать наблюдаемому объекту субъективные лингвистические представления.

Во избежание этого Бодуэн призывает при описании языка руководствоваться не лингвистическим мышлением, а объективным языковым мышлением обыкновенных индивидов, входящих в данное время в состав данного племенного или национального коллектива. При таком подходе обеспечивается «всё большая “демократизация” наших научных приемов и вместе с тем достигается большая научность изложения, коренящаяся в большей согласованности с самим предметом исследования» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 232]. «Задача исследователя состоит только в том, чтобы верно прочесть в душах человеческих, т. е. озарить светом научного сознания то, что в объективном психическом мире сложилось и существует помимо всякой науки» [Там же, II: 260]. Действительно научное языковедное мышление, считает Бодуэн, основано на языковом мышлении [Там же, II: 276].

Влияние конкретного языкового мышления на теоретическое интенсивно обсуждается в связи с гипотезой лингвистической относительности.

В определении Э. Сепира, культура есть «то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [Сепир 1993: 193]. Следствием различий в этом «как» являются несоизмеримость членения опыта в разных языках, относительность понятий и в целом формы мышления [Там же: 258]. Вот почему Сепир вовсе не исключает влияния родного языка исследователя на его научные воззрения, а потому не следует пренебрегать языковыми основаниями и ограничениями собственного мышления, проистекающими из особенностей грамматической категоризации [Там же: 256–257].

Отмеченная Б. Л. Уорфом зависимость понятийной системы, включая основополагающие понятия «пространства», «времени», «материи», от конкретного языка [Уорф 1960а: 191; 1960б: 176; 1960в: 166–168] разрушает представления об ее универсальности и, следовательно, независимости теоретического знания от культуры и языка. Поскольку свойства системы языка, его грамматических моделей и категорий «в конечном счете выражаются в особенностях структуры логических или математических построений» [Уорф 1960а: 186], постольку и научная картина

мира, по заключению Уорфа, производна от его языковой картины [Уорф 1960а: 192–193].

Позднее гипотеза Сепира — Уорфа была поддержана Г. Гийомом. Он, в сущности, усматривает развивающуюся причинно-следственную связь между языковым сознанием и теоретическим мышлением. Отметив функциональную связь языковой структуры и научного любопытства, Гийом подчеркивает *зависимость* научного любопытства от состояния языковой структуры. Поскольку язык, с точки зрения Гийома, — это «бесспорная преднаука представления», постольку от достигнутого языком уровня типологического и структурного состояния зависит форма (вид) научного любопытства — его ориентация либо на чувственно воспринимаемую, либо на мысленно представляемую реальность, иными словами, на чувственное или рациональное познание действительности. Степень развитости научного любопытства пропорциональна степени сформированности языкового сознания. «Существуют научные вопросы, которые человеческий разум не смог бы перед собой поставить, если бы бесспорная преднаука представления, каковой является язык, не предполагала бы для них в себе места» [Гийом 1992: 154].

При таких посылах можно понять, почему «западноевропейская философия стала философией языка, т. е. исходит из языка как идеального материала для построения знаний об идее или о вещи» [Колесов 2004: 52].

Правда, в соответствии с господствующими представлениями влияние языка на теоретическое знание, на научную картину мира по-прежнему считается ограниченным ввиду предполагаемой универсальности логического анализа мысли, а значит, единообразия формы и категорий мышления у всех народов во все времена. Поэтому и провозглашенная Дж. Беркли зависимость метафизики от языка (см. [Кассирер 2002, 1: 69]), и декларируемая гипотезой лингвистической относительности производность научной картины мира от языковых средств и грамматической категоризации подвергаются сомнению. И это сомнение кажется более или менее оправданным, когда речь идет, например, о физической картине мира. Не случайно Ю. С. Степанов, задавшись вопросом, «есть ли вообще “национальные стили мышления в науке”», предлагает неоднозначное решение: «Если говорить о точных и естественных науках, о естествознании в целом, — конечно, нет. Это самая “наднациональная” область науки. Но если брать весь комплекс научных дисциплин, включая гуманитарные науки и философию, то национальный стиль существует. Такой, скажем, как традиционный “английский эмпиризм” или французская “картезианская ясность”». Наконец, «философия всеединства», «философия цельного знания» как особое течение русской мысли, существовавшее с конца XIX в., «пожалуй, больше всего может ассоциироваться с “русским стилем мышления”» [Степанов 1997: 352].

В таком случае следует разобраться, каким образом национальный стиль мышления проявляется в знании о языке, в теории языка.

В общем плане можно заметить определенный изоморфизм между развитием языкового и теоретического мышления, который, очевидно, пристокает из участия

языка «в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе» [Потебня 1976: 171]. Языковое мышление, как показал А. А. Потебня, развивается от мифического к собственно поэтическому (образному) и, далее, к прозаическому, научному (понятийному), т. е. от неразличения относительно субъективного и относительно объективного содержания мысли к различению того и другого с ростом «капитала мысли» [Там же: 420–421, 437]. Развитие же теоретической мысли, включая лингвистическую, выражается, в частности, в смене научных парадигм, за которой тоже стоит постепенный отказ от изживших себя представлений. Так, со всё большим осознанием познавательной функции языка, диалектически *сочетающего субъективность с объективностью* в творении идеального мира [Гумбольдт 1984: 123], изживает себя цитированное выше положение Ф. де Соссюра, будто объект лингвистики *создается* познающим субъектом.

Еще одна аналогия общего характера. Смена аспектирующих концепций синтезирующими в теоретическом мышлении в известной степени напоминает развитие синтаксических связей — от паратаксиса к гипотаксису. Подобно тому как «... человек переходит от бессвязности, дробности, паратактичности мысли и речи к возможности стройного подчинения многих частных речи цельности периода, многих периодов цельности сочинения» [Потебня 1968: 505], так и в науке аспектирующие концепции со временем сменяются синтезирующими.

Чтобы убедиться во влиянии конкретных языков на лингвистические представления, достаточно сравнить разные лингвистические традиции хотя бы с точки зрения предмета описания. В китайской традиции описывается словарь, затем фонетика, но не грамматика. В индийской, греко-римской и арабской традициях, напротив, в центре внимания грамматика, грамматическая категоризация, классификация частей речи (прежде всего на основе морфологического критерия). Данное расхождение явно отражает разное положение соответствующих языков на шкале лексичности / грамматичности и далеко не одинаковую степень развитости в них внешней морфологии.

Зависимость лингвистической теории от собственного языкового сознания исследователей отчетливо видна при сопоставлении характера и глубины членения языкового целого в разных лингвистических традициях.

Например, наличие таких синкретичных элементов, как слогоморфемы, характерно для изолирующих языков, в которых вследствие незавершенного разграничения звуковой и содержательной сфер минимальные значащие единицы регулярно совпадают с минимальными произносительными единицами.

Равным образом не случайно и то, что понятием корня лингвистика обязана еврейской грамматической традиции: в семитских языках корень по своим структурным характеристикам более четко отграничен от аффиксов, чем в языках иных семей.

Разная глубина иерархического членения языкового целого на значащие единицы — бóльшая во флективных языках, меньшая в агглютинативных —

обуславливает, в частности, различия в направлении словообразовательного анализа в русском и татарском языкознании: «если в русском языкознании анализ смысловой структуры производного слова, первоначально выйдя из морфемного анализа, постепенно привел исследователей к необходимости описывать специфику словообразовательных процессов на синтаксической основе, ...то в татарском языкознании, напротив, к пониманию сущности производного слова, его словообразовательной функции приходят на основании анализа синтаксических свойств языковых единиц» [Аминова 1995: 35].

Вклад частного языкознания в общую лингвистику, по-видимому, связан со спецификой данного языкового мышления, с самим характером языка. Поскольку же «язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Гумбольдт 1984: 304], своеобразие языка обуславливается преобладающей направленностью сознания, «либо погруженного в глубины духа, либо ориентирующегося на внешнюю действительность» [Там же: 173]. «Великая разграничительная линия, — учит В. Гумбольдт, — проходит в зависимости от того, вкладывает ли народ в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности» [Там же: 104]. Всё зависит от того, что служило основным источником при его образовании — «чувственное мировосприятие или же глубины мысли, в которых это мировосприятие уже подверглось духовной обработке» [Гумбольдт 1985: 397]. И хотя каждый язык представляет собой «определенный уклад интеллектуального и чувственного восприятия» [Гумбольдт 1984: 63], но не в каждом языке они сочетаются вполне гармонично.

В предшествующей В. фон Гумбольдту философско-лингвистической традиции, в трудах Дж. Вико (1725) и Э. Б. де Кондильяка (1746), высказывалась мысль об известной несовместимости фантазии и рассудка, воображения и анализа, поэтической способности и метафизики. Так, Дж. Вико полагает, что «...никому невозможно стать одинаково возвышенным Поэтом и Метафизиком». Объясняется это тем, что «...Метафизика абстрагирует сознание от чувств, а Поэтическая Способность должна погрузить всё сознание в чувства: Метафизика возвышается до универсалий, а Поэтическая Способность должна углубиться в частности» [Вико 1994: 357]. Еще категоричнее точка зрения И. Г. Гердера, согласно которой функциональные возможности языка предопределены его возрастом и типом. И «если язык более всего пригоден для поэзии, то он не может быть в такой же мере философским языком» [Гердер 1959: 121]. «Невозможно представить себе народ, у которого не было бы поэтического языка, но были бы великие поэты, не было бы гибкого языка, но были бы великие прозаики, не было бы точного языка, но были бы великие мыслители» [Там же: 117].

В. фон Гумбольдт также считает, что исконным укладом языка предопределяется его преимущественное тяготение к поэзии или прозе, а значит, к чувственному или рациональному восприятию действительности. Одинаковое развитие «в соразмерном соотношении» столь разных путей развития интеллектуальной сферы, как поэзия и проза, Гумбольдт допускает, только «если язык имеет поистине

незаурядную форму» [Гумбольдт 1984: 183]. Таков, по Гумбольдту, (древне)греческий язык. «Ростки греческой прозы, как и ростки поэзии, с самого начала уже были заложены в духовности греков», в неповторимой индивидуальности народа. Поразительное влияние духовной самобытности греков сказалось и на характере философского познания, ярко проявившись прежде всего в творчестве Аристотеля как основателя науки и научно ориентированного сознания [Там же: 188].

3.2. ДУХОВНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ КОРНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ В ТЕОРИИ ЯЗЫКА

Среди современных индоевропейских языков «поистине незаурядной формой» несомненно обладает русский язык. Ведь у нас есть и великие поэты, и великие прозаики, и великие ученые—мыслители, причем многие из них, например М. В. Ломоносов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, Андрей Белый, П. А. Флоренский, Ю. Н. Тынянов и др., мощно проявили себя в разных сферах духовного творчества.

Корни духовной самобытности русского народа, надо полагать, заложены в гармонии различных форм психического отражения, составляющих «совокупность человеческой духовной силы», на которую, по В. Гумбольдту, всегда с необходимостью опирается язык [Там же: 66]. Эта специфика русской ментальности глубоко и, на мой взгляд, вполне адекватно раскрыта В. В. Колесовым в его книге «Язык и ментальность» через анализ русского языкового мышления.

Хотя, согласно Колесову, «конкретное и образное русская ментальность предпочитает умственно рационалистическому», однако «русская ментальность — не *ratio*, но и не односторонний сенсуализм» [Колесов 2004: 78]. (Этот вывод хорошо согласуется с учением А. А. Потебни о развитии языкового мышления.)

Высокий творческий потенциал русской ментальности, отличающий ее от односторонней рассудочности, обусловлен, далее, тем, что «русское познание осуществляется сквозь призму интуиции», а также тем, что русское мышление сопрягает все содержательные формы слова: образ, символ и понятие — в их объемном развитии [Там же: 79]. Характерная для русской ментальности «образность символа, данного в совмещенности своих значений», позволяет избежать одномерности мысли и не допустить преобладания формальной стороны над сущностью мысли [Там же: 82–83].

Незаурядность русского языкового мышления, очевидно, объясняет и своеобразие русского стиля научного мышления. Что отличает его от других стилей научной мысли, в частности от английского?

Характеризуя психологию английского ума (так, как она проявилась в физике), П. А. Флоренский отмечает желание англичан «не объяснять мир, но лишь описывать его теми средствами, которые, по свойствам именно английского ума, наиболее берегут его силы, силы английского ума. <...> Физика английская по общему

своему укладу... менее какой-либо иной притязает на объяснение. Ей дорог сырой факт...» [Флоренский 1990: 119].

Те же установки характерны для такого лингвистического направления, как американская дескриптивная лингвистика. «Не случайно центральной задачей дескриптивизма объявляется описание языка, т. е. упорядоченная регистрация фактов языка, но не их объяснение» [Арутюнова и др. 1964: 191]. В частности, М. Джуж пишет: «Мы не отвечаем на вопросы “почему”, касающиеся структуры языка. ...Мы пытаемся точно описывать, мы не пытаемся объяснять» (цит. по: [Там же: 191]). И вообще, по свидетельству Э. Сепира, для «сугубо прагматического американского сознания» руководящим моментом является «деловой инстинкт», так что образ мыслей американцев «сугубо рационалистичен». «Этот дух рационализма, как мы можем наблюдать, буквально пронизывает все наше научное мировоззрение» [Сепир 1993: 249, 251].

Русскому уму присуще то, что, по определению П. А. Флоренского, свойственно философии с ее диалектическим методом, — стремление к объяснению, а значит, к все-связному, все-стороннему познанию действительности [Флоренский 1990: 125–126], причин и смысла бытия, его сути.

В высших достижениях русской науки, литературы и искусства, согласно Г. П. Мельникову, ярко проявляется «греческий» стиль мышления с характерной для него устремленностью к целостности, к онтологичности, к постижению сути вещей, истоков и направления их развития [Мельников 2000: 5–12; Зубкова 2003б: 8].

Весьма показателен в этом отношении манифест не ученого, не философа, а поэта Б. Л. Пастернака:

Во всем мне хочется дойти	До сущности протекших дней,
До самой сути.	До их причины,
В работе, в поисках пути,	До оснований, до корней,
В сердечной смуте.	До сердцевины.

Идеи целостности и всеединства буквально пронизывают русскую философскую мысль, тесно связанную со своей религиозной почвой, с православием. Православие же, по словам русского философа XIX в. В. Н. Карпова, требует, чтобы «ум и сердце не поглощались одно другим и вместе с тем не раздваивали своих интересов» (цит. по: [Степанов 1997: 318]). И «в течение тысячелетия восточные славяне привыкали осознавать, что разум и чувство, голова и сердце не враги друг другу, они в одном теле и служат тебе верно» [Колесов 2004: 13]. Нераздельное и неслиянное единство ума и сердца, мысли и души, рационального и чувственного познания свойственно самому духу русского народа в поэтическом определении Н. А. Заболоцкого:

Есть черта, присущая народу:	Оттого прекрасны наши сказки,
Мыслит он не разумом одним, —	Наши песни, сложенные в лад.
Всю свою душевную природу	В них и ум и сердце без опаски
Наши люди связывают с ним.	На одном наречье говорят.

Как показал В. В. Зеньковский, «... в идеале “целостности” заключается, действительно, одно из главных вдохновений русской философской мысли. Русские философы, за редкими исключениями, ищут именно целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа. <...> Антропоцентричность русской философии постоянно устремляет ее к раскрытию данной и заданной нам целостности» [Зеньковский 1991, I, ч. 1: 17–18]. Отсюда, по Зеньковскому, и «онтологизм» русской философской мысли, выражающий «включенность познания в наше отношение к миру, в наше “действие” в нем». Отсюда же и доминирование моральной установки, являющейся одним из самых действенных и творческих истоков русского философствования, и чрезвычайное внимание к социальной проблеме и особенно к философии истории в поисках ее смысла и целей [Там же: 16].

С гносеологическими установками русской философии целиком согласуется гносеологическая оценка языка в русском языкознании. Для отечественной лингвистической традиции «язык не есть только известная система приемов познания, как и познание не обособлено от других сторон человеческой жизни. Познаваемое действует на нас эстетически и нравственно. Язык есть вместе путь сознания эстетических и нравственных идеалов, и в этом отношении различие языков не менее важно, чем относительно познания» [Потебня 1976: 259].

Эти свойства языка как посредника между миром и человеком, как единства объективного и субъективного обнаруживаются уже в слове. С одной стороны, «в слове также совершается акт познания», и поэтому «как вещественные значения, так и формы должны быть рассматриваемы как средства и вместе акты познания» [Потебня 1958: 17, 59]. С другой стороны, «нравственная оценка присутствует в каждом именовании, в любом определении, составляет часть значения и в конечном смысле является его сутью» [Колесов 2004: 92].

Совмещение в русском языке системы приемов познания с осознанием эстетических и нравственных идеалов с очевидностью раскрывается, например, в таких важнейших концептах русской культуры, как *совесть* и *правда*, а именно в развитии значения слова *совесть* от ‘разумения, понимания, знания’ к ‘нравственному сознанию, нравственным принципам, убеждениям, сознанию моральной ответственности’; в сопряжении в семантике слова *правда* понятий *истины* и *справедливости* (см. [Степанов 1997: 318–332, 634]). Не случайно одно из воспетых И. С. Тургеневым свойств русского языка («О великий, могучий, *правдивый* и свободный русский язык!») также восходит к *правде*, а суть русской национальной идеи в *справедливости*.

Русская лингвистическая мысль, подобно философской, ориентирована не на «дробно-аналитическую», аспектирующую, а на синтетическую модель познания языка в его полном развитии. «Таково общее свойство национальной научной традиции, не склонной к позитивистскому копанию в частностях (“анализах”）」 [Колесов 2003: 231, а также 127–128, 147–148, 238–239, 242–249]. Ведь «цельность цельного, понятая как целое, есть основная установка русской ментальности, не допускающая

разложения сущностей на дробные доли анализа. Целое не является суммой аналитически явленных частей, как полагает западный *ratio*» [Колесов 2004: 12].

И кажется весьма симптоматичным, что после Платона и В. фон Гумбольдта синтезирующая тенденция в анализе языка, исходящая из триединства мира, человека и его языка, едва ли не в первую очередь характеризует отечественную лингвистическую традицию. В этом ключе разработаны лингвистические учения И. И. Срезневского, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ в XIX и начале XX в., концепция Г. П. Мельникова в конце XX в., концепция А. Д. Кошелева в начале XXI в. Синтезирующий, системный пафос в русском и славянском языкознании, как это видно из трудов русских членов Пражского лингвистического кружка Р. О. Якобсона, Н. С. Трубецкого, С. О. Карцевского, сохраняется даже в эпоху господства явно аспектирующего структурного подхода к языку, когда, следуя Ф. де Соссюру, язык стали изучать исключительно как совокупность наблюдаемых в синхронии отношений между единицами языка, безотносительно к естественным вещам и их отношениям, к внутреннему миру человека, к звуковой и мыслительной материи и даже на антименталистской основе.

В отечественной традиции синтезирующий всеохватный подход проявляется даже при освещении, казалось бы, очень частных проблем. Яркий пример такого рода — статья И. А. Бодуэна де Куртенэ «Фонетические законы», где автор, настаивая «на необходимости проанализировать объект исследования до конца», излагает свои взгляды на метод решения проблемы: «Чтобы найти достаточно прочную основу для понятия фонетического закона, необходимо определить место этого понятия в его действительной сфере. Исходя из природы человека и из его отношений к различным областям целостного бытия, необходимо признать, что все проявления человеческого существа касаются различных областей природы в ее целостности и что, исходя из этого, их надо рассматривать в тесной связи с общим миропониманием» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 189], принимая во внимание те миры, к которым принадлежит человек (это вселенная, органический мир, психосоциальный мир), и в частности те миры, в которых протекает общение между людьми [Там же, II: 191–192]. Не больше и не меньше. Еще один, современный, пример — монография А. В. Пузырева «Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления» (М.; Пенза, 1995). Исходя из общей теории систем, А. В. Пузырев рассматривает анафонию и анаграммы на уровнях мышления, языка, речи и коммуникации как ступенях сущности в единстве всеобщего, общего, конкретно-абстрактного, особенного и единичного.

Синтезирующая направленность русской теоретической мысли опирается на нашу «всемирную отзывчивость», на готовность русских впитывать все достижения мировой культуры и цивилизации. Стремление овладеть, как писал И. В. Киреевский, «в с е м умственным развитием современного мира, доставшимся ему в удел от всей прежней умственной жизни человечества» (цит. по: [Зеньковский 1991, I, ч. 2: 25]), свойственно и русской философии, и разным отраслям отечественной науки, включая языкознание.

Немаловажное значение для лингвистического кругозора отечественных ученых имеют также разнообразные языковые контакты на евразийском пространстве России. Не случайно глава Казанской лингвистической школы И. А. Бодуэн де Куртенэ, которого В. В. Виноградов называет ученым «интернациональной ориентации» [Виноградов В. В. 1963: 6], неоднократно обращался к сравнительной характеристике флексийных ариоевропейских и агглютинативных тюркских языков. Полагая, что «славянский языковой мир достаточно обширен, чтобы его материал мог служить основанием для рассмотрения... всех... общелингвистических вопросов», И. А. Бодуэн де Куртенэ никогда не забывал, «что славянские языки не составляют замкнутой языковой области и что они должны, напротив, рассматриваться всегда в их связях с другими родственными и даже неродственными языками» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 138].

Благодаря синтезирующей направленности, в анализе языка в русской лингвистической традиции оказались диалектически сопряженными все четыре выдвинутые Аристотелем принципа–начала–причины бытия и всякой вещи, причем так, что единство материи и формы языка обнаруживает соотносительность с единством возможности и действительности. Поэтому в русской традиции язык рассматривается в единстве плана содержания и плана выражения и в обязательной увязке со свойствами мыслительной и звуковой материи, а различие языка и речи не переходит в их противопоставление вплоть до разрыва. Хотя опыты формального анализа тоже имели место, «формализм как течение мысли и оправдание идеи в принципе неприемлем для русского сознания» [Колесов 2004: 38]. В русской лингвистической традиции, в том числе в Московской фортуналовской школе, называемой иногда формальной, а тем более в учении А. А. Потебни форма не сводима к ее внешнему знаку: ввиду примата содержательной стороны языка «форма есть значение» [Потебня 1958: 63].

Определение природы языка не мыслится без установления причинного и целевого принципов его становления, вследствие чего отрыв внешней лингвистики от внутренней, диахронии от синхронии также недопустим.

В представлении отечественных авторов синтезирующих концепций языкознание должно сосредоточить внимание на явлениях, «свивающихся как волокна в единую нить» [Срезневский 1959: 25], «рассматривать языковые явления в исторической перспективе» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 7], а каждый данный момент «в связи с полным развитием языка» [Там же, I: 70], чтобы стало возможным не только объяснение исследуемых явлений [Потебня 1976: 73; Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 59–60], но и «предсказывание будущего, то есть предсказывание явлений, имеющих впоследствии когда-нибудь на линии исторического продолжения данного языка» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 105], ибо «основной вопрос всякого знания — откуда и, насколько можно судить по этому “откуда”, куда мы идем?» [Потебня 1968: 503]. При этом основная задача истории языка, определяемая исходя из триединства мира, человека и языка, — «показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе» [Потебня 1976: 171].

Таким образом, в отечественной лингвистической традиции языкознание мыслится как объяснительная и прогнозирующая когнитивная наука задолго до «когнитивной революции».

Если правы классики языкознания (а они, по-видимому, правы) и «... между устройством языка и успехами в других видах интеллектуальной деятельности существует неоспоримая взаимосвязь» [Гумбольдт 1984: 67], ибо язык есть «тот фундамент, на котором строятся (так в оригинале. — Л. З.) высшие процессы мысли как научного характера, так и художественного» [Потебня 1989: 204], то и исключительные достижения русской художественной мысли, и явная склонность русского научного мышления к синтезу, очевидно, заложены в том «индивидуальном качестве самого языкового строя», с которым В. Гумбольдт связывал совершенство языков [Гумбольдт 1984: 196–197].

Как посредник между миром и человеком «язык должен, следовательно, воспринять двойную природу мира и человека»; и поэтому «... те языки должны быть оценены выше прочих, в которых внешний мир отражается правдиво, живо и полно, движения души — сильно и подвижно, а возможность идеального объединения того и другого в понятия легко достижима» [Там же: 305]. Подлинное единство объективного и субъективного, чувственного и рационального обеспечивается в случае полноценного синтеза внутренней и внешней формы языка.

О мощи этого синтеза в русском языке свидетельствует реализация таких существенных и взаимосвязанных свойств языка, как членораздельность и категоризация, т. е. свойств, составляющих также сущность мышления.

Русский язык отличает последовательно проведенная грамматическая категоризация, а именно наличие наряду с несинтаксическими (словообразовательными) категориями с семантической доминантой синтаксических категорий, в том числе со структурной доминантой, последовательно коррелятивных и альтернативных (в определении А. В. Бондарко [Бондарко 1976]). Отсюда четкое формальное различие частей речи и вообще высокая степень формальности русского языка, а, согласно В. Гумбольдту, «... преобладающая формальность языка поднимает мыслительную активность» [Гумбольдт 1984: 343]. Этому способствуют, в частности, решительное преобладание глагола и высокоразвитый гипотаксис. К тому же русский язык располагает богатыми возможностями выражения как объективной, так и субъективной модальности, имеет формальные средства выражения субъективно-оценочных значений. По наблюдениям В. В. Колесова, «в отличие от западноевропейских языков русский обладает большей свободой выражения интеллектуального действия и различных модальностей оценки — но не специальным (модальным) словом, а синтаксическими формулами: *я грущу — я грустен — мне грустно — грустно*. Это не тавтологии и не синонимы, а результаты семантической компрессии, охватывающей все этапы переживания от конкретного ощущения до абстрактной цельности идеи в отрыве от ее носителя» [Колесов 2004: 225].

Благодаря последовательному разграничению лексического и грамматического русского языку присуща высокая степень членораздельности, завершенность

иерархического членения языкового целого и, как следствие, четкое разграничение всех значащих единиц — предложения, слова, морфемы. Поскольку вычленение элементов как внутренней, так и внешней формы осуществляется в синтетической деятельности на основе согласованности между звуком и мыслью [Гумбольдт 1984: 75], в русском языке не только дифференциальные признаки фонем, но даже аллофонические различия используются для выражения значений. Что еще важнее, согласованность внутренней и внешней формы русского языка ярко раскрывается в категориальной мотивированности означающих и их связи с означаемыми в иерархической структуре языковых знаков [Зубкова 2010]. Категориальная мотивированность означающих может служить дополнительным немаловажным аргументом в пользу выделенной пражцами поэтической функции, которая направлена к самому знаку (точнее, к означающему).

Прочность связи внешней и внутренней формы языка, по В. Гумбольдту, ярче всего выражается не в одностороннем господстве рассудка, а в расцвете жизни чувства и фантазии [Гумбольдт 1984: 107]. В русском языке этому благоприятствуют развитое словообразование, его ступенчатый характер, резкое преобладание мотивированных (и полимотивированных) знаков с живой внутренней формой над немотивированными. «Для русского сознания внутренняя форма важна, на ней крепится символ, ею определяются содержательные формы — она структурирует духовность» [Колесов 2004: 76]. Явно обнаруживающаяся символическая природа языкового знака облегчает процессы самовыражения и взаимопонимания разнообразнейших индивидуальностей.

Если к языкам как целостным образованиям приложимы положения Е. Куриловича о том, что «существуют комплексы, которые представляют собой форму неполную, редуцированную по отношению к другим структурам этого же класса» [Курилович 2000: 26]¹, и что «сокращенные структуры основаны на полных» [Там же: 19], то описание Языка вообще должно основываться на полных структурах, каковыми следует признать «формальные» языки флективного строя с последовательной грамматической категоризацией и завершенным иерархическим членением. И тогда понятно, почему современные представления о внутреннем строе языка в основном выработаны теми славянскими учеными, которые, будучи носителями флективных языков, прежде всего русского, были воспитаны в отечественной лингвистической традиции.

В трудах А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского, Ф. Ф. Фортунатова, Л. В. Щербы, Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона, С. О. Карцевского, В. Скалички, Е. Куриловича, Г. П. Мельникова, в частности, были разработаны и развиты:

- теория языкового и внеязычного (мыслительного) содержания (А. А. Потебня)²;

¹ Близкая мысль прозвучала и у К. Бюлера [Бюлер 1960: 36].

² Подробно об истории изучения соотношения между языковым и мыслительным содержанием в отечественной грамматической традиции см. [Бондарко 2002: 13–95].

- теория последовательного двоякого членения языка–речи на произносимые и «знаменательные» (значащие) единицы (И. А. Бодуэн де Куртенэ), позволившая главе Казанской школы задолго до Л. Ельмслева и Э. Бенвениста фактически выявить уровни структуризации языкового целого и иерархические отношения между единицами разных уровней, а также связь обоих членений, в частности вследствие морфологизации и семасиологизации фонетических явлений (по И. А. Бодуэну де Куртенэ), вплоть до глубокого структурного параллелизма, изоморфизма между звуковым и семантическим планами, между выражением и содержанием (Е. Курилович);
- теория фонемы и фонемных признаков, ее альтернатив и функций, в том числе в выражении разных типов языковых значений — лексических в случае семасиологизации и грамматических в случае морфологизации (И. А. Бодуэн де Куртенэ, позднее Л. В. Щерба, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, а также московские и ленинградские фонологи);
- теория морфемы — как минимальной значащей единицы — и ее альтернатив (И. А. Бодуэн де Куртенэ);
- теория морфонологии, в первую очередь теория комбинаторных звуковых изменений морфем и теория звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию (Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. С. Трубецкой);
- учение о грамматической форме слова, разграничившее формы словоизменения и формы словообразования, словоизменительные и словообразовательные морфемы (Ф. Ф. Фортунатов);
- учение о воспроизводимых (селекционных) и производимых (коллекционных) формах (вслед за Г. Паулем Н. В. Крушевский, Г. П. Мельников);
- учение о типах отношений между единицами одного ранга (Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де Куртенэ) и логической классификации оппозиций (Н. С. Трубецкой);
- учение о неравноправности противопоставленных друг другу языковых единиц, в том числе чередующихся друг с другом, об иерархии членов противопоставлений, иерархии позиций (И. А. Бодуэн де Куртенэ), иерархии признаков (Р. О. Якобсон), иерархии функций (Е. Курилович), вылившееся в учение о маркированности — немаркированности противопоставленных единиц (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон);
- учение об относительном характере языковых тождеств и различий, определяющемся «мерой, данную самим языком»: местом и связями формы в составе целого, в схеме (парадигме) форм, в том числе наличием / отсутствием противопоставлений данной формы другим (А. А. Потебня);
- учение о неопределенности языковых единиц (Н. В. Крушевский; возможно, не без влияния В. Гумбольдта), их вариативности и многовидности (И. А. Бодуэн де Куртенэ), подготовившее внедрение в лингвистику общих принципов теории инвариантности — вариантности, которыми, впрочем, оперировал уже И. А. Бодуэн де Куртенэ, различавший, в частности, фонему как фонетический

тип, отвлеченность, результат обобщения, очищенный «от положительно данных свойств действительного появления или существования», с одной стороны, и «вариации», «варианты», «модификации», «виды», «разновидности», «видоизменения», «разветвления», «расщепления» фонемы, возникающие в результате приспособления «к условиям сочетания фонем, к условиям фонетического построения слова и к условиям произношения вообще», — с другой;

- теория асимметричного дуализма языковых знаков (А. А. Потебня, С. О. Карцевский, Р. О. Якобсон, В. Скаличка), который пронизывает не только лексику, но во флективных языках и грамматику, обнаруживаясь в скольжении знаков по осям синонимии и омонимии, в явлениях кумуляции, омосемии и симульфиксации, в возможном значимом отсутствии «внешних знаков формы» (по А. А. Потебне), «положительных формальных принадлежностей» (по Ф. Ф. Фортунатову), т. е. в наличии «нулевых морфем» (по И. А. Бодуэну де Куртенэ), а также в открытом А. М. Пешковским принципе замены (компенсации) одних средств другими при передаче грамматических значений;

- учение о зависимости значения языковых единиц от их употребления (А. А. Потебня, Н. В. Крушевский), выражающейся в обратном отношении между объемом (сферой, частотой употребления) и содержанием (Н. В. Крушевский, Е. Курилович);

- учение о сосуществовании в каждом данном языковом состоянии разных хронологических наслоений (вслед за Я. Гриммом А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ);

- учение о действии в языке общих стремлений и черт, проникающих насквозь всю его систему, обуславливающих своеобразный строй и состав данного языка (вслед за Э. Б. де Кондильяком и В. фон Гумбольдтом И. А. Бодуэн де Куртенэ), или, иначе, учение о внутренней детерминанте языка (Г. П. Мельников).

За этими частными учениями вырисовывается некое гармоничное целое, характеризующее особый стиль научного (языковедного) мышления, который явно связан с собственно языковым мышлением исследователей, ибо за перечисленными языковыми свойствами стоит вполне определенный объект, а именно тип языков, отличающихся высокой степенью проявления таких существенных свойств языка, как членораздельность и грамматическая категоризация. Для большинства названных ученых это в первую очередь русский язык.

В самом деле, условием разграничения языкового и мыслительного содержания является развитая грамматическая категоризация, а значит, регулярное материальное различие лексического и грамматического, так как именно в формальных грамматических значениях языковое содержание явно предстает в качестве формы мыслительного содержания.

Чтобы выделить и противопоставить в языке разные членения и соответствующие сферы (планы), членение в обеих сферах должно быть достаточно глубоким и последовательным. В частности, соотносительные единицы двух членений — минимальная произносительная единица (слог) и минимальная значащая единица

(морфема) — не должны постоянно совпадать в своих границах. Двойное членение можно считать вполне сложившимся, а его иерархическую структуру завершённой лишь тогда, когда соотносительные элементы обоих членений обладают известной автономностью, что выражается, в частности, в несовпадении границ значащих единиц (морфных швов) со слогоразделом, в непараллельном (асимметричном) соотношении означаемых с означающими. То и другое имеет место в случае обязательного употребления грамматических форм, когда словоформа является воспроизводимой единицей, т. е. при флективном словоизменении с характерными для него явлениями асимметрии плана содержания и плана выражения.

Обязательное употребление грамматических форм, функциональное и материальное различие знаменательных и служебных морфем (особенно четкое в случае чистой формальности служебных морфем) если не исключают, то резко ограничивают материальную эквивалентность слова и морфемы, закрепляя их противоположение в иерархии значащих единиц.

Сама необходимость в обобщающем понятии морфемы возникает, во-первых, тогда, когда в языке проводится разграничение разных типов морфем, различающихся своими функционально-семантическими, позиционно-комбинаторными и формальными свойствами, т. е. выделяются знаменательные корни и аффиксы, а среди последних — словообразовательные и словоизменяющие форманты, и, во-вторых, тогда, когда указанные единицы, попадая в разные позиционно-комбинаторные условия обнаруживают выраженную вариативность под влиянием фонетических, морфологических и иных факторов и соответственно появляется потребность в разграничении инвариантных сущностей и их отдельных вариантов, особенно если эти варианты получают определенную нагрузку в выражении тех или иных языковых значений. Так как указанная функциональная нагрузка связывается в первую очередь с элементами, отличающими один вариант морфемы от других, это способствует вычленению не только фонемы как подвижного компонента морфемы, но и фонемных признаков как показателей определенных морфологических категорий. Таким образом, иерархическое членение языкового целого приобретает завершённый вид. При развитой грамматической категоризации и четком формальном разграничении лексического и грамматического вычленению фонемы благоприятствуют те случаи, когда фонема выступает «единоличным» экспонентом значащей единицы — служебного слова или морфемы (также по преимуществу служебной).

По свидетельству самого основоположника теории фонемы И. А. Бодуэна де Куртенэ, исходной точкой для развития мыслей о том, как следует рассматривать отношения звуков, послужили его лекции, в особенности по русской грамматике и по латинской фонетике. В них он выдвинул на первый план звуковые чередования и соответствия разных хронологических слоев, сосуществующих в данном состоянии языка, причем основное внимание было сосредоточено на «замене одного звука другим не как звука, но как фонетического компонента морфологической части слова» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 125], т. е. на тех чередованиях, при которых «оттенки и различия антропофонические сопровождаются оттенками

и различиями морфологическими» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 119] и которые были названы морфологически подвижными коррелятивами.

Однако такие чередования не универсальны. Для языков «с неподвижными, неделимыми односложными словами, вроде китайского», Бодуэн допускает отсутствие чередований этимологически идентичных звуков (типа *g//ж* в *могу, можешь...*) [Там же, I: 163]. Отсутствуют психофонетические, морфологически утилизированные альтернации одних и тех же морфем и в агглютинативных языках [Там же, II: 184]. Поэтому-то, противопоставляя звук (как элемент антропофонического деления речи) фонеме (как подвижному компоненту морфемы и признаку известной морфологической категории) в первоначальном варианте двоякого членения человеческой речи, Бодуэн считает последнее актуальным «по крайней мере в применении к языкам ариоевропейским» [Там же, I: 121].

В последовавших уточнениях двоякого членения Бодуэн подчеркивает, что деление морфем на составные части, также наделенные значением, т. е. фонемы и их признаки, морфологизованные и семантизированные, возможно «по крайней мере в некоторых языках, и то только до некоторой степени и в определенных случаях» [Там же, I: 183]. К числу тех современных индоевропейских языков флективно-фузионного синтетического строя, где морфологизация фонем и их признаков достаточно распространена и регулярна, принадлежат едва ли не в первую очередь русский и польский, послужившие И. А. Бодуэну де Куртенэ и Н. В. Крушевскому основным объектом исследования различных типов альтернатив.

В «грамматических» языках типа русского морфологизация отчетливо выявляет функциональную неравноправность чередующихся фонем, маркированность одних альтернантов и немаркированность других, а так как морфологизованные чередования не объяснимы фонологическими закономерностями данного синхронического состояния языка, ибо являются продуктом предшествующего развития, то в этих чередованиях, в морфонологической вариативности морфем обнаруживается хронологическая неоднородность синхронического состояния, его диалектическая связь с предшествующими состояниями, а следовательно, и единство синхронии и диахронии.

При описании таких языков одновременно с вычленением фонологии осознается потребность в морфонологии как особой дисциплине, изучающей морфологическое использование фонологических средств. В полном объеме она должна включать теорию фонологической структуры морфем, теорию комбинаторных звуковых изменений морфем в морфемных сочетаниях, теорию звуковых чередований, выполняющих морфологическую функцию [Трубецкой 1967]. Необходимость в морфонологии особенно актуальна для тех языков с развитой фузионной тенденцией, в которых морфонологические преобразования осуществляются наиболее дифференцированно, по-разному реализуясь в словоизменении и словообразовании и у разных классов слов. Таков, в частности, русский язык [Трубецкой 1987: 67–142].

Явно выраженная уже в морфонологических преобразованиях хронологическая многослойность статики и последовательная грамматическая категоризация

предопределяют богатство используемых данным языком формальных средств. Распределение этих средств в разных частях речи, в непроизводных и производных словах разных ступеней мотивированности подчинено определенным закономерностям, выявляющим действие разных морфологических принципов, взаимодополнительное сосуществование разных грамматических тенденций, а следовательно, типологическую неоднородность классов слов и языка в целом.

Несмотря на это, язык оказывается гармоническим целым благодаря детерминантным признакам общей значимости, проникающим весь его строй и обуславливающим его своеобразие. По определению Г. П. Мельникова, внутренней детерминантой русского языка как языка флективного типа является событийный коммуникативный ракурс.

Разумеется, строй русского языка не исчерпывается указанными выше характеристиками, их список нетрудно продолжить. Но даже названные здесь характеристики в их взаимосвязи обнаруживают целостность русского языкового сознания, воздействовавшего на стиль языковедного мышления тех выдающихся ученых, которые разработали основы современных представлений о внутреннем строе языка.

Итак, *что касается лингвистики, то очевидно: научный стиль мышления потенциально заложен в языковом сознании, первичном по отношению к теоретическому мышлению*. Русский пример в этом аспекте представляется достаточно убедительным. Чтобы окончательно убедиться в том, насколько «...для нас естественна привычка связывать наши идеи сообразно духу языка, в котором мы воспитаны» [Кондильяк 1980: 252], и чтобы глубже понять воздействие типологии языкового мышления на языковедное мышление, необходимо сопоставить эволюцию общей теории языка в сложившихся лингвистических традициях в зависимости от лежащих в их основе конкретных языков — немецкого, французского, английского, русского, арабского, китайского и др.

ЛИТЕРАТУРА

Источники

- Активный словарь 2014 — *Апресян Ю. Д.* (отв. ред.). Активный словарь современного русского языка. Первый выпуск. Т. 1, 2. М.: Языки славянской культуры, 2014.
- Арно, Лансло 1990 — *Арно А., Лансло Кл.* Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1990.
- Арно и Николь 1991 — *Арно А. и Николь П.* Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991.
- Аристотель.* Метафизика // *Аристотель.* Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1975.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Блумфилд 1960 — *Блумфилд Л.* Ряд постулатов для науки о языке // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Блумфилд 1968 — *Блумфилд Л.* Язык. М.: Прогресс, 1968.
- Бодуэн де Куртенэ И. А.* Введение в языковедение. 5-е изд. Пг., 1917 (литография).
- Бодуэн де Куртенэ 1963 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I–II. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Брёндаль 1960 — *Брёндаль В.* Структуральная лингвистика // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз, 1959.
- Бэкон Ф. 1972 — *Бэкон Ф.* Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1972.
- Бюлер 1960 — *Бюлер К.* Структурная модель языка // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Бюлер 1993 — *Бюлер К.* Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс, 1993.
- Вахек 1964 — *Вахек Й.* Лингвистический словарь Пражской школы. М.: Прогресс, 1964.
- Вико 1994 — *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев: REFL-book-ИСА, 1994.
- Вундт 1964 — *Вундт В.* Проблема психологии народов // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Гийом 1992 — *Гийом Г.* Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс, 1992.
- Гегель Г. В. Ф.* Сочинения. Т. VIII. М.; Л., 1935.
- Гердер 1959 — *Гердер И. Г.* Избранные сочинения. М.; Л.: Гослитиздат, 1959.
- Гердер 1977 — *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.

- Гоббс 1964, 1965 — *Гоббс Т.* Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1964; Т. 2. М.: Мысль, 1965.
- Гримм 1964а — *Гримм Я.* Из предисловия к «Немецкой грамматике» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Гримм 1964б — *Гримм Я.* О происхождении языка // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Гумбольдт 1984 — *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
- Гумбольдт 1985 — *Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.
- Дельбрюк 1964 — *Дельбрюк Б.* Введение в изучение индоевропейских языков // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Ельмслев 1960а — *Ельмслев Л.* Метод структурного анализа в лингвистике // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Ельмслев 1960б — *Ельмслев Л.* Понятие управления // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Ельмслев 1960в — *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Ельмслев 1960г — *Ельмслев Л.* Язык и речь // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Карцевский 1965 — *Карцевский С. И.* Об асимметричном дуализме лингвистического знака // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Просвещение, 1965.
- Кондильяк 1980, 1982, 1983 — *Кондильяк Э. Б. де.* Сочинения: В 3-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1980; Т. 2. М.: Мысль, 1982; Т. 3. М.: Мысль, 1983.
- Кондильяк 2001 — *Кондильяк Э. Б. де.* Грамматика // Французские общие, или философские, грамматики XVIII — начала XIX века. Старинные тексты. М.: Прогресс, 2001.
- Кошелев 1996 — *Кошелев А. Д.* Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 82–194 (<http://akoshelev.net/?part=11&m=32>).
- Кошелев 2006 — *Кошелев А. Д.* О схеме лексического значения предметного существительного и ее функционировании в акте коммуникации // Вереница литер: Сб. ст. к 60-летию В. М. Живова. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 516–570 (<http://akoshelev.net/?part=11&m=32>).
- Кошелев 2012 — *Кошелев А. Д.* Значение слова как генеративный комплекс: когнитивное значение (связанная со словом структура концептов) → языковое значение (набор узусных смыслов) // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: Сб. статей в честь 80-летия И. А. Мельчука. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 301–329 (http://www.ruslang.ru/doc/melchuk_festschrift2012/Koshelev.pdf).
- Кошелев 2013а — *Кошелев А. Д.* Когнитивистика перед выбором: дальнейшее углубление противоречий или построение единой междисциплинарной парадигмы // *Фитч У. Т.* Эволюция языка. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 680–767 (<http://akoshelev.net/?part=11&m=32>).
- Кошелев 2013б — *Кошелев А. Д.* Современная теоретическая лингвистика как Вавилонская башня // Известия РАН. Сер. языка и литературы. 2013. Т. 72. № 6. С. 3–22 (<http://akoshelev.net/?part=11&m=32>).

- Кошелев 2014а — *Кошелев А. Д.* Кризис когнитивной науки и его объяснения с позиций общей теории развития // Дифференционно-интеграционная теория развития. Кн. 2. М.: ЯСК : Знак, 2014.
- Кошелев 2014б — *Кошелев А. Д.* О семантической категории слова, ее структуре и механизмах образования // Мультимодальная коммуникация: теоретические и эмпирические исследования. Сборник статей / Под ред. О. В. Федоровой и А. А. Кибрика. М.: Буки-веди, 2014. С. 136–165 (<http://akoshelev.net/?part=11&m=32>).
- Кошелев 2014в — *Кошелев А. Д.* Эволюция лингвистических парадигм в свете общей теории развития // Дифференционно-интеграционная теория развития. Кн. 2. М.: ЯСК : Знак, 2014.
- Кошелев 2015а — *Кошелев А. Д.* Когнитивный анализ общечеловеческих концептов. М., 2015 (<https://independent.academia.edu/AlexeyKoshelev>).
- Кошелев 2015б — *Кошелев А. Д.* На пороге эволюционно-синтетической теории языка // *Кибрик А. А., Кошелев А. Д., Кравченко А. В., Мазурова Ю. В., Федорова О. В.* (ред.). Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 287–349 (<https://independent.academia.edu/AlexeyKoshelev>).
- Кошелев 2015в — *Кошелев А. Д.* О референциальном подходе к лексической полисемии // *Кибрик А. А., Кошелев А. Д., Кравченко А. В., Мазурова Ю. В., Федорова О. В.* (ред.). Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 287–349 (<https://independent.academia.edu/AlexeyKoshelev>).
- Кошелев 2016 — *Кошелев А. Д.* О структурном и генетическом сходстве лексических и грамматических значений (когнитивный анализ глагольной переходности и залогов) // Известия РАН. Серия языка и литературы. 2016. Т. 75. № 3. С. 19–39.
- Кошелев, в печати — *Кошелев А. Д.* Очерк эволюционно-синтетической теории языка в контексте когнитивного и социального развития (рукопись).
- Крушевский 1998 — *Крушевский Н. В.* Избранные работы по языкознанию. М.: Наследие, 1998.
- Лейбниц 1983 — *Лейбниц Г. В.* Сочинения в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1983.
- Локк 1985 — *Локк Дж.* Сочинения: В 3-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1985.
- Марр 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 — *Марр Н. Я.* Избранные работы: В 5 т. Т. I. Л.: Изд-во АН СССР, 1933; Т. II. Л.: Изд-во АН СССР, 1936; Т. III. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1934; Т. IV. Л.: Изд-во АН СССР, 1937; Т. V. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935.
- Матезиус В.* О потенциальности языковых явлений // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Мельников Г. П.* Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма. М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1968.
- Мельников Г. П.* О типах дуализмов языкового знака // Филологические науки. 1971. № 5.
- Мельников 1977 — *Мельников Г. П.* Язык и речь с позиций системной лингвистики // Язык и речь. Тбилиси: Мецниереба, 1977.
- Мельников 1989 — *Мельников Г. П.* Принципы и методы системной типологии языков: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1989.
- Мельников 1990 — *Мельников Г. П.* Стенограммы защиты докторской диссертации «Принципы и методы системной типологии языков». М., апрель 1990 г. (машинопись).
- Мельников 2000 — *Мельников Г. П.* Системная типология языков: Синтез морфологической классификации языков со стадийной. М.: Изд-во РУДН, 2000.

- Мельников 1986 — *Мельников Г. П.* Системная лингвистика Гумбольдта — Срезневского — Потебни — Бодуэна и современная системная типология языков // Проблемы типологической, функциональной и описательной лингвистики. М.: Изд-во УДН, 1986.
- Мельников 1978 — *Мельников Г. П.* Системология и языковые аспекты кибернетики. М.: Сов. радио, 1978.
- Мельников 2003 — *Мельников Г. П.* Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М.: Наука, 2003.
- Моррис 1983 — *Моррис Ч. У.* Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Остгоф Г.* и *Бругман К.* Предисловие к книге «Морфологические исследования в области индоевропейских языков» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Пауль 1960 — *Пауль Г.* Принципы истории языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Пирс 1983 — *Пирс Ч. С.* Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Пирс 2000 — *Пирс Ч. С.* Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000.
- Платон 1990, 1993, 1994 — *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990; Т. 2. М.: Мысль, 1993; Т. 3, 4. М.: Мысль 1994.
- Потебня 1958, 1968, 1977 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.: Учпедгиз, 1958; Т. III. М.: Просвещение, 1968; Т. IV. Вып. II. М.: Просвещение, 1977.
- Потебня 1973 — *Потебня А. А.* Основы поэтики // Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Потебня 1976 — *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976.
- Потебня 1981 — *Потебня А. А.* История русского языка // Потебнянські читання. Київ: Наукова думка, 1981.
- Потебня 1985 — *Потебня А. А.* Синтаксис русского языка (Лекции) // Наукова спадщина О. О. Потебни і сучасна філологія. Київ: Наукова думка, 1985.
- Потебня 1989 — *Потебня А. А.* Психология поэтического и прозаического мышления // *Потебня А. А.* Слово и миф. М.: Правда, 1989.
- Потебня 1990 — *Потебня А. А.* Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990.
- ПЛИК 1967 — Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Радищев 1973 — *Радищев А. Н.* О человеке, о его смертности и бессмертии // Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Руссо Ж. Ж.* Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 1998.
- Руссо Ж. Ж.* Сочинения. Калининград: Янтарный сказ, 2001.
- Сепир 1993 — *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993.
- Скаличка 1960 — *Скаличка В.* Копенгагенский структурализм и «Пражская школа» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Скаличка В.* Асимметричный дуализм языковых единиц // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Скаличка В.* О грамматике венгерского языка // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.

- Соссюр 1977 — *Соссюр Ф. де*. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Соссюр 1990 — *Соссюр Ф. де*. Заметки по общей лингвистике. М.: Прогресс, 1990.
- Срезневский 1959 — *Срезневский И. И.* Мысли об истории русского языка. М.: Учпедгиз, 1959.
- Тезисы Пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
- Тейяр де Шарден 2002 — *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: Изд-во АСТ, 2002.
- Томаселло 2011 — *Томаселло М.* Истоки человеческого общения. М., 2011.
- Трнка и др. 1960 — *Трнка Б. и др.* К дискуссии по вопросам структурализма // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Трубецкой Н. С.* Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М.: Прогресс, 1987.
- Уорф 1960а — *Уорф Б. Л.* Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Уорф 1960б — *Уорф Б. Л.* Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Уорф 1960в — *Уорф Б. Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Фортунатов 1956 — *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. М.: Учпедгиз, 1956.
- Хомский 1965 — *Хомский Н.* Логические основы лингвистической теории // Новое в лингвистике. Вып. IV. М.: Прогресс, 1965.
- Хомский 1972 — *Хомский Н.* Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Хомский 2005 — *Хомский Н.* О природе и языке. М.: КомКнига, 2005.
- Хэррис 1960 — *Хэррис З.* Метод в структуральной лингвистике (раздел «Методологические предпосылки») // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М.: Учпедгиз, 1960.
- Чернышевский 1973 — *Чернышевский Н. Г.* Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории [О классификации людей по языку] // Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Шлейхер 1864 — *Шлейхер А.* Теория Дарвина в применении к науке о языке. СПб., 1864.
- Шлейхер 1868 — *Шлейхер А.* О значении языка для естественной истории человека // Филологические записки. 1868. Т. V. Вып. 3.
- Шлейхер 1964а — *Шлейхер А.* Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Шлейхер 1964б — *Шлейхер А.* Немецкий язык // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Штейнталь 1964 — *Штейнталь Г.* Грамматика, логика и психология (их принципы и их взаимоотношения) // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964.
- Штейнталь Г., Лацарус М.* Мысли о народной психологии. Воронеж, 1865.

- Эдельштейн 1985 — *Эдельштейн Ю. М.* Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- Якобсон Р. О.* Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике. Вып. III. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.
- Якобсон Р.* Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами // Новое в лингвистике. Вып. IV. М.: Прогресс, 1965.
- Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975.
- Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Якобсон Р. О.* Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.
- Якобсон Р. О.* Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996.
- Harris Z. S.* Methods in Structural Linguistics. Chicago, 1951.
- Jakobson R.* К характеристике евразийского языкового союза // *Jakobson R.* Selected writings. Vol. 2. P., 1971.
- Jakobson R. and Waugh L.* The sound shape of language. Brighton: Harvester Press, 1979.
- Longman 2009 — Longman dictionary of contemporary English. Italy, 2009.
- Schleicher, 1848, 1850 — *Schleicher A.* Sprachvergleichende Untersuchungen. I. Zur vergleichenden Sprachgeschichte. Bonn, 1848; II. Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht. Bonn, 1850.
- Schleicher 1869 — *Schleicher A.* Die deutsche Sprache. Stuttgart, 1869.
- Trubetzkoy N.* Das Morphonologische System der Russischen Sprache // TCLP. 52. 1934.
- Vachek J.* Selected writings in English and general linguistics. Prague, 1976.

Труды по истории философии и языкознания; АНТОЛОГИИ, ХРЕСТОМАТИИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ

- Аверинцев 1989а — *Аверинцев С. С.* Логос // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Аверинцев 1989б — *Аверинцев С. С.* Символ // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Аверинцев С. С.* Схоластика // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Алпатов В. М.* История лингвистических учений. М.: Языки русской культуры, 1998.
- Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В.* Очерки по истории лингвистики. М.: Наука, 1975.
- Андреев Н. Д.* Хомский и хомскианство // Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977.
- Античные теории... 1996 — Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб.: Алетей, 1996.
- АМФ 1970 — Антология мировой философии: В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1970.
- АМФ 1971 — Антология мировой философии: В 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1971.
- Аптекарь 1934 — *Аптекарь В. Б.* Марр и новое учение о языке. М., 1934.
- Арутюнова Н. Д.* Логическое направление // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Асмус В. Ф.* Метафизика Аристотеля // *Аристотель.* Сочинения в четырех томах. Т. 1. М.: Мысль, 1975.

- Базылев, Нерознак 2001 — *Базылев В. Н., Нерознак В. П.* Традиция, мерцающая в толще истории // Сумерки лингвистики. Антология. М.: Academia, 2001.
- Бахтин М. М.* Тетралогия. Ч. 3. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 1998.
- Беллетти, Рицци 2005 — *Беллетти А., Рицци Л.* Введение редакторов-составителей: некоторые понятия и темы в лингвистической теории // *Хомский Н.* О природе и языке. М.: КомКнига, 2005.
- Белый 1977 — *Белый В. В.* Американская дескриптивная лингвистика // Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977.
- Березин Ф. М.* Русское языкознание конца XIX — начала XX в. М.: Наука, 1976.
- Березин Ф. М.* История русского языкознания. М.: Высшая школа, 1979.
- Березин Ф. М.* История лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1984.
- Богомолов 1985 — *Богомолов А. С.* Античная философия. М.: Изд-во МГУ, 1985.
- Богуславский В. М.* Этьенн Бонно де Кондильяк. М.: Мысль, 1984.
- Бокадорова 1987 — *Бокадорова Н. Ю.* Французская лингвистическая традиция XVIII — начала XIX века. Структура знания о языке. М.: Наука, 1987.
- Борисенко 1985 — *Борисенко В. В.* Филологический метод античной философии с позиций современной лингвистики (Оппозиция *logos* — *phōnē*) // Античная культура и современная наука. М.: Наука, 1985.
- Вельмезова 2006 — *Вельмезова Е. В.* Хроникальная заметка о международной конференции «Потерянная парадигма: марристская лингвистика в СССР» // Вопросы языкознания. 2006. № 1.
- Виноградов В. В.* И. А. Бодуэн де Куртенэ // *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Виноградов В. В.* История русских лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1978.
- Гайм Р.* Вильгельм фон Гумбольдт: Описание его жизни и характеристика. М.: Типо-литография В. Рихтер, 1898.
- Гамкрелидзе 1988 — *Гамкрелидзе Т. В.* Р. О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания. 1988. № 3.
- Гамкрелидзе 2005 — *Гамкрелидзе Т. В.* Об одной лингвистической парадигме // Вопросы языкознания 2005. № 2.
- Гиренок 2015 — *Гиренок Ф.* Кризис субъекта // Литературная газета. 2015. № 34.
- Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.
- Грамматические концепции... 1985 — Грамматические концепции в языкознании XIX в. Л.: Наука, 1985.
- Грошева 1985 — *Грошева А. В.* Грамматические учения западноевропейского средневековья // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- Гулыга А. В.* Гердер. М.: Мысль, 1963.
- Гулыга 1986 — *Гулыга А. В.* Немецкая классическая философия. М.: Мысль, 1986.
- Де Мауро 1999 — *Де Мауро Т.* Примечания // *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999.
- Десницкая 1984а — *Десницкая А. В.* Лингвистические взгляды братьев Шлегель и их роль в формировании исторического языкознания // Понимание историзма и развития языкознания первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.

- Десницкая 1984б — *Десницкая А. В.* Понятия языкового развития и языковой истории в лингвистической концепции Августа Шлейхера // Понимание историзма и развития языкознания первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.
- Десницкая 1984в — *Десницкая А. В.* Франц Бопп — основоположник сравнительно-исторического изучения языковых структур // Понимание историзма и развития языкознания первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.
- Жирмунский 1976 — *Жирмунский В. М.* Общее и германское языкознание. Избранные труды. Л.: Наука, 1976.
- Звегинцев 1964, 1965 — *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М.: Просвещение, 1964; Ч. II. М.: Просвещение, 1965.
- Зеньковский 1991 — *Зеньковский В. В.* История русской философии. Т. I. Ч. 1–2. Л.: Эго, 1991.
- Зубкова Л. Г.* Лингвистические учения конца XVIII — начала XX в.: Развитие общей теории языка в системных концепциях. М.: Изд-во УДН, 1989.
- Зубкова 1992 — *Зубкова Л. Г.* Из истории языкознания: Общая теория языка в аспектирующих концепциях. М.: Изд-во РУДН, 1992.
- Зубкова Л. Г.* Язык в зеркале знаковых теорий: к определению детерминанты лингвистической концепции Ф. де Соссюра // Вестник РУДН. Сер. «Лингвистика». 1995. № 2.
- Зубкова Л. Г.* Знаковая теория языка А. А. Потебни: семантика, прагматика, синтактика // Мовознавство. Третий Міжнародний конгрес українців. Харків: Око, 1996.
- Зубкова Л. Г.* К истокам когнитивной парадигмы в отечественной науке: А. А. Потебня // Когнитивная лингвистика конца XX века. Материалы Междунар. науч. конф. В трех частях. Ч. I. Мн.: МГЛУ, 1997а.
- Зубкова Л. Г.* Язык и образ мира в общей теории языка: эволюция представлений // Языковая семантика и образ мира. Тезисы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию университета. Кн. 1. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997б.
- Зубкова Л. Г.* Язык в зеркале системных знаковых теорий: от Платона и В. фон Гумбольдта к А. А. Потебне // Вестник РУДН. Сер. «Лингвистика». 1999. № 3.
- Зубкова 1999/2003 — *Зубкова Л. Г.* Язык как форма. Теория и история языкознания. М.: Изд-во РУДН, 1999/2003.
- Зубкова Л. Г.* Эволюция представлений о ментальной основе языковых сходств и различий: от противопоставления рационального и чувственного к единству // Sprache. Kultur. Mensch. Ethnie. Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2002.
- Зубкова 2002/2003 — *Зубкова Л. Г.* Общая теория языка в развитии. М.: Изд-во РУДН, 2002/2003.
- Зубкова 2003а — *Зубкова Л. Г.* О главном лингвистическом труде Г. П. Мельникова // *Мельников Г. П.* Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М.: Наука, 2003.
- Зубкова Л. Г.* Эволюция философско-лингвистических представлений о природе межъязыковых сходств и различий (с античности до конца XVIII в.) // Универсально-типологическое и национально-специфическое в языке и культуре: В 3-х ч. Ч. 1. М.: Изд-во РУДН, 2003б.
- Зубкова Л. Г.* Языковое и лингвистическое мышление (к характеристике вклада русской традиции в теорию языка) // Антропотекст-1: Сб. научных статей, посвященных 60-летию профессора Николая Даниловича Голева. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2006. С. 154–174.

- Зубкова Л. Г. От обыденного метаязыкового сознания к науке о языке в свете развивающегося самосознания // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 1: коллективная монография / Отв. ред. Н. Д. Голев. Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2009. С. 88–120.
- Зубкова 2015 — Зубкова Л. Г. Эволюция представлений о Языке. М.: Языки славянской культуры, 2015.
- История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- История лингвистических учений. Позднее Средневековье. СПб.: Наука, 1991.
- Йордан Й. Романское языкознание. М.: Прогресс, 1971.
- Кассирер 2002 — Кассирер Э. Философия символических форм. Т. I. Язык; Т. II. Мифологическое мышление; Т. III. Феноменология познания. М.; СПб.: Университетская книга, 2002.
- Кацнельсон 1960 — Кацнельсон С. Д. Вступительная статья // Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Климов 1981 — Климов Г. А. Типологические исследования в ССР (20–20-е годы). М., Наука, 1981.
- Колесов 2003 — Колесов В. В. История русского языкознания: Очерки и этюды. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003.
- Кубрякова Е. С. Смена парадигм знания в лингвистике XX века // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. I. М.: Изд-во МГУ, 1995.
- Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. М.: РГГУ, 1995б.
- Кузьменко 1984 — Кузьменко Ю. К. Лингвистическая концепция Расмуса Раска // Понимание историзма и развития языкознания первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.
- Лебедев 1989а — Лебедев А. В. Горгий // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Лебедев 1989б — Лебедев А. В. Парменид // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Лебедев А. В. Протагор // Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989в.
- Леонтьев 1959 — Леонтьев А. А. Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртэнэ // Вопросы языкознания. 1959. № 6.
- Лосев 1978 — Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978.
- Лосев 1982а — Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982.
- Лосев 1982б — Лосев А. Ф. Учение о словесной предметности (лектон) в языкознании античных стоиков // Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982.
- Лосев 1988а — Лосев А. Ф. Античная философия и общественно-исторические формации. Два очерка // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988.
- Лосев 1988б — Лосев А. Ф. Типы античного мышления // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988.
- Лосев 1989 — Лосев А. Ф. Об интеллигентности // Сов. Культура. 1989. 1 января.
- Лосев 1990а — Лосев А. Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. I. М.: Мысль, 1990.

- Лосев 1990б — *Лосев А. Ф.* Статьи к диалогам Платона в примечаниях // *Платон. Собрание сочинений* в 4-х т. Т. I. М.: Мысль, 1990.
- Лосев 1992 — *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х кн. Кн. 1. М.: Искусство, 1992.
- Лосев 1993 — *Лосев А. Ф.* Вводные замечания и статьи в примечаниях // *Платон. Собрание сочинений*: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
- Лосев 1994а — *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х кн. Кн. 2. М.: Искусство, 1994.
- Лосев 1994б — *Лосев А. Ф.* Статьи к диалогам Платона в примечаниях // *Платон. Собрание сочинений*: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1994.
- Лосев 1994в — *Лосев А. Ф.* Статьи к диалогам Платона в примечаниях // *Платон. Собрание сочинений*: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1994.
- Лосев, Тахо-Годи 1993 — *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993.
- Лоя Я. В. История лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1968.
- Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Малявина Л. А. У истоков языкознания Нового времени (Универсальная грамматика Ф. Санчеса «Минерва» 1587 г.). М.: Наука, 1985.
- Мечковская 2004 — *Мечковская Н. Б.* Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М.: Академия, 2004.
- Мифы народов мира 1997 — Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. М.: Большая Российская энциклопедия, 1997.
- Наукова спадщина. О. О. Потєбні і сучасна філологія. Київ: Наукова думка, 1985.
- Ольховиков 1985 — *Ольховиков Б. А.* Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания. М.: Наука, 1985.
- Основные направления структурализма. М.: Наука, 1964.
- Перельмутер 1980а — *Перельмутер И. А.* Аристотель // История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- Перельмутер 1980б — *Перельмутер И. А.* Философские школы эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980.
- Перельмутер 1991 — *Перельмутер И. А.* Грамматическое учение модистов // История лингвистических учений. Позднее Средневековье. СПб.: Наука, 1991.
- Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.
- Постовалова В. И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. М.: Наука, 1982.
- Потєбнянські читання. Київ: Наукова думка, 1981.
- Психолінгвістика в очерках і извлечениях / Авт.-сост. В. К. Радзиховская, А. П. Кирьянов, Т. А. Пекишева и др.; под общ. ред. В. К. Радзиховской. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
- Рамишвили Г. В. Вильгельм фон Гумбольдт — основоположник теоретического языкознания // *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
- Реферовская 1985 — *Реферовская Е. А.* «Спор» реалистов и номиналистов // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л.: Наука, 1985.
- Реферовская 1996 — *Реферовская Е. А.* Философия языка и грамматические теории во Франции (из истории лингвистики). СПб.: Петербург — XXI век, 1996.

- Реферовская Е. А.* Философия лингвистики Гюстава Гийома. СПб.: Академический проект, 1997.
- Реформатский 1967 — *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967.
- Русский язык. Энциклопедия. М.: Вольная российская энциклопедия, 1997.
- Скрелина 1992 — *Скрелина Л. М.* Послесловие. Комментарии // *Гийом Г.* Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс, 1992.
- Слюсарева 1975 — *Слюсарева Н. А.* Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М.: Наука, 1975.
- Смирницкая 1984 — *Смирницкая С. В.* Якоб Гримм — историк языка // Понимание историзма и развития языкознания первой половины XIX века. Л.: Наука, 1984.
- СЭС 1981 — Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1981.
- Степанов 1974 — *Степанов Ю. С.* Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований. Вступительная статья // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Степанов Ю. С.* Пор-Рояль в европейской культуре // *Арно А., Лансло Кл.* Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М.: Прогресс, 1990.
- Субботин А. Л.* «Логика Пор-Рояля» и ее место в истории логики // *Арно А. и Николь П.* Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991.
- Сумерки лингвистики 2001 — Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология. М.: Academia, 2001.
- Тахо-Годи А. А.* Примечания к диалогу «Менон» // *Платон.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990.
- Тахо-Годи А. А.* Примечания к диалогу «Софист» // *Платон.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
- Томсен В.* История языковедения до конца XIX в. М.: Учпедгиз, 1938.
- Троцкий 1996 — *Троцкий И. М.* Проблемы языка в античной науке // Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб.: Алетейя, 1996.
- Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977.
- Французские общие, или философские, грамматики XVIII — начала XIX века. Старинные тексты / Сост. Н. Ю. Бокадорова. М.: Прогресс, 2001.
- Фриз 1965 — *Фриз Ч.* «Школа Блумфилда» // Новое в лингвистике. Вып. IV. М.: Прогресс, 1965.
- Фейнман 1968 — *Фейнман Р.* Характер физических законов. М.: МИР, 1968.
- ФЭС 1989 — Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Холодович А. А.* Ф. де Соссюр. Жизнь и труды // *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977а.
- Холодович 1977б — Холодович А. А.* О «Курсе общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра // *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф. М. Березин. М.: Высшая школа, 1973.
- Хэмп 1964 — *Хэмп Э.* Словарь американской лингвистической терминологии. М.: Прогресс, 1964.
- Чикобава А. С.* Проблема языка как предмета языкознания. М.: Учпедгиз, 1959.
- Шарадзенидзе Т. С.* Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртенэ и ее место в языкознании XIX–XX вв. М.: Наука, 1980.

Ярошевский М. Г. Понятие внутренней формы слова у А. А. Потебни // Известия АН СССР: Сер. литературы и языка. Т. 5. Вып. 5. 1946.

Ярошевский М. Г. Философско-психологические воззрения А. А. Потебни // Известия АН СССР: Сер. истории и философии. Т. III. № 2. 1946.

Aarsleff 1982 — *Aarsleff H.* From Locke to Saussure: Essays on the study of language and intellectual history. London: Athlone, 1982.

Arens 1974 — *Arens H.* Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. Bd 1. Von der Antike bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Bd 2. Das 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag, 1974.

ТРУДЫ ПО РАССМАТРИВАЕМЫМ ПРОБЛЕМАМ ТЕОРИИ ЯЗЫКА

Автономова Н. С. Рассудок — Разум — Рациональность. М.: Наука, 1988

Ажеж Кл. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М.: Едиториал УРСС, 2003.

Алпатов В. М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. 1993. № 3.

Аминова 1995 — *Аминова А. А.* Внутриглагольная деривация в русском и татарском языках (сопоставительный аспект): Дис. ... д-ра филол. наук в форме науч. докл. М., 1995.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М.: Едиториал УРСС, 2005.

Арутюнова и др. 1964 — *Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., Кубрякова Е. С.* Американский структурализм // Основные направления структурализма. М.: Наука, 1964.

Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. М.: Дрофа, 2000.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955.

Белый 1910 — *Белый А.* Символизм. М.: Мусагет, 1910.

Бернштейн 1990 — *Бернштейн Н. А.* Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990.

Блинова О. И. Мотивология и ее аспекты. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007.

Бондарко 1976 — *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л.: Наука, 1976.

Бондарко 2002 — *Бондарко А. В.* Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2002.

Вежбицкая 1999 — *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999.

Винарская Е. Н. Сознание человека (Взгляд с научного перекрестка). М.: Изд-во МГИУ, 2007.

Виноградов В. В. 1946 — *Виноградов В. В.* Из истории слова личность в русском языке до середины XIX в. // Доклады и сообщения филологического факультета. Вып. 1. М.: Изд-во МГУ, 1946.

Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Лабиринт, 1996.

Гак 1998 — *Гак В. Г.* Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998.

- Гипотеза в современной лингвистике. М.: Наука, 1980.
- Гумилев 2002 — *Гумилев Л. Н.* Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2002.
- Донских О. А.* Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск: Наука, 1984.
- Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. М.: Высшая школа, 1979.
- Зубкова Л. Г.* К характеристике морфемных стыков в индонезийском языке // Народы Азии и Африки. 1971. № 6.
- Зубкова Л. Г.* Фонетическая реализация консонантных противополжений в русском языке. М.: Изд-во УДН, 1974.
- Зубкова Л. Г.* Звуковая форма частей речи // Народы Азии и Африки. 1978а. № 1.
- Зубкова Л. Г.* Сегментная организация простого слова в языках различных типов: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1978б.
- Зубкова Л. Г.* Морфемно-слоговая корреляция в акцентной структуре имени и глагола в русском языке // Экспериментально-фонетический анализ речи. Проблемы и методы. Вып. I. .: Изд-во ЛГУ, 1984а.
- Зубкова Л. Г.* Системная мотивированность звуковой формы языка // Фонология и просодия слова. М.: Изд-во УДН, 1984б.
- Зубкова Л. Г.* Части речи в фонетическом и морфонологическом освещении. М.: Изд-во УДН, 1984в.
- Зубкова Л. Г.* О соотношении звучания и значения слова в системе языка (К проблеме «произвольности» языкового знака) // Вопросы языкознания. 1986. № 5.
- Зубкова Л. Г.* Единство внутреннего и внешнего в звуковой форме слова // Филологические науки. 1988а. № 5.
- Зубкова Л. Г.* Звуковая форма значащих единиц языка и структурные характеристики фонем (К вопросу об актуальных задачах фонологии) // Известия АН СССР. Сер. лит-ры и языка. Т. 47. 1988б. № 4.
- Зубкова Л. Г.* Соотношение звуковых единиц со значащими в типологическом аспекте (Ономасиологический и семасиологический подходы в фонологии) // Вопросы языкознания. 1988в. № 3.
- Зубкова* 1989 — *Зубкова Л. Г.* Акцентуация слова как единство внутренней и внешней формы // Межуровневые связи в системе языка. М.: Изд-во РУДН, 1989.
- Зубкова Л. Г.* Фонологическая типология слова. М.: Изд-во РУДН, 1990.
- Зубкова Л. Г.* Словесное ударение в характерологическом, конститутивном и парадигматическом аспектах // Вопросы языкознания. 1991а. № 3.
- Зубкова Л. Г.* Ступени словообразования как макропарадигмы, их взаимосвязь и специфика // Русская словообразовательная синтагматика и парадигматика. Краснодар: Кубанский ун-т, 1991б.
- Зубкова Л. Г.* Симметрия и асимметрия языковых знаков // Проблемы фонетики, I. М.: Прометей, 1993.
- Зубкова Л. Г.* Фонетика и семантика в семасиологическом и ономасиологическом аспектах: формы корреляции между фонетическими и семантическими различиями в зависимости от типа семантических отношений // Тезисы II Международного симпозиума МАПРЯЛ «Фонетика в системе языка». М.: Уникум-Центр, 1996.
- Зубкова Л. Г.* К типологии просодических средств различения значений слова в русском языке // *Vocabulum et Vocabularium*. Вып. 4. Харьков: Харьковское лексикографическое общество, 1997.

- Зубкова Л. Г.* Межуровневые связи и звуковая форма значащих единиц в квантитативной типологии // Свет памяти: Сб. научн. статей и библиографических материалов памяти П. С. Кузнецова. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003а.
- Зубкова Л. Г.* Соотношение морфемного и слогового членения слова и функциональная значимость слогаделения в языках различных типов // Грамматические категории и единицы. Владимир: ВГПУ, 2004.
- Зубкова* 2010 — *Зубкова Л. Г.* Принцип знака в системе языка. М.: Языки славянской культуры, 2010.
- Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г.* Двойное означивание и категориальная идентификация словесного знака в типологическом аспекте // Культура народов Причерноморья. Т. 1. 2008. № 142.
- Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г.* 2009 — *Зубкова Л. Г., Зубкова Н. Г.* Реальность принципа знака как отражение реальной целостности языковой системы // Культура народов Причерноморья. 2009. № 168. Т. 1.
- Караулов* 1987 — *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
- Касевич В. Б.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, 1988.
- Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972.
- Кацнельсон С. Д.* Лингвистическая типология // Вопросы языкознания. 1983. № 3, 4.
- Кацнельсон С. Д.* Общее и типологическое языкознание. Л.: Наука, 1986.
- Кацнельсон С. Д.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Климов Г. А.* Принципы контенсивной типологии. М.: Наука, 1983.
- Колесов* 2004 — *Колесов В. В.* Язык и ментальность. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004.
- Коротков Н. Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка. М.: Наука, 1968.
- Кубрякова Е. С.* Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Курилович Е.* Очерки по лингвистике. Биробиджан: Тривиум, 2000.
- Маслов Ю. С.* Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987.
- Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. I. Москва; Вена: Языки русской культуры, Венский славистический альманах, ИГ «Прогресс», 1997.
- Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. V. Москва; Вена: Языки славянских культур, Венский славистический альманах, 2006.
- Налимов В. В.* Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1974.
- Николаева Т. М.* Фразовая интонация славянских языков. М.: Наука, 1977.
- Новиков Л. А.* Семантика русского языка. М.: Высшая школа, 1982.
- Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. М.: Наука, 1970.
- Общее языкознание: Внутренняя структура языка. М.: Наука, 1972.
- Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз, 1956.
- Реформатский* 1987 — *Реформатский А. А.* Принципы синхронного описания языка // *Реформатский А. А.* Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1987.
- Рудяков А. Н.* Функция и функциональные качества естественного языка, или почему люди говорят // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть: Материалы конф. Ялта, 1–6 октября, 2001. Симферополь: Изд-во «Крым-Фарм-Трейддинг», 2001.

- Румянцев М. К.* Тон и интонация в современном китайском языке. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Румянцев М. К.* К проблеме слогафонемы // Вестник МГУ. Сер. Востоковедение. 1978. № 2.
- Русская грамматика 1980 — Русская грамматика: В 2-х т. Т. I. М.: Наука, 1980.
- Светозарова Н. Д.* Интонационная система русского языка. Л., Изд-во ЛГУ, 1982.
- Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Серебрянников 1983 — *Серебрянников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983.
- Скалозуб Л. Г.* Динамика звукообразования. Киев: Вища школа, 1979.
- Скорикова Т. П.* Акцентогенные свойства слова (на материале устной научной речи): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 1995.
- Солнцев В. М.* К вопросу о приложимости общеграмматических терминов к анализу китайского слова // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Солнцев 1971 — *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М.: Наука, 1971.
- Солнцев В. М.* Введение в теорию изолирующих языков. М.: Наука, 1995.
- Солнцева Н. В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М.: Наука, 1985.
- Соломоник А.* Язык как знаковая система. М.: Наука, 1992.
- Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. М.: Просвещение, 1975.
- Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М.: Наука, 1981.
- Степанов 1983 — *Степанов Ю. С.* В мире семиотики // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Степанов 1985 — *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка (Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). М.: Наука, 1985.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997.
- Тань Аошунан.* Проблемы скрытой грамматики: Синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Теньер Л.* Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988.
- Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М.: Наука, 1989.
- Уфимцева А. А.* Типы словесных знаков. М.: Наука, 1974.
- Уфимцева А. А.* Знак языковой // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1990.
- Флоренский 1990 — *Флоренский П. А.* Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990.
- Черемисина-Ениколопова Н. В.* Законы и правила русской интонации. М.: Флинта / Наука, 1999.
- Чертов Л. Ф.* Знаковость. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993.
- Шарадзенидзе Т. С.* Проблема взаимоотношения языка и речи // Язык и речь. Тбилиси: Мецниереба, 1977.
- Шпет Г. Г.* Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957.
- Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.

- Щерба Л. В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. Л.: Наука, 1983.
- Якушкин Б. В.* Гипотезы о происхождении языка. М.: Наука, 1984.
- Geach P. Th.* Reference and generality. Ithaca; N. Y., 1968.
- Milewski T.* Językoznawstwo. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1967.
- Milewski T.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1969.
- Pulgram E.* Syllable, word, nexus, cursus. The Hague; P., 1970.
- Zipf G. K.* The psycho-biology of language: an introduction to dynamic philology. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press, 1968.
- Zubkova L. G.* The typological determinant and sound structure of language // Typology: prototypes, item orderings and universals. Proceedings of LP'96. Acta Universitatis Carolinae 1996; Philologica. Prague: Charles University Press, 1997.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

А

- Абеляр П. 40, 88, 89
Августин 40, 55, 60, 62, 68, 71
Аверинцев С. С. 48, 60
Аделунг И. К. 176, 247
Алпатов В. М. 39
Аминова А. А. 586
Аммоний 58
Анаксагор 28, 47
Анаксимен 28
Аошуан Т. 544
Апресян Ю. Д. 547
Аптекарь Н. Д. 474
Аристотель 28, 40–43, 47, 49, 51, 58–60,
62, 64, 68, 94, 117, 328, 422, 423, 451,
516, 582, 591
Арно А. (*см. также* Пор-Рояль, авторы)
40, 43, 68, 69, 70–80
Арутюнова Н. Д. 588
Асколи Г. И. 304
Аурифабер И. 63

Б

- Базылев В. Н. 37
Беллетти А. 511
Белый А. 370, 587
Белый В. В. 483, 486
Бенвенист Э. 16, 28, 29, 31, 36, 49, 370,
435–451, 564, 566, 567, 579, 582,
594
Беркли Дж. 584
Бернштейн Н. А. 545
Блок Б. 483, 484, 486
Блумфилд Л. 26, 34, 35, 106, 409,
480–483, 485, 486, 501, 565
Богомолов А. С. 28, 47–50, 56
Бодуэн де Куртенэ И. А. 11, 15, 17–19,
26–29, 33, 36, 180, 262–326, 340,
400, 403, 404, 435, 446, 479, 482,
492, 511, 518, 521, 522, 524, 564,
568, 569, 571, 572, 575–577, 580,
581, 583, 590, 591, 593–597
Бокадорова Н. Ю. 43, 44, 80–83, 184,
187
Бондарко А. В. 592, 593
Бопп Фр. 181–183
Борисенко В. В. 48
Бозций Дакийский 62, 64, 65
Бреаль М. 276
Брёндаль В. 479, 482
Бругман К. 570
Бунин И. А. 587
Буслаев Ф. И. 236, 447, 448
Бэкон Р. 43

¹ Указатель имен составлен В. В. Столяровой.

Бэкон Ф. 28, 40, 44, 49, 83–86, 119, 565, 567, 572

Бюлер К. 17, 380–394, 593

Бюфье П.-К. 81

В

Вайи Н.-Фр. де 81

Василий Великий 60–62

Вахек Й. 480, 482, 486–488

Вежбицкая А. 560

Вельмезова Е. В. 39

Вико Дж. 43, 119, 120, 121, 236, 417, 586

Виноградов В. В. 591

Вундт В. 248, 250

Г

Гавранек Б. 480, 486, 487

Галилей Г. 86, 504

Гаман И. Г. 111

Гамкрелидзе Т. В. 38, 39

Гаррис Дж. 117, 132, 154

Гегель Г. В. Ф. 128, 183, 184, 246

Гельвещий 112

Гераклит 28, 46, 47

Гербарт И. Ф. 204, 262

Гердер И. Г. 29, 103, 111–123, 137, 171, 182, 184, 189, 234, 236–238, 397, 417, 424–426, 430, 432, 504, 565–568, 573, 575, 586

Гермоген 51

Герцен А. И. 587

Гийом Г. 16, 17, 26, 27, 29, 31, 36, 398, 423–435, 438, 504, 527, 564–567, 584

Гиренок Ф. 17

Гоббс Т. 40, 60, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 113, 145, 424, 504, 565–567

Гольбах П. А. 102

Гомер 45

Горгий 50, 51

Григорий Богослов 60

Григорий Нисский 40, 60–62

Гримм Я. 181, 182, 186, 236, 238, 248, 305, 595

Грошева А. В. 42, 43

Гуарте Х. 502, 503

Гулыга А. В. 128

Гумбольдт В. фон 14–17, 20, 22, 24–30, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 49, 111, 117, 121, 123–186, 189, 190, 200, 201, 204, 205, 210, 212, 215, 219, 234, 246, 247, 249, 250, 255, 262, 275, 277, 280, 282, 315, 336, 352, 354–359, 367, 368, 370–372, 384, 387, 396–398, 400, 425–428, 435, 441, 450, 451, 492, 504, 507, 514, 515, 518, 524, 527, 529, 530, 534, 563–570, 572, 573, 576, 577, 579, 580, 585–587, 590, 592, 593, 595

Гумилев Л. Н. 35

Д

Даль В. 547

Дарвин Ч. 181, 183, 262, 504

Де Мауро Т. 370

Декарт Р. 40, 68, 71, 83, 85, 86, 93, 97, 502–504, 509

Дельбрюк Б. 248

Демокрит 28, 40, 51, 53, 217, 371

Десницкая А. В. 182, 183, 185

Джекендофф Р. 538, 560

Джуз М. 588

Диоген Аполлонийский 47

Дионисий Фракиец 41

Диц Ф. К. 230

Е

Еврипид 45

Ельмслев Л. 15, 24, 26–28, 32, 34, 37,
282, 480, 491–499, 594

Ж

Жирмунский В. М. 37, 38, 117

Журинская М. А. 552

З

Заболоцкий Н. А. 588

Звегинцев В. А. 370

Зеньковский В. В. 23, 589, 590

Зубкова Л. Г. 22, 23, 26, 31, 148, 370, 388,
412, 417, 424, 482, 588, 593

И

Иоанн Дакийский 28, 64

Иоанн Дамаскин 60, 61

Иоганн Воротнеци 62

Иринеи Лионский 60

К

Кант И. 111, 384

Кассирер Э. 584

Караулов Ю. Н. 569, 578

Карпов В. Н. 588

Карцевский С. О. 26, 51, 217, 366, 590,
593, 595

Кацнельсон С. Д. 260

Килвордби Р. 43

Киреевский И. В. 590

Клапаред Э. 479

Климов Г. А. 38

Колесов В. В. 23, 584, 587, 588, 590–
593

Кондильяк Э. Б. де 14, 15, 28, 29, 33,
40, 49, 60, 83–85, 89, 91–112, 120,
121, 124, 134, 137, 145, 171, 355,
396–398, 417, 424, 426, 428, 432,
451, 461, 504, 514, 530, 564–568,
586, 595, 598

Конт О. 184

Кошелев А. Д. 15, 17, 18, 20–22, 28, 32,
36, 534–557, 559–562, 590

Крик Ф. 39

Крушевский Н. В. 26, 344, 593–595, 597

Ксенофан 50

Кузьменко Ю. К. 176, 182, 183, 198, 246

Курилович Е. 593–595

Курциус Г. 246

Л

Лакофф Дж. 548, 560

Лаланд А. 479

Лансло Кл. (*см. также* Пор-Рояль, ав-
торы) 40, 43, 68–72, 74–77, 79, 80

Лебедев А. В. 50, 51

Лёбер К. 83

Леви-Брюль Л. 471

Левизак Ж.-П.-В. 81

Лейбниц Г. В. 40, 83, 113, 262, 424, 504,
567

Леонтьев А. А. 322

Лермонтов М. Ю. 587

Линней К. 101

Локк Дж. 40, 44, 60, 83–94, 99, 113, 121, 124, 145, 204, 328, 372, 399, 424, 504, 565, 567

Ломоносов М. В. 586

Лопатин В. В. 551

Лосев А. Ф. 28, 34, 44–48, 50, 53–55, 59, 352, 569, 580

Лукреций 56, 297

М

Марр Н. Я. 16, 34–39, 452–478, 527

Марсэ С.-Ш. дю 81, 82

Мартин Дакийский 62, 63

Мартине А. 282

Маслов Ю. С. 546

Матезиус В. 480

Мельников Г. П. 15, 17–20, 22, 28, 32, 34–36, 518–533, 578, 588, 590, 593–595, 598

Мельчук И. А. 535, 538

Мишель из Марбэ 64

Моррис Ч. У. 371

Н

Нерознак В. П. 37

Николь П. (*см. также* Пор-Рояль, авторы) 40, 68–75, 77, 78

Ньютон И. 83

О

Оккам У. 40

Д'Оливе П.-Ж. 81

Ольховиков Б. А. 42

Ориген 55

Остгоф Г. 570

П

Павлов И. П. 90

Парменид 15, 28, 41, 47, 50

Пастернак Б. Л. 588

Пауль Г. 33, 35, 248–261, 304, 312, 313, 329, 391, 392, 569–572, 575, 576, 594

Перельмутер И. А. 28, 43, 49, 51, 55–57, 63–65, 67

Петр Гелийский 42

Пешковский А. М. 595

Пинкер С. 560

Пирс Ч. С. 329, 371

Платон 17, 28, 36, 40, 41, 46–53, 55, 57–60, 62, 68, 69, 80, 120, 352–354, 371, 381, 492, 497, 565, 590

Пор-Рояль, авторы (*см. также* Арно А., Лансло Кл., Николь П.) 15, 28, 33, 40, 68–75, 77–80, 101, 110, 402, 451, 504, 505

Потебня А. А. 15, 17, 18, 26–31, 36, 37, 143, 176, 180, 195, 204–247, 255, 275, 280, 315, 352, 356, 359–371, 396, 397, 409, 410, 412, 424, 426, 429, 435, 441, 448, 482, 518, 564, 565–568, 572, 573, 576, 577, 580, 582, 585, 587, 589, 590–595

Протагор 41, 50,

Пузырев А. В. 590

Пушкин А. С. 587

Р

Радищев А. Н. 145

Рамишвили Г. В. 507

Расин Ж.-Б. 101

Раск Р. 181–183, 198

Ресто П. 81

Реферовская Е. А. 60, 63, 89, 110
Реформатский А. А. 26
Рицци Л. 511
Рош Э. 548

С

Санчес Фр. 40, 43
Секст Эмпирик 54
Сепир Э. 15, 16, 28, 31, 395–415, 436, 451, 501, 527, 564, 567, 583, 584, 588
Серебренников Б. А. 259
Серио П. 38
Сеченов И. М. 271
Сигер из Куртрэ 63
Симеон Новый Богослов 61
Симон Дакийский 62
Скаличка В. 480, 593, 595
Скредина Л. М. 426, 435
Слюсарева Н. А. 330, 337, 344, 370, 375
Смирницкая С. В. 182, 183, 238
СМИТ-мл. Г. 481
Сократ 46, 49, 52
Солнцев В. М. 259
Соловьев В. С. 587
Соссюр Ф. де 13–16, 19, 25, 26, 28, 32–35, 37, 39, 151, 156, 210, 223, 230, 250, 252, 257, 259, 264, 282, 285, 286, 295, 304, 309, 327, 329–362, 368–380, 384, 401, 404, 430, 432, 433, 435, 440, 442, 448, 452, 479, 492, 495–497, 499, 506, 516, 528, 529, 565, 569–572, 574–576, 580, 585, 590
Софокл 120
Срезневский И. И. 181–183, 195, 196, 269, 518, 590, 591

Степанов Ю. С. 23, 34, 38, 366, 436, 571, 584, 588, 589
Суинберн А. Ч. 400

Т

Тейлор Э. Б. 38
Тейяр де Шарден П. 34
Тертуллиан 42
Толстой Л. Н. 587
Томас Эрфуртский 62–65
Томаселло М. 22, 562
Трейджер Дж. 481, 484
Трнка Б. 482, 491
Троцкий (Тронский) И. М. 28, 40, 41, 53, 82
Трубецкой Н. С. 26, 168, 321, 381, 488–491, 590, 593, 594, 597
Тургенев И. С. 216, 589
Тынянов Ю. Н. 587
Тэн И. 372

У

Уорф Б. Л. 15, 16, 28, 31, 395, 410, 415–423, 451, 484, 501, 517, 527, 564, 566, 583, 584
Уотсон Дж. 39
Ушаков Д. Н. 548

Ф

Фейнман Р. 519
Фет А. А. 24
Фитч У. Т. 537
Флоренский П. А. 23, 587, 588
Фогт К. 184

Фортунагов Ф. Ф. 26, 259, 444, 583,
593–595

Фриз Ч. 480–483

Х

Хоккет Ч. 483, 484

Холодович А. А. 332

Хомский Н. 17, 19, 501–517, 538

Хэмп Э. 483–486

Хэррис З. 482, 483, 486

Ц

Цинь Дж. 550

Цицерон 69

Ч

Чернышевский Н. Г. 212, 587

Ш

Шахматов А. А. 557

Шекспир У. 400

Шишков А. С. 539, 540

Шлегель А.-В. 181, 182

Шлегель Фр. 181–183, 325

Шлейден М. 184

Шлейхер А. 15, 19, 25, 27, 29, 33, 35,
36, 181–202, 238, 246, 265, 269, 270,
274, 301, 313, 329, 395, 427, 452,
474, 475, 514, 521, 522, 565, 566,
569–572, 575

Штейнгаль Г. 27, 204, 249, 270, 327, 333,
521, 522, 576

Шухардт Г. 304

Щ

Щерба Л. В. 340, 583, 593, 594

Э

Эдельштейн Ю. М. 42, 60–62, 71

Эмпедокл 28

Энгельс Ф. 112

Эпикур 40, 41, 55–57, 59, 297

Эсхил 120

Я

Якобсон Р. О. 26, 39, 55, 329, 568, 590,
593–595

А

Aarsleff Н. 372

Arens Н. 182, 200, 202

В

Bloch В. (*см. также* Блок Б.) 483

Bloomfield L. (*см. также* Блумфилд Л.)
480

Н

Harris Z. S. (*см. также* Хэррис З.) 482

Havránek В. (*см. также* Гавранек Б.)
480, 488

Hockett C. F. (*см. также* Хоккет Ч.) 483,
484

M

Mathesius V. (*см. также* Матезиус В.)
488

P

Paulíny E. 488
Pike K. L. 484

S

Schleicher A. (*см. также* Шлейхер А.)
25, 184–203, 265, 269, 452, 521, 570,
572, 573

Smith Jr. H. L. (*см. также* Смит-мл. Г.)
481

T

Trager G. (*см. также* Трейджер Дж.) 481
Tsien J. (*см. также* Цинь Дж.) 550

V

Vachek J. (*см. также* Вахек Й.) 488

W

Welmers W. E. 484

Научное издание

Людмила Георгиевна Зубкова

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА В ЕЕ РАЗВИТИИ:
ОТ НАТУРОЦЕНТРИЗМА К ЛОГОЦЕНТРИЗМУ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ
К ЛИНГВОЦЕНТРИЗМУ И К НОВОМУ СИНТЕЗУ

Корректор О. Круподер
Ведущий редактор В. Столярова
Оригинал-макет подготовлен Е. Морозовой
Художественное оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 30.11.2016. Формат 70x100/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 50,31. Тираж 600. Заказ №

Издательский Дом ЯСК
№ государственной регистрации 1147746155325
Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: +7 (499) 255-77-57, e-mail: gnoxis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4

